Н. М. ПАВЛОВЪ.

„НАШЕ ПЕРЕХОДНОЕ ВРЕМЯ."

(Сборникъ статей, помѣщавшихся преимущественно въ газетахъ: „День", „Москва" и „Русь").

87284

ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ „РУССКОМУ АРХИВУ" 1888 ГОДА.

2 шк
П
48258.

Типографія Т. И. Гагенъ, Москва, Большая Лубянка, д. кн. Голицына.

Отъ автора.

Для реформенной эпохи 60-хъ и 70-хъ годовъ настаётъ потомство. Старое сошло, новое не наступило — такова минута, переживаемая русскимъ самосознаніемъ. Всего, что только вчера и еще сегодня по утру звали „днесь“ — больше нѣтъ. Оно уже въ минувшемъ, либо еще въ грядущемъ.

Въ такую минуту какъ не оглянуться на пройденный путь? И мы не думаемъ погрѣшить противъ своего времени изданіемъ своихъ сочиненій. Можетъ быть, послѣ той пресловутой поры выглянутъ они на свѣтъ болѣе современными чѣмъ тогда, какъ въ самый ея разгаръ писались, и во всякомъ случаѣ дадутъ для ея характеристики не лишній матерьялъ.

Мы свели эти недавнія и стародавнія писанья — не столько по годамъ, сколько по однородности содержанья — въ особые отдѣлы, а ихъ въ двѣ части. Въ первой: критическія статьи, во второй: такъ-называемая публицистика. Первую часть находимъ приличнымъ начать статьею, писанною двадцать-три года тому назадъ, именно по поводу «Русскаго Архива», одолжающаго теперь, на своемъ XXV-ти лѣтіи, такой радушный пріютъ нашему Сборнику.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

I. Черты направленій нашей литературы и ихъ оттѣнки:

„Русскій Архивъ“ изданъ при Чертковской библіотекѣ *П. И. Бартеневымъ* . . . . . 1.
„Пчела“ сборникъ для народнаго чтенія *Н. Щербины*. 7.
„Исторія Россіи въ картинахъ“ текстъ и картины *г. Золотова* . . . . . 12.
„Сынъ“ разсказъ изъ временъ XVII в. *Н. Костомарова*. 18.
„Воевода“ (Сонъ на Волгѣ) *А. Н. Островскаго* . . . . 26.
Пьеса „Воевода“ на московской сценѣ . . . . . 49.
„Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій“. Драма *г. Островскаго* . . . . . 51.
„Сватъ Ѳадѣичъ“ новая пьеса *г. Чаева* . . . . . 59.
„Князь Александръ Михайловичъ Тверской“ историч. драма *Н. А. Чаева* . . . . . 62.
„Стихотворенія Н. Некрасова“. . . . . 72.
„Сочиненія С. Т. Аксакова“ . . . . . 81.
„Рой Ѳеодосій Саввичъ на спокоѣ“ Повѣсть *г-жи Кохановской*. . . . . 85.
Текучая беллетристика. „Марево“ *г. Ключникова* . . . 116.
„Взбаламученное Море“ *г. Писемскаго*. . . . . 122.
Журнальныя замѣтки:
— „Библіотека для Чтенія“ и „Эпоха.“—„Современникъ“ и „Русское Слово.“—Ихъ „общая идея.“—„Нерѣшенный для *г. Писарева* вопросъ.“—„Земскія Силы“ *г. Боборыкина* и „Лгуны“ *г. Писемскаго* . . . . . 137.
— Споръ „Современника“ съ „Русскимъ Словомъ“ о нигилизмѣ и о Неграхъ.—Катастрофа въ станѣ „реалистовъ“. . . . . 155.

Стр.

— Еще новый споръ между „учениками Добролюбова“ объ эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дѣйствительности.—Г-нъ *Варѳоломей Зайцевъ* объ искусствѣ. . . . . 165.
— Замѣтка объ аскетахъ, для г-на *Антоновича*. — Его Итоги. Отбой. . . . . 180.
По поводу объявленія объ изданіи: „Полнаго Критико-библіографическаго Указателя“ . . . . . 194.
Перлы Русской журналистики . . . . . 195.
Упадокъ публицистики, замѣтка 1879 г.. . . . . 196.
Исторія съ Исторіей для народа . . . . . 200.
Къ „Слову о Полку Игоревѣ“ по поводу изслѣдованій *М. А. Андріевскаго* . . . . . 205.
Одна изъ нашихъ Газетъ . . . . . 208.
Замѣтка для юриста „Русскихъ Вѣдомостей“. . . . . 217.

II. Полемика газеты „День“ съ „Московскими Вѣдомостями“ и съ газетою „Вѣсть“.

Наши близорукіе публицисты. . . . . 229.
Современныя темы. (О сельской общинѣ) . . . . . 241.
Передовая статья Московскихъ Вѣдомостей . . . . . 260.
Замѣтка для Московскихъ Вѣдомостей. . . . . 267.
Исключительно для г. Григорія Наличнаго. . . . . 270.
Еще Григорію Наличному. . . . . 272.
О настоящихъ обязанностяхъ Русскаго Дворянства. Брошюра графа *В. П. О. Д.* . . . . . 277.
Юмористъ газеты Вѣсть. . . . . 287.
Газетѣ Вѣсть . . . . . 289.

III. Новая общественная организація и старый казенный строй.

Письма къ Публикѣ I—XVII, изъ Московскихъ Вѣдомостей 1873—74 гг.. . . . . 294.
Современный фельетонъ изъ газеты Русь:
— Скрытыя причины явнаго зла. . . . . 334.
— Нѣчто о XVIII вѣкѣ . . . . . 352.

Стр.

— Раскрѣпощенное крестьянство и распущенное въ народъ дворянство . . . . . 366.
— Мнимое Земство . . . . . 393.
— Страшенъ сонъ—милостивъ Богъ . . . . . 409.
Объ нашемъ statu quo . . . . . 416.

IV. По поводу разныхъ политическихъ событій, некрологи, замѣтки и мелочи.

О польскомъ катехизисѣ . . . . . 432.
Намеки тонкіе . . . . . 434.
Изъ Каширскихъ писемъ:
— 1) въ польскую смуту . . . . . 438.
— 2) города Тѣшиловъ и Лопасня . . . . . 440.
— 3) отвѣтъ П. Н. Воронцову-Вельяминову . . . 445.
Монументъ въ память освобожденія крестьянъ профессора *Щурупова* . . . . . 452.
Царевичъ въ Ниццѣ . . . . . 455.
4-е Апрѣля . . . . . 456.
Самооборона . . . . . 457.
Храмъ на крови . . . . . 458.
Подобно бюлетенямъ . . . . . 458.
Нѣчто о смутѣ . . . . . 459.
Отчего пала Римская имперія . . . . . 461.
Средство догнать Европу . . . . . 461.
У гроба князя В. А. Черкаскаго . . . . . 462.
Ѳед. Вас. Чижовъ . . . . . 464.
Ю. Ѳ. Самаринъ . . . . . 465.
Т. Н. Грановскій . . . . . 465.

V. Статьи разнаго содержанія.

Замѣтка по поводу толковъ одной газеты о „школѣ представительства“ . . . . . 468.
Для защитниковъ дипломатіи въ „Новомъ Времени“ . . 470.
По поводу овацій г. Тургеневу . . . . . 475.
Изъ письма къ М. Н. Каткову . . . . . 485.
Послѣсловіе отъ автора . . . . . 493.

I. Критическія статьи.

Черты направленій нашей литературы и ихъ оттѣнки.

„Русскій Архивъ“ изданъ при Чертковской библіотекѣ *Петромъ Бартеневымъ*. Годъ первый (1863). Изданіе второе. Русскій Архивъ 1864 и 65 гг.

Журналъ, предпринятый извѣстнымъ библіографомъ и библіоманомъ г. Бартеневымъ, все болѣе оцѣнивается публикой. Двѣнадцать тетрадей перваго выпуска отпечатаны вновь и изданы отдѣльною книгой; тетради 1864 года почти истощились въ продажѣ; наконецъ число подписчиковъ за этотъ годъ удвоилось. Остается пожелать и въ будущемъ такого-же возростающаго успѣха Русскому Архиву.

Успѣхъ этотъ знаменателенъ. Русскій Архивъ посвященъ нашей родной недавней старинѣ,—если не прямо исторіи въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, то исторіи нашей словесности, библіографіи, археологіи. Онъ посвященъ всему, въ чемъ сказывается общественный бытъ Русскихъ людей прошлаго времени и чѣмъ обыкновенно измѣряется нравственный уровень прошлыхъ поколѣній. Это отчасти придаетъ ему характеръ спеціальнаго журнала; заслуга въ томъ что и при спеціальности онъ живъ и разнообразенъ. Всякій образованный Русскій читатель найдетъ себѣ въ каждомъ его нумерѣ много страницъ, которыя прочтетъ съ удовольствіемъ. Хотите-ли знать содержаніе Русскаго Архива? На ряду съ важными историческими матеріалами: старинными актами и грамотами, иногда цѣлыми подлинными *дѣлами* (таившимися въ недоступныхъ архивахъ или составлявшими рѣдкость въ чьихъ-нибудь частныхъ рукахъ), — вы тутъ найдете еще множество любопытныхъ разсказовъ, то касающихся нашихъ первоклассныхъ поэтовъ и писателей, то служащихъ характеристикой великихъ отечественныхъ событій съ ихъ такъ-сказать анекдотической, оборотной стороны. Нерѣдко

еще они бросаютъ свѣтъ на такого рода личности и событія, которыя хотя не безъизвѣстны по слухамъ и по общественному преданію, однако все еще по той-ли по другой-ли причинѣ составляютъ у насъ какую-то недомолвку или прямо тайну.

Исторія и литература имѣютъ своихъ дѣятелей, свои строгіе курсы и свои классическія творенія; но еще много дѣла выпадаетъ и на долю хроникёровъ, и ихъ собирательная дѣятельность весьма желательна. Тѣ летучіе факты, которые не составляя эпохи въ жизни народа, однакожь передаютъ извѣстный ея оттѣнокъ съ удивительной выразительностью; тѣ случайныя подробности, которыя въ массѣ крупныхъ событій пропадаютъ обыкновенно для историка, но которыя сами по себѣ весьма любопытны и о которыхъ потомство жалѣетъ, что онѣ утратились — вотъ что̀ составляетъ у всѣхъ народовъ цѣлую отдѣльную литературу, близко соприкасающуюся съ ихъ исторіей и чѣмъ до сихъ поръ были такъ бѣдны мы, Русскіе. Надобно прибавить къ тому, что для современниковъ переживаемое время представляется обыкновенно чѣмъ-то самимъ по себѣ, оторваннымъ отъ исторіи и какъ бы *внѣ ея:* съ этой точки зрѣнія ничуть оно для нихъ не занимательно. Увы! это „настоящее“ время, этотъ длящійся моментъ исторіи, съ бѣгомъ годовъ за годами и десятилѣтія за десятилѣтіемъ, во-очію на глазахъ подростающихъ поколѣній — уходитъ въ историческую даль, гдѣ царствованіе скрывается за царствованіемъ, все глубже и глубже... и что̀ для нашихъ дѣдовъ была Петровская старина, то для нашихъ внуковъ уже станетъ Николаевская. Хорошо тому народу, у котораго преемственно отъ поколѣнія къ поколѣнію переходитъ сознанная, записанная и переданная живымъ преданіемъ вся мудрая опытность прошлаго, всѣ его уроки и всѣ традиціи. У насъ долгое время нельзя было похвалиться этимъ; у насъ только съ 18 вѣка начинается что-то похожее на это. Въ общей области народнаго самосознанія оно составляетъ значительную частицу. Мы, кажется, нисколько не преувеличимъ дѣла, если скажемъ, что Русскій Архивъ одинъ изъ первыхъ еще на Руси журналовъ, который является о̀рганомъ именно подобнаго рода самосознанія.

Что особенно придаётъ цѣну этому изданію—это именно то, что оно преслѣдуетъ историческій интересъ по преимуществу въ его общественномъ и бытовомъ значеніи. Не политическая только дѣятельность государства, а внутренняя жизнь Русскаго общества, обществен-

ный духъ той или другой эпохи, складъ и бытъ самого общества— вотъ что всегда, повидимому, выступаетъ какъ-бы главною задачей Русскаго Архива и чѣмъ особенно — въ этомъ уже нѣтъ никакого сомнѣнія—въ немъ дорожатъ сами его читатели. Потому-ли, что въ древней Руси было мало этой „общественной силы", по тому-ли, что мало ее изслѣдовали; оттого-ли точно также, что за неимѣніемъ самого „общества" не осталось отъ старины и памятниковъ, въ которыхъ оно себя выражаетъ или, напротивъ, эти памятники существуютъ, но до сихъ поръ также не изслѣдованы,— все равно, понятно только, что Русскій Архивъ при указанной задачѣ по преимуществу обращается къ старинѣ недавней, отъ насъ наименѣе удаленной; напротивъ, эта задача становится тѣмъ труднѣе, чѣмъ отдаленнѣе само то время, которое онъ захватываетъ. Намъ пріятно однакожь сказать, что и матеріалы, оглашенные Русскимъ Архивомъ изъ старины до-Петровской, и всѣ-же статьи, относящіяся до нея прямо или косвенно—имѣютъ тотъ же характеръ, т. е. прямо обрисовываютъ состояніе общественныхъ нравовъ, служатъ какъ-бы для измѣренія уровня нашей старинной умственной жизни. Такія статьи, какъ напр. графа Уварова „Образъ Ангела-Хранителя съ похожденіями" и „Вѣтеръ", два отрывка изъ Русской символики, или „Сказаніе кіимъ святымъ каковыя благодати отъ Бога даны"—въ Русскомъ Архивѣ совершенно на своемъ мѣстѣ, и его постоянные читатели ихъ не минуютъ. Такіе историческіе матеріалы, какъ напр. изъ временъ Михаила Ѳедоровича „дѣло объ измѣнѣ Хмѣлевскаго", гдѣ ясно проглядываютъ и продѣлки старинныхъ дьяковъ, и разныя фамильярныя подробности тогдашняго быта, отношенія боярина къ любовницѣ и пр. или еще какъ напр. „Челобитная протопопа Аввакума царю Алексѣю Михайловичу", ярко рисующая именно состояніе общества тѣхъ временъ,— такіе матеріалы, говоримъ, совершенно соотвѣтствуютъ общей цѣли изданія, и ихъ—даже и изъ старины гораздо болѣе отдаленной— можно пожелать какъ можно болѣе Русскому Архиву.

Что касается до старины XVIII вѣка и ближайшей: Павла или Александра I и, наконецъ, почти вчерашней—то она находитъ себѣ постоянно въ Русскомъ Архивѣ самое разнообразное и полное выраженіе. Личности Петра, Екатерины, Елисаветы и другихъ высокихъ особъ этого періода (такъ еще таинственныя и въ наше время) съ каждымъ, можно сказать, новымъ нумеромъ журнала г. Бартенева выступаютъ передъ читателемъ все ярче и

живѣй. Многія загадочныя событія этой эпохи дополнены теперь новыми чертами и освѣщены болѣе натуральнымъ колоритомъ; другія, таинственныя до совершеннаго неупоминанія объ нихъ въ исторіи, впервые выдвигаются изъ своего запретнаго мрака, въ едва-едва брежжущемъ полусвѣтѣ. Все наше вельможество Аннинской, Елисаветинской и Екатерининской старины, также и нахлынувшіе отовсюду всякіе случайные люди за это время — объясняются мало-по-малу въ Русскомъ Архивѣ — то въ семейной перепискѣ другъ съ другомъ, то въ какихъ-нибудь новооткрытыхъ документахъ, то въ цѣлыхъ подлинныхъ *дѣлахъ*, дошедшихъ отъ того времени; то, наконецъ, въ спеціальныхъ изслѣдованіяхъ знатоковъ анекдотической стороны 18-го вѣка. Всѣ эти Шуваловы, Воронцовы, Панины и другіе выступаютъ, наконецъ, передъ Русскимъ читателемъ не какъ монументальные остовы, поставленные на риторическія ходули, а какъ живые люди своего времени со всѣми его добрыми сторонами, но и со всѣми слабостями, со всею ложью его.

XVIII вѣкъ, замѣтимъ кстати, до сихъ поръ не имѣетъ у насъ *исторіи;* печатная историческая правда о самой первой *четверти* этого вѣка допущена у насъ весьма недавно. Справедливость требуетъ сказать, что событія этого времени и въ самомъ дѣлѣ еще недостаточно отступили отъ насъ (еще не удалились на разстояніе „историческаго выстрѣла“, какъ гдѣ-то выразился Бестужевъ-Марлинскій), чтобы можно было озирать ихъ строго-безпристрастнымъ взоромъ историка. Много смутныхъ преданій, много пристрастныхъ разсказовъ доходитъ еще и въ наше время отъ той эпохи, наконецъ много воспоминаній чисто личныхъ и имѣющихъ характеръ именно, такъ-называемыхъ, *личностей;* отсюда, по необходимости, исторія XVIII вѣка представляетъ еще для насъ почти исключительно одну лишь анекдотическую его сторону. Все это вмѣстѣ только увеличиваетъ заслугу издателя Русскаго Архива; современный читатель пока только въ немъ и можетъ слѣдить за исторіей, хотя и отрывочной но за то правдивой, трехъ послѣднихъ двадцатипятилѣтій прошлаго столѣтія. Будущій историкъ этой части Петербуржскаго періода найдетъ въ Русскомъ Архивѣ неисчерпаемый матеріалъ, при его занятіяхъ необходимый.

Ближайшее къ намъ время, (такъ-сказать наша вчерашняя старина) также весьма живо представлена въ Русскомъ Архивѣ, въ немъ собрано по этой части много любопытнаго. Не пере-

числяемъ всего богатаго и разнообразнаго содержанія этого отдѣла: пришлось бы выписывать почти цѣликомъ оглавленія нѣсколькихъ десятковъ книжекъ, вышедшихъ за три года. Но нельзя по крайней мѣрѣ не отмѣтить хоть нѣкоторыхъ статей, которыя наглядно познакомятъ читателей съ такимъ разнообразіемъ. Напримѣръ: „Разсказы очевидцевъ о пожарѣ зимняго Дворца въ 1837 году, графа Бенкендорфа, князя Орлова, барона Корфа, г. Барановича, барона Мирбаха", или: „Отрывокъ изъ Записокъ графа Бенкендорфа о путешествіи по Россіи Императора Николая Павловича въ 1836 г. и о пребываніи его въ городѣ Чембарѣ, по случаю болѣзни", или напр. „Разсказъ Н. В. Шеншина о поѣздкахъ его на Аландскіе острова, наканунѣ взятія Бомарсунда въ кампанію 1854 — 1855 года" и многія другія.

Минуя богатство и разнообразіе библіографическаго отдѣла, минуя любопытный отдѣлъ Смѣси, гдѣ съ свѣдѣніями о новой Россіи мелькаютъ то и дѣло любопытныя замѣтки о старинѣ (укажемъ для примѣра на замѣтку: „Замѣчательный портретъ Ѳедора Никитича Романова, въ инокахъ Филаретъ"), — выберемъ на удачу двѣ темы, для примѣра читателю какъ онѣ представлены Русскимъ Архивомъ. Мы хотимъ указать въ немъ рядъ статей и замѣтокъ, относящихся напримѣръ до перваго нашего поэта, А. С. Пушкина, и еще, положимъ, до великой эпохи 12-го года.

Кромѣ нѣсколькихъ неизданныхъ стихотвореній великаго поэта, его писемъ къ кн. Репнину и другимъ (въ томъ числѣ замѣчательнѣе всѣхъ къ извѣстному гр. Бенкендорфу); кромѣ писемъ о немъ самомъ другихъ лицъ, а въ томъ числѣ извѣстнаго И. Инзова къ Булгакову; кромѣ, наконецъ, многихъ упоминаній объ немъ въ разныхъ другихъ статьяхъ и кромѣ мелкихъ замѣтокъ (напр. г. Лонгинова „объ отношеніяхъ А. С. Пушкина къ его дядѣ Льву Пушкину" или „Изъ воспоминаній молодости, о Пушкинѣ. С"), читатель найдетъ здѣсь еще неизданные отрывки изъ письма Жуковскаго о кончинѣ Пушкина, „о перевозѣ тѣла Пушкина въ Святыя Горы", чрезвычайно интересный разсказъ изъ писемъ М. П. Погодина „Чтеніе Пушкинымъ Бориса Годунова въ кружкѣ литераторовъ, основавшихъ Московскій Вѣстникъ въ 1826 году"; наконецъ прекрасную статью „Воспоминанія графа Соллогуба. Новыя свѣдѣнія о предсмертномъ поединкѣ Пушкина". Въ связи съ подробностями роковой дуэли должно еще указать на „Оправданіе іезуита Гагарина по поводу участія въ гибели А. С. Пушкина" (Р. А. 1865 г. Т. 8).

Изъ статей, замѣтокъ и различныхъ выписокъ, относящихся до эпохи 12-го года, отмѣтимъ слѣдующіе: „Матеріалы для исторіи 1812 года: 1) Письмо графа Ростопчина, 2) Французская афиша, 3) особы, составлявшія Французское правленіе въ Москвѣ, 4) Новодѣвичій монастырь". Особенно обращаемъ вниманіе на послѣднее. Это разсказъ очевидца, „старика Климыча, который недавно умеръ", простой солдатскій разсказъ, гдѣ передано много живыхъ подробностей о занятіи Москвы непріятелемъ и о безчинствахъ въ Новодѣвичьемъ монастырѣ. Сюда-же относится цѣлый отдѣльный эпизодъ объ исторіи фальшивыхъ бумажекъ, которыя Наполеонъ распространялъ въ Россіи по занятіи Москвы, — эпизодъ, возбуждавшій не одинъ разъ полемику и нѣсколько разъ подтвержденный Русскимъ Архивомъ, такъ что его достовѣрность, кажется, болѣе не можетъ подлежать сомнѣнію. Кромѣ многихъ другихъ сюда-же относящихся матеріаловъ, укажемъ на замѣчательнѣйшую въ своемъ родѣ статью „Отрывокъ изъ записокъ покойнаго графа Василія Алексѣевича Перовскаго". Графъ, тогда еще молодой офицеръ, былъ хищнически захваченъ въ плѣнъ Французами, — очутился въ суматохѣ Московскаго пожара, видѣлъ замѣшательство великой арміи и самого полководца. Онъ вытерпѣлъ еще всѣ потрясающіе ужасы Французскаго плѣна: въ тогдашнюю суровую зиму слѣдовалъ съ конвоемъ въ числѣ плѣнныхъ къ разореннымъ предѣламъ Россіи, ежеминутно угрожаемый тѣмъ, что великодушный солдатъ Франціи и его пристрѣлитъ, какъ его отставшихъ товарищей... Все это, безъ малѣйшаго помысла о потомствѣ описано въ тѣхъ запискахъ — и тѣмъ онѣ важнѣе.

Скажемъ въ заключеніе, что Русскій Архивъ издается при Чертковской библіотекѣ — извѣстной не только въ Москвѣ, но и въ цѣлой Россіи. Многія рукописныя драгоцѣнности этой библіотеки служилп Русскому Архиву постояннымъ матеріаломъ. Кромѣ того, къ нему приложено нѣсколько эстамповъ, изображающихъ разныя археологическія рѣдкостп той-же Чертковской библіотеки. Наконецъ, при Русскомъ-же Архивѣ, въ видѣ прибавленій къ нему (впрочемъ это составляетъ исключительную льготу подписчиковъ 1-го года) издается „Каталогъ Чертковской библіотеки".

Такъ какъ эта библіотека заключаетъ образцово-полное собраніе книгъ „на церковно-славянскомъ, Русскомъ, Нѣмецкомъ, Французскомъ, Англійскомъ, даже Голландскомъ и Испанскомъ языкахъ", касающихся Россіи и по преимуществу ея исторіи — то понятно,

какой драгоцѣнный подарокъ составитъ этотъ ея каталогъ для всѣхъ, занимающихся или просто интересующихся Русской исторіей. Это — необходимый сборникъ, энциклопедическій указатель всѣхъ свѣдѣній, свидѣтельствъ и источниковъ, касающихся Россіи.

Газета „День“ 1865 г.

„Пчела“, сборникъ для народнаго чтенія. Составилъ и издалъ *Н. Щербина*, Спб. 1865 г.

Намъ пріятно указать на новую книгу для народнаго чтенія, составленную и изданную г. Щербиной. Своимъ внутреннимъ составомъ и всею внѣшностью она вполнѣ отвѣчаетъ потребностямъ тѣхъ, для кого назначена. Тутъ, — и въ выборѣ занимательнаго для народа чтенія; и въ щедромъ приложеніи любопытныхъ картинокъ; даже въ этомъ удачномъ названіи сборника „Пчелою“, вытисненномъ киноварью на первомъ листѣ, — во всемъ сказалась горячая любовь издателя къ предпринятому дѣлу и еще толковое знаніе этого самаго дѣла.

Намъ эта „народная“ книга тѣмъ особенно нравится, что въ ней нѣтъ никакихъ натяжекъ и столь извѣстнаго насилованія—въ угожденіе искомой задачи, „народности“. Въ этомъ сборникѣ просто приводятся лучшія мѣста изъ нашихъ поэтовъ и писателей, доступныя массѣ; помѣщены подлинные отрывки изъ лѣтописей и грамотъ; есть еще и царскіе манифесты, а также адресы самого народа къ царю, напр. по поводу послѣднихъ политическихъ событій.

За это нельзя не поблагодарить г. Щербину. Его живой примѣръ, лучше всякихъ теоретическихъ разсужденій, объяснитъ издателямъ и составителямъ народныхъ книгъ простую истину,— имъ повидимому неизвѣстную. Истина заключается въ томъ, что пишущій для дѣтей и для народа—вовсе не долженъ съ своей стороны, что называется, поддѣлываться подъ ихъ низкій уровень. Всякій талантливо написанный разсказъ, всякое живое описаніе—хотя-бы вовсе не для дѣтей или для народа ихъ назначалъ авторъ—непремѣнно будутъ поняты и дѣтьми и народомъ; безъ талантливости, напротивъ того, безъ живаго поэтическаго чувства въ самомъ повѣствованіи—авторъ никакъ не сдѣлаетъ его понятнымъ, сколько-бы ни поддѣлывался подъ низкій, по его понятію, уровень дитяти или

народа. Пишите художественнымъ Русскимъ языкомъ, будьте поэтомъ въ вашихъ разсказахъ и описаніяхъ—вотъ лучшій и единственный отвѣтъ тѣмъ, кто еще смущается у насъ вопросомъ: какъ и какимъ языкомъ писать для дѣтей и народа? Безъискуственный (хотя и старинный, церковно-книжный) языкъ нашихъ лѣтописей и поэтическіе ихъ разсказы—также какъ нельзя болѣе отвѣчаютъ этимъ требованіямъ. Языкъ грамотъ еще болѣе подходитъ къ обыкновенной разговорной рѣчи, особенно грамотъ не судейскихъ, а въ которыхъ самъ народъ и разные города переписывались другъ съ другомъ—напр. въ смутное время. Помѣщеніе ихъ въ народномъ сборникѣ „Пчелѣ“ дѣлаетъ честь г. Щербинѣ. Трудно найти въ старинной письменности что-нибудь болѣе доступное непосредственному Русскому чувству—чѣмъ эти самыя грамоты.

Намъ нравится сборникъ г. Щербины еще и въ другомъ отношеніи. Составители книгъ для первоначальнаго народнаго чтенія, какъ извѣстно, увлекаются докторальнымъ тономъ. Не воспитательное значеніе книги, а ея значеніе учительское, большею частью, они имѣютъ въ виду, когда пишутъ для народа. Представляя себѣ народъ невѣжественною массой, они въ своихъ книжкахъ (также и въ дѣтскихъ) стараются вразумить его, напр. о томъ, что гроза есть слѣдствіе электричества, что на желѣзной дорогѣ вагоны движутся парами и т. п. Спору нѣтъ, все это свѣдѣнія полезныя; но всѣмъ этимъ свѣдѣніямъ есть и свое настоящее мѣсто. Механика, физика и другія естественныя науки едва-ли еще нуждаются у насъ въ популяризаціи; свѣдѣнія-же, о которыхъ мы говорили, безъ сомнѣнія, въ этихъ популярныхъ курсахъ и найдутъ свое мѣсто. Какъ бы кто популярно ни изложилъ курса физики и механики—это не будетъ еще книга для народнаго чтенія; совсѣмъ не это на первыхъ порахъ нужно. Сборникъ г. Щербины, „Пчела“—представляетъ именно то, что нужно для первоначальнаго чтенія; книга эта—именно составлена для народа. „Учительства“, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, въ цѣлой книгѣ г. Щербины—нѣтъ никакого; но ея „воспитательное“ значеніе—несомнѣнно. Можно утвердительно сказать, что одна какая-нибудь талантливо написанная басня, одинъ живой поэтическій разсказъ въ состояніи болѣе подѣйствовать на душу дитяти или простолюдина и гораздо болѣе послужатъ къ расширенію его понятливости, чѣмъ даже цѣлые курсы популярной анатоміи. Дѣло въ томъ, что такъ-называемое развитіе, т. е. возбужденіе всѣхъ умственныхъ и душевныхъ способностей питомца,

направленное къ тому, чтобы внутренній его міръ слагался въ совершенной гармоніи и все болѣе и болѣе расширялся въ своемъ горизонтѣ — само по себѣ составляетъ такую задачу, съ которой никакъ не должно смѣшивать собственно такъ-называемаго ученія. Масса фактовъ, масса свѣдѣній — вотъ что составляетъ задачу ученія. Но воспитатель, прежде всего, озабоченъ цѣльнымъ развитіемъ внутренняго міра своего питомца; его умственныхъ способностей онъ никакъ не развиваетъ въ ущербъ всему строю души человѣческой. Развитіе нравственной личности въ человѣкѣ; расширеніе того внутренняго міра, который самъ собою отъ рожденія роится въ груди ребенка, складывается подъ вліяніемъ окружающихъ его впечатлѣній и въ строеніи котораго участвуютъ не только умственная способность, а всѣ факторы души человѣческой, — вотъ забота воспитателя. Вотъ чѣмъ обусловливается и тотъ характеръ, который должны имѣть книги, назначаемыя для первоначальнаго чтенія, все равно дѣтей-ли, народа-ли. Родной бытъ, прежде всего, оказываетъ вліяніе на умственный складъ и на образованіе личности въ ребенкѣ. Какъ первое воспитаніе съ матернимъ молокомъ передается уже ребенку въ колыбели, — также точно всему народу непосредственно уже самъ родной бытъ служитъ первою, для него самого часто незамѣтною, воспитательной ступенью. Все это, какъ нельзя болѣе, понято составителемъ и издателемъ „Пчелы“ и довольно будетъ бросить хотя бѣглый взглядъ на составъ этого изданія — чтобъ самъ читатель въ томъ убѣдился.

Г. Щербина раздѣлилъ сборникъ на четыре главныхъ отдѣла. Первый озаглавленъ: *Бытовое*. Тутъ вмѣстѣ съ баснями Крылова, Хемницера и др., гдѣ мѣтко схвачены многія подробности народнаго быта, читатель найдетъ еще стихотворенія Кольцова, Никитина и др. современныхъ поэтовъ, гдѣ типическія стороны нашего роднаго быта возстаютъ съ плотью и кровью, — непосредственное чувство дитяти или простолюдина непремѣнно пойметъ ихъ и горячо полюбитъ. Тутъ съ разсказами изъ народнаго быта г. Даля, читатель встрѣтитъ еще и отрывки изъ послѣдней повѣсти г-жи Кохановской „Рой“. Второй отдѣлъ озаглавленъ: *Русское-историческое*. Этотъ отдѣлъ наиболѣе удался составителю. Вся Русская исторія, отъ принятія христіанства до послѣдняго Польскаго мятежа, конечно, не могла себѣ тутъ найти мѣста; но однакожъ отдѣльные историческіе моменты, или правильнѣе даже будетъ сказать, историческіе мотивы за этотъ именно періодъ, всѣ нашли

себѣ здѣсь удачное выраженіе. Читатель усвоитъ ихъ себѣ гораздо лучше изъ этой книги, чѣмъ изъ любаго учебника съ сухой номенклатурой и ничего не говорящими таблицами. Вотъ какъ г. Щербина исполнилъ такую задачу; познакомимъ читателя съ его пріемомъ. Для ознакомленія съ древнѣйшимъ періодомъ Русской исторіи, составитель „Пчелы“ беретъ слѣдующіе фрагменты. Онъ предлагаетъ народу подлинный отрывокъ изъ Несторовой лѣтописи по Кенигсбергскому списку. О принятіи христіанства заставляетъ разсказывать нашего исторіографа, Карамзина. Тутъ же весьма кстати приведено стихотвореніе Хомякова: *Кіевъ*; это — цѣлая картина Кіева настоящихъ временъ, который доднесь хранитъ значеніе единой купели всего Русскаго народа: сюда собираются на поклонъ Русскіе люди — и отъ Дона и отъ Енисея, и отъ Чернаго и отъ Ледовитаго моря, и отъ Пскова, и изъ-подъ Москвы, и съ-подъ Алтая. Тутъ же, съ извѣстными переложеніями „Слова о полку Игоревѣ“ гг. Берга и Гербеля, читатель найдетъ подлинный отрывокъ изъ проповѣди Серапіона, со всей свѣжестью вчерашняго дня напоминающій о порабощеніи Руси Татарами.

Московскій періодъ, кромѣ прямо-историческихъ сюда относящихся свидѣтельствъ — (отрывокъ изъ Воскресенской и Никоновой лѣтописи и Авраамія Палицына, и окружныхъ грамотъ Смутнаго Времени) — доскажется еще читателю пѣснью про молодаго Калашникова, Лермонтова и отрывками изъ драмъ „Освобожденная Москва“ и „Мининъ“ и разсказомъ г. Данилевскаго „Вечеръ въ теремѣ“. Наконецъ тутъ собрано множество стихотвореній изъ Пушкина и изъ Языкова, Глинки и другихъ поэтовъ, такъ часто поминавшихъ Москву и ея народное значеніе въ государствѣ. Исторія отъ Петра до нашихъ временъ — вся промелькнетъ въ живыхъ образахъ то въ Пушкинскомъ описаніи Полтавскаго боя, то въ разсказахъ Полеваго о бѣгствѣ Ломоносова или о чтеніи его первыхъ стиховъ во дворцѣ у Анны Іоанновны; то, наконецъ, просто въ историческихъ анекдотахъ о Петрѣ I, Екатеринѣ II или Суворовѣ. Извѣстныя патріотическія письма Глинки о 12-мъ годѣ; разсказы священниковъ, солдатъ и всякихъ Русскихъ людей объ истребленіи Французовъ по деревнямъ, о Московскомъ пожарѣ; извѣстные на эту тему стихотворенія нашихъ лучшихъ поэтовъ — все берется составителемъ „Пчелы“ для того, чтобы живые, творческіе образы напечатлѣлись въ умѣ простолюдина, и они лучше „курсовыхъ учебниковъ“ познакомятъ съ духомъ эпохи двѣнадцатаго года.

Третій отдѣлъ названъ: *Обще-Славянское.* Такой переходъ, послѣ двухъ первыхъ отдѣловъ, можно смѣло сказать, не представитъ ничего неожиданнаго для читателя. Напротивъ того, набравшись чисто-русскихъ бытовыхъ и историческихъ впечатлѣній, читатель какъ нельзя болѣе пойметъ всю связь своей исторіи, своего народнаго духа съ остальнымъ Славянствомъ — и невольно будетъ узнавать въ каждомъ Славянинѣ своего ближняго. Тутъ съ разсказами о Кириллѣ и Меѳодіи (прямо по Нестору), съ описаніями Славянъ и разныхъ Славянскихъ городовъ г. Гильфердинга, опять мѣшаются стихотворенія нашихъ поэтовъ; приводятся еще и пѣсни Сербовъ, Болгаръ, Словаковъ и другихъ — и о Маркѣ Кралевичѣ, и объ царѣ Лазарѣ, и объ Людишѣ и Люборѣ. Отдѣлъ Славянскихъ пѣсень замыкается Русскими, какъ Малороссійскаго, такъ и Великорусскаго оттѣнка.

Наконецъ, четвертый отдѣлъ заключаетъ въ себѣ „*Духовно-нравственное*“. Нѣтъ надобности долго останавливаться надъ доказательствомъ не только умѣстности, а и совершенной необходимости этого отдѣла въ книгѣ для первоначальнаго чтенія, особенно назначаемой для народа. Наша старина, не имѣя школъ и науки, почерпала уроки истинно-человѣческаго именно изъ этой области,— области, гдѣ нѣтъ ничего условнаго, а слѣдовательно все въ ней истинно-человѣческое, притомъ и общечеловѣческое въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Но что было встарь, то и сейчасъ есть: тоже можно сказать и сейчасъ о нашемъ народѣ, обо всемъ православномъ крестьянствѣ. Не имѣя школъ и науки, оно тѣмъ сильнѣе ищетъ именно въ области „духовно-нравственнаго“ возмѣстить всѣ свои общечеловѣческіе идеалы;—и по скольку эта область наиболѣе выражаетъ себя въ церкви, по стольку и нашъ народъ видитъ для себя въ церкви, кромѣ инаго ея значенія, значеніе чисто-воспитательное. Нѣтъ мудренаго, поэтому, что и подъ самымъ выраженіемъ: „духовно-нравственное“ народъ привыкъ разумѣть по преимуществу все то, что запечатлѣно нѣкоторой церковностью. Составителю „Пчелы“ нельзя не сказать спасибо за этотъ четвертый отдѣлъ его книги — и намъ опять пріятно прибавить, что онъ составленъ удачно и не менѣе талантливо, чѣмъ всѣ прочіе. Тутъ, со сказаніями о преподобномъ Сергіѣ, о святителяхъ Московскихъ — изъ Временника, Степенной книги и Никоновой лѣтописи — читатель найдетъ еще духовныя стихотворенія; кромѣ того такія статьи, какъ извѣстное „Свѣтлое Воскресеніе на Руси“ Гоголя, или опи-

саніе Іерусалимской службы инока Парѳенія. Тутъ-же прочтутъ оду „Богъ“ Державина, переложеніе Псалмовъ Глинки, Языкова и др., „Всенощная въ селѣ“ изъ поэмы Бродяга; „Молитву“ Пушкина. Здѣсь-же особенно пріятно поражаетъ стихотвореніе Ломоносова къ „Русскимъ учащимся юношамъ“, которыхъ Русь

... видѣть таковыхъ желаетъ,
Какихъ зоветъ отъ странъ чужихъ.

Надо прибавить, что къ тексту приложено множество рисунковъ, и они очень оживляютъ изданіе. Выборъ картинокъ чрезвычайно удаченъ: это энциклопедія всего занимательнаго для народа въ Славянскомъ, Русскомъ и по преимуществу Русско-Московскомъ мірѣ. Тутъ онъ найдетъ столь популярныя у насъ изображенія и царь-пушки, и царь-колокола, и Ивана Великаго, и по возможности, какъ всѣ достопамятности нашей старины, такъ и всѣ извѣстнѣйшія дива новаго времени.

Отъ души желаемъ успѣха составителю и издателю этого новаго народнаго сборника; тѣмъ болѣе, что у насъ на Руси, еще скорѣе, чѣмъ въ древнемъ мірѣ, приходится повторять:

Habent sua fata libelli.

Газета „День“ 1865 г.

„Исторія Россіи въ картинахъ“. Текстъ и картины составлены *Золотовымъ*. Изданіе Дементьева.

Г-ну Золотову вспало на умъ—„ознакомить наглядно дѣтей и взрослыхъ простолюдиновъ съ важнѣйшими событіями въ жизни Русскаго народа“. Онъ составилъ для этой цѣли картины, а къ нимъ—объяснительный текстъ. Съ текстомъ внизу, эти картины отпечатаны на отдѣльныхъ полулистахъ большаго размѣра печатной бумаги, такъ что всѣ „могутъ быть наклеены, каждая отдѣльно на картонѣ, и въ такомъ видѣ развѣшаны по стѣнамъ“. Это, по мнѣнію г-на Золотова, особенно не худо-бы въ казармахъ, „потому что въ свободное время соберется около картины кружокъ любопытныхъ и одинъ грамотный, читая вслухъ текстъ, знакомитъ и неграмотныхъ съ событіями Русской исторіи“.

„Ну солдатушки-ребятушки, слушай!.. разскажу я вамъ, значитъ, про то, какъ земля наша Русская широко раскинулась“! въ такомъ казарменномъ духѣ цѣлая школа въ былое время писала

свои разсказы по части Русской исторіи и назначала ихъ именно для „дѣтей и взрослыхъ простолюдиновъ“. Сознательно или безсознательно, г-нъ Золотовъ явился послѣдователемъ такой школы. Правда, самой этой прибаутки, т. е. *солдатушекъ-ребятушекъ* у него уже нѣтъ въ текстѣ; однако вся музыка этой прибаутки такъ и слышится уху читателей въ его отборныхъ выраженіяхъ и во многихъ оборотахъ. Нѣтъ! текстъ г-на Золотова ничуть не простой нашъ народный языкъ, а фальшивѣйшая подъ него поддѣлка. Это какая-то пародія на дѣйствительную молодцоватость и мѣткость бойкаго русскаго языка,—не живая, свободная рѣчь, а отталкивающая гримаса.

„Варяги ходили торговать, а подчасъ и пограбить, на это они были молодцы!“, „такъ-то, вотъ, и начало слагаться Русское царство!“, „а изъ дружины-то мало кто воротился!“ „ну да вышло не такъ, какъ онъ думалъ!“, „было таки, значитъ, съ кѣмъ повоевать!“, „они, вѣстимо, полетѣли“, „можно было потѣшиться Русскому мечу“, „однимъ словомъ, въ волюшку потѣшились!“.... спрашиваемъ у любаго читателя: неужели это не поддѣлка? неужели это не гримаса? Кто, впрочемъ, и не послышалъ бы еще фальши въ этихъ отрывочно-приведенныхъ изрѣченіяхъ, тотъ непремѣнно ее почувствуетъ, читая ихъ въ подлинникѣ: тамъ весь этотъ букетъ пряностей псевдо-народнаго вкуса перемѣшанъ еще цвѣтами краснорѣчія самого автора, уже чисто въ Кайдановскомъ духѣ.

„Не дремалъ Ангелъ-хранитель Новгорода!“, „случай къ этому не замедлилъ представиться“, „отсюда шагнулъ на Кавказъ“, „ни стрѣла, ни копье, ни мечъ вражій не коснулись его“, „нарочито для этого собранныхъ“, „будучи далеко умнѣе всѣхъ прочихъ князей, и будучи всегда самъ вѣренъ своему слову“ и пр. и пр. такими тяжеловѣсно-книжными оборотами и риторикой перепутаны еще тѣ выходки лже-народнаго вкуса. „Къ этому-то сращенію частей въ одно цѣлое сдѣлалъ рѣшительный шагъ Калита!“ или: „такимъ, хоть и кровавымъ путемъ, но опять вся Русская земля пришла подъ управленіе одного князя“ и т. п. вотъ какими „нарочитыми предложеніями“ вяжутся у г-на Золотова всѣ эти *такъ-то вотъ*, и *вѣстимо!* Отсутствіе строгаго грамматическаго или синтаксическаго смысла переходитъ еще у г-на Золотова подчасъ въ отсутствіе строгаго смысла вообще. „Но, раболѣпствуя передъ ханами, говоритъ г-нъ Золотовъ объ Александрѣ Невскомъ, онъ требовалъ за то полнаго повиновенія отъ всѣхъ ему подвластныхъ“. Строгаго смысла, какъ ви-

дитъ самъ читатель, въ этой фразѣ, конечно, нѣтъ. И это *но* и это *за то* тутъ рѣшительно не у мѣста; они даже могутъ сбить съ толку дѣтей и „взрослыхъ простолюдиновъ“.

Только казарменнымъ настроеніемъ духа можно объяснить себѣ многія выходки г-на Золотова не только въ текстѣ, но еще и въ самихъ картинахъ: выборъ сюжета для нихъ, большею частью, нельзя назвать счастливымъ. Картина, изображающая выковыриванье глаза Васильку (вѣрнѣе нельзя передать впечатлѣнія, производимаго ею), особенно поражаетъ странностью; если въ самомъ выборѣ такого сюжета сказалось мало художественнаго такта, то уже въ исполненіи—поражаетъ его совершенное отсутствіе. Картины, впрочемъ, вообще говоря, удачнѣе текста и много его удовлетворительнѣе; въ нихъ, по крайней мѣрѣ, замѣтно стараніе собрать какъ можно болѣе характеристическихъ чертъ всего домашняго обихода нашихъ предковъ.

„Обрадовались тупоумные Древляне“, говоритъ г-нъ Золотовъ, описывая извѣстное мщеніе Ольги, и подготовили вдоволь меду.... вотъ и началась тризна, сама Княгиня подчуетъ. „Ну, угостились-же они своимъ медкомъ! такъ угостились, что всѣ полегли у чановъ и заснули, тогда дружина перебила ихъ всѣхъ, какъ тетеревей“. Или въ томъ-же описаніи: „Пошли старшины Древлянскіе въ баню; но какъ только стали они париться, такъ и поддали имъ славнаго пару: заперли баню да и зажгли ее со всѣхъ четырехъ сторонъ“. Спрашиваемъ всякаго читателя: въ простомъ историческомъ изложеніи—такое, что называется, отливанье пуль со стороны автора и съ *поддачей пару* и съ *медкомъ, которымъ ужъ и угостились-же Древляне!*... неужели годится для дѣтей? неужели и эти мѣста писаны для „нагляднаго ознакомленія дѣтей“ съ Русской исторіей?.. Изложеніе какого-бы ни было историческаго факта само по себѣ не можетъ быть оскорбительно; но здѣсь въ высшей степени оскорбителенъ тонъ изложенія, дурной тонъ самаго автора,—и возможно-ли, желательно-ли по крайней мѣрѣ, чтобъ онъ приходился по вкусу даже въ казармахъ?

Писать для дѣтей вовсе не такое легкое дѣло, какъ это, можетъ быть, полагаетъ г. Золотовъ. Что свое изданіе онъ одинаково назначаетъ какъ для дѣтей, такъ и для „взрослыхъ простолюдиновъ“, это вполнѣ понятно и весьма естественно; у тѣхъ и у другихъ, дѣйствительно, много общаго. Главнымъ образомъ, то у нихъ общаго другъ съ другомъ, что, какъ дѣти такъ и „взрослые

простолюдины", особенно чутки ко всякому представленію лишь въ его поэтической оболочкѣ. Но поэтому-то и выходитъ, что всякій авторъ, желающій писать для дѣтей или для „взрослыхъ простолюдиновъ", долженъ быть, болѣе или менѣе, и самъ поэтомъ.— Подладиться подъ уровень дитяти не то значитъ, чтобы взрослый человѣкъ присѣлъ къ полу и запѣлъ фистулою; онъ долженъ говорить своимъ голосомъ и ни мало не стѣсняться своимъ большимъ ростомъ. Дѣтская, безъискусственная простота, не мудрствующая лукаво—вотъ что̀, прежде всего, нужно дѣтскому писателю, а также и писателю для „взрослыхъ простолюдиновъ".

Наши древніе лѣтописцы наиболѣе отличаются такою безъискусственностью, про нихъ-то собственно и сказано слово, что они писали, *не мудрствуя лукаво*. Тонъ нашихъ древнихъ лѣтописей, поэтому, и подходитъ наиболѣе подъ потребности какъ дѣтей, такъ и взрослыхъ простолюдиновъ—умѣйте только понять и оцѣнить сами эту простоту и безъискусственность разсказа лѣтописцевъ,— безъискусственность и простоту еще цѣлаго ихъ созерцанія; и передайте то и другое въ своей книгѣ, назначаемой для дѣтей. Отлично, если нынѣшній писатель самъ одушевленъ простодушнымъ чистосердечіемъ нашихъ благочестивыхъ лѣтописцевъ и самъ, какъ они, въ святынѣ души своей умалился до дитяти,—такой художникъ будетъ сокровищемъ для дѣтей и для „врослыхъ простолюдиновъ". Они поймутъ каждое его слово, будутъ сочувствовать всякому его душевному движенію. Они заслушаются его разсказовъ и безъ конца будутъ просить все новыхъ и новыхъ. Но и для писателя, искушеннаго всею мудростью человѣческаго развитія, писателя, соединяющаго въ себѣ съ міровымъ созерцаніемъ Гёте даже ясновидѣніе самого Шекспира, ничуть еще не отнята возможность понятно писать для дѣтей и для „взрослыхъ простолюдиновъ", быть ихъ лучшимъ и желаннѣйшимъ собесѣдникомъ. Такой-то, конечно, писатель и почувствуетъ глубже другихъ всю обаятельность, всю, такъ-сказать, искренность каждаго образа, каждаго представленія и всякаго описанія, которые мы поминутно встрѣчаемъ въ нашихъ лѣтописяхъ. Такой писатель, разсказывая напримѣръ о чудѣ съ Владиміромъ въ купели, съумѣетъ передать съ удивительнымъ искусствомъ всю безъискусственность и простоту нашего лѣтописнаго разсказа въ этомъ мѣстѣ. Сказывая, напримѣръ, о томъ, какъ Греческій монахъ смутилъ князя Владиміра картиной Страшнаго суда, онъ не подпортитъ цѣльнаго и худо-

жественнаго впечатлѣнія самого читателя никакимъ съ своей стороны пустословіемъ. Посмотримъ-же теперь, какъ г-нъ Золотовъ (въ расказѣ хоть бы именно объ этомъ Византійскомъ монахѣ, принесшемъ картину Страшнаго суда на показъ Владиміру) сейчасъ теряется въ своемъ достоинствѣ историка, и кстати-некстати топорщится прослыть передовымъ человѣкомъ. „Картина эта, говоритъ онъ, хотя конечно въ сущности нелѣпая, придуманная только на страхъ тѣмъ, которые еще крѣпко были слѣпы своимъ разумомъ, сильно однакожъ подѣйствовала на Владиміра и присутствовавшихъ при этомъ боярѣ". Другой примѣръ въ этомъ родѣ: передавая художественный лѣтописный разсказъ о дѣтски-простодушномъ усердіи новообращенныхъ Славянъ (которые, вчера еще бывъ язычниками, сегодня разбивали и топтали своихъ идоловъ, низвергли и били Перуна) посмотрите опять, какъ г. Золотовъ, съ своей стороны, приходитъ за нихъ въ благородное негодованіе и горячится: „Конечно, говоритъ онъ, это было безсмысленно, просто глупо, потому что деревянный чурбанъ ничего не могъ чувствовать!" и пр. и пр. По поводу введенія христіанства въ Новгородѣ, вотъ какія разсужденія приходятъ на умъ г. Золотову. „Такъ совершилось крещеніе и во многихъ мѣстахъ, да и почти вездѣ, безъ должнаго подготовленія къ великому таинству. Если еще теперь нашъ неграмотный народъ большею частью не знаетъ ни молитвъ, ни заповѣдей—хотя уже около 8 вѣковъ Русская земля оглашается словомъ Божіимъ, такъ можно-ли обвинять нашихъ первыхъ христіанъ—что они съ истинами христіанской вѣры смѣшивали свои языческія понятія. Такъ напр. они думали, что христіанскій угодникъ св. Власій то же самое (?!), что былъ ихъ идолъ Волосъ, и молились ему о сохраненіи стадъ, какъ прежде молились о томъ Волосу. Въ пророкѣ Иліи они признали (?!) своего прежняго Перуна, который, какъ они думали (?!), ушелъ съ земли на небо и тамъ разъѣжая въ огненной колесницѣ, во время грозы гремитъ и бросаетъ молніи. Такъ какъ большая часть нашего народа, по нѣкоторымъ обстоятельствамъ, осталась при той-же умственной слѣпотѣ, въ какой находились и язычники, поэтому (?), многіе языческіе обычаи и до сихъ поръ удержались въ нашемъ простонародіи. Такъ напр. и теперь еще въ день Іоанна Крестителя, котораго простолюдины называютъ Иваномъ Купала, производится очищеніе водою и огнемъ...." и пр. и пр.

Всѣ эти жиденькія разсужденійца въ книгѣ г. Золотова, всѣ

эти выходки его благороднаго негодованія по тому поводу, что обращенные Славяне били и топтали вдоловъ, всѣ эти заявленія о себѣ, какъ о передовомъ человѣкѣ, по нашему мнѣнію, могутъ значить только одно. Авторъ „Исторіи Россіи въ картинахъ", очевидно, вовсе не понимаетъ эпическаго склада, во-первыхъ, нашихъ лѣтописныхъ разсказовъ а во-вторыхъ онъ не понимаетъ еще и всего эпическаго строя, не исключительно даже Русской, а вообще всякой народной жизни, въ ея бытовой и обрядовой сферѣ. Отъ писателя, обнаруживающаго такое непониманіе, едва-ли возможно требовать знанія, какъ тайнъ народнаго языка, такъ и самого народнаго быта. Ему, въ его положеніи, поневолѣ приходится ограничиться выходками дурнаго вкуса въ мнимо-народномъ духѣ; это понятно.

Не сочувствуй мы превосходной мысли издавать Русскую исторію въ картинахъ для нагляднаго ознакомленія съ нею дѣтей и „взрослыхъ простолюдиновъ", или, по крайней мѣрѣ, существуй у насъ уже много подобныхъ изданій—мы не сказали-бы ни слова о книгѣ г. Золотова. Хорошія изданія сами собой убили-бы дурныя, и Исторія Россіи г. Золотова вытѣснилась-бы изъ употребленія. Но въ этихъ изданіяхъ настоитъ, дѣйствительно, крайняя надобность, а сочиненіе г. Золотова гуляетъ по свѣту одно, безъ всякой конкурренціи: „взрослые простолюдины" и родители дѣтей волей-неволей накинутся, пожалуй, именно на него, на одно это появившееся изданіе. Поэтому мы и сочли долгомъ указать на его яркіе недостатки.

Выпуская въ свѣтъ свою „Исторію въ картинахъ" г. Золотовъ заявляетъ радостную надежду, что „такія картины мало-по-малу, можетъ быть, вытѣснятъ лубочныя", а въ казармахъ, прибавляетъ онъ, ихъ куда много!—Позволимъ и себѣ заявить надежду, еще болѣе по нашему мнѣнію радостную: появятся-же наконецъ, думаемъ, порядочныя руководства къ Русской исторіи, безъ картинъ и въ картинахъ и они, не можетъ быть, а навѣрно, вытѣснятъ изъ употребленія дѣтей и „взрослыхъ простолюдиновъ"—таблицы г. Золотова.

Газета „День" 1865 г.

„**Сынъ.**“ Разсказъ изъ временъ XVII вѣка, *Н. Костомарова.* Спб. 1865 г.

XVII вѣкъ! царствованіе Алексѣя Михайловича!—какое это богатое время для Русскаго романиста, для историческаго повѣствователя. Вслѣдъ за бурями Смутнаго Времени, которыя едва наконецъ заключились при первомъ Романовѣ,—съ другой стороны, уже почти на порогѣ громовой реформы Петра—царствованіе Алексѣя Михайловича истинно является какимъ-то свѣтлымъ, благословеннымъ промежуткомъ. Находили, правда, и тутъ разныя бѣды на государство: происходила война съ Польшей, явился Стенька Разинъ.... но всѣ бѣды, скоплявшіяся тогда надъ Россіей, расходились какъ-то легко и безоблачно и подчасъ несли за собою еще лучшее вёдро. Народъ приписывалъ это особенной милости Бога—къ своему добродушному и милосердному государю. Личный характеръ царя Алексѣя Михайловича былъ, въ самомъ дѣлѣ, такóвъ что долженъ былъ возбуждать сочувствіе народа. Это былъ въ высшей степени Русскій человѣкъ, смиренный, незлобивый и правдивый. Царь, правда былъ извѣстенъ своей вспыльчивостью; но эта вспыльчивость поминутно переходила у него то въ наивный попрекъ грѣхамъ своимъ, то еще въ добродушную шутку надъ самимъ собою. Всегда здоровый тѣломъ, всегда добрый и веселый духомъ, онъ любилъ еще это свойственное его доброй природѣ довольство разливать на всѣхъ и вокругъ себя... Эту бодрость и веселость душевную, впрочемъ, порождала сама чистая, безупречная жизнь царя, вся глубокая нравственность этого богобоязненнаго и благочестиваго государя. Благодушный отецъ, какъ своего семейства такъ и своего народа, онъ въ сердцѣ носилъ постоянную увѣренность въ своей доброй совѣсти и въ строгомъ исполненіи своихъ обязанностей. Многіе прекрасные порывы его души хорошо обличали въ этомъ добромъ сынѣ Русскаго народнаго непосредственнаго быта—еще человѣка, способнаго понимать всѣ тончайшія нити, всѣ самыя сложныя сочетанія людской правды или неправды, силы или немощи человѣческой. Довольно прочитать его знаменитыя письма, собранныя и изданныя извѣстнымъ библіографомъ П. И. Бартеневымъ, или напр., прослѣдить его отношенія къ инокамъ любимаго Саввинскаго монастыря, наконецъ разобрать все его поведеніе въ дѣлѣ съ Никономъ, его бывшимъ пріятелемъ,—чтобы исполниться къ нему глубокой симпатіи еще въ

наше, такъ хвалящееся своей „гуманностью“, время,—чтобы живо почувствовать всю положительную сторону нашей древней Руси, нашего—нами запамятованнаго—Русскаго быта.

Царствованіе Алексѣя Михайловича, кромѣ того, важно въ другомъ отношеніи. Надо помнить, что весь циклъ преданій царскаго быта, именно въ періодъ Алексѣя Михайловича, достигаетъ полной своей апогеи,—царскій періодъ въ лицѣ именно Алексѣя Михайловича нашелъ себѣ самое яркое и полное выраженіе. Вслѣдъ за нимъ вскорѣ является уже, такъ называемый, имперскій періодъ; а изъ предшествовавшихъ царей—если и можно на кого указать какъ бы въ соотвѣтствіе—то развѣ-развѣ на Ѳеодора Іоанновича. Когда авторъ романа „Князь Серебряный“ захотѣлъ идею царя строго выдержать въ своемъ Иванѣ Васильевичѣ Грозномъ, то исторія за данный моментъ, очевидно, ему не ссужала довольно живыхъ красокъ и не представляла еще достаточнаго матеріала для того, чтобы выдерживать эту идею во всей вѣрности ея бытовыхъ подробностей. По крайней мѣрѣ, всѣ мѣста въ романѣ, гдѣ выставлено отношеніе самого народа къ царскому достоинству Іоанна—никакъ ужь не поражаютъ вѣрностью. Бытъ временъ царя Алексѣя Михайловича, въ нѣкоторомъ смыслѣ, даже можно будетъ вообще назвать апогеей самого древняго Русскаго быта. Всѣ формы жизни древней Руси сложились къ этому времени уже въ рѣзко-законченные типы; самое боярство никогда еще не процвѣтало у насъ такимъ пышнымъ цвѣтомъ, какъ во времена Алексѣя Михайловича; дьячество, воеводство, наконецъ жизнь помѣстнаго дворянства и крестьянства точно также, къ этому времени, уже сполна опредѣлились. Разные обряды и церемоніи, въ которыхъ несомнѣнно проявлялась національная жизнь народа и которые однакожъ, со времени единодержавія, только исподволь вносились въ общій кругооборотъ года—имѣли къ этому времени уже за собою давность вѣковаго преданія. У Котошихина, при всей его злобной ненависти къ Россіи, слышишь въ каждой строкѣ эту цѣльность описываемаго имъ быта, эту нерушимую прочность и законченность его,—сказать бы: какую-то обаятельную, эпическую стройность всей той патріархальности (не въ пошломъ смыслѣ этого, черезъ-чуръ затасканнаго у насъ слова), которую самъ онъ старался изо всѣхъ силъ только очернить и выставить какъ можно ненавистнѣе.

Царствованіе Алексѣя Михайловича,—скажемъ въ заклю-

ченіе, — при всей своей старинѣ — не на столько еще и удалено отъ насъ, чтобы художникъ вовсе не угадывалъ хотя нѣкоторыхъ сторонъ его — въ дѣйствительности современной, — чтобы онъ не чувствовалъ хотя какихъ-нибудь его остатковъ въ самой нынѣшней жизни. Сказаннаго, полагаемъ, уже слишкомъ довольно, чтобы придти къ такому заключенію: если мы въ настоящее время жадно бросаемся на все, что̀ хотя сколько-нибудь служитъ къ разъясненію нашей народности и знакомитъ насъ съ доброй положительною стороною нашей древней Руси, — то именно періодъ Алексѣя Михайловича способенъ наиболѣе внушить художнику свѣтлыхъ мыслей, дать внятно-говорящихъ образовъ и выразительныхъ картинъ — для удовлетворенія такой задачи. Дешевое остроуміе пожалуй упрекнетъ насъ въ томъ, будто мы требуемъ отъ историка однѣхъ лишь розовенькихъ картинокъ, или напр. что мы темныхъ сторонъ XVII вѣка не видимъ. Но упрекъ такого рода, ясно, сюда не относится.

Посмотримъ же, какъ воспользовался г. Костомаровъ этимъ періодомъ? посмотримъ, какія картины особенно дороги ему въ этомъ періодѣ — и какъ онъ, почтенный историкъ, уяснилъ себѣ духъ и смыслъ разбираемой эпохи? Цѣль настоящаго разсказа (надобно къ тому прибавить, свидѣтельствуетъ самъ г-нъ Костомаровъ въ послѣсловіи), „цѣль настоящаго разсказа была представить, въ повѣствовательной формѣ, черты нравовъ, понятій, обычаевъ и домашняго быта въ XVII вѣкѣ“. — „Для этого, прибавляетъ онъ, избраны историческая эпоха и частное событіе такого рода, гдѣ-бы удобно было связать поболѣе разныхъ явленій старинной жизни“.

Вотъ какого рода это частное событіе и вотъ къ чему сводятся у г-на Костомарова „разныя явленія старинной жизни“, — передадимъ ихъ вкратцѣ. Дворянскій сынъ Осипъ Нехорошевъ — герой разсказа — возвращается изъ похода въ Малороссію, на родину. Подъѣзжая къ родному селу, онъ рвется скорѣй обнять, послѣ разлуки, нѣжно-любимую мать и старика отца. Но отецъ его Капитонъ Михайловичъ, оказывается, не только по фамиліи Нехорошевъ, а и по жизни — не хорошій человѣкъ. Осипову мать, а свою жену, онъ, какъ разъ наканунѣ пріѣзда сына, убилъ до смерти палкой въ високъ — и бѣдный Осипъ попалъ въ домъ на отпѣваніе. Онъ видитъ свою родимую — съ запекшейся на вискѣ кровью — въ гробу. Кто бы ни былъ убійца, сынъ отомститъ смерть матери — сію же минуту рождается въ его головѣ рѣшеніе. Оси-

повъ отецъ, Капитонъ Михайловичъ, выходитъ на шумъ изъ своей комнаты; но Осипъ—какъ по тому уже, что съ самаго начала не засталъ отца у гроба при отпѣваніи, такъ и по теперешнимъ отцовымъ рѣчамъ,—въ немъ-то, Капитонѣ Михайловичѣ, и угадываетъ убійцу матери. Мщенье, мщенье и отцу родному! подкрѣпляетъ онъ теперь свое прежнее рѣшеніе и больше ничего не хочетъ имѣть общаго съ дурнымъ Нехорошевымъ. Осипъ, для исполненія задуманной цѣли, отправляется въ шайки—только-что кстати появившагося къ этому времени—Стеньки Разина. Онъ хочетъ извести своего отца, сжечь до тла всю его усадьбу—и ведетъ въ этомъ смыслѣ переговоры съ разбойниками. Но пока онъ съ ними переговаривается, пока еще совершаетъ нѣкоторые предварительные подвиги, дурной Нехорошевъ успѣлъ уже натворить много новыхъ чудесъ. При помощи одного изъ своихъ холопей, онъ отравилъ мужа красавицы Неонилы Филипповны и съ ней повѣнчался; на своей свадьбѣ онъ опоилъ всѣхъ гостей мертво-пьяными,—услыхавъ, что сынъ идетъ съ погромомъ на усадьбу—тайкомъ улизнулъ отъ гостей. Хорошій Нехорошевъ, кромѣ пьяныхъ гостей, никого не засталъ въ родномъ селѣ—и все-таки разорилъ и пожегъ тутъ все до основанія. Скоро самому Стенькѣ Разину отъ царскихъ войскъ пришлось плохо, а шайка подъ предводительствомъ Осипа Нехорошева и вся попалась въ плѣнъ. Недолго удалые томились въ неволѣ на воеводскомъ дворѣ; всѣхъ ихъ предали смерти: кого посадили на колъ, кого повѣсили. Осипъ на допросѣ сказалъ по всей правдѣ,—онъ не потаилъ да и не умалилъ ни одного изъ совершенныхъ имъ злодѣяній. Онъ указывалъ только—какія ужасныя причины заставили его изъ дворянина, вѣрнаго слуги государева, превратиться въ сообщника холопьихъ шаекъ! Онъ высчиталъ всѣ злодѣянія изверга, своего отца—и разсказалъ свою ужасную повѣсть. Воевода отвѣтилъ: „врешь“—и велѣлъ его посадить на колъ. „Медленно колъ пробивалъ ему кишки по мѣрѣ того, какъ тѣло его отъ тяжести опускалось, руки у него были завязаны назадъ... Въ невыразимыхъ мученіяхъ, Осипъ оставался одинъ среди гніющихъ труповъ, торчащихъ и висящихъ. Онъ мучился такъ почти сутки; воронъ выклевалъ ему глазъ еще живому...“—А что-же дурной Нехорошевъ? „Капитонъ Михайловичъ со своей молодой супругой возвратился въ Нехорошево, выпросилъ у правительства милость: „сто рублевъ на обстройку, потому что разоренъ отъ воровъ“ и возобновилъ усадьбу. Пируя на старомъ мѣстѣ въ новыхъ

палатахъ съ прежними своими гостями, онъ—на припоминаніе одного изъ нихъ о несчастномъ Осипѣ—отвѣтилъ такъ... Но передадимъ знаменательное заключеніе во всей красотѣ подлинника:—„да погибнетъ память его отъ земли живущихъ! сказалъ отецъ Капитонъ Михайловичъ о своемъ сынѣ. Имя его никогда не вспомянется въ дому семъ! А кто его добромъ или худомъ мнѣ припомнитъ, того прошу не жаловать за порогъ нашъ.

— Аминь! сказалъ священникъ".—Тутъ поставлена точка,—и, какъ частное событіе, такъ и разныя явленія старины окончились.

Прочитавъ такое странное содержаніе повѣсти, читатель увидитъ безъ сомнѣнія что оно ничуть не выражаетъ духа исторической эпохи, а больше характеризуетъ мрачное настроеніе души самого автора. Въ самомъ дѣлѣ, въ какой эпохѣ—начиная отъ Каина и Авеля и до нашихъ дней—не найдемъ болѣе или менѣе видныхъ образчиковъ человѣческой злости и глупости и примѣровъ всякаго безобразія! Кромѣ второстепенныхъ подробностей,—въ описаніи усадебъ или состава разбойническихъ шаекъ именно Стеньки Разина и тому подобныхъ, (подробностей, которыхъ совѣстно-бы и не знать такому историческому повѣствователю, какъ г-нъ Костомаровъ) которыя наконецъ въ разсказѣ составляютъ одну только внѣшность и служатъ часто ему канвою—что̀ тутъ изъ цѣлаго содержанія можетъ служить характеристикой эпохи Алексѣя Михайловича? Напротивъ того, весь этотъ намѣтанный соръ изъ образцовъ человѣческой глупости, злости и подлости,—все это подведеніе человѣческихъ дѣяній и всей жизни къ одному итогу нравственнаго уродства и полнѣйшаго безобразія,—все это мрачномысліе, наконецъ, не обличаетъ-ли говоримъ, въ самомъ авторѣ... по малой мѣрѣ: мизантропа, неспособнаго взирать съ ясностью на исторію человѣчества вообще, а на Русскую исторію—въ особенности.

Читатель вправѣ даже, сознаемся, заподозрить наше изложеніе повѣсти г-на Костомарова въ правдивости: онъ пожалуй, подумаетъ, что мы съ намѣреніемъ скрадывали въ „Сынѣ" все то, что согрѣто теплымъ участіемъ автора и проникнуто дыханіемъ его нѣжной пріязни къ Руси. Читатель подумаетъ, пожалуй, что мы съ намѣреніемъ искажали самое еще это мрачномысліе поэта, въ которомъ надо было угадывать скорѣе капризъ и неуловимую прихоть шутливаго творчества, чѣмъ какую-то ненависть къ людскому роду

вообще, а къ „мирной Московіи“ въ особенности. Но, провѣряя наше изложеніе въ самомъ подлинникѣ, читатель встрѣтитъ вотъ развѣ какого рода подробности, — высчитаемъ нѣсколько примѣровъ. Кромѣ отца, у Осипа было еще двое дядей, которые — еслибъ были живы — могли-бы пожалуй удержать своего племянника, чтобъ онъ не поступалъ въ разбойничьи шайки; но одинъ изъ нихъ умеръ отъ ранъ боевыхъ, не доживъ до старости, — другой, Иванъ, умеръ слѣдующимъ образомъ. Во время межеваго разбирательства въ Нехорошовкѣ „..слово за слово, дали рукамъ волю, принялись потомъ за дубье; Иванъ бросился въ середину, и кто-то неосторожно хватилъ его въ високъ — тутъ Иванъ Нехорошевъ и душу Богу отдалъ“. Могъ-бы еще остановить Осипа ихъ сельскій священникъ; сынъ затаивъ месть въ груди и не занося на отца руку, могъ-бы предоставить убійцу на судъ Богу, а самъ остался-бы на весь вѣкъ мученикомъ или монахомъ; но дѣло въ томъ, оказывается, что попъ Іоаннъ былъ и врунъ и воръ, хуже самого Стеньки Разина. Хотя Степанъ Тимоѳеевичъ топилъ, между прочимъ, печи живыми людьми; но его еще авторъ „Сына“ нашелъ возможность идеализировать. Стенька, напр., не слишкомъ позволялъ козакамъ трогать чужихъ женъ и вообще противился ихъ сластолюбію за тѣмъ, чтобъ они крѣпче суровѣли въ своемъ походномъ бытѣ. Герой г-на Костомарова идеализируетъ эту черту такимъ образомъ. „Да развѣ мы — обратился Осипъ къ козакамъ, когда они хотѣли похватать чужихъ бабъ, на то идемъ, чтобъ людей зря-обижать? А знаешь-ли ты, какъ батюшка Степанъ Тимоѳеевичъ наказывалъ въ Астрахани козаковъ за безчинства, что творили надъ женами посадскими, когда ихъ мужья уже пристали къ козачеству!“ и т. п. Но попа Іоанна даже и къ Стенькѣ не согласился приравнять авторъ „Сына“. На сѣтованія Осипа по своемъ отцѣ, убійцѣ его матери, вотъ какія нелѣпости проповѣдуетъ Іоаннъ: „И церковь повелѣваетъ мужу наказывать по винѣ жену свою, и кто наказанія женѣ не творитъ, тотъ самъ себѣ грѣхъ на душу возлагаетъ. Отецъ твой за вину ея, якоже подобаетъ мужу учити жену свою, ударилъ ее легко“... и пр. и пр., при томъ Іоаннъ тутъ же нагло богохульствуетъ и ничего больше не хочетъ отъ Осипа, какъ подачки, „по душѣ приноса“. — Оказывается еще, что не смотря даже на плохую компанію въ отцовской тюрьмѣ съ Іоанномъ, Осипъ не вдругъ развратился сердцемъ. Онъ все-таки не рѣшился, какъ сынъ, занести руку на отца; онъ придумалъ обра-

титься къ правосудію воеводы. Но воевода, вмѣсто того, чтобы защитить праваго, т. е. сына, и осудить виновнаго, т. е. отца—самъ еще больно „отодралъ батогами“ бѣднаго Осипа, и всѣ остальныя подробности встрѣчаются въ такомъ-же духѣ. Не выписываемъ, напримѣръ, подробностей женитьбы Капитона Нехорошева на Неонилѣ Филипповнѣ; отъ холопей, которые тутъ принимаютъ горячее участіе, до гостей опившихся на свадьбѣ... все подобрано одно лучше другаго.

Читателю, послѣ всего, простительно будетъ увлечься слѣдующей догадкой. Хотя г-нъ Костомаровъ и оговорилъ въ своемъ послѣсловіи, что вся цѣль его разсказа познакомить читателя съ духомъ избранной имъ эпохи,—однакожъ въ авторѣ „Сына“ не пересилилъ-ли художникъ историка? не отдался-ли онъ исключительно художественной сторонѣ своей задачи въ изображеніи людскихъ пороковъ вообще и древней Руси—по преимуществу? Можетъ быть, его повѣсть „Сынъ“—мало удовлетворяя исторической задачѣ, блеститъ всѣми достоинствами художественнаго произведенія, и является истиннымъ chef d'oeuvre искусства? Анахронизмы,—даже совершенныя невѣрности въ историческомъ отношеніи—случаются даже у Шекспира; тѣмъ не менѣе однакожъ геній великъ и славенъ. Британскій поэтъ, изъ узкаго національнаго чувства, могъ наклеветать на Іоанну д'Аркъ, выставивъ непорочную дѣву вѣдьмой разврата—тѣмъ не менѣе однакожъ, въ самой этой піесѣ, не какъ историкъ, а какъ художникъ онъ остается великъ и силенъ по прежнему, какъ и въ остальныхъ сочиненіяхъ. Къ сожалѣнію и въ этомъ отношеніи критику—кромѣ развѣ Малороссійскаго казака Кручи—не надъ чѣмъ будетъ остановиться въ повѣсти: „Сынъ“. Мертвенность, сухость всего содержанія, несогрѣтаго ни даже намекомъ на какое-нибудь теплое участіе самого автора къ выбранной имъ темѣ жестоко отомстила сама за себя автору „Сына“—мертвенной сухостью всего изложенія отъ первой строки до послѣдней. Книжность языка самого автора, ходульность рѣшительно каждой фразы главнаго героя, какая-то поддѣлка подъ языкъ старинныхъ книжниковъ въ рѣчахъ попа Іоанна и другихъ дѣйствующихъ лицъ—сплошь непріятно поражаютъ читателя. Мы уже не говоримъ о такого рода неточностяхъ выраженія, которыя, можетъ быть, у г-на Костомарова находятся въ связи съ субъективными историческими вѣрованіями: такъ, напримѣръ, тогдашнее Русское государство и самый народъ онъ величаетъ „Московіей“,—мы неостанавливаемся и надъ этими постоянными „сколь“ и

„столь“, надъ неуклюжими причастіями и дѣепричастіями, которыми испещрены у него всѣ описанія. Опускаемъ и это множество тяжеловѣсныхъ оборотовъ и неровностей слога, которыя однакожъ если извинительны въ бѣгдой журнальной, хотя-бы и исторической статьѣ, то ничуть не извинительны въ такъ называемой, изящной словесности: въ романѣ или въ повѣсти. Но въ самыхъ еще патетическихъ сценахъ рѣшительно не чувствуется никакого оживленія; въ самыхъ страстныхъ рѣчахъ его героевъ—ни одного живаго слова, ни малѣйшаго лирическаго движенія.

Вотъ какимъ языкомъ ведется повѣсть временъ царя Алексѣя Михайловича,—представимъ примѣры на выдержку. „Стояли башни: одна изъ нихъ было четвероугольное зданіе съ претензіей бѣжать вверхъ“; „Капитонъ шолъ позади съ кислою миной“, „служилые для эффекта ударили въ тулумбасы“, „въ недоумѣніи Осипъ сдѣлалъ нѣсколько ступеней на лѣстницу“—„Закрывъ руками лице, Осипъ припалъ къ изголовью скамьи и долго рыдалъ, потомъ вскочилъ, прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ, ударилъ себя въ грудь и, ставъ на колѣни передъ образомъ, произнесъ: Господи Боже карателю грѣшниковъ! покарай лихаго человѣка, лишившаго живота матъ мою, хотя-бы то отецъ мой былъ!“ и пр. Или еще: „Осипъ сидѣлъ опустя голову, нѣсколько разъ закрывалъ лице руками и открывалъ, нѣсколько разъ припадалъ къ изголовью скамьи, потомъ вскочилъ и сказалъ: „Накажу, накажу того, кто лишилъ живота матъ мою!“,.. „Господи! воскликнулъ онъ еще разъ: не дамъ очамъ моимъ дреманія!... Я пойду искать суда, приведу душегубца подъ кару закона!“—„Теперь я оплакалъ тебя, приснопамятная родная матушка и тебя вмѣстѣ батюшка!... Матушка въ сырой могилѣ, а батюшка на кару пойдетъ. Не минешь ты ее! отъ меня не минешь ты ее“... Перелистуйте всю книгу—и вы встрѣтите на каждой страницѣ образцы художественности такого рода.

Скажемъ въ заключеніе, что наряду съ такими красотами проскакиваютъ еще поминутно собственные афоризмы самого автора. Они промелькиваютъ то и дѣло, вставляемые будто между строкъ, какъ бы летучія замѣтки философа, въ краткихъ но сильныхъ рѣчахъ изрекающаго сентенціи на счетъ цѣлаго человѣчества. Авторъ „Сына“, очевидно, истощилъ въ своемъ беллетрическомъ трудѣ весь запасъ

„Ума холодныхъ наблюденій
И сердца горестныхъ замѣтъ“.

„Ключницу билъ мужъ, ключница била старостихъ, а послѣднія били своихъ подручницъ; женщины были подчиненнѣе мужчинъ: кромѣ того, что рабу била другая раба, ее билъ еще и собственный мужъ“... Такія фразы разсыпаны по всему сочиненію. Или: „коль скоро человѣка допрашивали съ видомъ власти и закона о его житьѣ-бытьѣ, надобно было лгать“—такіе афоризмы идутъ у г-на Костомарова рѣшительно ни за что, и совершенно пропадаютъ въ общемъ потокѣ его исторической ипохондріи. Но какъ понравятся вамъ еще, напримѣръ, слѣдующія! Описывая похоронную трапезу, куда, какъ извѣстно, приглашались и нищіе со всего околотка, г-нъ Костомаровъ напутствуетъ свое описаніе такою ироніей: „Христовы слова „нищіе всегда имате“, запечатлѣлись надъ всею исторіею Россіи“!.. Упомянувъ о древнемъ обычаѣ отпускать холопей на волю, г-нъ Костомаровъ ничѣмъ лучше въ этомъ мѣстѣ не нашелъ заключить своего описанія, какъ слѣдующей замѣткой: „и часто господа отпускали холоповъ на волю, а въ часъ смерти наипаче, потому что въ предсмертныя минуты, когда знаешь, что нельзя болѣе дѣлать зла, является охота къ добрымъ дѣламъ“...

Вотъ, что называется: съ двухъ-трехъ словъ, человѣкъ (мы хотимъ сказать ипохондрикъ) вылился весь!

Газета „День“ 1865 г.

„Воевода“ (Сонъ на Волгѣ). Комедія въ пяти дѣйствіяхъ. Съ прологомъ. Въ стихахъ. *А. Н. Островскаго.* („Современникъ“ 1865 г. № 1.)

I.

Идея художественнаго произведенія лишь на столько бываетъ ясна сознанію критика, на сколько она уяснена въ душѣ самого художника и на сколько для него самого не остается въ ней ничего недоговореннаго.

Смутное субъективное чувство поэта; волнующійся рядъ полуясныхъ представленій; цѣлый рой полусознанныхъ-полуразгаданныхъ впечатлѣній,—вотъ съ чего обыкновенно начинается первоначальное раздумье поэта, предтеча трудовъ его. Вотъ на чемъ его застаетъ первый процессъ творчества. Какъ ни ярки законченные ти-

пы Шекспировыхъ драмъ; какъ ни внятно каждая изъ нихъ выговариваетъ свой нескончаемо-глубокій смыслъ, носившійся въ сознаніи автора, — нѣтъ сомнѣнія, что въ душѣ и такого геніальнаго художника они зачинались именно съ темнаго субъективнаго чувства и нѣкоторое время колебались въ формѣ смутныхъ, неопредѣлившихся представленій. Во всякой литературѣ, однакожъ, не рѣдки такія произведенія, окончательная задача которыхъ не довольно была выяснена въ душѣ самихъ авторовъ. Смутное субъективное чувство поэта обличается въ нихъ недосказанностью отрывочностью, загадочностью цѣлаго содержанія. При всемъ блескѣ внѣшней отдѣлки,—при всемъ мастерствѣ, такъ сказать, технической работы—во внутреннемъ содержаніи такихъ произведеній чувствуется какой-то разладъ и рябитъ какая-то пестрота. Наконецъ, при множествѣ отдѣльныхъ картинъ и затрогиваемыхъ мотивовъ, отсутствіе содержанія, собственно говоря, и поражаетъ прежде всего читателя—въ такихъ произведеніяхъ.

Притомъ, одинъ и тотъ-же поэтъ, сильный въ обыкновенной сферѣ своихъ идеаловъ; мощный, пока занятъ обычными темами, наиболѣе сподручными для его вдохновенія, нерѣдко проявляетъ слабость и немощь, какъ только коснется другихъ темъ и перейдетъ къ области несподручныхъ для себя идеаловъ. Въ первомъ случаѣ онъ выступаетъ полнымъ хозяиномъ своей задачи, — всевѣдущимъ творцомъ своихъ образовъ, своихъ героевъ; во всей его работѣ слышна, прежде всего, смѣлость творчества, широта размаха; онъ распоряжается тутъ, какъ власть имѣющій и даетъ чувствовать поминутно, что таланта его для исполненія предположенной задачи хватитъ съ избыткомъ. Во второмъ случаѣ, то есть когда онъ обращается къ такимъ образамъ, которыхъ еле-еле осиливаетъ его фантазія, отношеніе къ нимъ художника становится несмѣло и несвободно; во всей его работѣ поражаетъ робость и какая-то кропотливая сдержанность. Поэтъ, перебирая одну за другой всѣ черточки въ характерѣ своихъ героевъ, рисуетъ ихъ полу-штрихами: онъ лучше предпочитаетъ захоронить ихъ въ тѣни, чѣмъ обличить погрѣшность ихъ возсозданія при болѣе яркомъ освѣщеніи. Онъ скупится тогда на самыя слова своихъ героевъ, лучше желая оставить въ нихъ многое недосказаннымъ на угадъ читателю лишь-бы самому въ ихъ рѣчахъ избѣжать какой-нибудъ нечаянной, легко могущей прорваться, фальши.

Такова именно новая пьеса г-на Островскаго „Воевода, Сонъ

на Волгѣ": въ томъ и состоитъ главный недостатокъ этой, во многихъ отношеніяхъ прекрасной пьесы, что ея художественная задача не довольно выяснилась въ душѣ самого художника. Но помимо вопроса о талантѣ, помимо вопроса еще о любви или художественной охотѣ автора къ выбранной имъ темѣ—тутъ всему виною и другія причины. Талантъ г-на Островскаго нигдѣ можетъ бытъ, не обнаруживалъ такого крайняго напряженія, какъ именно въ этой пьесѣ. Если вы хотите видѣть образчикъ самаго добросовѣстнаго отношенія художника къ выбранной темѣ,—равную артистическую заботливость, какъ о наиболѣе важномъ, такъ и о второстепенныхъ подробностяхъ,—наконецъ, совершенство технической отдѣлки и то, что французы зовутъ le fini de la chose—читайте, именно, Сонъ на Волгѣ; отъ перваго стиха и до послѣдняго отдѣлка доведена здѣсь usque ad unguem. Но таково отношеніе современнаго Русскаго творчества къ идеаламъ былаго времени; такова для насъ въ настоящее время загадочность стариннаго Русскаго быта;—наконецъ, во всемъ нынѣшнемъ современномъ созерцаніи, таково отсутствіе въ насъ глубокихъ народныхъ инстинктовъ,—да такъ еще низокъ у насъ современный уровень исторической науки—что уже самая тема „Воеводы", (это „дѣйствіе, происходящее въ большомъ городѣ на Волгѣ въ половинѣ XVII столѣтія)" служила большою помѣхой автору и являлась истиннымъ камнемъ преткновенія для талантливаго и плодовитаго писателя. Попытка произвести на нашей сценѣ драму вполнѣ-народную—осталась не болѣе, какъ попыткой. Безсиліе современнаго творчества произвести что-нибудь цѣльное, что-нибудь мощно-художественное въ прямо-народномъ смыслѣ, знаменательно въ „Воеводѣ" въ высшей степени—и пьеса эта въ лѣтописяхъ нашего искусства на долго останется памятникомъ именно подобнаго рода безсилія нынѣшней переходной эпохи.

Задумавъ написать пьесу изъ Русскаго, несомнѣнно-народнаго быта,—взявъ матеріаломъ для художественнаго возсозданія историческую эпоху, гдѣ еще не было начатковъ раздвоенія, внесеннаго Петровскою реформой—авторъ, очевидно, самъ не видѣлъ ничего ярко-опредѣленнаго въ смутныхъ, мелькавшихъ передъ нимъ образахъ. Онъ былъ даже въ затрудненіи относительно того, въ какое отношеніе поставить самого себя, современнаго человѣка, къ дѣйствительности, имъ вызванной. Ни въ глубинѣ своего собственнаго созерцанія, ни во всей современной дѣйствительности не на-

ходилъ онъ никакихъ связующихъ нитей съ тѣмъ запамятованнымъ міромъ,— ничего такого, что раскрыло-бы ему внутреннее зрѣніе на ту чуждую для его воображенія эпоху, что пролило-бы яркій свѣтъ для ея объясненія. Все что каждому изъ насъ было знакомо о прошлой старинѣ по неяснымъ слухамъ, что намъ грезилось какими-то отрывочными полузабытыми снами что наконецъ, было намъ доступно болѣе со стороны чисто-внѣшней, такъ сказать декоративной.., все это оживаетъ и въ пьесѣ г-на Островскаго тѣмъ-же смутнымъ сномъ, тѣмъ-же недосказаннымъ намекомъ и также у него, опять болѣе всего, поражаетъ насъ своею чисто-внѣшней, декоративной стороною. „Сонъ на Волгѣ"—такимъ страннымъ заглавіемъ охарактеризовалъ г-нъ Островскій свою пьесу, которая носитъ еще и другое названіе: „Воевода",—и это заглавіе „Сонъ на Волгѣ" сказалось не даромъ. Вся пьеса дѣйствительно имѣетъ характеръ какой-то фантасмагоріи. Какъ въ либретто фантастической оперы мало дѣла до отчетливаго изображенія выводимыхъ лицъ и дѣйствія а уже вполнѣ довольно чтобы слышались лишь общіе ихъ мотивы,—такъ и тутъ. Всѣ мотивы древняго Русскаго быта, всѣ бытовые типы тогдашней эпохи, всѣ наконецъ „картины завѣтной Русской стороны" спѣшатъ втѣсниться въ отмѣренную рамку пяти дѣйствій. Они толпятся безъ строго-опредѣленнаго плана—и художникъ видимо озабоченъ прежде всего только тѣмъ, чтобы,— нужны-ли они, ненужны-ли,—всѣмъ имъ дать равное мѣсто на сценѣ, чтобы не пропустить ни одного изъ нихъ въ своей фантасмагоріи... Эти образы однакожъ, разъ они съ талантомъ вызваны на сцену, сами собой уже начинаютъ громко заявлять о себѣ и предъявляютъ запросъ на ихъ художественную разгадку. Зритель или читатель,— не столько въ яркомъ сознаніи самого автора, сколько въ томъ именно, что высказывается какъ-бы противъ его воли,— какъ будто и начинаетъ угадывать цѣльность всей пьесы и ея органическую идею. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ онъ еще и досадуетъ на каждомъ шагу на эту робость и сдержанность автора, на эту утайчивость съ его стороны, на эти постоянные поводы въ пьесѣ къ истолкованію образовъ въ ту или другую сторону, на эти поводы и къ крайнимъ совершенно разнорѣчивымъ выводамъ. Чувствуется на каждомъ шагу страшная натуга таланта и что силъ художника— для имъ задуманной темы—едва хватаетъ.

Всѣ прежнія пьесы г-на Островскаго (мы тутъ не говоримъ о „Мининѣ") можно будетъ пожалуй упрекнуть во многомъ; всѣ

они, имѣютъ свои характерные, одни и тѣ-же, общіе недостатки; однако ни одну изъ нихъ нельзя обвинить въ томъ, чѣмъ существенно грѣшитъ его „Сонъ на Волгѣ“.

О пьесахъ г-на Островскаго можно вообще сказать слѣдующее. Типы у него слишкомъ однообразны и мотивы всѣхъ его драмъ крайне монотонны; душевная типичность его героевъ заслоняется у него передачею типическихъ чертъ самого быта и внутренняя правда постоянно загораживается правдой внѣшней. Можно еще сказать, что въ средѣ его дѣйствующихъ лицъ, самая драма вытекаетъ обыкновенно не изъ сильно-развитыхъ характеровъ, и не изъ глубокаго индивидуализма рѣзко-оригинальныхъ личностей, — а ограничивается лишь внѣшнею сшибкой „нравовъ“, такъ называемыми семейными бурями и сценами: ихъ въ жизни вообще не оберешься; для нихъ даже не требуется сильно-развитыхъ натуръ или оригинально-индивидуальныхъ личностей. Довольно того чтобы всякое лицо вполнѣ отвѣчало своему бытовому типу, чтобы оно оставалось вѣрно тѣсному эгоизму своихъ комнатныхъ домашнихъ привычекъ — и вотъ уже потянется самъ собою цѣлый нескончаемый рядъ бурь и сценъ подобнаго рода. Можно будетъ, пожалуй, сказать наконецъ и то еще, что во всѣхъ прежнихъ пьесахъ г-на Островскаго самые идеалы какъ-то мелки, самый горизонтъ его творчества слишкомъ тѣсенъ, самая задача всегда узка; скудны-же и монотонны были у него и самые мотивы народной стихіи, которые онъ такъ неутомимо разработывалъ, — мелки-же были и неглубоки самыя струи народнаго духа, которыя онъ захватывалъ. Но никакъ нельзя сказать ни про одну изъ прежнихъ пьесъ г-на Островскаго (опять за исключеніемъ „Минина“) что таланта его не хватало въ мѣру задуманной имъ темы. Велико-ли было или мало, глубоко или мелко все писанное имъ прежде — но во всѣхъ своихъ прежнихъ сочиненіяхъ онъ сполна исчерпывалъ предположенную задачу и она у него разрѣшалась легко и просто, безъ малѣйшей натуги творчества, не вводя критику ни въ какое недоразумѣніе, не представляя повода ни къ какой двусмысленности, ни къ какимъ разнорѣчивымъ выводамъ. Пьеса „Сонъ на Волгѣ“, напротивъ того, изумляетъ широтою художественнаго замысла; она отличается, можно-бы сазать, неисчерпаемой глубиною затрогиваемыхъ въ ней сторонъ Русской жизни. Но, очутившись теперь не въ обиходной сферѣ своего таланта, авторъ уже слишкомъ робко и слишкомъ боязненно ихъ затрогиваетъ.

Онъ больше скользитъ по поверхности возбуждаемыхъ впечатлѣній; онъ не былъ достаточно силенъ совладать съ тѣми духами, которые явились на призывъ его. Эти стороны Русской жизни сами по себѣ уже весьма крупны и весьма глубоки, но онъ не исчерпалъ всей дѣйствительной глубины ихъ и не вдумался въ ихъ важность. Они, повторяемъ, уже далеко не мелки и очень глубоки, но самъ онъ ихъ беретъ и мелко и не глубоко.

II.

Прологъ вводитъ насъ во всю бездѣйственную косность, въ какую-то лѣнивую тишину и такъ сказать апатическую пассивность того міра и быта, которые будутъ раскрываться передъ нами въ цѣлыхъ пяти дѣйствіяхъ; мы знакомимся изъ этого пролога и съ завязкой драмы. Бирючь возвѣщаетъ народу царскій указъ, пришедшій изъ Москвы, посадскимъ и уѣзднымъ всякихъ чиновъ людямъ, касающійся общественнаго порядка. Народъ выслушиваетъ его очень равнодушно, ничего болѣе не видя въ такомъ указѣ и въ самомъ его оповѣщеніи, кромѣ мертвой формы и одного лишь обряда. Это, повидимому, его нисколько не касается. Народъ знаетъ, во первыхъ, что воровъ и вѣдуновъ, объ которыхъ такъ хорошо писано въ царской бумагѣ — у нихъ и ловитъ нѣ-кому: „людей служилыхъ мало“. Народъ знаетъ во вторыхъ и то, что пуще всякихъ разбойниковъ, которые слоняются по всему уѣзду, пуще вѣдуновъ и всякихъ лихихъ людей — донимаетъ его еще самъ царскій Воевода. Этотъ Воевода, Нечай Григорьевичъ Шалыгинъ, по всеобщимъ отзывамъ, алтынникъ, взяточникъ и кровопійца, никому отъ него житья не становится. Онъ — и старъ, да дюжъ; охочь до чужихъ женъ; держитъ у себя во дворѣ Олену, жену бѣглаго посадскаго, который и бѣжалъ отъ его притѣсненій. Онъ вдовецъ отъ двухъ женъ: молва народная говоритъ еще, что самъ онъ и загубилъ ихъ вѣкъ. Злой ревнивецъ, этотъ сѣверный Отелло, придумалъ своимъ женамъ казнь еще болѣе лютую и характеристическую, чѣмъ самъ Мавръ: онъ обѣихъ защекоталъ на смерть. Чувство своего превосходства и сознаніе своей власти постоянно слышится у него даже въ притворствѣ напущеннаго на себя смиренія, въ злобной но вполнѣ сдержанной ироніи.... Мы узнаёмъ, что онъ посватался за старшую дочь богатаго посадскаго Власа Дюжаго, Прасковью Власьевну. Мы узнаёмъ еще, что — кромѣ того,

что онъ со всѣми въ ссорѣ—онъ особливо въ ссорѣ съ бывшимъ губнымъ старостой, Семеномъ Бастрюковымъ, богатымъ мѣстнымъ дворяниномъ. Онъ тутъ-же въ прологѣ, не считая всѣхъ прежнихъ обидъ, оскорбилъ этого знатнаго дворянина на-смерть. Обиженный, пользуясь общей ненавистью къ Воеводѣ, хочетъ сладить челобитье на него къ государю, самъ вызывается съ нимъ ѣхать въ Москву. Впрочемъ, и самая ненависть народа къ Воеводѣ—чисто пассивная и больше походитъ на простой обычай. Пока были губные старосты, народъ самъ просилъ воеводъ себѣ; теперь завелись воеводы, и ихъ не жалуютъ. Что Воевода непремѣнно лютъ, это какъ бы въ понятіяхъ народа; что Воевода падокъ на поминки—и это въ обычаѣ. Незначительные людишки, помалчивающіе себѣ и даже похваляющіеся тѣмъ, что позови ихъ къ суду—они во всемъ запрутся и на все будутъ отмалчиваться; спившіеся подьячіе, готовые написать хоть на отца роднаго крючкотворное челобитье—таковѣ почти сплошь все общество, проживающее „въ большомъ городѣ на Волгѣ". Слухи о грабежахъ, объ увѣчьяхъ, о разбоѣ, о различныхъ притѣснепіяхъ—таковы интересы, возникающіе въ этомъ обществѣ... Прологъ конченъ.

Первое дѣйствіе открывается сценой въ саду Власа Дюжаго; обѣ его дочери, Прасковья и Марья, вышли погулять въ садъ съ нянюшкой и сѣнными дѣвушками. Здѣсь мы знакомимся съ нареченной невѣстой Воеводы, Прасковьей Власьевной. Коротко сказать, это кусокъ мяса—и ничего больше. „Ей лишь-бы замужъ, разбирать не станетъ". Ей понятно и для нея это какъ нельзя болѣе просто, что выдадутъ замужъ, не спросивъ ея воли; прикажутъ—и конецъ; а милъ-ли—ее не спросятъ „Ѣшь сладкое, медовъ сыченыхъ въ волю, гора горой пуховики лебяжьи въ опочивальнѣ; хочешь спать, такъ спи; а нѣтъ—лежи, пусть тонетъ бѣло-тѣло и нѣжится"—таковъ ея идеалъ. Не такова сестра ея Марья Власьевна, нѣжная и глубоко-поэтическая натура. Ей въ терему и тѣсно, да и душно; ее манитъ на волюшку: лучше утопиться, говоритъ она, чѣмъ быть выданной замужъ противъ воли, какъ выдаютъ ея сестру Прасковью. На вопросъ нянюшки: какую имъ разсказать сказку? Любовную скажи! отвѣчаетъ она. И, оказывается, она давно любитъ одного молодца, сына того богатаго дворянина Бастрюкова, Семена Степановича. За что она полюбила—и сама не знаетъ; ей полюбился его веселый и живой нравъ,—таковъ онъ, по ея мнѣнію, что его полюбишь—такъ не разлюбишь

скоро; всей душой своею она вѣритъ и его безутѣшной тоскѣ по ней, его неизмѣнной любви. Какъ вообще во всѣхъ пьесахъ г-на Островскаго, такъ и здѣсь, характеры дѣйствующихъ лицъ сразу даются съ двухъ-трехъ штриховъ читателю и далѣе остаются въ цѣлой пьесѣ во всей ихъ неподвижности. Это не индивидуальныя личности, а общіе типы, сразу покончепные, безъ всякого дальнѣйшаго развитія. Семенъ Бастрюковъ, скоморохъ-гуляка, щёголь и волокита, такимъ штрихомъ обрисованъ у автора: „По нашему любить, такъ вотъ какъ; видишь булатный ножъ?“ говоритъ онъ Марьѣ и вынимаетъ свой булатъ изъ-за пояса. Промолви только слово—и глазомъ не моргну, по рукоятку въ грудь пущу. Вели!“ И сильнѣе этой черты не выпадаетъ больше ни одной на его долю въ цѣлой пьесѣ; онъ только остается постоянно вѣренъ типу гуляки-щеголя и еще влюбленнаго. Такъ и всѣ остальныя лица.

Бастрюковъ, прокравшись при помощи своихъ слугъ въ садъ Власа, склоняетъ Марью Власьевну къ побѣгу: такъ какъ Воевода, недругъ Бастрюкова рода, посватался за ея сестру Прасковью, то имъ, молодымъ влюбленнымъ, не остается больше и надежды на свадьбу. Отвѣтъ Марьи Власьевны таковъ: „Станемъ дожидаться, мнѣ лѣтъ не много; я не переростокъ. Своей охотой за другаго не пойду; а неволить станутъ—ну тогда, не знаю быть можетъ, парень выйдетъ на твое; тогда ломайте тынъ, готовьте лодку, бери въ охабку и тащи домой“. Послѣ того, какъ влюбленные разстались, приходитъ въ садъ самъ Воевода, хочетъ посмотрѣть своей невѣсты. Въ гостяхъ ведетъ онъ себя истиннымъ умѣлымъ человѣкомъ и сообразно своему сану; ко всякому слову и привѣту найдется ловкій отвѣтъ дать—шутливъ, веселъ и привѣтливъ необычайно. Именно по пословицѣ: что ни слово, то подаритъ. Зная однако объ немъ молву народа; подготовленные еще нянюшкой Недвигой, которая плачется по такомъ женихѣ за свою невѣсту: („сѣдой, какъ лунь, согнутый, глядитъ медвѣдемъ, такъ и хочетъ съѣсть“) мы теперь должны признать въ этомъ бодрящемся старикашкѣ искуснаго лицедѣя, страшнаго ипокрита; намъ становятся противны и шутливость, и привѣтливость, и вся напущенная любезность его. Въ то время, какъ онъ просится поглядѣть своей невѣсты, показывается въ саду Марья Власьевна. Завидѣлъ ея нѣжную красоту Воевода, и остолбенѣлъ. Довольно того, что Марья Власьевна понравилась ему пуще Прасковьи—все дѣло врозь: онъ больше не беретъ замужъ Пра-

сковью, ему родители должны отдать Марью Власьевну. Они не прекословятъ, идутъ домой бить по рукамъ. Тогда молодой Бастрюковъ свищетъ своихъ слугъ; тѣ разбираютъ тынъ въ саду хотятъ сейчасъ-же увезти Марью Власьевну изъ терема въ лодкѣ: лодку они оставили на рѣкѣ за садомъ; сама Марья Власьевна выбѣгаетъ на крыльцо и проситъ о помощи. Но домашніе подняли тревогу, Воевода вбѣгаетъ съ толпою слугъ; Бастрюковъ вынужденъ спасаться бѣгствомъ — а Воевода рѣшается сейчасъ-же перевезти новую невѣсту въ свой собственный дворъ на посадѣ и будетъ тамъ её беречь за семью замками. Вторая сцена этого дѣйствія происходитъ на дворѣ Бастрюкова; затосковалъ молодой скоморохъ по Марьѣ Власьевнѣ и хочетъ силой-ли, хитростью-ли, украсть невѣсту изъ двора воеводина. Слуги его приводятъ къ нему во дворъ способнаго на такія дѣла бѣглаго посадскаго Дубровина (того самаго, чья жена Олена также похищена Воеводой и живетъ у него въ рабыняхъ). Дубровинъ обѣщается Бастрюкову обдѣлать это дѣло, лишь-бы удалить на время самого Воеводу изъ города. Въ числѣ тюремныхъ колодниковъ есть одинъ отданный подъ судъ за чародѣйство, Мизгирь, которому суевѣрный Воевода довѣряетъ; стоитъ только подкараулить этого Мизгиря и онъ выпроводитъ за городъ Воеводу. Молодой Бастрюковъ на радости чуть только не братается съ Дубровинымъ; онъ хочетъ съ нимъ еще отправиться въ шайки разбойника Худояра, погулять на широкомъ Волжскомъ раздольи — и подымаетъ пиръ на весь міръ, велитъ давать вина и пѣть пѣсни: дымъ стоитъ коромысломъ.

Второе дѣйствіе открывается видомъ свѣтлицы въ воеводскомъ домѣ: это темница, приготовленная для Марьи Власьевны. Мы знакомимся со всѣми—сказать-бы азіатскими обычаями здѣшняго домашняго обихода. „Что-бъ день и ночь ворота на запорѣ! Чтобъ день и ночь кругъ дома сторожа! Чтобъ ни кому приходу и подсылу! Чтобъ сѣннымъ дѣвкамъ изъ воротъ ни шагу! На портомой водить за карауломъ! Слово каждое и дѣло чтобъ было мнѣ доподлинно извѣстно! Не только вѣсти въ домъ или изъ дому не проносить; а птица прилетѣла съ чужихъ хоромъ—чтобъ мнѣ про это вѣдать! Я батоговъ для васъ не пожалѣю за малую оплошку; за большую казненнымъ быть нещадно скорой казнью!“ таковъ приказъ деспота въ домѣ, хозяина-воеводы своимъ челядинцамъ передъ отправленіемъ въ походъ на богомолье, въ загородный монастырь по слову подкупленнаго Мизгиря. Воевода выписываетъ еще

откуда-то старуху Ульяну для береженья невѣсты, — вотъ ея характеристика по собственному отзыву самого Воеводы: „Нравомъ ты свирѣпа, глядишь медвѣдемъ, ни грозой, ни лаской ничѣмъ не взять. Пили тебя на части—ты все свое. Ежовою щетиной ты обросла кругомъ: не надо бѣса, когда ты здѣся. Мнѣ того и нужно.“ А вотъ ей и приказъ воеводинъ: „Вся твоя забота беречь боярышню; отъ ней ни шагу не отходить. Какія будутъ рѣчи межь вами, сказывай!“ На прощанье съ Воеводой передъ отправленіемъ его за городъ, приходятъ къ нему въ гости: сама мать Марьи Власьевны съ дочерью. Опять Воевода съ ногъ до головы превращается въ олицетворенную привѣтливость и любезность; что̀ ни слово съ его стороны, то̀ глубокое знанье свѣта и всѣхъ приличій. Подумаешь, нѣтъ-то въ цѣломъ свѣтѣ человѣка умнѣе и добрѣе его: все-то онъ знаетъ, и весь-то онъ такой шутливый! Обращенье его съ Марьей Власьевной (которая отъ него отворачивается и пуще себя закутываетъ въ фату) отличается здѣсь сладострастіемъ тонко развращеннаго вкуса, чувственностью изощренной, почти артистической. Это уже не просто выступаетъ плоть съ своею грубою похотью; это плоть, которая прикидывается духомъ, это похоть притворяющаяся утонченнымъ художественнымъ стремленіемъ. Когда всѣ простились съ Воеводой, а мать невѣсты ушла съ женщинами дивиться жениховымъ подаркамъ, Марья Власьевна осталась одна съ шутомъ воеводинымъ, (онъ и выдалъ ее въ саду)— между ними происходитъ замѣчательная сцена. Открывъ теперь свое покрывало, она всю душу обнажила передъ шутомъ на распашку: „кабы не ты, гуляла-бъ я на волѣ! говоритъ она этой презрѣнной воеводиной твари. Постылый песъ, тебѣ-бы бѣса тѣшить! Ножа-то нѣтъ, зарѣзала-бъ тебя!“ Шутъ инстинктивно понялъ всю сущность этой сильной, непреклонной женской природы! „Вотъ такъ пылъ! кличетъ онъ своего „дядю“ (такъ зоветъ онъ своего господина): убилъ бобра! Нашла коса на камень!“

Вторая сцена этого дѣйствія переноситъ зрителя въ глубину лѣснаго ущелья подъ тотъ монастырь, куда Воевода пошелъ на богомолье. Нищіе, пустынникъ, разбойники (въ числѣ ихъ самъ Дубровинъ и оказывается тѣмъ Худояромъ, который наводилъ страхъ на всю округу) кстати-некстати являются здѣсь какъ-бы ужь принадлежностью такой глухой мѣстности. Выходъ Воеводы въ этой сценѣ добавляетъ прежнее о немъ представленіе еще однимъ новымъ штрихомъ въ умѣ читателя: впереди несутъ мѣшокъ съ день-

гами и Воевода щедро надѣляетъ изъ него просящихъ милостыню. Такое, впрочемъ, ипокритство не столько уже составляетъ личную его особенность, сколько необходимую принадлежность его высокаго сана. Все болѣе и болѣе начинаетъ поражать въ цѣлой пьесѣ это постоянное обращеніе нравственныхъ обязанностей и всего душевнаго благочестія — въ простой внѣшній обрядъ, соблюденіе лишь предписанной формальности. Бастрюковъ съ Худояромъ-Дубровинымъ и съ своими слугами, убѣдившись что Воевода точно пріѣхалъ въ здѣшній монастырь, отправляются въ городъ для похищенья дѣвицы изъ терема. А что тѣмъ временемъ дѣлается въ теремѣ?

Дѣйствіе третье раскрываетъ передъ нами тайну древняго теремнаго заключенія, по крайней мѣрѣ въ домахъ такихъ деспотовъ, образцомъ которыхъ является нашъ Воевода. Такой теремъ оживаетъ теперь передъ нами со всѣмъ его бабьимъ пустомельствомъ, съ азіатскими своими нравами; со всѣми его обманами и хитростями, съ жизнью, которая переходитъ въ сонъ и мало чѣмъ рознится отъ прозябанія. Недвига, прежняя няня Марьи Власьевны, пришедшая навѣстить свою красавицу-забавницу; Ульяна, новая мамка, приставленная Воеводой, которая—какъ ни обросла ежевой шерстью и какъ ни была мало податлива на ласку и на приманку—такъ сразу и подалась на грубую матеріальную подачу,—какъ муха на медъ, такъ и напала на дѣвичьи дорогіе подарки и совсѣмъ запуталась въ нихъ, сразу готовая продать своего господина; Олена, которая приноситъ тайную вѣсточку дѣвицѣ объ ея ясномъ молодцѣ, обманомъ-хитростью успѣвшая втереться въ теремъ, — всѣ выведенныя здѣсь лица хорошо отвѣчаютъ изображаемому теремному быту и съ разныхъ сторонъ его дорисовываютъ.... Жизнь, гдѣ прежде всего и бросается въ глаза само отсутствіе жизни, спячка, снотворный застой, какое-то прозябаніе — теремная жизнь эта еще на глазахъ читателя переходитъ уже въ настоящій сонъ... Старуха Недвига разсказываетъ въ потемкахъ сказку, и сбивается, и засыпаетъ.... царитъ сонъ во всемъ теремѣ... Домовой прошелъ по немъ и сбилъ шлыкъ со старухи. Тѣмъ и оканчивается третье дѣйствіе.

Дѣйствіе четвертое происходитъ въ тѣсной крестьянской избушкѣ. Немощная, отживающая свой вѣкъ старуха сидитъ за люлькой и убаюкиваетъ ребенка,—спитъ будущій представитель сѣраго Русскаго народа въ своей люлькѣ, а старуха убаюкиваетъ его, что-

бы спалъ онъ еще крѣпче. Кое-какой народъ ужинаетъ въ избѣ, также готовится спать. Въ этихъ Гаврилахъ, Климахъ, Иванахъ, Курчаяхъ, Куликахъ и Сидорахъ признается мало индивидуальныхъ отличій; всѣхъ ихъ ровняетъ или рознитъ только бытъ, котораго они служатъ представителями: бурлакъ, крестьянинъ пахотный, бортникъ — вотъ и всѣ ихъ отличія. Кто какимъ промысломъ занятъ: идутъ-ли гужомъ изъ Нижняго обозомъ, — съ лубьемъ-ли изъ Унжи? таковы ихъ между собой разговоры. Воевода — чай лютъ! Вѣстимо лютъ — на то бояринъ! Лучше пойти спать на струги на рѣку, чѣмъ столкнуться тутъ съ воеводой; подальше отъ властей — отъ грѣха подальше — таковы ихъ вѣрованья, таковъ существенный итогъ ихъ житейскаго опыта. Воевода входитъ сюда на ночлегъ въ избу — и дѣйствительно, все разбѣжалось. Осталась одна старуха съ ребенкомъ; тотъ попрежнему крѣпко себѣ спитъ въ люлькѣ, она его попрежнему уговариваетъ спать и все спать крѣпче, крѣпче. Она поетъ про „бѣду". „Бѣда" не одна пришла, а привела „бѣду съ напастями да съ пропастями". Старуха убаюкиваетъ своего милаго-внученочка: пусть онъ спитъ уснетъ крестьянскій сынъ, пока изживемъ бѣду". Но когда бѣда минется? долго-ли еще длиться горю? „Поколь Богъ проститъ, царь сжалится". Долго ждать народу, значитъ, „пока бѣда минется", лучше ему спать безъ просыпу до того времени. — Но не спится воеводѣ на походномъ ночлегѣ въ крестьянской избѣ. — Онъ видитъ страшные сны. Передъ нимъ Московскій Кремль, царскія палаты, постельное крыльцо; дворяне ходятъ по лѣстницѣ, бояре на площадкѣ. Онъ видитъ что недруги его подаютъ на него царю челобитье; онъ слышитъ, что по царскому указу ему на воеводствѣ отказано: назначенъ новый воевода, который смѣнитъ его „въ большомъ на Волгѣ городѣ" — Снится ему еще, что увозятъ Волжскіе молодцы, подъ предводительствомъ Бастрюкова, его красавицу изъ терема. — Этотъ сонъ воеводы, являющійся передъ зрителемъ на сценѣ во всей роскоши декоративной обстановки, въ одномъ отношеніи — страшное злоупотребленіе со стороны автора; сонъ этотъ оказывается на дѣлѣ совершеннымъ явомъ: особливо сонъ про Москву. Тутъ не только нѣтъ ничего смутно-фантастическаго, чѣмъ-бы характеризовалось лишь внутреннее предчувствіе самого воеводы о скорой гибели, а напротивъ того всѣ штрихи живы и вѣрны дѣйствительности, даже обременены совершенно лишними подробностями будничной реальности. Воевода, напримѣръ, не просто видитъ во снѣ совершеніе

надъ собой приговора; нѣтъ, онъ тутъ узнаётъ фамилію будущаго, замѣсто его, воеводы: Поджарый, — не его только, а еще и кандидата на эту должность: Несытовъ. Наконецъ, Воевода очень складно переговаривается во снѣ съ своими обвинителями, выжидаетъ терпѣливо окончанія рѣчей думнаго дьяка и большаго дворянина и умѣетъ улучить минуту, когда слѣдуетъ подать театральную реплику. Можно, говоримъ, упрекнуть автора за излишнюю реальность этого будто бы сна Воеводы,—который на самомъ дѣлѣ составляетъ у автора цѣлую отдѣльную сцену, даже болѣе отдѣланную и лучше написанную въ историческомъ отношеніи чѣмъ многія другія. Но во-первыхъ, весьма не трудно будетъ убавить въ этомъ снѣ два-три штриха, наиболѣе по своей реальности обличающіе его поддѣлку— и тогда фантастичность его удовлетворитъ самыхъ строгихъ цѣнителей и судей. Во-вторыхъ, даже въ теперешнемъ его видѣ, этотъ сонъ составляетъ весьма ловкій пріемъ со стороны автора въ видахъ экономіи цѣлой пьесы. Эта Московская сцена видимо входила въ задачу художника и въ драмѣ чувствовалась ея потребность; но если бы она составила реальную сцену въ пьесѣ, а не вошла въ нее въ видѣ сна Воеводы, само дѣйствіе раздвоилось бы, не было бы и такъ сжато. — Воевода просыпается въ испугѣ отъ своихъ видѣній, кличетъ людей — и хочетъ, какъ можно скорѣе, перенестись въ свой теремъ.

Въ пятомъ дѣйствіи открывается садъ Воеводы или, правильнѣй говоря, внутренній дворъ его усадабы. Тутъ выглядываетъ и теремъ, гдѣ заключена Марья Власьевна, — весь его наружный видъ въ крытыхъ и открытыхъ перильчатыхъ переходахъ. Бастрюковъ молодой здѣсь съ своими слугами и съ своимъ главнымъ пособникомъ, бывшимъ разбойникомъ Худояромъ. Вчерашній Худоярь, сегоднишній Дубровинъ явился сюда, чтобъ вырвать еще изъ плѣна жену свою, Олену... Изъ сцены свиданія мужа съ женою узнаёмъ новую черту Воеводы: онъ, правда, держалъ Олену у себя въ рабствѣ, всячески искалъ склонить ее отвѣчать ему любовью, однакожь не тронулъ ее за все это время... Что это за черта въ немъ, еще новая? — вопросъ этотъ остается только намѣченнымъ и неразъясненнымъ въ піесѣ.

Въ то самое время, когда всѣ сторожа на воеводскомъ дворѣ опоены до мертвецкаго сна молодцами, и когда уже все готово, чтобъ исхитить отсюда Марью Власьевну, — вдругъ нежданно-негаданно Воевода возвращается домой, и оставя своихъ людей и стрѣль-

цовъ за оградой, ждетъ, спрятавшись въ кусты со своимъ шутомъ, чѣмъ разрѣшится вся эта найденная имъ у себя тревога? Въ то самое время, какъ Марья Власьевна выходитъ въ садъ изъ терема и одинъ мигъ еще — всему-бы кончиться, Воевода выскакиваетъ на сцену, схватываетъ невѣсту за руку, — стрѣнулись и люди его.... Дубровина и другихъ молодцевъ изъ шайки перехватали и перевязали, Степанъ Бастрюковъ утекъ на конѣ. Теперь-то въ шутливомъ любезникѣ, въ привѣтливомъ и умѣломъ Воеводѣ просыпается деспотъ-извергъ, человѣкъ злѣе татарина. „За что-же ты хлѣбъ-соль мою и ласку совсѣмъ забыть хотѣла?“ спрашиваетъ онъ Марью Власьевну, взявъ ее за руку, а съ другой стороны велѣвъ ее держать мамкѣ Ульянѣ. „И спасибо мнѣ за любовь-заботу не сказала, задумала покинуть, людямъ на смѣхъ и головѣ сѣдой на поруганье?... Аль ты не знаешь, Марья, что у меня женѣ прощенья нѣтъ за грѣхъ ея. И малъ-ли онъ, великъ-ли, а ей не жить. Прощайся съ бѣлымъ свѣтомъ! Ты не жена, такъ все равно невѣста. Я не хочу, чтобъ мнѣ въ глаза смѣялись. Мнѣ жаль тебя: такая молодая, а умирать придется. Ты хотѣла повеселѣй пожить. Смѣяться любишь (*ласкается*). И у меня ты вдоволь насмѣешься, и умирать тебѣ веселой смертью, красавица моя“!

Онъ уводитъ ее въ теремъ.

Что тамъ творится-готовится — читателю объясняютъ отчаянныя вопли Недвиги, старой няни Власьевны. — „Охъ, батюшки! вскрикиваетъ бѣдная старуха, когда ея питомицу увели въ теремъ. Ой смерть моя приходитъ! Убьетъ ее, до смерти защекочетъ. Защекоталъ двухъ женъ, разбойникъ! Хочетъ дитя мое родное загубить, красавицу, забавницу! На то-ли лелѣяли, ростили, вскормили мы яблоко наливчато свое! Бѣда моей головушкѣ! Пустите!...“

Не успѣла старуха проговорить этихъ словъ, какъ изъ терема съ хохотомъ выбѣгаетъ Марья Власьевна, — этотъ ея дикій хохотъ, все отчаяніе и незнаніе куда дѣться отъ гибели, наконецъ вопль ея: „Охъ, смерть моя!“... досказываютъ читателю страшную картину въ теремѣ. — „Не убѣжишь — поймаю!“ кричитъ Воевода въ бѣшенномъ припадкѣ самаго дикаго сладострастія при видѣ смертной блѣдности Марьи, и вполнѣ увѣренный, что его жертвѣ некуда отъ него дѣться и ей не миновать рукъ его.

Входитъ вдругъ цѣлая толпа людей, — Бастрюковы, старикъ и сынъ, новый воевода, посадскіе, стрѣльцы, народъ и слуги. „По царскому указу, тебѣ Нечай Шалыгинъ, воеводство отказано!“ раз-

дается роковое слово — и тяжесть такого слова, великая сила царскаго указа впрахъ разбиваютъ деспота-изверга; противъ рожна не прати — и онъ потупился. — Марья Власьевна тутъ-же отдается Степану Бастрюкову, Олёна возвращается своему мужу, а самъ Дубровинъ — вѣдомой воръ и бѣглый посадскій — сдается обществу на поруки и хочетъ опять водвориться въ посадѣ.

„Ну, какъ теперь Дубровинъ? не убѣжишь отъ насъ?“ спрашиваютъ его въ народѣ. „А тамъ какъ Богъ дастъ, отвѣчаетъ этотъ. Коли хорошъ да смиренъ воевода, не потѣснитъ, — такъ съ вами жить останусь и торговать начну, а коль обидитъ — опять сбѣгу, вы такъ про то и знайте!“ Староста возвѣщаетъ на весь народъ: „Посадскіе, готовьте-ка поминки, да на поклонъ несите воеводѣ. Почествовать его съ пріѣздомъ надо!“ Итакъ, что это въ заключеніе? „Le roi est mort, vive le roi“ — вотъ что въ концѣ концовъ оказывается изъ пьесы!

„Ну, старый плохъ, каковъ-то новый будетъ?“ слышенъ вопросъ въ народѣ. „Да надо быть такой-же, коль не хуже“ — слышится и отвѣтъ на вопросъ въ народѣ. Пьеса кончена.

Нѣкоторымъ изъ читателей эти послѣдніе заключительные стихи, безъ сомнѣнья, покажутся чѣмъ-то совершенно-произвольнымъ. Читатели инаго рода, придутъ въ восторгъ отъ этого заключенія, — въ этомъ-то пессимизмѣ, пожалуй, и захотятъ видѣть все достоинство пьесы. Но со стороны автора тутъ нѣтъ ни малѣйшаго произвола. Можетъ быть, въ цѣлой пьесѣ не найдется еще стиховъ, такъ художественныхъ по своей внутренней необходимости — какъ именно эти заключительные стихи. Въ нихъ откликнулось все содержаніе пьесы. Чтеніе царскаго указа, этой съ Москвы пришедшей бумаги о новомъ воеводѣ, поставлено только тутъ въ параллель съ чтеніемъ того указа, которымъ бирючъ произвелъ такъ мало впечатлѣнія на толпу... еще въ прологѣ. „Мы думали, свѣжи, анъ все-тѣ-же!“ отвѣтилъ тогда народъ бирючу, оповѣстившему бумагу — и народъ остался совершенно равнодушенъ; давно для него всѣ эти „съ Москвы бумаги“ обратились въ простой заведенный порядокъ, отъ котораго не жди ни добра, ни худа, а скорѣе худа....

Радость народа, какъ царь смѣнилъ воеводу, выразилась восторженнымъ кликомъ: „а что? Отозвались тебѣ мірскія слезы! Ты знать забылъ, что міръ вздохнетъ, такъ до царя дойдетъ“ — но этотъ кликъ былъ именно кликомъ непосредственной и мгновенной радости, какъ всегда радуется человѣкъ торжеству правды

и наказанью порока, — а какого-нибудь разсчета на лучшее—тутъ нѣтъ. Самое отправленіе челобитья со стороны посадскихъ не представлялось имъ важнымъ дѣломъ, разрѣшенія котораго они бы ожидали съ трепетомъ. Нѣтъ, какъ въ прологѣ народъ пренаивно толкуетъ о томъ, что: „вотъ были прежде губные старосты, избираемые міромъ, такъ просили тогда себѣ у царя воеводъ, — а теперь, какъ вездѣ пошли воеводы, такъ нельзя безъ того, чтобъ не поспорить и съ воеводой", также точно и самое челобитье на воеводу представляется только заведеннымъ порядкомъ: дескать отчего и не воспользоваться при случаѣ, но собственно говоря пользы оттого никакой не жди и новый воевода будетъ непремѣнно таковъ-же. Это въ порядкѣ вещей; рано-ли-поздно-ли, въ свою очередь и на него пойдетъ въ Москву челобитье — и такъ безъ конца. Дьякъ въ четвертомъ дѣйствіи нельзя наивнѣй выражаетъ такое мнѣніе въ слѣдующихъ словахъ: „Безъ челобитья на городахъ живутъ-ли воеводы! Другой путемъ усѣсться не успѣетъ, глядишь — ужъ шлютъ."

Ясно, такимъ образомъ, что заключительные стихи, на которые мы обращали вниманіе, дѣйствительно вызваны содержаніемъ цѣлой пьесы и служатъ лишь отзывомъ всей ея идеи.

Разсказывая содержаніе пьесы, мы старались познакомить читателя съ характеромъ этой *идеи*. Постараемся теперь, для большей ея опредѣленности, вынуть ее изъ содержанія — и отнесемся къ ней уже совершенно критически.

III.

Въ народѣ, какъ во всякомъ отдѣльномъ человѣкѣ, злыя и добрыя его отличія запечатлѣны индивидуальнымъ характеромъ. Можно даже сказать, что извѣстныя добродѣтели народа предполагаютъ въ немъ извѣстные пороки; тѣ и другіе — обусловливаются взаимно. Это — одно и то-же, но либо въ положительномъ либо въ отрицательномъ проявленіи. Тѣ и другіе, словомъ сказать, являются только какъ-бы два розныхъ полюса всё одной и той-же органической сущности.

Иностранцы, которые описывали старинный бытъ Россіи и которымъ рѣзче бросались въ глаза наши національные недостатки, щедры негодованіемъ противъ насъ. Осадки темнаго язычества въ вѣрѣ и какое-то двоевѣріе; фетишизмъ, какъ замѣна набожности и

выполненный обрядъ, какъ замѣна совѣсти; вѣчная азіатская подозрительность и поклёпы другъ на друга; розное житье, каждаго особо, всѣхъ по своимъ угламъ; отсутствіе всякой легкости въ обращеніи и дикая исключительность; отсутствіе всего, что зовется уваженіемъ другихъ и самоуваженіемъ,—вотъ наши недостатки, по ихъ отзывамъ. Какое-то вѣчное посягательство на права ближняго, готовность самому потерпѣть и боль и убытки, лишь-бы тѣмъ сосѣду навредить вдесятеро; грубость, невѣжество, и въ довершеніе всего, еще какая-то похвальба своимъ невѣжествомъ, какое-то нахальство своимъ собственнымъ безобразіемъ и уродствомъ,—вотъ въ общихъ чертахъ тѣ наклонности и пороки, совокупность которыхъ иностранцы клеймятъ въ насъ названіемъ „Русской злобности“, „die Russische Bosheit“ и обыкновенно за которыми ничего въ насъ больше не видятъ. Но пусть будетъ по ихнему. Развѣ однако не одного-же именно Русскаго въ цѣломъ мірѣ характера хватитъ на то, чтобы вполнѣ заглушить всѣ эти темныя стороны — своими лучшими, свѣтлыми, и опять прямо-же національными сторонами! чтобы совладать съ тою „злобой“ и вынести изъ борьбы съ нею всю чистоту, все величіе русскаго-же народнаго идеала! Какъ недостатки, такъ и достоинства всякаго народа — повторяемъ — всегда находятся во внутренней органической связи между собою и, уже по существу дѣла, неразрывны.

Понятно поэтому, что отъ художника, рисующаго типы и образы прямо-народной жизни — вовсе не того требуютъ, чтобы онъ непремѣнно рисовалъ лишь свѣтлыя и радостныя картины. Если фантазія его больше наклонена къ мрачному и онъ чувствуетъ наиболѣе сроднымъ своему таланту созерцаніе темной темени, — никто ему не указчикъ. Отъ художника требуется только, чтобы онъ не по личному произволу все подъ-огулъ затушевывалъ въ одинъ черный цвѣтъ (какъ это случилось напр. въ „Сынѣ“, недавно нами разобранномъ „разсказѣ изъ XVII вѣка“). Должно требовать отъ художника, чтобы въ такомъ случаѣ всѣ выставляемые имъ злодѣи предъявляли по крайней мѣрѣ дѣйствительную правоспособность на приписываемыя имъ злодѣянія. Должно еще требовать отъ художника, чтобы вся возсоздаваемая имъ дѣйствительность имѣла-бы точно также свой собственный, свойственный ей характеръ, никому кромѣ ея не принадлежащій, — а не обратилась-бы она въ простое хаотическое смѣшеніе людскихъ золъ и неправдъ всякаго рода, всѣмъ вѣкамъ и всѣмъ народамъ одинаково присущихъ.

Что прежде всего заслуживаетъ великой похвалы въ пьесѣ „Воевода“, это именно то, что авторъ одинаково не допустилъ, какъ какой-нибудь лживой идеализаціи стариннаго изображаемаго быта, такъ еще и намѣреннаго его искаженія къ худу. Имъ созерцаемая дѣйствительность и имъ вызванные образы (и теремной бытъ и разбойная гульба на Волгѣ; всѣ эти дьяки, подъячіе и воеводы, мамки да няньки Ульяны и прочія) уже сами по себѣ имѣютъ raison d'être въ пьесѣ. Они движутся и разыгрываются въ пьесѣ по собственной внутренней необходимости, а не по командѣ автора. Если выговариваемый ими смыслъ нерадостенъ и вызванная дѣйствительность, при всей свободѣ внутренняго развитія, наводитъ на тягостное раздумье — это уже не въ укоръ автору. Онъ только явился, значитъ, талантливымъ истолкователемъ той темени, которая въ самомъ дѣлѣ присуща этой жизни, этой дѣйствительности. Онъ вѣрно разгадалъ, значитъ, какія либо дѣйствительно темныя свойства народнаго духа, которыя поразили его вниманіе; ихъ-то художественное истолкованіе, ихъ поэтическая разгадка и могли составлять задачу его творчества.

Въ характерѣ Русскаго народа и въ самомъ складѣ Русской жизни есть одна особенность. Она столько же говоритъ въ пользу и приводитъ къ добру, сколько съ другой стороны служитъ къ невыгодѣ и грозитъ весьма недобрымъ. Русскій народъ — вполнѣ бытовой и бытовой по преимуществу. Въ этомъ заключается великая сила его устоя и богатство здоровыхъ, консервативныхъ началъ; въ этомъ же и опасность коснѣнія, застоя. Русскій народъ, неподатливый на чужой обычай и не разымчивый среди другихъ національностей, дѣлается разымчивъ въ собственномъ быту своемъ и являетъ страшную наклонность сполна уходить въ него и имъ поглощаться. Въ связи съ тѣмъ находится и другое явленіе: это такъ сказать хоровое начало въ Русскомъ народѣ, его жизнь въ общинѣ, его сила — толповая. Въ свою очередь и это грозитъ совершеннымъ поглощеніемъ личности и ея крайнимъ безсиліемъ, почти ея отсутствіемъ. Жизни при такихъ условіяхъ трудно бываетъ не перейти въ простое коснѣніе; бытъ, обычай, привычка — вотъ и все, къ чему она сводится; однимъ этимъ и исчерпывается все ея содержаніе; всему предстоитъ сойти на простую форму, закаменѣть въ обрядѣ. Какъ про народъ, живущій такимъ образомъ, такъ и про всякаго отдѣльнаго человѣка, можно

будетъ сказать, что не онъ живетъ, а ему живется. Здѣсь не мѣсто вдаваться въ подробнѣйшее опредѣленіе этого историческаго явленія, свойственнаго славянству вообще и искони. Здѣсь не мѣсто распространяться и о томъ, какъ оно въ частности спеціализировалось именно въ Русской исторіи и насколько еще, напримѣръ, византійское или татарское вліяніе участвовало въ сложеніи нашихъ нравовъ и нашего быта. Скажемъ только, что коснѣніе такого рода, духота всей спершейся жизни, это сплошное поползновеніе ея поглотиться въ самомъ бытѣ, сойти лишь на обычай и закаменѣть въ обрядѣ — никогда еще у насъ не достигали такого зенита, какъ именно въ половинѣ XVII вѣка, — и здѣсь-то именно уже и начинали прослышиваться запросы обновленія, начинались какія-то порыванія къ чему-то иному, лучшему... Въ области церковной — преобразованія Никона, въ гражданской — Уложеніе самого Алексѣя Михайловича, въ обществѣ появленіе такихъ личностей, какъ Артамонъ Матвѣевъ; въ тогдашней литературѣ такое событіе, какъ рукопись Крижанича (дѣлающая пересмотръ всей народной жизни за цѣлые вѣка и отмѣчающая: какія ея черты должны быть удержаны и усвоены на будущее время и какія должны быть отвергнуты) — выражаютъ собой такія порыванія. Дальнѣйшая реформа Петра, со всѣмъ что въ ней было страшнаго и насильственнаго, отчасти и является какъ небесная кара за тѣ грѣхи прошлаго быта, какъ историческая казнь ими произведенная.

Вотъ этотъ самый „застой“ (поползновеніе жизни сойти на обычай и поглощеніе въ немъ всего живаго, — порабощеніе личности человѣка бытовою житейщиной, жизнь безъ умственнаго интереса а по преимуществу въ утробу, — сонъ и прозябаніе, — какая-то бездѣйственная косность, лѣнивая тишина, пассивная апатія, словомъ сказать не бытъ самый, а уже плесень и закись его) и выступаетъ, какъ намъ кажется, въ пьесѣ „Сонъ на Волгѣ“ главною задачею автора.

Покрайней мѣрѣ, признавъ именно такую *идею* въ пьесѣ „Воевода“ — и можно будетъ хотя сколько-нибудь объяснить себѣ ея цѣльность и весь строй ея. Задачѣ такого рода отвѣчаютъ всѣ до одного выведенные характеры и одну эту идею можно слѣдить, какъ органическую въ цѣломъ произведеніи — отъ пролога до послѣдняго дѣйствія, отъ перваго стиха и до заключительнаго. Весь прологъ, какъ уже мы показали въ изложеніи, производитъ на зрителя впечатлѣніе именно въ этомъ смыслѣ. Самый первый

выходъ Воеводы, его начальный монологъ: „ты говоришь, что мѣстомъ вышло. Вѣрно. Воистину“ — какъ нельзя болѣе отвѣчаетъ тому-же. Разсказъ Воеводы раскрывающій все великое, по его мнѣнію, значеніе фаталистическаго выраженія: „ужъ такъ къ мѣсту вышло“; цѣлое опредѣленіе жизни, сказавшееся въ такомъ глубокомъ съ его стороны вѣрованіи, — развѣ это даромъ взялось у автора? Первое дѣйствіе отъ начала до конца еще болѣе усиливаетъ въ зрителѣ впечатлѣніе непосредственной жизни всѣхъ выведенныхъ лицъ и героевъ, лишенныхъ какихъ бы то ни было внутреннихъ запросовъ, сомнѣній, колебаній. Тутъ полное отсутствіе какого либо интеллектуальнаго движенія; все сошло на инстинктъ, можно-бы сказать. Все застоялось въ житьѣ-бытьѣ самомъ, — это ужъ не жизнь, исполненная всяческихъ интересовъ, а именно какое-то время провожаніе гдѣ никто не живетъ, а всѣмъ только живется. Бастрюковъ, гуляка и пустой малый, ничѣмъ больше не выказалъ своей душевной рѣшимости, какъ готовностью запустить въ собственную грудь кинжалъ по рукоятку.— Воевода, увидавъ Марью Власьевну, сразу бросаетъ прежнюю невѣсту Прасковью, беретъ себѣ эту, и родители тутъ-же ударяютъ по рукамъ. — Мать Прасковьи, Настасья, и сама старшая дочка представляются зрителю до такой степени захирѣвшими въ мутной тинѣ матерьяльной и какой-то животно-растительной жизни, что кромѣ этого ничего въ нихъ больше и нѣтъ. Сама Марья Власьевна, (изо всѣхъ лицъ наиболѣе симпатичное), сразу даетъ чувствовать, что если въ ней и есть задатки женственности и всего нѣжнаго — всему этому пропадать! „Купецкій сынъ женится честь-честью, а ты женись, какъ слѣдуетъ порядкомъ“ — вотъ ея первое слово любви Бастрюкову. Способность ко всему тому, что выказалось въ ней впослѣдствіи во дворѣ Воеводы — это съ ногъ до головы закутываніе себя фатою, погруженіе въ нѣмоту, такъ что не вышибишь изъ нея и слова, какое-то одервенѣніе всего существа, наконецъ дикій инстинктъ, прорвавшійся на распашку въ возгласѣ шуту: „Ножа-то нѣтъ, зарѣзала-бъ тебя“ — способность ко всему этому чувствуется въ ней уже съ самаго начала.

Второе дѣйствіе служитъ только развитіемъ перваго; не останавливаемся на немъ, довольно уже выяснивъ черты въ томъ же духѣ при самомъ изложеніи. Дѣйствіе третье — гдѣ обыкновенно, скажемъ мимоходомъ, у всякаго драматическаго писателя скрещиваются всѣ интересы его драмы и она обнаруживаетъ здѣсь свое

крайнее напряженіе, — все третье дѣйствіе сполна на глазахъ читателя усыпляетъ жизнь всего живущаго, слѣдитъ съ необыкновенной чуткостью за такимъ ея постояннымъ поползновеніемъ перейти въ сонъ, и заключительною сценой съ домовымъ, художественно передаетъ всю тайну такого перехода. Четвертое дѣйствіе, захватываетъ болѣе широкую сферу; заставляя зрителя заразъ задуматься и надъ колыбелью будущаго представителя сѣраго русскаго народа, этого спящаго младенца, котораго старуха убаюкиваетъ спать безъ просыпа до тѣхъ поръ, „пока Богъ проститъ, царь сжалится“, и задуматься еще надъ тѣмъ „постельнымъ“ крыльцомъ, съ котораго грезящіеся какъ во снѣ дьяки и бояре шлютъ заведеннымъ порядкомъ воеводъ на все царство, — собственно говоря, отвѣчаетъ той же мысли и способствуетъ впечатлѣнію зрителя въ томъ же духѣ. Въ пятомъ, наконецъ, дѣйствіи прорывается и разыгрывается лишь то, что уже назрѣло, такъ-сказать, на разстояніи цѣлой пьесы. Вся эта кабала быта, вся эта закись его, собранная и сосредоточенная на Воеводѣ, прорвалась и разразилась въ немъ пробужденіемъ всѣхъ невыразимо-дикихъ инстинктовъ... это не Москва, такъ сказать... а ужь „московщина“: въ византійцѣ проснулся еще и татаринъ. Таже кабала быта и его закись сказалась на всѣхъ остальныхъ лицахъ. Когда изверга-деспота сняли съ воеводства, когда казалось-бы тутъ-то на радости и вздохнуть отъ всего сердца, весь народъ остался при томъ-же равнодушіи; все нашлось въ томъ же отупѣніи и въ той-же пассивности, — въ пассивности жизни, утратившей самую вѣру въ жизнь, безъ всякаго ожиданія чего-либо лучшаго, безъ всякой вѣры въ возможность борьбы со зломъ и надъ нимъ побѣды. Сбѣжать, уйти на Волгу — одно это и остается опять въ результатѣ, какъ исходъ для всякаго, кому уже стало черезъ силу тошно. Уйти можно еще, если не на Волгу—скажемъ пожалуй—такъ въ тотъ монастырь, который мелькнулъ передъ нами во второмъ дѣйствіи своими куполами: въ то ущелiе скалы, гдѣ рядомъ съ Худояромъ спасается еще и отшельникъ...

Но говоря это, мы высказываемъ уже величайшую похвалу автору; а на самомъ дѣлѣ пьеса едва-ли ее заслуживаетъ. Пусть въ Воеводѣ мало чего-нибудь рѣзко-индивидуальнаго: какъ всѣ здѣшнія лица, онъ больше проявляетъ не индивидуальныя свои черты, а черты самой сложившейся жизни, всего заматерѣвшаго въ своей косности здѣшняго быта. Какъ онъ, такъ и всѣ вы-

веденныя здѣсь лица, не сами за себя отвѣтчики, а уже тотъ породившій ихъ бытъ, въ немъ-же они и выросли. Въ этомъ смыслѣ, пожалуй, дикіе инстинкты Воеводы даже такіе, какъ его татарская ревность и самое это защекочиванье всѣхъ своихъ женъ на-смерть, могутъ быть допущены и становятся правдоподобны или даже неизбѣжны. Но въ такомъ случаѣ, автору слѣдовало бы глубже вдуматься во все страшное значеніе поднятой имъ темы, слѣдовало-бы глубже разъяснить и самую эту возможность и неизбѣжность. Въ пьесѣ, какъ она теперь дана авторомъ, это остается мало разъясненнымъ, какъ и многое другое, какъ почти все. Многое въ ней — если бы только авторъ глубже вдумался въ свою задачу — должно бы было получить иной оттѣнокъ, иначе выразиться, разыграться иначе; многое должно-бы пополниться и расшириться, а другое и сократиться. Пустынникъ во второмъ дѣйствіи, разбойникъ Худояръ, самые Калѣки Перехожіе, тутъ поставленные на мосту и пр. и пр. лишены въ пьесѣ настоящаго ихъ смысла, выходятъ призрачны и мелодраматичны. Имъ дѣйствительно подобало появиться на сценѣ, но не въ теперешнемъ жалкомъ видѣ; особенно у автора вышелъ жалокъ именно пустынникъ.

Смутное субъективное чувство поэта — сказали мы въ началѣ своей статьи — вотъ съ чего обыкновенно начинается первоначальное раздумье поэта. Но на этомъ все и остановилось въ пьесѣ г. Островскаго: „Сонъ на Волгѣ“. Мотивы древняго Русскаго быта, всѣ бытовые типы тогдашней эпохи, всѣ наконецъ „картины завѣтной, Русской стороны“ — не давали покою автору, просились у него въ кисть и слово; онъ захотѣлъ просто отдѣлаться отъ нихъ, столпивъ ихъ въ рамку пяти дѣйствій безъ глубоко-обдуманнаго плана.... Талантъ и условіе, что нашъ авторъ все-таки несомнѣнный художникъ, сдѣлали то, что образы эти какъ-то сами собой заговорили... не столько даже благодаря а вопреки автору. Смыслъ ихъ, по мѣрѣ того какъ художникъ вызывалъ своихъ духовъ передъ собою, все болѣе и болѣе перевѣшивалъ первоначальный замыселъ художника... и авторъ почелъ свою задачу вполнѣ оконченной, когда едва-едва успѣлъ совладать съ ними, еле-еле развелъ всѣхъ по своимъ мѣстамъ, чтобъ болѣе ими не смущаться. Совершенство технической отдѣлки, притомъ, въ значительной степени должно было закупить автора, какъ оно подкупаетъ и читателей въ его пользу.

Мы ничего не сказали о языкѣ „Сна на Волгѣ“, о стихѣ г-на Островскаго. И стихъ и языкъ, относительно говоря, превосходны.

Иные авторы пишутъ у насъ такимъ „народнымъ языкомъ“, что нельзя не осуждать его излишнюю и совершенно ненужную пдіоматичность. Этими идіомами разсчетливый художникъ можетъ съ выгодой пользоваться для оттѣненія рѣчи напр. простонародья и только въ крайней необходимости позволительно прибѣгать къ нимъ. Мы отъ души желали-бы такимъ авторамъ, чтобъ народный Русскій языкъ въ ихъ пьесахъ походилъ на тотъ самый языкъ, образчикъ котораго представилъ теперь г-нъ Островскій въ „Воеводѣ“. — Позволимъ себѣ только сдѣлать одно весьма существенное замѣчаніе, оговоривъ его съ возможною краткостью. Обратясь къ прямо-народному языку нашей пословицы и поговорки, авторъ невольно заговорилъ стихомъ; онъ нѐ-хотя въ своей рѣчи послышалъ и мѣрность и плавность; конечно не желаніе побѣждать трудности версификаціи заставило его писать свою пьесу стихами — все это такъ. Но намъ кажется еще, что разговорная рѣчь героевъ „комедіи“ (какъ г-нъ Островскій назвалъ свою пьесу) все-таки не должна-бы вестись пятистопными ямбическими стихами. — Когда берутъ живые обороты нашей народной пословицы или нашей пѣсни, ритмъ невольно закрадывается въ рѣчь, но это ритмъ вольный а не искусственный: онъ иногда путается и сбивается совершенно особеннымъ, характернымъ образомъ. Совладать съ этой сбивчивостью вольнаго, живаго, русскаго ритма для стихотворца, пишущаго обще-принятыми тоническими стихами, разумѣется трудно. Но побѣдить эту трудность тѣмъ, чтобы сплошь всѣ сцены вести правильнымъ пятистопнымъ ямбомъ — едвали это будетъ уже настоящимъ разрѣшеніемъ задачи, дѣйствительнымъ преодолѣніемъ этой трудности. Пушкинскій пятистопный ямбъ „Бориса Годунова“ имѣетъ свою собственную, присущую ему поэтическую стихію, которой не имѣетъ рѣчь нашей пословицы и поговорки; — правда Пушкинскаго поэтическаго стиха и правда этого пословичнаго склада совсѣмъ розныя и другъ другу чужія; смѣшивать ихъ не годится. Самая впрочемъ, туманность „Сна на Волгѣ“, нѣкоторый въ немъ характеръ опернаго либретто, можетъ быть, были причиной того, что авторъ (вовсе и не думая побѣждать указанныхъ трудностей, къ чему обязывала-бы строгая реальность) просто почувствовалъ необходимость вести всю пьесу не прозою, а стихами.

Газета „День“ 1865 г.

Пьеса „Воевода“ — на Московской сценѣ.

Въ критическомъ отдѣлѣ „Дня“ мы представили въ свое время довольно полный разборъ новой драмы г. Островскаго. На дняхъ „Сонъ на Волгѣ“ шелъ, первый разъ, на сценѣ здѣшняго театра. Любопытно свѣрить впечатлѣніе, произведенное простымъ чтеніемъ этой пьесы, съ тѣмъ — которое она производитъ на сценѣ.

Авторъ не можетъ сѣтовать на какую либо невнимательность къ его пьесѣ. Всѣ наличныя силы театра были призваны къ тому, чтобы придать ей успѣхъ во что бы то ни стало и постановку можно назвать во всѣхъ отношеніяхъ блестящею.

Каковъ-же результатъ?

Смутное, субъективное чувство поэта не выяснилось — говорили мы въ своей критической статьѣ по поводу „Сна на Волгѣ“ — до степени художественныхъ, внятно-говорящихъ образовъ. Пьеса имѣетъ характеръ какой-то фантасмагоріи; это скорѣй либретто для оперы. Въ драмѣ нѣтъ истинной цѣльности и вся она поражаетъ видомъ какой-то „сдѣланности“. Идея пьесы слышится тамъ-сямъ лишь намеками, обнаруживается отрывочно и всегда недосказанно то въ какихъ-нибудь отдѣльныхъ рѣчахъ лицъ второстепенныхъ, то въ разныхъ отступленіяхъ — больше лирическаго, чѣмъ драматическаго характера. И вотъ, — сколько теперь пьеса выиграла на сценѣ декоративнымъ впечатлѣніемъ, производимымъ на зрителя, столько-же и утратила въ своемъ чисто-литературномъ впечатлѣніи, которое въ извѣстной степени доставляла — при чтеніи.

Съ перваго выхода „воеводы“, съ перваго извѣстія объ его готовящейся свадьбѣ, зритель естественно занятъ имъ однимъ. Онъ слѣдитъ за драмой, готовою возникнуть изъ того, что „воевода“ бросилъ свою первую невѣсту и деспотически беретъ за себя сестру ея, нѣжную и поэтическую Настасью Власьевну — за разъ загубляя ея молодое счастье и счастье любимаго жениха ея, Бастрюкова. Зритель хочетъ быть свидѣтелемъ всѣхъ психическихъ потрясеній, которыя теперь выпадаютъ на долю и невѣсты, и Бастрюкова, и самого „воеводы“.... Онъ хочетъ скорѣе знать чѣмъ разразится ихъ характеръ во взаимныхъ ошибкахъ; наконецъ зритель ждетъ не дождется получить отъ автора всю поэтическую разгадку того звѣрства и той лютости, въ которыхъ всѣ не перестаютъ обвинять „воеводу“ съ самаго начала.

А на сценѣ, между тѣмъ, и разбойники катаются по Волгѣ

и деретъ уши бурлацкій напѣвъ „разъ—первой, разъ—другой“, и монастырь показывается въ отдаленіи, и калѣки перехожіе тянутъ стихъ: „отчего у насъ бѣлый, вольный свѣтъ“, и пустынникъ мелодраматически и весьма фальшиво проповѣдуетъ о бренности всего земнаго...

Такое изобиліе театральной обстановки, весь этотъ оперный или даже балетный декорумъ окончательно перевѣшиваютъ собою внутренній смыслъ пьесы и... на сценѣ его рѣшительно не становится. Къ тому же, какъ понятно, всѣ лучшія въ литературномъ отношеніи мѣста драмы; (эти, исполненныя лиризма картины и образы, напримѣръ все III дѣйствіе, засыпаніе терема, или въ I дѣйствіи времяпровожаніе въ саду дѣвицъ съ мамками—или еще пѣсня старухи, которую она поетъ надъ люлькой), — все это тормозитъ „дѣйствіе“ и — именно какъ лиризмъ — въ драмѣ совершенно пропадаетъ.

Въ чтеніи еще можно было угадывать индивидуальную связь дѣйствующихъ лицъ въ „Воеводѣ“ — со всѣмъ соціальнымъ устройствомъ выведеннаго быта; въ чтеніи еще чувствовалась нѣкоторая гармонія между выведеннымъ міромъ и той частной, индивидуальной драмой, которая въ немъ разыгралась; даже самъ характеръ „воеводы“, могъ быть пожалуй оправданъ съ извѣстной точки зрѣнія и хоть нѣсколько давалъ чувствовать свою необходимость. Но разъ пьеса поставлена на сцену она уже не можетъ требовать себѣ такой усиленной внимательности и такой изощренной проницательности отъ зрителя, отъ глазѣющей театральной публики, какъ того можно было требовать отъ читателя — при чтеніи. Убиты и задавлены всѣмъ театральнымъ embarras de richesses — послѣдніе, художественные проблески пьесы.

Смутное неудовлетворенное впечатлѣніе, при полномъ утомленіи отъ оперно-балетной обстановки—вотъ всё, что можетъ вынести публика изъ театра послѣ „Сна на Волгѣ“ *).

Газета „День“ 1865 г.

---

*) Послѣ немногихъ представленій, пьеса окончательно пала и была снята со сцены. Она возобновлена уже въ послѣднее время, въ 80-хъ годахъ—послѣ многихъ сокращеній, измѣненій и совершенныхъ передѣлокъ, сдѣланныхъ въ ней, въ 80-хъ-же годахъ, самимъ авторомъ. *Позднѣйшее примѣчаніе.*

„Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій“. Драма *г. Островскаго.*

Тогда какъ „*Мининъ*“ и „*Сонъ на Волгѣ*“ съ первыхъ представленій упали на сценѣ, новая пьеса г. Островскаго „*Самозванецъ и Шуйскій*“ напротивъ того привлекаетъ зрителей. Она весела и игрива въ дѣйствіи, оживлена картинами бальныхъ танцевъ при дворѣ Лжедимитрія, забавными уличными сценами, эффектными выходами и картинами.... чего же больше?

Отъ русской исторической драмы можно требовать больше этого; особенно мы вправѣ требовать бо̀льшаго отъ г. Островскаго. Его „Мининъ“ и „Сонъ на Волгѣ“ имѣютъ существенные недостатки и они на сценѣ выказываются еще нагляднѣе чѣмъ въ чтеніи; но внутреннею своею стороной, серьезностью предположенной задачи, хотя и не выполненіемъ ея, обѣ прежнія пьесы г. Островскаго, безспорно, стоятъ выше „*Самозванца*“. Новая пьеса г. Островскаго отличается чисто-внѣшнею исторической вѣрностью, этою грубой вѣрностью больше хронологическаго и топографическаго свойства.... А угаданъ-ли духъ эпохи? разгаданы-ли внутренніе мотивы изображаемыхъ событій? наконецъ, достаточно-ли проникъ авторъ въ душу своихъ героинь и героевъ, чтобы вѣрно выставить ихъ какъ въ художественномъ, такъ и историческомъ отношеніи? Пьеса на все это даетъ отрицательные отвѣты. Вся она представляетъ характеръ компиляціи и заимствована изъ компиляціи же другаго автора: мы разумѣемъ статьи г. Костомарова въ „Вѣстникѣ Европы“ о смутномъ времени. Очевидно, драматургъ увлекся именно этими статьями Петербуржскаго профессора и не далъ себѣ труда самому допроситься у исторіи объ истинномъ значеніи выводимыхъ лицъ и событій. Здѣсь не мѣсто вдаваться въ критическую оцѣнку труда г. Костомарова. Довольно сказать, что существенный недостатокъ заключается въ слѣдующемъ: увлекаясь живописностью и драматизмомъ выводимыхъ событій, Петербуржскій профессоръ полной рукой черпаетъ изъ всевозможныхъ источниковъ матеріалы для своихъ картинъ и описаній, ничуть не заботясь о критической провѣркѣ источниковъ. Онъ отдаетъ предпочтеніе не тѣмъ изъ нихъ, которые послѣ строгой критики окажутся вѣрнѣе передающими факты, но въ которыхъ болѣе представляется искомой имъ живописности и драматизма. Поэтому при всей картинности и занимательности изложенія, сами выводимыя лица и сами выводимыя событія

мелькаютъ въ умѣ читателя не только безъ строго-опредѣленнаго выраженія, а еще и съ ясными чертами невозможнаго, ничѣмъ не замиреннаго въ нихъ, противорѣчія. Подчасъ они только исторически невѣрны, а подчасъ и искажены противъ исторіи. Г. Костомаровъ какъ будто даже избѣгаетъ (чуть-чуть не выказывая, что онъ это считаетъ мелочнымъ дѣломъ для историка) останавливаться на разъясненіи личностей, поступковъ или событій, замѣчая тѣ или другія несообразности въ массѣ современныхъ, противорѣчивыхъ отзывовъ. Онъ скользитъ по поверхности, лишь бы не нарушать плавности разсказа. А наряду съ этимъ являются еще у историка (можетъ быть даже помимо его и совершенно невольно) такія искаженія, которыя имѣютъ уже своимъ источникомъ общее созерцаніе г. Костомарова, слишкомъ извѣстное, по части русскаго быта, русской старины, русской исторіи. Такъ напримѣръ, Василій Ивановичъ Шуйскій выходитъ у него односторонне лукавъ и коваренъ, тогда какъ его соперникъ, самъ сорванецъ Лжедимитрій, напротивъ того, выставленъ односторонне же и умнымъ и находчивымъ и незлобивымъ и вообще исполненнымъ всякихъ прогрессивныхъ доблестей. Односторонность такого рода, вольная или невольная со стороны автора, обнаруживаетъ даже словно какую задачу: склонить все сочувствіе на сторону сорванца Самозванца и дать непремѣнно заподозрить и возненавидѣть Шуйскаго. Всѣ эти недостатки историческихъ этюдовъ г. Костомарова о Смутномъ Времени повторяетъ теперь и г. Островскій для публики на сценѣ, въ драмѣ своей: „Самозванецъ и Василій Шуйскій“. Мы внимательно слѣдили за представленіемъ, могли даже записать для удержанія въ памяти нѣсколько отдѣльныхъ стиховъ его пьесы, и теперь — пока не прочитали ее въ печати, ограничиваемся лишь общимъ указаніемъ на всѣ эти недостатки.

Театрально махали копьями и мечами обыватели Москвы, а польскіе паны и паньи плясали мазурку; театрально голосилъ Самозванецъ нѣчто въ родѣ того, что *„тѣнь Грознаго его усыновила;“* наконецъ театрально отъ перваго до послѣдняго выхода коварствовалъ и лукавствовалъ Василій Ивановичъ Шуйскій, — вотъ общее впечатлѣніе, которое производитъ новая пьеса г. Островскаго. По паденіи занавѣса вся эта интермедія проносится пестрымъ сномъ, не оставляя въ памяти ни одного глубоко-задуманнаго положенія, ни одной задушевной ноты. Всего оживленнѣе вышла уличная сцена; та самая, гдѣ пирожники, разнощики и всякій уличный сбродъ

затѣваютъ ссору съ Поляками. Но эта сцена, не заключая какого нибудь серьезно-индивидуальнаго выраженія, а забавная сама по себѣ, прошла бы одинаково весело и игриво во всякомъ другомъ мѣстѣ. Въ историческомъ отношеніи, какъ мы сказали, пьеса поражаетъ больше внѣшней и грубой вѣрностью. Тѣ или другіе хронологическіе признаки, тѣ или другіе подлинныя фразы, которыя записаны исторіей и повторяются стереотипно у всѣхъ авторовъ, выводившихъ Самозванца, соблюдены и тутъ во всей точности. Убіеніе Лжедимитрія, какъ извѣстно, произошло въ майскую ночь: 17-го мая 1606 года значится и на афишѣ. Басмановъ первый извѣстилъ самозванца о тревогѣ и пошелъ на смерть съ извѣстнымъ изрѣченіемъ: „Мятежъ! Я умру, а ты спасайся“: такъ происходитъ это и въ пьесѣ. Самъ Лжедимитрій, какъ извѣстно, кинулся въ толпу, махая мечемъ и крича: „я вамъ не Годуновъ!“ Самую эту фразу: „Я вамъ не Годуновъ!“ повторяетъ и г. Вильде. Всѣ подробности и „историческія вѣрности“ такого рода соблюдены съ крайнею, дипломатическою точностью; даже актеры кстати и некстати, во всей пьесѣ, напираютъ на нихъ съ особенной силой и какъ бы указываютъ на нихъ пальцемъ, чтобъ они не затерялись для публики. Но никакіе хронологическіе признаки не способны повѣять на душу духомъ эпохи, когда самая эта эпоха не разгадана душой автора. Никакія отдѣльныя фразы, хотя бы и самыя подлинныя и записанныя во всѣхъ современныхъ источникахъ, не тронутъ зрителей, когда эти фразы насильственно вложены въ уста героевъ, ясное представленіе о которыхъ не успѣло сложиться въ творческомъ сознаніи самого автора.

Такая замѣчательная фраза, какъ „я вамъ не Годуновъ!“ глубоко знаменательна въ Лжедимитріи историческомъ. Этотъ самоувѣренный, а не сознательный обманщикъ, слѣпое орудіе тайныхъ, отчасти для него самого сокрытыхъ силъ, Лжедимитрій съ самаго начала, еще бывъ въ Польшѣ, отличался неподдѣльной страстностью и негодованіемъ противъ Годунова. Онъ всегда съ пѣной на губахъ произносилъ имя царствовавшей въ Москвѣ династіи и, за одно съ народомъ въ то время, клялъ узурпатора. При этомъ вполнѣ понятно, что, вылетѣвъ съ мечомъ въ рукѣ, даже во время бунта, онъ могъ грозиться народу такими словами, — и фраза „я вамъ не Годуновъ!“, при художественномъ возсозданіи этой таинственной личности, получила бы глубокій смыслъ. Но гдѣ ея необходимость въ томъ самозванцѣ, котораго себѣ представлялъ

или правильнѣе даже не представлялъ себѣ г. Островскій, и котораго выбивался изъ силъ передать на сценѣ г. Вильде? И эта и другія подобныя „подлинныя“ фразы, вложенныя въ уста самозванцу безъ всякой внутренней необходимости, ничѣмъ не осмысленныя въ общемъ его представленіи у автора, ничего не говорятъ читателю или зрителю, а пропадаютъ въ пьесѣ совершенно безслѣдно. Вообще Лжедимитрій выставленъ у г. Островскаго, точно также какъ и въ историческихъ этюдахъ г. Костомарова, безъ точнаго опредѣленія со стороны автора, какъ онъ его понимаетъ: кто онъ — сознательный-ли воръ и обманщикъ, или самоувѣренный самозванецъ — орудіе другихъ лицъ? Въ сценѣ съ матерью Марѳой (г-жа Васильева) онъ ей напрямикъ признается, какъ чужой; точно также и своей невѣстѣ Маринѣ (г-жа Ѳедотова-Познякова) онъ рекомендуетъ себя въ качествѣ простаго шляхтича. Наконецъ въ длинномъ монологѣ передъ трономъ, въ этой задушевной исповѣди съ самимъ собою, онъ также признаетъ себя бродягой и проходимцемъ. Что все это не совсѣмъ вѣрно относительно исторіи, тутъ распространяться не мѣсто. Но важно указать, что все это не имѣетъ большаго смысла и въ самой драмѣ г. Островскаго, такъ какъ противорѣчитъ другимъ мотивамъ, заключающимся тутъ же въ пьесѣ. Всѣ эти добровольныя признанія въ воровствѣ и мошенничествѣ мало вяжутся съ другими сценами, напримѣръ гдѣ Лжедимитрій, искренно вѣрующій въ свою истинность, является истинно-великодушнымъ съ виновными въ его непризнаніи. Онъ даже обижается тѣмъ, что мнѣнія и молва праздной толпы кажутся его приближеннымъ опасными и бросающими на него тѣнь подозрѣнія. Онъ оскорбленъ и уязвленъ въ своемъ самолюбіи, когда сами эти приближенные будто сомнѣваются-же въ немъ и избѣгаютъ что-то выговорить передъ нимъ до конца.

Василій Ивановичъ Шуйскій, послѣ Лжедимитрія, является главнымъ лицемъ драмы, а искусная игра г. Шумскаго выдвигаетъ его еще на первый планъ въ пьесѣ. Въ Шуйскомъ, какъ его представилъ г. Островскій, еще менѣе исторической и художественной правды, чѣмъ въ самомъ Самозванцѣ; начнемъ съ исторической. Всѣ наши учебники, правда, выдаютъ Шуйскаго за коварнаго и лукаваго интригана; почти всѣ выставляютъ его еще узурпаторомъ. Традиція, которой въ свое время подчинился Карамзинъ, перешла отъ него еще, какъ извѣстно, и къ Пушкину. Въ своемъ трудѣ „геніемъ Карамзина вдохновенномъ“, поэтъ выводитъ Шуйскаго

лукавымъ царедворцемъ. Карамзинъ однако слишкомъ хорошо зналъ исторію, а Пушкинъ имѣлъ слишкомъ поэтическую природу для того, чтобы выставить въ Шуйскомъ одно воплощенное лукавство; у обоихъ сохранены за Шуйскимъ другія стороны его характера и живыя черты этой замѣчательной личности. У обоихъ въ Шуйскомъ угадывается тотъ именно бояринъ, а потомъ „выкрикнутый царь“, который безстрашно обличалъ Самозванца и клалъ голову свою на плаху, который именно въ минуты испытанія и невзгоды наиболѣе поражалъ особеннымъ величіемъ духа. Шуйскій и въ предательскомъ плѣну у Сигизмунда не посрамилъ мономаховой шапки, не погнулъ ее передъ холопомъ шляхтичей. Но у г. Островскаго, увлекшагося по преимуществу даже не Карамзинымъ и не Пушкинымъ, а исключительно г. Костомаровымъ, Шуйскій выходитъ только лукавъ и коваренъ: онъ преслѣдуетъ въ самомъ сверженіи Лжедимитрія только свои крамольныя цѣли и ничего больше. Дѣло „коварнаго“ Шуйскаго противъ „прогрессивнаго“ Самозванца получаетъ, такимъ образомъ, въ драмѣ г. Островскаго характеръ какой-то темной интриги въ ретроградномъ духѣ, какой-то вопіющей и возмутительной неправды. Все это болѣе чѣмъ не вѣрно, это искажено. Въ средѣ тогдашняго боярства Василій Ивановичъ Шуйскій дѣйствительно выдавался особнякомъ, и на немъ не даромъ простые люди останавливали свои надежды. Въ интригѣ бояръ, заводившихъ самозванца, В. И. Шуйскій съ самаго начала не принималъ никакого, хотя бы самомалѣйшго участія. Въ то время, какъ Борисъ Годуновъ подозрѣвалъ уже всѣхъ бояръ въ солидарности съ этимъ гнуснымъ дѣломъ, и когда они явно передавались Лжедимитрію и явно накликали на Русь Литву, Шуйскій напротивъ того именно въ виду интриги съ Самозванцемъ сдѣлался болѣе чѣмъ когда нибудь преданъ Борису. Объ руку съ нимъ тутъ можно только поставить развѣ Ѳ. И. Мстиславскаго; но тогда какъ этотъ былъ и простъ и робокъ, Шуйскій отличался умомъ и твердостью. Поэтому, по поводу самозванцева дѣла, и въ началѣ и въ концѣ, народная молва всегда отличала Шуйскаго отъ всѣхъ прочихъ бояръ. Тогда какъ у всѣхъ у нихъ, по поводу этого дѣла, какъ это ясно обличалось для народа, рыльце было въ пуху, говоря языкомъ пословицы; за Шуйскимъ, напротивъ того, было его честное поведеніе относительно Самозванца. Онъ еще при Борисѣ, съ Красной площади, заклиналъ народъ не вѣрить Лжедимитрію и свидѣтельствовалъ объ его самозванствѣ; а потомъ весь-же народъ московскій видѣлъ его на плахѣ. Вотъ до-

стоинство и неоспоримая заслуга Шуйскаго въ этомъ дѣлѣ. Совершается бунтъ на московскихъ улицахъ, обманщикъ убитъ и растерзанъ чернью.... Кого Москва выберетъ въ цари? Шуйскому потомъ вся земля ставила въ укоръ, что онъ „сѣлъ на царствѣ, всей земли не спросяся;“ однакожь и всякій говорившій такъ, хотя бы напр. извѣстный Прокофій Ляпуновъ, не оспаривалъ въ этомъ случаѣ самыхъ правъ Шуйскаго; никто не оспаривалъ, что именно однакожь на Шуйскаго указалъ бы въ этомъ случаѣ и всеземскій, всенародный голосъ. Остается послѣ этого лишь одинъ вопросъ: почему однако Шуйскій, если былъ увѣренъ въ выборѣ ото всей земли, почему онъ такъ исторопился сѣсть на царствѣ? Самый спѣхъ его избранія нельзя-ли поставить ему въ вину и въ улику того, что сверженіе Самозванца онъ задумывалъ лишь въ качествѣ узурпатора? Исторія того времени даетъ на этотъ вопросъ отвѣтъ самый категорическій и притомъ въ совершенное оправданіе Шуйскаго. Дѣло въ томъ, что сама Москва въ ту минуту была поставлена въ необходимость исторопиться выборомъ царя; хотѣлъ-ли, не хотѣлъ-ли того Шуйскій, сама Москва нуждалась тутъ въ спѣхѣ. Припомнимъ, что въ то самое время, какъ въ Кремлѣ терзали трупъ „еретика самозванца“, вся провинція съ нетерпѣніемъ ожидала изъ столицы вѣстей о бракосочетаніи и вѣнчаніи своего „Краснаго Солнышка.“ Для Москвы, конечно, было достаточно какихъ-нибудь двухъ недѣль пребыванія Марины и Поляковъ въ Кремлѣ, чтобы досыта наглядѣться на безобразіе двора Лжедимитріева. Москва въ эти двѣ-три недѣли хорошо разгадала, что этотъ обманщикъ, вѣнчающійся съ Мариной, хуже Турки, а не сынъ царя; Москвѣ надо было покончить съ нимъ въ одинъ ударъ. Ей некогда да и нельзя было совѣщаться по этому дѣлу со всей землей; ей нельзя было переписываться, объ „еретичествѣ“ Самозванца и о необходимости бунта, „со всѣми городы.“ Москва, повторяемъ, убила злодѣя въ то именно время, когда провинція съ восторгомъ ожидала восторженныхъ вѣстей изъ столицы, когда вся Русь, во всѣхъ концахъ, ликовала еще на первыхъ радостяхъ о томъ, что „Красное Солнышко опять заблеститъ въ Москвѣ по старому, по бывалому.“ Понятно, что только, погубивъ „царя,“ Москва спохватилась въ своей невольной и вынужденной оплошности передъ провинціей, передъ цѣлой Россіей. Она, говоритъ одинъ современникъ очевидецъ, спохватилась по пословицѣ, какъ кошка, зная чье мясо съѣла. Не Шуйскій, а сама Москва,

почувствовала необходимость скорѣй покрыть дѣло бунта избраніемъ новаго царя тутъ же на мѣстѣ. Шуйскій, по необходимости одинъ онъ, представлялся кандидатомъ; его и „выкрикнули“. Обстоятельства за ту минуту, скажемъ въ заключеніе, сложили все это дѣло именно такъ, какъ оно тогда совершилось; а лукавство Шуйскаго тутъ ни при чемъ.

Наперекоръ всему этому, Василій Ивановичъ Шуйскій въ драмѣ г. Островскаго представленъ лукавымъ и коварнымъ до низости: ни одной черты живаго человѣка не остается за Шуйскимъ, кромѣ лукавства; ни одного дѣла, кромѣ крамолы. Самая казнь его за обличеніе Лжедимитрія, тотъ фактъ что онъ обличалъ его, не убояся плахи, будто намѣренно скраденъ въ драмѣ и сведенъ на нѣтъ. И Шуйскій въ этой пьесѣ не только лукавъ и коваренъ, онъ еще постоянно играетъ въ лукавство, онъ еще кстати и некстати кокетничаетъ своимъ коварствомъ. Авторъ задалъ ему какую-то спеціальную задачу: на показъ передъ публикой дивить и поражать міръ этимъ своимъ мастерствомъ, въ которомъ у него нѣтъ соперниковъ. Поэтому, являясь искаженіемъ относительно исторіи, это самое лукавство еще и въ художественномъ отношеніи выходитъ не удовлетворительно. Оно форсировано, является какимъ-то воплощеніемъ безъ всякихъ другихъ живыхъ или индивидуальныхъ сторонъ, оно выходитъ какъ-то приторно, рецептно и казенно, отъ начала до конца скучно и утомительно. Г. Шумскій исполнялъ трудную задачу, заданную ему авторомъ, безподобно; онъ конечно всего менѣе виновенъ, если игралъ какое-то воплощенное коварство, а живаго лица въ своей роли не давалъ слышать. Впрочемъ, вѣроятно подчинясь утрировкѣ, которая тутъ сдѣлана самимъ авторомъ, невольно утрировалъ и г. Шумскій, — глазами, по крайней мѣрѣ. Онъ такъ по временамъ немилосердно таращилъ глаза и закатывалъ бѣлками, что форсированное лукавство Василія Ивановича Шуйскаго по временамъ казалось еще комично.

Оттого ли, что роль Марины исполняла г-жа Познякова и эта роль не подходитъ къ этой артисткѣ; оттого-ли единственно, что самому автору роль Марины особенно не удалася—это лицо показалось намъ всѣхъ блѣднѣе въ пьесѣ г. Островскаго. Сцена свиданія сильно напоминаетъ извѣстную сцену у фонтана Пушкина и тутъ повторенъ лишь тотъ самый мотивъ, который уже былъ взятъ нашимъ поэтомъ. Вся пресловутая „гордость“ Марины тутъ выходитъ какъ-то ходульна и казенна. При той рѣзкости, съ ко-

торой выдается всюду въ исторіи Маринин характеръ; при той яркости, съ которою ея образъ передаютъ намъ обильные источники того времени,—можно бы было требовать отъ художника болѣе живыхъ красокъ, болѣе индивидуальности въ изображеніи надменнаго характера этой героини; у г. Островскаго эта надменность напоминаетъ театральную рутину.

Однимъ изъ существенныхъ условій драмы, взятой изъ Русской исторіи, долженъ быть самый языкъ этой драмы, который былъ бы вѣренъ эпохѣ. Это не то значитъ, чтобы языкъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ былъ исполненъ мѣстныхъ оттѣнковъ и испещренъ идіоматизмами. Языкъ, какъ все живое, безъ сомнѣнія, развивается съ каждымъ вѣкомъ и было бы странно требовать, чтобы въ наше время русскій писатель писалъ исторію тѣмъ самымъ языкомъ, который представляется какъ бы закаменѣвшимъ въ прошлыхъ столѣтіяхъ; — не въ этомъ состоитъ и требованіе. Рѣчь человѣка — это самъ человѣкъ; всякое слово, всякое выраженіе, всякій образъ, передаваемый человѣческимъ словомъ, имѣютъ обаятельную связь съ самимъ говорящимъ; они, даже противъ воли говорящаго, оттѣняютъ и выясняютъ его личность, они проникаются его собственною индивидуальностью. Понятно, слѣдовательно, что и слова и рѣчи, влагаемыя авторомъ въ уста своихъ дѣйствующихъ лицъ, должны быть именно таковы, чтобы вполнѣ имъ соотвѣтствовали, шли бы къ нимъ; чтобы они сами въ себѣ заключали духъ и смыслъ, присущій выставляемымъ лицамъ. Иначе, всякое уклоненіе отъ этого закона и несоблюденіе этого условія сейчасъ же прозвучитъ фальшивой нотой въ выставленіи того или другаго лица. Было бы странно, напримѣръ, заставлять говорить нашихъ старинныхъ бояръ тѣмъ языкомъ, которымъ написаны, хоть-бы баллады Жуковскаго, Что касается до языка въ новой піесѣ г. Островскаго, то наряду съ мѣткими выраженіями и прямо русскими оборотами, съ пословицами и поговорками, этотъ языкъ переполненъ еще такими — то слишкомъ отвлеченными, то схоластическими выраженіями — что именно скорѣе напоминаетъ языкъ балладъ Жуковскаго. „Хоть руку на прощанье облобызать позволь!“ „Отри слезу!“, „Сомкни уста!“, „держу сей мечь и симъ мечемъ клянусь!“, „на встрѣчу ласкъ горячихъ и объятій“, „свѣтила мнѣ звѣздою путеводной!“... это уже изъ рукъ вонъ плохо въ русской исторической драмѣ, т. е. такой, гдѣ даже дагеротипная вѣрность минувшей эпохѣ составляетъ немаловажную задачу. Кстати, почему г. Остров-

скій пишетъ стихами? Стихъ, какъ это было ему замѣчаемо уже не одинъ разъ, имѣетъ свою собственную поэтическую, музыкальную правду, и необходимой для него стихіей представляется поэзія. Мы давно знаемъ г. Островскаго за даровитаго истолкователя гостиннодворскихъ типовъ, за комика, за драматурга пожалуй... Но съ какихъ поръ онъ самъ себя сталъ еще признавать стихотворцомъ-поэтомъ?

Газета „*Москва*“ 1867 г.

„Сватъ Ѳадѣичь“ — новаа пьеса *г. Чаева.*

Въ талантѣ г. Чаева много симпатичныхъ сторонъ. Онъ относится къ народному быту съ удивительной безъискусственностью и простотою. Въ его народныхъ пьесахъ нѣтъ и тѣни той прежней фальши, той псевдо-народности, которыми отличаются напримѣръ драмы Кукольника. Наконецъ самый языкъ, какимъ говорятъ его Русскіе люди, представляетъ попытку живаго народнаго языка. Авторъ уже извѣстенъ Московскому обществу двумя своими этюдами: Александръ Тверской и Дмитрій Самозванецъ. Мнѣнія на счетъ художественнаго значенія этихъ пьесъ могутъ быть весьма различны;—но что у г. Чаева въ его народныхъ сценахъ нѣтъ никакой фальши не только прежнихъ бывалыхъ драмъ но и новѣйшихъ въ народномъ вкусѣ и что его языкъ представляетъ замѣчательную попытку настоящаго народнаго языка—въ этомъ, кажется, всѣ сходятся единодушно.

Тоже можно сказать и по поводу его новой пьесы „Сватъ Ѳадѣичь“. Народный элементъ, въ его чистомъ видѣ, составляетъ неотъемлемое достоинство этой пьесы. Тутъ онъ до такой степени простъ и чистъ—нигдѣ не поставленъ на ходули, нигдѣ не подцвѣченъ какимъ-нибудь лживымъ эффектомъ, что даже именно съ этой стороны грозитъ автору опасность быть не поняту публикой. Наша публика такъ привыкла къ полуфранцузскому языку русскихъ мелодрамъ и водевилей (по чести сказать, оказать вліяніе да повліять и пр. и пр.), что настоящій русскій языкъ, нѣтъ мудренаго, ей покажется за татарскій. До такой степени она избалована иностранными типами на нашей сценѣ, такъ привѣтствуетъ за родное и за близкое для себя заносные типы даже гризетокъ и модистокъ—что вполнѣ-народные типы какого-нибудь кузнеца

Вакулы, бурмистра, или бурмистровой дочки, лѣсника, мельника и пр. пожалуй покажутся ей непонятными, если не подцвѣтить ихъ бенгальскимъ огнемъ „нейзанскихъ балетовъ".

Впрочемъ, что касается общаго равнодушія къ народнымъ пьесамъ нашего мало-народнаго театра, тутъ не все-же вина одной публики. Если и пьесѣ г-на Чаева, безспорно лучшей въ этомъ родѣ, не посчастливится на нашей сценѣ,—значительная доля вины падётъ на самого автора. Русскіе люди г. Чаева, безспорно, говорятъ на сценѣ живымъ русскимъ языкомъ; они одѣты въ простые зипуны да бараньи тулупы, а не въ ту мишуру и сплошной алый цвѣтъ, въ которые обыкновенно рядятъ Русскій хороводъ или Русскую свадьбу наши плохіе живописцы да Французскіе иллюстраціи. Все это уже значительный шагъ впередъ; но одного этого мало.

Въ пьесѣ „Сватъ Ѳадѣичь" все вѣрно списано съ натуры и всѣ штрихи исполнены несомнѣнной правды; но хотѣлось-бы чтобъ эта натуральная правда выдавалась еще впередъ передъ зрителемъ какъ правда выше-сознанная творчествомъ; хотѣлось-бы чтобы штрихи выходили сами по себѣ крупнѣе, не такъ дагеротипны и случайны. Они мелки и недовольно рельефны. Бытовая характеристика дѣйствующихъ лицъ, конечно, вещь также важная сама по себѣ,—но въ пьесѣ „Сватъ Ѳадѣичь" она выступаетъ на первый планъ и растягивается въ ущербъ дѣйствію. Дѣйствіе пьесы постоянно тормозится у нашего автора такою бытовой характеристикой каждаго изъ дѣйствующихъ лицъ. Та или другая сцена сходитъ при этомъ на простое описаніе нравовъ; на простую картину нравовъ сходитъ и вся пьеса. Пожалуй, онъ далъ очень граціозную картину, но не болѣе какъ картинку. Легко можно-бы, представляется намъ, всю эту пьесу „Сватъ Ѳадѣичь" отъ начала до конца повести съ бо̀льшимъ умѣньемъ: мы хотимъ сказать, что въ томъ самомъ видѣ, какъ она теперь написана авторомъ, она сама собой уже подсказываетъ легкую возможность и усилить драматическое дѣйствіе, и живѣе развить характеры.

Самъ герой пьесы, Ѳадѣичь—вѣдомый воръ, однако въ тоже время популярнѣйшій человѣкъ въ околоткѣ—не довольно выдается у автора и выходитъ безцвѣтенъ. Одно то̀, что народъ въ немъ мало видѣлъ разбойника, а больше угадывалъ своего защитника, уже давало много живыхъ красокъ и выдвигало много рельефныхъ сторонъ, которыми авторъ, по нашему мнѣнію, не довольно

воспользовался. Лучшія сцены выпали на долю двора бурмистра. Дочка его Таня, томящаяся въ загонѣ у злой мачихи; эта ея мачиха; наконецъ самъ старикъ, истый „бурмистръ графской вотчины“,— составляютъ въ цѣлой пьесѣ лучшую картинку. Ея художественная граціозность невольно удержится въ памяти.

Особенно неудачно первое дѣйствіе—сцена говоруна-лѣсника въ кузницѣ у Вакулы. Она слишкомъ тянетъ одно и тоже впечатлѣніе зрителя. Съ чѣмъ занавѣсь поднялась, на томъ и спустилась: на разстояніи цѣлаго дѣйствія ничего для зрителя не прибавилось къ концу, чего бы не было сначала. Тутъ, вмѣсто длиннаго дѣйствія, довольно-бы краткой сцены. Въ интересѣ дѣйствія слѣдовало непремѣнно унять неотвязчиваго говоруна-лѣсника; а онъ какъ его Вакула ни гонитъ изъ кузницы — стоитъ себѣ на одномъ мѣстѣ да разсказываетъ. Какъ отдѣльная статуетка, фигура лѣсника пожалуй и удержится въ памяти; но тутъ, впрочемъ, половина похвалы приходится уже на долю талантливаго исполнителя-актера. Сокращенье его разсказовъ дало-бы сверхъ того возможность не отдѣлять первой картины отъ второй опущеніемъ занавѣси, какъ-бы на два отдѣльныхъ дѣйствія. А перенесите зрителя изъ кузницы Вакулы прямо въ бурмистровъ дворъ (такъ называемою на театральномъ языкѣ чистою перемѣной)—и въ сценическомъ отношеніи пьеса много выиграетъ. Вообще нельзя не пожалѣть, что какая-то робость слышна въ талантѣ г. Чаева: размашистость не будетъ ни въ какомъ случаѣ отличительнымъ свойствомъ его таланта...

Скажемъ въ заключеніе, что актеры, передавая крестьянскую рѣчь, немилосердно ѳкали; половины рѣчей по этому нельзя было разобрать. Къ чему это непремѣнное ѳканье, едва хотятъ представить крестьянъ? Въ нашей народной рѣчи, или даже въ простонародной, это ѳканье ничего существеннаго не составляетъ. Гдѣ ѳкаютъ, но гдѣ и ѧкаютъ; то и другое въ равной мѣрѣ. Прочтите „Толковый Словарь Даля“,—вы найдете, что если мѣстами народъ ѳкаетъ, то мѣстами-же онъ ѧкаетъ такъ немилосердно, что въ народѣ-же на этотъ счетъ составились прибаутки.

Газета „День“ 1864 г.

„Князь Александръ Михайловичъ Тверской“, историческая хроника въ 5-ти дѣйствіяхъ *Н. А. Чаева.*

Пьеса г-на Чаева „князь Александръ Михайловичъ Тверской“, съ которою большинство читающей публики знакомо развѣ только по наслышкѣ, появилась наконецъ въ печати, въ № 9-мъ Библіотеки для Чтенія. Привѣтствуемъ ее, какъ отрадное явленіе въ нашей журналистикѣ за послѣднее время.

Наша литература очутилась именно въ такой полосѣ, что идеалы былаго времени въ ней пропадаютъ, а возникаютъ новые. Мы какъ будто чувствуемъ канунъ ихъ появленія; по крайней мѣрѣ, самое вѣяніе ихъ становится день ото дня ощутительнѣе. Самобытность, какъ нашъ вчерашній гаданный сонъ и народность, какъ недавнее наше исканіе, насъ привели къ рубежу... На нашихъ глазахъ совершается, можетъ быть, новый періодъ литературы,—зачинается во-очію, можетъ быть, новая эпоха въ нашемъ развитіи, эпоха, которая теперь можетъ уже значить только одно: это уже самò обрѣтеніе нашей народности; это, наконецъ, нашей самобытности—осуществленіе.

Никто, впрочемъ, не подумаетъ, что мы именно новую пьесу г-на Чаева „князь Александра Михайловичъ Тверской“ хотимъ отнести къ числу тѣхъ яркихъ явленій въ литературѣ, съ которыхъ начинается новое лѣтосчисленіе и отъ которыхъ ведется цѣлый послѣдующій періодъ. Не вдругъ являются такія произведенія во всякой литературѣ. Долго перебраживаютъ въ обществѣ тѣ полу-ясныя стремленія и не скоро складываются тѣ убѣжденія и идеалы, которые даютъ имъ ходъ. Смутные и неопредѣленные, они долго носятся въ воздухѣ, пока область ихъ вѣянія станетъ могущественнѣе и шире, пока явится всюду несмѣтное множество ихъ предвозвѣстниковъ—и сами они дозрѣютъ и выяснятся съ достаточной полнотою. Тогда-то найдутъ они наконецъ мощнаго художника для ихъ всецѣльнаго истолкованія передъ толпою и для творческаго воплощенія на глаза міру—художника, который съ такой невѣдомою силой откликнется всѣмъ струнамъ, до тѣхъ поръ молчавшимъ безъ отзыва и съ такой всеобъемлющей полнотою выведетъ на свѣтъ Божій все таившееся лишь въ предчувствіи, что еще надолго хватитъ и послѣ него работы—послѣдующимъ поколѣніямъ донимать изъ глубины его духа и идти ему въ слѣдъ.

Но для насъ уже въ высшей степени важны и такія произведенія, которыя хотя на одинъ шагъ приближаютъ родное искусство къ вожделѣнной эпохѣ и хоть намекаютъ на самобытность и на самостоятельность нашей мужающей литературы. Все, что проникнуто вѣрнымъ чувствомъ народности и запечатлѣно ея духомъ, для насъ не можетъ не имѣть глубокой важности и выдвигается само собою на первый планъ. И мы именно хотимъ сказать, что пьеса г-на Чаева „князь Александръ Михайловичъ Тверской“ изо всѣхъ произведеній текущей беллетристики именно этимъ выдѣляется вонъ изъ ряду, — каковы-бы ни были ея недостатки.

„Псковъ. Палата со сводами на княжемъ дворѣ; по стѣнамъ лавки, накрытыя полавочниками; полъ устланъ коврами; вверху полукруглая слюдяная оконица, сквозь нея видны по временамъ женскія головы“ — такою картиной открывается 2-я сцена II-го дѣйствія, лучшее мѣсто въ цѣлой драмѣ. Псковъ излюбилъ Тверскаго князя Александра; Псковъ хочетъ въ своей избѣ быть самъ большой, ему не надо Новогородцевъ, одна тягота ему отъ нихъ... Псковъ, заслышавъ, что Московскій князь наѣхалъ въ Новгородъ свою вотчину, и теперь хочетъ попритянуть себѣ и ихъ городъ— Псковъ тревоженъ на своемъ вѣчѣ. Онъ боится за излюбленнаго князя. Послы Московскаго входятъ на княжій дворъ, и Псковичи валятъ толпою туда же. Послы лукаваго Московскаго князя зовутъ Александра Тверскаго на судъ, въ Орду; не просто зовутъ, они его требуютъ. Князь Александръ такое требованіе отклонилъ. Ему, Тверскому князю, дѣти котораго сами на великомъ княженьи сиживали, ему Москва не господинъ; хочетъ онъ слушать ханскаго велѣнья—слушаетъ; не хочетъ—своей головой отвѣчаетъ. Другую пѣсню тогда заигрываютъ послы: только не пойдетъ князь въ Орду на судъ къ хану, всей землѣ разоренье будетъ... „Я въ Орду идти не прочь! отвѣчаетъ уже на это князь вольной-волею. Храни Богъ, чтобы изъ-за меня какое лихо христіанамъ содѣялось; лучше я одинъ умру, нежели все христіаство изгибнетъ“...„нѣтъ! вмѣшивается народъ, не ходи, князь! они только головы твоей ищутъ! мы всѣ изомремъ, подъ ножъ пойдемъ съ тобою,—не ходи князь! Долой Новгородцевъ! будь у насъ княземъ на Псковѣ“,—и вотъ князю подносятъ ото всего города хлѣбъ-соль на блюдѣ,—звонятъ вѣче,— выносятъ княжескій стягъ и несутъ его передъ Александромъ,— оповѣщаютъ поповъ: шли бы они съ образами на встрѣчу! и вотъ уже раздается звонъ *во вся*,—шумятъ-идутъ въ городской соборъ

къ Святой Троицѣ. Станетъ тамъ народъ крестъ цѣловать любимому князю, а князь—народу.

Но не даромъ еще во все продолженіе этой сцены мелькали и женскія лица въ томъ потайномъ, слюдяномъ окошечкѣ! Кромѣ шумливыхъ соглядатаевъ изъ народа, втихомолку еще тутъ присутствовали князевы ближніе, его кровные. Если народъ, эта новая родная семья князя, разразился тутъ же въ палатѣ бурнымъ, импровизированнымъ вѣчемъ, прогнавшимъ Новгородцевъ и провозгласившимъ князя,—тамъ, за потайнымъ слюдянымъ окошечкомъ, только слабый стонъ княгининъ и ея обморокъ сказались въ отвѣтъ на рѣшеніе князя: ѣхать въ Орду! И въ такомъ сопоставленіи бурной народной драмѣ драмы семейной, внутри князева семейства, въ покоѣ его домашнихъ, вся картина несказанно выигрываетъ въ ея глубоко-поэтическомъ смыслѣ.

Другая картина. „Тверь. Весеннее ясное утро; огородъ за хоромами; гряды; хмѣльникъ; черемуха въ цвѣту; крыльцо; видны верхи теремовъ. Между двумя деревьями качель. Вдали городская деревянная стѣна; надъ ней синѣетъ полой и мѣстами видны поемные луга". Какая родная, будто из-дѣтства памятная картина! въ ней оживаетъ память всего того, что давно было затеряно нами среди стриженыхъ аллей во французскомъ вкусѣ или прилизанныхъ цвѣтниковъ съ англійскимъ газономъ!... Въ этомъ простомъ и безъискусственномъ возсозданіи какъ много непосредственнаго чутья Русской природы и какимъ теплымъ колоритомъ согрѣта она въ пьесѣ г-на Чаева. Сцена, которая происходитъ у здѣшняго хмѣльника (сцена княжича съ няней, князя-отца и княгини-матери), сама еще исполнена чего-то утренняго, и сама обдаетъ читателя свѣжестью майскаго воздуха. Свиданье съ дѣтьми ихъ дядей и вообще вся эта встрѣча съѣхавшейся родни—картина чисто-русская! „Вотъ мои; старшаго ты знаешь, а этотъ вотъ Псковичъ; во Псковѣ родился!" или: „поди ко мнѣ (цѣлуетъ и гладитъ его по головѣ), наши роды, наша кровь! Дѣдъ вылитый! А кой годокъ-отъ?" или: „Привезу когда къ тебѣ своихъ.... Я самъ къ тебѣ, по Волгѣ, всей семьей пріѣду. Лѣтомъ какъ-нибудь, насадъ наладимъ, да и спустимся къ вамъ погостить на Ярославль",—какъ, говоримъ, все это вѣрно прочувствовано авторомъ и живо истолковываетъ читателю патріархальность древняго русскаго быта—суть еще и современной Русской жизни въ ея неиспорченномъ видѣ.

Еще новая картина. „Верхъ деревянной башни. Темная ночь. Громъ. Освѣчаетъ. Волги не видать. Княгиня, няня и княжичъ у ней на рукахъ, три сѣнныя дѣвушки, два отрока съ фонарями,— всѣ всходятъ на башню и смотрятъ въ окно“— не каждая ли опять здѣсь черта живьемъ схвачена изъ той Русской дѣйствительности, которую авторъ захотѣлъ воплотить въ своей драмѣ? Это — проводы князя въ Орду... Вѣтеръ доноситъ уже только отрывочныя рѣчи съ берега Волги; „якорь!... отчаливай!“ Княгиня зоветъ: прощай!... Постойте! Няня, Мишу! — схватываетъ сына на руки и выставляетъ въ окно — Мишу-то благослови! зоветъ она, благослови еще!...

У иныхъ авторовъ, при всей кажущейся вѣрности схваченнаго формализма, дѣло всегда и ограничивается однимъ формализмомъ, такъ что кубки меда, которыми они угощаютъ своихъ героевъ, кажутся для читателей или для зрителей картонными; и мечи, которыми заставляютъ ихъ махать, кажутся бумажными; и огонь, которымъ они освѣщаютъ ихъ походные шатры — бенгальскимъ.— Здѣсь, у г-на Чаева, напротивъ того, всякій штрихъ и полуштрихъ поражаютъ полнотою бытовой правды, — всякая подмѣченная имъ черта и всякій имъ схваченный образъ обдаютъ читателя воздухомъ тогдашней эпохи. Весь тогдашній бытъ съ своей плотью и кровью, со своей „душою живою“ отражается въ прекрасныхъ картинахъ нашего автора, такъ глубоко имъ прочувствованныхъ, а потому и вѣрно возсозданныхъ.

Время, изображенное авторомъ въ его драмѣ, это, какъ видитъ читатель, такъ называемый удѣльный періодъ, — періодъ, который обыкновенно каждый изъ нашихъ историковъ спѣшитъ обойти и неохотно на немъ останавливается. Вся эта борьба князей, усобица городовъ между собою, наконецъ самое Монгольское иго съ вѣчными поѣздками князей въ Орду и съ наводами ими самими Татаръ на Русскія области — представлялись обыкновенно у насъ какою-то нескладицей, крайне запутанной и въ тоже время до нельзя однообразной, скучной и мало понятной. Не то, чтобы этотъ періодъ былъ въ самомъ дѣлѣ однообразенъ или представлялъ мало живыхъ характеровъ: вопреки всѣмъ историкамъ, онъ чрезвычайно богатъ содержаніемъ и, можетъ быть, наиболѣе характеризуетъ складъ всего Русскаго быта и строй всей Русской жизни; онъ *народенъ* въ высшей степени.

Посмотрите какъ теперь освѣщена вся эта эпоха въ драмѣ

г-на Чаева и какую яркую выразительность получаетъ періодъ — столь безцвѣтный у нашихъ историковъ!.. Послушайте какъ всѣ эти (въ нашихъ учебникахъ и въ ученыхъ диссертаціяхъ приводимыя курсивомъ) выраженія лѣтописей: „стягъ великокняжескій", „волость", „вѣче", „вѣчевой колоколъ", „отчина", „кормиться вотчиной" и пр., — выраженія, которыя намъ выдавались точно за китайскія диковинки, — какъ они всѣ просто разгаданы авторомъ и вездѣ вѣрно поставлены на своемъ мѣстѣ. Они схвачены такъ сказать, въ ихъ домашней физіономіи и выступаютъ передъ нами не какъ мертвыя и казенныя формулы, а какъ крещеныя имена живыхъ существъ и онѣ намъ совершенно понятны.

Вся древняя Русь—Русь еще и нынѣшняя въ ея истинномъ видѣ—оживаетъ въ драмѣ „князь Александръ Михайловичъ Тверской". Всѣ эти села съ приселками и города съ прѝгородами, Москва, Новгородъ, Псковъ, село въ Псковѣ, село въ Новгородской области— представляются намъ, какъ „поменьшіе міры" одного великаго Русскаго міра!.. все это малыя общины одной великой общины: Русской земли!.. Святая Троица—Соборъ во Псковѣ, которой „хочетъ до гроба послужить князь Александръ", Святая Софія въ Новгородѣ, святой Успенскій Соборъ въ Москвѣ,—наконецъ та деревянная церковь съ рубленной главою, которая вездѣ виднѣется вдали въ сельскихъ картинахъ пьесы—вотъ тѣ средоточіи, у которыхъ происходитъ мѣстная жизнь этихъ „поменьшихъ міровъ" и къ которымъ стягивается вся ихъ дѣятельность!.. „Наша святая, православная непорочная вѣра!" за которую ѣдетъ князь Михаилъ пострадать въ Орду, — вотъ тотъ лозунгъ, на который равно откликаются всѣ эти тьмочисленные міры и въ которомъ вся земля Русская сливается согласнымъ хоромъ, и слышитъ свое несокрушимое единство. Мірскія сходки Псковитянъ, ихъ вѣче,—взаимныя перебранки городовъ между собою и ихъ счеты другъ съ другомъ,—отношеніи князей къ народу, а народа къ нимъ,—наконецъ счеты самихъ князей другъ съ другомъ,—все это выше всякой похвалы въ драмѣ по своей вѣрности.—Мы во-дчію знакомимся со всѣмъ этимъ своеобразнымъ міромъ и бытомъ, какъ будто всѣ эти волненія и радости и горести выведеннаго народа сейчасъ слышутся намъ и на нашей улицѣ.

„У насъ мало историческихъ памятниковъ", то и дѣло слышались въ былое время сѣтованія занимавшихся Русскою исторіей—„у насъ нѣтъ тѣхъ, мощно запечатлѣнныхъ народнымъ геніи-

емъ образцевъ, которыя на Западѣ встрѣчаются на каждомъ шагу и такъ облегчаютъ трудное дѣло самосознанія! У насъ или вовсе не существовало такихъ памятниковъ, или они не уцѣлѣли!"... У насъ, отвѣчаемъ, всюду эти драгоцѣнные памятники! у насъ вездѣ передъ глазами мощно запечатлѣнныя народнымъ геніемъ, образцы... только мы ихъ не видимъ; по крайней мѣрѣ, еще въ недавнее время мы были слѣпы къ нимъ. Вся жизнь нашего народа, весь его бытъ и складъ, все его созерцаніе и весь его обычай... вотъ этотъ, у всѣхъ на виду, громадный памятникъ творчества коренныхъ Русскихъ началъ и Русскаго генія! Какъ нашъ *народный* языкъ, нынѣшній языкъ многомилліоннаго православнаго крестьянства, оказывается, подъ конецъ всего, настоящимъ языкомъ нашихъ предковъ, языкомъ самихъ нашихъ древнихъ государственныхъ актовъ и грамотъ,—также точно и самый бытъ, которымъ сейчасъ живетъ наше многомилліонное православное крестьянство, оказывается подъ конецъ же всего, бытомъ самой нашей исторіи. Вглядываясь въ него пристально и всецѣло, угадываешь невольно все, что̀ безъ того въ Русской исторіи кажется загадочнымъ и непонятнымъ.

Русскіе писатели, пытавшіеся воскрешать народные идеалы и воспроизводить Русскую народность, всѣ болѣе или менѣе страдали однимъ общимъ недугомъ; какая-то кора слѣпоты лежала у всѣхъ на глазахъ—едва присматривались къ Русской народности. Чуждая полусочувственная цивилизація, которая цѣликомъ перенесла въ наше общество несродныя намъ формы жизни и несвойственные нашей Русской природѣ идеалы—вотъ та среда, которая становилась поперегъ между Русскими писателями, и самимъ народомъ,—вотъ что̀ застило глаза писателю, когда онъ присматривался къ русской народности даже въ нашихъ крестьянахъ. Обращеніе къ тому, уже сознательное, стоило нѣкоторымъ изъ нашихъ писателей, очевидно, большихъ усилій надъ собою. Бо̀льшая часть изъ нихъ до сихъ поръ не умѣетъ найтись въ своемъ затруднительномъ положеніи, когда приходится — какъ сказалъ И. С. Тургеневъ — „сжечь все, чему поклонялся, поклониться тому, что сжигалъ"... Въ г-нѣ Чаевѣ поражаетъ та̀ именно особенность, что такое обращеніе далось ему безъ малѣйшей борьбы, а какъ-бы само собою. Очевидно, онъ не кланялся тому, что теперь другіе сжигаютъ, а равно и для того, чтобы кланяться *своему*, ему нечего сжигать. Это уже непосредственное чувство Русской народности и соприкосновеніе съ нею всѣмъ своимъ собственнымъ складомъ и всѣмъ своимъ существомъ.

Авторъ обладаетъ удивительною способностью переносить коренныя Русскія черты современнаго быта во времена давно-прошедшія и конкретировать ихъ въ духѣ тогдашней исторической дѣйствительности; авторъ обладаетъ непосредственнымъ чутьемъ угадывать еще и въ современной дѣйствительности, на нашихъ глазахъ происходящей, то самое, чего корни таятся въ отдаленной старинѣ. Ему одно другимъ досказывается и объясняется.

Даже эта любовь автора ко всему, въ чемъ только сказывается для него русская народность; эта горячая ревность ко всему, что въ жизни нынѣшняго народа способно истолковать забытыя преданья исторіи; эта постоянная художественная игра фантазіи истолковывать себѣ нынѣшнею русскою дѣйствительностью и сегоднишними нравами давно-минувшую русскую дѣйствительность, и обратно истолкованіемъ тогдашнихъ нравовъ и той дѣйствительности освѣщать многое, что безъ того остается непонятнымъ сейчасъ въ нынѣшней жизни народа,—такая, говоримъ, внутренняя работа, непрестанно происходящая въ душѣ самого поэта, мѣшаетъ въ г-нѣ Чаевѣ—художнику. Тотъ или другой штрихъ кажется автору вѣрнымъ со стороны бытовой правды, онъ его и вноситъ; тотъ или другой оборотъ рѣчи плѣняетъ его своимъ народнымъ пошибомъ, онъ сейчасъ и употребляетъ его. Уразумѣніе быта и склада нашей „хрестьянской“ жизни и живаго мѣткаго языка нашего „хрестьянства“,—само по себѣ уже составляетъ для него конечную цѣль, переходитъ въ какое-то пристрастіе, въ какую-то исключительность; какъ будто однимъ этимъ исчерпывается для него сполна вся задача художественнаго произведенія. Исключительность такого рода придаетъ пьесамъ г-на Чаева исключительный-же отпечатокъ: и по языку и по сочиненію сейчасъ отличишь ихъ. Скажемъ прежде о языкѣ „Александра Тверскаго“, а напослѣдокъ и о сочиненіи.

Языкъ нашей пословицы и поговорки, (а такимъ именно языкомъ говоритъ все наше многомилліонное крестьянство) безспорно лучшій образецъ языка изъ всѣхъ тѣхъ, которые только извѣстны въ нашей литературѣ; ни Ломоносовская рѣчь, ни стиль Карамзинскій, ни наконецъ нынѣшняя фраза большинства нашихъ беллетристовъ не могутъ съ нимъ равняться и рано-ли, поздно-ли, должны будутъ ему уступить. Этотъ языкъ, какъ мы уже упомянули выше, оказывается еще тѣмъ самымъ языкомъ, которымъ вообще говорили въ до-Петровскую старину наши предки и писались

наши старинныя государственныя грамоты. Для знакомыхъ съ историческими памятниками сами собой будутъ узнаваться въ драмѣ г-на Чаева многія рѣченія, цѣлыя предложенія и фразы, даже цѣлыя мѣста, которыя перенесены имъ цѣликомъ изъ нашихъ лѣтописей, изъ нашихъ актовъ; въ тоже время всѣ рѣчи его дѣйствующихъ лицъ имъ подслушаны еще у самого народа — все равно въ старинной ли народной пѣснѣ онѣ подслушаны или въ устныхъ разсказахъ крестьянъ. Г-нъ Чаевъ хорошо сдѣлалъ, что разгадалъ это тождество и органическое единство нынѣшней крестьянской рѣчи съ языкомъ вообще народно-русскимъ. Онъ также превосходно сдѣлалъ, заставивъ своихъ героевъ говорить не тѣмъ напыщеннымъ слогомъ, какимъ говорятъ патріотическіе герои г-на Кукольника: черезъ это языкъ его драмы приблизился уже довольно близко къ искомому Русскому народному языку. Но онъ и самъ заплатилъ дань тому, что ему съ такой лихвой услужило: если въ чемъ-нибудь и можно теперь упрекнуть его языкъ, такъ въ томъ именно, что онъ у него исключительно крестьянскій и крестьянскій попреимуществу. Всѣ эти мѣстные оттѣнки говора, кристализованные въ какія-то нормы; всѣ эти частицы и прибаутки *простонародья*, возведенныя въ какую-то необходимую принадлежность; наконецъ многія совершенно ненужныя отступленія отъ общей литературной рѣчи, — составляютъ существенный и характерный недостатокъ языка г-на Чаева. Болѣе искусный художникъ не сталъ-бы, напримѣръ, всякій разъ наше литературное (оно же и вполнѣ Русское) *для чего* коверкать въ *для-ча*, развѣ-развѣ подорожилъ бы этимъ легкимъ оттѣнкомъ въ площадной рѣчи простонародья; у г-на Чаева всѣ лица говорятъ на одну стать.

Какъ бы ни приходилось вывѣрить языкъ въ одномъ духѣ и въ одномъ тонѣ, у искуснаго художника всегда остается возможность хотя легкимъ намекомъ оттѣнить языкъ и боярина и языкъ холопа, даже языкъ Псковича или Черниговца, чтобы ихъ читатель отличалъ въ художественномъ представленіи. У г-на Чаева, напротивъ того, и князь, и холопъ, и Псковичь, и Черниговецъ всѣ говорятъ на одну стать. А между тѣмъ въ общемъ тонѣ языка его драмы—и нѣтъ единства, нѣтъ внутренней ровности. Рядомъ съ превосходнымъ Русскимъ языкомъ то и дѣло скрыпять еще прибаутки простонародности, ея обороты и сокращенія, ея *манера*. „Пра“, вмѣсто право, „што“ вмѣсто что, „коли“ вмѣсто когда, „ты этта“ вмѣсто ты это, „нешто“ вмѣсто а то чтожъ? наконецъ это безпре-

станно повторяемое „батъ“ и т. п. — зачѣмъ это нужно? Только однимъ и можно объяснить все это въ драмѣ г-на Чаева. Нашъ авторъ такъ полюбилъ разговорную рѣчь Костромичей или Переяславцевъ (живую рѣчь нашего крестьянства, открывшую ему секретъ искомаго народно-русскаго языка) что — когда приступилъ къ своей драмѣ — ему слышался по неволѣ самый выговоръ Костромичей или Переяславцевъ, самый мѣстный провинціальный обычай ихъ растягивать или сокращать слова въ произношеніи, и онъ находилъ особенное удовольствіе воспроизводить даже самое это, — большая ошибка!

Мы договорились и до главнаго обвиненія автору: хотимъ сказать въ заключеніе о недостаткѣ драмы со стороны художественной. Отсутствіе строгаго плана въ ней поражаетъ читателя, — погрѣшности противъ него (такія напримѣръ, каково цѣликомъ все 1-е дѣйствіе) легко бы были исправлены всякимъ, даже и менѣе даровитымъ, художникомъ. Но, какъ мы сказали (и какъ тоже самое замѣтили по поводу другой пьесы г-на Чаева „Сватъ Ѳадѣичъ“) дѣйствіе и все движеніе драмы тормозится у него бытовою характеристикой лицъ. Отмежевавъ себѣ вѣрную обрисовку нравовъ и характера избранной эпохи въ какую-то спеціальность, авторъ за тѣмъ уже не видитъ никакой художественной задачи или не находитъ болѣе силъ и средствъ въ себѣ, чтобы, при такой спеціальности, совладать еще и съ высшею, художественною цѣлью. Мы тѣмъ охотнѣе отмѣчаемъ этотъ недостатокъ въ разбираемой нами драмѣ, что въ ней однакожъ сквозятъ сильные художественные задатки, и даже въ своемъ теперешнемъ видѣ она обличаетъ, какъ бы лишь въ намекѣ и въ возможности, стройную художественную цѣльность.

Соперничество Тверскаго князя съ Московскимъ, Александра Михайловича съ Калитою, вотъ что̀ является главнымъ содержаніемъ драмы, — тѣмъ основнымъ положеніемъ, изъ котораго развиваются второстепенныя. Оно служитъ центромъ всего дѣйствія, къ которому сводятся отдѣльныя мотивы пьесы и изъ котораго исходятъ частныя коллизіи. Характеръ благороднаго, благовѣрнаго князя Тверскаго Александра Михайловича, по тогдашнимъ обстоятельствамъ исторіи слагается именно въ тотъ самый характеръ, который неменуемо долженъ вызвать драму, что̀ разыграна въ пьесѣ г-на Чаева... Благородный характеръ благовѣрнаго князя именно означаетъ — прежде всего недруга Татаръ; потомъ такого князя,

который ищетъ лишь своего, а не посягаетъ на чужое, — князя, готоваго голову свою положить за Русскую землю; князя не умѣющаго кривить душою и не способнаго къ темнымъ продѣлкамъ въ Ордѣ, съ помощью которыхъ такъ удобно выситься передъ прочими князьями и обирать свой собственный народъ въ пользу хана, сочетавъ ханскую выгоду съ своею собственной. Это самое ставитъ такого князя въ непремѣнный антагонизмъ съ Московскимъ, Иваномъ Даниловичемъ Калитою, политика котораго прямо противоположна и которую такъ хорошо истолковалъ г-нъ Чаевъ въ своей драмѣ.— Этотъ князь, другъ Татаръ, ѣздитъ въ Орду то и дѣло и исподволь прибираетъ къ своимъ рукамъ чужое,—является даже мстителемъ за обиды Татарамъ, приводитъ непокорныхъ подъ ихъ руку, — законъ, правду и сердобольность, даже свое смиреніе передъ Богомъ, свою молитву обращаетъ въ какіе-то небесные пути для достиженія самыхъ земныхъ и корыстныхъ цѣлей, въ какую-то наружно-благочестивую маску внутренняго лукавства. Народное чувство, какъ понятно, стоитъ въ этой сшибкѣ двухъ соперниковъ, за благовѣрнаго Тверскаго князя, за благочестиваго Александра. Въ драмѣ, которая возникаетъ, такимъ образомъ, изъ напряженнаго состоянія этихъ двухъ борящихся началъ — и самъ народъ, какъ дѣйствующее лицо, займетъ видное мѣсто въ пользу князя Александра. Народъ въ постоянной тревогѣ: то готовиться умереть за Александра, то радуется и торжествуетъ на его радости, на его княжемъ торжествѣ. Внутренняя домашняя жизнь княжескихъ покоевъ, все семейное счастіе, тишина или буря въ этой жизни — опять въ полной зависимости отъ той главной коллизіи и обусловлены ея напряженіемъ. Герой пьесы, князь Александръ Михайловичъ, въ постоянномъ соприкосновеніи то съ своимъ недругомъ, Московскимъ Иваномъ, то съ народомъ, то съ своими домашними, является, такимъ образомъ, не по прихоти автора и не случайно, а по глубокой необходимости истиннымъ средоточіемъ всей драмы, всего происходящаго дѣйствія... Отдѣльныя, эгоистическія личности бьются во взаимной борьбѣ, и падаютъ, и погибаютъ, и всѣ— каждый по своему достигая личныхъ своекорыстныхъ цѣлей— довольны и не довольны по своему, ропщутъ и сѣтуютъ или радуются по человѣчески... А то, что всѣ они вмѣстѣ призываютъ какъ свое лучшее чаяніе, и о чемъ не перестаютъ сокрушаться всѣ порознь, и чего никакъ не видятъ и не примѣчаютъ во всей драмѣ, происходящей между ними — то и видитъ и примѣчаетъ за нихъ чи-

татель въ нихъ самихъ,— въ этихъ свободно-дѣйствующихъ лицахъ видитъ онъ и примѣчаетъ осуществленіе напрасно-призываемаго ими чаянія... Сами они, эти своенравныя и свободно дѣйствующія лица, представляются читателю (и въ этомъ заслуга художника) лишь слѣпыми орудіями, лишь — тайными для самихъ себя — исполнителями судебъ Провидѣнія, на которое они и ропщутъ и сѣтуютъ по своему... Единодержавіе Москвы (которое наконецъ замиритъ всѣ эти княжескія усобицы и перестанетъ тогда братское кроворазлитье) надвигается уже издали какъ сила какая-то, передъ которой народъ останавливается въ недоумѣніи,— а темная Орда, объ которой только слухъ слышенъ на разстояніи всѣхъ пяти актовъ, въ концѣ 5-го дѣйствія является на-лицо передъ зрителемъ, какъ deus ex machina въ греческой трагедіи, и именно какъ древнее fatum, какъ рокъ, повершаетъ все дѣло.

Такъ понимаемъ мы внутренній строй пьесы г-на Чаева; по крайней мѣрѣ, такого рода художественная цѣльность обнаруживается сама собою въ его драмѣ. Приходится отъ души пожалѣть, что авторъ самъ недовольно воспользовался всѣмъ тѣмъ, чего художественные зачатки уже такъ сильно обозначились въ его произведеніи; приходится отъ души пожалѣть, что, взявъ себѣ въ спеціальность вѣрное изображеніе нравовъ и подробную характеристику избранной эпохи, онъ остановился на одномъ этомъ.

И онъ далъ намъ не драму въ строгомъ смыслѣ этого слова, а этюдъ — не болѣе.

Газета „День“ 1865 г.

„Стихотворенія Н. Некрасова“. Ч. III. Спб. 1864 г.

Стихотворенія, появляющіяся въ нашихъ журналахъ, представляютъ мало замѣчательнаго: по содержанію они сливаются въ какое-то безличное общее мѣсто,— по формѣ это, большею частію, жалкая посредственность.

Стихотворенія г. Некрасова являются между ними, какъ блестящее исключеніе. Всѣ они рѣзко запечатлѣны индивидуальной физіономіей поэта; въ каждомъ изъ нихъ невольно узнаёшь въ лицо — самого автора. Правда, самое содержаніе его поэзіи обусловливаетъ въ его стихахъ прозаизмы, какъ элементъ неизбѣжный; но каждая его пьеска доведена всегда до той степени литератур-

наго изящества и порой исполнена такой, совершенно особенной граціозности, что нельзя не признать за авторомъ истинно поэтическаго таланта.

Дѣло однакожъ не въ этомъ; какъ бы ни были сами по себѣ художественны или не художественны стихотворенія г-на Некрасова — не въ этомъ его значеніе. Онъ у насъ одинъ изъ полнѣйшихъ представителей поколѣнія сороковыхъ годовъ. Идеи нашего тогдашняго передоваго *большинства*, духъ и настроеніе, по преимуществу господствовавшіе въ тогдашнемъ обществѣ, нашли себѣ въ немъ яркое и полное выраженіе. Если онъ поэтъ, то по преимуществу именно этого періода — и вотъ въ этомъ, по нашему мнѣнію заключается его главная сила.

Промежутокъ времени, центромъ котораго являются сороковые годы, дѣйствительно составляетъ въ нашей литературѣ отдѣльный и рѣзко обозначенный періодъ... Можно утвердительно сказать, что изъ всѣхъ поэтовъ за этотъ промежутокъ, г-нъ Некрасовъ останется навсегда самымъ характернымъ. — Если всю нашу послѣ-Петровскую литературу, за всѣ ея полутораста лѣтъ, зовутъ „отрицательной“, то уже именно за тотъ ея промежутокъ, центромъ котораго являются сороковые годы, ей въ особенности пристало такое названіе. Вся наша ложная, чуждая народу и такъ хваленая цивилизація достигала тогда видимо nec plus ultra своего развитія. Что представлялъ тогда весь живой организмъ народный? Рабство многомилліоннаго крестьянства, достигнувъ своей апогеи, налагало и на всю нашу общественную жизнь одинъ складъ, вносило и во всѣ многоразличныя гражданскія отношенія одинъ духъ... Извѣстный стихъ поэта въ его пьесѣ „Парадный Подъѣздъ“.

„Волга! Волга! весной многоводною
Ты не такъ затопляешь поля и пр.

если что̀ и характеризуетъ — лишь тогдашнее „крѣпостное“ состояніе, которымъ съ 18-го вѣка заболѣлъ народъ не по собственной охотѣ. Но не въ лучшемъ положеніи находилось и само цивилизованное меньшинство (хотя оно было въ другомъ плѣну, которымъ даже хвалилось). Мнимо-русская мысль, въ конецъ истощивъ себя призраками какой-то отвлеченной гуманности и какого-то отвлеченнаго прогресса, въ лицѣ *тогдашнихъ* ея передовыхъ представителей, не могла уже, озираясь кругомъ, не ожесточаться противъ настоящаго, но ничего не видѣла и въ будущемъ. Безъ всякой

вѣры въ прошлое своего народа, а потому и съ отчаяніемъ за будущее, она — эта мнимо-русская мысль „передовой интеллигенціи“ — переходила въ какой-то послѣдній протестъ — на все обращенный и всему безпощадный.

Г-нъ Некрасовъ вѣрный сынъ этого періода, — не двигатель, не властитель думъ своего поколѣнія, онъ самъ его непосредственное созданіе, — не руководитель толпы или вѣщій истолкователь ея движеній — онъ всегда лишь невольный и самый искренній ея представитель. Поэтъ не первоклассный, онъ не стоитъ выше своего времени, для того, чтобы могъ онъ отнестись къ нему съ самообладаніемъ. Его лира никогда не достигаетъ той высоты строя, откуда вся происходящая передъ глазами поэта дѣйствительность — каковы бы ни были ея уклоненія въ темную сторону — для него не утрачиваетъ положительнаго значенія Божьей правды и красоты. — При высотѣ поэтическаго строя сами эти уклоненія только рѣзче оттѣняютъ для поэта и выясняютъ ему собственный его идеалъ; сталкиваясь съ ними поэтъ лишь къ нему, къ своему идеалу, и становится наиболѣе чуткъ; тѣмъ ревнивѣе охраняетъ его чистоту, тѣмъ еще неумолчнѣе его-то и вызываетъ на глаза міру. Такаго положительнаго значенія поэзія г-на Некрасова лишена вовсе.

Протестъ и протестъ... вотъ смыслъ каждаго стихотворенія г-на Некрасова порознь и всѣхъ ихъ вмѣстѣ; въ немъ — и только въ немъ — весь паѳосъ его лиры. Но разъ выговорено это слово, выговорено еще и то, что сарказмъ, иронія и желчная язвительность, хандра, невѣріе и отчаяніе... словомъ сказать, всѣ эпитеты, которыми передаются больше отрицательныя силы души, чѣмъ положительныя и зиждущія ея способности — будутъ и самыми характеристическими эпитетами для его музы.

Тутъ рѣчь вовсе не о томъ, конечно, на сколько могъ самъ тогдашній періодъ располагать или не располагать къ гимну, — благопріятствовалъ или нѣтъ одѣ? Поэтъ будетъ только отчасти правъ, сославшись на самый уже характеръ своего періода, который даже не давалъ ему другихъ болѣе отрадныхъ впечатлѣній, — не давалъ мѣста ни одному чувству въ его болѣвшей груди, кромѣ протеста. — Дѣло въ томъ, что протестъ, какъ всякая отрицательная сила, только тогда имѣетъ значеніе, когда является лишь какъ орудіе положительныхъ силъ. Окружавшая дѣйствительность, положимъ, и отвергнута — но гдѣ-же самый идеалъ?.. Честенъ только тотъ протестъ, который вырывается изъ груди ради ясно-сознан-

наго идеала и ради несокрушимой вѣры въ него. А наши протестующіе пѣвцы и прорицатели, эти въ своемъ родѣ vates минувшаго періода, похвалятся ли—взамѣнъ отвергаемой ими Россіи—ясносознаннымъ ея идеаломъ? Похвалятся-ли они несокрушимою вѣрой въ него? Похвалятся-ли они, наконецъ, какою-нибудь вѣрой?..

Вотъ уже въ Россіи на вѣкъ отмѣнено то скорбное рабство, котораго такъ не напрасно содрагались *всѣ* ея пѣвцы прежняго періода. Развѣ однакожъ не продолжаютъ *нѣкоторые* изъ нихъ, еще и въ наши дни, скорбныхъ сѣтованій на прежній ладъ? Больше того; давая теперь угадывать какъ бы скрытую досаду, что, сломивъ крѣпостное ярмо въ Россіи, отняли у нихъ теперь самое право на вѣчное негодованіе, лишивъ ихъ навсегда источника самыхъ яростныхъ вдохновеній—не даютъ-ли еще они угадывать и того, что самое обращеніе къ „низшей братіи“, и вѣчныя взыванія къ ея бѣдствіямъ подчасъ могли исходитъ не изъ чистаго движенія любвеобильнаго сердца, а быть результатомъ нѣкоторыхъ судорожныхъ порывовъ души и плодомъ весьма больныхъ фантазій.

Впрочемъ, говоря это, мы всего менѣе имѣемъ въ виду лично г-на Некрасова; нѣтъ никакого повода выставлять именно его въ примѣръ прорицателей такого рода. Вся эпоха сороковыхъ годовъ богата ими. Но на сколько само направленіе поэта носитъ на себѣ несомнѣнный отпечатокъ своего времени и на сколько для насъ важно опредѣлить такой отпечатокъ, мы не колеблясь говоримъ: да, и у г-на Некрасова эта „великая народная скорбь“ и „тяжкая доля Русскаго крестьянства“ (тема почти всѣхъ его стихотвореній) сплошь подернуты лживымъ оттѣнкомъ и весь его паѳосъ, по этому поводу, зиждется на лживыхъ основаніяхъ.

Ограничимся однѣми тѣми пьесами, которыя вошли въ третій, недавно-изданный томъ его стихотвореній,—томъ, который намъ и подалъ поводъ къ настоящему разбору. Пьеса „Размышленія у параднаго подъѣзда“ одно изъ извѣстнѣйшихъ стихотвореній г-на Некрасова въ этомъ родѣ; паѳосъ поэта въ немъ отъ начала и до конца бьетъ неудержимымъ ключемъ... Какое однакожъ въ результатѣ и изъ него вынесемъ впечатлѣніе, кромѣ... самаго неглубокаго протеста? Строфы въ пользу „сѣятеля и хранителя родной земли“, въ которыхъ повидимому сказалась такая чудная задушевность, вдругъ разразились въ буквальное ничто при концѣ стихотворенія. Взятыя какъ бы лишь для одного ихъ сопоставленія съ предыдущимъ образомъ „параднаго подъѣзда“, на которомъ

сосредоточено все чувство вражды поэта, эти строфы теперь сполна заглушены тѣмъ яростнымъ чувствомъ. Лишь на него, такимъ образомъ, сошелъ и весь пафосъ пьесы. Самая тема стихотворенія, такъ грандіозно по видимому затронутая поэтомъ, эта тема „великой народной скорби, которая пуще переполнила Русскую землю, чѣмъ Волга многоводной весной поля ея заливаетъ", не обратилась ли тутъ въ жалкую выходку простаго мелодраматизма о бѣднякѣ, вѣчно угнетаемомъ богачемъ и знатнымъ? — Нѣтъ! наша мнимая, не народная цивилизація, которою такъ кичится, въ розни съ народомъ, Русское передовое сословіе, образуетъ тотъ иной, въ аллегорическомъ смыслѣ — также „Парадный подъѣздъ", двери котораго для бѣднаго мужика, „сѣятеля и хранителя родной земли", еще безжалостнѣе захлопнуты ливрейнымъ швейцаромъ. Одно изъ двухъ: или вовсе не существуетъ какого-то особаго горя, которымъ, изо всѣхъ народовъ въ мірѣ, страдаетъ будто бы одинъ только Русскій народъ, или въ этой-то именно розни и все наше горе. Вдумайся только поэтъ въ это немнимое горе Русской земли — и его размышленія у параднаго подъѣзда никакъ не разразились бы.... чтобы не сказать школьною, скажемъ мелодраматической выходкой.

Прочтемъ тутъ же его стихотвореніе „Жница", или какъ оно озаглавлено въ III-мъ томѣ: „въ полномъ разгарѣ страда деревенская". При картинѣ, спѣлымъ колосомъ волнующагося поля,— картинѣ жатвы, такъ всегда любезной для крестьянина и которая своимъ видомъ бодрой живости и довольства ничѣмъ въ веселости не уступитъ Нѣмецкому или Французскому пейзажу сбора винограда,— зачѣмъ опять у нашего поэта все тѣ же раздирающіе вопли о „трудной Русской долюшкѣ?" И почему же это названо „Русскою" долюшкой? „Нестерпимый зной", „столбъ насѣкомыхъ", который „жалитъ, щекотитъ, жужжитъ", серпомъ своимъ „баба порѣзала ноженьку голую" — другихъ впечатлѣній не умѣла уловить фантазія поэта для своей картины. Преувеличенное изображеніе, во что бы то ни стало, скорбнаго бабьяго вида поэтъ доводитъ еще, если можно такъ выразиться, до самыхъ плотяныхъ красокъ: „слезы-ли, нѣтъ-ли у ней подъ рѣсницею, право сказать мудрено, въ жбанъ — замкнутый грязной тряпицею, канутъ они — все равно!" и все повершаетъ наконецъ это до цинизма жестокое восклицаніе: „Вкусны-ли, милая, слезы соленыя, съ кислымъ квасомъ пополамъ?" Это уже какое-то самоуслажденіе скорбью; сла-

дострастіе своею собственною болью,— а искреннее человѣческое состраданіе бываетъ ли склонно къ такимъ преувеличеніямъ?

Капитальнѣйшею пьесой разбираемаго III-го тома должно будетъ назвать недавнюю поэму г-на Некрасова: „Морозъ, Красный Носъ“—безспорно замѣчательнѣйшее произведеніе и изо всѣхъ его сочиненій. Съ обыкновенными его недостатками, тутъ проглянули еще всѣ творческіе проблески его несомнѣннаго поэтическаго таланта. Какъ въ цѣломъ сочиненіи поэмы, такъ и въ отдѣльно-исполненныхъ ея картинахъ чрезвычайно много художественной силы. Сцены сельской жизни и нашей сѣверной природы мѣстами тутъ достигаютъ полной поэтической правды. Заключительныя строфы поэмы (Дарья въ лѣсу; безутѣшныя сѣтованія вдовы незамѣтно переходятъ въ больной бредъ засыпающаго отъ мороза человѣка и мало-по-малу разрѣшаются въ полное ледяное спокойствіе...) представляли художественную задачу, не легкую для разрѣшенія — и авторъ вышелъ изъ нея побѣдителемъ.

Трудная доля Русской крестьянской семьи, особливо въ лицѣ ея матери — такая опять, повидимому, тема выбрана поэтомъ. Онъ самъ ее намѣчаетъ по пунктамъ, какъ въ чиновной бумагѣ, разъ-два-три — съ первыхъ-же строфъ:

Три тяжкія доли имѣла судьба,
И первая доля: съ рабомъ повѣнчаться,
Вторая: быть матерью сына раба,
А третья: до гроба рабу покоряться,
И всѣ эти грозныя доли легли
На женщину Русской земли.
Вѣка протекали — всѣ къ счастью стремилось,
Все въ мірѣ по нѣсколько разъ измѣнилось,
Одну только Богъ измѣнить забывалъ —
Суровую долю крестьянки.

Но читатель однакоже съ первыхъ словъ слышитъ, что тутъ готовится что-то совсѣмъ другое, а никакъ не простое изображеніе сельскаго быта. Гробъ, покойникъ, могила, холодъ, морозъ... такими впечатлѣніями открывается поэма. Какъ будто „трудная крестьянская доля“ въ дѣйствительности еще не довольно трудна, чтобы лишь цѣною такихъ скорбныхъ эффектовъ завербовывать къ ней участіе! Какъ будто эта раздирающая картина: гроба, могилы, смерти хозяина въ домѣ, безъ котораго по міру пойдутъ вдова и дѣти — для всякаго другаго общества и при всякой другой обстановкѣ можетъ быть на много смягчена въ своемъ роковомъ смыслѣ?...

Но тягостное впечатлѣніе, которое сразу обнимаетъ душу читателя въ началѣ поэмы, ничто въ сравненіи съ тѣмъ подавляющимъ ужасомъ, который авторъ ему неожиданно преподноситъ въ концѣ. Дарья, вдова схороненнаго Прокла, на тѣхъ же дровняхъ, которыя сейчасъ отвезли мужа на кладбище, поѣхала въ лѣсъ за хворостомъ: иззябли въ нетопленной избѣ, пока мать была у могилы, ея малютки-сироты! Тамъ, въ глубинѣ лѣса, вся мертвая тишь котораго такъ страшно обаятельно передана поэтомъ, бѣдная вдова рубитъ не рубитъ дрова, а заливается своимъ безутѣшнымъ горемъ... И дѣти больше теперь не дождутся матери; къ нимъ теперь, круглымъ сиротамъ — она больше не вернется домой: умерла и родимая ихъ, она замерзла въ лѣсу! Съ неимовѣрной художественной силой живописуетъ поэтъ состояніе того леденящагося спокойствія, которое тамъ закрадывалось въ грудь его безутѣшной Дарьи, ея смертную улыбку, могильный покой самаго лѣса, все холодное безучастіе глубоко-безстрастной природы! Вершинами деревъ прошла бѣлка...

Комъ снѣгу она уронила
На Дарью, прыгнувъ на сосну,
А Дарья стояла и стыла
Въ своемъ заколдованномъ снѣ.

Было бы ужасно, когда бы поэтъ, не найдя никакого примиренія для своей героини, на вѣки запечатлѣлъ ее въ воображеніи читателя въ образѣ вдовы осужденной по гробъ на страданіе. Но болѣе-ли усладительно впечатлѣніе этого леденящаго спокойствія, съ которымъ теперь — на глазахъ читателя — закаменѣлъ Дарьинъ образъ? Самое еще ея морозное застываніе, съ иглами на бровяхъ, съ бѣлымъ пушистымъ инеемъ въ рѣсницахъ, съ коченѣющей улыбкой на бѣлыхъ губахъ, въ поэмѣ переходитъ въ какое-то сладострастное истолкованіе смерти и ея леденящихъ объятій. И какое же надо имѣть глубоко-мрачное творчество, чтобы изъ самаго этого ужаса создать себѣ *примиреніе*, и въ немъ свести на-нѣтъ весь смыслъ человѣческихъ упованій! Самое безвыходное горе, самое отчаянное невѣріе въ возможность какого-бы ни было примиренія; всѣ невообразимѣйшія человѣческія страданія обращаются въ нуль въ сравненіи съ этимъ сарказмомъ, съ *этимъ найденнымъ* примиреніемъ. И чѣмъ больше ему такъ язвительно сочувствуетъ авторъ въ своей героинѣ, тѣмъ ужаснѣе оно для души читателя. Ужасно... не за Дарью; покойница тутъ, ей Богу, ни причемъ: даже

относительно героини все это въ поэмѣ звучить „искусственно“ и фальшиво; а ужасно за самое вдохновеніе того поэта, въ которомъ это искренно и правдиво. Въ цѣлой нашей литературѣ нельзя бы привести обращиковъ еще болѣе безпощадной иронiи и злѣйшаго отрицанія, какъ тѣ, какими наполнены заключительныя строфы поэмы. Не слышится-ли въ нихъ уже какой-то всеподавляющій протестъ противъ самой жизни, все ея таинство и самый мигъ смерти обратившій въ ничто, въ простую игру слѣпаго случая, въ безцѣльное броженіе силъ грубой природы?... И не есть-ли же это буквальное, положительнѣйшее nihil самаго отчаяннаго скептицизма?

Нѣтъ, какъ бы г-нъ Некрасовъ ни прикидывался народнымъ поэтомъ, но свѣжей струи Русской народности, прежде всего, и не слыхать въ его поэзіи,—именно народныхъ-то струнъ и не достаетъ его лирѣ. Какъ бы сильно и художественно онъ ни затрогивалъ, въ своихъ скорбныхъ мотивахъ, вѣчно одну и ту же тему о „Русскомъ горѣ“, о „трудной Русской долюшкѣ“,—изъ каждой его строчки внятно слышишь, что въ дѣйствительности онъ не знакомъ, если не съ истинными размѣрами, то съ ихъ истиннымъ смысломъ. Какъ бы ни обращался онъ съ своими обѣтованіями къ низшей братіи, инстинктивное чувство за Русскій народъ невольно подсказываетъ, что толпа не приметъ его обѣтованій. Это его горе и сокрушеніе по „Русской родной землѣ“ прежде всего горе и сокрушеніе по своей собственной эгоистической тоскѣ, ничего не имѣющей общаго съ тоскою народа,—тоскѣ, которая отчасти и сама является лишь какъ конечный плодъ нашего мнимаго, оторваннаго отъ народной почвы, образованія съ его вѣчно-безплоднымъ стремленіемъ къ какому-то отвлеченно-гуманитарному и космополитическому прогрессу. У такого образованія не можетъ быть ни скорбей, ни радостей, общихъ съ народомъ. Идеалы, которые преслѣдуются представителями такого образованія, не будутъ идеалами Русскаго народа и, напротивъ того, его истинные идеалы—отнюдь не ихъ. Если подчасъ они и толкуютъ народу о своихъ страданіяхъ и о своемъ плачѣ, то не про этотъ-ли именно ихъ плачь, обращенный къ „сѣятелямъ родной земли“, будетъ умѣстно сказать:

Не *съ ними* плачешь, а *объ нихъ*!

Такъ сказалъ другой поэтъ, котораго можно бы во всѣхъ отношеніяхъ поставить въ противоположность теперь разбираемому нами.

Мы припоминаемъ, прекрасное по своему глубокому смыслу, стихотвореніе Константина Аксакова: *Къ гуманисту*,— къ нему и отсылаемъ для дальнѣйшаго разъясненія нашей мысли.

Лучшими мѣстами, какъ и цѣлыми стихотвореніями г-на Некрасова, мы считаемъ тѣ изъ нихъ, въ которыхъ поэтъ, какъ бы наперекоръ себѣ, высказываетъ свое непосредственное чувство къ Россіи, какъ къ своей родинѣ — и оно тогда выливается у него отъ полноты сердца, безъ всякихъ предвзятыхъ темъ. Припомнимъ его чудные стансы, сейчасъ послѣ тяжкой годины Севастополя, гдѣ онъ ободряетъ свою родину этими, такъ исполненными теплаго чувства, словами:

...Краше твой вѣнецъ терновый
Побѣдоноснаго вѣнца!

и въ которыхъ онъ обращаетъ на себя милостивыя ея благословенія, по крайней мѣрѣ за то, что

— — И подъ чужими небесами
Я пѣсни родинѣ слагалъ.

Изъ стихотвореній другихъ отдѣловъ можно сюда-же отнести тѣ, въ которыхъ обычная безутѣшная тоска поэта вдругъ, какъ бы осѣненная какимъ свѣтлымъ лучемъ, вся разрѣшается тихими слезами о собственномъ паденіи; чувство покаянія и обращенія становится ему доступно, и весь онъ — готовность на обновленіе. Вотъ эта-то никогда неугасающая въ немъ до конца „теплая искра“ дѣлаетъ его талантъ наиболѣе симпатичнымъ, и даетъ слышать что-то особенно-задушевное, что-то нестарѣющееся въ доброй отъ природы душѣ поэта. Пьесу, которая въ III-мъ томѣ озаглавлена „Рыцарь на часъ“, можно поставить въ примѣръ стихотвореній подобнаго рода. Остается только жалѣть, что г-нъ Некрасовъ какъ бы стыдится въ себѣ этихъ своихъ лучшихъ порывовъ и самъ ихъ всегда торопится заглушить безпощаднѣйшею прозой. Мы, по крайней мѣрѣ, совершенно не понимаемъ, какъ самаго этого ироническаго названія „Рыцарь на часъ“, не безъ умысла приданнаго стихотворенію, такъ еще и его конца, очевидно къ нему придѣланнаго.

Въ нашей бѣглой газетной статьѣ мы многаго не сказали, что невольно должно придти на умъ по поводу стихотвореній г-на Некрасова. Петербургъ зоветъ г-на Некрасова по преимуществу своимъ поэтомъ. И это не даромъ; Москвича въ немъ конечно никто никогда и не заподозритъ... Критикъ долженъ будетъ

опредѣлить еще на сколько самое „отрицательное направленіе“ въ въ частности у г-на Некрасова окрашивается въ какой-то ничтожный, именно мѣстный характеръ,— на сколько наконецъ и самъ нашъ поэтъ представляется созданіемъ именно — Петербурга.

Но мы писали не критику и не полный разборъ всѣхъ его сочиненій, а лишь краткую библіографическую замѣтку по поводу недавно изданнаго III-го тома его стихотвореній.

Газета „День“ 1864 г.

Сочиненія С. Т. Аксакова. „Дѣтскіе годы Багрова внука“ Изданіе второе. Москва. 1874 г.

Когда лѣтъ тридцать тому назадъ вышла въ свѣтъ маленькая книжка, скромно озаглавленная Записки объ уженьѣ рыбы, всѣ ее прочитали съ восхищеніемъ и признали, въ своемъ родѣ, за художественно-литературный образецъ.

Всѣхъ поразило въ ней, со стороны внутренняго содержанія, необычайно свѣжее чувство природы, а со стороны формы—неподражаемый русскій языкъ. Слышалось притомъ что содержаніе и форма тутъ взаимно обусловлены другъ другомъ: какъ будто именно въ даръ за прямо-русскую душу художника ему дался и этотъ прямо-русскій языкъ.

Въ послѣдствіи, авторъ этой книжки занялъ первенствующее мѣсто въ ряду современныхъ писателей такими капитальными произведеніями, какъ Семейная хроника и Дѣтскіе годы Багрова внука. Многіе изъ критиковъ тогдашняго времени пытались опредѣлить его значеніе въ русской литературѣ и старались объяснить его литературный характеръ. Иное было сказано вѣрно, иное нѣтъ.

Намъ кажется, что именно уже въ первомъ своемъ сочиненіи, въ этихъ Запискахъ объ уженьѣ рыбы, будущій авторъ Семейной хроники самъ далъ ключъ къ разумѣнію всей своей послѣдующей дѣятельности. Съ удивительною ясностью и простотой, лучше всѣхъ другихъ, самъ онъ далъ возможность опредѣлить: въ чемъ его самобытность? Въ самомъ дѣлѣ, если бы кто спросилъ насъ: въ чемъ же заключается вообще духъ произведеній С. Т. Аксакова и въ чемъ состоитъ его литературный характеръ,— мы сочли бы за лучшее, въ отвѣтъ на это, привести соб-

ственныя слова автора Записокъ объ уженьѣ рыбы; мы, пожалуй, привели бы еще и одинъ замѣчательный эпиграфъ, не случайно приложенный къ этой книгѣ.

Вотъ эти прекрасныя слова: „Чувство природы врожденно намъ, отъ грубаго дикаря до самаго образованнаго человѣка. Противоестественное воспитаніе, насильственныя понятія, ложное направленіе, ложная жизнь — все это вмѣстѣ стремится заглушить мощный голосъ природы, и часто заглушаетъ или даетъ искаженное развитіе этому чувству. Конечно, не найдется почти ни одного человѣка, который былъ бы совершенно равнодушенъ къ такъ-называемымъ красотамъ природы, то-есть: къ прекрасному мѣстоположенію, живописному далекому виду, великолѣпному восходу или закату солнца, къ свѣтлой мѣсячной ночи; но это еще не любовь къ природѣ: это любовь къ ландшафту, декораціямъ, къ призматическимъ преломленіямъ свѣта; это могутъ любить люди самые черствые, сухіе.... Ихъ любовь въ природѣ внѣшняя, наглядная, они любятъ картинки, и то не надолго; смотря на нихъ, они уже думаютъ о своихъ пошлыхъ дѣлишкахъ и спѣшатъ домой въ свой грязный омутъ, въ пыльную, душную атмосферу города... Но Богъ съ ними. Деревня, не подмосковная, далекая деревня, въ ней только можно чувствовать полную, неоскорбленную людьми жизнь природы. Деревня, миръ, тишина, спокойствіе! Безъискусственность жизни, простота отношеній! Туда бѣжать отъ праздности, пустоты и недостатка интересовъ; туда же бѣжать отъ неугомонной, внѣшней дѣятельности, мелочныхъ, своекорыстныхъ хлопотъ, безплодныхъ, безполезныхъ, хотя и добросовѣстныхъ мыслей, заботъ и попеченій! На зеленомъ, цвѣтущемъ берегу, надъ темною глубью рѣки или озера, въ тѣни кустовъ, подъ шатромъ исполинскаго осокоря или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями въ свѣтломъ зеркалѣ воды, на которомъ колеблются или неподвижно лежатъ наплавки ваши, улягутся мнимыя страсти, утихнутъ мнимыя бури, разсыплются самолюбивыя мечты, разлетятся несбыточныя надежды. Природа вступитъ въ вѣчныя права свои, вы услышите ея голосъ, заглушенный на время суетней, хлопотней, смѣхомъ, крикомъ и всею пошлостью человѣческой рѣчи. Вмѣстѣ съ благовоннымъ, свободнымъ, освѣжительнымъ воздухомъ, вдохнете вы въ себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхожденіе къ другимъ и даже къ самому себѣ. Непримѣтно, мало-по-малу разсѣется это недовольство собою, эта пре-

зрительная недовѣрчивость къ собственнымъ силамъ, твердости воли и чистотѣ помышленій—эта эпидемія нашего вѣка, эта черная немочь души, чуждая здоровой натурѣ русскаго человѣка, но заглядывающая и къ намъ за грѣхи наши."

Неправда ли, въ этихъ приведенныхъ словахъ сказалось уже цѣлое направленіе, цѣлая будущая программа, такъ блистательно оправданная потомъ послѣдующими сочиненіями автора?

Кто читалъ эти строки еще въ то время, когда онѣ были напечатаны въ первый разъ, то-есть задолго до появленія послѣдующихъ сочиненій С. Т. Аксакова, стяжавшихъ ему нынѣшнюю славу, тотъ невольно думалъ еще тогда: авторъ не даромъ такой удивительный знатокъ и русской природы и нашей родной рѣчи. Не даромъ у него проронился и этотъ намекъ о „здоровой натурѣ русскаго человѣка". И хотѣлось еще, прочитавъ эти строки, сказать ему: покажите же намъ наконецъ эту „здоровую натуру русскаго человѣка", этихъ простыхъ русскихъ людей, если вы ихъ знаете въ самомъ дѣлѣ. Пушкинъ, повидимому, сулилъ намъ это, говоря:

Я опишу простыя рѣчи
Отца иль дяди старика,
Дѣтей условленныя встрѣчи
У старыхъ липъ, у ручейка.

и умеръ рано. Гоголь, повидимому, хотѣлъ того же—и изнемогъ.

И вотъ, именно въ отвѣтъ на такіе запросы, явилась напослѣдокъ Семейная хроника, потомъ Дѣтскіе годы Багрова внука; русское чувство наконецъ утолилось этими мастерскими картинами и живыми типами русской жизни и русскаго быта—хотя правда и въ тѣсномъ уголкѣ хроники, именно семейной. Намъ припоминается удачное выраженіе изъ одной лучшей критики, по поводу Дѣтскихъ годовъ Багрова внука. Ото всей книги—сказано въ ней—вѣетъ какимъ-то особеннымъ благосостояніемъ душевнымъ, и это душевное благосостояніе, по мѣрѣ чтенія, переливается въ душу самого читателя. Совершенно вѣрно; удачнѣе нельзя бы и передать того впечатлѣнія, которое вообще производятъ на душу сочиненія нами разбираемаго писателя; но должно признаться, что это „душевное благосостояніе", о которомъ говоритъ критикъ автора, подъ конецъ всего, и есть не что другое, какъ та же „здоровая натура русскаго человѣка", о которой сказалъ авторъ.

А вотъ и тотъ эпиграфъ, о которомъ мы упомянули, что онъ былъ не случайно приложенъ къ Запискамъ объ уженьѣ. Онъ состоитъ изъ слѣдующихъ стиховъ:

Есть однако примиритель,
Вѣчно юный и живой,
Чудотворецъ и цѣлитель,—
Ухожу къ нему порой.
Ухожу я въ міръ природы,
Въ міръ спокойствія, свободы,
Въ царство рыбъ и куликовъ,
На свои родныя воды,
На просторъ степныхъ луговъ,
Въ тѣнь прохладную лѣсовъ
И—въ свои младые годы.

Не есть ли это опять въ нѣкоторомъ родѣ цѣлая программа всей литературной дѣятельности нашего автора и даже его литературная характеристика?

Въ самомъ дѣлѣ, прочитавъ его увлекательное описаніе царства рыбъ, всѣ съ нетерпѣніемъ ожидали продолженія записокъ о царствѣ куликовъ,—гдѣ картины природы—этого чудотворца и цѣлителя, этого міра спокойствія и свободы—должны были выступить еще ярче и шире въ обаятельныхъ описаніяхъ. Но когда, дѣйствительно, въ отвѣтъ этимъ ожиданіямъ, появились Записки ружейнаго охотника Оренбургской губерніи, въ нихъ до такой степени живо сказалось что описанные авторомъ воды, лѣса и степи—ему родныя мѣста, что невольно просилось еще, чтобъ онъ населилъ, наконецъ, и живымъ людскимъ населеніемъ эти свои родныя воды и степи... Семейная хроника уже наговаривалась сама собою. Но, въ свою очередь, и воспоминанія объ этихъ родныхъ мѣстахъ, куда переселился „дѣдушка Степанъ Михайловичъ“, у автора сливались съ воспоминаніями собственнаго дѣтства; это всякій слышалъ въ каждой строкѣ, читая Семейную хронику — при всей, такъ-называемой, объективности возсозданныхъ въ ней лицъ. Не даромъ и приведенные стихи эпиграфа объ уходѣ въ міръ природы, на просторъ степныхъ луговъ, на свои родныя воды, въ тѣнь прохладную лѣсовъ, вѣнчались заключительнымъ стихомъ:

И—въ свои младые годы.

Дѣтскіе годы Багрова внука явились такимъ образомъ необходимымъ заключительнымъ звеномъ художественныхъ созда-

ній автора; ими достойно завершилось его творчество; ими—говоря языкомъ художественной критики—циклъ всѣхъ его сочиненій замкнулся самъ въ себѣ.

Трудно сказать: какому изъ двухъ капитальныхъ произведеній С. Т. Аксакова—Семейной хроникѣ или Дѣтскимъ годамъ Багрова внука—отдать предпочтеніе въ художественномъ совершенствѣ? Если въ Семейной хроникѣ всѣ типы представляются очерченными рѣзче и крупнѣе, если мѣстами само содержаніе представляется оживленнѣй и драматичнѣй, если затрогиваемые ею мотивы иногда глубже и, наконецъ, отъ начала до конца въ ней больше лиризма,—за то въ Дѣтскихъ годахъ Багрова внука отъ начала до конца поражаетъ удивительная ясность, такъ-сказать тонина поэзіи, которая еще постоянно скрадывается чисто эпическимъ спокойствіемъ гармонически-стройнаго разсказа. Про Дѣтскіе годы Багрова внука вообще можно сказать, что это цѣлая дѣтская эпопея.

Наконецъ этотъ неподражаемый русскій языкъ С. Т. Аксакова, въ которомъ у него рѣшительно нѣтъ соперниковъ, именно въ Дѣтскихъ годахъ достигаетъ своего высшаго предѣла. Въ связи съ какою-то цѣломудренною чистотой, которою вѣетъ отъ всѣхъ его произведеній, именно еще этотъ языкъ дѣлаетъ то, что всѣ его книги составляютъ любимѣйшую библіотеку русскихъ дѣтей и нашей школы.

Въ этихъ видахъ нельзя не поблагодарить издателя за то, что второе изданіе Дѣтскихъ годовъ, противъ перваго, удешевлено ровно вдвое; но именно въ этихъ же видахъ нельзя не пожелать еще новыхъ изданій этой книги, которыя сдѣлали бы ее по цѣнѣ еще болѣе доступною именно нашимъ школамъ.

„Московскія Вѣдомости“ 1874 г.

„Рой Ѳеодосій Саввичъ на спокоѣ“. Повѣсть *г-жи Кохановской.*

I.

Талантъ г-жи Кохановской слишкомъ общепризнанъ, чтобы два-три слова о новомъ ея произведеніи въ томъ самомъ изданіи, гдѣ оно появилось, могли быть сочтены за рекламу. Мы

думаемъ напротивъ, что — какъ сама повѣсть „Рой“ наиболѣе подходитъ по своему содержанію къ газетѣ *День*, — также точно и критика этой серьезно-замѣчательной повѣсти тутъ на своемъ мѣстѣ.

Новое произведеніе г-жи Кохановской безспорно характернѣйшее изо всѣхъ ея произведеній: именно на „Рой“ остановится будущій критикъ для оцѣнки какъ достоинствъ такъ и недостатковъ этой писательницы. Если живопись образа — всегда съ яркостью масляной картины Тиціана, а не блѣднымъ очеркомъ карандаша — составляетъ неподражаемое достоинство г-жи Кохановской, — въ „Рой“ эта живопись выступаетъ до-нѣльзя. Если въ каждой повѣсти г-жи Кохановской поражаетъ пристальное знакомство съ стариннымъ бытомъ — не урывками вычитанное изъ книгъ знаніе о немъ, а какое-то непосредственное къ нему отношеніе автора, цѣльное и живое — всё это васъ ослѣпитъ въ „Рой“. Если наконецъ чудные вымыслы поэта, творческіе сны и грёзы художника доведены всегда у г-жи Кохановской до формъ столь опредѣлительныхъ и достигаютъ такой реальности, что всякій образъ кажется только сейчасъ списаннымъ съ натуры, вся же повѣсть случившимся анекдотомъ, — то и это отличіе г-жи Кохановской особенно бросится на глаза въ „Рой“. Точно также и всѣ своеобразныя недостатки этого таланта, всѣ рѣзкости его склада — проглянули именно въ „Рой“ съ особенной силой. О томъ рѣчь въ концѣ.

Но кромѣ того, что нельзя умолчать о новой повѣсти г-жи Кохановской, какъ о наиболѣе характеризующей талантъ автора; — нельзя еще обойти молчаніемъ эту повѣсть именно въ настоящую минуту при современномъ состояніи нашего... сказать бы: журнально-литературнаго рынка.

Художественныхъ повѣстей, вообще говоря, нѣтъ. Наша такъ называемая изящная словесность сошла на романъ-фельетонъ, или даже просто на фельетонъ. На мѣсто художественнаго языка тутъ вылощенная фраза и коротенькая строка; на мѣсто мысли и содержанія (другая стихія художественнаго произведенія), здѣсь такъ называемый, „интересъ современности“.

Но пикантный скандалъ, разсказанный во второй книжкѣ журнала, хотя бы онъ и точно случился въ первомъ мѣсяцѣ года, развѣ еще это современность? Но требованіе, чтобъ литературное произведеніе читалось легко, то-ли это значитъ, чтобы авторъ не-

премѣнно коротко срывалъ свою фразу и скакалъ воробьемъ у полей печатнаго листа то и дѣло съ новой строки?

Легко читается повѣсть г-жи Кохановской отъ доски до доски въ одинъ присѣстъ, и оттого это: что̀ строка, то̀ образъ! Одинъ развиваясь въ другомъ, возсоздаютъ они выводимый міръ съ такою гармонической полнотою, что само впечатлѣніе складываясь все стройнѣе и цѣльнѣе въ душѣ читателя съ ходомъ повѣсти, только уже на послѣднихъ ея строкахъ чувствуетъ себя вполнѣ оправданнымъ и вполнѣ удовлетвореннымъ. Повѣсть г-жи Кохановской представляетъ дѣйствительный интересъ современности и это оттого, что Русской литературѣ, Русскому искусству, Русскому таланту было и есть всегда современно одно: стремиться понять Русскую жизнь, Русскій міръ и бытъ, выразить нашъ идеалъ, который за насъ никакъ не возьмутся разгадывать ни Нѣмецъ, ни Французъ, ни Англичанинъ.

Тому десять лѣтъ назадъ, обо всемъ этомъ не избѣжать бы долгихъ объясненій... Теперь довольно коротко сказать. Поэзія — ничто иное, какъ одна изъ формъ сознанія: чѣмъ же еще инымъ и можетъ она быть, у того или другаго народа въ частности, какъ не прежде всего—*само*сознаніемъ его?—За тѣмъ, нѣтъ надобности задаваться и вопросомъ: отчего наша полуторастолѣтняя литература не произвела ни одного положительнаго типа, не создала ни одного прямо-Русскаго идеала? Отчего вся она „отрицательная“? отрицательная тогда, когда самъ художникъ къ міру, имъ выводимому, стоялъ отрицательно, — отрицательная и тогда, когда очевидно художникъ къ своему содержанію относится положительно, но ужъ самъ, имъ обрѣтенный, идеалъ выходитъ отрицаніемъ идеала Русскаго.

Отчего бы это впрочемъ не происходило, важно то̀, что такого рода „отрицательное направленіе“ дошло наконецъ до своего рубежа... Тотъ нашъ Сіонъ, по которому мы такъ неустанно сокрушались и котораго такъ тщетно искали въ нашихъ долголѣтнихъ странствованіяхъ—Русскій міръ и бытъ, какъ положительное въ Божьемъ мірѣ явленіе; словомъ сказать, этотъ идеалъ, въ тщетныхъ поискахъ за которымъ изнемогъ даже столь великій художникъ какъ Гоголь, дано было наконецъ намъ почувствовать въ наши дни. Мы разумѣемъ появленіе въ свѣтъ такого капитальнаго литературнаго произведенія, какъ „Семейная хроника“ С. Т Аксакова.

Критика привѣтствовала въ созданіяхъ автора „Семейной хроники“ именно зорю совершающагося періода нашей литературы, по преимуществу періода народнаго самосознанія. Всѣ ждутъ этого періода, когда свѣются наконецъ съ жизни и съ „изящной словесности“ намъ чужіе, полусочувственные идеалы, наносные, а потому мнимые типы (еслижъ дѣйствительно Русскіе, то лишь отрицательные типы), — а вживѣ и во-очію послышимъ мы въ родномъ искусствѣ: Русскій міръ, Русскій духъ, — и раскроется наконецъ міру до сихъ поръ загадка міру — сама Русская народность.

Критика, повторяемъ, привѣтствовала въ созданіяхъ автора „Семейной хроники“ ничто другое, какъ именно такое „на рубежѣ“ нашего сознанія, нашей литературы — и критика была права. Разъ наша литература, послѣ „отрицательнаго“ направленія по отношенію къ идеаламъ русской жизни, явила примѣры положительнаго отношенія къ нимъ; разъ, говоримъ, та задача, подъ которою изнемогъ Гоголь, была съ удивительною простотой разрѣшена, — то ужь для русской современной мысли (разумѣемъ нашихъ корифеевъ художниковъ) двигаться впередъ — значитъ двигаться въ данномъ направленіи. Напротивъ того, снова выводить „лишнихъ людей“ на сцену, значило-бы ужь идти назадъ. Нигилизмъ, — единственно имъ оказывается въ концѣ концовъ процвѣли всѣ наши мнимые, полусочувственные идеалы! Нигилизмъ — вотъ послѣдній образъ, которымъ старо-отрицательное направленіе литературы довершило свои послѣдніе шаги впередъ... вотъ крайняя ступень развитія всѣхъ нашихъ до-Онѣгинскихъ и по-Онѣгинскихъ „лишнихъ людей“: отсюда путь ихъ пройденъ и циклъ ихъ философіи замкнутъ. Затѣмъ.... но затѣмъ или наши старые таланты разбудятъ въ себѣ новыя струны, нѣмѣвшія долго въ тайникахъ ихъ души безъ отзыва, или явятся таланты новые... Или неизбѣжно литература получаетъ тотъ видъ беллетристики, ничѣмъ не связанной ни съ недавнимъ прошлымъ ни съ близкимъ будущимъ, тотъ ничтожно-фельетонный и какой-то казуистическій характеръ, въ которомъ видимъ ее нынче.

Ничего не имѣя общаго съ такого рода беллетристикой, — появясь если не во вслѣдъ „Семейной хроникѣ“, то одновременно съ нею на горизонтѣ нашей литературы, и г-жа Кохановская также стоитъ въ ней именно *на рубежѣ*, о которомъ мы сейчасъ упоминали. Въ томъ ея сила, въ томъ ея значеніе, въ этомъ ея

безспорно первенствующее мѣсто. Можно этому таланту желать коренныхъ исправленій; пожалуй можно чему-то (мало впрочемъ и умѣя опредѣлить — чему именно) не сочувствовать въ его направленіи; однакожъ должно сказать, что это сильный, могучій талантъ. Яркій и самобытный, взялся онъ за тему нашихъ художниковъ не по старому; съ нимъ наше русское искусство сдѣлало дѣйствительный шагъ впередъ... Потому что всякій образъ, тотъ или другой поэтическій типъ изъ нашего роднаго быта или русской старины (былъ бы онъ лишь вѣрно угаданъ, да не звучалъ той фальшью, при которой крестьянинъ неминуемо переходилъ въ пейзана, а бояринъ въ Кукольниковскаго героя) составитъ истинное пріобрѣтеніе нашего едва зарождающагося искусства и долженъ праздноваться какъ истинная побѣда въ области едва зачинающагося народнаго самосознанія.

Въ этомъ смыслѣ (недостатки, повторяемъ, опять вопросъ особый и мы ихъ подробно разсмотримъ въ концѣ) новое поэтическое произведеніе г-жи Кохановской „Рой-Ѳеодосій Саввичъ на спокоѣ“ нельзя не привѣтствовать, какъ современность — самую свѣжую и самую животрепещущую.

II.

Безрубежная ширь и пустошь дикопорожнихъ земель, вся ихъ непочатая мощь въ пустынности и суровой безслѣдности человѣческаго труда, природа чуть не первобытная и красота сильная, могучая, но лицомъ къ лицу съ которой жутко человѣку подъ иной часъ, — такою картиной открывается повѣсть г-жи Кохановской и лучше бы нельзя начать „Роя“. Хоромы боярыни Пущиной, которые поставлены на двѣнадцати сырыхъ дубахъ (но надо въ подлинникѣ видѣть ихъ описаніе!); сама боярыня, которая свѣту своему милому Саввѣ Григорьевичу „сына на пасѣкѣ подъ дубомъ родила и тутъ-же рой огребла“,— служанка ея Лободенка „что родилась она въ такой годъ, когда неурожай на рожь былъ и люди кормились лободою“, которая разсказываетъ *о райскомъ вравіи* боярынѣ; и вступившій въ опочивальню (такъ что дверь подалась тяжелымъ, столѣтнимъ рыпомъ) староста статный мужикъ... нѣтъ баба! староста-дѣвка Марина Калинична,— всѣ эти образы, одинъ во слѣдъ другому вызванные какъ живые на глаза читателю, сразу переносятъ въ тотъ бытъ и міръ, который и могъ взяться только въ томъ „любо Русскомъ раздольи“. Онъ состоитъ въ кровномъ

родствѣ съ тою нетронутой, сообщившей ему свое здоровье, суровою природой, которую авторъ такъ глубоко почувствовалъ и такъ восхитительно нарисовалъ въ началѣ.

„Рой“, чуть не отрокомъ взятый изъ роднаго дому царскою службой и на ней оставившій пол-жизни, возвращается наконецъ домой. Послѣ того, какъ уже не одинъ разъ онъ матери снился пчелинымъ роемъ, который кругомъ летаетъ и кануну по своей душѣ проситъ.— въ ту самую минуту, когда „Богу вдова и на людяхъ сирота“ мать его боярыня Пелагея Поликарповна затосковала по немъ даже до смертной тоски — пріѣзжаетъ онъ въ свой родительскій домъ, хочетъ осѣсть на своемъ корени, Бѣломъ-Колодцѣ, и пожить другую оставшуюся половину жизни „на спокоѣ“. Читатель слышитъ однакоже, что это „на спокоѣ“ боярина Пущина будетъ таково, что другому оно было бы подъ силу развѣ-развѣ, какъ цѣлый подвигъ жизни. По особенному пріему автора, который вслѣдъ за описаніемъ той шири и пустоши, не показавъ еще „Роя“ на глаза читателю, даетъ ему его угадывать какъ бы въ предчувствіи, читатель уже предрасположенъ въ его пользу. По тому *диву*, что всѣ мѣты-примѣты Бѣло-Колодезной Роевой земли, хоть никѣмъ не хранимы стоятъ, а еще самъ за ними всякій хоронится; по тому диву, что даже охотнички-разбойнички не пытаютъ лиха на Роевой землѣ, а еще сами съ молодцоватымъ почтеніемъ всегда „здравствуютъ невидимому Рою на пасѣкѣ и шапки ломаютъ, сами того не зная: сидитъ-ли онъ тамъ или стоитъ одинъ дубъ-верховѣтъ?“— читатель уже невольно слышитъ, что не только силой своего Бѣлоколодезнаго крестьянства да премьеръ-майорскаго званія великъ и силенъ этотъ *бояринъ на спокоѣ*, а еще великъ онъ и силенъ иною силой, нравственной и высокой.

На раскрытіи этой-то именно великой и сильной силы все того-же Русскаго міра и быта, (которыхъ онъ, этотъ Рой, „материнскою силой подъ дубомъ на пасѣкѣ рожденный“, является какъ бы съ ногъ до головы непосредственнымъ самородкомъ,) и сосредоточена *идея* произведенія. Эта идея обусловливаетъ отношеніе частей къ цѣлому, руководитъ автора въ размѣщеніи мельчайшихъ подробностей, заставляя иное выдвинуть на первый планъ и залить свѣтомъ, другое оставить на заднемъ планѣ, какъ бы въ полутѣни. Давъ заслышать себя съ первыхъ же строкъ художественному сознанію читателя, эта идея на разстояніи цѣлой повѣсти являетъ свое органически-стройное развитіе даже до по-

слѣдней строки... И хотѣлъ-ли, не хотѣлъ-ли того авторъ, во всякомъ случаѣ таково именно сочиненіе повѣсти.

Истинно изумительно, какъ удалось г-жѣ Кохановской въ ея сжатомъ и больше чѣмъ необъемистомъ разсказѣ совмѣстить такое множество прямо Русскихъ мотивовъ, прямо народныхъ типовъ и характеровъ! Все, чему мало находя оправданія въ нашей полуиностранной дѣйствительности, мы болѣе угадывали какимъ-то внутреннимъ глохшимъ безъ развитія чутьемъ, или припоминали себѣ еще изъ-поры дѣтства по разсказамъ няни; все, что даже у болѣе народныхъ изъ нашихъ художниковъ прослышивалось только мелькомъ и являлось лишь смутнымъ отрывочнымъ сномъ,— все это находитъ себѣ у г-жи Кохановской самое яркое и полное выраженіе.

Наше Русское крестьянство и этотъ диковинный сельскій *міръ* разгаданы авторомъ въ Роѣ, какъ никогда еще въ литературѣ. Читая этотъ высоко-художественный разсказъ про Знаменскихъ крестьянъ, Ртищевскаго корени, какъ ясно сознаешь всю лживость „пейзановъ“ нашихъ идилликовъ и всю безконечную разницу между тѣми пейзанами и этими истыми мірянами-крестьянами автора „Роя“. Невольно слышишь и всю одностороннюю фальшь тѣхъ нашихъ художниковъ, которые правда выводятъ крестьянъ болѣе или менѣе живыми людьми, однакожъ непремѣнно у нихъ вся идея созерцаемой жизни сводится лишь къ плачу навзрыдъ да къ страданію. Собственное ихъ лазаретное чувство ничего не умѣло угадать въ крестьянской долѣ, кромѣ доли незавидной,— никакого свѣжаго здоровья, никакой своей радости, никакой отъ Бога благодати. Крестьянство у г-жи Кохановской является, чѣмъ оно должно быть, чѣмъ оно есть. Трудно предпочесть тотъ или другой отдѣльный штрихъ, которымъ авторъ обрисовываетъ крестьянскій бытъ. Надо будетъ выписывать цѣликомъ Дёминъ разсказъ — и послѣ каждаго его слова критику ничего не останется договаривать: всякій образъ тутъ самъ выговариваетъ свой смыслъ до конца, все тутъ поразительно-вѣрно, все сама живая правда. Сцены крестьянъ, навѣщающихъ свою боярышню въ плѣну у Гама, отческіе совѣты ей старика-старосты и его прощанье съ сиротой, когда себѣ на смѣну онъ привелъ Дёму; всѣ вообще эти крестьянскія сцены отъ самаго начала, гдѣ міръ приходитъ прощаться съ умирающей боярыней — лучшія сцены въ цѣломъ „Роѣ“. Онѣ выше всякихъ похвалъ; за ними во всякой бы

литературѣ было признано достоинство первоклассныхъ красотъ; у насъ такое за ними достоинство должно признать вдвойнѣ. Физіологъ Русскихъ общественныхъ нравовъ можетъ наконецъ остановиться на крестьянахъ автора Роя, не страшась болѣе за погрѣшность въ ихъ выставленіи. По нимъ онъ совершенно разгадаетъ тайну той устойчивости и прочности, той цѣльности нашего крестьянскаго быта, при которыхъ эта наша Русская демократія является демократіей самою аристократической въ мірѣ: инстинктамъ демоса или плебса тутъ и мѣста нѣтъ.

Боярыня Пущина, въ важную ли минуту жизни, въ простомъ ли дѣйствіи повязыванія платка на свое державное чело, всегда является „истинно-великою боярыней". Она не упуститъ случая упомянуть, что „молъ, Пущины или Ртищевы не обсѣвками въ полѣ слыли"; она не попуститъ, чтобъ служанка ея Лободенка коснулась кровнаго ея внука „своей холопьей продерзкой рукой". Самъ Рой-Пущинъ, всегда „тихій и важный бояринъ" и всѣ вообще лица, являющіяся у г-жи Кохановской выразителями класса дворянскаго, одинаково вѣрны своей бытовой правдѣ. Ни одна черта не пропущена, та или другая рѣзкость ничѣмъ не подглажена; даже сама маленькая спѣсь бояръ выставлена на показъ безъ утайки. Но такъ своеобразенъ Русскій міръ, что сама эта спѣсь достойна удивленія. Съ нею уживается рядомъ (правильнѣе даже сказать: одно изъ другаго вытекаетъ) другое явленіе: это — при всемъ уваженіи ко всякой традиціи и до мелочей сознанномъ отличіи собственно такъ называемаго ранга, ради условнаго свѣтскаго этикета — полное-же чувство братства и равенства ко всѣмъ и со всѣми ради живѣйшаго сознанія единой всѣхъ человѣчности. Въ повѣсти г-жи Кохановской дано наглядно понять, какимъ образомъ Русскій человѣкъ, столь разборчивый въ своемъ этикетѣ, совершенно чуждъ въ тоже время того „лжаго духа," который напр. характеризуетъ отношеніе Польскаго пана-родака къ хлопу, или вообще бѣлой кости къ *вилену*, созданное западнымъ феодализмомъ.

III.

Разбойнички-охотнички, которыхъ такъ хорошо знаетъ наша народная пѣсня и которые, дѣйствительно, составляютъ цѣлый отдѣльный бытовой типъ въ Русской жизни, также нашли въ г-жѣ Кохановской достойнаго разгадчика. Этотъ бытовой типъ взялся у насъ не даромъ: по безрубежной шири Русскаго царства, по кру-

тоярамъ Волжскаго побережья и по всѣмъ незаселеннымъ украйнамъ, искони вѣковъ у насъ было привольно гнѣздиться такому люду. Разбой составлялъ ихъ ремесло; собственно это и были разбойники; однакожъ многія историческія условія подчасъ придавали ихъ промыслу и имъ самимъ особенный оттѣнокъ. Народъ часто въ нихъ видѣлъ только „гулящихъ людей“, удалыхъ молодцевъ, предпочитавшихъ лѣсныя трущобы да рѣчные крутояры государственной неволѣ, иногда даже какъ бы защитниковъ своихъ... Особливо въ XVIII вѣкѣ, послѣ всѣхъ насильственныхъ новизнъ Петра, Бироновщины и тому подобныхъ явленій, разбой прикрылся такою свѣтлотѣнью. Представители его весьма часто были ни что другое, какъ тѣ же „широкія, талантливыя натуры“, которыми богата Русская жизнь и на всѣхъ поприщахъ. Преступникъ притомъ всегда по нашему народному воззрѣнію: несчастный; отвращеніе ко злу за нимъ, какъ за человѣкомъ, всегда предполагается въ равной долѣ со всѣми „крестьянами“,—совѣсть его рано-ли, поздно-ли проснется: и онъ такой же, какъ и всѣ, „хрестьянинъ“. Даже чѣмъ сильнѣе преступная натура, тѣмъ энергичнѣй предполагается ей очнуться,—чѣмъ ниже человѣкъ упалъ—тѣмъ ему скорѣе содрогнуться и тѣмъ выше встать... Такъ или иначе, но мотивъ кающагося разбойника, этотъ евангельскій а потому всемірный образъ разбойника благоразумнаго едва-ли въ литературѣ какого другаго народа почувствованъ такъ глубоко, какъ въ нашей. Имъ звучатъ наши лучшія, народныя пѣсни; не только въ пѣснѣ,—поминутно въ жизни сказываются эти мотивы. Бѣжавшій отъ рекрутства Родимка,—который на пасѣкѣ у Роя не преминулъ укорить Нѣмцевъ да Компанейцевъ, табачное зеліе и проч., а въ отвѣтъ объ своей кручинѣ залившійся пѣснью, сказавшей его тайну,—какъ нельзя болѣе вѣренъ типу разбойничка-охотничка такого рода: типъ, повторяемъ, народный!

Проѣзжій купецъ, который подъ Бѣлградомъ изъясняетъ Рою, что̀ значутъ воровскія примѣты: сѣть разостланная на сухомъ пескѣ и торчащіе вѣники; попъ съ попадьей, которыхъ Рой изъ Бѣлгорода повезъ въ деревню; умѣлая сваха Мышаткина Авдѣевна, которая словомъ, какъ макомъ сѣетъ; косая Шутиха Дуровна,—всѣ лица, наконецъ, которыя хотя бы мелькомъ проглянули въ „Роѣ“, всѣ безъ исключенія, съ той или съ другой стороны, договариваютъ русскую жизнь, являются типическими обращиками его̀ быта. Но и кромѣ лицъ, вся обстановка, всѣ такъ-называемыя *положенія*—чисто-русскія, чисто-народныя: Невѣста, вышедшая погулять въ

садъ, въ нашъ Русскій, яблонный „зеленый“ садъ, который „тихо шумитъ и подъ бѣлымъ цвѣтомъ вѣтви раскидистыя до земли клонитъ“, такъ что и невѣсту, заслушивающуюся соловья, кудрявая съ ногъ до головы осыпала бѣлымъ цвѣтомъ; чудное сказаніе о родовой иконѣ, по которой и источнику дано названіе Купина, куда сходился народъ для молебновъ о дождѣ и тогда народъ „какъ жемчугъ обнизывалъ звонкую, текучую струю“; безродная сирота у злой родни въ плѣну, „заброшенная въ своемъ сиротливомъ загонѣ и въ чужой немилой семьѣ затаенная ото всѣхъ людей, и, между тѣмъ, какъ бѣльмо на глазу у всѣхъ въ домѣ“,— какія это народныя картины! „Забереженыя крохи“, т. е. отъ молодости оставшіяся въ сундукахъ собольи шубки и юбки, дѣвичьи повязки и къ нимъ глазетовыя тѣлогреички насыпнаго серебра съ золотымъ кружевомъ: „что все это приноситъ недовелося, а теперь для своей невѣсты пригожается“ — совѣты, которые боярыня Пущина даетъ молодой отъ стараго ума-разума: „есть, молъ у тебя совѣтная ночь. Ты, радость, мужу тихо да совѣтно скажи. Не внялъ онъ, и въ другой скажи“ и пр. пр.—какія это вѣрныя черты русскаго быта. Когда мы читали все это въ „Роѣ“, намъ казалось, что вся наша родная старина проносится передъ нами, что гдѣ-то и когда-то мы читали, мы слыхали обо всемъ этомъ... Но напрасно стали бы доискиваться того беллетриста, у кого-бы можно было вычитать это. Знакомо это лишь потому, что уже съ дѣтства, по инстинкту, бываетъ знакомо все, что родное, все что свое. Нѣтъ никакой возможности даже кратко перечислить всѣхъ прямо-русскихъ картинъ и мотивовъ, которые въ „Роѣ“ какъ низанный жемчугъ, одинъ къ другому, подобраны авторомъ. Отъ картины, основной въ повѣсти, построенія храма во славу Троицы,—работа, при которой сама боярыня Пущина подвозила песокъ въ телѣжечкѣ и въ которой вся округа принимала участіе *), до картины мелькомъ-мелькнувшей на глазахъ читателя: чѣмъ, напр. былъ набитъ Демьяновъ сундукъ **), ничто не пропущено г-жею Кохановской. Отъ цар-

*) „Отъ старца столѣтне-стараго до дитя младенчески-малаго, что мать при себѣ за ручку вела и оно въ горсточкѣ землицу несло и песочкомъ играло у новой церкви“.

**) Рывшись въ которомъ, Гамъ отыскалъ между прочимъ „упокойника батюшки еще дѣдовъ рубль не такой, какъ нынѣ рубли, а настоящій, *рубленный*, серебряный рубль“ (тотъ же гаманъ съ полсотней червонцевъ да тремя дорогими каменьями, что Роевъ отецъ далъ сыну, отпуская на службу, беречь про черный день).

ской грамоты, бережно зарытой въ скрынькѣ въ сырой дубъ отъ недобрыхъ людей (и эту грамоту больше чѣмъ черезъ полтораста лѣтъ, какъ того царя и въ живыхъ не было, прочитывали и прослушивали всѣ стоя, вставъ съ своихъ мѣстъ,) до этого замѣчанья Дёмы, что къ счастью же на томъ дубѣ орелъ гнѣздо свилъ, потому что „того дуба ни молнія не разитъ, ни человѣкъ къ нему не подступаетъ, а орелъ, коли выбралъ дубъ, на немъ и 20 лѣтъ живетъ не смѣняя“ и даже до этого новаго, вслѣдъ за симъ упоминанія, что все это ему еще самъ родитель „*хотъ не на смертной постели*“ открылъ—ничего же не пропуститъ мимо и самъ читатель, безъ ущерба цѣлому.

Не можемъ однако не остановиться еще на одномъ поэтическомъ образѣ. Только на второмъ, или даже на третьемъ планѣ является онъ въ повѣсти, но удивительная его законченность невольно бросается въ глаза: говоримъ о Маринѣ-Калиничнѣ, объ этой „царь-дѣвицѣ“, какъ ее недаромъ зоветъ Рой. Эта дѣвка прежде старостила за своего больнаго отца, потомъ—какъ въ народной пѣснѣ Василиса Микулична подбирала волосы по мужичьему, надѣвала платье мужское, садилась на добра коня—такъ и она, чтобъ сподручнѣе мужицкое дѣло вести, мало по малу отцовъ нарядъ приняла, на коня сѣла, подрѣзала косу, шапку вздѣла и (тоже и про Микуличну говоритъ пѣсня) совсѣмъ бы молодецъ, да по примѣтамъ дѣвку знать. Первая поразившая всѣхъ примѣта въ Василисѣ Микуличнѣ была ея рѣчь съ прóвизгомъ: „сказала такъ звонко, какъ на гусляхъ проиграла“; „сказала тѣмъ голосомъ, что первымъ на хороводѣ слылъ“, первая-же примѣта, которою обозначаетъ и авторъ свою Марину Калиничну. Рой, осматриваясь по пріѣздѣ, задумалъ изъ первыхъ дѣлъ смѣнить старосту; „сколь долго коню оглобли ни бить, думалъ онъ, а въ запряжкѣ ему да быть; на томъ свѣтѣ стоитъ, чтобъ дѣвкѣ бабой быть и квашню бабью мѣсить“. Староста-дѣвка, румянѣя дѣвичьимъ лицомъ и свѣтя темносѣрыми глазами, отвѣчала звонко и голосисто:—„коли я почну тѣ бабьи повадки являть,—скидай дѣвку со старостваа, сажай къ квашнѣ!“ Что же? осмотрѣвшись на своемъ хозяйствѣ, „золото-дѣвка!“ Рой сказалъ: лучше не найти-бы старосты! она однимъ глазомъ спитъ, другимъ видитъ, востро за мужиками глядитъ. Года прошли, Рой не сыскалъ старосты лучше; онъ хотѣлъ ее старостой назначить и въ ту деревню, куда она замужъ пошла; онъ весь свой вѣкъ тужилъ по такомъ старостѣ. Но, вопреки боярскому хо-

тѣнію и разумѣнію, сама Марина Калинична старостить въ ту деревню не пошла... почему? потому что слово ея исполнилось: пришло и ей до квашни! слово, на которое, какъ оказывается, Рой не обратилъ достойнаго вниманія. Она полюбила того самаго „умника-разумника“ Дёму, за него замужъ пошла; она, выражаясь собственнымъ ея языкомъ, явила тѣ бабьи повадки! А какъ Русская дѣвица, выходя замужъ, прощается съ своей косой, со всей дѣвичьей красотой и тогда (говоря словами извѣстной русской пѣсни) на вѣкъ игры ея доиграны, допѣты ея пѣсеньки, и басеньки ея добаяны,—также точно и сама Русская царь-дѣвица, разъ завела домъ-семью, перестаетъ быть царь-дѣвицей и тамъ ужъ она вся—только мать, только жена. Черта въ авторѣ глубокаго пониманья народной жизни,—критикъ долженъ отмѣтить ее.

Выраженіе *Русскій міръ и бытъ*, которое мы такъ часто приводимъ и котораго, говоря о повѣстяхъ г-жи Кохановской, дѣйствительно нельзя избѣжать, ничуть однакожъ не значитъ: все, что только есть въ мірѣ наилучшаго, все лишь самое возвышенное. Кто былъ-бы склоненъ заподозрить г-жу Кохановскую въ желаніи возвеличить Русскій міръ и бытъ до фанатической апоѳеозы,—тотъ, прочтя уже одинъ эпизодъ о Гамѣ, конечно разувѣрится вполнѣ. Дѣло въ томъ, что наша псевдонародная литература ни въ какомъ случаѣ не умѣла вывести на сцену тотъ или другой прямо-русскій типъ,—не умѣла тогда, какъ желала выводить героевъ, не умѣла и тогда, какъ рисовала злодѣевъ. Этотъ Гамъ, который „всякаго мертваго далеко слышитъ“ и пр. и пр., потомъ всѣ его шесть дочерей, Гамовки, съ седьмою падчерицей („зависть, взаимная ненависть, женская ревность и злоба старѣющихъ дѣвокъ, ищущихъ жениховъ и гуляющихъ подъ рукою, все это вмѣстѣ, какъ клубокъ змѣй, свилось въ сводной семьѣ Гама...“)—можно смѣло сказать, что во всей нашей литературѣ нѣтъ еще другихъ типовъ, которые-бы также рельефно изображали всю темную темь человѣческой природы, и въ тоже время были-бы до такой степени русскими! это истинно темь нашего русскаго темнаго царства.

Гамъ, который „днемъ упьремъ человѣчью кровь пьетъ, а ночью Богу молитву чтетъ да поклоны бьетъ, а самъ, чорта боясь озирается: тутъ-ли позади Шутиха-Дуровна на подстилкѣ лежитъ;“ который образною свѣчей палитъ бороду старостѣ Демьяну, и, задумавъ похитить чужое, ставитъ похищенному чудотворному образу „золоченую свѣчу въ руку толщины, нарочно за ней въ Бѣл-

городъ ѣздилъ"... кто въ немъ не угадаетъ по однимъ этимъ чертамъ именно русской природы и типа взятаго живьемъ изъ нашей дѣйствительности? Его дочери (которыя, пока отецъ, отходя ко сну благословляетъ вмѣсто нихъ, на ихъ кроватяхъ пучки соломы укутанные въ одѣяла, проводятъ время въ гульбищахъ, въ мыльной банѣ за оврагомъ, гдѣ дымъ коромысломъ и ночи напролётъ) эти Гамовки, которыя жили на колдовствѣ и ворожбѣ, такъ что „подсыпать", „подлить", „вынуть слѣдъ" — ужъ это ихъ дѣло..... кто опять въ нихъ не угадаетъ истинныхъ продуктовъ русскаго темнаго царства?

Въ высокой степени художественъ вышелъ у автора образъ Шутихи-Дуровны. Такія черты, какъ „поглядѣть на нее — дура; а послушать, какъ она сдуру да умныя рѣчи говоритъ, такъ и не разберешь, кто дуракъ-то выходитъ? Ты-ли, что за умника слывешь или она, дура, изъ твоего ума взяла да жгутъ свила и честитъ тебя черезъ лобъ" — черты общія всѣхъ прикидывающихся дурачковъ: этотъ типъ распространенъ въ нашей народной литературѣ. Но вотъ черта уже конкретнѣй: „просто сказать: за тѣмъ она и въ дурахъ слыла, что умнѣе всѣхъ за десятеро была и отъ своего дѣвка большаго разума поняла: что дураку-то вольнѣй на свѣтѣ живется, чѣмъ умному, и стриженой дѣвкѣ *у Гама* быть въ чести хоть собачьей — и она дурость свою, какъ вольную нищету, съ горя-ума приняла". Въ иной средѣ, чѣмъ у Гама, то-ли бы она отъ своего большаго ума поняла? Эту *стриженую* дѣвку уже разъ мы видѣли въ „Роѣ", именно въ Маринѣ Калиничнѣ. (Не то ли же, въ самомъ дѣлѣ, это явленіе, лишь въ отрицательномъ своемъ полюсѣ!) Обязанность Шутихи (сзади Гама въ молельнѣ на рогожкѣ на порожкѣ лежать, чтобъ ему не страшно было одному по долгимъ зимнимъ ночамъ) даетъ этой Шутихѣ окончательный складъ. „Кабы не рукъ поганить, задушила-бы чорта въ молельнѣ!" говоритъ она, — и тутъ вылилась вся ея индивидуальность. Сказала — и въ роковую для Гама ночь сдержала слово... безъ ея участія, во всякомъ случаѣ тутъ не обошлось. Авторъ прямо утверждаетъ, что Гамъ повѣсился въ ту ночь; художественный тактъ понятенъ; но проговорился-же авторъ: на поясѣ Шутихи-Дуровны повѣсился Гамъ. Что касается до нея самой, то пусть, когда она идетъ безпоясна на освященье храма Троицы, и не говорила бы она (на вопросъ: куда дѣвался ея поясъ?) своихъ знаменательныхъ словъ: „посгодился чорту, а дура въ займы да-

ла“,—развѣ, и безъ ея словъ, уже не догадывается читатель, куда направится *таланъ этой стриженой дѣвки* среди Гама и Гамовокъ? По всей ея дикой силѣ, этой ея дрожи и хохоту, по заволакиванью косящихся глазъ, по ея уму-горю—читатель угадываетъ что въ ту роковую ночь, именно женская женственность этой шутихи будетъ въ состояніи вынести то, чему содрогнулись бы (о чемъ даже и говорятъ-то шопотомъ) и мужественный Дёма, и самъ Рой. Мы не говоримъ, что она убила Гама; она не остановила самоубійцу: еще свой поясъ взаймы дала.

Но если бояринъ Ѳеодосій Саввичъ Пущинъ-Рой (въ которомъ центръ—и движенія всей повѣсти и выговариваемаго ею смысла), если онъ затѣмъ только слушалъ Дёминъ разсказъ объ изувѣрствѣ и ханжествѣ Гама, чтобъ изречь ему проклятіе; если онъ затѣмъ только и столкнулся съ Гамомъ, чтобъ исхитить изъ его плѣна сироту-боярышню и чтобы вынесть оттуда краденую святыню, которой по своему моляся Гамъ только ругался святынѣ,—то съ кѣмъ будетъ Рой душа въ душу? Кому отъ него хвала и честь? Какая-жъ у него святыня и онъ какъ молится?...

IV.

Весь образъ Роя будто высѣченъ изъ цѣльнаго гранита.

Если безхарактерность, шаткость отъ постоянныхъ компромиссовъ во всѣхъ сферахъ жизни; при чемъ вся она, безъ всякаго ужъ спроса объ идеалѣ, стремится лишь постоянно изъ двухъ золъ выбирать только меньшее—являются чертами измельченныхъ нравовъ и извращенья быта,—то найдите имъ черты противоположныя—и вами будетъ найдена лучшая характеристика Роя. Онъ производитъ постоянное впечатлѣніе могучей силы и за нимъ остается всегда крупнота нрава. Какъ тотъ бытъ и міръ, которые его породили, поражаютъ именно цѣльностью своей, этой нерушимой силою устоя,—такъ печать именно такой-же цѣльности бросается глазамъ и въ Роѣ. Вотъ человѣкъ, о которомъ можно прямо сказать, что онъ всю жизнь шелъ столбовой дорогой, не потерпѣлъ ни одной сдѣлки съ совѣстью, ни въ какомъ случаѣ не двоилась его воля, не дробилось его сознаніе. Въ топорныхъ, разъ навсегда прочно утвержденныхъ межахъ, признавалъ онъ хорошее и дурное, доброе и недоброе, согласное съ чувствомъ долга и беззаконное—и не было середины для симпатіи или антипатіи этой цѣльной

натуры. Всѣ сочетанія людской правды или неправды, столь хитросплетенныя для колеблящагося сознанія, столь мудреныя для анализа и рефлексіи,—просты и несложны являлись онѣ для его чуткаго, нетронутаго чувства; не было же у него разладу между словомъ и дѣломъ. Эта-то цѣльность, повторяемъ, всего дороже намъ въ героѣ новой повѣсти г-жи Кохановской: сама по себѣ она ужъ предполагаетъ много добротности и силъ въ душѣ человѣка. Вся правдивость и прямота Роя, бодрость его и привѣтливость, его спѣхъ на добро, самая эта мѣрность и сановитость не оставляющія его даже и тогда, когда онъ въ попыхахъ; эта его всегдашняя тихая ровность самому себѣ, отчасти придающая ему видъ какъ бы человѣка тяжеловатаго на подъемъ,—всѣ эти его типическія черты больше или меньше составляютъ принадлежность и всякой подобной натуры: цѣльной и нравственно-здоровой, дородной что называлось встарь.

„Гдѣ же Рою и осѣсть-то было—(выписываемъ это обращеніе автора, заранѣе оговаривая трудность чтенія отъ нашей общей привычки больше къ французскому, чѣмъ къ русскому языку)—какъ не на пасѣкѣ—не подъ дубомъ-верховѣтомъ, гдѣ и на свѣтъ-то Божій явился сударь Пущинской Рой?... И это свое мѣсто родимое, куда какъ его сударь Рой чтилъ и любилъ! Словно ему дубъ верховѣтъ скиніею свидѣнія былъ. И заглянуть подъ его вѣтви высокія, тамъ и святыню въ сѣни повидать можно было. На великой той радости рожденія сына, покойный Савва Григорьевичъ, Бога благодаря и творя память на всю жизнь, повелѣлъ написать икону св. Троицы подъ дубомъ у Авраама—икону *родимую* или *мѣрную*, въ мѣру роста рожденнаго младенца, и поставилъ ту икону, чтобъ быть ей мѣстною: на самомъ томъ мѣстѣ! Зарубилъ ее высоко, подъ вѣтвями, въ самый тотъ дубъ верховѣтъ. И потерявши сына, когда его царская служба взяла... Савва Григорьевичъ, чая смерти въ болѣзной тоскѣ своей,—здѣсь, на этомъ мѣстѣ, подъ верховѣтъ-дубомъ и дубъ себѣ великій въ гробъ долбилъ... и когда уже въ постели почувствовалъ, что его конечный часъ пришелъ: „Несите меня (повелѣлъ), положите. Пусть я тамъ умру, гдѣ Ѳедосеюшка родился“—и всѣмъ тѣмъ: иконой святою, рожденьемъ своимъ и смертью отца, то мѣсто почтѣнно и велико Ѳеодосію Саввичу подъ верховѣтомъ было“.—Такъ ознаменовывала и закрѣпляла благочестивая наша старина всякую малѣйшую подробность своего обыденнаго быта, осмысливая и

освящая каждое его дѣйствіе, каждому мѣсту пріурочивая свое благочестивое воспоминаніе. Въ патріархальной поэмѣ Гомера, Одиссеева мѣта-примѣта — дубовый корень, на которомъ утвердилъ онъ брачное Пенелопино ложе — съ необычайною силой знаменуетъ всю нерушимую крѣпость первобытной семьи; изслѣдователь Русскаго семейнаго быта будетъ то и дѣло находить въ немъ такіе-жъ вѣковѣчные символы!

„Мамврійскій дубъ!“ даетъ названіе прозорливый отецъ Іоасафъ любимому мѣстопребыванію Роя и эта новая черта для насъ въ такомъ художникѣ, какъ г-жа Кохановская, не должна пропасть даромъ. Истинно-библейскимъ духомъ проникнуто все это благочестивое житьё-бытьё Роя на пасѣкѣ. Онъ проводитъ дни въ полномъ самоудовлетвореніи человѣка, который въ здравости духа и отъ полноты сердца благодаритъ Творца за жизнь, — съ полнымъ сознаніемъ правости и чистоты первой ея прожитой половины и въ увѣренности, что имѣетъ надежныя основы для послѣдующей. Какъ онъ нашелъ послѣ отца, такъ и его дѣти послѣ него найдутъ свой корень хорошо повитымъ всѣми дорогими залогами, всѣми крѣпкими завѣтами, напутствующими ихъ для доброй въ мірѣ жизни.

Рой, по возвращеніи на родное пепелище, создаетъ храмъ святой Троицѣ. Рой не пропускаетъ ни одной обѣдни. Рой знаетъ весь кругъ церковный, Рой за Четьи-Минеями... Какія, повидимому, рутинныя черты благочестія, въ сотый и тысячный разъ повторяемыя на всѣ лады, чуть заходитъ рѣчь о „живомъ чувствѣ вѣры въ простомъ, Русскомъ человѣкѣ“. Но надо опять видѣть, какъ онѣ затронуты авторомъ „Роя“, чтобы сразу понять и всю ложь прежняго ихъ выставленія въ нашей литературѣ, и весь ихъ дѣйствительный смыслъ въ дѣйствительной русской жизни. Живое чувство вѣры и набожность — какъ проявленіе этого чувства — нѣтъ спору, весьма существенны въ натурѣ Русскаго человѣка. Чѣмъ однакожъ тѣ или другія черты существеннѣе въ бытѣ народа, тѣмъ меньше онѣ могутъ быть оцѣнены и разгаданы въ тотъ періодъ литературы, когда общество, еще не высвободясь изъ-подъ подчиненія чуждой (если не высшей такъ болѣе развитой цивилизаціи) волнуется ея мнимыми и полусочувственными идеалами. Строки Евгенія Онѣгина въ описаніи „простой, Русской семьи“ Ларинныхъ, строки, означенныя при прежней цензурѣ точками и отвѣчающія стиху: „имъ квасъ, какъ воздухъ, былъ потре-

бенъ“ (*) — вотъ, безъ преувеличенія, обращикъ того отрицательнаго отношенія, въ которомъ вся наша прошлая литература состояла къ этому „живому чувству“ Русскаго люда. А „святая Русь“, „православный народъ“ — эти истинно-народные символы Русскаго духа; эти вѣщіе лозунги, которые изъ конца въ конецъ по всѣмъ вѣкамъ непрерывно звучатъ въ нашей исторіи — если они и появлялись въ патріотическихъ драмахъ или поэмахъ нашихъ псевдо-классиковъ, то непремѣнно звучали невыносимою фальшью или оставались мертвою буквой. Художникамъ еще и нашихъ дней особенно несчастливится — именно чуть коснется у нихъ этого „живаго чувства простаго Русскаго человѣка“. Припомнимъ всю фальшивость и мертвенность такого показнаго чувства хоть-бы въ героинѣ романа Дворянское Гнѣздо... Беллетристъ сейчасъ же становится смѣшонъ и жалокъ, и онъ невольно обличаетъ всю унизительную пустоту и ничтожество своего крайняго разумѣнія, едва захочетъ нарисовать, напр., образъ простой Русской дѣвушки, кающейся передъ строгимъ духовникомъ и разсказывающей потомъ съ увлеченіемъ объ испытанныхъ ею впечатлѣніяхъ, или даже сдѣлаетъ и болѣе смѣлую попытку нарисовать женщину, которая бы, по его понятіямъ, „вся ушла въ церковь“. (Эту попытку сдѣлалъ г. Писемскій въ героинѣ Евпраксіи).

Великимъ знатокомъ Русскаго народнаго быта въ самой святынѣ его вѣрованій является авторъ „Роя“. Во всѣхъ этихъ сценахъ, одушевленныхъ высоко-религіознымъ интересомъ — и построенія храма и его освященія, „когда новый престолъ благодати объявляется на святой Руси у Пущина сударя на Бѣлыхъ ключахъ“, и хотя бы чтенія самыхъ этихъ Чети-Миней въ горенкѣ на пасѣкѣ, — авторъ видимо выбираетъ себѣ задачу по силамъ и понимаетъ о чемъ онъ говоритъ.

Таково это „живое чувство“ въ его Ѳеодосіи Саввичѣ, что самъ читатель на разстояніи всей повѣсти, кажется не менѣе Роя заинтересованъ тѣмъ, чтобы храмъ его — былъ и благополучно оконченъ и въ пору освященъ, дня за два до Троицы, чтобы совсѣмъ былъ готовъ къ своему храмовому празднику. Не замѣшалось въ этомъ „живомъ чувствѣ“ ни единой черты какого-нибудь

*) Вотъ они: „Два раза въ годъ они говѣли, любили сельскія качели; въ день Троицынъ, когда народъ, зѣвая, слушаетъ молебенъ, они роняли слезки три на утренній пучокъ зари...“

темнаго, извращенно-религіознаго инстинкта, ни въ чемъ не проглянула мертвящая буквальность... вездѣ духъ, иже животворитъ. Потому прежде всего сочувствуешь Роеву храмозданію и его молитвословію въ этомъ самомъ храмѣ и на этомъ именно мѣстѣ „у дуба, на пасѣкѣ“, что въ нихъ прежде всего слышишь сознанье о томъ, что „Бога нигдѣ не возьмешь руками,— а въ душу примешь его покаяніемъ на всякомъ мѣстѣ“, что именно при взглядѣ на его храмъ и при его-то освященіи такъ невольно изъ души вырвется восклицаніе, по такой художественной необходимости вложенное авторомъ въ уста Преосвященному: „сердце наше велелѣпный храмъ Ему, дѣти!“.

Что особенно высоко мы цѣнимъ въ изображеніи духовности Роя, это — если позволено такъ выразиться — именно эманципацію религіознаго чувства: освобожденіе вѣрующаго духа отъ оковъ всякой условности, совершенное обращеніе во внутрь себя, перенесеніе святыни храма — въ святыню чувства, Бога — въ душу, неба — въ свой нравственный міръ. Это такое обращеніе вѣры въ самую жизнь, введеніе ея во весь свой бытъ и въ свой каждый поступокъ, что для человѣка рушится рознь неба и земли и онъ доходитъ почти до явнаго чувства Бога. „Словно съ того родительскаго слова: глядя на Бога — разсказываетъ о себѣ Рой — самъ Господь Богъ поглядѣлъ на меня. Сталъ я опасно подъ Богомъ ходить. Куда я нийду — на муштрѣ солдатской стою, а Божьи великія очи словно они глядятъ на меня. Подъ призоромъ Божьихъ очей, юность-то моя неразумная Христовъ свѣтъ разума приняла“.— И вдовѣетъ-ли Пелагея Поликарповна — это „Богу вдовѣетъ“ она; любятъ-ли другъ друга женихъ и невѣста: „гори наша любовь свѣчей передъ Господомъ“ говоритъ Рой. Онъ не ее одну беретъ дѣвой, а и самъ дѣвственикъ: „чистъ Богу и тебѣ стою — говоритъ онъ невѣстѣ,— и въ сердце тебѣ мою Божью тайну даю“.

Въ Роѣ мы конечно не найдемъ всей полноты Русскаго духа и его всестороннихъ богатствъ; конечно и самъ авторъ не задавался задачей представить въ своемъ героѣ воплощенную національность. Довольно того, что это живой Русскій человѣкъ, въ прямо-русскомъ значеніи котораго никто не усумнится. Это притомъ и всего менѣе въ собственномъ смыслѣ герой; это заурядъ русскій человѣкъ, взятый во всѣхъ типическихъ моментахъ его жизни: родился, взятъ на службу, вернулся домой, женится, живетъ на

спокоѣ. И авторъ, можетъ быть, за тѣмъ только своего героя-заурядъ русскаго человѣка стереотипируетъ въ этомъ послѣднемъ состояніи, что оно куплено цѣною всей прошлой жизни его, и вся она, ясная, какъ въ зеркалѣ глядится въ ясности такого... „На-Спокоѣ".

Что̀ однако въ Роѣ дѣйствительно народно и что̀ истинно въ немъ составляетъ воплощенную національность — это именно та его религіозность и духовность, о которыхъ мы сейчасъ говорили. И потому это, что въ немъ „сынѣ крѣпкаго мороза, на Руси, питавшемъ себя жаркимъ глубокомыслiемъ обоихъ Сирійцевъ, украшенномъ всѣмъ богомудріемъ св. отецъ, изучавшемъ такихъ учителей, какъ Богословъ и Златоустъ и Василій Великій", то живое чувство вѣры выступаетъ еще какъ чувство, по преимуществу, нашего Русскаго православія. „Здравствовать міру на его мірскомъ житьѣ-бытьѣ и Христовомъ спа̀сеньи" привѣтствуетъ Рой православное крестьянство села Знаменскаго. И такое почти отождествленіе всего житья-бытья, всего подвига жизни, со Христовымъ спа̀сеньемъ въ народномъ привѣтѣ — знаменательно въ высшей степени. Русскій людъ (и это хорошо даетъ чувствовать повѣсть г-жи Кохановской) во всей полнотѣ быта, въ цѣломъ строѣ своихъ отношеній другъ къ другу, какъ бы ищетъ только повторить тотъ чаемый идеалъ, который по его понятіямъ, „у Бога въ небѣ" — и вся наконецъ земная жизнь на столько его веселитъ и радуетъ, на столько для него получаетъ великую цѣну, на сколько лишь она отражаетъ тотъ идеалъ, на сколько именно его онъ въ ней угадываетъ и предвкушаетъ. Міряне и всѣ эти „поменьшіе міры", сливающіеся въ одинъ великій „Божій міръ" — какъ на иконѣ тьмочисленный народъ царей и іерарховъ сливается въ одну церковь у Божьяго престола, — міряне ищутъ повторить этотъ идеалъ, осмысливая и слагая все свое существованіе какъ бы въ одно непрестанное хваленіе Богу. Таковъ на своей пасѣкѣ и самъ сударь Рой, этотъ вѣрный сынъ народа.

Здравостью духа назвали мы въ другомъ мѣстѣ то благочестіе, съ которымъ онъ, по слову апостола, „непрестанно радуется, всегда молится" у своего, какъ сказалъ Іоасафъ, Мамврійскаго дуба. Но вотъ эта-та здравость духа нетронутаго, цѣльнаго и почти первобытнаго человѣка и такое-жъ чувство вѣры — не составляютъ ли и не выражаютъ ли они еще главнѣйшей силы и полнѣйшей мощи здоровой же натуры Русскаго человѣка, — сына той

безрубежной шири, той чуть не первобытной природы, которой всю непочатую мощь въ началѣ повѣсти такъ глубоко почувствовалъ и такъ восхитительно нарисовалъ авторъ!

Таково однакожъ въ Русскомъ человѣкѣ это неутолимое чувство приближенія къ своему идеалу и полнѣйшаго соединенія съ нимъ, что какъ бы Рой ни жилъ благочестиво на своей пасѣкѣ, а по собственному-же сознанію „праведность его едва права". Есть иной міръ жизни: высшей; это ужъ святость. Съ Роевымъ міромъ „едва правой праведности" тотъ міръ граничитъ какъ соприкасающійся эпизодъ... И тѣмъ сильнѣй по производимому впечатлѣнію на читателя, тѣмъ художественнѣй та эпизодичность, съ которой появляется въ разсказѣ и оставляетъ его (какъ бы незамѣтно, что оставилъ) величавый обликъ Іоасафа,— старца, котораго чудная природная нѣжность поравняется развѣ его же видимой суровости, этой второй природѣ его, то-есть привычкѣ, оставаясь постоянно одинъ на одинъ съ собою, къ себѣ-то самому и быть прежде всѣхъ суровымъ и строгимъ.

Тѣмъ сильнѣй производитъ впечатлѣніе еще сама недосказанность и другой сцены: выхода изъ церкви. — „Всѣ" спросилъ онъ приблизившагося келейника. — Всѣ, владыко... Но на церковномъ порогѣ подступилъ человѣкъ несмѣлымъ порывомъ и принялъ благословеніе—и руки преосвященнаго Іоасафа... опустились на эту послѣднюю голову, свалявшуюся чернымъ руномъ волосъ. — *И будутъ послѣдніи первіи*, глаголетъ Господь", давая минуту отдыха себѣ и своимъ утрудженнымъ рукамъ, тихо молвилъ владыко Іоасафъ". И ни слова больше,— а читатель узналъ эту „руномъ свалявшуюся голову" разбойника Родимки, которую ужъ видѣлъ одинъ разъ ночной порой на пасѣкѣ у Роя и тогда же слышалъ по его душѣ, что рано ли, поздно ли, явится онъ сюда и при дневномъ свѣтѣ.

Сейчасъ написанныя строки сложились у насъ въ головѣ тотчасъ же, едва мы дочитали повѣсть до заключительныхъ словъ ея, въ № 13 *Дня:* „И вотъ въ послѣдній день этихъ шести недѣль давши славу Богу и уже отпировавши пиръ на всякую большую и малую душу, осѣлъ нашъ сударь Рой золотой и началъ житъ себѣ и поживать въ домашнемъ своемъ На Спокоѣ".

Признаёмся мы и не ждали никакого другаго окончанія; слѣдующіе нумера газеты продолжались уже безъ повѣсти — мы и не ожидали опять встрѣтить ея заглавія. Такъ, на сколько мы

понимаемъ идею автора, повѣсть казалась намъ оконченною до послѣдней возможности художественнаго; и когда, послѣ пробѣла, мы прочитали новую главу, окончаніе,—мы не измѣнили своего мнѣнія. Въ самомъ дѣлѣ, за исключеніемъ двухъ-трехъ добавочныхъ чертъ, которыми мы воспользовались при изложеніи повѣсти и которыя легко бы было самому автору перенести въ главы предшествовавшія,—что̀ новаго сказала эта послѣдняя глава? Для насъ, по крайней мѣрѣ, она только разрушила стройность впечатлѣнія. Все, что въ ней мы нашли сверхъ „праведности едва правой“ Роя, мы уже имѣли въ предчувствіи—именно въ выставленіи Іоасафа, наконецъ въ его пророческомъ намёкѣ о возможности „послѣднему быть первымъ“,—на этомъ-бы и остановится. Оно, какъ мы сказали, только усиливалось именно своимъ характеромъ соприкасающагося эпизода, и должно бы сюда войти не болѣе какъ въ такомъ видѣ. Говоря о недостаткахъ повѣсти, мы еще возвратимся къ этой главѣ.

V.

Въ золотой порѣ середины человѣческой жизни, когда цвѣтъ и сила ея застаиваются на долгій промежутокъ какъ бы въ спокойномъ равновѣсіи; въ той сказочной порѣ, когда обыкновенно Иванъ Царевичъ достигаетъ берега своихъ желаній и женится на прекрасной царевнѣ,—стереотипируетъ авторъ своего героя. Длительность этой золотой поры на глазахъ читателя, ея продолжающееся дѣйствіе на разстояніи всей повѣсти производятъ впечатлѣніе какого-то особеннаго спокойствія, совершенно эпическаго. Сама картина построенія храма, этого непрерывнаго, въ каждой главѣ совершающагося обѣта всей жизни Роя, способствуетъ такому впечатлѣнію. Больше всего однакожъ ему способствуетъ весь эпическій складъ и пріемъ повѣсти; эпическое же отношеніе (на сколько оно возможно) и самого автора къ выводимой жизни, къ народному быту.

Народный бытъ и народная жизнь взяты въ „Роѣ“ съ ихъ эпической стороны. Непорушенная въ своей цѣльности, еще безъ всякихъ задатковъ какого бы ни было раздвоенія, къ тому же еще и не осложненная сильнѣйшимъ развитіемъ индивидуализма, вся эта жизнь проносится въ повѣсти такимъ яснымъ потокомъ, какъ бы одно свѣтлое и ничѣмъ не возмущенное праздненство. Все тутъ

правда и все тутъ добро; — если зло и явилось, какъ ихъ отрицаніе, то затѣмъ только, чтобы потерпѣть себѣ пораженіе. Весь крестьянскій міръ, прежде всего, выступаетъ такъ безлично и такъ эпически... міръ сѣющій, пашущій, въ старикахъ своихъ собирающійся на сходку, отдыхающій на заваленкѣ и пр. и пр. Но также безлично и столь же эпически выступаютъ въ повѣсти и всѣ остальные: и Дёма и Калинична, и сирота Ртищева, и боярыня Пущина и самъ Рой. „Умный разумникъ“ по отношенію къ первому; „дѣвка староста“ ко второй; „величава“ къ боярынѣ Пущиной; „тихъ и важенъ“ къ Рою—таковы разъ навсегда за ними удержанныя, стереотипныя ихъ черты, по которымъ отличаешь ихъ силуэты. Все остальное, главнымъ образомъ, поглощено въ нихъ бытомъ одной жизни, движущейся на глазахъ читателя, и опредѣляется лишь частнымъ положеніемъ, которое каждый изъ нихъ въ ней занимаетъ. Личнаго въ нихъ лишь на столько, на сколько всякой отдѣльной живой единицѣ предоставлено выражать себя въ хорѣ или въ хороводѣ... Дёма напримѣръ староста, и это опредѣляетъ въ его образѣ все — даже до походки; боярыня Пущина вдова — и этимъ ея вдовьимъ значеніемъ поглощена въ ней вся личность, вся она какъ бы лишь выраженіе такого „о Богѣ вдовства“ боярыни. Самъ Рой, главное дѣйствующее лицо повѣсти, постоянно же исчезаетъ и теряется за своимъ бытовымъ типомъ, тихимъ и важнымъ—„боярина на спокоѣ“.

Особливо боярышня Ртищева, Анастасья Никаноровна, выступаетъ на сцену въ такомъ эпическомъ ореолѣ. Именно ея положеніе, прежде *сироты*, потомъ *невѣсты*, по складу нашего Русскаго эпическаго созерцанія, возлагаетъ на ея долю такого рода безличность. Оба эти состоянія: сирота-невѣста, по преимуществу предполагаютъ въ лицѣ совершенное его сокрытіе за своимъ бытовымъ значеніемъ. И у автора, та особенность эпическаго пріема съ которымъ онъ ставитъ всѣ свои лица передъ читателемъ, именно въ сиротѣ и невѣстѣ Настасьѣ Никаноровнѣ достигаетъ своего крайняго предѣла и получаетъ свой наибольшій смыслъ. Только съ этой лишь точки зрѣнія и можно любоваться, напр., прелестною сценой сироты-невѣсты у ручья купины, или напр. понимать всю эпическую дѣйствительность, всю поэтическую возможность этого ея обращенія, „здравствуй міръ Божій на всѣ четыре стороны!“ или: „словно я пташка залетная на чужой сторонѣ, словно, я утка заплывшая на морской волнѣ“—обращенія и невозможныя и недопустимыя ни

при какомъ другомъ строѣ жизни, ни при какомъ иномъ созерцаніи.—Но вотъ вопросъ: самое такое созерцаніе возможно-ли въ наше время? будетъ-ли оно вполнѣ естественно въ современномъ поэтѣ? Эпическая форма теперь будетъ-ли вполнѣ искренна?....

Наша „изящная словесность“ не только по своему содержанію, но еще и по формѣ своей никогда не была народной. Достояніе лишь ограниченнаго цивилизованнаго меньшинства, она только его и выражаетъ; она говоритъ на его полуиностранномъ языкѣ и рядится въ любимую имъ форму Французскаго романа. Но художникъ (положеніе возможное именно лишь при такомъ состояніи литературы), который задался бы у насъ задачей найти для воплощенія своихъ думъ и идеаловъ форму вполнѣ народную, очутился бы въ трудной дилеммѣ. Былевая пѣсня, Сказаніе, Житіе—вотъ почти все, къ чему сводится несомнѣнно народное творчество нашей литературы—и вотъ тотъ неизбѣжный прототипъ, который невольно соблазнитъ художника. Но не надо забывать, что всѣ эти образцы нашего народнаго творчества въ то-же время еще и образцы той простой, безъискусственной и самородной поэзіи, которые едва-ли возможны въ нашъ вѣкъ,—то-есть въ періодъ творчества личнаго и сознательнаго; въ періодъ поэзіи искусственной, грамотной и образованной. Спросимъ теперь: если-бы тотъ или другой художникъ призналъ, подъ страхомъ отступничества, ту безлично-эпическую форму Былины или Житія единой истинно-народной, а потому и обязательной для себя формой, въ какое бы положеніе онъ себя поставилъ?

Подчинивъ возсоздаваемую имъ жизнь умышленно эпическому созерцанью, художникъ однакожъ не одинъ разъ возмутитъ его невольнымъ потокомъ лиризма. Постоянный цензоръ собственнаго творчества, онъ будетъ только прикидываться „не мудрствующимъ лукаво“, лишь подлаживаясь и лишь поддѣлываясь подъ безъискусственные пріемы простой, самородной поэзіи. Стоя по своему развитію подчасъ выше, подчасъ ниже выводимаго быта, онъ не одинъ разъ то приклонится и присядетъ, лишь бы приравнять себя подъ его уровень, то явится самымъ запальчивымъ и заинтересованнымъ его адвокатомъ. Тогда какъ эпическій пѣвецъ (для котораго патріархальный и весь цѣльный міръ его былины есть бытіе же и его собственнаго сердца; и вѣра и языкъ его героевъ по необходимости его-жъ языкъ и вѣра) постоянно сокрытъ и исчезаетъ въ своемъ твореніи,—нашъ художникъ, напротивъ того, обличая на каждомъ

шагу невозможность отнестись къ выводимому міру эпически и только маскируя такую невозможность этимъ какъ бы полнѣйшимъ слитіемъ своихъ чувствованій съ чувствованіями героевъ, этимъ вящимъ отождествленіемъ своего взгляда на вещи и своего языка съ ихъ языкомъ и взглядомъ,—на каждомъ же шагу будетъ проглядывать и высовываться въ своемъ произведеніи. Какъ первый тѣмъ глубже переноситъ слушателя въ строй первобытныхъ вѣрованій и во всю простоту патріархальнаго быта, чѣмъ вольнѣе отдается собственному творчеству и глубже уходитъ въ самого себя; такъ второй, чѣмъ глубже заходитъ въ патріархальный бытъ выводимаго міра, тѣмъ постоянно сдержаннѣе долженъ быть въ собственномъ чувствѣ, тѣмъ пуще долженъ свое личное творчество, свое личное созерцаніе держать насторожѣ. Личина безъискусственнаго пѣвца тамъ и здѣсь однакожъ спадетъ съ современнаго художника: то пробьется она его живымъ лирическимъ порывомъ, то скажется его натуральной современной фразой; авторъ въ своемъ произведеніи выглянетъ весь безъ личины—и покосятся тогда всѣ контуры его повѣсти, замѣшаются его герои, вся та манерная безъискусственность и простота прозвучитъ диссонансомъ,—и все произведеніе представится какою-то задачей внѣ возможности рѣшить ее, какою-то неестественной попыткой, слишкомъ форсированной натяжкой.

Намъ кажется, что повѣсть г-жи Кохановской представляетъ несомнѣнную попытку въ этомъ родѣ,—и вотъ откуда объясняются, какъ всѣ ея положительныя достоинства такъ и недостатки, вся ея—съ одной стороны—невыразимая прелесть, съ другой же, вся ея, чтобы не сказать фальшь, вычурность. Съ одной стороны восхищаешься этимъ живымъ, въ высшей степени пластическимъ и такъ сказать народнымъ языкомъ автора; съ другой: въ немъ самомъ слышишь какую-то натянутость, постоянно угадываешь какую-то неискренность, такъ сказать *сдѣланность* его. Дивишься таланту автора, такъ мощно и такъ цѣльно переносящему въ патріархальный, чуть не первобытный міръ; такъ дышешь вольно въ его сочувственной средѣ и такъ охотно бы хотѣлъ отдаться созерцанью автора; съ другой стороны: свою собственную точку зрѣнія видишь въ постоянномъ разладѣ съ авторскою, или правильнѣе съ тою, которую онъ насильственно принимаетъ,—слышишь въ немъ не вольнаго разскащика, а именно человѣка въ маскѣ, котораго эта маска давитъ и тяготитъ. Какъ всякая намѣренность въ

низведеніи себя до низшей простоты производитъ уже впечатлѣніе юродства,— такъ съ одной стороны и повѣсть г-жи Кохановской всею особенностью своего пріема, всею своею формой озадачиваетъ читателя и бременитъ его; съ другой же: повѣсть эту, какъ по ея содержанію, такъ именно еще и за эту самую форму, хотѣлось бы назвать по преимуществу Русской, по преимуществу народной. Возвращая насъ къ безличному эпическому творчеству нашей былины или сказанія, она какъ бы намекаетъ и даетъ угадывать въ предчувствіи тотъ новый искомый видъ повѣсти, ту ея возможную новую еще не найденую форму, въ которыхъ должна воплотиться наша Русская, народная повѣсть. Малѣйшая попытка въ этомъ родѣ въ рукахъ менѣе искуснаго художника, вышла бы только жалкою и смѣшною; какую же мощь таланта, въ самомъ нашемъ осужденіи, признаёмъ мы за авторомъ Роя, когда говоримъ: трудъ г-жи Кохановской не удался ей лишь въ той степени, въ которой достигнуть этого не было уже и во власти современнаго художника.

Въ самомъ дѣлѣ, если вообще невозможно грамотному, образованному искусству и личному сознательному творчеству подражать самородной, безъискусственной поэзіи, то-есть: современному художнику стать Гомеромъ своего народа, или, по крайней мѣрѣ, безыменнымъ слагателемъ Житія, то не вдвойнѣ-ли еще это не возможно именно Русскому художнику по отношенію именно къ нашему народному быту? Нѣтъ сомнѣнія, что самъ авторъ Роя призналъ такую невозможность, когда о крестьянинѣ, боязливомъ путникѣ, подъѣзжавшемъ къ Роевымъ владѣніямъ, говорилъ, что „не лѣшаго побаивался онъ, зная *въ непорушенной силѣ своихъ преданій*“ и пр. И такъ, „непорушенная сила преданья“, вотъ главное въ цѣльномъ созерцаніи того крестьянина! — Если же нашъ народный бытъ не только не непорушенъ въ своей цѣльности, а еще и прямо отвергнутъ цѣлымъ новымъ бытомъ; если со всей страстностью безконечной полемики цѣлая доктрина поднялась на его отрицаніе, а другая на его защищеніе,—то возможно-ли эпическое къ нему отношеніе, даже и такого таланта какимъ безспорно надѣленъ авторъ Роя, человѣкъ однакожъ настоящаго времени, стоящій въ самомъ жару той самой полемики?

Что это невозможно, оно сказалось въ его произведеніи; оно, то тамъ, то здѣсь проронилось въ самомъ содержаніи и отразилось въ его языкѣ. Авторъ выступаетъ то и дѣло заинтересованнымъ

адвокатомъ того самаго міра, котораго хочетъ быть лишь безстрастнымъ эпикомъ; мѣстами онъ вноситъ въ свое произведеніе сентенцію, доктрину; мѣстами слышно раздвоеніе между художественнымъ образомъ, явно употребленнымъ въ томъ а не другомъ смыслѣ, и тѣмъ смысломъ, который однакожъ невольно съ нимъ долженъ соединять авторъ, какъ человѣкъ новаго времени, и т. д.

Роевъ обозъ потянулся черными лѣсами, страшными въ ту пору разбоемъ: „попутчики голосъ по голосу и духовное пѣніе завели. Идутъ и поютъ—поютъ себѣ и шагъ за шагомъ идутъ... и что-то лѣса тѣ другимъ хоромъ стали! Божье пѣтое слово проняло ихъ насквозь. Густые да сплошные, они словно Давидовскими гуслями стали и Господня слава гремѣла по нимъ“. Невѣста молится на зарѣ: „напротивъ солнца пошла и на восходъ его подъ лучами стала. И сама какъ лучъ тонка и высока, молитвою Богу горитъ“, она здравствуетъ Божьему міру и слегка ему на стороны поклонилась. И Ѳеодосію Саввичу, лежа въ кустѣ, на землѣ, будто ему изъ куста показался, что на то ея здравствованіе всему Божьему міру по Удолью деревья всѣ и окружные лѣса вершинами на малъ часъ принаклонилися и поклонилась ей вся небесная красота“. Разбойникъ кается въ лѣсу: „простирались вверхъ руки въ мольбѣ и человѣкъ босыми ногами въ землю ушолъ, и у стопъ его ногъ земля процвѣла мхами и изъ подъ снѣгу встала лазоревыми цвѣтами — оттого-ли, что онъ подъ солнцемъ молитвой стоялъ—словно на лицѣ его свѣтъ тотъ солнца сіялъ“. Рой на утренней молитвѣ и духовность его велика: „и словно по тому великому человѣка слову, концы небесъ просвѣщались зарею — насупротивъ лица, устно исповѣдающагося Богу, всходило солнце“.

Конечно, всѣ эти наклоны лѣсовъ, лазоревые цвѣты, ореолъ лица молящихся и пр. только передача впечатлѣнія, живопись поэзіи и ничего больше: никакъ не буквально понятыя чудеса. Но вся эта живопись только и имѣетъ смыслъ въ той безъискусственной поэзіи, которая еще вѣрила бы во всѣхъ же этихъ образахъ дѣйствительному чуду,—которая бы искренно желала подобнаго чуда. Для современнаго человѣка (для котораго отсутствіе тутъ лазоревыхъ цвѣтковъ и поклоновъ со стороны лѣса ничуть бы не умалило достоинства молитвы) именно и была бы дорога и такъ близка его сердцу та наивность, та неподражаемая простота, что желала-бы такого прямаго чуда. Но этого неестественно ожидать отъ

современнаго автора: надо ему избѣгать и подобной живописи; въ разсказахъ современнаго писателя и живопись такаго рода совсѣмъ не у мѣста. Сентенція звучитъ у автора больше всего въ послѣдней главѣ; разсужденія Роя съ іереемъ по преимуществу изобличаютъ такого рода недостатокъ. Вся же эта глава страдаетъ и выставленьемъ на показъ доблести русскаго быта и міра. Мы не хотимъ сказать, что сама эта доблесть преувеличена: русскій міръ — мы искренно въ томъ убѣждены — могъ бы выказать образцы ея еще высшіе. Но та страстность, та заинтересованность автора, которыя прежде всего мѣшаютъ ему быть спокойнымъ эпикомъ выводимаго міра, онѣ-то и обнаруживаются въ томъ впечатлѣніи выставки, того „на показъ“ доблестей Русскаго человѣка. Это же особенно слышится напр. въ Соломоновомъ судѣ Роя. — Въ одномъ мѣстѣ разсказа Дёмы *(о мірѣ)* проглянуло то, что мы назвали доктриной; для опредѣленія этого именно недостатка однимъ этимъ образцомъ и ограничимся. Авторъ, безъ сомнѣнія, не имѣлъ своей задачей изслѣдовать сполна: что̀ такое крестьянскій міръ? и былъ вправѣ ограничиться лишь извѣстными сторонами этого органическаго явленія. Напр. выставивъ такъ увлекательно всю силу міра, какъ дружнаго братства, которое не дастъ погибнуть бѣдняку (съ міру по ниткѣ—голому рубашка), авторъ ничуть не коснулся той его стороны, откуда сила эта является дикимъ страшилищемъ: разумѣемъ деспотію общины, хотя бы самодурной, надъ отдѣльнымъ лицомъ. Авторъ, повторяемъ, былъ совершенно вправѣ, говоря объ мірѣ, ограничиться любой стороной его. Но если бы авторъ вполнѣ цѣльно, вполнѣ эпически обнималъ этотъ свой образъ, если бы именно не замѣшалась сюда доктрина, онъ бы не обременилъ еще своего образа двумя-тремя лишними чертами, которыя тутъ производятъ впечатлѣніе діаметрально-противуположное желаемому самимъ авторомъ... Эта похвальба Дёмы: „двухъ-то и трехъ сподручно по зашеямъ выгнать и въ тюрьму засадить; а пятьдесятъ человѣкъ — вѣдь это счетанныхъ сто рукъ“ — не заключаетъ въ себѣ объективной правды. Это ужъ такъ называемая „субъективность“ — самого автора. Кажется намъ, скажемъ въ заключеніе, что эпическій разскащикъ приберегъ бы и для Гама и для всего Гамовскаго Удолья что-нибудь доброе, что-нибудь не отталкивающее; онъ бы не побоялся, по крайней мѣрѣ, выставить его усадьбу хорошо обстроенной, чисто поддержанной (какъ это отчасти даже и свойственно Гаму); онъ бы, по крайней мѣрѣ, заставилъ выть

волковъ не исключительно въ Гамовыхъ дачахъ и не только бы эти волки были страшны въ ту ночь, когда повѣсился Гамъ. Довольно высчитанныхъ примѣровъ для того, чтобъ указать, какъ въ самомъ содержаніи проглядываетъ субъективное противорѣчіе художника съ объективностью того вѣчно-вѣрнаго самому себѣ, стройнаго, безстрастнаго созерцанія, которое свойственно вполнѣ искреннему эпическому поэту.

А разъ такая невозможность созерцать народный бытъ во всей его цѣлости, какъ бы глазами самаго народа (эпическое созерцаніе и есть по преимуществу созерцаніе народное), проронилась въ самомъ содержаніи „Роя,"—дѣлается уже само-собою понятно: каковъ тотъ языкъ, въ который облеклось это содержаніе? Языкъ этотъ, ровный своему содержанію и постоянно лишь въ мѣру своего содержанія, одинаково не выдержитъ своего народнаго строя, и подъ конецъ всего—это лишь искусственно народный языкъ. Мы не говоримъ о неподражаемой пластичности языка г-жи Кохановской, въ которой она не имѣетъ соперниковъ; не выписываемъ отдѣльныхъ примѣровъ: они безчисленны, что̀ ни фраза—это яркими масляными красками написанная картина! Не говоримъ и о тѣхъ восхитительныхъ оборотахъ, которые такъ прямо выхвачены изъ устной народной рѣчи, да развѣ еще могутъ повстрѣчаться въ пѣсняхъ,—напримѣръ: „двѣ ласточки-касаточки промелькнули *и назадъ взялись*" или при описаніи ночевки въ полѣ: „разложили костеръ да наловили рыбы, *а ночь тепла, а трава мягка*"... и тысячѣ подобныхъ красотъ, которымъ авторъ лучше насъ судья, потому что онъ всегда такъ умѣючи ими пользуется. Мы не говоримъ и объ этомъ особенномъ умѣніи г-жи Кохановской найти для выраженія своего понятія такое одно слово, которое было бы незамѣнимо цѣлымъ десяткомъ другихъ... „Шелохнулась" говоритъ г-жа Кохановская про шелковую завѣсу царскихъ дверей, при описаніи, какъ подступалъ воръ-Минка къ Причастію. Перечтите вновь это мѣсто въ подлинникѣ и попробуйте замѣнить это „шелохнулась"... Нѣтъ, всѣ достоинства такого рода составляютъ несомнѣнныя красоты превосходнаго русскаго языка г-жи Кохановской и ея мастерской рѣчи; они же и слишкомъ общепризнаны, чтобы нужно было теперь долго на нихъ останавливаться.

Но мы говоримъ о множествѣ провинціализмовъ, просторѣчій, наконецъ просто нескладныхъ отдѣльныхъ словъ или фразъ,

которыми преисполненъ языкъ „Роя“. И признаёмся, весь ихъ наплывъ — даже у г-жи Кохановской еще небывалый — мы себѣ объясняемъ именно тѣмъ, что по духу задуманной повѣсти автору требовался языкъ особеннаго склада: — не общелитературный, а прямо народный русскій языкъ. Мы полагаемъ, что этотъ народный языкъ отчасти и былъ тою самой личиной, которая прикрывала невозможность подступиться къ выводимому міру вполнѣ эпически; этотъ языкъ отчасти назначался играть роль среды между авторомъ и читателемъ, — между авторомъ, какъ современнымъ человѣкомъ, и тѣмъ *третьимъ лицомъ*, отъ котораго какъ будто и идетъ разсказъ. И вотъ, когда эта народная, русская, живая рѣчь (которая бы органически-свободно творилась въ самую минуту разсказа въ устахъ нашего народнаго Гомера), не давалась автору — тутъ всякій провинціализмъ и просторѣчіе, всякое даже нескладное слово, лишь бы они звучали въ ритмъ, шли въ дѣло и годились автору. Кромѣ длинныхъ нескладныхъ рѣченій, сюда же надо отнести еще и такія рѣченія, въ которыхъ желаніе пластицизма доводитъ живопись слова почти до абсурда; напр. при описаніи Соломонова суда Роя сказано о ворѣ съ медомъ: „онъ сидѣлъ и ѣлъ свою поличную вину, свой вкушаемый грѣхъ“.

Оборотъ „видать“, вмѣсто видно, можно повстрѣчать въ нашей пѣснѣ; пусть это отчасти провинціализмъ, отчасти просторѣчіе; но употребленный къ мѣсту, онъ звучитъ хорошо. Когда въ представленіи *видно* или *невидно* выражается больше непрерывная чѣмъ временная, и больше постоянная чѣмъ случайная длительность (такъ напр. при точкѣ зрѣнія отъ одного села до другаго), оборотъ „видать“ пожалуй мѣтокъ и живъ — и намъ нравится это: „Чапыжную дубраву видать“ при описаніи видовъ Бѣлоколодезной пущи. Но авторъ пользуется имъ безъ всякаго разбора; тотъ же самый оборотъ, напр. при описаніи пасмурной ночи: „звѣздъ видать было мало въ принаклонѣ вѣтвей“, уже не производитъ хорошаго впечатлѣнія. Но у автора есть еще провинціализмы и просторѣчія, нескладныя слова, которыя слѣдуетъ вычеркнуть безъ всякаго спора. „Гулà“ вмѣсто гудѣла, „ажно“ вмѣсто *и даже* или *такъ, что*, „тако“ вмѣсто *такъ* и проч. и проч. и проч. Зачѣмъ это нужно? Въ описаніи паденья Гамовыхъ боярышень, что такое это „поцялись?“ не опечатка-ли вмѣсто пяти-

лись?*)—Гамъ, встрѣтивъ дорогихъ гостей на порогѣ, разчувствовался до слезъ. Когда онъ Роя съ матерью ввелъ въ гостинный покой и усадилъ по мѣстамъ, опять заплакалъ—въ другой разъ заплакалъ, хотѣлось сказать автору, и вотъ какую форму употребляетъ авторъ: „въ слезы расплакался *за ново* Гамъ". Не проще-ли и почему же не сказать: „снова?" Выраженія напримѣръ: домъ передѣланный за-ново и домъ передѣланный снова, или даже въ одной фразѣ: домъ снова былъ передѣланъ за-ново—лучше всего покажутъ, какъ иногда авторъ жертвуетъ ритму даже самимъ смысломъ слова. Притомъ, рѣчь пѣсенная или хоть просто устная и рѣчь письменная—это два розныхъ дѣла, у каждой свои условія. „Подруженьки ой Марью свѣтъ кликали"—такою пѣсней начинаетъ г-жа Кохановская свою повѣсть—и это *ой* годится лишь при напѣвѣ. Въ живой рѣчи разскащика, передъ сонмомъ слушателей, народный пѣвецъ безсознательно творитъ языкъ — и ритмъ приходитъ не какъ заранѣе сознанная потребность, а какъ послѣдствіе; ритмъ дается такому пѣвцу какъ бы только въ даръ за народность, въ высочайшей степени, его языка. Если же самый ритмъ (допустимъ это) вынудитъ его перемѣстить удареніе, онъ и въ этого рода творчествѣ явится лишь безсознательнымъ истолкователемъ генія языка; напр. вмѣсто „до земли", онъ скажетъ „дȯ-земи" вмѣсто на землѣ „на-земи";—и однакожъ какъ былъ бы страненъ тотъ литераторъ, который, повстрѣчавъ эту форму въ народномъ языкѣ, предпочелъ бы ради своеобразности и въ именительномъ падежѣ „земь" вмѣсто земля.

Сравните языкъ Лободёнки и Дёмы съ языкомъ автора—и вы не только не почувствуете большой разницы, васъ поразитъ ихъ умышленное сходство, ихъ почти тождество,—умышленное, потому что грамотный и образованный Русскій писатель XIX вѣка не можетъ говорить языкомъ Дёмы или Лободёнки XVIII вѣка, какъ бы онъ ни прикидывался, что говоритъ съ ними однимъ языкомъ. Г-жа Кохановская на столько художникъ, что невольно и даже непримѣтно для себя оттѣнитъ рѣчь „продерзой холопки" свойственнымъ ей оттѣнкомъ; но она не на столько эпическій пѣвецъ, и главное—не того-же эпическаго вѣка, чтобъ въ языкѣ героевъ ея поэмы и въ ея собственномъ не было

*) Дѣйствительно опечатка, въ рукописи стоитъ „понялись"—но это едва ли не провинціализмъ. *Ред.* „*Дня*".

никакой разницы. Ея натуральный языкъ прорвется,—и тогда вся манерность другаго, умышленнаго языка прозвучитъ, какъ фальшивая нота. Сравните всѣ эти „ажно“, „зà-ново“, „тàко“ и пр. хотя бы съ этой натуральной, прорвавшейся рѣчью автора (при описаніи старинной *грубы*): „Онѣ складывались совершенно пустымъ и сквознымъ коробомъ безо всякихъ основъ и нынѣшнихъ сводовъ и оборотовъ внутри. Изразцы скрѣплялись продѣтою проволокой и по мѣстамъ обыкновенно мѣдною пуговицей, которая прихватывала и сдерживала на проволокѣ углы соединяющихся изразцовъ“. Не правда-ли какая вдругъ поразительная перемѣна? противъ тѣхъ „вычурностей“, какая простота рѣчи въ приведенномъ отрывкѣ? Точно, маска свалилась съ лица, и авторъ — болѣе не удушаемый ею — заговорилъ вольнымъ и естественнымъ своимъ голосомъ.

Мы кончили нашъ разборъ „Роя“. Въ бѣглыхъ газетныхъ замѣткахъ мы не брали на себя задачи выказать всѣ неисчислимыя красоты новой повѣсти г-жи Кохановской. Какъ во всякомъ истинно-художественномъ произведеніи, ихъ открываешь въ „Роѣ“ тѣмъ больше, чѣмъ глубже проникаешь въ него. Но мы сочтемъ свою задачу вполнѣ оконченной, если намъ удалось хотя кратко передать самую харастеристику, какъ достоинствъ такъ еще и недостатковъ этой повѣсти.

Въ заключеніе, мы возвращаемся къ тому, съ чего начали. Значеніе г-жи Кохановской въ нашей литературѣ мы полагаемъ именно въ томъ, что она въ ней стоитъ „на рубежѣ“ такъ называемаго ея отрицательнаго направленія и начинающагося „положительнаго“. Мы назвали еще другаго художника, автора Семейной Хроники, который занимаетъ подобное же мѣсто въ нашей литературѣ. Много сходнаго можно-бы отыскать какъ въ идеалахъ, такъ еще и въ самомъ языкѣ обоихъ художниковъ; но языкъ автора Семейной Хроники, какъ и самое его созерцаніе, ясенъ безъ всякой примѣси, всегда себѣ равенъ безъ всякой исключительности и только самый *родъ* его сочиненій, слишкомъ исключительный, умаляетъ ихъ цѣну. Въ этомъ отношеніи г-жа Кохановская много превосходитъ его; горизонтъ прямо Русской жизни и прямо Русскаго быта, явившійся прежде всего лишь въ тѣсной рамкѣ семейной хроники или семейныхъ воспоминаній, значительно расширенъ ею. Но въ самомъ талантѣ ея есть какая-то примѣсь и нѣкоторая исключительность. Все еще нельзя сказать объ авторѣ,

что онъ непосредственно относится къ выводимому имъ Русскому міру и быту и ничего предвзятаго не вноситъ въ созерцаемый имъ Русскій идеалъ. Пожелаемъ этому самобытному таланту развитія именно въ этомъ отношеніи.

Газета „День“ 1864 г.

Текучая беллетристика.

„Отцы и Дѣти“ *И. С. Тургенева.* „Марево“ *г. Ключникова.* „Взбаламученное Море“ *г. Писемскаго.*

I.

Въ настоящее переходное время, когда вездѣ тѣснятся и отовсюду возникаютъ экономическіе, соціальные и политическіе вопросы—вся и литература у насъ сошла на публицистику.

Это не то значитъ, какъ полагаютъ иные, будто съ возмужаніемъ общества сейчасъ принимаетъ и литература такой же именно, будто болѣе зрѣлый характеръ. Это означаетъ лишь то, что художественной литературѣ, какъ вообще искусству, тогда только привольно на свѣтѣ, когда самому обществу живется легко и привольно;—а въ наши смутные, безпокойные и переходные дни мы едва успѣваемъ совладать и со „злобой дневи“.

За весьма рѣдкими исключеніями (чтобъ не указать даже въ единственномъ числѣ на недавнюю повѣсть г-жи Кохановской), не встрѣчаемъ мы въ нашей литературѣ глубоко-обдуманныхъ, величавыхъ по своему художественному строю произведеній. Романъ, сшитый на живую нитку и въ которомъ явный недостатокъ литературнаго интереса прикрытъ декораціею современнаго и соціальнаго интереса—вотъ все, что въ ней видимъ за послѣднее время. Въ нашихъ журналахъ въ отдѣлѣ „изящная словесность“ напрасно ищешь повѣсти или романа: это опять все та же публицистика; она только рядится въ форму повѣсти или романа. Таково „Марево“, таково „Взбаламученное Море“, таковъ невозможный и пресловутый романъ „Что дѣлать?“, таковы еще и „Отцы и Дѣти“,—къ чести сказать, послѣдній однакожъ романъ менѣе всѣхъ таковъ именно.

Вся ошибка „Отцовъ и Дѣтей“, по нашему мнѣнію, въ томъ, что, увлекшись духомъ времени, авторъ окружилъ свою главную идею цѣлою вереницею модныхъ идеекъ, обставилъ свою главную

фигуру толпою лишнихъ, завязалъ между ними произвольныя коллизіи для того лишь, чтобы высказать свой собственный трактатъ о старомъ и новомъ поколѣніи—и въ довершеніе всего едва-ли самъ не сбился: къ которому пристать на перепутьи? Тема „Отцовъ и Дѣтей“ (все ея значеніе, безъ сомнѣнія, въ одномъ типѣ Базарова) совершенно насильственно растянута въ романъ; уложись она въ одинъ изъ тѣхъ безподобныхъ очерковъ, которыми авторъ щеголяетъ въ Запискахъ Охотника—и нигилистъ Базаровъ много бы выигралъ. Выведи авторъ свой высоко-художественный типъ безъ всякихъ подставныхъ цѣлей, безъ всякой предвзятой мысли въ коротенькой повѣсти—она составила-бы истинное chef d'oeuvre между всѣми его произведеніями; теперь имъ остается у г-на Тургенева какъ и прежде—тотъ или другой очеркъ Записокъ Охотника.

„Марево“, напротивъ того, по сложности своего многосторонняго сюжета, дѣйствительно представляетъ какъ бы канву для цѣлаго романа. Его героиня притомъ задумана широко—и мы хотѣли бы сказать: излишне широко—чтобъ можно было на четырехъ-пяти страничкахъ исчерпать ея предполагавшійся характеръ. Оказывается однако, что автору недовольно цѣлыхъ четырехъ частей,—не для того даже чтобъ исчерпать этотъ характеръ сполна, а двинуть хоть на волосъ впередъ его разгадку: для читателя, по крайней мѣрѣ, какъ въ 1-й части такъ одинаково въ послѣдней, характеръ Инны застоялся въ полной неподвижности. Нечего много говорить о томъ, что если графъ Бронскій представляетъ дѣйствительный интересъ живой личности, и противъ воли даже автора становится истиннымъ героемъ на первомъ планѣ разсказа,—такъ напротивъ его Русановъ—этотъ собственный герой автора—ничего больше, какъ ходячая сентенція и (пусть даже разсмотрѣнный какъ характеръ) жалкая посредственность во всѣхъ отношеніяхъ. Читатель вначалѣ выноситъ терпѣливо эту ходячую сентенцію въ надеждѣ, что хоть черезъ нея по крайней мѣрѣ удастся автору выяснить свою героиню, а съ тѣмъ вмѣстѣ и всю необходимость загадочной Инны въ „Маревѣ“... Тщетная надежда! При томъ же остается читатель объ Иннѣ въ самомъ концѣ романа, что онъ вынесъ объ Иннѣ изъ первоначальныхъ строкъ. А дочитавшаго романъ до конца авторъ награждаетъ еще собственнымъ признаніемъ, прямо отъ своего лица, въ томъ что̀ читатель уже самъ чувствовалъ со второй части: въ томъ именно, что все это „Марево“ для са-

мого автора какая-то безсвязная путаница; что, вызвавъ дѣйствующихъ лицъ на сцену, онъ очутился въ положеніи волшебника, вызвавшаго духовъ и не умѣвшаго съ ними сладить. Двѣ-три живыхъ сцены, два-три характерныхъ положенія, много если одинъ (говоримъ о Бронскомъ) вполнѣ дорисованный характеръ—вотъ, что̀ собственно остается въ цѣломъ романѣ для оцѣнки его чисто-литературной художественной стороны. Все остальное ниспадаетъ до простаго фельетона личныхъ и отрывочныхъ, иногда будто дорожныхъ впечатлѣній самого автора по поводу всего, что только представлялось ему наиболѣе *пикантнымъ* во вчера-прожитой современности.

Но за авторомъ нельзя не признать другой заслуги, а за его романомъ другаго важнаго значенія. Какъ всякій правдивый публицистъ приноситъ въ настоящую минуту огромную пользу разоблаченіемъ польской интриги хотя-бы въ формѣ простой корреспонденціи прямо съ мѣста—также точно и такую же пользу обществу принесъ и авторъ „Марева“ своимъ романомъ. Бронскій, этотъ полякъ-чужеземецъ въ православномъ Кіевѣ, соединяющій съ лоскомъ утонченнаго образованія и вкрадчивыми на языкѣ рѣчами о либерализмѣ, всю нравственную негодность интригана; лжецъ и клеветникъ, рыцарь и артистъ измѣны—вотъ ничуть не преувеличенный и прямо изъ дѣйствительности выхваченный типъ Поляка въ томъ нашемъ полуополяченномъ краѣ! Это именно тотъ кумиръ, передъ которымъ къ стыду Россіи такъ недавно еще пассовали не только наши Коли и Инны (жаль, что Русановъ въ романѣ не живое лице, а сентенція), но даже сѣдовласые мужи... Это тотъ самый кумиръ, передъ которымъ, увы! еще пожалуй и долго суждено пассовать всякому полу-невѣжеству, обыкновенно накидывающемуся на лоскъ и блескъ, какъ на чистую монету. Такъ пассуетъ необтесанный купеческій сынокъ, попавъ въ дворянскую компанію. Пусть эта компанія будетъ жалка и ничтожна,—она, въ своихъ рукахъ, сдѣлаетъ все, что ей угодно изъ необтесаннаго сынка, лишь бы тотъ самъ добродушно вѣрилъ, что дѣйствительно попалъ въ самый аристократическій кружокъ міра!

Автора романа можно упрекнуть никакъ не въ томъ, что онъ преувеличивалъ ложь и зло изображаемой имъ интриги, а въ томъ развѣ, что онъ умалялъ ея значеніе. Онъ слишкомъ не серьезно и легко, и только лишь въ смѣшной каррикатурѣ выставлялъ все то̀, что такъ возмутительно являлось сплошь да рядомъ на дѣ-

лѣ и что, какъ видно, ему близко знакомо. Не говоримъ уже о сторонѣ Польскихъ патріотовъ, черная доблесть коихъ превзошла все, что только могъ объ нихъ подозрѣвать міръ; но мы говоримъ о самомъ Русскомъ обществѣ того полуополяченнаго края, на сколько авторъ именно его выводитъ еще впервые въ нашей литературѣ. Авторъ, напр., не могъ не знать, что не только юные гимназисты и недоучившіеся учители гимназій принимали участіе въ интригѣ Бронскаго. Весьма почтенные, съ виду, Русскіе люди стараго и молодаго поколѣнія легко обольщались ею и прямо или косвенно, вольно или невольно, били съ нею въ тактъ. Мировой посредникъ изъ Русскихъ, или даже коронный предводитель дворянства, подписывающій за одно съ Поляками, напр., оппозиціонное рѣшеніе мироваго съѣзда о томъ, что только сенатъ, а не мѣстная администрація смѣняетъ посредниковъ, хотя бы завѣдомо присягнувшихъ жонду,—Русскій помѣщикъ, который за одно же съ Поляками подписываетъ на выборахъ адресъ Замойскаго,—еще Русскій, который, заведя школу въ своемъ имѣніи, въ самый разгаръ борьбы за національность, обучаетъ своихъ Осиповъ и Ивановъ, такъ между прочимъ, Польскому языку—вотъ историческіе факты, а уже не романъ. Русскій, наконецъ, который постоянно за панибрата съ—инскимъ или съ—анскимъ, своими любезными сосѣдями, завѣдомо начальниками шаекъ—и эти начальники съ фамильярнѣйшею улыбкой передаютъ ему объ успѣхѣ вооруженія и показываютъ по секрету хороши-ли наготовленныя ими золотыя грамоты? и предлагаютъ ему, Русскому, въ случаѣ поѣздки напр. въ Москву, свободный пропускъ отъ Варшавскаго жонда, и нашъ Русскій не гнушается такимъ предложеніемъ, а съ той же фамильярной любезностью весь свой домъ предлагаетъ къ ихъ услугамъ на случай неудачи, а равно проситъ-же и защиты своему дому, если дѣло ихъ выгоритъ—и все это съ восхитительнымъ самодовольствомъ отъ своего либерализма и прогресса... что все это такое? какъ назвать эти и множество еще худшихъ явленій, которыя сплошь да рядомъ можно было видѣть еще такъ недавно? Вся эта нравственная гниль и порча наша, все это наше соціальное разложеніе—одно-ли оно только Марево, и напрашивается оно только-ли на каррикатуру? Авторъ, повторяемъ, слишкомъ поверхностно и фельетонно оглянулъ картину окружавшей его неурядицы, слишкомъ подчасъ легко и несерьезно толковалъ ея смыслъ;—будемъ ему однакожъ благодарны и за то, что оглянулъ онъ ее

довольно живо, сгруппировавъ ея частности въ одномъ общемъ дѣйствіи, и довольно со многихъ сторонъ за разъ.

„Марево“, кромѣ того, имѣетъ за собой и ту важность, что оно составляетъ органическое звено въ текучей журнальной литературѣ. Безъ романа „Отцы и Дѣти“ въ свое время—не было бы теперь „Марева“; даже „Что дѣлать?“ и „Взбаламученное Море“ служатъ ему въ извѣстномъ отношеніи, какъ и вообще другъ другу, неизбѣжными переходными звеньями. И какъ ни мало бы тотъ или другой критикъ цѣнилъ ихъ художественное достоинство,—должно однакожъ согласиться, что всѣ эти произведенія не только для насъ, современниковъ, даже и для внуковъ нашихъ могутъ имѣть своего рода занимательность. Дѣло въ томъ, что во всѣхъ этихъ романахъ, вольно или невольно, вполнѣ это сознавая или безъ всякаго о томъ подозрѣнія, авторы повѣдуютъ міру—до какой невообразимой путаницы понятій довело насъ наше мнимое просвѣщеніе, наше полурусское, оторванное отъ почвы, образованіе—и въ какихъ наконецъ безобразныхъ явленіяхъ, въ какомъ хаосѣ сумасбродства изживало свой вѣкъ и находило себѣ агонію все наше хваленое, предшествовавшее развитіе? Въ самомъ дѣлѣ, всѣ эти „новые люди“—наканунѣ еще столь рѣдкіе, придерживавшіеся больше общихъ сферъ жизни въ своихъ докторальныхъ разсужденіяхъ; ничуть по крайней мѣрѣ не пускавшіеся въ политику; потомъ ужъ посягающіе на роль реформаторовъ—хотя все еще въ довольно скромной сферѣ чисто соціально-экономическихъ интересовъ; вдругъ потомъ уже на нашихъ глазахъ наполняютъ улицу, втираются въ публику, лѣзутъ изо всѣхъ угловъ прямо затѣмъ чтобъ вмѣшаться въ политику. Еще одинъ шагъ и они ужъ отчаяннѣйшіе практики-реформаторы, приводящіе въ ходъ, ни много ни мало, дѣло измѣненія всего лица Европы,—въ частности же перебѣжчики въ Польскій лагерь.... Что все это, какъ не одинъ и тотъ же, постоянно движущійся на нашихъ глазахъ, духъ нигилизма? духъ, которымъ на нашихъ же глазахъ измираетъ вся лживая цивилизація нашего хваленаго предшествовавшаго развитія? Эфемериды, мимолёты этого духа столь быстрыми метаморфозами достигаютъ теперь конечной цѣли своего развитія, конечной своей погибели, что наши авторы за ними едва-едва успѣваютъ въ обгонку... Соперничествуя другъ съ другомъ, они ловятъ и никакъ имъ не удается поймать—вчера еще новое, нынче ужъ устарѣвшее—послѣднее видоизмѣненіе такого мимолёта!

Можно даже допустить, что отчасти самая уже эта эфемерность современнаго типа, отсутствіе какихъ-либо положительныхъ сторонъ въ нашихъ нынѣшнихъ мимолётахъ, наконецъ общая нынѣшняя шаткость и переходчивость—мало увлекательны для фантазіи художника и не они, конечно, способны его подвинуть на капитально-художественный трудъ. Пока беллетристъ исключительно занятъ погоней за ними, едва ли будетъ даже вполнѣ справедливо требовать отъ каждаго его этюда первоклассныхъ достоинствъ первоклассныхъ повѣстей и романовъ? Тотъ или другой уличный типъ, прежде чѣмъ онъ успѣлъ пропасть на улицѣ, сейчасъ ужъ подхваченъ ловкимъ фотографомъ; онъ вѣрно освѣщенъ въ двухъ-трехъ мѣстахъ, онъ—вообще говоря—эффектно выставленъ на показъ публикѣ.... Чего же болѣе?

Видишь много лицъ на улицѣ, при взглядѣ на которыхъ даже и на умъ не вспадетъ подумать, что вотъ именно для ихъ-то возсозданія слѣдовало бы воскреснуть Вандику или Веласкезу! которыя, напротивъ того, уже совершенно удовлетворительно передаются въ простой альбомной карточкѣ ремесломъ фотографа. Такъ отчасти и для всей той области современной Русской жизни, которую по преимуществу отмежевали себѣ наши беллетристы, совершенно же довольно ихъ спѣшныхъ и, большею частью, именно дагерротипныхъ произведеній.

Мы даже думаемъ, что сами наши авторы мало помышляютъ о вѣчности—въ виду подобныхъ своихъ твореній; что они приступаютъ къ нимъ безъ особеннаго священнаго трепета, и что добрый стихъ Малерба: „...Rose, elle a vécu, ce que vivent les roses, l'espace d'un matin..." вотъ тотъ девизъ, которымъ сами они обыкновенно напутствуютъ въ міръ такихъ дѣтищей своей фантазіи! Минутный успѣхъ въ обществѣ, такъ же шумный какъ еще и мимолетный—вотъ все притязаніе подобныхъ произведеній во всякой литературѣ. Ничуть даже и не претендуютъ они, чтобы критика привѣтствовала въ нихъ художественное совершенство и оконченность usque ad unguem. Признанія хотя нѣкотораго литературнаго изящества—вотъ все, чего они себѣ могутъ требовать.

Мы такъ думаемъ; но совершенно иначе думаетъ о томъ же г-нъ Писемскій. Авторъ „Взбаламученнаго Моря", по крайней мѣрѣ, думаетъ совершенно иначе о своемъ недавнемъ произведеніи.

Къ нему и переходимъ.

II.

Задумавъ написать многотомный романъ изъ современной жизни и написавъ о немъ свои фельетонные мемуары, авторъ ничѣмъ лучше не нашелъ кончить „Взбаламученнаго Моря“, какъ удивительною родомонтадой. Когда читатель менѣе всего подготовленъ считать его разсказъ оконченнымъ — или по крайней мѣрѣ столько же готовъ на то, какъ это было въ 3-й, 4-й или даже во 2-й части — авторъ поставивъ точку, вдругъ еще и раскланивается передъ публикой. Разсказъ нашъ конченъ, поясняетъ онъ недоумѣвающему читателю, явно подслушавъ такое недоумѣніе, — не смотрите на мой романъ, какъ на безцѣльный сборникъ всякихъ пошлостей; черезъ нѣсколько вѣковъ отсюда онъ непремѣнно обратится въ настольную книгу русскаго историка: это „вѣрная, хотя и не полная картина нравовъ нашего времени, и если въ ней не отразилась вся Россія, то за то тщательно собрана вся ея ложь“.

И такъ, *вся* ложь современной Россіи! Можно бы воздвигнуть гранитный обелискъ тому автору, который дѣйствительно бы истолковалъ *всю* ложь современной Россіи. Можно бы привѣтствовать новое первоклассное свѣтило въ нашей литературѣ, представь лишь оно дѣйствительно цѣльную, художественную картину современной эпохи. Дѣло однакожъ въ томъ, что нахватать справа и слѣва всякой всячины по части скандала — не значитъ изобразить ложь Россіи, а перелистовать хотя бы съ календарной точностью рядъ послѣднихъ происшествій вплоть до Петербуржскихъ пожаровъ — ничуть не значитъ разгадать современность.

Вся эта современность, вся эта хроника событій взяты авторомъ въ романѣ чисто съ ихъ внѣшней, и съ одной ихъ внѣшней стороны. Какъ само заглавіе *Взбаламученное Море* звучитъ, по отношенію къ проживаемой эпохѣ, чѣмъ-то лишь формальнымъ, ничуть не выражая сущности — также точно и въ самомъ романѣ ото всего нашего времени схваченъ только его формализмъ. Допустимъ, что то или другое явленіе нашего времени поразило васъ, когда съ нимъ еще впервые вы знакомились въ бѣглой, газетной статьѣ. Вы конечно тогда же болѣе или менѣе почувствовали его характеристическія стороны, тѣ или другія присущія ему особенности. Такъ какъ однако газета не брала на себя и задачи глубоко въ нихъ вдумываться, а просто излагала фактъ въ его общей, случайной обстановкѣ, вы тогда же замѣтили что многаго она

не досказала и объяснить не умѣла. Вы захотѣли, чтобы рядомъ съ газетнымъ изложеніемъ факта — именно художникъ воссоздалъ его образъ передъ вами и тогда-то, надѣетесь, вами будетъ разгадана вся его затаенная суть; тогда-то вся его конкретная необходимость объяснится. Романъ г-на Писемскаго никакъ не будетъ тою художественной картиной, которой бы вы пожелали въ дополненіе ко всему, о чемъ за послѣдніе годы вамъ доносили газеты; большей частью, вы въ немъ и найдете ихъ повтореніе: тѣ же слово въ слово факты и та же случайная обстановка. Начиная отъ телеграммъ и до фельетоновъ, газеты сплошь наполнялись извѣстіями, напр. о томъ, какъ туго принималось въ иныхъ мѣстахъ Положеніе крестьянами, разсказывались цѣлые о томъ анекдоты — въ подобномъ духѣ анекдотъ разыгрываетъ и г-нъ Писемскій въ своемъ романѣ; знанія же крестьянскаго быта у автора „не проси“. Изрѣдка оффиціальный фельетонъ разсказывалъ, какъ въ то или другое имѣніе понадобилось ввести команду, какъ офицеръ скомандовалъ: съ лѣвой по одному маршъ! и проч. Съ лѣвой же по одному маршъ — командуетъ офицеръ и въ романѣ г-на Писемскаго. Другіе фельетоны озабочивались тѣмъ, что слишкомъ много нашихъ хлынуло за границу, что большей частью въ безплодномъ мотовствѣ наши скитальцы проводятъ время за границей, что особенно безобразничаютъ они въ Парижѣ и многимъ довелось побывать въ Клиши — тоже самое и тѣмъ же фельетоннымъ слогомъ разсказываетъ и авторъ въ своемъ романѣ. Фельетонисты болѣе серьезные намекали то и дѣло на русскую заграничную прессу нашихъ refugiés, на Лондонскія изданія; обращали вниманіе и на то, до какой уродливости въ послѣднее время гласность дошла и у насъ, приводили тому примѣры... Тѣ же намеки и тѣ же примѣры у автора въ его „Взбаламученномъ Морѣ“, ничего больше! какъ въ качествѣ, такъ почти и въ количествѣ, тоже самое.

Вся эта современность и вся эта хроника событій такъ-таки прямо и производитъ въ романѣ впечатлѣніе ширмъ, за которыми укрывается тщета его дѣйствительнаго содержанія и недостатокъ его собственнаго сюжета. Не станемъ, пожалуй, разумѣть подъ сюжетомъ непремѣнно запутанную завязку, которую авторъ блистательно развяжетъ къ концу; но никакой романъ — хотя бы самый нравоописательный — не можетъ обойтись тою постройкой, которую авторъ не воздержался придать своему „Взба-

ламученному Морю". Баклановъ задумалъ служить — посмотрите, какъ онъ служитъ; Баклановъ задумалъ въ отставку — вотъ онъ въ отставкѣ; потомъ ему захотѣлось въ деревню — вотъ онъ и поѣхалъ и живетъ въ деревнѣ; потомъ ему опять захотѣлось въ городъ — онъ въ городъ поѣхалъ; тутъ ему захотѣлось жениться — посмотрите, каковъ онъ въ семейной жизни... и пр. и пр.

При томъ талантѣ, который общепризнанъ за г-нъ Писемскимъ, нельзя бы и предполагать, что всѣ лица его новаго романа не удались ему въ одинаковой степени, что всѣ они представляютъ тѣ же китайскія тѣни, какими щеголяютъ наши дюжинные повѣсти и разсказы. Однакожъ должно сказать: ни въ одномъ еще изъ прежнихъ романовъ г-на Писемскаго не является такихъ блѣдныхъ дѣйствующихъ лицъ и такихъ мало опредѣленныхъ характеровъ, какими сплошь наводнено его „Взбаламученное Море". Въ цѣломъ романѣ только одинъ художественный типъ: это Софи Ленёва; типъ правда не глубокій, но за то — со всѣмъ обаяніемъ живой личности — строго выдержанный отъ первой минуты своего появленія до послѣдней и, вообще говоря, талантливо написанный типъ. Можно бы съ нимъ рядомъ поставить еще и братца ея, Виктора Басардина; къ сожалѣнію однако, этотъ вышелъ у автора уже слишкомъ каррикатуренъ. Степень его художественности была бы вполнѣ удовлетворительна для водевиля, но нельзя сказать того же о г. Басардинѣ, разъ онъ выведенъ въ романѣ.

Всѣ же остальные — эти Баклановы, Ливановы, Варегины и проч. не столько даже дѣйствующія, сколько высказывающія свой образъ мыслей лица! Читатель вынужденъ знакомиться съ этими идеалами автора и составлять свое объ нихъ заключеніе не столько по образу ихъ дѣйствій, сколько именно по образу ихъ мыслей — самый плохой, самый антихудожественный пріемъ для изображенія характеровъ. Всѣми же этими лицами, притомъ, авторъ слишкомъ ужъ безцеремонно пользуется въ своемъ романѣ, какъ удобнымъ экипажемъ, который безъ всякаго труда со стороны самого романиста, переноситъ его то и дѣло съ мѣста на мѣсто, давая осмотрѣть въ краткое время множество разнообразныхъ окрестностей. Иногда еще онъ ими пользуется прямо, какъ передатчиками собственныхъ мыслей и взглядовъ. Житейскія воззрѣнія криваго Варегина встрѣчаются явной симпатіей со стороны автора; заключительное въ романѣ слово о своихъ героиняхъ авторъ предоставилъ именно Варегину и только уже вслѣдъ

за нимъ скрѣпляетъ его собственнымъ авторитетомъ. Можно бы отмѣтить множество *репликъ* и Бакланова, которыя только изъ чувства скромности, конечно, авторъ уступаетъ ему, а не прямо высказываетъ отъ своего имени. Судя по тому, напримѣръ, какъ понимаетъ религіозность самъ авторъ въ своей героинѣ Евпраксіи, реплика Бакланова о религіозности по поводу Иродіады—очевидно принадлежитъ больше самому ему, чѣмъ Бакланову. Но еще и господинъ Ливановъ въ своихъ сентенціяхъ (при всемъ томъ, что его фигура „нарочито" оттѣнена нѣкоторымъ характеристическимъ чудачествомъ), то и дѣло даетъ угадывать въ себѣ простаго передатчика мыслей автора. Все, что въ его длинныхъ сентенціяхъ объ обществѣ составляетъ противовѣсіе такимъ же сентенціямъ героя романа Бакланова—явно, какъ суфлеръ, подсказываетъ ему самъ авторъ. Даже самое это чудачество, на которое авторъ тычетъ пальцемъ и которое могло бы пожалуй имѣть дѣйствительное значеніе (характеризуя напримѣръ—къ чему въ свое время приводило даже такихъ умныхъ людей, какъ Ливановъ, давленіе окружавшей среды), чудачество это подчасъ производитъ самое невыгодное дѣйствіе на читателя. Оно даетъ въ себѣ угадывать какъ бы умышленную маску, подъ которой авторъ хотѣлъ только глубже укрыть и закраситъ собственныя свои мысли, подшептываемыя Ливанову. Всѣ эти лица набраны въ романѣ безъ строгой надобности: художественнаго raison d'être они въ романѣ не имѣютъ. Тотъ же самый Ливановъ и почти въ томъ же видѣ могъ бы очутиться въ любомъ романѣ г-на Писемскаго,—какъ тутъ, такъ и тамъ производя одинаковое впечатлѣніе тѣхъ актеровъ, которыхъ обыкновенно не смотрятъ, а всѣ признаютъ за ними лишь неоцѣнимое достоинство, что они не портятъ игры остальныхъ и не мѣшаютъ общему впечатлѣнію. Кривоглазый Варегинъ (не скажетъ же г-нъ Писемскій, что таковъ именно типъ мироваго посредника!) также могъ бы пригодиться автору въ другомъ мѣстѣ, а не являться въ „Взбаламученномъ Морѣ". Правда, тогда автору пришлось бы потрудиться надъ концомъ своего романа (развязываетъ его, если помнитъ читатель, именно Варегинъ своимъ декламаторскимъ искусствомъ, прежде на квартирѣ Евпраксіи, потомъ „идя по Невскому"); но читатель отъ этого только бы выигралъ.

Въ цѣломъ романѣ проглянула только одна серьезная попытка на характеръ; встрѣчается только одно лицо, видимо сто-

ившее автору изнурительной работы и не шуточныхъ усилій: это Евпраксія. Жаль, что попытка такъ ею и осталась. Евпраксіинъ образъ, при всѣхъ видимыхъ усиліяхъ со стороны автора овладѣть имъ, не дался ему въ руки... Потуги его творчества пропали даромъ. Въ Евпраксіи все ложь,—объ этомъ послѣ.

Г-нъ Писемскій, кромѣ того, вмѣшалъ и самого себя въ среду дѣйствующихъ лицъ романа. Софи Ленёва приглашаетъ его на литературный чай, она обращается къ нему по фамиліи: мосьё Писемскій! Мосьё Писемскій катается съ ней по пикникамъ, ѣдетъ съ Баклановымъ посѣтить въ тюрьмѣ Иродіаду.—Мосьё Писемскій реалистъ, говоритъ объ немъ, за литературнымъ чаемъ, Петцоловъ (и уже не мосьё Писемскій', выведенный въ романѣ), а самъ авторъ романа удивляется, какъ это Петцоловъ знаетъ это „*ученое слово*“.—Можетъ быть, такое выставленье себя на показъ публикѣ многіе примутъ со стороны автора за щегольство своею крайней объективностью; можетъ быть иные взглянутъ на это какъ на простой недосмотръ, онъ-же зачеркнется самимъ авторомъ при второмъ изданіи. Одни, чего добраго, обидятся выходкой автора и сочтутъ ее, пожалуй, какъ гости въ Ревизорѣ, за „репримандъ неожиданный“; другіе, напротивъ того, примутъ это нововведеніе за что-то очень и очень милое. Что до насъ касается, мы видимъ въ такомъ занесеніи себя въ среду дѣйствующихъ лицъ—больше чѣмъ простую случайность и въ тоже время очень простую вещь. Авторъ—такъ представлялось намъ еще во 2-й и 3-й части—только прикидывается и только хочетъ увѣрить насъ, что обглядываетъ онъ какое-то „Взбаламученное Море“ съ высоты творческаго пьедестала: уличный фланёръ, онъ просто глазѣетъ на ту или другую уличную сцену, въ которой прежде всего и самъ замѣшанъ. Такъ мы думали, а въ 5-й части невольно проговорился и самъ авторъ, что весь его романъ дѣйствительно его фельетонные мемуары. При фланёрствѣ такого рода не можетъ быть и спроса на цѣльное художественное созерцанье, не можетъ быть и рѣчи объ отраженіи „цѣлой, проживаемой эпохи“. Мелкота взгляда и узкость созерцанія, которыя не затрудняютъ а даже облегчаютъ дѣло, когда напр. кто отдается созерцанью прелестей Софи Ленёвой,—онѣ мѣшаютъ дѣлу, онѣ не даютъ овладѣть имъ, когда напр. кто задается задачей объяснить себѣ хоть бы Евпраксіинъ характеръ. Та лёгость сужденья, то комфортабельное состояніе душевное, которыя склоняютъ то и дѣло г-на Писем-

скаго останавливаться на сценахъ въ родѣ посидѣлокъ съ Іоной Дѣдовхинымъ или на жизненныхъ вопросахъ въ родѣ того: что̀ прежде всего понадобилось молодому Бакланову въ деревнѣ? (см. о томъ особую главу)—эта лѣгость сужденія и это комфортабельное душевное состояніе никакъ уже неумѣстны, когда напр. затрогивается воспоминаніе о Севастопольской годинѣ. Больше того, онѣ почти исключаютъ возможность вѣрно понять истинный смыслъ такихъ событій, какъ напр. то̀, что „Французскій и Бельгійскій посланникъ, съ утра еще велѣвшіе заложить себѣ экипажи и поѣхавшіе по стогнамъ града Петра видѣть agitation du peuple... enfin ce lion s'est reveillé“... совершенно обманулись въ своихъ ожиданіяхъ. (См. тутъ же собственныя слова автора о крестьянскихъ безпорядкахъ въ селѣ Безднѐ).

Та „*вся ложь*“ Россіи, за которою авторъ такъ тщетно гоняется въ своихъ призрачныхъ Баклановыхъ, Ливановыхъ et tant d'autres—тяжело звучитъ для читателя часто еще въ между-строкахъ его романа: она даетъ себя поминутно угадывать въ самомъ созерцаньи автора; она ярко подчасъ обрисовывается изъ того отношенія, въ которомъ самъ авторъ стоитъ къ выводимому содержанію.

И намъ кажется, что напрасно даже касался авторъ въ своихъ легкихъ фельетонныхъ мемуарахъ такихъ не маленькихъ воспоминаній, какъ напр. о тяжкой годинѣ Севастополя, о Положеніи 19 февраля, или хоть бы даже о самихъ Петербуржскихъ пожарахъ. Намъ кажется, что слишкомъ мало надо уважать гражданское чувство своихъ соотечественниковъ, чтобъ позволить себѣ, наряду съ собственными припоминаніями о Софи Ленёвой, перемѣшивать еще эти думы и чувства, недавно передуманныя и перечувствованныя цѣлою Россіей! Не то̀ конечно оскорбительно, что художникъ, говоря о Софи Ленёвой, ихъ касается; оскорбительно то, что, затрогивая даже ихъ въ своемъ романѣ, авторъ остается все при той же мелкотѣ взгляда и цинизмѣ чувства, при томъ же своемъ узкомъ созерцаніи, которыя повидимому такъ комфортабельны для него, когда онъ любуется Софи Ленёвой, и которыя онъ пренаивно величаетъ въ себѣ реальностью, реализмомъ и реальнымъ направленіемъ.

Реальность, реализмъ, реальное направленіе!—какъ будто довольно произнести эти „ученыя слова“, чтобъ ужъ и заручить читателя—всякую пошлость и всякій скандалъ принимать съ бла-

говѣніемъ! Какъ будто сами по себѣ эти названія много значутъ! какъ будто они придадутъ блескъ его героямъ, достоинство ихъ характерамъ! И что̀ хочетъ сказать г-нъ Писемскій, придавая по преимуществу себѣ титулъ реалиста? Развѣ г-нъ Колошинъ не такой же реалистъ въ „Зрителѣ“ и въ „Развлеченьи“, какъ г-нъ Писемскій въ своемъ „Взбаламученномъ Морѣ?“ Но шутки въ сторону, развѣ г-нъ Тургеневъ не реалистъ въ своихъ Запискахъ Охотника и во всѣхъ повѣстяхъ своихъ? Уже-ли онъ праздный мечтатель и пустой фантазеръ или, по малой мѣрѣ, отвлеченный идеологъ лишенный чувства дѣйствительности!

Рафаэль, этотъ идеальнѣйшій изъ художниковъ, безъ сомнѣнія въ тоже время и глубокій реалистъ въ своихъ произведеніяхъ,— и онъ даже наиболѣе реалистъ именно въ своей Мадоннѣ, этомъ безспорно идеальнѣйшемъ изъ всѣхъ его произведеній. Какую-бъ, наконецъ, имѣло цѣну его произведеніе, не будь въ немъ реальнаго? И такъ, въ какомъ же смыслѣ понимаетъ г-нъ Писемскій „ученое слово“? Ясно, что не въ Рафаэлевомъ. Теньеръ также великій художникъ; идеалистомъ его пожалуй не назовутъ, и г-нъ Писемскій, можетъ быть, за нимъ-то всего скорѣе признаетъ то громкое титло, которое даетъ лишь себѣ. Но неужели однако вся реальность Теньера, весь смакъ реальнаго его направленія по крайней мѣрѣ, по мнѣнію г-на Писемскаго, заключается въ томъ, что на каждой его картинѣ — сельскаго-ли праздника, кабацкой-ли попойки — онъ непремѣнно гдѣ-нибудь у забора, въ углу, спиной къ зрителю помѣститъ характеристическую фигуру (иногда цѣлую группу ихъ) въ реальнѣйшей изъ реальнѣйшихъ позъ, какъ можетъ быть сказалъ бы Петцоловъ? Если въ этой именно задней фигуркѣ— такъ всегда неизбѣжной у Теньера — признавать высочайшую реальность, то разница между нашимъ авторомъ и живописцемъ будетъ все-таки огромная: Фламандецъ отводитъ обыкновенно для своихъ любимыхъ фигурокъ лишь задній планъ картины,— а нашъ авторъ, во всей широтѣ ихъ дѣйствій, выдвигаетъ ихъ обыкновенно на первый планъ романа.

Г-нъ Писемскій, когда писалъ свое „Взбаламученное Море“ не могъ не чувствовать, что романъ его дѣйствительно назовутъ сборникомъ пошлостей и ему не избѣжать упрека въ такъ-называемыхъ сальностяхъ. Если-бъ онъ не чувствовалъ этого, не было-бъ ему и надобности заключать романа удивительною родомонтадой. Но онъ такъ выгораживаетъ себя, напередъ угадывая эти обвиненія:

„пускай насъ уличатъ, что мы наклеветали на дѣйствительность". По счастію, ни намъ его въ томъ уличать нечего, ни самому автору подъ такой отводъ укрываться не приходится. Авторъ воленъ выбрать героевъ какихъ ему угодно; онъ можетъ изобразить въ своемъ романѣ грязь и пошлость вдесятеро сильнѣйшую. Автору только подивятся; подивятся пожалуй его наклонности созерцать человѣчество по скандальнымъ хроникамъ и уголовнымъ архивамъ, но не упрекнутъ въ сальностяхъ,— лишь бы только, выводя грязь и пошлость, самъ авторъ пребывалъ въ сторонѣ; лишь бы чувствовалось въ каждой строкѣ читателю, что авторъ стоитъ постоянно выше той сферы, которую выводитъ, и собственное его созерцаніе не замѣшано въ созерцаніе его дѣйствующихъ лицъ... Вотъ этого-то нельзя сказать объ авторѣ „Взбаламученнаго Моря"; онъ не только изобличаетъ грязь и пошлость, онъ останавливается надъ ней con amore, онъ — читатель слышитъ это то и дѣло въ строкахъ романа — еще тѣшитъ себя ею, онъ смакуетъ ее. Если его герои то и дѣло зовутъ себя „скотами и прескотами" и хвалятся, что „взъерепенятъ" другъ друга — смотришь, черезъ нѣсколько строкъ, авторъ безъ всякой необходимости прибѣгаетъ и самъ къ этимъ же энергическимъ выраженіямъ. Такъ и все остальное. Нѣтъ, какъ бы г-нъ Писемскій ни прикидывался смѣющимся лишь сквозь слезы, строки его собственнаго романа говорятъ не то: онъ самъ наравнѣ съ своими героями скачетъ вокругъ созданнаго кумира, онъ вмѣстѣ съ ними приноситъ жертвы одному Ваалу...

Вотъ потому-то, безъ сомнѣнія, читатель испытываетъ тягостное чувство при чтеніи его романа; а критика законно обвиняетъ „Взбаламученное Море" далеко не въ пуризмѣ, хоть автору и кажется про себя, что онъ не клеветалъ на дѣйствительность.

III.

Поэтическое чувство и поэтическая способность не только не исключаютъ (какъ это полагаетъ г-нъ Писемскій) вѣрнаго пониманія дѣйствительности; а напротивъ того, они и составляютъ тайну той воспріимчивости и зоркости, которыми обыкновенно — по отношенію къ ней — отличаются поэты. Фантазёръ, замечтавшійся на луну и попавшій въ яму, это только пародія на поэзію; точно также, какъ философъ, оставшійся безъ огурцовъ — пародія напр. на науку.

Надо быть псевдо-поэтомъ, чтобъ отвертываться отъ дѣйствительности и только мнимая поэзія обѣгаетъ Божій міръ въ его дѣйствительномъ видѣ. Пѣвцы, воспѣвавшіе лишь героевъ да водопады, вооброжавшіе что восхваляя „дѣвъ съ лилейными персями", они тѣмъ самымъ „возлетаютъ горѣ и парятъ по поднебесью"... такіе пѣвцы, конечно, были псевдо-художниками, пожалуй псевдо-поэтами; но поэтами они не были. Однакожъ, признать это и значитъ именно—другими словами—признать во всякомъ истинномъ поэтѣ непремѣннаго реалиста; больше того: только такого художника и признать реалистомъ, въ которомъ угадывается еще несомнѣнный поэтъ.

Въ самомъ дѣлѣ, въ реалистѣ-художникѣ откиньте всякое поэтическое чувство, только отнимите эту „душу живу" отъ его реальнаго направленія—и что-жъ останется? Съ одной стороны, чисто внѣшняя и кропотливая копировка дѣйствительности, отражающая ее со всей случайностью дагерротипнаго станка; съ другой: мелкота, прозаизмъ взгляда. Прозаизмъ, сильно напоминающій индифферентный тонъ пошлыхъ свѣтскихъ умниковъ, желающихъ прослыть дѣйствительными мудрецами! Прежде всего не спрашивайте этихъ мудрецовъ: есть-ли что-нибудь святое, великое въ мірѣ? Точка зрѣнія на жизнь, откуда главнымъ въ ней интересомъ представляется хорошій обѣдъ и шампанское—вотъ ихъ основной принципъ. Автора „Взбаламученнаго Моря" реалистомъ по нашему мнѣнію нельзя, а прозаикомъ должно будетъ назвать. Не реализмъ, а какое-то поражающее отсутствіе поэтическаго чувства—вотъ въ чемъ состоитъ его коренное отличіе и вотъ что составляетъ главную его характеристику. Съ одной стороны, оно выражаетъ себя у г-на Писемскаго въ совершенномъ отсутствіи всего, что только зовутъ высокимъ или грандіознымъ и что, условно говоря, и относится наиболѣе къ поэтической области; съ другой: оно обличается въ томъ, что всѣ его образы и картины непремѣнно лишены всякой поэтической стихіи.

„Самоваръ—говоритъ авторъ, описывая весеннее утро—шипѣлъ, горячился, какъ будто бы своей искусственной жизнью хотѣлъ перещеголять окружавшую его со всѣхъ сторонъ настоящую живую жизнь, въ которой и пчелы жужжали въ растущемъ около балкона чертополохѣ, и воробьи чирикали, разсѣвшись огромною кучей по палочкамъ въ горохѣ, и наконецъ изъ куртинъ съ цвѣтами и изъ травы на лугу слышались тѣ миріады звуковъ, которыми дышетъ

весенняя природа. Александръ всѣмъ этимъ безконечно наслаждался". Но читателю не вѣрится, что всѣмъ этимъ безконечно наслаждался Александръ... На читателя не пахнуло весной, когда онъ читалъ это описаніе; такъ памятное ему весеннее утро не ожило теперь въ его памяти... Въ картинѣ, нарисованной авторомъ, можно пожалуй видѣть наблюдательность, какую-то кропотливость въ собираніи штриховъ для своего образа, но поэзіи нѣтъ; а ее нѣтъ—нѣтъ и реальности. Нельзя, по крайней мѣрѣ, извинить въ этой прозаической картинѣ: воробьевъ, разсѣвшихся въ горохѣ—весною, т. е. тогда, во-первыхъ, когда горохъ не только еще не взошелъ, а даже едва-ли и посѣянъ, а во-вторыхъ, когда за хлопотливымъ выводомъ дѣтей (и потому еще, что именно ни горохъ, ни конопля не поспѣли) и сами воробьи не начинаютъ сбираться въ огромныя кучи.

Мы взяли à livre ouvert это описаніе, въ доказательство его прозаизма; приводить-ли доказательство тому, что у автора „Взбаламученнаго Моря" мало грандіознаго?! Даже когда среди его легкихъ и, большей частью, тривіальныхъ впечатлѣній промелькнетъ что-нибудь посерьезнѣе, автору какъ будто не терпится, чтобъ сейчасъ-же не умалить его значеніе и не свести почти на пошлость. Помянулъ-ли тотъ или другой изъ его героевъ высоту, на которой стоитъ Европа, авторъ сейчасъ вставляетъ отъ себя замѣтку, что во время самаго разговора о томъ, Лондонскій клоунъ шелъ по канату по крайней мѣрѣ на высотѣ пятидесяти саженъ. Заходитъ ли вопросъ о религіозномъ настроеніи кающагося преступника, авторъ безъ особеннаго труда сводитъ его на умопомѣшательство. Наконецъ, затрогивая впечатлѣніе и дѣйствительно грандіозное, какъ то напр., которое при описаніи Петербуржскихъ пожаровъ даже у самого Бакланова „вышибло слезу изъ глазъ", авторъ и тутъ не утерпѣлъ, чтобъ не подпортить его блестками и тупоумія и юродства. Можетъ быть, авторъ такое nil mirari съ своей стороны принимаетъ за высочайшую ступень объективности? Да! можетъ быть это; но тѣ мудрецы, о которыхъ мы упоминали, также свое собственное nil mirari считаютъ въ себѣ знаніемъ высочайшей мудрости.

Еще два-три слова, краткихъ замѣчанія по поводу того, что насъ наиболѣе поразило въ „Взбаламученномъ Морѣ"—и мы кончаемъ. Первое—о крестьянахъ, какъ ихъ выводитъ авторъ; второе—объ его Евпраксіи, этой, видите-ли, „истой Славянки, чистѣйшей дочери Полянъ".

Замѣнивъ сюжетъ романа хроникой современныхъ событій, авторъ естественно не могъ не остановиться съ достодолжнымъ вниманіемъ на главнѣйшемъ изъ нихъ: на крестьянской реформѣ. Понятно при этомъ, что на долю крестьянскихъ сценъ выпало много страницъ въ романѣ, и взгляду автора на это наше коренное сословіе было гдѣ развернуться во всю ширь. Такъ какъ впрочемъ въ крестьянахъ „Взбаламученнаго Моря“ нѣтъ ничего новаго противъ крестьянъ „Горькой судьбины“ или даже „Тысячи Душъ“, то говоря теперь о крестьянахъ „Взбаламученнаго Моря“, мы говоримъ о крестьянахъ, какъ ихъ понимаетъ г. Писемскій вообще. Прежде всего, они плохо говорятъ по-Русски.

Какъ вообще наблюдательность автора всегда обращена больше на внѣшнюю сторону, чѣмъ на сущность дѣла,—такъ и при выводѣ на сцену крестьянъ авторъ прежде всего озабоченъ тѣмъ, чтобъ они не иначе говорили какъ ломаными полуфразами, иногда даже не человѣческимъ языкомъ, а отрывочнымъ гамканьемъ, возгласами и междометіями, а они ужъ переходятъ почти въ животную рѣчь. Помнится, первыя сцены „Горькой судьбины“ ведутся сплошь на такомъ языкѣ—и намъ не приходилось слышать этого языка въ устахъ ни одного крестьянина. Странное дѣло! то или другое областное отличіе въ выговорѣ или въ выраженіяхъ, обращики чего можно найти у всѣхъ Русскихъ писателей (не всѣ же они Москвичи коренные), никому не придетъ въ голову принимать за что-то важное и существенное при ихъ характеристекѣ; а между тѣмъ, чуть заходитъ рѣчь про крестьянъ, на одномъ этомъ все и вертится! Можно указать даже у Пушкина такіе два-три оборота, такія два-три слова или названія, которыя дадутъ въ немъ угадывать мѣстное вліяніе напр. Псковской губерніи; можно указать цѣлые десятки словъ у Языкова, даже цѣлыя рѣченія, которыя изобличатъ въ немъ напр. Симбирскій говоръ; можно въ Гоголѣ то и дѣло узнавать Малоросса; въ авторѣ „Кириллы Петрова“ Украинца и т. д. И какъ однакожъ страненъ былъ бы тотъ авторъ, который, захотѣвъ со временемъ вывести на сцену того или другаго изъ приведенныхъ писателей, вдругъ на мѣсто художественнаго истолкованья ихъ характеровъ (того, напримѣръ, движенія, въ силу котораго Гоголь передъ смертью сжегъ свои Мертвыя Души) ограничилъ бы всю свою задачу тѣмъ, что испестрилъ бы ихъ Русскую рѣчь замѣченными отступленіями! Именно такая однакожъ странность случается всегда съ г. Писемскимъ, едва онъ пожелаетъ вывесть крестьянъ на сцену.

„Али въ самотко“, „онъ, паря, и въ самъ дѣль“, „не доятъ, чу, коровы“, „пёсъ экой“, „шутъ имъ, дьяволы, шутъ!“ или цѣлая фраза: „воля ужъ значитъ теперь: какое явленіе! подъ неволю тоже опять голову-то сунешь, такъ и не выцарапаешь“... Что это такое, и зачѣмъ это нужно?

Пусть авторъ даже скажетъ намъ, что всю эту дичь онъ лично стенографировалъ съ живой рѣчи,—она тѣмъ не менѣе никуда не годна: нимало не передаетъ типа Русскаго крестьянина, ни даже рѣчи его. Читайте пословицы Даля, читайте Сборникъ Былинъ Рыбникова; оцѣните этотъ всегда мѣткій и всегда молодцоватый въ своемъ оборотѣ языкъ Русскаго народа, Русскаго крестьянства—и гдѣ же онъ, куда дѣлся онъ въ пейзанскихъ сценахъ нашихъ беллетристовъ? Тѣсная, вполнѣ подчиняющаяся мѣстному вліянію, жизнь крестьянина конечно вводитъ и въ языкъ его множество характерныхъ отличій; но ими надо пользоваться умѣючи. Самая степень его развитія конечно также кладетъ своеобразную печать на языкъ крестьянина; но эту своеобразную печать крестьянскаго языка, какъ видно, не разгадать реализму, если разумѣть подъ реализмомъ ничто другое, какъ отсутствіе поэтической стихіи. Живя почти непосредственной, цѣльною жизнью съ природой, ничуть не привыкнувъ къ анализу и рефлексіи, а привыкнувъ все представлять себѣ образно, крестьянинъ, понятно, и говоритъ такимъ языкомъ, что всякая его фраза — образъ и всякое же его представленіе — картина. Надо-ли ему сказать, что рожь высока родилась и густа, и стоймя стоитъ—не полегла,—крестьянинъ выразится, положимъ, такъ: „борону прислонить можно“. Хочетъ ли онъ изобразить свое прежнее довольство, избытокъ и богатство: „бывало въ хлѣбѣ дна не видѣлъ!“ скажетъ крестьянинъ. Толкуете-ли вы ему, что надо вывести повострѣй и круче гребень соломенной крыши: „такъ выведемъ, что ворона брюхо напоретъ“, отвѣтитъ вамъ крестьянинъ,—и вотъ все различіе его рѣчи отъ вашей, различіе коренное, существенное, которое въ полной связи съ внутреннимъ его созерцаніемъ, съ сущностью самой души его,—и вотъ именно одно такое отличіе и бываетъ по преимуществу важно.

Г-ну Писемскому не это важно; ему именно важно то полуидіотство и какое-то скотоподобіе, которыми обыкновенно онъ окрашиваетъ подъ одинъ цвѣтъ всѣ рѣчи выводимыхъ имъ на сцену крестьянъ. Ясно такимъ образомъ, что между собственной

своей особой и каждымъ изъ этихъ мірянъ, которыхъ онъ выставляетъ какъ бы звѣрей на показъ публикѣ, авторъ полагаетъ непроходимую бездну. Въ мірской сходкѣ этихъ мірянъ чудится ему кагалъ, а вся совокупность этихъ „поменьшихъ міровъ“ въ одномъ великомъ, „хрестьянскомъ мірѣ“ (какъ выражается Кохановская въ „Роѣ“) представляется уже гнѣздилищемъ какихъ-то чудовищныхъ, чуть не Тамерлановскихъ инстинктовъ.

„Онъ — говоритъ г-нъ Писемскій про Бакланова, объясняя кто̀ такое собственно его герой — онъ представитель того разряда людей, которые до 1855 года замирали отъ восторга въ Итальянской оперѣ и считали, что это высшая точка человѣческаго назначенія на землѣ, а потомъ сейчасъ же стали, съ увлеченіемъ и вѣрою школьниковъ, читать потихоньку *Колоколъ*“. Еслибъ авторъ „Взбаламученнаго Моря“ еще на одинъ шагъ продолжилъ характеристику этого героя, онъ непремѣнно долженъ бы былъ сказать слѣдующее. Къ суевѣрію объ Итальянской оперѣ примѣшивалось у подобныхъ героевъ и еще другое суевѣріе: они въ тѣхъ „поменьшихъ мірахъ“, о которыхъ мы сейчасъ говорили, дѣйствительно видѣли лишь страшилище Тамерлановскихъ инстинктовъ! именно эти-то герои ожидали эпохи 19 февраля 1861 года, какъ тотъ старикъ, въ сочиненіи г-на Костомарова, ждалъ пришествія Стеньки Разина: „о! *онъ* придетъ! ужъ *онъ* непремѣнно придетъ!“ восклицалъ онъ, по увѣренію г-на Костомарова, впадая въ какое-то неистовство. Намъ кажется, что эта послѣдняя черта весьма сближаетъ самого автора съ героемъ романа; а что намъ это кажется не бездоказательно, въ томъ расписался еще и самъ г-нъ Писемскій своей выходкой насчетъ крестьянина Антотона Петрова, разстрѣляннаго въ Безднѣ — выходка, на которую мы ужъ обращали вниманіе читателя.

Перейдемъ къ Евпраксіи. Положа руку на сердце, вѣроятно самъ авторъ не признаетъ за этимъ дѣтищемъ своей фантазіи — при всей видимой выдержанности его характера — ни дѣйствительнаго характера, ни глубокой правды. Что по крайней мѣрѣ до насъ касается, мы рѣшительно не видимъ въ Евпраксіи — живаго лица, дѣйствительной личности. Во всей ея фигурѣ поражаетъ какая-то *сдѣланность;* точно самъ авторъ прописывалъ ее себѣ по рецепту: возьми столько-то религіозности,—въ этомъ словѣ проглянетъ ея жесткость, въ томъ религіозность,—этотъ поступокъ выкажетъ благоразуміе, тотъ опять жесткость и т. д.

А въ заключеніе всего, когда рецептъ составленъ (отвѣтная на него сигнатурка изъ лабораторіи) слова Ливанова: „ты искупительная жертва вашего рода; родъ вашъ умный, честный, но жестокій... Прапрадѣдъ твой былъ наказнымъ дьякомъ въ пытной палатѣ“ и проч. и проч. О художественномъ исполненіи характера, такимъ образомъ, тутъ не можетъ быть и рѣчи; вопросъ: на сколько удалась или не удалась автору его колоссальная попытка разгадать типъ „истой Славянки, чистѣйшей дочери-Полянъ“, также лучше обойти молчаніемъ. Но для характеристики автора намъ—въ изображеніи Евпраксіи—въ высшей степени интересно выяснить то отношеніе, въ которомъ стоитъ самъ авторъ къ изображаемому лицу, и какъ самъ онъ себѣ истолковываетъ то, что пытается изобразить въ немъ.

Отличительною чертой Евпраксіи, одною изъ наиболѣе выдающихся сторонъ ея характера, постоянно является—видите-ли—ея „религіозность“. Такъ, по крайней мѣрѣ, толкуетъ самъ авторъ и, при описаніи ея характера, то и дѣло употребляетъ это самое слово—въ его прямомъ и безспорномъ значеніи. И такъ, религіозность—вотъ идея самого автора въ изображеніи Евпраксіи. Чего же лучше? Въ нынѣшнее время, когда такъ много толкуется о сближеніи общества съ народомъ, а между тѣмъ чуть-ли не главной къ тому помѣхой служитъ равнодушіе верхнихъ классовъ къ тому, что составляетъ святѣйшее изъ народныхъ вѣрованій,—надо бы повидимому радоваться попыткѣ автора нарисовать лицо, которое стоитъ этимъ народнымъ вѣрованіямъ въ уровень, которое,—больше этого,—какъ лицо изъ общества, изъ образованной среды—явится еще свѣтильникомъ, истолкователемъ того, что толпа въ себѣ таитъ смутно и недосказанно?... Что, однакожъ, находимъ у автора? Увы, какъ во всемъ остальномъ, такъ и тутъ авторъ не идетъ далѣе формализма; да! и тутъ, вмѣсто идеи, опять схваченъ лишь мертвый остовъ ея... Весь ея формализмъ, вся ея обстановка, весь орнаментъ и декорумъ, а *идеи* какъ ни бывало!

Если, говоря напр. объ авторѣ „Роя“, когда онъ касается глубоко-религіозныхъ струнъ въ душѣ человѣка и пишетъ сцены исполненныя глубокаго религіознаго интереса,—если про него можно сказать, что онъ выбираетъ себѣ задачу по силамъ—то никакъ нельзя того же сказать объ авторѣ „Взбаламученнаго Моря“.

Можно бы еще допустить возраженіе, что мы превратно поняли мысль автора и приписываемъ ему въ изображеніи Евпраксіи именно противоположное его намѣренію. Авторъ, дескать, хотѣлъ въ ней изобразить ханжу,—скажетъ намъ, быть можетъ, г. Анненковъ, „критикъ Тысячи душъ“, если не ханжу, то именно формалистку,—формалистку, въ которой, за отсутствіемъ духа религіозности, возобладалъ лишь формализмъ. Но авторъ въ своемъ романѣ обрѣзалъ для себя всѣ пути къ подобному отступленію. Не говоря уже обо всѣхъ подробностяхъ (было бы скучно высчитывать — ихъ такъ много), въ которыхъ та же самая тема проводится на тотъ же ладъ, сошлемся на заключительное слово Варегина. А этотъ Варегинъ — умнѣйшая голова по собственному мнѣнію автора, хотя его разсужденія въ Палкиномъ трактирѣ еще не даютъ убѣдиться въ этомъ. Варегинъ, по своему авторитету, занимаетъ столь крѣпкую позицію въ романѣ, что его можно сравнить развѣ съ хоромъ Греческой трагедіи, за которымъ всегда послѣднее слово. Послушайте же, какимъ искреннѣйшимъ тономъ, притомъ даже на единѣ съ собственной совѣстью, когда ему не надо лицемѣрить, говоритъ онъ объ Евпраксіи, что она „вся спряталась въ церковь!“ И такъ, вотъ точка зрѣнія автора.

Человѣкъ — будь то̀ мужчина или женщина — который безстрастенъ ко всѣмъ житейскимъ приманкамъ; который уже выше мелочныхъ счетовъ и побужденій; который, запечатлѣвъ собственную борьбу въ духѣ любви и мира, любовь же и миръ несетъ всякому, кому еще тяжела эта борьба,—много-ли такихъ на свѣтѣ? Не такого-ли именно человѣка всякій бы пожелалъ въ судьи во всѣхъ нашихъ житейскихъ, эгоистическихъ дѣлахъ, въ примирители — во всѣхъ житейскихъ спорныхъ столкновеніяхъ? Не къ такому-ли именно человѣку всякій захотѣлъ бы прибѣгнуть, особенно въ ту минуту, когда такъ дорого бываетъ слово любви и участія — и нѣтъ его? И не про одного ли только такого человѣка можно подумать сказать то̀, что такъ, много не думая, осмѣливается говорить „умнѣйшій“ Варегинъ о героинѣ автора „Взбаламученнаго Моря“.

Положа руку на сердце, захотѣлъ-ли бы самъ авторъ себѣ въ ангела-хранителя свою героиню? Не довольно-ли ужъ онъ наказалъ и своего „милѣйшаго“ Бакланова, ссудивъ ему въ супружество свою героиню? Отъ религіозности, какъ ее понимаетъ ав-

торъ въ Евпраксіи, вѣетъ могильнымъ холодомъ... Понимаетъ-ли онъ ее еще иначе?

Бакланову — говоритъ авторъ — многое оставалось непонятнымъ въ Евпраксіи. А мы думаемъ, что не Бакланову и не въ Евпраксіи, а самому автору многое остается непонятнымъ въ „истой Славянкѣ, чистѣйшей дочери-Полянъ".

Газета „День" 1864 г.

Журнальныя замѣтки.

„Библіотека для Чтенія" и „Эпоха". — „Современникъ" и „Русское Слово". — Ихъ „общая идея". — „Нерѣшенный для г. *Писарева* вопросъ". — „Земскія силы" г. *Боборыкина* и „Лгуны" г. *Писемскаго*. — Споръ „Современника" съ „Русскимъ Словомъ" о нигилизмѣ и о Неграхъ. — Катастрофа въ станѣ „реалистовъ". — Еще новый споръ между „учениками Добролюбова" *объ эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дѣйствительности*. — Г-нъ *Варѳоломей Зайцевъ* объ Искусствѣ. — Замѣтка объ аскетахъ для г-на *Антоновича*. — Его Итоги. Отбой.

I.

Библіотека для Чтенія, а отчасти и Эпоха изъ силъ выбиваются, чтобъ отличиться хоть чѣмъ-нибудь отъ журналистики Московской. Въ ихъ направленіи только и характеристично одно это желаніе во что бы то ни стало „не думать говорить заодно съ Московскими изданіями" („Эпоха" № 10). Но ни Современнику, ни его пасынку Русскому Слову съ этой стороны, т. е. со стороны смѣшенія ихъ съ Московскою литературой, не грозитъ ни малѣйшей опасности. Съ постоянствомъ, достойнымъ лучшей цѣли, съ изумительной настойчивостью лектора, читающаго передъ пустою аудиторіей — оба эти журнала продолжаютъ охранять цѣлость „Петербуржской мысли" и развиваютъ все одни и тѣ-же глубокіе афоризмы.

Конечно, всякому — до своего. Однакожъ мы думаемъ что то знаменитое ученіе, которое процвѣло въ „оное недавнее время" пышнымъ туземнымъ цвѣткомъ Петербуржской почвы, должно-бы въ наши дни и отцвѣсть; съ тѣхъ поръ пора-бы у насъ ему и поблекнуть. Какъ знаменитый тотъ кактусъ, который цвѣтетъ нѣ-

сколько мгновеній—цвѣтокъ, лопающійся съ блескомъ и трескомъ на глазахъ зрителя, едва онъ подбѣжалъ къ нему, чтобъ полюбоваться—такъ и оно, это пресловутое ученіе. При первомъ-же появленіи развѣ не предстало оно сразу во всей своей красѣ передъ публикой? въ самый краткій періодъ своего существованія—развѣ уже не истощило всей своей энергіи?.. Оказывается, къ сожалѣнію, что въ Современникѣ и въ Русскомъ Словѣ оно нашло себѣ усердныхъ воздѣлывателей и слугъ столько-же незамѣнимыхъ, какъ и неизмѣнныхъ.

Говоримъ: къ сожалѣнію, потому что нынѣшнее время очень бы нуждалось въ самостоятельныхъ органахъ, которые-бы противились все болѣе и болѣе распространяющемуся у насъ въ литературѣ какому-то казарменному духу,—которые-бы не давали ей обратиться сплошь въ игру свободныхъ артистовъ на темы лишь самыя казенныя. „Я-бы назвалъ ихъ патріотами-шулерами, говоритъ про извѣстный сортъ людей авторъ сатиры „Физіономіи и Силы“ (когда-то... въ то еще прежнее время... помѣщенной въ „Русскомъ Вѣстникѣ“), я-бы назвалъ ихъ патріотами-шулерами, но общество давно предупредило меня, давъ имъ прозваніе благонамѣренныхъ“. Едва-ли можно привести примѣръ сильнѣйшей ироніи какъ здѣсь, въ этомъ сочетаніи шулерства съ благонамѣренностью! Однакожъ, она только какъ разъ по мѣркѣ тому явленію въ нашемъ обществѣ, которое ее вызвало. Да, намъ слишкомъ знакома эта затхлая благонамѣренность... Кто-бы теперь ни служилъ для нея безсознательной поддержкой; кто-бы они ни были въ нашей текучей литературѣ эти вольные или невольные одобрители этой тли, а грустнаго факта отрицать нельзя. Недавно еще для всѣхъ позорная, всѣми обличенная и не смѣвшая никуда показаться съ своимъ опороченнымъ лицомъ... въ наши, настоящіе дни, она, эта самая затхлая благонамѣренность, опять подымаетъ голову. Она начинаетъ опять смѣло величаться; она, гордо подбочениваясь, указываетъ на самую нашу литературу, на тѣ самые органы, которые еще вчера лучше всѣхъ изобличали ее, какъ будто въ нихъ себѣ нашла теперь надежный оплотъ и кричитъ: vae victis!

Было бы весьма желательно, говоримъ, по мѣрѣ усиленія этого скорбнаго явленія, встрѣчать въ разныхъ органахъ и справедливый отпоръ ему; было бы весьма желательно, чтобы не всѣ, по крайней мѣрѣ, служили его усиленію, прельстясь повальнымъ успѣхомъ. Но тѣмъ нежелательнѣе, чтобы тотъ или другой Пе-

гербуржскій журналъ процвѣталъ пышнымъ цвѣтомъ все одного и того же цвѣтка, которому, какъ мы сказали, давно бы пора и поблекнуть.

Характеръ и духъ журнала выражается не только въ руководящихъ статьяхъ самой редакціи, но и во всякой даже посторонней повѣсти или даже въ какомъ-нибудь невинномъ этнографическомъ очеркѣ, разъ онѣ приняты и одобрены редакціей. Это понятно: журналъ ничуть не простой сборникъ статей; онъ непремѣнно выражаетъ какое-нибудь извѣстное направленіе, служитъ какой-нибудь строго-опредѣленной идеѣ. Если наконецъ и можно указать у насъ на какой нибудь журналъ, превратившійся въ простой сборникъ, у котораго направленіе было, да все вышло... то это не въ примѣръ-же другимъ, да и не въ похвалу самому журналу. Въ этомъ отношеніи надо отдать полную справедливость Современнику; по строгой вѣрности самому себѣ онъ рѣшительно не имѣетъ соперниковъ. Отъ капитальнѣйшихъ статей его, блещущихъ глубокой ученостью, въ родѣ „Смитовское направленіе и позивитизмъ въ экономической наукѣ“, до повѣстей и повѣстушекъ въ родѣ „Фантазёрка“, до „литературныхъ мелочей Посторонняго Сатирика“, отъ A до Z, какъ говорятъ наши нижегородскіе Французы, все у него проникнуто одной идеей. Какъ духъ, розлитый въ твореніи, Современникъ себя вездѣ выражаетъ и отъ перваго своего листа до послѣдняго вездѣ познаетъ самъ себя... Въ этомъ искусствѣ стушевать всѣ многоразличныя статьи даже совершенно случайныхъ и посторонникъ авторовъ въ одинъ тонъ, придать цѣлой книжкѣ, каждому отдѣльному № одинъ цвѣтъ—пальма первенства рѣшительно принадлежитъ Современнику. За нимъ слѣдуетъ его пасынокъ, Русское Слово. „Меньшинство нашихъ новыхъ, послѣднихъ молодыхъ генерацій“, по увѣренію г. Щапова, „всецѣло отдалось естесствознанію и естесствоиспытанію“; можно и объ Русскомъ Словѣ полагать, что оно пишется отъ перваго своего листа и до послѣдняго „всецѣло“ лишь для этого „меньшинства послѣднихъ молодыхъ генерацій“.

Въ № 10 Современника мы съ жадностью обратились къ скромной, по заглавію, статьѣ, въ которой надѣялись найти какія-нибудь новыя указанія или соображенія по весьма интересующему въ настоящее время все общество, вопросу—Русской народности. Это „Этнографическіе очерки Кадниковскаго уѣзда Н. Пр—скаго“ Что же такое оказывается на самомъ дѣлѣ? Вся этнографія здѣсь

сведена на скандалъ, и только на одинъ скандалъ. Страненъ былъ бы, вѣроятно по мнѣнію самого Современника, тотъ человѣкъ, который, захотѣвъ напр. изучить чистоту семейнаго начала, положимъ, въ Петербуржской жизни, отправился бы не въ другое мѣсто, а на „шпицъ-балы“ Петербурга, въ его подозрительные дома, на тѣ вечеринки, которыя даются тамъ съ цѣлью совершенно спеціальной. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ трущобахъ Кадниковскаго уѣзда могутъ существовать своего рода и шпицъ-балы и вечеринки съ спеціальной же цѣлью. Но одинаково и тамъ: кто разъ пошелъ туда въ качествѣ гостя, забудь всѣ строго научные интересы этнографіи, а напередъ жди скандала. Статья г-на Н. Пр—скаго, однакожъ, въ томъ и находитъ художническое самоудовлетвореніе, чтобы всю ширь этнографіи—свести на скандалъ. Затѣмъ ничего больше и не остается въ умѣ читателя, пожелавшаго ознакомиться съ нравами Кадниковскаго уѣзда. Даже такія черты, которыя очевидно происходятъ отъ бѣдности, отъ скудости обстановки—такъ напримѣръ, что бѣднякъ, за неимѣніемъ бани, парится у себя въ печкѣ, гдѣ себѣ и щи варитъ; что, за неимѣніемъ работника, проситъ подчасъ свою-же собственную жену или работницу отворить ему печной заслонъ и т. п.—даже, говоримъ, и такія естественно-грубыя черты всякаго бѣднаго быта—у автора, при его настроенной фантазіи, сейчасъ обращаются въ обличеніе Кадничанъ въ томъ, чего у нихъ и на умѣ не было, а что̀ въ умѣ только самого̀ автора. Но, тутъ не Кадничане, а самъ авторъ всему виною; очевидно, въ своихъ научныхъ изысканіяхъ, онъ слишкомъ увлекся личными симпатіями: ему-бы воздержаться отъ скабрёзнаго (употребляемъ иностранное слово, потому что Русское, ему соотвѣтствующее, ужъ слишко̀мъ нелитературно). Вслушайтесь въ самую рѣчь его, въ музыку его описаній: свою собственную душу вылилъ онъ тутъ въ циническихъ пастораляхъ. По необходимости выпишемъ нѣкоторыя мѣста, чтобъ не остаться бездоказательными: „важно! славно!.. вотъ такъ!!.. а-а-а. Это дядя мой хвосталъ, что было мочи, всѣ мѣста, какія бываютъ у пономарей“ или: „первый поцалуй прошелъ благополучно; за то въ другой разъ здоровенная дѣвчина такъ лизнула меня въ засосъ, что я принужденъ былъ немедленно плюнуть: такая мерзость“... или: „кикимору немедленно разваливаютъ на полъ и начинаютъ парить не вѣниками, а кулаками, и такъ взбутетенятъ бока и пр.“, „вздули кнутами... какъ онъ ни ругался, ни барахтался ногами и руками, такъ отодрали

шкуру, какъ еще не отдирали никому", „кузнецы не били ихъ кнутами, а драли за волоса, давали въ голову тумака, болѣе или менѣе горячаго", „нужно-же было-какъ-нибудь вычистить рыло", „или-же по примѣру Терехи, похватаютъ дѣвушекъ въ полѣ и давай набивать снѣгу за пазуху и вездѣ"... Неужели Современникъ серьезно думаетъ, что всѣмъ этимъ онъ описываетъ нравы дѣйствительно „Кадниковскаго уѣзда"?

Правъ Жанъ-Поль Рихтеръ: никогда человѣкъ такъ хорошо не передаетъ своего собственнаго характера, какъ когда описываетъ чужой...

II.

Переходимъ къ Русскому Слову.

Этотъ журналъ, какъ всѣмъ извѣстно и какъ самъ онъ о себѣ торжественно заявляетъ (см. № 10), служитъ одной общей идеѣ — съ Современникомъ. Онъ проводитъ тѣ же міровые принципы,— онъ отличается тѣмъ же, чтобъ не сказать ругливымъ, скажемъ энергическимъ стилемъ,— наконецъ онъ столько же благороденъ, какъ Современникъ, въ своихъ полемическихъ пріемахъ. Каждая книжка Русскаго Слова составляетъ въ своемъ родѣ, образцовое произведеніе литературы и являетъ истинное chef-d'oeuvre петербуржскаго творчества.

Тутъ, въ статьяхъ научнаго или философскаго содержанія, напр. въ статьѣ г. Щапова „Историко-географическое распредѣленіе Русскаго народонаселенія"— мы знакомимся съ общими основами, такъ-сказать съ самимъ принципомъ того новаго ученія, которое — если вѣрить его послѣдователямъ— рано-ли, поздно-ли, а непремѣнно перевернетъ вверхъ дномъ все человѣчество. Въ статьяхъ подобнаго рода авторъ чертитъ только общій планъ „естественно-научнаго интеллектуальнаго саморазвитія и самосознанія" и касается лишь съ самыхъ общихъ сторонъ „лучшаго, естественно-научно-мыслящаго меньшинства Русскаго общества". Даже свой заключительный выводъ, какъ тотъ, напримѣръ, что это „меньшинство нашихъ новыхъ, послѣднихъ молодыхъ генерацій, всецѣло отдавшееся естесствознанію и естесствоиспытанію— вотъ вся искупительная надежда и весь залогъ молодой Европейской Россіи", даже говоримъ, и такого рода conclusio finalis авторъ удерживаетъ въ своемъ разсужденіи на высотахъ строго-трансцендентальныхъ и никакъ не сводитъ еще съ выси чисто умозрительной. Дальнѣйшее

ознакомленіе съ этимъ удивительнымъ „меньшинствомъ“ въ лицѣ Русскихъ реалистовъ и ихъ полное раскрытіе, дающее проникнуть даже въ самую лабораторію ихъ духа и заглянуть въ самый кабинетъ ихъ занятій, все это преподносится читателю уже въ фундаментальныхъ статьяхъ г-на Писарева. Этотъ изумительно-многорѣчивый публицистъ Русскаго Слова взялъ на себя трудъ въ послѣднихъ трехъ книжкахъ истолковать „нашей Русской безтолковости и сударынѣ-публикѣ“ этотъ удивительный въ своемъ родѣ феноменъ Русской жизни, то-есть міровой типъ „Русскаго реалиста!“

Реалистъ, узнаемъ мы изъ статьи г-на Писарева, стоитъ выше обыкновенныхъ людей. „Человѣкъ вполнѣ реальный, говоритъ онъ, можетъ обходиться безъ того, что называется личнымъ счастіемъ; ему нѣтъ надобности освѣжать свои силы любовью женщины, или хорошею музыкой, или смотрѣніемъ шекспировской драмы, или просто веселымъ обѣдомъ съ добрыми друзьями. У него можетъ быть развѣ только одна слабость: хорошая сигара, безъ которой онъ не можетъ вполнѣ успѣшно размышлять. Но и это наслажденіе служитъ только средствомъ: онъ куритъ не потому, что это доставляетъ ему удовольствіе, а потому, что куреніе возбуждаетъ его мозговую дѣятельность“. (Р. С. IX, стр. 6 въ Лит. Обозр.).

Наконецъ, надо-же читателю послѣ того, какъ онъ познакомился и съ общимъ принципомъ и съ домашними привычками реалистовъ, надо, говоримъ, читателю ознакомиться и съ тѣмъ еще, какъ оно, это наше „лучшее естественно-научно-мыслящее меньшинство“ прикладываетъ къ жизни высоту началъ своего ученія? становится очень любопытно повидать, какъ „эта искупительная надежда“ уже на самой практикѣ осуществляетъ высоту своихъ теорій? На полное знакомство читателя съ этимъ именно дѣломъ — отведено въ Русскомъ Словѣ довольно обширное мѣсто критикамъ г-на Варѳоломея Зайцова и К°. Тутъ — въ Библіографическомъ-ли Листкѣ, въ отдѣльныхъ-ли этюдахъ, въ родѣ „Славянофилы побѣдили“ (Р. С. № 10) благородство полемическихъ пріемовъ „послѣднихъ молодыхъ генерацій, всецѣло отдавшихся естествознанію и естествоиспытанію“, блеститъ во всей своей красѣ передъ публикой. Кстати ограничимся здѣсь однимъ маленькимъ обстоятельствомъ, чтобъ болѣе къ тому не возвращаться. Критику Русскаго Слова (въ № 10-мъ) пришло дѣло до насъ лично. Онъ очень недоволенъ нашимъ отзывомъ о Некрасовской поэзіи въ № 43

„Дня“ прошлаго года; мы охотно это допускаемъ. Но онъ ничего лучше не нашелъ сдѣлать, какъ — говоримъ его собственными словами — приписать намъ соображенія... Г-нъ Писаревъ въ своемъ „Нерѣшенномъ вопросѣ“ еще не указалъ критеріума для нравственной оцѣнки реалистовъ — и объяснить подобнаго рода приписку намъ соображеній... мы пока воздерживаемся. Но такъ какъ онъ уже указалъ намъ отъ чего зависитъ и чѣмъ обусловлено состояніе ихъ умственной, мыслительной способности, — такъ какъ для того, чтобы „успѣшно размышлять“, реалисту необходима „хорошая сигара“, то мы, по крайней мѣрѣ, хотимъ спросить теперь: какія сигары курилъ критикъ Русскаго Слова, когда писалъ, что стансы г. Некрасова къ родинѣ, въ которыхъ попадаются стихи: „И краше твой вѣнецъ терновый побѣдоноснаго вѣнца“, слѣдуетъ отнести „развѣ-развѣ въ отдѣлъ юмористическихъ?“

Русское Слово, сказали мы, выражаетъ то-же самое направленіе, которому служитъ и Современникъ; въ послѣднее время даже оба эти журнала обмѣнялись другъ съ другомъ депешами въ этомъ смыслѣ. Не смотря однакожъ на это, существуетъ между обоими журналами и великая разница. Направленіе у нихъ безспорно одно; но дѣло въ томъ, что г-нъ Писаревъ, этотъ главный сподвижникъ Русскаго Слова — неофитъ этого направленія самый яростный, самый честный — въ нѣкоторомъ смыслѣ даже „бѣдовое дитя“ его.

Когда г. Тургеневъ больно укололъ это направленіе въ своемъ Базаровскомъ типѣ, и когда критику Современника вовсе не показалось забавнымъ торчать передъ публикой, — насквозь пронизаннымъ мѣткою сатирой, какъ въ Пушкинскомъ собраньи насѣкомыхъ, — тогда г-нъ Писаревъ, напротивъ того, полюбилъ это положеніе. Онъ преклонился передъ типомъ Тургеневскаго нигилиста и заявилъ полную готовность стать съ нимъ рядышкомъ. Съ тѣхъ поръ, какъ умный Современникъ ни жметъ плечами, какъ онъ ни намекаетъ своему пасынку на всю забавность принятаго имъ положенія, какъ онъ ни склоняетъ его послѣдовать скорѣе собственной Современниковой политикѣ въ этомъ щекотливомъ дѣлѣ, — нѣтъ! г-нъ Писаревъ упорно стоитъ на своемъ. Вопросъ этотъ, т. е. чье изъ нихъ положеніе лучше? по его мнѣнію, далеко не разрѣшенъ еще окончательно; въ цѣлыхъ трехъ книжкахъ онъ трудится надъ доказательствомъ въ этомъ смыслѣ. Многорѣчивый публицистъ пишетъ цѣлую диссертацію на эту тему и на разстояніи

цѣлыхъ тридцати трехъ главъ своего сочиненія... выдѣлываетъ истинно-забавныя вещи передъ публикой.

Дѣйствіе происходитъ въ 1862 году. Въ февральской книжкѣ „Русскаго Вѣстника“ появляется романъ Тургенева: Отцы и Дѣти“...— такъ приступаетъ г-нъ Писаревъ къ своей главной темѣ. Въ памяти читателя естественно опять воскресаетъ полузабытая фигура Базарова, возникаетъ невольное представленіе и о цѣломъ направленіи, насквозь — какъ мы сказали — пронизанномъ мѣткою сатирой... Тогда г-нъ Писаревъ снова разоблачается передъ публикой и самъ становится въ позицію Базарова,— онъ охотно воспринимаетъ на себя всѣ удары критики, которые сыпались на этого героя,— съ Базарова снимаетъ онъ ихъ на себя, а по временамъ, напротивъ того, свое собственное *я* переноситъ на Тургеневскаго героя, объясняетъ о себѣ публикѣ, какъ онъ, авторъ „Нерѣшеннаго Вопроса“ дѣйствовалъ-бы или даже дѣйствуетъ въ подобныхъ обстоятельствахъ... и какъ самъ онъ мыслитъ и чувствуетъ сходно съ Базаровымъ. И авторъ видимо озабоченъ еще, чтобъ публика какъ можно пристальнѣе разсмотрѣла его,— онъ подловчается, какъ бы дать ей оглянуть себя и съ этой, и съ той, и съ другой стороны, онъ хочетъ дать ей на него наглядѣться— во всѣхъ положеніяхъ и со всѣхъ точекъ зрѣнія!. Для чего все это? а для того, что на Базарова наклеветали, наклеветали на реалистовъ—и клевета эта разсѣется въ прахъ тогда только, когда всѣ реалисты, подобно автору „Нерѣшеннаго Вопроса“, выкажутся наконецъ, со всѣхъ сторонъ, передъ публикой нараспашку. „Если, говоритъ авторъ, наша публика, ни съ того, ни съ сего, совершенно несправедливо оплевала Тургеневскаго Базарова, то каково-же поступаетъ она съ живыми Базаровыми, которыхъ понять гораздо труднѣе и которымъ однако больно и досадно, когда на нихъ сыпятся незаслуженныя оскорбленія отъ отцовъ, матерей, сестеръ, и особенно, особенно отъ любимыхъ женщинъ? Подумайте, сударыня-публика...“ и пр. („Русское Слово“ № 10, стр. 19 Лит. Об.). Лучше бы нельзя передать всего высокаго комизма, le haut comique, какъ говорятъ Французы,— въ которомъ нашлись наши реалисты послѣ удара, нанесеннаго имъ авторомъ „Отцовъ и Дѣтей“.— Лучше бы нельзя, говоримъ, передать всей забавности ихъ нынѣшняго положенія — какъ оно передано тутъ, въ этихъ строчкахъ, авторомъ „Нерѣшеннаго Вопроса“ и это, очевидно: отъ полноты души!

„Говорятъ, что реалисты непочтительны къ своимъ родителямъ—неправда!—Реалисты возстановляютъ дѣтей противъ родителей—неправда!—Реалисты не уважаютъ женщинъ—неправда!—Реалисты отрицаютъ бракъ—и это неправда!—Откуда-жъ вы, милые Русскіе журналисты, взяли всѣ ваши обвиненія противъ реалистовъ? Изъ романа Тургенева? Нѣтъ врёте, тамъ нѣтъ этихъ обвиненій“ (тамъ-же стр. 57). И оказывается даже, что собственно говоря одни только реалисты на свѣтѣ и способны какъ къ браку, такъ и къ почитанью родителей и ко всему, что есть добродѣтельнаго въ мірѣ. Оказывается еще, что сама поэзія ничуть реалистами не прогнана со свѣту, какъ объ этомъ разглашали же клеветники ихъ, а напротивъ того: коренное ихъ мнѣніе состоитъ именно въ томъ, что „и Гейне, и Гетё, и Шекспиръ должны занять свое мѣсто на ряду съ Либихомъ, Дарвиномъ и Ляйелемъ“ (№ 11, стр. 23 Лит. Обозр.). Что-жъ такое однако? недоумѣваетъ читатель,—если реалисты и искусство признаютъ, и родителей почитаютъ, и брака отрицать не думаютъ, словомъ сказать, люди себѣ какъ люди,—въ чемъ-же наконецъ ихъ коренное отличіе? Не берутъ-ли они, по крайней мѣрѣ, „принципъ естественнаго побужденія“ во главу угла всей своей философіи и—чувственные люди—не проповѣдуютъ-ли религію наслажденія?—Нѣтъ. Авторъ „Нерѣшеннаго Вопроса“, отвѣчаемъ читателю, приходитъ, напротивъ того, чуть не къ аскетизму. Мы уже видѣли, что реалистъ выше обыкновеннаго смертнаго: онъ не нуждается ни въ освѣжающей любви женщины, ни въ шекспировской драмѣ; увидимъ и болѣе того. Реалистъ даже сообщества съ людьми избѣгаетъ, веселыхъ книжекъ не читаетъ и круглый годъ постится. „Человѣкъ строго-реальный, говоритъ г-нъ Писаревъ, видится только съ тѣми людьми, съ которыми ему „нужно“ видѣться, онъ читаетъ только тѣ книги, которыя ему „нужно“ прочесть, онъ даже ѣстъ только ту пищу, которую ему „нужно“ ѣсть, для того, чтобы поддерживать въ себѣ физическую силу. Особенность человѣка съ реальнымъ направленіемъ состоитъ исключительно въ томъ, что онъ менѣе другихъ честныхъ и умныхъ людей нуждается въ отдыхѣ; можно сказать, что онъ отдыхаетъ только тогда, когда спитъ. Вся остальная часть его жизни проходитъ за работой и вся эта работа клонится только къ одной цѣли: уменьшить массу человѣческихъ страданій“...

Читатель изумленъ окончательно. Все это, представляется

ему, такія уже не маленькія вещи, которыя,— по самой малой мѣрѣ,— такъ-называемый „принципъ естественнаго побужденія“ — убиваютъ наповалъ. И такъ, если реалистъ въ дребезги разбиваетъ еще этотъ кѣмъ-то проповѣдуемый принципъ и притомъ брака не отрицаетъ, родителей почитаетъ, и поэзію признаётъ... въ чёмъ-же, въ чёмъ наконецъ его коренное отличіе отъ насъ грѣшныхъ? почему онъ все же не такъ себѣ человѣкъ, какъ и всѣ мы прочіе, а реалистъ непремѣнно? Читатель вновь и вновь перечитываетъ статью г. Писарева; онъ хочетъ, по крайней мѣрѣ, подсторожить: на какихъ именно условіяхъ, съ какими неизбѣжными оговорками... признаётъ реалистъ и бракъ, и родство, и искусство? Въ этихъ-то не сулящихъ добра оговоркахъ, въ этихъ лукавыхъ условіяхъ, пожалуй, и сидитъ Мефистофель. Читатель скоро убѣдится однакожъ, что подъ конецъ всего и онѣ оказываются такъ невинны и немудрёны, что не стоили и помину; всякій ихъ давно знаетъ, эти оговорки, и всякій ихъ принимаетъ, эти условія;— много-много, если для ихъ сознанія требуется быть — не то что реалистомъ — а просто: гимназистомъ. Дѣло въ томъ, оказывается, что напр. при всемъ почтеніи дѣтей къ родителямъ (когда первыя стоятъ по своему образованію выше) „приходится имъ страдать отъ того, что нѣтъ возможности разслышать и понять другъ друга“; бракъ хорошъ тогда, когда молодая чета сходится на основаніи единства нравственныхъ интересовъ, такъ что этому ихъ единству со дня на день предстоитъ крѣпнуть, и никуда негоденъ, когда уже съ самаго начала оба глядятъ врозь,— и вотъ реалистъ единственно лишь противъ браковъ послѣдняго рода. Поэты такіе, какъ Гёте и Шекспиръ, приносятъ дѣйствительную пользу обществу, потому что „все то безусловно полезно, что заставляетъ насъ задумываться и что помогаетъ намъ мыслить“, притомъ, еще „никакое научное изслѣдованіе не опредѣлитъ вамъ душевную болѣзнь цѣлой эпохи съ такою ясностью, съ какой нарисуетъ ее великій художникъ“ и проч. и проч. Слѣдовательно, реалистъ не противъ поэтовъ или поэзіи;— онъ относится „съ глубокимъ и совершенно искреннимъ уваженіемъ къ первокласснымъ поэтамъ всѣхъ вѣковъ и народовъ“,—но онъ противъ той поэзіи, которая только „потѣшаетъ мелкими фокусами безплоднаго фиглярства“, противъ такого поэта, который „козявка, копающаяся въ цвѣточной пыли“... Не были-ли мы правы, когда ручались читателю въ совершенной благонадежности автора, и

не въ самомъ ли дѣлѣ — для того, чтобы плодить подобныя разсужденія и о бракѣ и о поэзіи — реалистомъ не зачѣмъ быть, а довольно быть — гимназистомъ?

Гимназистъ высшаго класса, впрочемъ, не повторилъ-бы тѣхъ ошибокъ, которыя потомъ дѣлаетъ реалистъ-авторъ, и вотъ въ чемъ начинаетъ уже оказываться мало-по-малу дѣйствительная разница между ними. Кто разъ сознательно понялъ, что „все то безусловно полезно, что заставляетъ насъ задумываться и помогаетъ намъ мыслить“; кто понялъ наконецъ смыслъ и задачу искусства хотя бы въ области одной поэзіи, тотъ непремѣнно-бы уяснилъ себѣ ту же самую задачу, тотъ-же самый смыслъ и въ области всѣхъ остальныхъ искусствъ. Реалистъ, оказывается, этого не понимаетъ. „Обо всѣхъ другихъ искусствахъ, пластическихъ, тоническихъ и мимическихъ я выскажусь очень коротко и совершенно ясно“, говоритъ г-нъ Писаревъ на стр. 34-й ноябрской книжки — и ясность выходитъ дѣйствительно поразительная! Какъ „одному желательно выпить передъ обѣдомъ рюмку очищенной водки“, такъ „другому побаловаться вечеромъ на скрипкѣ или на флейтѣ; четвертому — придти въ восторгъ и въ ужасъ отъ взвизгиваній Ольриджа въ роли Отелло.“ — „Вслѣдствіе этого могутъ появиться на свѣтѣ великіе люди самыхъ различныхъ сортовъ: великій Бетховенъ, великій Рафаэль, великій Канова, великій шахматный игрокъ Морфи, великій поваръ Дюссо, великій маркеръ Тюря — „общество любителей водки“, „общество любителей слоеныхъ пирожковъ“, „общество любителей музыки“...

Реалистъ, оказывается, и Пушкина не понимаетъ. Онъ „пародія на поэта“. „Пушкинъ, говорятъ напр., великій поэтъ и всѣ этому вѣрятъ. А на повѣрку выходитъ, что Пушкинъ просто великій стилистъ“, говоритъ г-нъ Писаревъ. Гимназистъ, полагаемъ, избѣжалъ-бы и этой новой ошибки; пусть бы даже какой-нибудь недоучившійся учитель и вбилъ ему въ голову, что только „опредѣленіе душевной болѣзни цѣлой эпохи“ даетъ право на титулъ поэта; всякій гимназистъ, мы предполагаемъ, раза три прочиталъ Евгенія Онѣгина. Прочихъ темъ уже и не касаемся; ограничиваемся лишь областью поэзіи. Довольствуемся взаимное отличіе понятій какъ гимназиста, такъ и реалиста — указать лишь на этомъ. Всякій, кто только дастъ себѣ трудъ всѣ тридцать три главы „Нерѣшеннаго Вопроса“ прочитать въ подлинникѣ — легко пойметъ, почему мы такъ дѣлаемъ.

О реализмѣ и о нигилизмѣ есть что́ сказать, очень много такого, чего до сихъ поръ, къ сожалѣнію, никѣмъ не сказано. Не статья г-на Писарева, впрочемъ, можетъ подать къ этому поводъ.

III.

Съ новымъ годомъ журналистика у насъ какъ будто оживилась. Цѣлыхъ два изданія,—Библіотека для Чтенія и Отечественныя Записки,—нашли нужнымъ участить выходы своихъ книжекъ. Какъ Русскій Вѣстникъ былаго времени, оба эти журнала даютъ теперь своимъ подписчикамъ по двѣ книжки въ мѣсяцъ, т. е. выходятъ черезъ каждыя двѣ недѣли. Отечественныя Записки даже своимъ форматомъ, печатью, рубриками, всѣмъ наконецъ своимъ внѣшнимъ видомъ и внутреннимъ составомъ ищутъ напоминать тотъ прежній Русскій Вѣстникъ. Современникъ въ первомъ нумерѣ помѣстилъ новую пьесу г. Островскаго „Воевода или Сонъ на Волгѣ“. Въ Русскомъ Вѣстникѣ печатается новый романъ графа Л. Н. Толстаго: „1805-й годъ“. Эпоха открываетъ свою первую книжку драмой г. Чаева: „Димитрій Самозванецъ“. Надо при томъ сказать, что и Отечественныя Записки съ Библіотекой для Чтенія, видимое дѣло, никакъ не согласны плѣнять публику лишь количествомъ. Поразивъ своихъ конкуррентовъ по журнальному дѣлу грубымъ оружіемъ количества, они помнятъ еще прекрасный девизъ нашего знаменитаго государственнаго человѣка: Non solum armis. Они, видимо, озабочены превзойти ихъ въ соревнованіи относительно самаго качества литературы: въ Библіотекѣ для Чтенія съ перваго-же нумера начинается новый романъ г. Боборыкина: „Земскія Силы“, тема—какъ видитъ читатель—не маленькая; въ Отечественныхъ Запискахъ съ перваго-же нумера появляется новое изумительное произведеніе г-на Писемскаго, автора столь прославленнаго „Взбаламученнаго Моря“.

Г-нъ Писемскій написалъ рядъ очерковъ подъ сборнымъ названіемъ: „Русскіе лгуны“. Редакція Отечественныхъ Записокъ,—вѣроятно слѣдуя Русской пословицѣ: хорошенькаго по немножку,—не сразу даритъ своихъ читателей лгунами. Представивъ до пяти очерковъ въ своемъ первомъ нумерѣ, она—во второй книжкѣ заставляетъ потерпѣть читателя: не даетъ „Русскихъ лгуновъ“ во второй январьской книжкѣ,—только уже въ третьемъ нумерѣ опять они являются на сцену въ двухъ скромныхъ очер-

кахъ. Объ этомъ новомъ произведеніи г-на Писемскаго, знаменитаго, какъ онъ самъ себя называетъ „ученика Гоголя“, мы ниже дадимъ отчетъ читателю.

Не знаемъ, какъ на кого, а только на насъ вся эта возбужденность журнальной литературы къ январю и февралю мѣсяцу—не производитъ ничего чарующаго. Всякій журналъ торопится зарекомендовать себя передъ публикой; редакціи очевидно въ попыхахъ и способны удивить міръ своей энергіей,—сразу является по два, по три капитальнѣйшихъ произведенія въ каждомъ органѣ, а еще болѣе ожидается всякаго добра въ теченіи года, судя по объявленіямъ... Подумаешь, литература у насъ бьетъ неудержимымъ ключемъ, то и дѣло открываются новые родники творчества. Подумаешь, уже готова она обнять весь міръ своимъ широкимъ, могучимъ потокомъ и уже не становится достаточно самихъ органовъ для того, чтобы вмѣстить полноту ея животворныхъ струй; то и дѣло, и въ самомъ дѣлѣ, открываются новые органы. Подумаешь, наконецъ, само общество только-что не захлебывается у насъ, черпая отъ этихъ вдохновительныхъ струй и что оно въ этомъ мощномъ потокѣ сполна находитъ утоленье своей умственной жаждѣ, своему душевному голоду. Ничуть не бывало; все это мнимое обиліе нашей литературы, особливо эта періодическая возбужденность ея къ первымъ мѣсяцамъ каждаго новаго года—прежде всего и свидѣтельствуютъ объ ея скудости и безсиліи. Грустно, а надо сказать: если сдѣлать добросовѣстный выборъ изо всего, что печатается въ десяткѣ нашихъ ежемѣсячныхъ толстыхъ журналовъ, то окажется что едва-едва достало-бы матеріала на одинъ журналъ, порядочно составленный. Нынѣшнее изобиліе органовъ—не въ мѣру нашего дѣйствительнаго роста. Самая эта лихорадочная дѣятельность редакцій—только подтверждаетъ это. Не даромъ нѣкоторыя изъ редакцій такъ тщательно скрываютъ отъ своихъ читателей эту лихорадочную дѣятельность,—и скрываютъ, замѣтимъ, весьма неудачно. Странно однакожъ то, что нашлись еще такіе журналы, редакціи которыхъ именно ею-то, этой лихорадочностью своей энергіи, и хвалятся теперь передъ читателями; на нее-то, именно, и бьютъ въ своихъ объявленіяхъ!!...

Здѣсь будетъ умѣстно сдѣлать и еще одну замѣтку; къ ней современная журналистика давно подаетъ поводъ. Гордая со вчерашняго дня возбужденными у насъ толками объ такъ называемыхъ соціальныхъ интересахъ, наша журналистика какъ будто уже

брезгуетъ теперь тѣми произведеніями, интересъ которыхъ чисто-художественный. Произведенія такого рода являются въ ней какъ бы уже на заднемъ планѣ. „Публицистика“, вотъ что̀—по мнѣнію, нынче довольно распространенному—должно высоко поднять всякій журналъ, ищущій быть современнымъ; а журналистика прежнихъ дней, гдѣ все почти и ограничивалось художественнымъ отдѣломъ, представляется уже чѣмъ-то ребячески-смѣшнымъ и навѣки пережитымъ безъ возврата. Такое мнѣніе весьма ошибочно. Что̀ такое наша русская публицистика вообще, а та, которою блещутъ сегодняшніе журналы—въ особенности? Разработка соціальныхъ вопросовъ сходитъ въ нашихъ журналахъ, большею частью, лишь на пересмотръ полусочувствій и тощихъ тенденцій взаимно другъ у друга. Не жизнь народа производитъ все это множество вопросовъ, а лишь та „интеллигентная“ среда, которая потомъ такъ безкорыстно и трудится надъ ихъ—едва-ли кѣмъ-нибудь и прошеннымъ—разрѣшеніемъ, т. е. все дѣло ограничивается тѣснымъ кружкомъ самихъ литераторовъ. Какъ-то миражны, говоримъ, тощи, безтѣлесны и призрачны выходятъ у насъ тѣ „соціальные интересы“, которые вскакиваютъ на поверхности современнаго русскаго общества; публицисту приходится ихъ постоянно насиловать и становить на дыбы, да и самъ онъ горячится и суетится при этомъ за четверыхъ.

Въ народѣ, который страдаетъ почти полнымъ отсутствіемъ самосознанія, который опутанъ ложью полусочувственныхъ, чужихъ, заносныхъ тенденцій и идеаловъ... въ такомъ народѣ даже чувство своей пользы и выгоды не безошибочно. Надо еще произвести коренной переворотъ въ его сознаніи; надо способствовать рѣшительной реформѣ его понятій; надо возбудить въ немъ общій порывъ всѣхъ симпатій и антипатій его природы; коснуться, такъ сказать, самыхъ забитыхъ, захоронившихся и безотвѣтно-глохнущихъ тайниковъ души его; надо его призвать еще къ самочувствію по крайней мѣрѣ началъ своей народности... Никогда въ этомъ смыслѣ не производила публицистика такого неотразимаго дѣйствія на умы и никогда она не содѣйствовала реформѣ общественнаго сознанія въ такой степени, какъ собственно-художественная литература;—и это вполнѣ понятно. Хотя дѣйствіе публицистики, повидимому, всегда быстрѣе и въ пути короче,—оно всегда-же и безслѣднѣе, всегда мельче, никогда не бываетъ такъ прочно и такъ глубоко, какъ дѣйствіе произведеній художественныхъ и чистотворческихъ. Такіе поэты, какъ Пушкинъ, Гоголь, способствовали

дѣйствительной реформѣ въ нашемъ общественномъ сознаніи: желательно знать, какіе публицисты похвалятся тѣмъ, что оказали хоть на половину столько-же услугъ нашему обществу, какъ тѣ поэты? Бодро ратуя лишь за пользу и противъ всего того, что имѣетъ, по ихъ мнѣнію, лишь идеальный характеръ,— ссылаясь, притомъ, единственно на опытъ и проповѣдуя вѣру лишь на основаніи опыта — наши юные реалисты, какъ еще и многіе мастистые мужи, между прочимъ тѣмъ и погрѣшаютъ въ своихъ сужденіяхъ, что слишкомъ тѣсно понимаютъ они свою „пользу", да что-то уже слишкомъ ограниченное разумѣютъ и подъ опытомъ. По ихъ понятіямъ, напримѣръ, какая въ томъ польза или какой въ томъ вредъ Русскому обществу, если его живописцы больше прославляютъ въ своихъ эскизахъ роскошь и нѣгу Итальянскаго неба, чѣмъ сумрачную природу собственной родины,— когда, умѣя прекрасно изобразить и Испанца, и Турка, даже миѳологическихъ богинь Олимпа, они — сущіе невѣжды относительно всего, что касается прямо-Русскаго быта? Что за бѣда, думаютъ эти наши маститые мужи и юные реалисты, въ томъ напримѣръ, что сами Русскіе архитекторы — закажи имъ только — тотчасъ набросаютъ тысячу проектовъ и греческой колонады, и новаго папскаго Ватикана, только ни за что на свѣтѣ не возсоздадутъ всей красы нашего древняго теремнаго узорочья или всего строго-высокаго и невыразимо глубокаго величія древнихъ церквей и соборовъ? Какой наконецъ, думаютъ они, вредъ и въ томъ еще, что сами наши Русскіе поэты болѣе чувствуютъ себѣ родственными чужіе и къ намъ заносные типы иноземной дѣйствительности, а не свои коренные Русскіе идеалы?... Опытъ исторіи всего человѣчества, однакожъ, съ самаго начала и до нашихъ дней включительно, показываетъ вотъ что: только тотъ народъ, который вполнѣ самобытенъ въ своемъ искусствѣ, который не ходитъ къ чужимъ народамъ ни для украшенія своихъ городскихъ улицъ и зданій заемными каріатидами и миѳологическими чуждыми божествами,— ни въ своей музыкѣ, ни въ живописи, ни въ поэзіи не гоняется-же за иноземными образцами, а самобытно создаетъ свои во всѣхъ сферахъ искусства и развиваетъ ихъ сообразно собственному народному быту,— только такой народъ, говоримъ, и оказывается еще всегда великимъ знатокомъ и того даже, что̀ ему пригодно и что́ для него вредно? куда направить свои симпатіи и на что обратить свою антипатію въ самыхъ даже вопросахъ меркантилизма и по-

литики? Такъ какъ смысломъ вообще всякаго искусства есть и было ничто другое, какъ народное самосознаніе, то, подъ конецъ всего, нами сейчасъ отмѣченный историческій опытъ ничего не представляетъ ни страннаго, ни неожиданнаго; не будемъ болѣе о томъ распространяться. Замѣтимъ только, что у всякаго народа, на время запамятовавшаго коренныя начала собственной народности и порабощеннаго на время чуждою цивилизаціей, освобожденіе изъ-подъ ея гнета, возвращеніе къ своей народности — всегда начиналось, раньше чѣмъ въ сферѣ всѣхъ другихъ искусствъ, именно въ поэзіи. Пока музыка такого народа не производила еще ничего замѣчательно-самобытнаго, пока архитектура у него страдала еще всѣми заёмными образцами, взятыми на прокатъ у другихъ народовъ, — пока и живопись его находилась еще въ такомъ же рабствѣ, — поэзія, случалось не разъ, уже воскрешала съ чарующей силой прямо-народные идеалы и пробуждала въ эмансипировавшемся обществѣ свѣжее народное чувство. Вотъ почему, кажется намъ, всякій современный критикъ долженъ всѣми силами вооружаться противъ того узкаго, жалкаго взгляда, будто мы пережили теперь въ нашей литературѣ безвозвратно періодъ чистой художественности. Нельзя сочувствовать все болѣе и болѣе распространяющейся въ нашемъ журнализмѣ праздной, тощей и водяной публицистикѣ. Нельзя сочувствовать и тому, что современные наши журналы, все болѣе и болѣе отодвигая на задній планъ интересъ художественный, не въ шутку вообразили, что они умно и хорошо дѣлаютъ. Съ своей стороны, прежде всего, привѣтствуемъ въ нашей журналистикѣ именно то, въ чемъ сказалась настоящая художественная задача, что всего ближе отвѣчаетъ сущности искусства, являясь, если еще не прямо самосознаніемъ народа, такъ хотя искреннею къ тому попыткой. Новая пьеса г-на Островскаго въ первомъ нумерѣ Современника „Сонъ на Волгѣ“ — вотъ, безспорно, первое, что въ этомъ отношеніи заслуживаетъ вниманіе и мы полагаемъ посвятить ей отдѣльный разборъ. Пока возвратимся къ нашимъ журнальнымъ замѣткамъ.

Что касается до новаго романа Библіотеки для Чтенія „Земскія Силы“, то онъ способенъ убѣдить читателя лишь въ слѣдующемъ: въ томъ, во-первыхъ, что художественная форма романа служитъ подчасъ автору только прикрытіемъ для все той-же водянистой и тощей публицистики; а во-вторыхъ, въ томъ, что общество наше живетъ и въ самомъ дѣлѣ, какъ мы сказали, больше

одними миражами. Самое „земство“, „земля“, „земское начало“, какъ ихъ понимаетъ г. Боборыкинъ, все это оказывается чѣмъ-то совершенно призрачнымъ въ романѣ. Всѣ эти нешуточныя, очень вѣскія и такъ сказать тяжелыя на подъемъ понятія — обращены г-мъ Боборыкинымъ въ легкое перушко, и оно — стоитъ только дунуть — носится куда ни попало. Оказывается еще, что тѣ „Земскія Силы“, созерцаніемъ которыхъ занятъ г-нъ Боборыкинъ, ничуть не въ состояніи дать обильнаго матеріала для дѣйствительнаго романа. Авторъ, можетъ быть, возразитъ намъ, что въ двухъ первыхъ нумерахъ Библіотеки для Чтенія мы прочитали только начало его колоссальнаго труда, а начало еще ничего не значитъ; весь-же романъ едва-ли даже умѣстится и во всѣхъ двадцати четырехъ книжкахъ Библіотеки для Чтенія. Нѣчто именно въ этомъ родѣ возражаетъ онъ редакціи Санктпетербуржскихъ Вѣдомостей (См. Библ. № 2 „С.-Петербуржскимъ Вѣдомостямъ“), осмѣлившейся отозваться неблагосклонно объ его романѣ. Но въ художественномъ произведеніи, отвѣтимъ автору, нѣтъ ничего незначущаго. При томъ во 2-й январской книжкѣ мы присутствовали уже вмѣстѣ съ авторомъ романа и на „Мировомъ Съѣздѣ“, слышали уже тамошніе „дебаты“, ознакомились по крайней мѣрѣ по слухамъ съ „волостнымъ правленіемъ“; наконецъ уже совершенно ознакомились съ героемъ романа, графомъ Сѣвскимъ, этимъ воплощеніемъ „земскихъ силъ“, и нѣсколько разъ побывали въ его кабинетѣ, т. е. въ самомъ пѣклѣ этихъ удивительныхъ силъ... Если не для послѣдняго нашего слова о „Земскихъ Силахъ“, то хоть по крайней мѣрѣ для перваго (вѣроятно, однакожъ, и послѣдняго), всего этого уже намъ слишкомъ достаточно. Романъ сшитъ на живую нитку, поражаетъ непростительною черновой работой — и весьма скученъ, какъ въ общемъ составѣ, такъ и въ своихъ подробностяхъ. Дѣйствіе открывается свисткомъ машины, которая привозитъ графа Сѣвскаго въ губернскій городъ Б*, гдѣ находится его постоянная квартира. Было-бы, положимъ, не такъ эффектно начать съ того, что графъ Сѣвскій напр. проснулся въ своей квартирѣ послѣ краткаго отдыха; но какъ вся первая глава, такъ еще и весь романъ могли-бы совершенно одинаково, какъ при первомъ, такъ и при второмъ началѣ, продолжаться строка въ строку и слово въ слово въ теперешнемъ его видѣ. Мало сказать, что романъ лишенъ всякой хотя-бы малѣйшей художественности; его нельзя отнести и къ разряду дагерротипныхъ. Нигдѣ въ немъ не

чувствуешь даже этой грубой, и дагерротипу доступной, правды: такъ мало жизненности во всемъ напускномъ и поддѣльномъ азартѣ его героевъ. Тоже должно сказать и по поводу такъ называемаго изобрѣтенія: простой внѣшней связи, чисто-внѣшней гармоніи и цѣльности, которыми славятся даже весьма дюжинные таланты, не достаетъ слишкомъ торопливому и прямо съ черна на бѣло пишущему свой романъ, г-ну Боборыкину. Такого рода спѣхъ работы, пожалуй еще простительный въ публицистикѣ, рѣшительно невыносимъ въ „Изящной Словесности". Для насъ только однимъ и объяснимъ въ современной журналистикѣ наплывъ подобныхъ произведеній. При неестественномъ и далеко не по нашимъ силамъ развившемся у насъ журнализмѣ — запросъ на повѣсти и романы огромный; а легкая возможность подцвѣтить всякую беллетристическую дрянь такъ-называемымъ „соціальнымъ интересомъ" и придать ей пряности дешевыми варіаціями на современныя темы — и вовсе избавляетъ авторовъ отъ необходимости строго обдумывать, какъ общій планъ, такъ и подробности своихъ произведеній, — они и пекутся какъ блины. Учащенный выходъ книжекъ, задуманный въ нынѣшнемъ году Библіотекой для Чтенія и Отечественными Записками, грозитъ нашей беллетристикѣ окончательнымъ прогрессомъ въ этомъ родѣ.

Что касается до автора Взбаламученнаго Моря, то въ своихъ нынѣшнихъ „Русскихъ лгунахъ" послѣ того достопамятнаго романа — онъ уже и сейчасъ дивитъ міръ страшнымъ прогрессомъ. Если „Взбаламученное Море" отличалось хотя внѣшнимъ видомъ соціальнаго интереса и современности, то уже въ „Русскихъ лгунахъ" нѣтъ и этого. За то „Взбаламученное Море" тянулось чуть не весь годъ такъ себѣ просто, и авторъ только въ концѣ почувствовалъ надобность заключить его удивительною родомонтадой: здѣсь такая надобность почувствована имъ съ самаго начала. Тамъ мы только при заключеніи узнали, что трудъ г-на Писемскаго переживетъ вѣка и безъ него не обойдется ни одинъ будущій историкъ, — въ „Русскихъ лгунахъ" внушается это „почтеннѣйшей" публикѣ съ разу. Оговоривъ, что по этимъ съ виду легкимъ очеркамъ нашего отечества, можно будетъ со временемъ „почти безошибочно опредѣлить степень умственнаго, нравственнаго и даже политическаго развитія страны", г-нъ Писемскій съ отвагой столько же изумительной, какъ и несвязность его разсказовъ, приступаетъ къ самимъ очеркамъ.

„Русскіе лгуны“, „Die Russiche Lügner“, „Les menteurs russes“, „Russian Liars“... Прочтетъ это заманчивое заглавіе, и Русскій, и Нѣмецъ, и Французъ, и Англичанинъ; допустимъ — съ жадностью накинется на эти разсказы, такъ-таки и сулящіе именно Русскій — загадочный для всего міра — характеръ разгадать до тла и разобрать по ниточкѣ. Правда, авторъ обѣщаетъ разгадать характеръ не вообще Русскаго человѣка, а только Русскаго лжеца... Но шутка-ли самое это? Ложь бывала изображаема не разъ даже міровыми художниками; при томъ у всякой націи она выражается по своему и уловить національныя черты хотя бы лжи одной — достойно не только талантливаго, а даже и геніальнаго творчества! Гоголевъ Хлестаковъ развѣ не геніально созданное лицо въ этомъ смыслѣ? и не узнаётся-ли въ немъ еще не только Русскій лжецъ, а даже лжецъ того города, въ который онъ по почтѣ шлетъ письмо „его Благородію Тряпичкину?“...

Но, обратившись къ очеркамъ г-на Писемскаго, и Нѣмецъ, и Французъ, и Англичанинъ, а прежде всего всякій изъ Русскихъ, съ первыхъ-же строкъ почувствуетъ только ложь самихъ очерковъ. Начать съ того, что всѣ эти выведенныя лица не то что лжецы, какъ они громко названы авторомъ, а просто врали, разсказывающіе — и при томъ разсказывающіе весьма скучно — побасенки въ родѣ тѣхъ, которыми наполнены извѣстныя изданія не любо не слушай, существующія у всѣхъ народовъ и на всѣхъ языкахъ. Какого-нибудь намека на національную характеристичность, понятное дѣло, при этомъ и быть не можетъ. Нѣкоторые изъ остротъ, употребленныхъ авторомъ, попадаются даже въ подобнаго рода Французскихъ и другихъ иностранныхъ изданіяхъ. Пусть однакожъ авторъ отстаиваетъ свое право собственности на всѣ эти небылицы,— пусть онъ докажетъ, что даже въ тѣ иностранныя не любо не слушай эти всѣмъ извѣстныя завиранія попали только черезъ его посредство и никто другой, какъ онъ, остается ихъ подлиннымъ авторомъ — что изъ этого? выиграетъ-ли черезъ это онъ сколько-нибудь въ характеристичности? Сомнительно.

IV.

Было-бы неправдоподобно утверждать, что у насъ подъ нигилизмомъ разумѣютъ что-то вымышленное и небывалое. Это образъ, взятый живьемъ изъ дѣйствительности. Подъ нигилиз-

момъ разумѣютъ у насъ нѣчто весьма опредѣленное и для всѣхъ хорошо извѣстное.

Не смотря однакожъ на это, два журнала—Современникъ и Русское Слово — постоянно отрицаются отъ нигилизма. Правда, Русское Слово отвергаетъ не самое направленіе, а то лишь толкованіе, которое за нимъ утвердилось въ обществѣ. Русское Слово даже признаётъ это направленіе за свое,— но оно окрещиваетъ его другимъ именемъ. Русское Слово вѣритъ — и вѣритъ съ искренностью, которой трудно-бы въ мірѣ отыскать равную — что публика мало вдумалась въ это глубокое направленіе и вся бѣда лишь въ этомъ. Если-бы только „не наклеветали на Тургеневскаго нигилиста", если-бы вдумалась только „сударыня-публика" въ истинное значеніе нигилизма, какъ реализма, а нигилистовъ, какъ реалистовъ — и тогда, представляется Русскому Слову, всѣ остальныя направленія журналовъ разлетѣлись-бы, а нигилизмъ одинъ восторжествовалъ-бы. И такъ, Русское Слово не отрицаетъ, какъ видимъ, самого направленія; оно только соболѣзнуетъ, что по поводу его публика вдалась въ ошибку. Но что касается до Современника, то сей опытный мужъ и слышать не хочетъ объ нигилизмѣ. Современникъ бьется объ закладъ, что нигилизмъ — именно праздная мечта художника и несбыточный вымыселъ. Подъ этимъ именемъ, утверждаетъ онъ, у насъ именно разумѣютъ что-то мнимое и небывалое,— что-то такое, словомъ сказать, чего даже подобія никогда не существовало въ нашемъ обществѣ, въ нашей литературѣ. Пусть въ этомъ случаѣ Современникъ, что называется только себѣ на умѣ; пусть онъ въ этомъ случаѣ — правъ; допустимъ, что нѣтъ и не было нигилизма!... А намъ, тѣмъ не менѣе, приходится говорить въ нынѣшнихъ журнальныхъ замѣткахъ о томъ самомъ направленіи, которое общество привыкло называть этимъ именемъ. Намъ припоминаются слова поэта: „роза, и безъ имени роза, пахла-бы розою"; мы будемъ говорить именно о томъ направленіи, въ которомъ Русское Слово и Современникъ — превосходствуютъ. Но какое-же это направленіе? если не имя, слѣдуетъ однако придать ему нѣкоторые признаки, по которымъ можно бы было отличать его отъ другихъ. Какое-же это направленіе? Самъ Современникъ, само Русское Слово опредѣляютъ его въ своихъ февральскихъ книжкахъ, какъ нельзя точнѣе. Они даютъ намъ возможность говорить объ этомъ многоименитомъ направленіи, не при-

бѣгая ни къ какому особенному имени, — и притомъ называть его такъ, что уже имъ нельзя будетъ отъ него отрицаться. Въ февральской книжкѣ Современника на 378-й страницѣ Современнаго Обозрѣнія, читаемъ:

„Возрожденіе нашей литературы началось, какъ извѣстно, съ 1855-го года. 1855-го года Современникъ совершенно переродился; физіономія Современника совершенно опредѣлилась и оставалась уже неизмѣнною во все послѣдующее время. Другіе журналы, если не поняли, то безсознательно почувствовали, что отъ Современника вѣетъ новымъ духомъ, что въ немъ появилась сила, опасная для нихъ и для всего журнальнаго statu quo".

Этотъ новый духъ вѣющій названъ далѣе еще „зарею возрожденія нашей литературы". И такъ, мы будемъ говорить только о немъ, о направленіи, которое здѣсь самимъ Современникомъ опредѣлено такъ категорически; и читатель, думаемъ, совершенно согласится съ нами, что безъ всякаго ущерба дѣлу можно будетъ теперь толковать о нигилизмѣ, называя его пожалуй и „новымъ духомъ вѣющимъ" и „зарей возрожденія". Мы даже готовы допустить, что нигилизмъ отъ этого только выиграетъ...

Не можетъ худое дерево приносить добрыхъ плодовъ,—вотъ та великая истина, которую нынче и Современникъ и Русское Слово подтверждаютъ на нашихъ глазахъ самымъ живымъ, самымъ наглядным образомъ. Послѣднія книжки этихъ журналовъ поражаютъ такою „мерзостью запустѣнія" (нельзя-бы выразиться иначе), что не остается никакого сомнѣнія на счетъ скорой смерти — не говоримъ обоихъ этихъ журналовъ, а того дѣла, направленія, идеи наконецъ... которымъ они думали служить. Далѣе идти нельзя, и дѣться ужъ некуда.

„Новый духъ вѣющій" и „заря возрожденія" уже вполнѣ тутъ оказались тѣмъ именно, чѣмъ они были съ самаго начала; они оказываются мертвымъ духомъ и зарею — къ ночи. Кто хотя сколько-нибудь сомнѣвался въ этомъ; кто еще хотѣлъ обманывать себя на счетъ дѣйствительнаго значенія „новаго духа", вѣющаго отъ Современника съ Русскимъ Словомъ, тотъ именно теперь откажется отъ своей похвальной терпимости...

Заря возрожденія!! Новый духъ вѣющій?? Съ 1855 года (то-есть съ тѣхъ поръ, какъ въ Современникѣ завелись такіе сотрудники, какъ авторъ „Очерковъ Гоголевскаго періода" и „Эстетическихъ отношеній къ дѣйствительности" да г. Добролюбовъ), дѣйствительно, отъ Современника понесло особымъ духомъ.

Но если отдать себѣ отчетъ, какимъ именно — то придешь прямо къ противному заключенію объ этомъ журналѣ за этотъ періодъ, къ предположенію прямо навыворотъ тому, которое звучитъ въ словахъ заря или возрожденіе. Впрочемъ, что касается самого года, этого 1855 года, то на его счетъ возникли сомнѣнія. Что возрожденіе началось въ эту именно пору — за это стоитъ г. Антоновичъ; но другой духоносецъ этого періода, издатель Русскаго Слова г. Благосвѣтловъ утверждаетъ, что „возрожденіе Современника“ случилось позднѣе. Ученые, кажется, должны будутъ принять второе мнѣніе, т. е. г. Благосвѣтлова. По крайней мѣрѣ, этотъ знатокъ неоспоримо доказываетъ, что Современникъ даже и въ 1857 году еще не возрождался; къ этому году „старый и дряхлый Современникъ“ только „требовалъ возрожденія!“ — говоритъ г. Благосвѣтловъ. И сей писатель вмѣняетъ себѣ въ особую заслугу, что самъ онъ, между прочимъ, „помогъ растрясти его обветшавшее зданіе и возродить новое“. И такъ, г-нъ Благосвѣтловъ оказывается, послѣ всего, знатокомъ въ этомъ дѣлѣ не хуже самого г. Антоновича; послушаемъ-же, что онъ говоритъ о возрожденіи Современника. Опровергнувъ мнѣніе Посторонняго Сатирика, что эра возрожденія началась съ 1855 года, г. Благосвѣтловъ продолжаетъ:

„Кромѣ того, мнѣ было-бы не трудно доказать вамъ безчисленными выписками изъ критическаго отдѣла Современника, даже за 1856 годъ, что онъ и въ этомъ году еще не думалъ возрождаться. Такъ, въ 1856 году въ немъ дебютировалъ, какъ критикъ, П. В. Анненковъ... Первый-же отдѣлъ Современника въ этомъ году постоянно украшался слѣдующими сотрудниками: Фетъ, Майковъ, Грековъ, Полонскій, Дружининъ, Анненковъ, Гербель, Тютчевъ, Гончаровъ и tutti quanti. На первой книжкѣ Современника 1857 года читаемъ даже такую рекламу: съ 1857 года будутъ принимать исключительное и постоянное участіе въ Современникѣ: Д. В. Григоровичъ, А. Н. Островскій, графъ Л. Н. Толстой и И. С. Тургеневъ. Когда я вамъ указалъ на этотъ фактъ, вы отвѣтили, что они изгнаны изъ Современника. Какъ ни пріятно долженъ звучать этотъ трактирный терминъ въ ушахъ г. Некрасова, по отношенію къ его старымъ друзьямъ, но дѣло не въ томъ, что „ибо были изгнаны“, а когда? До возрожденія Современника или послѣ? Если послѣ, то мы вправѣ считать не 1855 годъ эпохой возрожденія, а 1858 или 1859. Такъ оно и должно быть“.

Далѣе, неутомимый изыскатель точной цифры года „возрожденія“ Современника, г. Благосвѣтловъ, ставитъ на видъ еще слѣдующія, также довольно вѣскія, соображенія:

„Сколько мнѣ помнится, первая критическая статья автора „Эстетическихъ отношеній къ дѣйствительности“ была напечатана въ послѣдней книжкѣ Современника за 1855 годъ. Статья эта называлась: „Очерки Гоголевскаго періода Русской литературы“. Какъ-бы ни была превосходна эта статья сама по себѣ, но можно-ли было молодому сотруднику вдругъ перевернуть направленіе журнала и очистить его аугеевы ясли отъ тѣхъ, кто теперь пасется на зеленыхъ лугахъ Русскаго Вѣстника? Нѣтъ, нельзя... Поэтому очищеніе аугеевыхъ яслей происходило постепенно, и возрожденіе Современника, благодаря общимъ и стройнымъ усиліямъ Добролюбова и автора „Эстетическихъ отношеній“, совершилось гораздо позже, чѣмъ вы думаете. Такимъ образомъ, Современникъ вышелъ на новую дорогу не въ 1855 году, а позднѣе“ („Русское Слово“, февраль, „Литературное Обозрѣніе“, стр. 74—75).

Какое многостороннее и въ то-же время категорическое, какъ мы сказали, опредѣленіе того направленія, которое насъ занимаетъ! Будемъ пожалуй его называть эпохой возрожденія, зарею, самимъ сѣвернымъ сіяніемъ, если угодно. Развѣ публика его не узнаетъ и подъ этими сладкозвучными именами? Но тогда, по крайней мѣрѣ, ни Современникъ, ни Русское Слово болѣе не станутъ отъ него отрицаться. И такъ, что-жъ это былъ за новый духъ вѣющій? что за очищеніе? что за возрожденіе?

Не было той дикости, которой не проповѣдывала-бы вслухъ извѣстная часть Петербуржской журналистики за это время, и не было той грязной выходки, которую-бы она себѣ не позволила — вотъ существенныя доблести этой эпохи à la Renaissance. Наглость, изворотливость, какое-то мастерство лжи и побѣдительный блескъ во взорѣ отъ сознанія именно своей непревосходимости въ этомъ искусствѣ—вотъ коренныя отличія ея нравственнаго достоинства. Заносчивость школьника, тайкомъ прочитавшаго двѣ-три запрещенныхъ книжки, и его-же капитальное невѣжество — вотъ вѣчно одни и тѣ-же проблески этой „зари возрожденія“. Можно смѣло сказать, не было того истинно-достойнаго или мало-мальски порядочнаго произведенія въ нашей литературѣ, которое сейчасъ-же не подвергалось-бы со стороны этого новаго вѣющаго духа всяческому оплеванію и осмѣянію. Не было, напротивъ, мельчайшей брошюрки или статейки, ученаго волюминознаго трактата или бѣглой повѣстушки, появленіе которыхъ не привѣтствовалось-бы сейчасъ эпохой возрожденія въ трубы и въ литавры—лишь-бы авторъ въ нихъ, что называется, выкидывалъ колѣнце. И всякія средства считались позволенными для духоносцевъ этой эпохи, лишь-бы достигать своихъ цѣлей, лишь-бы давать

просторъ новому вѣющему духу. Искаженіе мыслей автора, перетасовка цитируемыхъ изъ него строчекъ, глумленіе надъ нимъ, сочиненіе на его счетъ небывалыхъ анекдотовъ, все допускалось въ полемикѣ не въ видѣ нечаянной обмолвки, а въ видѣ правила, очень сознательно принятаго для руководства.

Впрочемъ, намъ нѣтъ никакой надобности останавливаться надъ характеристикой всѣхъ блестящихъ свойствъ „возродившейся“ литературы,—сами господа Благосвѣтловъ и Антоновичъ, эти первенцы „новаго вѣющаго духа“ расточатъ передъ публикой все многообразіе даровъ его, въ сегоднишнихъ журнальныхъ замѣткахъ. Большіе искусники въ борьбѣ à la Renaissance, духоносцы этой великой эпохи,—они обратились теперь одинъ противъ другаго и разятъ другъ друга по всѣмъ правиламъ своего искусства. Современникъ и Русское Слово схватились между собою на смерть въ февральскихъ книжкахъ; читая эти книжки, видишь, какъ эта пресловутая эпоха возрожденія—сама себя наконецъ хоронитъ. Но прежде чѣмъ приступить къ описанію этой послѣдней борьбы, остановимся на одномъ эпизодѣ, который, собственно говоря, и подалъ къ ней поводъ,—это курьёзъ не изъ послѣднихъ. Возникла горячая полемика между Современникомъ и Русскимъ Словомъ по вопросу о Неграхъ,—разскажемъ вкратцѣ въ чемъ тутъ дѣло.

Видите-ли, многіе ученые особенно симпатичные для нашихъ реалистовъ—Гексли и Фогтъ напримѣръ—стоятъ на томъ, что млекопитающіе черной расы (т. е. Негры) и млекопитающіе бѣлой расы (т. е. Европейцы)—совершенно два разныхъ сорта млекопитающихъ. Если это такъ—а реалисты Русскаго Слова и не сомнѣваются, что оно такъ—тогда надо имѣть смѣлость своихъ убѣжденій! какъ говорятъ Французы. Такъ какъ „Фогтъ и Гексли, говоритъ Русское Слово, признаютъ Негра низшимъ по организаціи, чѣмъ бѣлый человѣкъ, то и рабство черной расы представляется явленіемъ совершенно естественнымъ и нормальнымъ“. На этомъ Русское Слово и стало себѣ въ побѣдительной позѣ человѣка, изумившаго міръ стойкостью своихъ убѣжденій. Мы находимъ, что съ точки зрѣнія чистаго реализма, Русское Слово право. Оно имѣетъ законное основаніе поглядывать теперь съ гордостью на противниковъ: вы, дескать, и принимаете взглядъ Фогта и Гексли, да боитесь выводовъ; а *я*, Русское Слово, разъ приняло ихъ взглядъ, такъ отстаиваю молодцомъ и вы-

воды, логически изъ него вытекающіе! Вѣроятно, вслѣдствіе опечатки, но въ подлинникѣ стоятъ даже не выводы, а выгоды. Однакожъ, это можетъ быть и не опечатка: съ точки зрѣнія чистаго реализма, пожалуй, представляется еще и выгодно на-слѣпо вѣрить авторитету Гекслей и Фогтовъ! „Но, какъ скоро взглядъ ихъ будетъ принятъ, то должны быть приняты и вытекающія изъ него логическія выгоды“ говоритъ Русское Слово (декабрь, 1864 г. Библ. листокъ, стран. 22, строки 7—9). Съ своей точки зрѣнія, повторяемъ, Русское Слово совершенно право. Пусть докажутъ ему, что съ точки зрѣнія глубочайшихъ интересовъ души человѣческой, всѣ люди между собою братья и нѣтъ болѣе Еллина, нѣтъ болѣе Скиѳа. Для реалиста, допустимъ, это не убѣдительно: оно и мелочно и случайно! Но какой-же онъ будетъ реалистъ, и еще развѣ онъ лиходѣй самому себѣ, чтобы не признавать различія бѣлой и черной расы млекопитающихъ, когда все это „обусловливается не какими-нибудь случайными признаками, а естественно-историческими!“

Чуткій Современникъ однакоже сразу смекнулъ, что тутъ дѣло не ладно. „Это промахъ! это со стороны новѣйшихъ реалистовъ непростительный промахъ!“ сейчасъ-же завопилъ этотъ ловкій и старѣйшій представитель естественно-историческаго принципа въ философіи.

Онъ не сообразилъ однако, что съ точки зрѣнія чистаго реализма, дилемма по вопросу о Неграхъ и точно выходитъ безвыходною! Вопросъ поставленъ Русскимъ Словомъ прямо. Принялъ основанія, прими и послѣдствія; стоишь на своемъ, что кромѣ естественно-историческаго принципа, все трынъ-трава на свѣтѣ—не возмущайся тогда и тѣмъ, напримѣръ, „что вопросъ объ отношеніяхъ бѣлой и черной расъ съ точки зрѣнія вопроса объ единствѣ или не единствѣ человѣческаго рода рѣшается иначе, чѣмъ съ точки зрѣнія чисто-филантропической!“ Кто не похвалитъ Русскаго Слова за откровенность? Такъ, совершенно такъ! Русское Слово окончательно выступаетъ, какъ бѣдовое дитя реализма!.. его искренность и простота въ доведеніи началъ своего ученія до абсурда—безпримѣрна! Взявъ за основу всей философіи извѣстное положеніе, Русское Слово—положимъ даже вмѣстѣ съ господами Фогтомъ и Гекслі—дошло наконецъ путемъ самыхъ простыхъ умозаключеній до совершеннаго абсурда: „рабство Негровъ—явленіе вполнѣ нормальное“. Чего же лучше?

этотъ самый абсурдъ казалось бы и долженъ надоумить реалистовъ о неосновательности положенія, которое вольно-жь имъ было и брать во главу угла всей философіи!

— Нѣтъ, вмѣшивается въ этотъ споръ Современникъ— въ нашемъ вопросѣ о Неграхъ... развѣ вы не видите въ чемъ все дѣло? Слушайте: и Фогтъ, и Гексли конечно правы, полагая существенную разницу между сортами млекопитающихъ; правы и вы, когда, отвергая точку зрѣнія какихъ-то высшихъ человѣческихъ интересовъ, все низводите исключительно къ млекопитанію. Но дѣло въ томъ, что „истинно-гуманные люди, особенно реалисты, должны заботиться о смягченіи даже рабства животныхъ, даже ихъ права защищать, не говоря уже о Неграхъ, которые все-таки люди“.— (Современникъ №№ 11, 12. Посторонній Сатирикъ).

Истинно-гуманные люди (повторимъ опять эти напечатанныя слова Посторонняго Сатирика), особенно реалисты, должны заботиться о смягченіи рабства даже животныхъ! даже ихъ права защищать, не говоря уже о Неграхъ, которые все-таки люди!! Вотъ оно, истинное-то понятіе гуманности! Мудрость еще библейская завѣщала намъ совѣтъ: „блаженъ мужъ, иже и скоты своя милуетъ“; этотъ совѣтъ чтитъ еще и человѣкъ XIX вѣка, по скольку въ немъ выражено желаніе, чтобы въ своихъ отношеніяхъ человѣкъ даже на всю безсловесную природу переносилъ ту святость, ту нравственность, которыми должны быть запечатлѣны между людьми всѣ ихъ собственныя взаимныя отношенія. Но опытный реалистъ Современника понимаетъ всѣ вещи навыворотъ: самую гуманность людей къ людямъ, то-есть Европейцевъ къ Неграмъ, онъ ничѣмъ лучше не нашелъ оправдать и объяснить себѣ, какъ гуманностію къ животнымъ (?) и, признавая еще какія-то юридическія права за безсловесными, онъ едва-ли и всѣхъ человѣческихъ правъ, такимъ образомъ, не признаётъ въ одномъ... скотоподобіи.

Этотъ самый споръ о Неграхъ и привелъ къ катастрофѣ, разразившейся теперь въ февральскихъ книжкахъ Русскаго Слова и Современника. Первенцы „новаго вѣющаго духа“, сыны „зари“ и духоносцы великой „эпохи возрожденія“—съ одной стороны представитель Современника, съ другой стороны представитель Русскаго Слова—обмѣниваются передъ публикой взаимными любезностями во вкусѣ à la Renaissance и расточаютъ другъ на друга столь извѣстные дары реализма... Мы ничего лучше не можемъ сдѣлать,

какъ изложить этотъ послѣдній споръ реалистовъ въ формѣ діалога — и всѣ реплики, какъ одного, такъ и другаго передадимъ въ подлинникѣ.

Этотъ діалогъ ведутъ между собою оба главнѣйшіе представители того и другаго журнала. Со стороны Современника выступаетъ Посторонній Сатирикъ (ниже мы увидимъ, кто онъ именно); со стороны Русскаго Слова выступаетъ самъ издатель г. Благосвѣтловъ.

Посторонній Сатирикъ.—„...Лукавый попуталъ г-на Благосвѣтлова... Онъ весь о натюрель раскрылся передъ публикой, обнаружилъ все свое нутро и валитъ, валитъ неудержимо все, что тамъ у него, невѣдомо ни для кого, лежало спрятаннымъ въ его нутрѣ. И въ настоящую минуту я держу этого самообнаружившагося г. Благосвѣтлова у себя на ладони и покажу его со всѣхъ сторонъ почтеннѣйшей публикѣ“. (Современникъ, февраль, Литерат. мелочи, стр. 368).

Издатель Русскаго Слова.—„Ахъ вы лгунишка! Ахъ, вы сплетникъ литературный! И вы собираетесь посадить меня къ себѣ на ладонь и показать публикѣ? Но я совѣтывалъ-бы вамъ не садиться ни на чью ладонь, а спрятаться куда-нибудь въ сапогъ и не показывать вашихъ безстыжихъ глазъ ни въ редакцію Современника, ни своимъ знакомымъ. А вамъ, г. Некрасовъ, не стыдно помѣщать такую мерзость на страницахъ вашего журнала? Или вы на все махнули рукой?“ (Русское Слово, Февраль, Литерат. Обозрѣніе, стр. 72).

Посторонній Сатирикъ. — „Ахъ, какъ онъ безсовѣстно запирается и лжетъ, этотъ г. Благосвѣтловъ!... Ужъ этого я признаюсь не ожидалъ даже отъ г. Благосвѣтлова; я зналъ, что онъ пойдетъ на самыя крайнія мѣры, чтобы спрятать свой замаранный хвостикъ, но такого безсовѣстнаго запирательства я ужъ никакъ не ожидалъ. Я никогда не грозилъ родственникамъ г. Благосвѣтлова и даже не знаю, есть-ли они у него до седьмаго колѣна... Вы, г. Благосвѣтловъ, нѣкогда въ графской передней почивали, вмѣсто лавровъ, на связкѣ парадныхъ гербовыхъ ливрей... Да, г. Благосвѣтловъ, я могу гордиться милостями „одного лица“ (авторъ „Эстетическихъ отношеній“, какъ это объясняютъ спорящіе), гордиться потому, что я заслужилъ ихъ; эти милости безконечно почетнѣе и выше, чѣмъ всѣ барскія и графскія милости, которыя пріобрѣтаются усердною стойкой въ графской передней и искуснымъ хожденіемъ на заднихъ лапкахъ передъ господами... Та, та, та, вотъ я того и добиваюсь, чтобъ вы указали печатно погрѣшности „одного лица“; я знаю, что прежде находясь на службѣ у г. Краевскаго и графа Кушелева-Безбородко, вы смѣло говорили объ этихъ погрѣшностяхъ, а теперь вотъ молчите и даже стараетесь прикинуться поклонникомъ „одного лица“. Повѣрьте, если-бы я былъ богатымъ баріномъ и если-бы вы мнѣ хорошенько угождали, я-бы тоже озолотилъ васъ: я-бы подарилъ вамъ журналъ, я-бы далъ вамъ типографію, я-бы далъ вамъ на первоначальное обзаведеніе, — на молъ,

тебѣ за вѣрную службу и помни своего барина!“ (Тамъ-же, стр. 369, 371, 373, 375, 376).

Издатель Русскаго Слова.—„Укажите хоть одну фразу во всѣхъ моихъ статьяхъ, которая была-бы лаемъ противъ автора Эстетическихъ отношеній. Если вы не укажете, то оставайтесь лгуномъ, помноженнымъ на три. Зачѣмъ-же мнѣ было лаять на него?—посудите вы сами, умная голова. Но вы и тутъ лжете, т. е. вы рѣшительно ни одного слова не можете сказать, чтобы не соврать и не напечатать вашего вранья на 20 или 30 страницахъ. Хлестаковъ мой утверждаетъ, что я спалъ въ графской передней на ливреяхъ. Дѣйствительно, спалъ, и тогда-же убѣдился, что гораздо приличнѣе находиться въ обществѣ ливрейныхъ лакеевъ, чѣмъ въ такой компаніи, какъ литературный лгунишка Современника и его пріятель, говорящій поносныя слова въ лицо. Посторонній Сатирикъ не упустилъ даже случая укорить меня тѣмъ, что я угождалъ графу Кушелеву, чтобы получить отъ него Русское Слово въ подарокъ. Журналъ этотъ, какъ извѣстно всякому, былъ принятъ послѣ закрытія его на 8 мѣсяцевъ въ 1862 году и когда графъ Кушелевъ отказался продолжать его, я съ величайшимъ рискомъ принималъ журналъ, въ которомъ я уже работалъ около двухъ лѣтъ, и оставить его не хотѣлъ. Отъ такихъ подарковъ я никогда не отказываюсь. Независимость-же этого органа отъ какихъ бы то ни было графскихъ или другихъ вліяній извѣстна даже швейцару Кушелева, а потому я отсылаю г. Посторонняго Сатирика за справкой къ этому почтенному старику. Что-же до типографіи, то она пріобрѣтена мною... за сколько именно—объ этомъ г. Посторонній Сатирикъ можетъ узнать у того же швейцара“ (Тамъ-же стр. 74, 76, 77).

Посторонній Сатирикъ.—„Я приглашаю г. Благосвѣтлова, чтобъ онъ себя смазалъ той размазней, о которой онъ говоритъ, такъ чтобы изъ него вышелъ настоящій бутербродъ съ размазней... Нѣтъ, другъ мой... я ужъ не назову васъ ни душкой, ни милашкой, а просто бутербродомъ, да еще гнилымъ... Я остроту эту (острота „бутербродъ“) заимствовалъ отъ одного изъ редакторовъ Русскаго Слова, который всегда называетъ г. Благосвѣтлова въ глаза самыми поносными именами... мнѣ слѣдовало-бы повѣдать публикѣ тѣ поносныя, но справедливыя имена, которыми одинъ изъ редакторовъ Русскаго Слова называлъ г. Благосвѣтлова. Но я прощаю“. (Тамъ-же, стр. 372, 377).

Издатель Русскаго Слова.—„Что это за редакторъ Рус. Слова? не укажетъ-ли г. Посторонній Сатирикъ. Если это тотъ самый господинъ, который въ безобразномъ видѣ явился на обѣдѣ только-что похороненнаго Свириденки и щеголялъ остротами Фокина противъ меня и противъ Рус. Слова вообще, то мнѣ остается только прибавить, что этотъ господинъ говоритъ поносныя слова только въ тѣхъ случаяхъ, когда ему подаютъ салазки изъ какого-нибудь журнала и говоритъ всегда заочно. Впрочемъ, человѣкъ, которому осталось только кувыркаться колесомъ вмѣстѣ съ Фокинымъ, можетъ и не сознавать того, что говорить поносныя слова въ глаза другому лицу—отвратительно и для собственной физіоно-

міи убыточно. Чтобы поправить это лганье, я приглашаю г. Посторонняго Сатирика справиться у людей, знающихъ близко мои бывшія отношенія къ этому остряку, выдумавшему бутерброды". (Тамъ-же, стр. 77).

Посторонній Сатирикъ.—„Вотъ и выходитъ, что вы шалопай и бутербродъ!.. Не опровергай г. Благосвѣтловъ моихъ словъ объ немъ, не называй меня лжецомъ, я-бы оставилъ свои слова безъ доказательствъ, и замаранный хвостъ г. Благосвѣтлова такъ бы и оставался скрытымъ отъ взоровъ публики" (Тамъ-же, стр. 377, 378).

Издатель Русскаго Слова.—„Вы пожалуй способны и на то, чтобы открыть какую-нибудь безыменную статью и навязать ее мнѣ или поручить такому герою, какъ г. Ив. Дмитріевъ въ „Будильникѣ", сочинить нарочно для моего обвиненія. Нѣтъ, не дѣлайте этого; а то я жестоко уличу васъ, и вмѣстѣ съ грязнымъ хвостикомъ подарю вамъ и колпакъ съ ослиными ушами". (Тамъ-же, стр. 76). Наконецъ считаю не лишнимъ предупредить васъ, что если вы намѣрены и на будущее время касаться нравственной стороны моихъ убѣжденій и лгать, подобно приведенному мною случаю, то прошу васъ ставить подъ такими обвиненіями ваше собственное имя; иначе я принужденъ буду снять съ васъ маску и показать своимъ читателямъ, съ кѣмъ я имѣю дѣло?" (Тотъ-же, тому-же. Русск. Слово. I т. или смотри выписку Совр. февр., стр. 375).

Посторонній Сатирикъ.—„О, я былъ-бы этому безконечно радъ, потому что ваша дерзость дала-бы и мнѣ право и поводъ снять съ васъ маску; раскрыть всю вашу подноготную и повѣдать всему міру повѣсть о томъ, какъ вы вдругъ сдѣлались издателемъ Русскаго Слова. (Совр., февр. 375).

Издатель Русскаго Слова.—„Я долженъ объявить, что подъ маской Посторонняго Сатирика дебютируетъ г. Антоновичъ и кромѣ г. Антоновича едва-ли кто сталъ-бы такъ умно и такъ прилично дебютировать" (Рус. Слово, стр. 78).

Мы выписали изъ подлинника только малую долю. Занавѣсъ надъ возмутительной оргіей приподнятъ нами лишь вполовину.

„Новый вѣющій духъ" никогда еще не разражался такъ смрадно, какъ въ этихъ статьяхъ—двухъ главнѣйшихъ дѣятелей „эпохи возрожденія". Читатель, надѣемся, видитъ наконецъ самъ, что этотъ „новый вѣющій духъ Современника и его возрожденіе"—духота разлагающихся міазмовъ и уже совершенное гніеніе.

V.

Мы не даромъ заподозрили лихорадочную дѣятельность и возбужденность, которую Петербуржская журналистика выказала въ началѣ года. Въ той возбужденности и въ той лихорадочности со стороны редакцій, мы усматривали самый плохой знакъ для оцѣнки

дѣйствительныхъ, наличныхъ силъ нашего *насилованнаго*, какъ намъ казалось, журнализма.

Были-ли мы правы,—лучшимъ на это отвѣтомъ служатъ сами факты. Библіотека для Чтенія, вызвавшись было выдавать по двѣ книжки въ мѣсяцъ, кончила тѣмъ, что не выдаетъ теперь ни одной, а отложила свое изданіе впредь до осени. Эпоха окончательно прекратилась. Что касается до Отечественныхъ Записокъ, то онѣ продолжаютъ выходить своимъ чередомъ; но каковы-бы ни были достоинства или недостатки этого журнала, ему недостаетъ души журнала — направленія. *Энциклопедизмъ* — не направленіе; а Отечественныя Записки только имъ и щеголяютъ. Волей-неволей, ограничиваемъ пересмотръ журналовъ опять Русскимъ Словомъ да Современникомъ.

Читатели не забыли, можетъ быть, что въ послѣднемъ спорѣ реалистовъ обѣ спорящія стороны ссылались поминутно на книгу „Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности". Эта книга для реалистовъ нѣчто болѣе священное, чѣмъ алкоранъ для мусульманина. „Эпоха возрожденія", „новый духъ вѣющій", нигилизмъ или реализмъ (назовите, какъ угодно) начинаютъ свою геджиру именно съ появленія этой книги. Вотъ, г. Пыпинъ заблагоразсудилъ издать эту пресловутую книжку вторымъ изданіемъ; можно-ли было сомнѣваться, что весь лагерь реалистовъ не иначе будетъ привѣтствовать это событіе, какъ капитальнѣйшее и замѣчательнѣйшее изо всѣхъ литературныхъ событій за послѣднее время. Появились „Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности" вторымъ изданіемъ—появились въ самомъ дѣлѣ и восторженныя импровизаціи на эту тему, какъ въ Современникѣ, такъ и въ Русскомъ Словѣ. Хвала отъ нихъ г-ну Пыпину!

Увы, однакожъ! оказывается много воды утекло съ тѣхъ поръ, какъ этотъ алкоранъ впервые озарилъ умъ легковѣрнаго мусульманина. Съ свойственной всякому неофиту вѣрой, тогдашній приверженецъ „Эстетическихъ отношеній къ дѣйствительности" сразу ожидалъ наступленія новой эры, новаго золотаго вѣка для всего человѣчества. Вся бѣда, видите-ли, заключалась въ томъ, что люди съ самаго начала придавали слишкомъ большое значеніе и слишкомъ огромную цѣну такимъ пустякамъ, каковы напримѣръ поэмы Гомера, статуи Микель-Анджело и картины Рафаэля! Нужно было явиться смѣлому уму, который ясно-бы выговорилъ, что вся подобная дребедень выѣденнаго яйца не стоитъ,—и тогда

дѣло въ шляпѣ. Тогда—представлялось юному неофиту — человѣчество, безъ всякаго сомнѣнія, сразу отречется отъ „отвратительныхъ, вредныхъ“ (какъ ихъ называетъ г. Зайцевъ) эстетическихъ наслажденій; все обратится сейчасъ же къ *„реализму“*; а ужъ отъ реализма до золотаго вѣка — рукой подать.

Довольно просмотрѣть извѣстную часть нашей журналистики лѣтъ за восемь, за девять тому назадъ (или даже Русское Слово за сію минуту), чтобы дѣйствительно убѣдиться, что такъ, а не иначе представляли себѣ наши юные неофиты. Что-же? за горами-ли у всѣхъ эти какія-нибудь восемь или девять лѣтъ!.. А поклонники новаго ученія уже отказываются отъ своего алкорана. Инициатива въ этомъ дѣлѣ, comme de raison, принадлежитъ Современнику. Г-нъ Антоновичъ уже не одинъ разъ предостерегалъ реалистовъ Русскаго Слова отъ опасности крайнихъ выводовъ. Заботливость, съ которой онъ постоянно искалъ отпарировать смертельные удары, наносимые „реализму“ самыми горячими его поклонниками въ лицѣ гг. Писарева, Зайцева и К°, эта заботливость со стороны г. Антоновича — истинно умилительна. Но что хотите? Русское Слово (это, какъ мы назвали его въ другомъ мѣстѣ, *пагубное дитя реализма*) твердо стоитъ въ своемъ рѣшеніи: оно хочетъ довести до абсурда, непремѣнно скорѣйшимъ путемъ и до полнѣйшаго абсурда, всѣ апоѳегмы своего ученія, всѣ идеалы своего алкорана. Умилительная заботливость г. Антоновича, такимъ образомъ, пропадаетъ совершенно даромъ. Больше того: по вопросу объ „Эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дѣйствительности“ эта заботливость г. Антоновича обратилась прямо во вредъ реализму, въ ущербъ ему. Изъ похвальнаго желанія, чтобы по вопросу „объ Эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дѣйствительности“ *новый вѣющій духъ* не вовсе разошелся со здравымъ смысломъ, г. Антоновичъ предложилъ реалистамъ Русскаго Слова нѣкоторые компромисы, которые если и не удовлетворяли всѣмъ строгимъ требованіямъ чисто-кровнаго реализма, за то по крайней мѣрѣ спасали его отъ необходимости въ вопросѣ объ искусствѣ договариваться до абсурда. Какъ-же поступило въ этомъ случаѣ Русское Слово? Оно поступило рыцарски. Оно тутъ-же уличило г. Антоновича въ отступничествѣ отъ ихъ общаго алкорана,— и молодцомъ вывело на свѣжую воду всю его схизму. Какъ онъ ни уловчался согласить реальный взглядъ на искусство съ требованіемъ здраваго смысла, но Русское Сло-

во пресѣкло ему къ тому всѣ пути и отняло всякую возможность. Вопросъ о несолидарности реальной точки зрѣнія на искусство ни съ какой другою, удовлетворяющей требованіямъ здраваго смысла, этотъ вопросъ—поставленъ теперь Русскимъ Словомъ внѣ всякаго спора. Сей любопытный эпизодъ по поводу „Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности“ мы и хотимъ разсмотрѣть въ нынѣшнихъ журнальныхъ замѣткахъ.

Вотъ какія мысли приходятъ на умъ г. Антоновичу, теперь въ 1865 году, когда онъ перечитываетъ книгу „объ Эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дѣйствительности“ (тому назадъ девять-десять лѣтъ открывшую новую эру нашей литературы, очистившую аугеевы ясли, по выраженію г. Благосвѣтлова).

„Эстетическое наслажденіе, говоритъ г. Антоновичъ, есть нормальная потребность человѣческой природы, удовлетворяемая прекрасными предметами; и невозможно придумать никакого основанія, которое-бы могло дать право воспрещать или даже порицать удовлетвореніе этой потребности. Значитъ, искусство, какъ удовлетвореніе этой потребности, полезно, если бы оно даже больше ничего и не давало человѣку, кромѣ эстетическаго наслажденія, еслибъ оно было просто искусствомъ для искусства, безъ стремленія къ другимъ высшимъ цѣлямъ. Кромѣ того, эстетическое наслажденіе полезно и тѣмъ, что оно значительно содѣйствуетъ развитію человѣка, уменьшаетъ его грубость, дѣлаетъ его мягче, впечатлительнѣе, вообще гуманнѣе, сдерживаетъ его дикіе инстинкты, неестественные порывы, разгоняетъ мрачныя своекорыстныя мысли, ослабляетъ преступныя намѣренія и возстановляетъ въ человѣкѣ тихую гармонію, устраняя диссонансы, производимые всѣмъ, что есть дурнаго въ людяхъ и ихъ отношеніяхъ; и это очень понятно, потому что искусство удовлетворяетъ естественной, нормальной потребности, а человѣкъ всегда бываетъ лучше и добрѣе, когда его натура удовлетворяется во всѣхъ ея нормальныхъ потребностяхъ“ (Мартъ, „Современникъ“ 1865 г.).

Кажется, ясно? Г. Антоновичъ билъ недавно въ набатъ противъ искусства, поэзіи и эстетическихъ отношеній, наравнѣ со всѣми своими сотоварищами по журналу; полагалъ наравнѣ съ недоучившимися гимназистами, что искусство не имѣетъ никакой цѣли и никакого внутренняго самооправданія, а потому должно быть безпощадно изгнано изъ общества; полагалъ наконецъ, что если искусство и можетъ къ чему стремиться, то развѣ-развѣ къ слѣпому подражанію природѣ, а слѣдовательно опять-таки должно быть изгнано: никакое, дескать, подражаніе напримѣръ яблоку или винограду, кистью и красками на холстѣ, не сравнится съ дѣйствительнымъ яблокомъ и виноградомъ, сладкими на вкусъ и

съѣдобными. Г. Антоновичъ, наговорившій тысячу вещей въ этомъ родѣ или и еще болѣе забавныхъ, которыя и имъ самимъ и его сотоварищами по журналу высказывались на всѣ лады въ столь недавное время,—г. Антоновичъ, теперь, или справившись съ болѣе серьезными гимназическими руководствами или наконецъ умудренный собственнымъ своимъ личнымъ опытомъ по части художествъ, измѣнилъ свои взгляды. Онъ кается и винится теперь въ тѣхъ непростительныхъ грѣхахъ шаловливой юности; онъ откидываетъ взглядъ на искусство, свойственный только недоучившимся гимназистамъ, и смиренно принимаетъ тотъ самый, къ которому давнымъ-давно обязываетъ здравый смыслъ всего человѣчества, никакъ не считающій за дребедень и пустяки ни поэмъ Гомера, ни статуй Микель-Анджело, ни картинъ Рафаэля.

Можно бы было радоваться, и только радоваться, такому внезапному превращенію мнѣній Современника. Правда, какъ новообращенный поклонникъ искусства и новичекъ въ дѣлѣ „эстетическихъ наслажденій", г. Антоновичъ изъ одной крайности впалъ въ другую: его тирада о смягченіи нравовъ, гармоніи и пр. уже слишкомъ сантиментальна. Онъ еще, очевидно, не додумался до того, что человѣкъ и въ своихъ эстетическихъ стремленіяхъ одинаково долженъ быть подчиненъ неумолимымъ запросамъ правды и нравственности; онъ не додумался до того, что эстетическія стремленія, безъ этихъ запросовъ, сами по себѣ ничуть еще не дадутъ никакой гуманности: какъ Нерона или Геліогабала, они, эти артистическія струны, эти эстетическія стремленія способны еще навести на чудовищное желаніе любоваться напр. пылающимъ Римомъ или судорожною агоніей празднолюбцевъ, задыхающихся подъ моремъ розъ и фіалокъ, въ видѣ шутки обрушенныхъ на нихъ съ потолка. Но не въ этомъ дѣло. Конечно, говоримъ, было-бы желательно, чтобъ г. Антоновичъ приступалъ къ апологіи искусства съ бо̀льшимъ знаніемъ дѣла и точнѣе-бы умѣлъ опредѣлить его полезность; но во всякомъ случаѣ, на первый разъ довольно уже и того, что Современникъ смѣло и рѣшительно объявилъ себя за искусство, и потребность „эстетическаго наслажденія" заботливо принялъ подъ свою опеку. Г. Соловьевъ (прежній критикъ Эпохи, а нынѣ Отечественныхъ Записокъ) такъ выражаетъ свои сочувствія къ новой мысли, высказанной г-номъ Антоновичемъ.

„На мысль о связи нравственно-эстетическаго начала съ гуманнымъ — говоритъ онъ — мы налегали во всѣхъ своихъ статьяхъ.

Это, можно сказать, самая дорогая, самая близкая намъ мысль. Еще въ ноябрѣ прошедшаго года мы говорили и доказывали, что нравственное чувство есть тоже, что чувство эстетическое, примѣненное только къ дѣйствительной жизни.— Въ январѣ нынѣшняго года, продолжаетъ г. Соловьевъ, мы еще точнѣе, короче высказали эту же мысль. Натуральное чувство — чувство эстетическое и гуманное чувство или чувство человѣческое, находясь въ неразрывной связи другъ съ другомъ, должны служить основой настоящаго воспитанія.— Мы не хотимъ сказать всѣмъ этимъ, заключаетъ г. Соловьевъ, чтобы г. Антоновичъ отъ насъ заимствовалъ. Когда приходитъ время нарожденія новой мысли, то она является во многихъ головахъ разомъ" („Отечественныя Записки", іюнь, книжка 1-я. Вопросъ объ искусствѣ).

И такъ, новая мысль, явившаяся во многихъ головахъ разомъ, народилась въ Петербуржской журналистикѣ нынѣшнимъ лѣтомъ. Эта новая для Петербуржской журналистики мысль,—мысль, заключающаяся въ томъ, что „искусство смягчаетъ нравы" и которую, сказать мимоходомъ, можно повстрѣчать еще въ калиграфскихъ прописяхъ прошлаго вѣка,—эта мысль подняла противъ себя цѣлую бурю въ станѣ реалистовъ Русскаго Слова.

„О, г. Антоновичъ вы просто превзошли самого себя! (восклицаетъ г. Писаревъ въ майскомъ нумерѣ Русскаго Слова). Г. Дудышкинъ и г. Incognito, г. Страховъ и г. Косица, г. Аверкіевъ и г. Николай Соловьевъ стремятся въ ваши объятія. „Хочу цѣловать! хочу цѣловать!" поютъ они хоромъ, и непремѣнно поцѣлуютъ васъ, тѣмъ болѣе, что вы, смягченные и разнѣженные искусствомъ, т. е. ихъ пѣніемъ, *сдержите* ваши *неестесственные порывы*, *разгоните* ваши *мрачныя мысли*, *ослабите* ваши *преступныя намѣренія*, *возстановите* въ себѣ *тихую гармонію*, *устраните диссонансы*, *производимые всѣмъ, что есть дурнаго въ людяхъ*, и, слѣдовательно, не станете отвертываться отъ филистерскихъ безешекъ этихъ людей". (Р. С. V. „Разрушеніе Эстетики", стр. 29).

Но не одними „филистерскими безешками" грозитъ авторъ „Разрушенія Эстетики" г-ну Антоновичу.

„Вы! восклицаетъ онъ на страницѣ 28-й, вы, критикъ Современника, преемникъ Добролюбова и ученикъ автора „Эстетическихъ Отношеній", вы считаете вашей обязанностью принять подъ свое просвѣщенное покровительство... разныя эстетическія пожеланія!" И г. Писаревъ выписываетъ цѣликомъ эту убійственную цитату *преемника Добролюбова*: Искусство, какъ удовлетвореніе эстетической потребности, полезно, еслибы оно даже больше ничего и не давало человѣку, кромѣ эстетическаго наслажденія, если бы оно было просто искусствомъ для искусства, безъ стремленія къ другимъ высшимъ цѣлямъ". Значитъ, спрашиваетъ авторъ „Разрушенія Эстетики", выписавъ эту цитату „значитъ Добролюбовъ, сражавшійся въ теченіи всей своей жизни

противъ искусства для искусства, сражался противъ полезнаго явленія?! и слѣдовательно принесъ Русскому обществу очень много вреда?“ („Разрушеніе Эстетики“, стр. 28). „Это говоритъ критикъ Современника! — устыжаетъ въ заключеніе г. Писаревъ г-на Антоновича — и что всего любопытнѣе, онъ говоритъ это, прикрываясь „Эстетическими Отношеніями“! Знаете-ли вы, г. Антоновичъ, какое существенное различіе сохранилось до сихъ поръ между вами и г. Николаемъ Соловьевымъ? — Только то, милостивый государь, что вы пишете въ такомъ журналѣ, изъ котораго несравненно сильнѣе г. Николая Соловьева можете извращать понятія читающей публики“ (Тамъ-же).

Хотя въ этихъ строкахъ, при всей рѣзкости негодованія противъ Современника звучитъ еще и косвенный мадригалъ ему: Современникъ въ сравненіи, напримѣръ, съ Отечественными Записками, все еще представляется реалисту страшною силой, ворочающею чуть не цѣлой Россіей; однакожъ на страницѣ 23 своего разсужденія, г. Писаревъ проговорился уже съ горькими слезами, что „реализмъ“ окончательно утратилъ въ Современникѣ своего — когда-то лучшаго — сына, и отнынѣ вся „высота нравственной философіи“ держится однимъ Русскимъ Словомъ. „О г. Антоновичъ! О, геніальный г. Антоновичъ! Вы себѣ даже и представить не можете, какую пропасть умственной нищеты и нравственной мелкости вы обнаруживаете... Вы говорите откровенно всѣмъ вашимъ читателямъ, что вы никогда не способны возвыситься до пониманія той нравственной философіи, которую, два-три года тому назадъ, поддерживалъ Современникъ и которую въ настоящее время должно защищать отъ вашей жалкой близорукости одно Русское Слово (Тамъ-же, стр. 23).

Но нападеніе на г. Антоновича было сдѣлано въ Русскомъ Словѣ въ два размаха. Если г. Писаревъ пристыжалъ *преемника Добролюбова* болѣе съ точки зрѣнія отступленія отъ родовыхъ традицій; если онъ выводилъ зловредность новаго взгляда Современника на эстетику — не столько изъ сущности самаго искусства, сколько изъ предвзятыхъ, заранѣе разъ навсегда строго-опредѣленныхъ требованій „реализма“, — то г. Зайцевъ, въ четвертомъ нумерѣ Русскаго Слова избралъ для той-же цѣли путь прямо противоположный. — Г. Зайцевъ касается самой сути дѣла; онъ, напротивъ того, заглядываетъ въ самую душу искусства — и потомъ, уже лишь на основаніи этихъ глубокихъ умозрѣній, читаетъ г. Антоновичу мораль объ эстетикѣ.

Правда, г. Зайцевъ высказываетъ не отъ своего имени всѣ тѣ великія истины, которыми мы готовимся поразить нашихъ читателей. Онъ только истолковываетъ мнѣнія автора „Эстетическихъ

Отношеній“ и твердо стоитъ на своемъ, что *„все это напечатано Русскими буквами въ книжкѣ: Объ эстетическихъ отношеніяхъ“*; извѣстный девизъ: не намъ, не намъ, а имени твоему — повторяется г. Зайцевымъ безпрестанно. Но для насъ это все равно; мы будемъ приводить всѣ тѣ великія истины прямо отъ лица г. Зайцева. Авторъ „Эстетическихъ Отношеній“, правда, не могъ-бы и пожелать для своей книги поклонника болѣе восторженнаго, чѣмъ рецензентъ Русскаго Слова; значитъ, допускать, что г-нъ Зайцевъ имѣлъ въ виду намѣренно исказить мудрость этого алкорана — нѣтъ никакой возможности. Если такимъ образомъ ихъ мнѣнія дѣйствительно тождественны, пусть и слава тогда принадлежитъ по праву, автору той книги а не г. Зайцеву. Но если г. Зайцевъ увлекся въ своихъ коментаріяхъ; если именно въ чаду восторга отъ „Эстетическихъ Отношеній“ онъ зашелъ далѣе своего учителя въ глубокихъ умозрѣніяхъ касательно сущности искусства— тогда мы думаемъ быть вдвойнѣ правы передъ авторомъ той книги, приписавъ не ему лично, а самому г. Зайцеву тѣ смѣлые и рѣшительные выводы. Итакъ, что-же такое искусство по мнѣнію г. Варѳоломея Зайцева? въ чемъ заключается, такъ-называемая, эстетическая потребность? и въ чемъ „старые эстетики“ находятъ внутреннее самооправданіе искусства, его raison d'être въ жизни?

Вотъ какъ это объясняетъ г. Варѳоломей Зайцевъ.

„Старые эстетики, говоритъ онъ, разсуждаютъ о происхожденіи искусства такимъ образомъ: человѣкъ чувствуетъ непреодолимое стремленіе къ прекрасному, но не находитъ его въ дѣйствительности; поэтому онъ самъ создаетъ предметы и явленія истинно-прекрасные, вполнѣ удовлетворяющіе его стремленію. Произведенія искусства несравненно прекраснѣе предметовъ, представляемыхъ дѣйствительностью; поэтому они одни могутъ удовлетворить эстетической потребности человѣка, — потребности вполнѣ нормальной и законной. Слѣдовательно, искусство имѣетъ полное и неоспоримое право на существованіе, какъ средство удовлетворить одной изъ первыхъ потребностей человѣка“ (Р. С. IV, стр. 30 Библіографіи).

О какихъ это эстетикахъ говоритъ г. Зайцевъ? Если о тѣхъ, которые естественности предпочитали пудренный парикъ и фижмы; которые любятъ наслаждатся весеннимъ утромъ въ плохо-намалеванной картинѣ дюжиннаго пейзажиста и отплёвываются отъ него въ натурѣ; если, наконецъ, о тѣхъ, которые въ самомъ искусствѣ не хотятъ видѣть ничего болѣе, кромѣ опять той-же природы лишь въ подслащенномъ и подрумяненномъ видѣ, — тогда г. Зайцевъ не имѣетъ ни малѣйшаго понятія объ эстетикахъ и онъ лучше сдѣ-

лалъ-бы, если-бы вовсе закаялся говорить объ искусствѣ. Эти господа такая-же каррикатура на эстетиковъ, какъ напр. проповѣдующій необходимость сморкаться не въ платокъ а на̀ земь, или еще смазывать усы, вмѣсто pommade hongroise, слюнею — пародія и злая каррикатура на человѣка съ естесственными наклонностями.

Прекрасное — есть жизнь, продолжаетъ разсуждать г. Зайцевъ, — стремленіе къ прекрасному, т. е. къ наслажденію, вполнѣ свойственно человѣку, но видите-ли въ чемъ дѣло?

„Но эстетики отрицаютъ, чтобы сама жизнь, сама дѣйствительность могла удовлетворитъ этому стремленію, и для удовлетворенія его создаютъ искусство. Между тѣмъ реалистъ утверждаетъ, что внѣ дѣйствительности нѣтъ истинно-прекраснаго, что она вполнѣ удовлетворяетъ человѣческое стремленіе къ прекрасному. Это утвержденіе равносильно уже отрицанію искусства, потому что имъ вполнѣ доказывается его безполезность... Реалистъ говоритъ, что дѣйствительность вполнѣ способна удовлетворить человѣка съ нормальными, неизвращенными вкусами и желаніями; что въ ней онъ на каждомъ шагу можетъ встрѣтить прекрасное и наслаждаться имъ, и внѣ ея ни въ чемъ не найдетъ такого полнаго удовлетворенія своему стремленію къ наслажденію. Кажется, послѣ этого не можетъ быть уже и рѣчи объ искусствѣ, потому что если оно не можетъ дать того, что даетъ природа, дѣйствительность, то къ чему-же оно?“ (Тамъ-же, стр. 80 — 81).

Ясно кажется, что г. Зайцевъ понятіе „жизнь“ беретъ не въ смыслѣ какого-нибудь принципа или термина, какъ напр. жизненное начало или одухотвореніе, а въ самомъ тѣсномъ, можно даже сказать, въ грубомъ смыслѣ этого слова: жизнь, т. е. дѣйствительность, т. е. природа. Попробуемъ-же теперь приложить такое опредѣленіе прекраснаго — къ искусству, такъ, какъ г. Зайцевъ его понимаетъ; пока мы не возьмемъ ни живописи, ни ваянія, ни поэзіи, обратимся прямо къ зодчеству. Г-нъ Зайцевъ, какъ видно, беретъ всѣ понятія въ самомъ ихъ тѣсномъ, такъ-сказать, буквальномъ ихъ смыслѣ... Сразу, пожалуй, его озадачило-бы и сбило съ толку, что и живопись, и ваяніе, и поэзія могутъ подчасъ выбирать темой для своего возсозданія не только не изящныя темы, а напротивъ отвратительныя до ужасу — и все-таки ихъ возсозданіе можетъ удовлетворить требованіямъ эстетиковъ. Если какое-нибудь изо всѣхъ искусствъ и подходитъ болѣе всего подъ формулу: „въ природѣ прекраснаго нѣтъ, слѣдовательно нужно создать искусство“, то это конечно — зодчество; его на первый разъ и выбираемъ. Что-же однако за галиматья выходитъ теперь, если попробовать выписанную цитату г. Зайцева — приложить къ зодчеству.

Что въ состояніи дать жизнь-природа человѣку на мѣсто, напр. Римскаго Петра и Павла, или Венеціанскаго дворца дожей? Пещеру, разсѣлину въ скалѣ, медвѣдемъ вырытую и потомъ имъ брошенную берлогу — ни даже шалаша, прикрытаго вѣтвями; ни даже простаго сруба, накрытаго сверху соломой. Вотъ все, что по части зодчества въ состояніи дать жизнь, дѣйствительность, природа на удовлетвореніе эстетической потребности человѣка, которой, замѣтьте, г. Зайцевъ „не отрицаетъ“. Онъ, какъ реалистъ, говоритъ только, что „въ жизни, въ природѣ человѣкъ на каждомъ шагу можетъ встрѣтить прекрасное и наслаждаться имъ“, т. е.— по части зодчества — человѣкъ можетъ на каждомъ шагу встрѣтить и пещеру, и медвѣжью берлогу, и просто даже густой кустъ орѣшника — и наслаждаться всѣмъ этимъ. Онъ говоритъ еще: „внѣ природы, внѣ жизни человѣкъ ни въ чемъ не найдетъ такого полнаго удовлетворенія своему стремленію къ наслажденію“. Т. е. по части зодчества, это опять выходитъ: *внѣ* шалаша, *внѣ* медвѣжьей берлоги, *внѣ* куста орѣшника человѣкъ ни въ Римскомъ Петрѣ и Павлѣ, ни въ Венеціанскомъ дворцѣ дожей — не найдетъ такого полнаго удовлетворенія эстетической потребности. Наконецъ его заключеніе: „Кажется, послѣ этого не можетъ быть уже и рѣчи объ искусствѣ, потому что если оно не можетъ дать того, что даетъ природа, дѣйствительность, то къ чему-же оно?“ это заключеніе, говоримъ, въ частномъ приложеніи къ зодчеству — переходитъ въ нижеслѣдующее. Если природа, по части зодчества, предлагаетъ къ услугамъ человѣка для удовлетворенія его эстетическихъ потребностей и орѣховый кустъ, и медвѣжью берлогу, и удобную для житья разсѣлину въ скалѣ; а искусство для той-же цѣли лѣзетъ съ своимъ Петромъ и Павломъ и дворцомъ дожей—тогда къ чему-же оно?

Но довольно о зодчествѣ. Если оно, какъ мы сказали, всего ближе отвѣчаетъ той задачѣ, которую — по увѣренію г. Зайцева— искусству приписываютъ эстетики, то уже ваяніе и живопись, а особливо поэзія, ничуть ей не отвѣчаютъ такъ прямо, такъ непосредственно.

Въ самомъ дѣлѣ, развѣ живописецъ потому приступаетъ къ картинѣ, что нигдѣ и никогда въ жизни, въ дѣйствительности, въ природѣ, не встрѣчалъ ни одного прекраснаго лица, ни одного прекраснаго пейзажа? Напротивъ того, если онъ и пишетъ свой невыразимо-краснорѣчивый ликъ Мадонны, то именно потому, что,

вглядывавшись въ лицо человѣка, онъ поминутно угадывалъ въ немъ тѣ небесныя черты и тѣ внятно-говорящія сердцу движенія, тайну которыхъ и стремился разгадать, истолковать въ томъ цѣльномъ художественномъ образѣ. Если онъ пишетъ картину яснаго росистаго утра или знойнаго пламеннаго вечера, то именно потому, что въ самой природѣ, въ самой жизни картина внятно нагоаривала ему тайну своей прелести—и вотъ именно ее-то, всю обаятельную поэзію того утра и того вечера — онъ и стремился дать всякому почувствовать, всякому истолковать внятно—въ своей картинѣ. Ту-же самую аналогію можно провести и для ваятеля и для поэта—въ области ихъ искусства. Это во-первыхъ. А съ другой стороны: развѣ и поэтъ, и ваятель, и живописецъ избираютъ темою своихъ произведеній непремѣнно добродѣтельнаго героя, непремѣнно Медиційскую Венеру? или, по крайней мѣрѣ, если не Психею, то такіе во всякомъ случаѣ образы, которые ничего не пробудятъ въ душѣ, кромѣ самыхъ сладостныхъ впечатлѣній?

Но художественныя повѣсти Гоффмана избираютъ для себя темой, большею частью, самую темную темь души человѣка; подчасъ онѣ рисуютъ такія смрадныя явленія, которыхъ человѣческое сердце не можетъ не содрагаться, которыя давятъ собой воображеніе и отталкиваютъ прочь отъ себя... Тѣмъ не менѣе однако, такъ какъ Гоффманъ несомнѣнный художникъ, или другими словами, такъ какъ повѣсти Гоффмана несомнѣнно художественныя произведенія, то и чтеніе ихъ доставляетъ эстетическое наслажденіе читателю. Извѣстны подобные примѣры и между живописцами. Одинъ изъ нихъ, напримѣръ, постоянно удалялся въ самыя мрачныя мѣстности, которыя находилъ въ своей округѣ; угрюмое, зловѣщее, все отталкивающее, все антипатичное для души человѣка— вотъ что, повидимому, въ цѣлой природѣ постоянно останавливало на себѣ раздумье этого художника. У себя дома, въ полусумракѣ, въ могильной сырости, онъ окружалъ себя всевозможными гадами, присматривался къ безобразнымъ лохмотьямъ паутинъ и плѣсени по старымъ стѣнамъ — и все причудливое разнообразіе этихъ гадъ и сумрачныхъ призраковъ онъ художественно воплощалъ въ своихъ картинахъ, исполненныхъ чудесной угрюмости. Точно также и ваятель очень часто задается задачей — не какую-нибудь грацію изваять изъ куска мрамора, а омерзительнаго сатира, полускота по своимъ животнымъ, плотскимъ наклонностямъ, — и опять-таки его произведеніе — „эстетики“ назовутъ и глубоко-художествен-

нымъ и способнымъ удовлетворить эстетическимъ потребностямъ, прирожденнымъ душѣ человѣка. Любопытно, какъ все это истолкуетъ г. Зайцевъ при помощи своей узенькой теоріи искусства и какъ онъ теперь съумѣетъ объяснить: почему-же, въ самомъ дѣлѣ, картины нашего чудака-живописца, о которомъ мы сейчасъ сказали, въ цѣломъ мірѣ признаны за художественныя произведенія, доставляющія эстетикамъ невыразимо-глубокое наслажденіе?

Объясненіе тутъ одно и другаго быть не можетъ. Дѣло въ томъ, во-первыхъ, что искусство вовсе *не произошло,* какъ живописно выражается г. Варѳоломей Зайцевъ; а во-вторыхъ — если ужъ и произошло оно, то, по крайней мѣрѣ, совсѣмъ не „такимъ образомъ", какъ онъ это объясняетъ. Всякое искусство — ваяніе-ли, музыка-ли, живопись-ли, все равно, сходитъ къ одному своему главному источнику: къ поэзіи; поэзія-же составляетъ прежде всего ничто иное, какъ только одну изъ формъ человѣческаго сознанія. Желать, чтобы поэзія, какъ и вообще искусство, вдругъ умолкла—рѣшительно тоже самое, что желать, чтобы одно изъ отправленій организма вдругъ перестало дѣйствовать. Иное сознается наукой, иное вѣрой, иное наконецъ именно тою формой сознанія, которую и зовутъ поэзіей. Музыкантъ, живописецъ, ваятель и поэтъ собственно называемый, всякій изъ этихъ художниковъ, въ своей области, ищетъ только выразить, истолковать себѣ и другимъ — тѣ созерцанія души человѣческой въ соприкосновеніяхъ ея съ внѣшнимъ міромъ, которыя не могутъ быть переданы никакимъ другимъ способомъ и ни на какомъ другомъ языкѣ, кромѣ какъ именно въ спеціальной области того или другаго искусства. Искусство, слѣдовательно, и не просто подражаетъ природѣ, и не ищетъ служить ей какою-то замѣной, и не имѣетъ притязаній тягаться съ нею, и ничуть-же не беретъ на себя задачи ее облагороживать. Задача искусства, относительно природы, состоитъ въ томъ именно, что оно—то въ звукахъ, то въ краскахъ, то въ словѣ — постоянно стремится передать все ея многоразличное дѣйствіе на внутренній міръ души человѣка. Но говоря о художникѣ, что онъ стремится передать внутренній міръ души своей—не то-ли именно и разумѣютъ подъ этимъ, что онъ стремится разгадать тѣ самые образы, тѣ впечатлѣнія и созерцанія, которыми, въ томъ или другомъ случаѣ, сама жизнь, дѣйствительность, природа наполняли его душу? А умѣть ихъ самому себѣ выяснить для того, чтобы передать и всѣмъ другимъ — не значитъ-ли ужъ

это, въ свою очередь, умѣть ихъ воплотить, концентрировать и комбинировать въ такомъ цѣльномъ и творческомъ образѣ, что самъ ужъ этотъ новый образъ сполна поглотитъ все ихъ внутреннее содержаніе? Это значитъ еще найти для своей *идеи* вполнѣ *конкретную* форму, такъ что они теперь другъ другомъ взаимно проникнулись и, какъ въ любомъ живомъ организмѣ, неотдѣлимы другъ отъ друга и представляютъ полное гармоническое единство. Вотъ это-то живое единство духа съ матеріей, идеи съ формой, всякой внутренней цѣли съ ея внѣшнимъ проявленіемъ, и принимается обыкновенно „эстетиками“ за самый законъ красоты—какъ въ самой природѣ, такъ и во всѣхъ художествахъ. Соблюденія этого необходимаго условія и требуютъ они, прежде всего, отъ художественныхъ произведеній — для того, чтобы они и въ правду могли удовлетворять „эстетической потребности“; для того, чтобъ они могли служить дѣйствительнымъ источникомъ „эстетическаго наслажденія“. Отсюда ужъ объясняется само собою, почему въ самомъ дѣлѣ „эстетикъ“ въ состояніи любоваться не только чарующей взоръ Діаной или Венерой, но даже и отвратительно-уродливымъ Сатиромъ—лишь бы въ его изваянномъ образѣ сама идея ваятеля выразилась вполнѣ художественно; почему одинаково ему можетъ нравиться живопись, изображающая не розы и амуровъ, а хотя-бы даже и сумрачное шевеленіе гадовъ въ могильномъ смрадѣ—лишь-бы опять самая эта тема была „возведена въ перлъ созданія“. Чѣмъ явственнѣе въ каждомъ данномъ образѣ выразится для восхищающагося зрителя вся тайна симпатіи, существовавшая между душой художника и выборомъ сюжета — тѣмъ, какъ понятно, художественнѣе будетъ самò его произведеніе и тѣмъ глубже и неисчерпаемѣе становится самó „эстетическое наслажденіе“, доставляемое имъ.

Понятно, послѣ всего, что цѣль искусства (изображаетъ-ли оно Венеру, изображаетъ-ли Сатира) во всякомъ случаѣ „эстетики“ не даромъ мотивируютъ идеею о прекрасномъ и естественнымъ стремленіемъ человѣка имъ любоваться. Понятно и то еще, что если и возможно предпочтеніе „прекраснаго въ искусствѣ“ такому-же „прекрасному въ природѣ“—то единственно въ томъ одномъ смыслѣ, что въ природѣ всякое явленіе *существуетъ* безразлично; въ искусствѣ же оно *воспроизведено*, согрѣтое человѣческимъ чувствомъ и просвѣтленное его сознаніемъ.

Иначе понимаетъ всѣ эти простыя вещи г. Зайцевъ. Онъ,

какъ мы видѣли, никакъ не въ состояніи понять, что „эстетики“ весьма хорошо различаютъ задачи природы отъ задачъ искусства и однихъ съ другими не смѣшиваютъ; онъ никакъ не втолкуется въ простую истину, что у природы — одни задачи, а у искусства — свои. Онъ такъ-таки и думаетъ, что по мнѣнію „эстетиковъ“ яблоко и виноградъ тѣмъ именно прекраснѣе въ картинѣ, чѣмъ въ дѣйствительности, что, при художественномъ ихъ возсозданіи, самый вкусъ ихъ дѣлается — и слаще и сочнѣе. Онъ такъ-таки и думаетъ, что — по понятіямъ эстетиковъ — изваянная Венера тѣмъ кажется прекраснѣе живыхъ женщинъ, что и для всѣхъ удобствъ супружеской жизни она гораздо сподручнѣй! Выписываемъ подлинную цитату. Сказавъ, что объ искусствѣ не можетъ быть и рѣчи, „потому что если оно не можетъ дать того, что даетъ природа, дѣйствительность — то къ чему-же оно?“ онъ продолжаетъ сими словами:

„Отъ добра добра не ищутъ, а тѣмъ болѣе отъ полнаго наслажденія—слабой тѣни его? Все это какъ-то странно даже договаривать, потому что это ясно, какъ день, коль скоро допустить, что „дѣйствительность выше искусства“. Поэтому не мудрено, что эстетики до сихъ поръ не хотятъ идти на компромисъ (?!) съ такимъ мнѣніемъ, разрушающимъ въ прахъ всю теорію искусства. Трудно придумать, какой тутъ можетъ быть компромисъ (?!) при томъ онъ совершенно не нуженъ, потому что я не знаю, какія еще старыя дѣвы могутъ теперь раздѣлять отжившія эстетическія заблужденія? Авторъ „Эстетическихъ отношеній“, писавшій свою диссертацію въ эпоху, когда эти заблужденія считались неприкосновеннѣйшими истинами, посвятилъ большую часть своей книги единственно доказательству этого столь несомнѣннаго теперь для насъ положенія: *дѣйствительность выше искусства.* Если-же кто и теперь еще продолжаетъ твердить старое, то съ нимъ уже разговаривать не стоитъ: дать ему нарисованный обѣдъ, вмѣсто грубаго матеріальнаго, поженить его на какой-нибудь эрмитажной богинѣ—и пусть его пишетъ эстетическія критики. Любопытно знать, долго-ли выдержитъ? Впрочемъ такой опытъ совершенно безполезенъ: и безъ него можно навѣрное сказать, что ни одинъ эстетикъ еще не удовлетворялся искусствомъ, хотя-бы онъ былъ со всѣхъ сторонъ окруженъ произведеніями его. Ни одинъ еще эстетикъ не довольствовался созерцаніемъ яблока нарисованнаго, но постоянно всѣ они обнаруживали склонность полакомиться настоящимъ; ни одинъ не довольствовался статуями Венеръ, но обыкновенно всѣ влюблялись въ женщинъ съ плотью и кровью... Теперь для насъ совершенно очевидна нелѣпость эстетическихъ теорій, о которыхъ еще лѣтъ черезъ десять будутъ говорить, какъ говорятъ теперь о мнѣніи, будто міръ стоитъ на четырехъ китахъ, или будто холера ходитъ на курьихъ ножкахъ“. (Тамъ-же стр. 81—82).

Объ „эстетикахъ“ и объ „эстетикѣ“ — какъ теперь видитъ

самъ читатель — г. Зайцевъ, дѣйствительно, имѣетъ такое-же точно понятіе, какъ тѣ, кто думаетъ про міръ, будто онъ на четырехъ китахъ держится или про холеру — что она ходитъ на курьихъ ножкахъ. Но не забудемъ, что всѣ эти умозрѣнія объ искусствѣ и объ „эстетическомъ наслажденіи“ служатъ г. Зайцеву только прелюдіей для того, чтобы тѣмъ доказательнѣе въ концѣ концовъ обличить вольнодумство г. Антоновича, сказавшаго, что эстетическое наслажденіе нормально и искусство полезно. Вотъ какъ реалистъ Русскаго Слова къ этому переходитъ. Согласившись вполнѣ съ авторомъ „Эстетическихъ отношеній“, что все значеніе искусства, такимъ образомъ, ограничивается лишь слабою передачею и простымъ напоминаніемъ дѣйствительности, онъ поясняетъ эту мысль еще и примѣромъ изъ книги: „Море — прекрасно, но не всѣ могутъ любоваться имъ, поэтому для нихъ рисуются картины, изображающія море“. Потомъ, вооружившись этимъ текстомъ самого алкорана, „вообразите-же себѣ!“ восклицаетъ онъ преемнику Добролюбова и ученику автора *Эстетическихъ отношеній:*

„Вообразите себѣ, какая въ самомъ дѣлѣ великая цѣль искусства! чтобы какой-нибудь тамбовецъ, которому съ жиру пришла охота любоваться моремъ, потому что только съ жиру можетъ явиться такая фантазія — могъ немедленно удовлетворить ее, — если только, конечно, онъ въ состояніи заплатить какому-нибудь Айвазовскому 10,000 руб., не безпокоя свой жиръ путешествіемъ въ Петербургъ или въ Одессу! Какъ великъ подвигъ этого Айвазовскаго, избавившаго тамбовца за 10,000 руб. отъ необходимости или тащиться въ такую даль, или отказаться отъ наслажденія моремъ. Увѣнчайте Айвазовскаго! Онъ *великій* художникъ! знаменитый согражданинъ, честь отечества! И вотъ права его на благодарность родины — господинъ, наслаждающійся изъ Тамбова видомъ моря! И какъ прекрасно и полезно, если публика можетъ, такимъ образомъ, совершенно безвозмездно и безъ различія рангова и состояній, созерцать и море, и альпійскіе виды, и разныхъ кардиналовъ, и голыхъ женщинъ. Какъ не сказать, вмѣстѣ съ эстетиками-либералами, въ виду этого великаго значенія и этой грандіозной цѣли искусства, что оно полезно, хотя-бы не давало ничего человѣку, кромѣ эстетическаго наслажденія, хотя-бы было просто искусствомъ для искусства“ (Тамъ-же, стр. 86—87).

Bravo! Энергичнѣе того, какъ это сдѣлано тутъ, нельзя-бы довести „реальной“ точки зрѣнія на искусство — до абсурда. Мастеръ въ своемъ дѣлѣ г. Зайцевъ! Воображаемъ, какого *артиста* пошлетъ ему „ученикъ автора Эстетическихъ отношеній“ за эту восхитительную тираду!

Ну не досадно-ли же, *не обидно-ли* въ самомъ дѣлѣ? „Уче-

никъ", съ своей стороны, сдѣлалъ все для поддержанія и славы и книги своего учителя; но нынѣшнимъ временамъ онъ соорудилъ ей—добрыя подпорки. А эти „бѣдовыя дѣти" не только ихъ съ гамомъ разрушили, а еще и пальцемъ кажутъ: „поставилъ подпорки! поставилъ подпорки!"... Они кличутъ ученика „эстетикомъ-либераломъ". Они говорятъ ему въ лицо, что, „поставленный на этотъ разъ между *да* и *нѣтъ*, онъ съумѣлъ изобрѣсти, вмѣсто отвѣта, какой-то странный звукъ, похожій и на *да* и на *нѣтъ*, а главное, ни на что не похожій". Они сѣтуютъ, наконецъ, что „онъ въ одно и тоже время и принимаетъ всѣ мнѣнія автора „Эстетическихъ отношеній", и протестуетъ противъ тѣхъ, которые приходятъ къ *прежнимъ* выводамъ изъ этихъ мнѣній".

Таковъ-то... еще новый споръ старѣйшихъ дѣтей реализма съ юнѣйшими; мудрено рѣшить: чье изъ нихъ тутъ положеніе забавнѣй.

VI.

Послѣдній споръ реалистовъ Русскаго Слова съ реалистами Современника не ограничивается одними тѣми куріозами, на которые мы обращали вниманіе читателей „Дня" въ прошлыхъ журнальныхъ замѣткахъ.

Есть еще одинъ занимательный эпизодъ въ этомъ спорѣ, который мы и приберегли къ концу — не безъ намѣренія. Если помнитъ читатель, г-нъ Писаревъ въ своемъ „Нерѣшенномъ вопросѣ" между прочимъ такъ охарактеризовалъ реалиста: „человѣкъ строго реальный, говоритъ онъ въ одномъ изъ №№ Русскаго Слова, не нуждается для освѣженія своихъ силъ ни въ любви къ женщинѣ, ни въ драмѣ Шекспира, ни въ веселомъ обѣдѣ съ добрыми друзьями". Вотъ эти-то самыя слова и подали еще поводъ г-ну Антоновичу больно уколоть юнѣйшихъ представителей реализма. Въ своей статьѣ по поводу „Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности", онъ между другими разсужденіями въ пользу и въ защиту искусства говоритъ слѣдующее:

„Говорятъ, будто-бы человѣкъ не долженъ предаваться никакимъ удовольствіямъ, даже эстетическимъ; будто-бы дѣльный и раціональный человѣкъ никогда не позволитъ себѣ наслаждаться какимъ-нибудь художественнымъ произведеніемъ, хотя-бы то было произведеніе высшаго искусства поэзіи; будто-бы такое наслажденіе только разслабляетъ человѣка и есть напрасная трата времени, которое гораздо лучше было-бы употребить на полезныя дѣла, и т. д. Такой сухой, аскетическій взглядъ на искусство понятенъ

и возможенъ только у людей, которые придумываютъ кодексъ человѣческихъ обязанностей не на основаніи реальныхъ свойствъ и потребностей человѣческой натуры, а на основаніи произвольныхъ, фантастическихъ воззрѣній, выработанныхъ мечтательнымъ идеализмомъ и прилагаемыхъ къ человѣку. Кто не держится этихъ воззрѣній, тому рѣшительно не пристало вооружаться противъ искусства и эстетическаго наслажденія, а потому мы и думаемъ, что приведенныя аскетическія воззрѣнія на искусство скорѣе безсознательныя и необдуманныя выходки, чѣмъ сознательныя, отчетливыя сужденія" (Современникъ. Мартъ 1865, стр. 61).

О какихъ *аскетахъ* говоритъ здѣсь г. Антоновичъ? Судя по признакамъ, которыми онъ ихъ характеризуетъ, должно быть про индійскихъ факировъ. Эти господа, дѣйствительно, „придумываютъ кодексъ человѣческихъ обязанностей не на основаніи реальныхъ свойствъ и потребностей человѣческой природы"; ихъ воззрѣнія на этотъ предметъ, дѣйствительно можно, пожалуй, назвать и фантастическими и мечтательными; они видятъ въ подвигахъ своего тѣлеснаго изнуренія какую-то конечную цѣль и изъ самаго подвига, такимъ образомъ, *создаютъ себѣ кумира*. Нѣтъ мудренаго, при этомъ, что и взглядъ на искусство у этихъ грубыхъ аскетовъ вырабатывается совершенно исключительный, по дикости своей соперничествующій развѣ-развѣ съ воззрѣніями реалистовъ Русскаго Слова. Но исторія представляетъ еще примѣры инаго аскетизма. Люди высокаго нравственнаго характера, безспорно первые свѣтила своего времени и до сихъ поръ озаряющіе своимъ свѣтомъ все человѣчество — нерѣдко также дивили міръ суровымъ подвигомъ аскетической жизни. Исторія этихъ людей, однакожъ, показываетъ, что весь „кодексъ" ими понимаемой нравственности — именно былъ сосредоточенъ на существеннѣйшихъ, реальнѣйшихъ свойствахъ человѣческой натуры и отвѣчалъ всѣмъ ея завѣтнѣйшимъ потребностямъ. Исторія показываетъ еще, что эти „иные аскеты" не только, вопреки г-ну Антоновичу, не славились какимъ-то „сухимъ взглядомъ на искусство", а порой бывали еще лучшими его знатоками, — „благороднѣйшаго" по крайней мѣрѣ изъ искусствъ, какъ выражается г. Антоновичъ, поэзіи. Можно-бы привести много примѣровъ тому, какъ эти „иные аскеты" охотно черпали для себя уроки мудрости изъ творческихъ произведеній великихъ поэтовъ, какъ они еще и въ бесѣдахъ своихъ и въ перепискѣ съ друзьями нерѣдко цитируютъ и Виргилія и Гомера.

Но дѣло не въ этомъ; о какихъ-бы аскетахъ ни говорилъ г. Антоновичъ,—Русскому Слову, повидимому, все равно. До-

вольно того, что г. Антоновичъ заподозрилъ этотъ органъ чистѣйшаго реализма въ какомъ-то *идеализмѣ*—и вотъ уже, по мнѣнію реалистовъ Русскаго Слова, это составляетъ обиду самую жгучую, упрекъ самый острый. Г-нъ Писаревъ—все въ той-же статьѣ „Разрушеніе эстетики“—разразился цѣлымъ потокомъ негодованія противъ *преемника Добролюбова* за одну эту возможность предположенія въ Русскомъ Словѣ какого-то... идеализма. Повидимому, реалистъ гораздо охотнѣе приметъ на себя обвиненіе во всѣхъ семи смертныхъ грѣхахъ разомъ—лишь-бы только быть избавленнымъ отъ подозрѣнія хотя-бы въ малѣйшей наклонности къ идеализму. Г-нъ Писаревъ лучше хочетъ приравнять себя и „горькому пьяницѣ“ и „картежному игроку“; а отъ малѣйшаго сближенія съ идеалистами—рѣшительно уклоняется. Если ему, какъ „реалисту“, не нужно ни освѣжающей любви женщины, ни драмы Шекспира, а весь онъ—воплощённое состраданіе къ человѣчеству и только о томъ и думаетъ день и ночь, какъ-бы „уменьшитъ массу человѣческихъ страданій“,—то это безо всякой, не говоримъ борьбы съ самимъ собою, а даже безо всякой натуги. Это въ немъ совершается легко и просто; это органически неотдѣлимо отъ него; это наконецъ ему свойственно столько-же, какъ свойственно напр. Везувію изметать лаву. А какой-нибудь *идеи*, какого-нибудь подвига или по крайней мѣрѣ нравственнаго усилія надъ собой—при этомъ рѣшительно не полагается.

„Аскетомъ, говоритъ г. Писаревъ, ни въ какомъ случаѣ нельзя назвать такого человѣка, который весь поглощенъ одною преобладающей страстью и который, нисколько не думая о борьбѣ съ самимъ собою, посвящаетъ удовлетворенію этой страсти всѣ свои силы и всю свою жизнь. Конечно, не назовете аскетомъ горькаго пьяницу, который пропиваетъ всѣ свои деньги и все свое здоровье; конечно, вы не назовете также аскетомъ отчаяннаго игрока, который нарушаетъ всѣ свои человѣческія обязанности, чтобы доставить себѣ сильныя ощущенія азартной игры.“ И точно также—заключаетъ г. Писаревъ—въ *реалистѣ* „страсть уменьшать массу человѣческихъ страданій“ превозмогла всѣ другія. Неужели это не просто?

Но такъ какъ всѣ эти диспуты возбуждены книгой „объ эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дѣйствительности“; такъ какъ, притомъ, спеціальный трудъ—разбить схизму г-на Антоновича исключительно на основаніи текстовъ самого алкорана—взялъ

на себя г. Варѳоломей Зайцевъ,—то и обратимся опять скорѣе къ этому замѣчательному мыслителю Русскаго Слова, къ этому неподражаемому мастеру доводить начала своего ученія до полнѣйшаго абсурда. Вотъ что̀ говоритъ онъ.

„Если послушать либеральныхъ эстетиковъ, то подумаешь, что мы какіе-то пуритане или гернгуты, что мы возстаемъ противъ всякаго наслажденія вообще и хотимъ, чтобы всѣ зажили по монашески. Я вполнѣ убѣжденъ, что эстетики говорятъ это добросовѣстно, и думаю, что другимъ можетъ, пожалуй, показаться такая нелѣпость. Поэтому я не могу окончить этого разбора, не объяснивъ дѣло съ этой стороны. Долго объяснять его нечего; это можно сдѣлать въ двухъ словахъ, сказавъ, что мы отрицаемъ только *эстетическія* наслажденія, возстаемъ только противъ искусства, а вовсе не противъ всего, что можетъ быть пріятно человѣку, только противъ *искусственныхъ* потребностей, а вовсе не противъ реальныхъ“.

И такъ, только противъ *эстетическихъ* наслажденій возстаетъ г. Зайцевъ; а отъ реальныхъ онъ не отказывается. Надо ему отдать справедливость, это имъ высказано безъ застѣнчивости и вполнѣ откровенно. Противъ *эстетическихъ* наслажденій, (а не тѣхъ, въ чью пользу онъ призываетъ даже естественныя науки) возстаетъ г. Зайцевъ. „Эта разница между наслажденіемъ естественнымъ и искусственнымъ есть во всѣхъ наслажденіяхъ“ поясняетъ онъ далѣе.“ Несомнѣнно, что человѣкъ имѣетъ потребность наслаждаться; естественныя науки доказываютъ это, и каждый самъ знаетъ это по себѣ, слѣдовательно, отрицать это могутъ, повторяю, только люди, исковеркавшіе свою натуру или лицемѣрящіе“. Хотя-бы можно было напомнить г. Зайцеву, что его сотоварищъ по журналу и главный истолкователь всѣхъ тайнъ „реализма“, г. Писаревъ ставитъ рѣшительно на одну доску, какъ „освѣжающую любовь женщины“, такъ и „драму Шекспира“: онъ на то и на другое кладетъ одинаковый интердиктъ для „человѣка строго реальнаго“, но мы еще готовы допустить возможность такого разнорѣчія. Одинъ „реалистъ“; допустимъ, не нуждается въ „освѣжающей любви женщины“; другой обойтись безъ нея не можетъ и это ужъ ихъ домашнее дѣло доказывать между собою другъ другу на досугѣ, на сколько тутъ естественныя науки останутся въ барышахъ или въ накладѣ? Притомъ, увѣрившій всѣхъ что реалистъ не нуждается въ освѣжающей любви женщины, самъ-же г. Писаревъ проговорился, что никто не выноситъ такъ много и столь чувствительныхъ истязаній на свѣтѣ какъ всѣ безъ исключенія реалисты „и особенно, особенно отъ

любимыхъ женщинъ". Но послушаемъ г. Зайцева: въ чемъ-же наконецъ онъ полагаетъ такую вопіющую разницу между простымъ наслажденіемъ, рекомендуемымъ, по его словамъ, даже естественными науками и наслажденіемъ эстетическимъ, которое по его мнѣнію верхъ безнравственности? Откуда у него это клокочущее негодованіе и даже выступаетъ пѣна на губахъ — чуть онъ заводитъ рѣчь объ *эстетическомъ* наслажденіи?

Г. Зайцевъ, какъ-бы вѣрный данному напередъ слову „долго объяснять этого нечего", разрѣшаетъ это дѣйствительно со всего размаха. Такъ какъ *эстетическое* наслажденіе, видите-ли, относятъ преимущественно къ сферѣ искусства, то г. Зайцевъ, безъ малѣйшаго колебанія съ своей стороны, смѣшалъ это понятіе съ другимъ, вовсе сюда не относящимся. *Эстетическое* наслажденіе, т. е. наслажденіе, получаемое отъ искусства, онъ понялъ какъ наслажденіе искусственное, т. е. притворное, покупное. Станетъ-ли кто спорить, что, напримѣръ, покупная „освѣжающая любовь женщины" — явленіе крайне безнравственное и отталкивающее? Г. Зайцевъ (а еще „реалисты" безнравственный народъ — говорятъ!) также съ этимъ не споритъ. Г. Зайцевъ даже этотъ самый примѣръ и беретъ теперь для истолкованія своей ненависти къ „эстетическому наслажденію"; для окончательнаго сокрушенія искусства — въ области музыки, пѣнія по крайней мѣрѣ. Да, блудница, которая за деньги продаетъ свой развратъ — только съ такимъ отребьемъ человѣчества и нашелъ сравнить нашъ моралистъ безнравственное явленіе оперы, вообще эстетическаго пѣнія. Въ образѣ именно такого отребья человѣчества представляются реалисту Русскаго Слова — всѣ первоклассные пѣвцы, увѣнчанные цѣлой Европой; а публика, которая ими восхищается — представляется реалисту — покупщикомъ того разврата. Не вѣрите, читайте сами:

„Что можетъ быть естественнѣе любви къ женщинѣ и что законнѣе наслажденія этой любовью? Но какъ низко и презрѣнно становится это чувство и это наслажденье, какъ скоро они дѣлаются искусственными, какъ скоро настоящаго чувства нѣтъ, а есть, вмѣсто него, притворное, покупное... Естественное пѣніе, какъ изліяніе чувства, будучи произведеніемъ природы, а не искусства, заботящагося о красотѣ, имѣетъ, однако, высокую красоту; потому является въ человѣкѣ желаніе пѣть нарочно, подражать естественному пѣнію", говоритъ авторъ „Эстетическихъ отношеній". Послѣднюю фразу (поправляетъ г. Зайцевъ) слѣдовало-бы сказать немного иначе: является желаніе *слушать* пѣніе, подражающее естественному, и здѣсь пѣніе, становясь искусствомъ эстетическимъ, перестаетъ имѣть право

на существованіе. Если тебѣ грустно или весело, пой сколько душѣ угодно. Это естественно и противъ этого могутъ возставать развѣ какіе-нибудь изувѣрные ханжи. Естественное пѣніе является вслѣдствіе естественной потребности, и оно даже полезно, какъ удовлетвореніе ея. Равнымъ образомъ, совершенно естественно, если одинакія чувства овладѣли цѣлымъ обществомъ, чтобы оно пѣло вмѣстѣ. До сихъ поръ противъ пѣнія нельзя ничего сказать, и если оно доставляетъ наслажденіе поющимъ или присутствующимъ,—то и прекрасно. Но когда человѣкъ или общество заставляетъ или нанимаетъ людей, согласныхъ за деньги напускать на себя по заказу какія угодно чувства, подражать естественному пѣнію, то пѣніе становится эстетическимъ искусствомъ и представляетъ тогда возмутительный видъ; тогда не знаешь, къ кому чувствовать болѣе сильное отвращеніе,—къ презрѣннымъ-ли скоморохамъ, надсаждающимся за плату, или къ людямъ, доводящимъ ихъ до такого униженія и своими неестественными потребностями вызывающимъ въ обществѣ цѣлый классъ такихъ безстыдниковъ!“

Такъ судитъ г. Варѳоломей Зайцевъ объ искусствѣ.

VII.

Умѣть вѳ-время отбой ударить—составляетъ не послѣднее мастерство нашихъ литературныхъ виртуозовъ. Современникъ обладаетъ этимъ мастерствомъ въ полной мѣрѣ. Если Русское Слово еще и до сего дни храбро ратуетъ въ новомъ вѣющемъ духѣ „эпохи возрожденія“; если оно съ каждымъ новымъ нумеромъ неудержимо стремится впередъ на пути доведенія до абсурда всѣхъ существеннѣйшихъ апоѳегмъ своего ученія,—то Современникъ избралъ теперь путь прямо противуположный. Онъ не только все больше и больше поступается коренными началами своей доктрины,—онъ еще и не признаётъ ее когда-либо существовавшей. Онъ не только уклоняется отъ первоначальной чистоты своихъ извѣстныхъ міровоззрѣній,—онъ прямо утверждаетъ, что отъ роду въ нихъ не былъ повиненъ; а все такое взведено на него врагами, духомъ литературныхъ партій, составляетъ клевету на него—и только.

Пусть Русское Слово уличаетъ своего бывшаго собрата по реализму—въ ересяхъ и въ отступничествѣ. Всѣ краеугольныя основы, на которыхъ зиждется ихъ ученіе, и „эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности“ и „антропологическіе принципы въ философіи“—имъ знакомы болѣе, чѣмъ кому либо. Учитель у нихъ, по ихъ собственному признанію, одинъ общій. Русское Слово найдетъ, безъ сомнѣнія, во всѣхъ фундаментальныхъ

статьяхъ этого нѣкогда „обновителя Современника“ неисчерпаемую сокровищницу для уличенія теперешняго Современника въ его нынѣшней кривдѣ. Въ интересѣ „новаго вѣющаго духа“ и „эпохи возрожденія“, Русское Слово, первенствующій теперь по реализму журналъ, не замедлитъ, надѣемся, изобличить козни и отступничество... своего когда-то добраго сотоварища, а нынче, что ни перваго супротивника. Наша задача другая. Мы именно хотимъ показать, какъ круто и беззастѣнчиво Современникъ сворачиваетъ въ сторону. И если умѣнье вò-время отбой ударить, дѣйствительно, составляетъ не послѣднее мастерство нашихъ литературныхъ виртуозовъ, то пальма первенства и въ этомъ мастерствѣ, какъ во всѣхъ прочихъ виртуозностяхъ, принадлежитъ Современнику — по праву.

Послѣдняя книжка его за августъ мѣсяцъ есть въ тоже время и первая, вышедшая безъ предварительной цензуры. Право безцензурнаго изданія составляетъ для всякаго журнала какъ-бы новую эру; это понятно. Вотъ эту-ту эру Современникъ и избираетъ теперь для того, чтобы „*беспристрастно*“ оглядѣть все свое прошлое и чтобы — прежде чѣмъ двинуться въ новый путь — свести итоги. Статья, на которую мы теперь обращаемъ вниманіе читателя, такъ-таки и озаглавлена: „*Итоги*“. Она печатается, въ видѣ передовой статьи, съ первыхъ-же строкъ журнала. Прочтите эту трогательную, задушевную исповѣдь Современника; вы узнаете изъ нея много неожиданнаго и новаго. Вы, напримѣръ, узнаете изъ нея, что Современникъ, за которымъ въ послѣднее время подозрѣвали чуть не змiиную ядовитость, отличался напротивъ того всегда незлобiемъ голубя, — и что онъ идеалистъ отъ природы. Если до сихъ поръ его обвиняли въ матеріализмѣ, то это произошло частью отъ совершенно случайнаго недоразумѣнія публики, частью-же отъ злоумышленниковъ. Онъ-то, Современникъ, и ратовалъ, напротивъ того, одинъ въ цѣлой литературѣ противъ матеріализма. Если что-нибудь и возбудило его ненависть противъ всего, чѣмъ наше общество, въ простотѣ сердца, дорожило до знаменитой „эпохи возрожденія и очищенія аугеевыхъ яслей“; если онъ съ такой безпримѣрной запальчивостью нападалъ, то на искусство, то на науку, то на все на свѣтѣ, — такъ это единственно потому, что все на свѣтѣ, по его мнѣнію, коснѣло и погрязало въ матеріализмѣ самаго грубаго свойства. Онъ не могъ этого вынесть; онъ за долгъ поставилъ себѣ: исхитить общество, исхитить во что-бы

то ни стало и науку и искусство, изъ грубой власти такого сплошнаго матеріализма. Онъ стремился отъ начала во всемъ и всюду водворить духъ чистѣйшаго идеализма, который уже сроденъ ему отъ пеленокъ. Вотъ какъ Современникъ характеризуетъ ту прошлую литературу, которой онъ противуполагаетъ дальнѣйшую грядущую, освобожденную отъ предварительной цензуры.

Литературные органы, говоритъ онъ, „парадировали другъ передъ другомъ все болѣе и болѣе смѣлыми выходками, загоняя другъ друга все больше въ сферу совершенной откровенности, не стѣсняемой болѣе никакими предѣлами, ни даже приличіями. Это была настоящая скачка поверхъ всѣхъ препятствій, гдѣ логика, разсудительность, честность, все, что угодно и все, что служитъ обыкновенно руководствомъ для обыкновеннаго писателя и литературы, служило здѣсь только для удивленія ошеломленнаго зрителя, который долженъ былъ, дѣйствительно, только удивляться, какъ летѣла, поверхъ всего этого, его литература съ ея писателями“ (стр. 299).

Что-жъ,—весьма не дурно охарактеризовано! Такъ сейчасъ и припомнишь, напримѣръ, всю полемику съ г. Благосвѣтловымъ или съ Эпохой; не только полемику, а даже и самое прагматическое изложеніе научныхъ истинъ, въ родѣ, напр., тѣхъ, что „бей налѣво, бей направо по чемъ ни попало, лишь-бы расчистить мѣсто для потомства“. Невольно встрепенулись въ умѣ и приходятъ теперь на память цѣлыя вереницы то диковинныхъ выходокъ, то фантастическихъ—чтобы не сказать дикихъ—вѣроученій, которыми наводнялась журналистика извѣстнаго сорта,—и все это, какъ нельзя болѣе, укладывается въ тѣ опредѣленія, которыя мы выписали у автора „Итоговъ“. Дѣйствительно, эта была настоящая скачка поверхъ всѣхъ препятствій и тутъ все служило для удивленія ошеломленнаго читателя.—Этого еще не довольно.

„Если-бы у насъ спросили—продолжаетъ Современникъ—чѣмъ занималась литература за послѣднее время, то мы были-бы вправѣ сказать, что она писала не серьезно, а лицедѣйствовала, гаерствовала; а самый періодъ литературы могли-бы назвать вообще періодомъ гаерства и лицедѣйства“ (стр. 300. *Итоги*).

Весьма недурно и это. Опредѣленіе вообще вѣрно; всѣ эпитеты тутъ—мѣтки. Лучше-бы и не придумать клички для того періода литературы, который наконецъ разразился полемикой г. Антоновича съ г. Благосвѣтловымъ. Да, и гаерство и лицедѣйство... тутъ всего было. Читатель, на основаніи извѣстной аксіомы, что въ собствен-

ныхъ дѣлахъ всякій самъ себѣ лучшій судья,—читатель, говоримъ, вправѣ теперь придти къ заключенію, что никто лучше Современника и не могъ-бы въ охарактеризовать пресловутой эпохи,—что если здѣсь характеристика вышла такъ художественна и рельефна, то именно потому, что самъ Современникъ тутъ взялъ на себя дѣло самосознанія. Нигдѣ еще его искренность не стояла до такой степени внѣ всякихъ подозрѣній, какъ именно въ этихъ строкахъ; нигдѣ его безпристрастіе не выказывалось съ такой полнотою и такъ до-тла, какъ въ умѣлой характеристикѣ „гаерства и лицедѣйства!“ Въ самомъ дѣлѣ, кто-жъ тутъ заподозритъ искренность Современника хоть на одну іоту? Еще ли же это не безпристрастіе? Увы, читатель! все это Современникъ говоритъ не о самомъ себѣ; о самосознаніи тутъ нѣтъ и помину. Видите-ли, существуютъ двѣ газеты, *Московскія Вѣдомости* и *Голосъ*; онѣ-то подняли это гаерство и лицедѣйство въ литературѣ; онѣ-то скакали поверхъ всѣхъ препятствій; онѣ-то дивили ошеломленнаго читателя а Современникъ не гаерствовалъ, не лицедѣйствовалъ и не дивилъ.

Современникъ вообще того мнѣнія, что обѣ названныя газеты — рѣшительно ничѣмъ не рознятся между собою и составляютъ одну *суть*. Эта *суть*, по его мнѣнію, ничто другое, какъ то „самое реакціонное“ направленіе, которое во время оно предводительствовалось однимъ „Русскимъ Вѣстникомъ“ и которому нѣкогда такъ побѣдоносно противодѣйствовалъ Современникъ. Времена своего побѣдоноснаго противодѣйствія—Современникъ называетъ прошлою литературой, и объ нихъ—онъ вспоминаетъ съ умиленіемъ. Нынѣшнее, по его мнѣнію, торжество Московскихъ Вѣдомостей и Голоса составляетъ уже *новую* литературу, или просто литературу. Статья „Итоги“ иначе не подразумѣваетъ „литературу“, какъ всецѣльно воплощенную лишь въ этихъ двухъ органахъ; все, что мы привели до сихъ поръ и все, что по поводу литературы выпишемъ далѣе—все это, такъ и должно разумѣть, относится исключительно къ Московскимъ Вѣдомостямъ съ Голосомъ. И такъ, эта литература гаерствовала и лицедѣйствовала, и она тѣмъ не менѣе торжествуетъ; а Современникъ и не гаерствовалъ и не лицедѣйствовалъ, и тѣмъ не менѣе, однако, онъ болѣе не побѣдоносенъ. Что-жъ это значитъ? И если та литература, въ самомъ дѣлѣ, ничего до сихъ поръ не производила и не производитъ, кромѣ гаерства и лицедѣйства, то

что-же однако производилъ и производитъ до сихъ поръ самъ Современникъ... и полно ужъ тогда производитъ-ли что-нибудь?

Вотъ, въ разъясненіе этихъ-то именно вопросовъ Современникъ и пишетъ статью „Итоги“; но виртуозъ, прежде чѣмъ дать въ ней прямые отвѣты на эти вопросы, находитъ для чего-то нужнымъ вывести на сцену фантастическаго какого-то читателя, котораго — неизвѣстно почему — называетъ еще „самымъ разсудительнымъ читателемъ“. Этотъ разсудительный читатель разсуждаетъ объ нынѣшней непобѣдоносности Современника приблизительно въ слѣдующемъ родѣ. Что-жъ, говоритъ онъ, Современникъ самъ виноватъ, упустивъ изъ своихъ рукъ побѣду. Прежде господствовавшая литература наговорила слишкомъ много крайностей и завела свое направленіе уже черезъ-чуръ далеко; поэтому теперь и царствуетъ новая литература, т. е. реакція. Разсудительный этотъ читатель, по нашему мнѣнію, говоритъ вздоръ. Онъ не видитъ самой простой вещи, той именно, что „обновленный Современникъ“, собственно говоря, никогда и не былъ побѣдоносенъ. Тому назадъ лѣтъ десять, масса читателей накинулась съ удвоенной энергіей на всѣ существовавшіе журналы и книги — безъ разбора; это было частное слѣдствіе общей возбужденности за ту минуту. Эта масса держалась нѣкоторое время упадавшаго, т. е. „обновленнаго Современника“ чисто по инерціи. То самое время, которое „обновленный Современникъ“ величалъ зенитомъ своей славы — оно именно и было началомъ его ощутительнаго упадка въ общественномъ мнѣніи. Едва публика, даже въ своемъ большинствѣ, стала наконецъ раскусывать, какою пищей угощаетъ ее новая редакція Современника и какіе фабрикаты она вноситъ въ составъ своихъ пряностей — и масса читателей стала неудержимо отходить отъ Современника, пока наконецъ онъ и вовсе остался безъ читателей. Это вѣрно; нѣтъ ни одного разсудительнаго читателя, который-бы мыслилъ иначе.

Впрочемъ, виртуозу статьи „Итоги“ фантастическій этотъ разсудительный читатель нуженъ совсѣмъ для другой цѣли. Поймавъ его на словѣ „крайности“, виртуозъ сейчасъ-же и пользуется такимъ обвиненіемъ, чтобы доказать ему, какъ неосновательно обвиненіе Современника въ какихъ-бы то ни было крайностяхъ. „Въ томъ-то и дѣло, восклицаетъ удивительный артистъ, что самый разсудительный читатель, не довольный настоящей литературой, плохо понималъ и прежнюю. Такимъ образомъ вопросъ, дѣйстви-

тельно-ли вина въ этомъ случаѣ лежала на прежде-господствовавшей литературѣ, и проповѣдывала-ли она на самомъ дѣлѣ крайности, которыя-бы оправдывали происшедшую въ литературѣ перемѣну, не обратилъ до сихъ поръ серьезно ничьего вниманія, а между тѣмъ понятно, какое серьезное значеніе имѣетъ для насъ этотъ-то именно вопросъ" (301). За тѣмъ Современникъ и обращаетъ на этотъ вопросъ „самое серьезное вниманіе;" оказывается, послѣ всего, что никакихъ крайностей онъ не проповѣдывалъ; всегда отличался духомъ самаго умѣреннаго либерализма и преслѣдовалъ всегда одну цѣль: исхитить общество изъ грубаго матеріализма. Оказывается даже, что всѣ реформы, которыя произошли въ нашемъ отечествѣ, совершились именно такъ, какъ рекомендовалъ Современникъ, всегда умѣренно-либеральный; что даже наша администрація единственно въ немъ, въ одномъ Современникѣ, всегда находила дѣятельную поддержку; и что онъ, Современникъ — и никто, кромѣ его — и давалъ всегда отвѣты на мѣры, предлагавшіяся правительствомъ для публичнаго всесторонняго обсужденія. А вся остальная литература и безмолвствовала, и не давала отвѣта; а только гаерствовала и лицедѣйствовала. Такъ свидѣтельствуетъ о себѣ Современникъ.

Почему-же, если такъ, читающее общество отшатнулось отъ Современника? Это ужъ авторъ *Итоговъ* объясняетъ весьма просто. Дѣло въ томъ, видите-ли, что когда правительство задумало благія реформы, тогда вся литература обрушилась противъ реформъ; одинъ только Современникъ сталъ ихъ защищать. Общество было слишкомъ невѣжественно и дико, чтобы принять близко къ сердцу всѣ эти благія реформы и содѣйствовать ихъ скорѣйшему проведенію въ жизнь. Русскій Вѣстникъ отстаивалъ реакціонные инстинкты дико-невѣжественнаго общества; онъ тормозилъ всѣ реформы; когда даже онѣ совершались, онъ старался всячески умалить ихъ результаты; а Современникъ... Современникъ въ это время одинъ-одинёшенекъ и являлся глашатаемъ всѣхъ этихъ благихъ, правительственныхъ начинаній; онъ старался расположить въ ихъ пользу все общество, и, такимъ образомъ, понятное дѣло, противъ той реакціонной литературы — онъ принялъ характеръ... и въ самомъ дѣлѣ опозиціонный. Такъ какъ, при томъ, та литература — говоритъ Современникъ — выражала дѣйствительное большинство и пришлась своимъ реакціоннымъ характеромъ по вкусу всему дико-невѣжественному

обществу, то Современникъ, такимъ образомъ, принялъ еще опозиціонный характеръ уже противъ цѣлаго общества,—и, естественное дѣло, общество должно было рано или поздно его возненавидѣть. „Не трудно, я думаю, понять—говоритъ авторъ „Итоговъ“—какое малое сочувствіе рисковала эта литература встрѣтить въ обществѣ вслѣдствіе именно такой постановки своего дѣла. Поставь она свое дѣло иначе, и нѣтъ сомнѣнія, что она встрѣтила бы гораздо большее число доброжелателей даже въ средѣ тѣхъ людей, грубой лестью инстинктамъ которыхъ отличаетъ до сихъ поръ себя московская публицистика“ (стр. 306). И такъ, вотъ откуда ненависть къ Современнику; а всѣ его выходки противъ искусства, науки и всего на свѣтѣ—тутъ рѣшительно ни причемъ. Авторъ „Итоговъ“, правда, касается и ихъ въ общемъ перечнѣ доблестей своего журнала, но мелькомъ и какъ-бы вскользь. Онъ только за тѣмъ и выводитъ ихъ передъ читателемъ, чтобы мимоходомъ освѣтить ихъ... въ совершенно новомъ, для читателя, свѣтѣ. Впрочемъ, освѣщеніе это уже устарѣло. Г-нъ Писаревъ, помнится, въ своемъ „Нерѣшенномъ вопросѣ“ уже пробовалъ „растолковать безтолковой сударынѣ-публикѣ“, что реалисты отрицаютъ не вообще искусство и поэзію, въ такихъ представителяхъ какъ Шекспиръ и Гете,—а лишь „ковырянье цвѣточной пыли козявкой“ и т. п. Съ малыми видоизмѣненіями тутъ повторяются такія же точно объясненія авторомъ „Итоговъ“.—„Война опозиціоннаго органа—говоритъ онъ—противъ художественнаго направленія состояла не въ униженіи художественности и искусства, не въ запрещеніи наслаждаться и требованіи аскетизма, а въ томъ, чтобы выучить читателя наслаждаться только тѣмъ, что дѣйствительно стоитъ наслажденія“ (стр. 307).

Особенно любопытно объясненіе, почему Современникъ долженъ считаться рыцаремъ идеализма, тогда какъ—судя по обманчивой наружности—всѣ его принимали за матерьялиста. Вотъ это объясненіе. Оговоривъ, что послѣ нападеній на искусство, предприняты были нападенія и противъ науки, „существовавшей у насъ,“—авторъ „Итоговъ“ такъ объясняетъ ихъ необходимость.

„Направленіе этой науки было въ самомъ грубомъ смыслѣ матеріалистическое. Она рѣшала міровые вопросы и только одни міровые. Наука, пытающаяся открыть конечныя причины мірозданія, гоняться за сущностью вещей и вмѣшиваться въ сферу теологическихъ вопросовъ, будетъ съ наглядной стороны конечно

казаться идеалистической. Но за то эта именно наука будетъ всего болѣе способствовать къ развитію самаго грубаго матеріализма. Нечего говорить, самое преисполненное матеріализма есть общество дикое и первобытное, и чѣмъ ближе къ этой границѣ, тѣмъ болѣе матеріализма, и какая-же культура оказываетъ болѣе пытливости къ чудесному, какъ не первобытная (стран. 309)".

Понятно-ли теперь читателю, что стоитъ только упразднить „сферу теологическихъ вопросовъ"— и сдѣлаешься идеалистомъ; Современникъ, упраздняя, должно быть, эту самую сферу, и стремился удовлетворить идеальнымъ потребностямъ. И такъ, всѣ эти обвиненія, издавна взводимыя на Современникъ, оказываются чистымъ недоразумѣніемъ со стороны публики. Автору „Итоговъ", послѣ этого, остается удостовѣрить своихъ читателей единственно лишь въ томъ, что всѣ остальныя невзгоды Современника обрушились на его голову — ну ей-же ей! — только за благородную оппозицію грубому невѣжеству общества и дикости нравовъ. Онъ къ этому и приступаетъ.

Въ какое положеніе была-бы поставлена реформа — спрашиваетъ авторъ „Итоговъ", разумѣя прямо эмансипацію крестьянъ — еслибъ она не услышала въ общественномъ мнѣніи ни одного слова въ свою поддержку противъ тучи невѣжества, прикрывавшагося научными предлогами?

„Кто-же сказалъ это слово въ ея поддержку? Его сказалъ единственный органъ, видѣвшій причину всѣхъ недостатковъ въ самомъ обществѣ... Слово это сказала оппозиціонная литература — она съ самаго начала объявила себя за вмѣшательство и освобожденіе съ землею. Отсюда начинается исторія болѣе или менѣе общаго раздраженія противъ нея и совершенно понятно почему. До сихъ поръ оппозиція ея раздражала лично отдѣльныя профессіи, небольшія группы людей. Споръ объ искусствѣ не нравился литературѣ, получавшей свой хлѣбъ отъ произведеній искусства: споръ противъ науки не нравился лицамъ, которыхъ кормила эта наука на казенныя деньги. Споръ-же за освобожденіе съ землею сразу расширялъ значительно сферу столкновенія и ставилъ оппозиціонную литературу въ противорѣчіе съ привычными нравами и понятіями цѣлаго общества".

Но вотъ, продолжаетъ авторъ, реформа осуществилась именно такъ, какъ рекомендовалъ ее добродѣтельный Современникъ.

„Послѣ этого понятно, восклицаетъ авторъ Итоговъ, съ какимъ чувствомъ должна была относиться и остальная литература и все общество къ оппозиціонной. Истинныя чувства остальной литературы, если они и не были ею заявлены немедленно, оказались спрятанными въ карманъ только до болѣе удобнаго случая. Кон-

сервативная литература, льстя дикимъ провинціаламъ, не могла простить себѣ свершившагося... Чувствамъ консервативной литературы естественно было обрушиться прежде всего на оппозиціонный органъ. Начался періодъ мести"...

И вся послѣдующая литература, начиная съ романа г. Тургенева „Отцы и Дѣти" и до полемики „Моск. Вѣд." съ „Голосомъ", по поводу субсидій, выдается авторомъ „Итоговъ" за месть Современнику. Но при чемъ тутъ „*субсидіи* Голосу?" а главное, ратуя весьма основательно противъ *субсидій*, чѣмъ-же Московскія Вѣдомости досаждали собственно Современнику и притомъ за что-же они ему мстили? А за то именно, что крестьянская реформа, видите-ли, совершилась собственно такъ, какъ — изъ цѣлой литературы — рекомендовалъ ее одинъ Современникъ. Не правда-ли читатель, это ужъ Геркулесовы столбы... виртуозности?

Что касается до уваженія впредь — къ наукѣ и къ искусству, и къ идеализму вообще, то Современникъ обѣщается по этой части рѣшительно удивить всѣхъ своихъ будущихъ подписчиковъ. Онъ объ одномъ только жалѣетъ, — вотъ о чемъ.

„Мы ничего не желали-бы лучше — какъ говорить постоянно ровнымъ и спокойнымъ тономъ науки, не утрируя ни однимъ образомъ, ни знакомъ препинанія нашей мысли; но мы рискуемъ встрѣтить сплошь и рядомъ читателя, скучающаго наукой, объясняющаго, что онъ ждетъ отъ насъ журнала, а не научной книги. А потому, какъ видите, рѣзкость и живость есть неизбѣжная принадлежность самой журнальной формы и скуки, которую видитъ читатель въ наукѣ, а потому она и должна приниматься за то, что есть, и не бросать невыгодной тѣни на самую сущность мыслей. Впрочемъ, если только въ этомъ затрудненіе, то мы *готовы жертвовать* живостью изложенія, ради возможности выражать сущность тѣхъ мыслей, въ справедливость и силу которыхъ вѣримъ. И читатель долженъ знать отчасти, что это не пустая фраза съ нашей стороны, что за нами водятся иногда и мысли, и умѣнье вѣровать въ эти мысли".

Le style--c'est l'homme, „слогъ человѣка — самъ человѣкъ", говоритъ французская поговорка. Мудрено-ли, что, обѣщая своимъ будущимъ подписчикамъ отречься отъ преданій „эпохи возрожденія", Современникъ заранѣе предугадываетъ необходимость отказаться и отъ того стиля, которымъ та эпоха себя выражала?

Газета „День" 1864 г.

По поводу объявленія объ изданіи „Полнаго критико-библіографическаго указателя“.

Библіографическихъ свѣдѣній не достаётъ текущей литературѣ. Въ виду возрастающаго съ года на годъ количества книгъ и журналовъ и вообще увеличивающагося у насъ развитія книжнаго дѣла — полный библіографическій указатель составляетъ дѣйствительную потребность въ наши дни.

Получивъ объявленіе изъ Петербурга о предпринимаемомъ тамъ изданіи въ этомъ родѣ, мы отнеслись къ нему съ безусловнымъ сочувствіемъ. Но вотъ теперь получена еще и опубликованная программа этого изданія: она не такова чтобъ поддержать добрыя надежды. Отвѣтственный редакторъ-издатель г. Васильевъ выступилъ съ такою программой, что она явно обличаетъ въ его „Указателѣ“ не строго-литературное предпріятіе, а что-то иное. „Издаваемый нами Полный критико-библіографическій указатель, говоритъ онъ, имѣетъ цѣлью сообщить читающей публикѣ перечень *всѣхъ русскихъ книгъ, имѣющихся въ продажѣ*, съ критическими отзывами о нихъ, основанными частью на личномъ знакомствѣ съ ними участвующихъ въ составленіи *Указателя* лицъ, частью заимствованными изъ рецензій лучшихъ періодическихъ и другихъ изданій. Въ составъ *Указателя* не войдетъ отчетъ о книгахъ духовнаго содержанія“.—Итакъ, сразу сюрпризъ! Вся духовная литература выключена изъ „Указателя“ безъ разговоровъ,—чѣмъ объяснить въ „Полномъ Указателѣ“ такой немаленькій пробѣлъ? Во-вторыхъ, что̀ значитъ это сбивчивое, такъ легко и растяжимое и съуживаемое опредѣленіе: „*всѣхъ книгъ, находящихся въ продажѣ?*“ О какихъ книгахъ, имѣющихся въ продажѣ, намѣревается сообщать Указатель“ — да еще по указанію „лучшихъ изданій?“ Если о старомъ хламѣ, о которомъ однакожъ не перестаютъ нѣкоторыя „лучшія періодическія изданія“ благовѣствительствовать, какъ о „новомъ вѣющемъ духѣ“ — кому нуженъ такой „Указатель?“

Притомъ, важно было-бы для публики, когда-бы ей время отъ времени, не переставали періодически сообщать о выходѣ всѣхъ появляющихся книгъ, для того чтобы каждый могъ слѣдить за новостями по своей спеціальности. А „Полный критико-библіографическій указатель“, какъ теперь видно изъ объявленія, бу-

детъ изданіемъ не періодическимъ, а составитъ лишь не сразу, а въ нѣсколько пріемовъ изданный, сборникъ: напослѣдокъ и сойдетъ онъ на простой каталогъ. Но при всякой газетѣ, чуть не отъ всѣхъ книжныхъ магазиновъ, ежегодно разсылаются, въ видѣ объявленій, каталоги подобнаго рода. Простое собираніе ихъ въ одну кучу уже составитъ тотъ самый „Указатель", о которомъ объявляетъ теперь, какъ о новости, г. Васильевъ. Что-же новаго будетъ въ его „Указателѣ" противъ этихъ каталоговъ, имѣющихся почти во всѣхъ книжныхъ магазинахъ? Критическіе отзывы о книгахъ, выдержки изъ нихъ, ознакомленіе съ ихъ содержаніемъ? Но это бываетъ обыкновенно не лучшею стороной всякого „Указателя". Прежній мало распространенный „Книжникъ", какъ онъ ни былъ скуденъ съ самаго начала, тогда именно сталъ окончательно падать, когда къ простой заслугѣ указателя книжныхъ новостей прибавилъ еще и обязанность указывать публикѣ — какія книги должна она раскупать на расхватъ и какихъ она покупать не должна? Критическіе тутъ отзывы о книгахъ сходятъ или на рекламы, или на намѣренное ихъ освистаніе. Крайне жаль, поэтому, что главнымъ значеніемъ своего „Полнаго Указателя" (хотя и не періодическаго изданія, а только сборника-каталога, какъ видятъ читатели) самъ г. Васильевъ полагаетъ слѣдующее: „Изданіемъ *Полнаго критико-библіографическаго указателя* каждому дана будетъ возможность ранѣе пріобрѣтенія какой-либо книги составить понятіе о ея достоинствахъ и недостаткахъ". Такое заявленіе, по нашему мнѣнію, всего откровеннѣе высказываетъ несерьезность предпринимаего въ Петербургѣ изданія, которое привѣтствовалось нѣкоторою частью нашей журналистики — съ такимъ шумомъ.

Газета „Москва" 1867 г.

Перлы Русской журналистики.

Подъ этимъ заглавіемъ мы намѣрены приводить иногда выписки изъ современной публицистики не прибавляя отъ себя никакихъ коментарій. Критику тутъ дѣлать нечего: такъ эти красоты говорятъ сами за себя.

Одно изъ сильнѣйшихъ желаній Голоса. „Мы желали-бы, чтобъ тѣ изъ такъ-называемыхъ нигилистокъ, которыя

служатъ идеѣ сознательно и честно, отбросили все, что не составляетъ сущности дѣла. Къ чему эта вывѣска: стриженныя головы, очки, небрежность въ одеждѣ, портфель подъ мышкой и проч. и проч.? Скажутъ, что длинные волосы отнимаютъ много времени и требуютъ прислуги для убора головы? Пустяки! Можно причесать голову и съ нестриженой косой безъ помощи прислуги и употребить на это 10 минутъ. Положимъ, скажутъ, что нѣтъ основанія признавать косу, какъ нѣчто служащее украшеніемъ; но пока это хоть и условно, а признается украшеніемъ, и мы не видимъ причины идти противъ исконнаго убѣжденія. Если-же къ иному лицу идутъ болѣе коротенькіе волосы — прекрасно! мы противъ этого ничего не говоримъ: стригитесь и нравьтесь, мы ничего лучшаго не желаемъ"... (Голосъ, № 502).

Что вообще Современникъ принялъ себѣ за правило? „Вообще Современникъ принялъ за правило наказывать всякую литературную ракалію тѣмъ-же оружіемъ, которымъ она сама согрѣшаетъ. Доказывать какой-нибудь ракаліи, что ея пріемы не хороши, не деликатны — дѣло трудное, доказательствами ея не проймёшь; а гораздо лучше каждую ракалію заставить на ея же собственной спинѣ почувствовать прелесть ея полемическихъ пріемовъ, можетъ быть и опомнится и на будущее время исцѣлится". (Совр. № 8).

Въ чемъ заключается, по мнѣнію Русскаго Слова, спасеніе и обновленіе Русскаго народа? „Микроскопъ и лягушка — вещи занимательныя, а молодежь — народъ любопытный. Ужъ если Павелъ Петровичъ Кирсановъ не утерпѣлъ, чтобы не взглянуть на инфузорію, то молодежь и подавно не утерпитъ, постарается завести себѣ свой микроскопъ, и проникнется глубочайшимъ уваженіемъ и пламенной любовью къ распластанной лягушкѣ. А только это и нужно. Тутъ-то именно, въ самой лягушкѣ-то и заключается спасеніе и обновленіе Русскаго народа... Ей-Богу, читатель, я не шучу". (1864. Русское Слово, № 3, Мотивы Русской жизни Д. И. Писарева).

Надѣясь, что все менѣе будетъ мелькать въ нашей публицистикѣ красотъ подобнаго рода для занесенія ихъ въ этотъ отдѣлъ, пока воздерживаемся и отъ обычнаго: *продолженіе впредь.*

Газета „День" 1864 г.

Упадокъ публицистики, замѣтка 1879 г.

Литература — отраженье
Лишь современнаго движенья, —
Что-жъ въ мірѣ суше и бѣднѣй
Литературы нашихъ дней?

Вся она сошла на фельетонъ, и рыцари современнаго фельетона еще вмѣняютъ себѣ въ особенную заслугу, что свели ее на фельe-

тонъ. Вслушайтесь, къ тому-же, что за дикая разноголосица кругомъ!.. Найдется-ли хоть одно событіе — начиная съ послѣдней войны до такого приключенія, какъ постановка на сценѣ драмы „Смерть Мессалины“ — чтобъ по поводу ихъ не высказывалось у насъ двухъ, взаимно себя исключающихъ, мнѣній? Найдите хоть одно мнѣніе, поддерживаемое нынѣшней печатью, къ которому можно бы безоговорочно и всей душою примкнуть? Приведите еще хоть одинъ примѣръ и двухъ противоположныхъ взглядовъ — такихъ, чтобъ не стыдно было одинъ изъ нихъ признать за свой собственный? Нѣтъ, рыцари современной публицистики — или, что одно и то-же, современнаго фельетона — такъ изощрились въ хитросплетеніи лжи съ правдой, что, читая ихъ писанія, невольно думаешь: хоть-бы они по крайней мѣрѣ искреннѣй лгали! Даже отстаивая другъ передъ другомъ свои діаметрально-противуположные взгляды, они такъ изловчаются перепутывать ложь съ правдой, что, слушая обоихъ, не вѣришь ни одному.

И такимъ еще неподдѣльнымъ самодовольствомъ вѣетъ отъ ихъ писаній! такъ въ нихъ и прыщетъ то, что Французы зовутъ suffisance. Читатель, случается, краснѣетъ отъ ихъ строкъ уже съ перваго начала; а они тѣмъ беззастѣнчивѣй выкидываютъ колѣна передъ публикой и тутъ-же передъ ней расшаркиваются, какъ-бы заранѣе благодаря за взрывъ рукоплесканій. Да, въ послѣдніе годы уровень нашей печати — надо правду сказать — значительно упалъ.

Отчего это происходитъ? Оттого-ли, что въ послѣдніе годы увеличилась масса читателей — и по потребителямъ дается товаръ? Отчасти правда, что когда переводятся первоклассные магазины за недостаткомъ первоклассныхъ потребителей — тогда умножаются магазины средней руки, удовлетворяющіе потребностямъ большинства. Но это лишь отчасти правда; а на самомъ дѣлѣ наша публика вовсе не такъ ограничена въ своихъ требованіяхъ, какъ объ ней полагаютъ наши газетные публицисты. На дурной вкусъ публики ссылаются обыкновенно плохіе антрепренеры и плохія дирекціи театровъ. Ставя площадныя пьесы, которыя подъ силу ихъ труппѣ и имъ самимъ по плечу, они оправдываются обыкновенно тѣмъ, что сама публика любитъ площадныя пьесы. Но имъ мало кто вѣритъ, и напрасно слѣдуютъ ихъ примѣру распорядители нашихъ газетъ. Публика, повторяемъ, гораздо умнѣе и разборчивѣй въ своихъ требованіяхъ, чѣмъ про нее думаютъ наши газеты; она давно оцѣнила по достоинству нынѣшнихъ дѣльцевъ печатнаго слова.

Давно-ли—еще во времена Гоголя—ни одно званіе не почиталось въ нашемъ обществѣ такимъ же почетнымъ, какъ званіе писателя. Нашъ безсмертный поэтъ свидѣтельствуетъ въ своей „Перепискѣ съ друзьями“, что общественная совѣсть особенно смущалась въ его время, если именно писатель оказывался замѣшаннымъ въ какое-нибудь предосудительное дѣло. „А еще писатель!“ приводитъ Гоголь поразившее его слово одного простаго русскаго человѣка, невольно вырвавшееся у него, когда онъ услыхалъ, что писатель попался въ одномъ очень предосудительномъ дѣлѣ. Нынѣче другое. Наши заурядные дѣльцы печатнаго слова такъ потрудились уронить его значеніе, что больше никто—даже между темными людьми—не вѣритъ въ святость ихъ призванія, какъ сами они въ томъ ни увѣряютъ,—не вѣрятъ больше и въ непогрѣшимость всего напечатаннаго. У публики даже образовались въ послѣднее время поговорки на этотъ счетъ. „Лжетъ какъ газета“, говорятъ нынѣче про неслыханную ложь—и стыдно тѣмъ, кто содѣйствовалъ съ своей стороны народиться такой поговоркѣ. „Да вѣдь это въ газетахъ пишутъ!“ возражаютъ теперь обыкновенно про явную небылицу—и жаль тѣхъ нашихъ газетныхъ дѣльцовъ, которые своими подвигами стяжали такую печальную извѣстность своимъ кормилицамъ. „Да вѣдь онъ газетчикъ: онъ въ газетахъ пишетъ“... такими словами предостерегаютъ теперь обыкновенно, чтобъ не вѣрили на слово пасквилянту и клеветнику, и жалко и стыдно за тѣхъ, отъ кого такъ предостерегаютъ.

Чему-же приписать это оскудѣніе „духа живаго“ въ нашей литературѣ? откуда это сплошное измельчаніе трактуемыхъ интересовъ? это измельчаніе самого печатнаго слова? откуда этотъ хаосъ, вавилонское разносмѣшенье языковъ, дикая разноголосица, которые слышны всюду?

Наша „обновленная“ жизнь, послѣ упраздненія крѣпостнаго права, съ водвореніемъ новаго гласнаго суда, со многими нововведеніями, которыя и не снились прежнимъ поколѣніямъ—къ чему же она привела? неужели она не народила новыхъ талантовъ? неужели она не создала и не образовала—по выраженію Бецкаго—новой породы людей со всѣми достоинствами прежнихъ поколѣній, но безъ ихъ недостатковъ? Или, напротивъ того, неужели эти нынѣшніе дѣльцы печатнаго слова, міріадами выступившіе въ сотняхъ газетъ—они-то и составляютъ желанный плодъ нашего обновленія? неужели въ нихъ-то мы и должны привѣтствовать предста-

вителей новой лучшей эпохи, а въ ихъ дѣятельности, которая теперь у всѣхъ на глазахъ,—исполненіе всѣхъ нашихъ чаяній и обѣтованій?

Пускай въ этомъ увѣрены и всѣхъ въ этомъ увѣряютъ сами фельетонисты—но имъ не повѣритъ никто. Увы! въ томъ и горе, въ томъ и печальный выводъ всякаго безпристрастнаго наблюдателя событій: весь этотъ хламъ, все это хаотическое броженіе—отнюдь не первая ступень новаго начинающагося развитія, а послѣдняя крайняя ступень предшествовавшаго разложенія. Для того, кто безпристрастно наблюдаетъ событія, ясно какъ Божій день, что великія задачи и интересы русскаго народа, которые творятся себѣ втихомолку и поступаютъ впередъ на всемъ пространствѣ русской земли отъ Бѣлаго моря до Чернаго—ничего не имѣютъ общаго съ тѣми задачами и интересами, которые выдаются нашими господами публицистами за альфу и омегу ихъ собственныхъ вѣроученій. Они изъ силъ выбиваются, ратуя за прогрессъ; они топорщатся другъ передъ другомъ въ рѣшеніи собственныхъ міровыхъ задачъ; они горячо препираются между собою; они забрасываютъ грязью всякаго, кто попалъ имъ подъ руку; они взываютъ и къ нравственнымъ обязанностямъ и ко всему, что есть священнаго на свѣтѣ—и пляшутъ cancan. Они обращаются будто-бы къ цѣлой Россіи, къ нашей обездоленной провинціи, къ нашему селу... Ни нашей провинціи, ни нашей сельской Руси—до ихъ хитроплетенія кривды съ правдой дѣла нѣтъ.

Читающая публика, въ виду этого всеобщаго отрицанія, глумленія, фельетоннаго задора нашей публицистики, въ виду этого повальнаго cancan, который обуялъ нашу литературу—читающая публика держитъ себя въ сторонѣ отъ всего этого, какъ тотъ присяжный на судѣ, который съ одинаковымъ молчаніемъ выслушиваетъ и глумленія прокурора надъ подсудимыми и восторженные имъ диѳирамбы защитниковъ—пока наконецъ наступитъ грозный мигъ сказать ему свое: да или нѣтъ.

Въ качествѣ не присяжнаго публициста, а именно лишь одного изъ публики, позвольте обратиться къ вашей газетѣ—для продолженія этихъ писемъ къ публикѣ.

„*Новое Время*“ 1879 г.

Исторія съ исторіей для народа.

Это было въ концѣ тридцатыхъ годовъ.

Въ Москвѣ возникъ „кружокъ“; нѣмецкая философія и поэзія, тогдашнее состояніе русской литературы и русской науки, характеристика ихъ главныхъ дѣятелей и господствовавшихъ тогда направленій — все служило здѣсь матерьяломъ для дружескаго обмѣна идей, подвергалось общему суду, нерѣдко вызывало ѣдкую сатиру. Это была тогдашняя выдававшаяся молодежь, большею частью кончившая курсъ въ Московскомъ университетѣ; нѣкоторые живы до сихъ поръ и ихъ дѣятельность у всѣхъ на виду; другихъ уже нѣтъ: Василій Боткинъ, Станкевичъ, Бѣлинскій, Константинъ Аксаковъ.

Любопытнымъ памятникомъ этого именно кружка, отъ того времени, осталось—рѣдкое въ наши дни—изданіе: „Олегъ подъ Константинополемъ, сочиненіе К. Еврипидина“. Эта шутливая поэма написана Константиномъ Аксаковымъ и не предназначалась для печати; но такъ какъ она составляла ловкую пародію на тогдашнее стихотворство и на тогдашнюю ученость, такъ какъ она получила, именно черезъ „кружокъ“, большую извѣстность и въ обществѣ, то ее издали въ свѣтъ — впрочемъ, въ самомъ ограниченномъ числѣ экземпляровъ.

Безъ смѣху нельзя было читать нѣжныхъ воззваній къ дулебамъ, піитическихъ описаній образа жизни хорватовъ, героическихъ тирадъ разныхъ норманновъ... Въ довершеніе всего, когда герой поэмы досягалъ апогея своей славы, когда Олегъ схватился было уже за молотокъ, чтобъ „пригвоздить свой щитъ ко вратамъ Царя-града“,—авторъ вдругъ мѣнялъ декорацію, переносилъ зрителя въ университетскую аудиторію и заставлялъ скептическаго Каченовскаго читать съ каѳедры своимъ слушателямъ: „Помилуйте! какой Олегъ!? все сказки!“.

Это — сатира именно на тогдашнюю высокопарность и напыщенность,— пародія на тѣ тирады чуть не изъ философскихъ трактатовъ о государствѣ, которыми щеголяли тогдашніе лжеклассики и романтики, влагая ихъ въ уста своихъ героевъ — хотя-бы то былъ Глѣбъ Тьмутараканскій или самъ казакъ Ермакъ Тимоѳѣевичъ. Это была еще пародія на тѣ школьныя доказательства и на тѣ школьныя опроверженія, которыми тогда щеголяли и дог-

матики и скептики нашей исторической науки. Но, главнымъ образомъ, это была пародія и сатира на стихотворство тогдашней эпохи, когда всякая риѳмованная и нериѳмованная проза, лишь бы закованная въ стопосложеніе, шла за стихи, а вычурность принималась за поэзію.

Шуткой, направленной противъ такихъ-то перловъ Россійской словесности, и явился въ свѣтъ „Олегъ подъ Константинополемъ“ съ одобренія всего кружка.

Не забавно ли было, въ самомъ дѣлѣ, читать, какъ напримѣръ сродникъ Рюриковъ разсуждаетъ о томъ, что онъ изъ хаоса нестройныхъ элементовъ создалъ могучій организмъ государства

Гдѣ каждый членъ необходимъ, но только
Какъ членъ, какъ часть великаго явленья.

Или не забавно-ли было читать объ Олеговомъ питомцѣ, объ Игорѣ, какъ онъ изъясняется въ любви „съ дѣвой рая, съ ея волшебной красотой“.

Онъ говорилъ—ему она внимала.
И онъ читалъ въ лицѣ ея любовь.

Самый псевдонимъ автора, выставленный на изданіи, К. Еврипидинъ, хорошо обличалъ пародію и заранѣе давалъ угадывать, что все это шутка—не болѣе. Изданіе, какъ мы сказали, выпущенное въ самомъ ограниченномъ числѣ экземпляровъ, скоро истощилось въ продажѣ и тогда-же сдѣлалось библіографическою рѣдкостью.

Прошло съ тѣхъ поръ слишкомъ сорокъ лѣтъ.

Каково-же удивленіе! выдержки изъ этой шутливой брошюры вдругъ напечатаны теперь въ сочиненіи самаго новаго изданія (на немъ красуется 1879 годъ) и которое нимало не претендуетъ на шутливость, а посягаетъ, напротивъ того, на самую строгую дидактичность: въ „Исторіи Россіи“, предназначенной для народа, для земской школы. Вотъ полное заглавіе этой изумительной книги: „Исторія Россіи для народа. Составилъ по программѣ и согласно требованіямъ Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвѣщенія Н. Малининъ. Изданіе книжнаго магазина Ѳ. И. Салаева. Цѣна 1 руб. 40 коп. Москва, 1879 г.“—Книга большаго формата, въ два пальца толщиною, свыше 425 страницъ не особенно крупнаго шрифта.

Книга, дѣйствительно, изумительная. Пускай г. Малинину пришла въ голову счастливая мысль украсить свои собственные

разсказы изъ русской исторіи творческими былинами избранныхъ поэтовъ; заучиваемыя событія—допустимъ—черезъ это легче удерживаются въ памяти; къ тому-же этотъ самый пріемъ у насъ въ большомъ ходу еще со временъ дѣтской исторіи Ишимовой. Пусть даже, вмѣсто того, чтобы къ мѣсту и съ выборомъ пользоваться дѣйствительными образцами лучшихъ поэтовъ, г. Малининъ сплошь и безъ разбору пересыпаетъ свою исторію длинными выписками изъ романа „Князь Серебрянный“ и подлинными цитатами „Казенныхъ образцовъ исторіи для народа“ министерской программы. Пускай онъ заваливаетъ свой учебникъ грудой сыраго матеріала пѣсень, изданныхъ не всегда въ безукоризненныхъ сборникахъ, и множествомъ стихотвореній такой плеяды, какъ Бенедиктовъ, Мей, Суриковъ, Губеръ и прочіе. Все это, къ сожалѣнію, въ области школьной педагогической литературы, мало кого изумляетъ. Но вотъ что истинно изумительно! какимъ образомъ педагогъ, готовящій исторію Россіи для народа, могъ простодушно принять пародію за самую истину? Какъ можно ироническую шутку молодаго писателя публично выдавать за задушевную исповѣдь его зрѣлаго творчества? Какъ можно было саркастическія, шутливыя описанія каррикатурныхъ Ольги и Олега—эту пародію на каррикатурныхъ героевъ нашихъ лжеклассиковъ и лжеромантиковъ—принять за настоящія и выдавать въ своемъ учебникѣ за самые точные снимки съ дѣйствительныхъ Ольги и Олега?... Вотъ что даже и въ лѣтописяхъ нашей школьной педагогической литературы, истинно изумительно.

Выписываемъ эти любопытныя мѣста изъ труда г. Малинина. На страницѣ 17, въ главѣ о Вѣщемъ Олегѣ читаемъ:

„Покоривши сосѣднихъ славянъ, Олегъ, подобно Рюрику, сталъ рубить повсюду города и сажать туда своихъ мужей... Потомъ онъ сталъ уставлять размѣръ дани съ покоренныхъ окрестныхъ племенъ. Послѣ всѣхъ этихъ трудовъ, князь радовался, глядя на то, какъ русская земля росла и крѣпла. Въ одной повѣсти объ Олегѣ сочинитель влагаетъ въ это время (?) въ уста могучаго князя такую рѣчь:

Исчезъ хаосъ. Изъ элементовъ стройно
Возникъ живой, могучій организмъ,
Гдѣ каждый членъ, свободно, сообразно
Своей природѣ, дѣйствуетъ, живетъ;
Гдѣ каждый членъ необходимъ, но только
Какъ членъ, какъ часть великаго явленья;
Явленія, въ которомъ проявилась

Въ различіи единая идея.
Сей организмъ могучій:—государство!
Его единство:—я! Мои народы:—
Тѣ исполинскіе, живые члены,
Я имъ даю живительную силу,
Свободу и законъ я имъ даю.
Мной эта жизнь, въ могущественномъ тѣлѣ,
Равно, разнообразно разлита.

Но на совершенныхъ уже трудахъ по устройству Русской земли Олегъ не успокоился. Подъ конецъ своей жизни онъ вздумалъ побывать въ Греціи, въ этой старой обидчицѣ русскихъ торговыхъ людей и богатѣйшей странѣ. („Исторія Россіи для народа". И. Малининъ, стр. 17).

Далѣе, въ статьѣ подъ заглавіемъ „Походъ на грековъ", читаемъ:

„Олегъ взялъ богатую дань: много золота, драгоцѣнныхъ тканей, плодовъ и вина; потомъ, заключивъ съ греками первый письменный торговый договоръ, по которому русскіе купцы могли свободно торговать въ Греціи, онъ прибилъ въ знакъ побѣды на вратахъ Царя-Града свой щитъ и со славою вернулся въ Кіевъ. Въ упомянутой выше повѣсти Олегъ такъ говоритъ у вратъ Царь-Града:

Внимайте мнѣ, о вѣрные мои,
Безстрашные народы! Съ вашихъ стѣнъ
Внимайте, греки, рѣчи Государя!
Мой Цареградъ! Я взять его могу—
И не хочу! Но въ память дѣлъ кровавыхъ,
Битвъ и побѣдъ и, наконецъ, того,
Что Цареградъ въ моей былъ полной власти,
Что мой шатеръ раскинутъ былъ у стѣнъ;
Моей побѣды совершенной въ память,
Я прибиваю щитъ свой знаменитый
Къ высокимъ цареградскимъ воротамъ.
Пускай отсель, щитомъ моимъ прикрытый,
Смѣется онъ и бурямъ и врагамъ!
Пусть въ немъ съ сихъ поръ гремятъ побѣды клики;
На немъ мой щитъ красуется великій.
Ликуйте же и радуйтесь друзья,
Царьградъ неодолимый покорилъ я,
Свой грозный щитъ къ его вратамъ прибилъ я!"

Тутъ-то и слѣдуетъ быстрая перемѣна декорацій, переносящая зрителя въ университетскую аудиторію, гдѣ Каченовскій читаетъ съ каѳедры: какой Олегъ!? все это басни!.. Но у г. Мали-

нина непосредственно за этими стихами слѣдуетъ совсѣмъ другое, а именно:

„Народъ за умъ и храбрость назвалъ Олега Вѣщимъ, т. е. чародѣемъ, мудрымъ, пѣлъ и величалъ его въ пѣсняхъ. Не долго послѣ похода на грековъ жилъ еще Олегъ. Смерть его люди разукрасили поэтическимъ вымысломъ: князь будто-бы умеръ по предсказанію отъ своего любимаго коня, т. е. отъ змѣи, выползшей изъ черепа давно уже издохшаго коня". (Тамъ же, стр. 18).

Затѣмъ слѣдуетъ картина любви Игоря, въ статьѣ подъ заглавіемъ: „Борьба съ славянскими племенами и походы на грековъ", и такіе стихи изъ той же пародіи:

Однажды онъ съ охоты возвращался
И, опершись на лукъ упругій свой,
Товарищей ловитвы дожидался,
Задумчивый и сумрачный душой.
День вечерѣлъ; съ безоблачнаго свода
Сходило солнце—царь небесъ.
Казалося, въ молчаніи природа
Ждала таинственныхъ чудесъ...
...На берегу онъ озера стоялъ
И струи лѣнивый лепетъ
У ногъ его, слабѣя замиралъ.
Смятенный князь чего-то ожидалъ.
Тогда по озеру мелькая,
Явилась легкая ладья,
И, за кормой ея сверкая,
Лилась блестящая струя...
Младой пловецъ стремился къ брегу;
Лучъ солнца свѣтъ вечерній лилъ,
И вѣтерокъ съ какой-то нѣгой,
Его вѣтрило шевелилъ...
Тогда, предчувствіемъ пылая,
Предчувствіемъ любви святой,
Въ пловцѣ узналъ онъ дѣву рая,
Съ ея волшебной красотой.
Она вступила на берегъ зеленый,
Стопой земли касаяся едва;
Онъ подошелъ, не смѣлый и смущенный,—
И полились изъ устъ его слова.
Онъ говорилъ—ему она внимала,
И онъ читалъ въ лицѣ ея любовь..."

Читатель самъ видитъ, что г. Малининъ отъ полноты души приводитъ всѣ эти цитаты „ничто же сумняся", какъ-бы еще давая разумѣть, что ихъ паѳосъ вполнѣ соотвѣтствуетъ паѳосу его собственныхъ разсказовъ.

Пріобрѣтя книгу г. Малинина, въ первые же дни ея появленія (годъ изданія обозначенъ 1879) и, при ея перелистываніи, случайно напавъ на стихи, только-что приведенные нами, мы остановились въ великомъ недоумѣніи. Явно „шуточные" стихи — показалось намъ — кѣмъ-то написаны на смѣхъ; не на смѣхъ же ихъ было приводить въ учебникѣ для народа, писанномъ „по программѣ и согласно требованіямъ Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвѣщенія". Смущенье только увеличилось, когда, при болѣе внимательномъ осмотрѣ оглавленія, мы вдругъ нашли указаніе, что эти стихи принадлежатъ — не вѣрилось глазамъ — знатоку Русской исторіи, Константину Аксакову.

Но смущенье наше было разсѣяно самымъ добродушнымъ смѣхомъ одного собесѣдника, къ которому мы обратились за разъясненіемъ всей этой мистификаціи. Этотъ одинъ весьма близко знакомый съ „Московскимъ кружкомъ тридцатыхъ годовъ“ и болѣе чѣмъ только близко знакомый съ авторомъ „Олега подъ Константинополемъ“—именно И. С. Аксаковъ—раскрылъ намъ, наконецъ, весь истинный смыслъ этой мистификаціи. Ему-то мы и обязаны полнымъ изложеніемъ этой шутливой поэмы отъ начала до конца включительно съ лекціею Каченовскаго о небывалости Олега; также и тѣми немногими, здѣсь переданными, подробностями о „кружкѣ“, который ее издалъ.

Можно-ли болѣе неприличнымъ образомъ потревожить память покойнаго писателя, подписавшаго подъ шутливою пародіей шутливый псевдонимъ „К. Еврипидинъ“—какъ цитируя его bona fide за Еврипида.

Послѣ такого злаго приключенія съ авторомъ „Исторія Россіи для народа“, можно и воздержаться отъ дальнѣйшей оцѣнки его книги. Мы отмѣтили её отъ того только, что самое ея заглавіе можетъ иныхъ ввести въ обманъ и заставитъ пожалуй выписать этотъ „учебникъ“—тѣмъ болѣе, что на оберткѣ изданія поименованы многіе другіе педагогическіе труды г. Малинина—„Бесѣды о наглядномъ обученіи и отчизновѣдѣніи“ и прочіе—и подъ ихъ перечнемъ стоитъ внушительное: „Всѣ эти книги одобрены Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія“.

„Новое Время“ 1879 г.

Къ „Слову о полку Игоревѣ“, по поводу изслѣдованій *М. А. Андріевскаго.*

Литература *Слова о полку Игоревѣ* умножилась еще однимъ трудолюбивымъ изслѣдованіемъ. Передъ нами цѣлыхъ три книжки, посвященныхъ разбору этого памятника,—и конца еще нѣтъ. Двѣ первыя озаглавлены: „Изслѣдованіе текста пѣсни Игорю Святославичу М. А. Андріевскаго. Часть I, глава I—III“ и тоже „глава IV“; третья—„Пѣсни Игорю Святославичу („Слово о полку Игоревѣ“) по чтенію М. А. Андріевскаго. Часть первая“. Въ первой книжкѣ, первая глава заключаетъ подробнѣйшее указаніе всей

литературы этого памятника со времени его изданія включительно по 1879 годъ; тутъ-же приложенъ и алфавитный указатель писателей, чьи труды поминаются. Вторая глава носитъ названіе: „Загадочность нашего памятника“; тутъ авторъ дѣлаетъ пересмотръ существующихъ о „Словѣ“ мнѣній и приходитъ въ концѣ концовъ къ слѣдующему выводу: „Итакъ литературой нашего памятника если не ничего почти не сдѣлано, то, во всякомъ случаѣ, сдѣлано очень немного; слѣдовательно, для того, кто захотѣлъ-бы опознаться въ томъ хаосѣ, который представляетъ собою дошедшій до насъ текстъ пѣсни Игоревой, открывается широкое поприще—начинать работу надъ нимъ почти заново“ (стр. 82, ч. I). Третья глава заключаетъ самый текстъ „Слова“, какъ онъ сохранился въ копіи графа А. И. Мусина-Пушкина—въ сводной редакціи.

Во второй книжкѣ, заключающаяся въ ней единственная IV глава вся и посвящена работѣ, какъ выразился самъ авторъ, „начать заново и опознаться въ хаосѣ“. Изъ строки въ строку, а въ каждой строкѣ изъ буквы въ букву,—авторъ перебираетъ весь подлинникъ. Трудолюбія здѣсь много, даже слишкомъ много. То же должно сказать и о восполненіи картинъ и цѣлыхъ мѣстъ поэмы параллелями изъ лѣтописныхъ повѣствованій и былинъ народныхъ. Много, даже слишкомъ много, и совершенныхъ реставрацій текста, причемъ иные стихи, даже цѣлыя строфы, переносятся съ мѣста на мѣсто, изъ конца въ начало и обратно. Въ этой книжкѣ до 200 страницъ.

Въ третьей книжкѣ, чтеніе „Слова“, возстановленное авторомъ на основаніи собственныхъ изысканій—оканчивается лишь плѣномъ Игоря послѣ несчастной битвы, когда онъ пересѣлъ изъ сѣдла злата въ сѣдло Кощеево. Продолженія еще нѣтъ. „Книги эти—какъ значится на оберткѣ—продаются въ г. Екатеринославѣ, у Митрофана Александровича Андріевскаго, учителя реальнаго училища. Цѣна 1-й одинъ рубль съ пересылкой; 2-й цѣна 2 р. съ пересылкой и 3-й 10—копеекъ“.

Мы съ намѣреніемъ ограничились простымъ изложеніемъ содержанія всѣхъ трехъ брошюрокъ, не высказывая относительно ихъ никакого собственнаго взгляда. Для занимающихся „Словомъ“ во всякомъ случаѣ неминуемо ознакомиться съ ними, каково-бы ни было объ нихъ чье-либо мнѣніе. Чтобъ ознакомить однакожъ читателей съ пріемами г. Андріевскаго и нашимъ собственнымъ на нихъ взглядомъ—ограничимся хотя однимъ примѣромъ.

Авторъ отвергаетъ „*плачъ Ярославны*“ въ томъ видѣ, какъ обыкновенно передаютъ это въ переложеніяхъ и даже на картинахъ. Во-первыхъ, это не могло быть въ городѣ Путивлѣ, по его мнѣнію; а во-вторыхъ, не восходила княгиня на городскую стѣну; не „*на заборалъ*“ плакала она. Путивль попалъ тутъ не къ мѣсту, по его мнѣнію; онъ здѣсь очутился совершенно случайно изъ предыдущихъ строкъ, притомъ искаженныхъ и невѣрно понятыхъ. Когда пѣвецъ описывалъ спѣхъ военныхъ приготовленій для похода на Половцевъ, онъ употребилъ выраженіе: кони ржутъ въ „путивлѣ“. Авторъ толкуетъ: „Собственное имя города Путивля явилось здѣсь совершенно случайно: путивля=путы, или коновязь, „припона“, съпѧтье=vincula (Восто.); *въ путивлѣ*, слѣд.=или въ путахъ, будучи спутаны, или: стоя „на припонѣ“, въ коновязи. Впрочемъ, съ неменьшею вѣроятностью можетъ быть допущено и чтеніе: къ путинѣ, чуя путину, то-есть путь-дорогу, походъ“. (Ч. I, гл. IV, стр. 168).

Разъ было невѣрно понято это „*въ путивлѣ*“, какъ собственное имя города, говоритъ авторъ, тотъ-же Путивль ошибочно былъ помянутъ и въ „плачѣ Ярославны“. Онъ его зачеркиваетъ и реставрируетъ: Ярославна плачетъ „въ Новѣградѣ“. Далѣе, авторъ продолжаетъ: „Выраженіе: *на забралѣ* кажется мнѣ очень подозрительнымъ: не женское это дѣло было—восходить на забрала: на нихъ обыкновенно, когда это нужно было, восходили мужи, а не жены. И чего ради Ярославнѣ, чтобы причитать, голосить, нужно было восходить на „заборало“? Не для того-ли, чтобы порисоваться своею печалью передъ публикой? Таковою она, кажется, и изображается въ гравюрахъ, помѣщаемыхъ иногда въ изданіяхъ нашего памятника и отдѣльно, въ иллюстраціяхъ. Но въ такомъ случаѣ, что-же общаго имѣла эта поэзія эффекта и жеманства съ народной поэзіей, поэзіей простоты и правды? Вотъ это-то соображеніе и заставляетъ меня быть подозрительнымъ по отношенію къ разсматриваемому поэтическому образу. Взглянемъ, въ какой обстановкѣ представляетъ себя горюша въ причитаніяхъ сѣвернаго края, сохранившихъ въ себѣ отголоски глубокой старины.“ И авторъ обращается къ причитаніямъ, которыя даютъ ему поводъ еще къ слѣдующимъ размышленіямъ: „Не передъ публикой плачетъ горюша, не среди городскаго шума, а за селомъ, на лонѣ матери-природы, въ тиши уединенія. Итакъ необходимо свести Ярославну съ несвойственнаго ей пьедестала, на которомъ она явилась въ

сохраненномъ текстѣ вслѣдствіе искаженія его". (Ч. I. стран. 244—245).

На основаніи всего вышеизложеннаго и скрѣпивъ еще свое разсужденіе одною лѣтописною выпиской, авторъ зачеркиваетъ „на заборалѣ", а вмѣсто того ставитъ *„заградье"*, пространство за городомъ, холмъ, лужайка, роща, садъ (стр. 245).

Все это, конечно, не такъ. Восхожденіе на городскую стѣну, смотрины именно съ *„заборала"* — при провожаніи войска въ походъ или при встрѣчахъ его по возвращеніи изъ похода — характеристическая черта нашей древности. Это такая картина, которая повторяется сплошь при описаніяхъ ожидаемой встрѣчи князя изъ похода или провожанія его въ походъ. Припомнимъ легенду о городѣ Зарайскѣ. Княгиня дожидалась своего князя изъ похода, всѣ „глазыньки проглядѣла", вперяя взоръ съ высокой башни въ дальнее поле; вдругъ, не дождавшись возвращенія, получаетъ худую вѣсть о гибели князя; не вытерпѣла, прямо съ башни и бросилась, и „заразилась" на смерть: отсюда-де городъ Зарайскъ. Почему-же г. Андріевскому кажется неестественною та-же самая картина въ „Словѣ?" И Ярославна, рано, на зорѣ, смотритъ со стѣны, въ дальнее поле — одна-одинока. Развѣ г. Андріевскій не замѣтилъ тутъ же у поэта прекраснаго слова о княгинѣ, что она „зегзицею *незнаемъ* рано кычетъ". Вѣчно сѣтуетъ осиротѣлая княгиня; вѣчно глядитъ въ дальнее поле. А притаилась, никто ея не увидитъ. Такъ именно кукуетъ въ рощѣ *„зегзица"*; слышатъ ее всѣ, а гдѣ она,—и въ умъ не придетъ. И такъ, Ярославна могла плакать и со стѣны глядѣть въ поле — какъ прекрасно описываетъ древній пѣвецъ — и это еще вовсе не значитъ, чтобы она тѣмъ самымъ „рисовалась передъ публикой", какъ увѣряетъ г. Андріевскій.

Газета „Русь" 1881 г. Январь.

Одна изъ нашихъ газетъ.

Nomina sunt odiosa.

На свѣтѣ нѣтъ ничего хуже *полу-образованности*. Къ сожалѣнію, это самая распространенная, самая модная болѣзнь въ наши дни. Мало, все меньше, истинно-образованныхъ людей; а отъ *полу-образованности* куда только дѣться?

Въ чемъ-же заключается истинное образованіе и что такое *полу-образованность?* — для разъясненія этого, мы и хотимъ разобрать одну изъ нашихъ газетъ.

Истинно-образованный человѣкъ, прежде всего, не кичится своимъ знаніемъ: увы! онъ достигъ той высоты, откуда уразумѣлъ всю полноту своего невѣдѣнія. Какъ тотъ Фаустъ, онъ охотно смѣшивается съ толпою; про истинно-образованнаго человѣка можно сказать, что онъ самый естественный *ближній* и всегда искреннѣйшій другъ темнаго, такъ-называемаго, простаго народа. Простой народъ встрѣчаетъ его благословеніями: хвала тебѣ, благодѣтель человѣческаго рода! у насъ былъ голодъ, и ты накормилъ насъ, у насъ свирѣпствовала зараза — ты лѣчилъ насъ. А онъ клонитъ голову. „Добрые простые люди, за что вы меня благословляете!“ — клянетъ онъ самого себя. „Я кормилъ васъ пустымъ отваромъ изъ сухихъ костей, и васъ больше поддерживали мохъ да лебеда, которые вы въ него подмѣшивали! я лѣчилъ васъ лѣкарствами, въ которыхъ самъ мало смыслилъ; безъ нихъ вы пожалуй меньше-бы умирали“. И безъ напускнаго смиренія чтитъ онъ въ нихъ, во всѣхъ этихъ бѣдныхъ труженикахъ, своихъ истинныхъ братій; каждому изъ нихъ — не съ поддѣльнымъ уваженіемъ, а любовно протягиваетъ руку.

Совсѣмъ иное дѣло *полу-образованность;* отъ нея такъ и прыщетъ самодовольствомъ; прежде всего, это рѣшительное *всезнайство.* „Наука“, „послѣднее слово науки“, „научное мышленіе“, или еще „естественная наука и естественно-научное мышленіе“ — вотъ слова, которыя у полу-образованности вѣчно на языкѣ. Ей хочется *до себя возвысить* „низшихъ братій“, она смотритъ на нихъ свысока и сердобольничаетъ объ нихъ — какъ тотъ франтикъ со стеклышкомъ въ глазу, котораго степные мужики обступили, дивясь на него какъ на заморское диво, а онъ вообразилъ, что у него просятъ милостыни.

Допустимъ, что тотъ или другой простолюдинъ, или даже цѣлая ихъ сходка, обратились-бы къ образованному человѣку съ вопросомъ: „что такое громъ и молнія, — правда-ли, молъ, что умные люди до всего добралися?“ — Что отвѣтилъ-бы имъ на это истинно-образованный человѣкъ? Знаменитѣйшій естествовѣдъ своего времени, спеціалистъ физики, на это отвѣчаетъ такъ: „Друзья мои! къ сожалѣнію, наука объ этомъ весьма мало знаетъ. Прочтите мою собственную популярную книгу *Громъ и молнія*, и

вы убѣдитесь изъ нея, что на каждый отдѣльный фактъ удара молніи, повидимому, удовлетворительно объясненный, приводятся однакожъ еще рядомъ и другіе факты, которые уже всѣмъ возможнымъ объясненіямъ рѣшительно противорѣчатъ". А попробуй, въ грозу, мужикъ перекреститься на глазахъ нашего полу-образованнаго умника,— и можно вообразить, какую лекцію отчитаютъ ему наши доморощеные знатоки электричества!

Бѣдный селянинъ, допустимъ, какъ ни долго пробивался своею цѣлиною, съ горемъ наконецъ видитъ, что кормилица истощилась: приходится удобрять землю, хочешь не хочешь мѣняй сѣвооборотъ, а средствъ на это не хватаетъ. Вотъ онъ опять къ образованному человѣку, полагая въ простотѣ душевной, что у него и по этой части наука творитъ чудеса. Станетъ-ли истинно-образованный человѣкъ морочить своего темнаго собрата? что̀ можетъ онъ сказать ему болѣе слѣдующаго: „Наука, молъ, доказала одно: если земля истощена, требуются разные землеудобрительные туки; требуется еще введеніе лучшихъ сѣвооборотовъ; наконецъ, пожалуй, требуется и много другаго,— но всѣ такія требованія требуютъ и огромныхъ денежныхъ затратъ". А *полу-образованность* въ этомъ случаѣ говоритъ крестьянину другое: *полу-образованность* прямо приписываетъ плохой урожай пшеницы круглому невѣжеству крестьянина. Она ему внушительно подмигиваетъ: возвысься, любезный, до высоты моего собственнаго „естественно-научнаго мышленія"—тогда у тебя пшеница будетъ родить самъ-сто и потекутъ у тебя молочныя рѣки въ кисельныхъ берегахъ. А злонамѣренность къ этому добавляетъ: у тебя земля выпахалась, захвати землю сосѣда. Но это уже говоритъ злонамѣренность; а злонамѣренность и *полу-образованность*—замѣтьте—не всегда одно и то-же; не станемъ ихъ непремѣнно затушевывать въ одинъ черный цвѣтъ. Безспорно, что *полу-образованность* бьетъ въ руку злонамѣренныхъ людей, что она самое послушное орудіе въ ихъ рукахъ; но это отъ полноты невѣдѣнія, безъ малѣйшаго даже и подозрѣнія, что она дѣйствительно бьетъ имъ въ руку. Такъ и въ частномъ случаѣ о замѣнѣ „естественно-научнаго мышленія" болѣе простымъ правиломъ: „захвати землю сосѣда", *полу-образованность* сейчасъ пожалуй спохватится о какомъ-то гдѣ-то поминаемомъ „аграрномъ законѣ", вмигъ состряпаетъ пожалуй свой собственный „аграрный законъ" и тогда ужъ, чего добраго, дѣйствительно пойдетъ трубить во весь міръ, что именно лишь отъ несоблюденія ея „аграр-

наго закона“ перестала пшеница родить самъ-сто. Но это отъ полноты невѣдѣнія, повторяемъ, опять-таки изъ-за боязни лишь передъ „послѣднимъ словомъ науки“.

Простолюдинъ заботится не объ одномъ хлѣбѣ; онъ можетъ вопросить и о другомъ. „Правда-ли—озадачитъ онъ вдругъ образованнаго человѣка вопросомъ—что нынче все измѣнилось? достаточно людямъ уже одного разсудка, чтобы все постигать, и незачѣмъ больше во что-либо вѣрить? Правда-ли, что нѣтъ ни добра ни зла, нѣтъ души; нѣтъ грѣха — даже въ убійствѣ? Правда-ли, что все чему мы привыкли вѣрить съ дѣтства, одинъ лишь предразсудокъ,— и правда-ли наконецъ, что все это современная наука доказала, какъ дважды два четыре?“ Тутъ уже не можетъ быть и сомнѣнія, что̀ именно отвѣтитъ истинно-образованный человѣкъ. Конечно, онъ скажетъ простолюдину: „Нѣтъ! неизмѣняема душа человѣка! Сумма даровъ души человѣческой все та-же, что̀ была и въ тотъ день, когда Каинъ убилъ Авеля. Добро и зло, душа и тѣло, смерть и безсмертіе — это именно тѣ вопросы, о которыхъ одинаково можетъ судить какъ книжный мудрецъ, такъ и простолюдинъ; ни при чемъ тутъ наука; ни *да* ни *нѣтъ*, ни *за* ни *противъ*, ничего тутъ не докажетъ наука. Оттого-то, что эти вопросы существенны для насъ—открыты они даже младенцамъ. И ты, простолюдинъ, не вѣрь, чтобъ существовала, чтобъ могла существовать такая наука, которая-бы дала отвѣтъ на все, о чемъ именно сказано: „утаенное отъ мудрецовъ открыто младенцамъ“.

На все на это, по крайней мѣрѣ, образованнѣйшій человѣкъ нашего вѣка, написавшій къ тому-же и *Исторію цивилизаціи*, отвѣчаетъ именно такъ:

„Я разсуждалъ, я сомнѣвался, я полагалъ, что достаточно силы человѣческаго ума для разрѣшенія задачъ, представляемыхъ вселенною и человѣкомъ, и достаточно силы воли человѣка для правильнаго устроенія его жизни. Но послѣ долговременной жизни, многой дѣятельности и тягчайшихъ размышленій, я пришелъ къ убѣжденію, при которомъ и пребываю, что ни вселенной, ни человѣка не достаточно для постиженія, для правильнаго устроенія самихъ себя. Богъ, сотворившій вселенную и человѣка, правитъ ими. Я снова возчувствовалъ, что я ребенокъ въ рукахъ Господа. Вижу Его присутствіе и дѣйствіе не только въ постоянномъ правленіи вселенною и въ сокровенной жизни души человѣ-

ческой, но и въ бытописаніи человѣческихъ обществъ, наиболѣе же въ ветхомъ и новомъ завѣтахъ",

Такъ отвѣчаетъ авторъ „Исторіи цивилизаціи".

А *полу-образованность* съ тупой насмѣшкой относится къ его рѣчамъ; ея собственныя убѣжденія гораздо „передовѣе"; у нея ихъ больше, чѣмъ платьевъ въ гардеробѣ; по крайней мѣрѣ, свои модныя убѣжденія она мѣняетъ также часто, какъ и свои модныя платья; изнашивая одни, выписываетъ новыя по мѣрѣ выхода новыхъ книжекъ, и послѣдне-оттиснутая типографскимъ станкомъ книга—для нея непремѣнно и послѣднее же слово науки.

Истинно-образованный человѣкъ знаетъ немощь и силу мудрости всѣхъ вѣковъ; во всѣхъ вѣкахъ знаетъ онъ тѣхъ „великихъ", истинныхъ гигантовъ человѣческой мысли, которые довели ее до той высоты и до тѣхъ предѣловъ—ихъ-же не переступитъ и сто девятнадцатый и тысячу сто девятнадцатый вѣкъ (если таковой будетъ). Въ этомъ смыслѣ и говорится про истинно-образованнаго человѣка, что онъ гражданинъ всѣхъ вѣковъ.

Полу-образованность, напротивъ, дальше своего носа ничего не видитъ; для нея всегда ея собственный, мизерный, напримѣръ нынѣшній XIX вѣкъ—всѣхъ дороже и всѣмъ прочимъ указчикъ (какъ-будто, въ самомъ дѣлѣ, и быть не можетъ сто девятнадцатаго вѣка!). *Полу-образованность* не знаетъ даже того простаго закона коловратности ограниченныхъ людскихъ мнѣній, повинуясь которому они изъ вѣка въ вѣкъ переходятъ лишь отъ одной крайности въ другую, вѣчно вертясь въ томъ-же коловоротѣ,—таково свойство ужъ „ограниченности" мнѣній! *Полу-образованность*, заслышавъ для себя въ первый разъ, напримѣръ, старую какъ міръ погудку—попытку построить все міросозерцаніе по вещественнымъ началамъ міра, подмѣнивъ въ немъ даже идею добра и зла, положимъ, идеею вреда и пользы,—*полу-образованность*, говоримъ, непремѣнно накидывается на это, какъ на самую свѣжую новинку. Но, что̀ еще хуже, эту-то самую погудку—лишь попытку что-то такое доказать и что-то отвергнуть—*полу-образованность* принимаетъ уже непремѣнно за рѣшенное дѣло, выдаетъ уже за совершившійся фактъ: то-то и то-то, молъ, доказано! а то-то и то-то отвергнуто! Странный *вольтъ-фасъ* для перехода гипотезы въ аксіому!

Но мы никогда-бы не кончили, еслибъ захотѣли исчерпать всю разницу между истиннымъ образованіемъ и *полу-образован-*

ностью. Это два совершенно разныя понятія. Лучше обратимся къ разбираемой нами газетѣ. Она представитъ намъ наглядный обращикъ модной болѣзни, которая такъ распространена въ наши дни. Мы не хотимъ называть газету по имени; ручаемся только, что приводимъ выписки прямо съ подлинника, и если не буквально, то лишь затѣмъ, чтобы хотя легкою завѣсой прикрыть искомое имя. Не наша вина, если покажется, что выписки, приводимыя нами, выбраны какъ-бы изъ многихъ газетъ и что мы всѣ ихъ ставимъ на одну доску; истинно говоримъ: охотно принимаемъ ее за единственную въ своемъ родѣ. Прочія виноваты ужь сами, если больше или меньше сходствуютъ съ нею.

Итакъ, безъ выбора, какъ попало, просматриваемъ нумеръ за нумеромъ листки этой единственной въ своемъ родѣ газеты и беремъ тѣ строки, которыя сами попадаются на глаза; дѣлаемъ выписки чисто наудачу: „...При современныхъ понятіяхъ о культурѣ... кто виноватъ въ этомъ случаѣ, рѣшитъ наука... Однакожъ краніологія въ нашъ вѣкъ достигла результатовъ... на науку плюютъ руководители патріотическихъ партій... Это такой раритетъ... И вотъ наука дискредитируется въ глазахъ общества... Смѣшно и стыдно въ концѣ XIX вѣка... Надо дать родинѣ не рецидивистовъ безграмотности... вотъ чему научило насъ научное мышленіе... Недостатокъ надѣловъ съ каждымъ днемъ становится все яснѣе... Горемычный мужикъ каторжнымъ трудомъ не справляется съ платежами... прерія съ дѣвственной почвой... Гнетъ волостныхъ правленій настолько силенъ, что противъ него требуются также энергическія мѣры... высокій уровень умственнаго развитія... Для усвоенія элементарныхъ свѣдѣній по естесствовѣдѣнію требуется только наглядный методъ и не совсѣмъ забитый долбней дѣтскій умъ... Наша корреспонденія поднимаетъ и другой важный вопросъ, указывая на произволъ міра и волостныхъ старшинъ... Всѣ открытія и усовершенствованія, сдѣланныя наукой въ области агрономіи, остаются у насъ мертвою буквой... мы признаемъ необходимымъ введеніе естественныхъ наукъ...“

Итакъ далѣе, и такъ далѣе, все въ одномъ духѣ! Кому нужны всѣ эти „*раритеты*“? и отъ „рецидивистовъ безграмотности“ неужели еще не у всѣхъ болятъ уши? Никто конечно не предполагаетъ найти много смысла въ приведенномъ сумбурѣ; посмотримъ однакожъ есть-ли еще въ немъ хотя капля смысла?

Останавливаемся для примѣра на той статьѣ, откуда выпи-

сана фраза: „смѣшно и стыдно въ концѣ прогрессивнаго XIX вѣка“. Авторъ толкуетъ въ ней „о строѣ религіозныхъ представленій“, а въ этомъ строѣ у него попадаются, между прочимъ, такія диковинки: „культъ—создавалъ общины вѣрующихъ, церкви“. Черезъ десять строкъ поясняется, что являлся какой-нибудь сильный умъ, который процѣживалъ, сквозь фильтръ собственнаго сознанія и чувства, разныя субъективныя поправки прочихъ и дѣлался новаторомъ. „Онъ группировалъ вокругъ себя послѣдователей, церковь, основывалъ... новый культъ“. И такъ кто-же что создавалъ и основывалъ: культъ-ли церковь, церковь-ли культъ? Притомъ, такъ какъ тутъ авторъ, съ полной развязностью и съ поразительной легкостью, толкуетъ заразъ и единовременно о всевозможныхъ *культахъ* „и Небу, и Ваалу, и Елогиму, и Юпитеру, и наконецъ“... наконецъ о томъ *культѣ*, новаторами котораго поминаетъ Нокса, Виклефа, Лютера, Гуса,—то и не ясно-ли, что въ концѣ концовъ у него выходитъ уже рѣшительный „рецидивъ безграмотности“? Гусъ безъ сомнѣнія не захотѣлъ отречься не отъ той церкви и принялъ мученическую смерть никакъ не за ту церковь, которую, видите-ли, создалъ и основалъ какой-то „культъ“ и которой вся цѣна—развѣ-развѣ написанная объ ней безграмотная страничка.

Переходимъ къ другой статьѣ, откуда мы выписали: „*высокій уровень умственнаго развитія и прерія съ дѣвственною почвой*“. Въ чемъ дѣло? Редакція проситъ „обратить особенное вниманіе на помѣщаемую ниже статью“ о процвѣтаніи сельскаго хозяйства въ Америкѣ. Обращаемъ. „Прежде всего... 800 милліоновъ акровъ—земли удобной для обработки!.. Земля на многія сотни миль представляетъ собою еще лугъ, прерію съ прекрасною дѣвственною почвой, обработываемую безъ особаго труда. Удобреніе въ большинствѣ совсѣмъ не нужно, и навозъ... разсматривается лишь какъ необходимое зло при содержаніи скота. Не рѣдко... скотные дворы и загоны, заваленные большими кучами навоза, вмѣсто очистки, идутъ на сломъ и переносятся на другое свѣжее мѣсто. Во многихъ мѣстахъ посѣвы пшеницы слѣдуютъ годъ за годомъ на однихъ и тѣхъ-же поляхъ почти безъ отдыха для земли, и что въ другомъ мѣстѣ повело-бы къ полному истощенію ея, здѣсь по видимому проходитъ безнаказанно... Мало того, въ Америкѣ... дѣлаются оригинальные посѣвы пшеницы на невспаханной землѣ... что не мѣшаетъ очень часто ей родиться весьма хорошо“.

Достаточно. Не говоря о прочихъ благопріятныхъ условіяхъ: „естесственныхъ удобствахъ для внутренней торговли, доставляемыхъ прекрасными судоходными рѣками и... милями желѣзныхъ дорогъ... и превосходствомъ американскихъ машинъ“, вполнѣ достаточно — соглашаемся—ужъ одной „преріи съ дѣвственною почвой“ — для процвѣтанія.

Но редакція-то что-жъ выводитъ изъ сихъ самыхъ строкъ, на которыя просила обратить „особенное вниманіе“? Редакція прежде всего приходитъ въ иступленіе отъ нашего собственнаго отечественнаго земледѣлія, упадокъ котораго грозитъ и голодомъ, и всевозможными бѣдствіями, такъ что требуются скорыя и рѣшительныя мѣры, иначе процессъ раззоренія земли Русской пойдетъ съ ужасающей быстротою,— и прямо вслѣдъ за симъ она-же, редакція, возвращается „къ старой, но вѣчно-новой истинѣ и твердитъ idem peridem“, что наибольшее образованіе народа есть главный источникъ для него всѣхъ благъ и преимуществъ, какъ въ его внутреннихъ дѣлахъ, такъ и въ международной экономической жизни... Итакъ, усиленныя энергическія заботы о народномъ образованіи — вотъ тотъ урокъ, который можетъ намъ преподать Америка.

Поразительно умозаключеніе! Переходъ отъ „преріи съ дѣвственною почвой“ къ „наглядному методу и не совсѣмъ забитому долбней дѣтскому уму для усвоенія элементарныхъ свѣдѣній по естесствовѣдѣнію“,— что это за удивительный перескокъ мысли отъ однихъ причинъ къ противоположнымъ слѣдствіямъ!

Такимъ же перескокомъ отличается статейка о „*краніологіи*“. Парижскій корреспондентъ разбираемой нами газеты, очевидно нашъ соотечественникъ, приходитъ въ неподдѣльное изумленіе заразъ отъ двухъ вещей въ Парижѣ. Во-первыхъ, представьте, каковы тамъ суды! когда тамъ судится убійца, судъ его не оправдываетъ, а непремѣнно присуждаетъ къ казни — несмотря ни на какія заявленія адвокатуры о такъ-называемыхъ „аффектахъ“; несмотря и на демонстраціи ученыхъ экспертовъ, призываемыхъ взглянуть на преступника „съ краніологической точки зрѣнія“. А между тѣмъ, казалось-бы, „Франція классическая страна естествовѣдѣнія“! Именно, громадность результатовъ, которыхъ въ ней достигли естесствовѣдѣніе вообще и краніологія въ особенности—и составляетъ второй предметъ удивленія Парижскаго корреспондента. Выходитъ, такимъ образомъ, что въ Парижѣ, заразъ

въ одно и то-же время — результаты краніологіи и такъ громадны, что приводятъ въ совершенный восторгъ нашихъ соотечественниковъ и такъ они ничтожны, что ихъ обыкновенно пропускаютъ мимо ушей и въ грошъ не чтутъ Парижскіе судьи. Читатель, въ концѣ концовъ, ужъ и самъ не знаетъ, чему болѣе удивляться изъ рапортуемаго въ корреспонденціи.

Интересы краніологіи, впрочемъ, высоко поставлены въ разбираемой газетѣ. Статья, изъ которой мы взяли фразу: „у всѣхъ живо еще впечатлѣніе отъ того тяжкаго обвиненія, которое взведено на психіатра, участвовавшаго въ дѣлѣ Качки", принадлежитъ чуть-ли не самой редакціи; по крайней мѣрѣ, кажется, это передовая статья; а, можетъ быть, мы и сбились: не то передовая статья, не то фельетонъ. Изъ-за чего-же въ ней поднятъ шумъ? Дѣло оказывается въ томъ что, не всѣ газеты отнеслись въ тотъ разъ съ равнымъ благоговѣніемъ къ показаніямъ призванныхъ въ судъ ученыхъ экспертовъ. Однѣ газеты, оказывается, всегда готовы слѣпо вѣрить ихъ отзывамъ; но есть другія, которыя — какъ вотъ впрочемъ и весь Парижъ, судя по собственной корреспонденціи разбираемой нами газеты — относятся критически къ показаніямъ экспертовъ. Что изъ этого? Та-ли редакція права, которая заодно съ Парижемъ, или другая, которая заодно невѣсть съ кѣмъ,— это еще вопросъ. А между тѣмъ, послушайте, какими громами разражается авторъ этой статьи: „На науку плюютъ руководители патріотическихъ партій!... не понравился, видите-ли, приговоръ ученаго ареопага!... Развѣ такое отношеніе къ наукѣ можетъ возростить къ ней общественное уваженіе!... И вотъ наука дискредитируется въ глазахъ общества!"

Полно-такъ-ли?

Пора наконецъ перестать бить въ набатъ. Ни истинному образованію, ни истинной наукѣ ни откуда никакихъ опасностей не грозитъ. Не онѣ, а *лже-наука* и *полу-образованность* — вотъ что наконецъ дискредируется въ глазахъ общества. И давно пора! и чѣмъ скорѣй дискредируется *полу-образованность* въ глазахъ общества — тѣмъ лучше.

Такъ какъ разбираемая нами газета съ особеннымъ блескомъ заявила о своемъ „*западничествѣ*", то мы, собственно для нея, и приведемъ въ заключеніе чистѣйшій образецъ мысли — съ Запада.

„У науки два предѣла и оба смыкаются. Первый — это простое естесственное *невѣдѣніе*, въ коемъ родятся люди. Другаго

достигаютъ лишь возвышенные умы, когда, пройдя полный кругъ человѣческихъ знаній, приходятъ къ сознанію, что̀ ровно ничего не знаютъ,—и напослѣдокъ обрѣтаются въ томъ самомъ невѣдѣніи, съ котораго начали. Но это невѣдѣніе уже просвѣщенное: оно сознаетъ само себя. Между сими двумя, тѣ что вышли изъ первобытнаго невѣдѣнія и не могли возвыситься до втораго, получаютъ нѣкоторый лоскъ достаточной съ нихъ науки и умничаютъ какъ всезнайки. Они-то и мутятъ міръ; превратнѣе ихъ никто не судитъ о вещахъ. Простой народъ, да люди выдающихся способностей обыкновенно движутъ общее колесо міра; а тѣ относятся къ нему съ высока̀ и сами у него въ презрѣніи“ *).

Такъ еще въ XVII вѣкѣ была геніально разгадана *„полу-образованность“* геніальнымъ Паскалемъ. Скажутъ-ли и про него, что онъ „дискредитируетъ науку“?

Газета „Русь“ 1880 г.

Замѣтка для юриста „Русскихъ Вѣдомостей“.

Юристъ „Русскихъ Вѣдомостей“, написавшій въ № 270 передовую статью о patria potestas, повидимому, принадлежитъ къ образованнымъ людямъ. Едва-ли еще не обладаетъ онъ и дипломомъ отъ университета на ученую степень. По крайней мѣрѣ никто развязнѣе его не судитъ объ „области семейно-частнаго и общественнаго права“. Онъ толкуетъ объ этомъ, какъ о своей спеціальности—и докторальнымъ тономъ. Онъ препирается съ Сенатомъ о lege ferenda; онъ громитъ отзывъ о славянской семьѣ нашего извѣстнаго цивилиста Побѣдоносцева; онъ ссылается еще на классическій примѣръ самоуправства консула Манлія Торквата,

*) „Pensées de Pascal“, 1 part. art. VI,—XXV. Les sciences ont deux extrémités qui se touchent: la premiére est la pure ignorance naturelle oú se trouvent tous les hommes en naissant. L'autre extrémité est celle oú arrivent les grandes âmes, qui, ayant parcouru tout ce que les hommes peuvent savoir, trouvent qu'ils ne savent rien, et se rencontrent dans cette même ignorance d'oú ils étaient partis. Mais c'est une ignorance savante qui se connâit. Ceux d'entre deux qui sont sortis de l'ignorance naturelle et n'ont pu arriver á l'autre, ont quelque teinture de cette science suffisante, et font les entendus. Ceux là troublent le monde, et jugent plus mal de tous les autres. Le peuple et les habiles composent, pour l'ordinaire, le train du monde; les autres le méprisent et en sont mèprisés“.

и съ шутливой игривостью упоминаетъ о добродѣтеляхъ Маріи Египетской; наконецъ, онъ настаиваетъ и на необходимости „гарантій“ всякаго рода.

Это-ли еще не *„интеллигентъ“* во всей формѣ? Посмотримъ однакожъ: точно-ли одинъ дипломъ, хотя-бы и на ученую степень, въ состояніи что-либо гарантировать? еще правда-ли, что одна кличка „образованный человѣкъ“ — порука за дѣйствительную образованность?

Въ чемъ дѣло — выпишемъ съ буквальною точностью:

Между Московскимъ прокурорскимъ и губернскимъ правленіемъ произошло пререканіе по одному, очень любопытному поводу, а именно: возникъ вопросъ, можетъ-ли отецъ, въ силу присущей ему patria potestas или по нашему „отеческаго самодержавія“, подвергнуть тюремному заключенію сына своего безъ суда и слѣдствія.— Къ возникшему вопросу существующія учрежденія, въ томъ числѣ и Сенатъ, отнеслись, какъ оказывается, съ крайнею осмотрительностью. Не взирая на то, что въ Уложеніи о наказаніяхъ статья 1592 говоритъ прямо: „за упорное неповиновеніе родительской власти, развратную жизнь и другіе явные пороки, дѣти, по требованію родителей, безъ особаго судебнаго разсмотрѣнія, подвергаются заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 2 до 4 мѣсяцевъ“, правительствующій Сенатъ, прежде чѣмъ произнести какой-либо общій приговоръ въ виду отдѣльно-возникшаго казуса, принялъ нѣкоторую предварительную мѣру. Продолжаемъ выписку: „Сенатъ счелъ нужнымъ предложить статсъ-секретарю Гроту собрать отъ губернаторовъ свѣдѣнія о томъ, какой практики держатся въ этомъ отношеніи тюремныя начальства разныхъ губерній; встрѣчались-ли какія-либо сомнѣнія и если встрѣчались, то — чѣмъ бывали разрѣшаемы“.

Итакъ, чего лучше? Казалось-бы, кому этимъ Сенатъ подалъ хоть малѣйшій поводъ для благороднаго негодованія? Въ Англіи, говорятъ, существуетъ писанный законъ о томъ, что мужъ властенъ вывести на публичный торгъ свою жену съ веревкой на шеѣ. Допустимъ, что при торгѣ подобнаго рода возникъ-бы казусъ,—казусъ, потребовавшій административнаго вмѣшательства для приведенія неотмѣненнаго закона въ дѣйствіе. Чѣмъ было-бы несообразно, еслибъ правительствующій органъ гуманной страны, прежде чѣмъ произносить какой-либо окончательный приговоръ по сему дѣлу, затребовалъ оффиціальныхъ свѣдѣній: въ какой однакожъ степени

пользуются, и еще пользуются-ли, британскіе лорды предоставленными имъ правами надъ ихъ супругами? Въ какой мѣрѣ практикуется, и еще практикуется-ли, постыдный торгъ въ свободной Британіи? (хотя, говорятъ, въ 30-хъ годахъ и нынѣшняго столѣтія несомнѣнно практиковался). Такой вопросъ, также изъ области семейно-частнаго права, не былъ-бы лишнимъ. Правда, заключеніе въ смирительный домъ на срокъ отъ 2-хъ до 4-хъ мѣсяцевъ дѣтей не идетъ и въ сравненіе съ публичною продажей взрослыхъ матерей семейства,—тѣмъ не менѣе однако нашъ правительствующій органъ въ данномъ случаѣ поступилъ именно такъ: онъ потребовалъ свѣдѣній. Юристъ „Русскихъ Вѣдомостей“ разражается негодованіемъ. „Всѣ эти свѣдѣнія, говоритъ онъ, имѣли-бы значеніе при вопросѣ о lege ferenda, при законодательномъ обсужденіи вопроса, но при разъясненіи смысла закона, для каковаго разъясненія единственно компетентнымъ учрежденіемъ признается Сенатъ, разномысліе и колебаніе низшихъ мѣстъ едва-ли могутъ имѣть назидательное значеніе (?!)“. И онъ еще выговариваетъ: зачѣмъ было давать дѣлу „необычное направленіе!“ вольно-жъ, дескать, ждать затребованныхъ свѣдѣній „вмѣсто разрѣшенія спорнаго вопроса по смыслу существующихъ законовъ, какъ обыкновенно дѣлаетъ и долженъ дѣлать Правительствующій Сенатъ, призванный закономъ наблюдать за точнымъ, единообразнымъ примѣненіемъ законовъ“.

Въ этомъ негодованіи,—какъ уже, безъ сомнѣнія, слышитъ самъ читатель,—звучитъ фальшивая нота. Не даромъ-же, чтобъ отнять у Сената самую возможность вопроса о lege ferenda, авторъ употребляетъ такое словоизвитіе при исчисленіи функцій нашего „правительствующаго“ учрежденія, что далѣе не становится даже и грамматическаго смысла въ „разномысліи и колебаніи низшихъ мѣстъ“. Да, это негодованіе поддѣльное; оно напускное. Не мѣра, принятая Сенатомъ, а сама 1592-я статья Улож. о нак., подавшая къ ней поводъ,—вотъ что „за обиду стало“ высокообразованному юристу. Хотя приводимая имъ 1592-я статья буквально говоритъ о *дѣтяхъ* (законъ-же ограничиваетъ права родителей надъ дѣтьми, не только состоящими на службѣ, но даже поступившими въ школу), тѣмъ не менѣе авторъ положительно утверждаетъ: „сынъ можетъ быть уже совершеннолѣтнимъ, имѣть свою собственную семью, быть въ нравственномъ и умственномъ отношеніяхъ гораздо выше своего отца и тѣмъ не менѣе, подъ

страхомъ тюремнаго заключенія, обязанъ ему безпрекословнымъ повиновеніемъ. Сынъ даже не имѣетъ права, — увѣряетъ онъ, — для доказательства своей правоты, обратиться къ защитѣ общественной власти, такъ какъ требованіе отца приводится въ исполненіе безъ „особаго судебнаго разсмотрѣнія“. Такимъ образомъ, само государство, по словамъ автора, преклоняется предъ властью „семейнаго самодержавія“ и предоставляетъ въ его распоряженіе свои карательные органы и учрежденія, т. е. полицію и тюрьмы. „Личность сына уничтожается вовсе передъ лицомъ отцовскаго самовластія. Государство уступаетъ домовладыкѣ карательную функцію, судебную власть. Что-же еще требуется, чтобы признать въ нашемъ семейномъ правѣ наличность юридическаго начала?“

Удаченъ или не удаченъ самъ по себѣ этотъ ироническій каламбуръ о „наличности юридическаго начала“, автору, оказывается, безъ него обойтись нельзя: *имъ-то* и брошенъ камешокъ въ чужой огородъ. Именно, въ этой „наличности“ и заключается вся соль язвительнаго укора, а также этимъ однимъ и ограничивается все ученое возраженіе „идиллическому утвержденію юриста г. Побѣдоносцева о томъ, что семья славянская отличается совершеннымъ отсутствіемъ строгаго юридическаго начала“. Впрочемъ едва нашъ юристъ напалъ на ненавистную статью о томъ, что „непокорныхъ, развратныхъ и явно порочныхъ дѣтей“ (или, какъ говорится въ одномъ изъ узаконеній Петровскаго времени, *„дѣтину непобѣдимой злобы“*) предоставлено родителямъ отсылать въ смирительный домъ—тутъ уже негодованію автора нѣтъ предѣловъ; здѣсь оно ужъ не напускное. За эту статью достается не только одному г. Побѣдоносцеву, но и всѣмъ *„самобытникамъ“*—включительно съ Владиміромъ Мономахомъ. И авторъ внушаетъ еще, что расходиться съ нимъ во мнѣніяхъ по этому пункту — бѣда! По его увѣренію, во мнѣніи о „самобытникахъ“ съ нимъ сходился даже самъ Гоголь! „Статья 1592-я—говоритъ онъ—по духу своему вполнѣ соотвѣтствуетъ господствующей тенденціи дѣйствующаго семейнаго права, порабощающаго личность дѣтей. Она принадлежитъ къ тому же типу самобытныхъ узаконеній, по поводу которыхъ первый западникъ, Петръ Великій, заявилъ, что у насъ дѣти находятся въ подчиненіи у родителей (Петръ этого *не заявлялъ*, замѣтимъ въ скобкахъ) *яко безсловесные скоты*. До изданія Свода Законовъ—увѣряетъ онъ—нигдѣ не была ограничена отцовская власть живота и смерти, а на основаніи Уложенія Алексѣя Михай-

ловича у насъ возможны были случаи, подобные той классической расправѣ, когда консулъ Манлій Торкватъ убилъ собственнаго сына. Такое поистинѣ *самобытное* развитіе отцовской власти существуетъ только у насъ!" восклицаетъ авторъ. „Самобытники"—продолжаетъ онъ—„выставляютъ, какъ основную особенность русскаго общественнаго строя, отсутствіе всякихъ ясно обозначенныхъ границъ полномочій власти, т. е. тотъ патріархальный бытъ, при которомъ все сводится къ личнымъ нравственнымъ качествамъ и настроеніямъ управителей. Съ этой точки зрѣнія и крѣпостное право не представляетъ ничего уродливаго: *нужно только, чтобы всѣ помѣщики обладали добродѣтелями Маріи Египетской!*"

Русскому юристу нашихъ дней не мѣшало-бы знать о крѣпостномъ правѣ нѣсколько болѣе того, чѣмъ разглагольствуютъ объ немъ ничему не учившіеся и обо всемъ пишущіе фельетонисты. Иное дѣло собственно такъ-называемое *„крѣпостное право"*, этотъ продуктъ нашего XVIII вѣка, и иное дѣло—такъ-называемая *„патріархальность"*, она-же въ русской исторіи искони бѣ. Первое встрѣтило грубый отпоръ въ самомъ-же XVIII вѣкѣ въ темной пугачевщинѣ; второе даже „въ грубыя и крѣпостныя" отношенія XVIII вѣка и двухъ первыхъ четвертей XIX вѣка вносило доброе, смягчающее начало. Русскому юристу нашихъ дней непростительно не знать, что именно XVIII вѣкъ придалъ санкцію собственно такъ-называемому „крѣпостному праву" и что кодификація въ этомъ смыслѣ быстро шла по наклонной плоскости уже послѣ „перваго западника", какъ онъ величаетъ главнаго героя этого вѣка. Напротивъ того и вопреки западнымъ началамъ, самобытность міра, самобытность общины у насъ искони вѣковъ существовала подъ сѣнью и охраной единоличной власти; какъ-бы въ параллель съ этимъ, и содружество общиннаго землевладѣнія съ личнымъ—составило у насъ характерное историческое явленіе. Издревле города и цѣлыя области говаривали о своихъ прирожденныхъ князьяхъ: „мы ихъ себѣ вскормили; остались они на нашихъ рукахъ сиротами безъ отца безъ матери и мы ихъ сиротство покрыли; сами выростили, сосватали и повѣнчали". Подобныя же отношенія, конечно въ силу древней патріархальности, а никакъ не указовъ Анны Іоанновны о вотчинахъ, ни даже Екатерины II о благородномъ россійскомъ дворянствѣ,—длились нѣкоторое время и въ извѣстной степени въ самомъ крестьянствѣ. Въ обоихъ случаяхъ формула этихъ отношеній одна и та-же: „какъ наши дѣды и отцы

съ вашими дѣдами и отцами за одно были, такъ и по насъ—наши дѣти и внуки съ вашими-же внуками и дѣтьми вмѣстѣ будутъ". Русскому юристу нашихъ дней—даже въ разсужденіи нынѣшней земской неурядицы—нельзя опускать изъ виду этихъ исконныхъ, несомнѣнно-народныхъ чертъ стариннаго русскаго быта. Безъ этого, а только всуе поминая имя Маріи Египетской—онъ ровно ничего не пойметъ въ русской исторіи, ни въ тысячелѣтней, ни въ сегоднишней.

Во всемъ, что̀ мы сейчасъ говорили, разумѣется нѣтъ, и помину о какой-либо такъ-называемой сословной розни или напротивъ о бывшемъ недавно въ модѣ сліяніи сословій. Въ наши дни пора всякому знать, что говядарь Мининъ и князь Пожарскій (вопреки лапидарному изреченію на ихъ памятникѣ, что одинъ былъ гражданинъ, а другой—князь) оба были равноправные граждане Русской земли; оба отъ ея имени подписывали тѣ-же государственные акты. (Вѣдь этотъ памятникъ былъ поставленъ еще въ началѣ нынѣшняго вѣка, въ 1818 году, еще въ эпоху „Благословеннаго"!).

Допускаемъ искренность въ желаніи ученаго автора—включить Петра непремѣнно въ число „западниковъ". На этомъ основаніи простимъ ему даже умышленное искаженіе словъ Петра. Подлинныя слова: „и хотя чада воли родительской подлежатъ, но не какъ скоты безсловесные", на бѣду для нашего автора—находятся какъ разъ въ томъ памятникѣ, гдѣ говорится еще: „мечтательнаго ученія вкусившіе человѣци глупѣйшіе бываютъ отъ неученыхъ. Ибо, весьма темни суще, мнятъ себя быти совершенныхъ; помышляя, что все что-либо знать можно, познали. Именованные неосновательные мудрецы не только не полезны, но и вельми вредны суть... Доводамъ ихъ не легко вѣрить, но посмотрѣть: тую ли имѣютъ силу, въ яковой они пріемлютъ. Многажды лгутъ господа оны, и чего не бывало приводятъ". Но хоть-бы и такъ! пусть тутъ говорилось-бы именно такъ о родительской власти, какъ угодно юристу, передѣлавшему эти слова по своему,—что̀ онъ черезъ это выиграетъ? Удачный-ли перифразисъ вложилъ онъ въ уста Великому, чтобы зачислить его въ одну партію съ собою? Допустимъ, что „первый западникъ" проглянулъ въ Петрѣ тогда именно, едва онъ произнесъ (чего, повторяемъ, онъ не произносилъ): у насъ дѣти находятся у родителей въ подчиненіи, яко безсловесные скоты. Согласимся и съ

тѣмъ что грубое варварство царило „въ древней русской семьѣ“ и только наконецъ Петръ внесъ въ нее „гуманизирующее“ начало. Однакожь самъ „первый западникъ“, поступкомъ-ли съ царевичемъ Алексѣемъ „внесъ въ русскую семью гуманизирующее начало?“ Тезисъ господъ западниковъ о своемъ первообразѣ опровергнутъ или подтвержденъ этимъ его поступкомъ съ собственнымъ сыномъ?— какъ думаетъ объ этомъ авторъ, исказившій слова Петра? Или, можетъ быть, по мнѣнію западниковъ, Петръ самоличною расправой съ царевичемъ Алексѣемъ только подтвердилъ ихъ лестный о себѣ тезисъ?... Да, Петръ былъ образцово-несчастный отецъ; больше того: онъ былъ нашимъ историческимъ „плохимъ семьяниномъ“. Такимъ онъ жилъ — такимъ и умеръ. И однимъ ужъ этимъ за все отплатила ему роковая историческая Немезида: весь нашъ XVIII вѣкъ это больно чувствовалъ на себѣ.

Не хуже этой тирады о Петрѣ Великомъ вышелъ у разбираемаго нами автора и мадригалъ на долю Владиміра Мономаха. Еще и къ нему, свято-почившему князю, возводитъ онъ корни той злополучной для себя статьи дѣйствующаго Уложенія о наказаніяхъ, въ которой говорится о заблудшемъ сынѣ. Читайте сами: „законъ, корни коего, къ вящему удовольствію нашихъ *самобытниковъ*, теряются въ постановленіяхъ Домостроя, а то и въ завѣщаніи Владиміра Мономаха, значится въ ст. 1592 Улож. о нак.“ Тутъ и выписана статья, нами уже приведенная цѣликомъ.

Что-жъ это? у какихъ низинъ невѣжества мы наконецъ очутились! Весь не только ученый, а просто грамотный русскій міръ привыкъ видѣть въ „Поученіи“ Владиміра Мономаха чистѣйшій образецъ прямо русскаго народнаго характера. Тутъ мудрость и храбрость — безъ возношенія; тутъ сердечное мужество еще и съ нѣжностью; тутъ, бодрость души и тѣла, здравость смысла и духа; тутъ, весь освященный христіанскимъ смиреніемъ, благочестивый бытъ свято-пожившаго и свято-почившаго князя. И этотъ-то драгоцѣнный памятникъ, составляющій красу и славу своего времени не только въ русской, но и въ цѣлой европейской литературѣ за тотъ грубый вѣкъ,— однимъ словомъ, „Поученіе“ Владиміра Мономаха поставлено на одну доску съ „Домостроемъ“ Сильвестра!.. Приглашаемъ ученаго автора категорически указать: гдѣ, и въ какой редакціи нашелъ онъ во всемъ Поученіи Владиміра Мономаха хоть единую строку, хоть единое слово—о родительской власти? Это было-бы любопытнымъ научнымъ открытіемъ съ его

стороны. Ибо не надо быть юристомъ вообще, ни цивилистомъ въ особенности, достаточно уже быть просто грамотнымъ Русскимъ, чтобъ положительно утверждать: во всемъ „Поученіи“, по крайней мѣрѣ въ его извѣстныхъ редакціяхъ, нѣтъ ни единой строки,ни единаго слова о родительской власти. Правда, Владиміръ Мономахъ завѣщаетъ въ „Поученіи“, чтобы его дѣти никого не предавали смерти; но это онъ имъ не въ качествѣ своихъ сыновей и не о родительской власти говоритъ, а въ качествѣ князей—о смертной казни. „Никого не убейте; ни праваго, ни виновнаго смерти не предавайте, души христіанской не губите“—вотъ что̀ онъ говоритъ. Сохранилось одно единственное мѣсто въ писаньяхъ Мономаха, изъ котораго, дѣйствительно, можно узнать и о томъ, какъ онъ, родитель, относился къ своимъ дѣтямъ; но это въ его письмѣ къ своему двоюродному брату, къ крестному отцу его дѣтей,—не въ Поученіи же, а въ письмѣ къ Олегу. Вотъ это драгоцѣнное мѣсто: „Были рати и при умныхъ нашихъ дѣдахъ, при добрыхъ и блаженныхъ отцахъ нашихъ. Но вотъ я самъ пишу тебѣ, потому что принудилъ меня къ тому мой сынъ, а твой крестникъ. Прислалъ онъ мнѣ съ грамоткой своего мужа: уладимся, говоритъ, и смиримся, не будемъ мстить. И увидѣлъ я смиреніе своего сына—сжалился, устрашился Бога. Когда, говорю, онъ, и въ юности и еще въ безуміи, такъ смиренъ, я-то что̀-жъ грѣшенъ, грѣшнѣе пуще всѣхъ человѣкъ! И послушался я своего сына“... этимъ миротворнымъ письмомъ къ неукротимому дотолѣ противнику и покончилъ войну съ нимъ. Съ такою-то нѣжной почтительностью къ сыну и напротивъ съ приниженіемъ самого себя передъ нимъ—хотя-бы и въ извиненіе своей уступчивости передъ Олегомъ—отзывается Владиміръ Мономахъ о своемъ первенцѣ Мстиславѣ.—Вотъ у него, повторяемъ единственное мѣсто о „родительской власти“, другихъ нѣтъ.

А было время—и давно-ли еще?—дѣйствительно, было время, когда всѣ эти mauvaises plaisanteries со стороны автора и о Владимірѣ Мономахѣ, и о Маріи Египетской могли-бы ему стяжать лестную славу; ихъ признали-бы, пожалуй, за знаменіе великаго ума. Это—не далѣе начала нынѣшняго вѣка, говоря приблизительно, и ужъ никакъ не далѣе сороковыхъ годовъ во всякомъ случаѣ. Тогда у насъ царилъ „казенный катихизисъ“. Жизнь и школа были исполнены страшныхъ недоразумѣній. Про малое у насъ говорили: это великое. Земное величали небеснымъ. На глазахъ у всѣхъ воздымался все выше и выше нѣкій столпъ, гордѣе

вавилонскаго, и также мнилъ досягнуть небесъ. Наконецъ, хламъ заступилъ жизнь и завелась мерзость на мѣстѣ святѣ.—Про русскую народность тогда нельзя было и заикнуться. Правда тогда было пущено въ ходъ „православіе, самодержавіе, народность“... но это и обращалось въ публикѣ, именно какъ ходячая монета. Это и были въ своемъ родѣ тѣ — золото, серебро и мѣдь, которыя выпускались не иначе, какъ изъ государственнаго казначейства на непремѣнномъ условіи казенной чеканки, а безъ того даже не допускались въ обращеніи. Тогда-то и нездоровилось горше чѣмъ когда-либо дѣйствительной русской народности. И вотъ, все, что̀ считало себя мало-мальски образованнымъ; все, что хотѣло слыть либеральнымъ (а самостоятельные умы и тогда были въ такую-же рѣдкость, какъ въ наши дни),— все кинулось протестовать противъ всего на Руси, во что бы то ни стало. Напрасно честные одинокіе голоса старались во̀ время образумить кого слѣдовало. Нѣтъ, пошло повальное глумленіе на всю Русь. Что въ ней было хорошаго, что въ ней было дурнаго,— все смѣшалось въ одну темную „абракадабру“. Обратилось даже въ моду: чѣмъ выше и священнѣй былъ тотъ или другой идеалъ въ глазахъ народа, тѣмъ язвительнѣй и нахальнѣй издѣваться надъ нимъ. За баранье стадо пошелъ весь народъ. — Но тогда это было, если не простительно, хоть сносно. Это приключилось съ дѣтьми за грѣхи ихъ родителей. Въ этомъ заключалась роковая казнь; это была заслуженная кара — въ свое время. Одно зло изгонялось другимъ и мы знаемъ, какія темныя силы породили его. Воспоминая тогдашніе типы, творчески воскрешая *силы* и *физіономіи*, которыя царили въ николаевскую эпоху, одинъ умный сатирикъ, въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, выразился такъ: „я назвалъ-бы этихъ людей патріотами-шулерами, но общество давно предупредило меня, давъ имъ названіе *благонамѣренныхъ*“. Такъ вотъ какое было это доброе старое время! И оно прошло. Кто еще и въ наши дни повторяетъ уроки, затверженные изъ прошлаго, тотъ повторяетъ зады. Въ наши дни, когда уже пора образумиться, это — болѣе нестерпимо.

Отъ простаго народа, поглощеннаго непосредственнымъ бытомъ, разумѣется, нельзя и требовать какихъ-либо отвлеченныхъ началъ или логическихъ опредѣленій, къ которымъ привыкъ всякій, учившійся имъ съ дѣтства. Но ничто человѣческое народу не чуждо, и правду онъ чувствуетъ лучше иныхъ мудрецовъ. Отвлечен-

ный германскій мыслитель съ высотъ чистаго умозрѣнія вынесъ прекрасное опредѣленіе нравственности: „дѣйствуй всегда такъ, чтобы основа твоихъ дѣйствій могла служить правиломъ для всего человѣчества“. Не ту же-ли самую истину чувствуетъ своимъ неиспорченнымъ сердцемъ весь нашъ народъ, когда такъ жадно ищетъ универсальныхъ правилъ для своихъ поступковъ именно тамъ, гдѣ ихъ и слѣдуетъ искать: во вселенской мудрости своихъ вселенскихъ учителей и еще въ святомъ житіи тѣхъ, что отрекались отъ своего *я* въ пользу ближнихъ?

А наши полу-образованные умники, эти запоздалые птенцы еще дѣдовъ сороковыхъ годовъ—словно на поминкахъ у нихъ—продолжаютъ и въ концѣ вѣка, уже близящагося къ закату, старую злобу: „для насъ, молъ, Четіи-Минеи лишь *жупелъ* да *трусъ*, которыми пугаютъ замоскворѣцкихъ купчихъ; и что̀ тьмутороканская мгла, что̀ Владиміръ Мономахъ—все едино!“ расписываются они публично во всѣхъ газетахъ.

Такъ, по крайней мѣрѣ, въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“ росписался авторъ передовой статьи о patria potestas.

Газета „Русь“ 1881 г. Октябрь.

II. Публицистика.

Полемика газеты „День“ съ „Московскими Вѣдомостями“ и газетою „Вѣсть“.

Наши близорукіе публицисты.

Въ одной брошюрѣ читаемъ:

„Éclairez-vous sur les maladies internes de la Russie, pour les mieux aggraver;

Apprenez quels sont ses embarras, pour les grandir; ses misères, pour les redoubler; ses faiblesses pour les éterniser;

A l'extérieur devinez les méfiances, écoutez naître les plaintes, soyez partout en même temps, pour tout entretenir et tout fertiliser;

Isolez la Russie, prenez lui ses alliances, suscitez lui des ennemis“ *).

Вотъ программа, которую могъ продиктовать, конечно, только злѣйшій врагъ Россіи. Авторъ, надо ему отдать справедливость, и не прикидывается нашимъ другомъ. Онъ открыто говоритъ, что гибель Россіи, что „сокрушеніе сѣвернаго колосса“—вотъ въ чемъ, по его мнѣнію, заключается задача всего человѣчества. Свою книжку онъ пишетъ въ этихъ именно видахъ; онъ еще надѣется доказать въ ней: какъ будетъ легко, какъ будетъ просто, по его мнѣнію, достигнуть Европѣ такой пресловутой цѣли!

Намъ, Русскимъ, можетъ-ли быть обидно, что тотъ или другой авторъ враждебной брошюры думаетъ не объ увеличеніи славы нашей родной Россіи, а объ ея сокрушеніи? Не товарищескихъ услугъ отъ враговъ и ждутъ себѣ обыкновенно: тутъ обиды нѣтъ никакой. Но вотъ что̀ истинно обидно! отчего-то наши противники серьезно думаютъ, что именно надъ нами-то, надъ Россіей—и сподручнѣе всего пробовать враждебные эксперименты! ни съ кѣмъ, какъ съ ней,—и всегда съ ней. Ни съ Франціей, ни съ Англіей—представляется имъ—враждебные эксперименты не удадутся,—а съ

*) Познайте внутреннія болѣзни Россіи, чтобъ ихъ какъ можно болѣе усилить; изучайте, въ чемъ ея затрудненія — чтобы ихъ увеличить; ея бѣды — чтобы ихъ удвоить; ея слабыя стороны — чтобы ихъ пріурочить на вѣкъ и пр.

Россіей непремѣнно удадутся. Несбыточная, невозможнѣйшая попытка, не мыслимая даже напр. относительно Турціи, непремѣнно имъ представляется—и легко-возможною и нельзя легче осуществимѣй надъ нами. Выходитъ по ихъ мнѣнію, что какъ будто-бы весь міръ отъ вражескихъ навожденій застрахованъ, а Россія отъ нихъ не застрахована; весь міръ, даже Турція, ни передъ однимъ изъ враждебныхъ экспериментовъ не спасуетъ,—а Россія непремѣнно спасуетъ. Почему такъ?

Развѣ Русскій народъ извѣстенъ за малодушнѣйшій въ свѣтѣ, или онъ недовольно ревнивъ къ своей государственной чести? Русскій-ли солдатъ извѣстенъ Европѣ за труса?... нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ. Сколько-бы мы ни вычисляли разныхъ условій, всѣ они будутъ на сторонѣ Россіи; на ея сторонѣ всѣ данныя, всѣ залоги, для того, чтобы быть могущественнѣйшею и безспорно первоклассною державой. И исторіей, и географіей она, противъ всякаго государства въ Европѣ, щедро надѣлена всѣми желательными дарами — для процвѣтанія самаго многосторонняго и для развитія самаго широкаго. Элементы порядка, прочности и незыблемости свойственны ей сторицей противъ всякаго государства Европы; элементы живучести, здравости смысла и духа, наконецъ матеріальнаго довольства и избытка — сторицей принадлежатъ ея народу противъ всякаго другаго. И что-же? Наперекоръ всему этому, наши враги ничуть не отчаяваются въ возможности поставить поперегъ ногу — всему нашему развитію. Они ничуть не считаютъ своего дѣла проиграннымъ и какъ вчера, такъ сегодня, готовы подымать вопросъ о самой цѣлости нашего государства!—Всѣ видимые шансы не на ихъ сторонѣ; а они, какъ-будто разсчитываютъ еще на какіе-то невидимые, сулящіе имъ вѣрный успѣхъ. Какъ-будто, при очевидной силѣ своихъ противниковъ, они мѣтятъ на какого-то невидимаго, ото всѣхъ сокрытаго союзника, который имъ всегда пособитъ и ихъ всегда выручитъ,—который ужъ сознательно-ли, безсознательно-ли, но всегда готовъ къ ихъ услугамъ, всегда за одно съ ними—и, въ то время даже, когда думаетъ дѣйствовать противъ нихъ, бьетъ съ ними въ тактъ. Кто-жъ такое этотъ, ото всѣхъ сокрытый, ихъ вольный или невольный союзникъ? Прислушаемся къ словамъ автора.

Познайте—говоритъ онъ—внутреннія болѣзни Россіи, для того, чтобы ихъ обратить въ неизлѣчимыя; изучайте, въ чемъ состоятъ ея затрудненія и увеличивайте ихъ; въ чемъ наконецъ ея

слабыя стороны—и ихъ пріурочьте ей нà вѣкъ. И такъ, „внутреннія болѣзни Россіи“ — вотъ на что̀, прежде всего обращено зоркое вниманіе нашихъ недруговъ. Наши больныя мѣста, наши слабыя стороны—вотъ основа ихъ злорадостныхъ ожиданій... Смотрите, однакожъ, что̀ еще и вытекаетъ отсюда. Какъ-будто нѣтъ своихъ слабыхъ сторонъ, своихъ внутреннихъ болѣзней и у всякаго другаго государства?! Выходитъ однакоже, что именно у насъ, и только у однихъ насъ, противники наши ихъ полагаютъ неизлѣчимыми. „Роковые вопросы“ вездѣ, по ихъ мнѣнію, и временны и скоропреходящи, они вездѣ легко-исправимы, — у однихъ насъ, видите-ли, они и неразрѣшимы и вѣчно-возможны!? Опять, что-жъ это такое? Таковъ-ли уже самый ходъ событій, такой-ли ужъ у нихъ про насъ секретъ;—а только бѣдамъ всего міра—умаляться, а нашимъ — все расти, все множиться!? Не очутились-ли мы опять въ прежней дилеммѣ? И что-жъ это, наконецъ, за заколдованный кругъ, въ которомъ, повидимому, намъ суждено вертѣться?

Пусть Россія имѣетъ, въ самомъ дѣлѣ, множество такихъ отличій, которыя не допускаютъ поставить съ нею въ рядъ ни одного изъ государствъ въ мірѣ; въ нихъ-то, положимъ, и зрѣютъ зародыши нашей гибели. Положимъ—ихъ очень много, ихъ даже не вдругъ и сосчитаешь... Дѣло однакожъ заключается въ томъ, что сколько-бы мы ни ломали съ вами головы, читатель, сколько-бы мы съ вами ни разсматривали нашихъ собственныхъ недуговъ, стараясь придумать для нихъ уврачеваніе—мы никакъ не напали-бы на секретъ автора. Мы никакъ не очутились-бы у той точки зрѣнія, съ которой иностранные враждебные публицисты сію минуту уже усматриваютъ зачатки нашего разложенія и съ высоты величія которой запѣваютъ намъ свои похоронные гимны. Послушаемъ самого автора, обратимся къ его поучительной брошюрѣ. Въ чемъ-же, по его мнѣнію, эти „внутреннія наши болѣзни“, которыя онъ—ловкій хирургъ и медикъ—берется обратить въ неизлѣчимыя? въ чемъ, по его мнѣнію, „наши бѣды и несчастія“, которыя онъ—сострадательный человѣкъ—берется намъ пріурочить на вѣкъ? Слушайте:

„La nationalité russe est dérisoire. L'empire est un pêle-mêle confus de toutes les races, les quelles tendent incessamment à retourner vers leur berceau.—Les Finnois entre autres, qui ont été conquis sur la Suède, ainsi que ceux des gouvernements de Pétersbourg, de Vibourg, d'Onoletz (?) se distinguent des Russes par la langue, par les moeurs.—Pourquoi la Suède ne les reprendrait-elle pas un

jour? Et les provinces allemandes, pourquoi les cabinets de Vienne ou de Berlin n'y nourriraient-ils pas une propagande active?—Viennent les peuples de race tartare—ils sont originaaires d'Asie. Ils se divisent à l'infini.—Viennent après cela les peuplades du Caucase.—Compterons nous ensuite la race mongole, la race mantchoue, la race polaire, les races cosaques de la mer Noire, celle du Don, du Bug, du Mont Oural, d'Orembourg. On n'en finirait pas. Voilà donc l'Empire. Tous ces peuples, toutes ces races, tous ces ennemis par le sang et par les moeurs, sont unis par des liens factices" *).

Не были-ли мы вправѣ, сказавъ, что какъ ни ломать головы, а намъ никакъ-бы не придумать такого простаго разрѣшенія задачи?

Удивительное дѣло! въ цѣломъ мірѣ не повторяющееся явленіе! Фактъ заключается въ томъ, что существуетъ на свѣтѣ болѣе 50,000,000 Русскаго народа, имѣющаго одну вѣру и одинъ языкъ—а это, прежде всего, и промелькиваетъ между глазъ у всѣхъ западныхъ публицистовъ. Этотъ народъ занялъ огромную территорію и цѣлою своей тысячелѣтней исторіей запечатлѣлъ свое національное единство, какъ единство „Русской земли"—а это-то и не въ примѣту западнымъ публицистамъ. Фактъ, продолжаемъ, состоитъ въ томъ, что Русское государство можно поставить цѣлой Европѣ въ образецъ такого, которое само-собою, ото всей совокупности органическихъ условій, именно въ силу „единства и цѣльности народнаго духа" спородилось и сплотилось въ громадно-политическое тѣло,—а не случайно образовалось отъ какихъ-нибудь внѣшнихъ причинъ, въ родѣ династическихъ уній или выдѣловъ областей въ приданное. Именно единство сплошной отъ моря и

*) „Русская народность — достойна смѣху. Имперія — представляетъ какое-то разносмѣшеніе племенъ, которыя непрестанно стремятся возвратиться въ свое лоно. — Финны, между прочимъ, которые зазоеваны у Швеціи, какъ и другіе, населяющіе губерніи Петербургскую, Олонецкую и Выборгъ, отличаются отъ Русскихъ и языкомъ и нравами — почему-бы Швеціи и не возвратить ихъ назадъ себѣ? А нѣмецкія провинціи... отчего-бы Вѣнскому и Берлинскому кабинету не распространять тамъ своего дѣятельнаго вліянія? — Дальше идутъ народы татарскаго происхожденія — они уроженцы Азіи. Они дѣлятся до безконечности — за ними слѣдуютъ народцы Кавказскіе. — Упоминать-ли, затѣмъ, о Монгольскомъ племени, о племени Манджурскомъ, о полярной расѣ? о казацкихъ племенахъ Чернаго моря, Дона, Буга, Уральскихъ горъ, Оренбурга? И конца-бы не было. Такъ вотъ — Имперія. Всѣ эти народы, всѣ эти племена, всѣ эти враги другъ другу по крови и по обычаямъ, связаны между собою совершенно обманчивыми узами".

до моря народности, единство вѣры, языка и всего обычая, словомъ сказать, „единство и цѣльность народнаго духа“—у насъ обусловливаютъ и наше великое политическое единство... А насъ-то еще и хотятъ увѣрить иностранцы, что мы, 50 милліоновъ, враги другъ другу по крови и по обычаю, мы только того и смотримъ, чтобы намъ разползтись врозь и разбрестись во всѣ стороны... Существуетъ, по ихъ мнѣнію, даже Австрійская народность „Kaiser-Königliche Nationalität“, а Русской народности не существуетъ!.. Когда наши Русскіе путешественники, по улицамъ Берлина и Вѣны, на Адріатическомъ прибрежьѣ, то въ толпѣ нѣмецкихъ солдатъ, то въ толпѣ простыхъ ремесленниковъ или земледѣльцевъ, поминутно признаютъ какія-то родственныя для себя черты и, слыша звуки соплеменной рѣчи, безъ лексикона взаимно понимаютъ другъ друга,—тогда имъ не нужно глубоко-историческихъ изысканій и научныхъ изслѣдованій, чтобъ узнавать въ этихъ всюду мелькающихъ полуиностранцахъ—своихъ запамятованныхъ славянскихъ собратій... А наши враги и противники, грозящіе намъ не сегодня-завтра распаденіемъ цѣлой имперіи, имѣютъ еще наглость увѣрять насъ, что въ предѣлахъ нашей собственной территоріи мы другъ съ другомъ разноязычны,—что даже внутри Россіи самой—мы другъ другу чужіе!

Въ цѣлой Европѣ, говоримъ, нѣтъ еще другаго народа, который насчитывалъ-бы въ себѣ 50 милліоновъ человѣкъ и имѣлъ-бы одну вѣру, одинъ языкъ. Ни одно изъ ихъ государствъ, не только Gesammt-Vaterland, или даже сама Италія, такъ громко сегодня провозгласившая принципъ національности, но ни Франція, ни Англія,—не похвалятся передъ нами той прочностью узъ народныхъ, той цѣлиною сплошнаго грунта единой народности, какими изъ края въ край, отъ Бѣлаго моря и до Чернаго, поражаетъ земля Русская,—а по поводу нашей-то Русской народности и возникаютъ у нихъ еще сомнѣнія!—Величайшая въ мірѣ народность, безпримѣрная по своей единосущности и единокровности въ цѣлой Европѣ; народность, тѣмъ и досадная врагамъ, что не даетъ себя разнять по частямъ; народность, наконецъ, которая тѣмъ и страшна враждебному Западу, что надвигается она отъ востока, какъ цѣлина какая-то, какъ единая сплошная сила—вдругъ въ какую-же? въ „смѣха достойную народность“ обратилась въ устахъ иностранца!! „La nationalité russe est dérisoire!“ восклицаетъ нашъ авторъ, ничуть не конфузясь и не задумываясь ни мало. „La na-

tionalité russe est dérisoire!“ восклицаютъ про насъ наши политическіе противники и бьютъ въ ладоши.

Довольно. Не то странно, и оно даже ни мало не странно, что напавъ на мысль о достойной будто-бы смѣху безнародности Русскаго государства, враги наши злорадостно похлопываютъ въ ладоши. Странно то, что наши собственные, отечественные (скажемъ, пожалуй, патріотическіе) публицисты—имъ въ этомъ случаѣ, какъ нельзя болѣе подбиваютъ въ тактъ. Тѣ изъ нашихъ публицистовъ, по крайней мѣрѣ, которые отъ полноты души признаютъ за Nichts „единство и цѣльность народнаго духа“,—которые хотѣли-бы милліоны квадратныхъ миль съ ихъ живымъ населеніемъ связать лишь внѣшнею силой государства, повить ихъ лишь его „грубыми“ путами... такіе публицисты, какъ нельзя болѣе, и конечно, сверхъ всякаго для себя ожиданія, подойдутъ на-руку нашимъ политическимъ нѣдругамъ и эти послѣдніе будутъ отъ нихъ въ самомъ неподдѣльномъ восторгѣ *).

А что еще, если эти близорукіе публицисты, какъ сами они о томъ не разъ возвѣщали міру, дѣйствительно выражаютъ собой мнѣніе тысячей? Что, если они, и прямо сказать, въ этомъ случаѣ явились только безсознательнымъ выраженіемъ ходячихъ мнѣній самого большинства Русскаго общества? А если это такъ, то найдена будетъ и разгадка, которой мы до сихъ поръ такъ долго и такъ тщетно доискивались. Вотъ, значитъ, и союзникъ,— тотъ невидимый и ото всѣхъ сокрытый союзникъ, на котораго, прежде всего, мѣтятъ враги наши, при другихъ видимыхъ данныхъ къ своему неуспѣху. Само наше общество, это безнародное или даже антинародное общество,—само это печальное, продолжающееся еще и сейчасъ, нѣкоторое историческое недоразумѣніе, въ силу котораго наше общество не выражаетъ собою, кромѣ развѣ исключительныхъ случаевъ, сознанія нашихъ массъ народныхъ; наконецъ, то несомнѣнное условіе, что нынѣче общество и народъ въ ихъ взаимномъ соприкосновеніи дѣйствительно не похвалятся у насъ „единствомъ и цѣльностью народнаго духа“,—вотъ и разгадка тѣхъ невидимыхъ шансовъ, которые никогда не упускаются изъ виду нашими врагами и которые всегда къ ихъ услугамъ. Да,

*) „Зашла рѣчь о государственномъ единствѣ Россіи — „День“ съ славянофильскимъ презрѣніемъ отзывается объ интересѣ государственнаго единства, противопоставляетъ этой грубой дѣйствительности возвышенное Nichts, подъ именемъ „единства и цѣльности народнаго духа“. „Московскія Вѣдомости“ № 54.

само наше общество (и никто, кромѣ его) оказывается тѣмъ вольнымъ или невольнымъ союзникомъ ихъ, который, какъ мы сказали, всегда заодно съ ними, и когда даже думаетъ дѣйствовать противъ нихъ, собственно говоря—бьетъ съ ними въ тактъ.

По причинамъ, не отъ насъ зависящимъ, мы не можемъ быть яснѣе; но кажется мы говоримъ ясно. Читатель, думаемъ, понимаетъ нашу мысль. Ясно, что мы всего-то менѣе и видимъ опасности оттуда, откуда за насъ провидитъ ее авторъ враждебной брошюры, — опасность эта является для насъ совсѣмъ съ другой стороны. Если мы выписали его слова изъ враждебной политической брошюры, то именно для того чтобъ посмѣяться надъ ихъ невѣжествомъ; а когда съ ними совпадаютъ еще нѣкоторыя провѣщанія собственныхъ нашихъ „патріотическихъ“ публицистовъ — въ томъ ужъ не наша вина. Тѣ и другіе, при всей розницѣ своихъ положеній, дѣйствительно между собою сходятся. Правда: что составляетъ для однихъ радостную иллюзію, то для другихъ является — темнымъ кошмаромъ; однакожъ всѣ эти, какъ иллюзіи, такъ и кошмары, будутъ подъ конецъ всего — одни и тѣ-же безтѣлесные призраки и ихъ должно поставить на одну доску. Тѣ, т. е. западные публицисты, очевидно, какъ нельзя лучше понимаютъ, что именно „единство и цѣльность народнаго духа“ обусловливаютъ прочность государственнаго единства и одно это является за него порукой,—но имъ хотѣлось-бы не знать, что именно Россія-то и въ состояніи явить лучшій примѣръ подобнаго единства. Эти, т. е. наши близорукіе публицисты, казалось, не должны-бы блистать одинаковымъ невѣжествомъ относительно собственной своей отчизны; они, по крайней мѣрѣ, никакъ не могутъ принимать „les cosaques du Don, du Bug, d'Ural, d'Orembourg—on n'en finirait pas“ за какія-то отъ Русскихъ отдѣльныя расы,—но такъ какъ, прежде всего, самое-то „единство и цѣльность народнаго духа“ для нихъ не составляетъ ничего, кромѣ Nichts... то чего отъ нихъ и ожидать въ результатѣ, кромѣ самыхъ темныхъ и, вполнѣ ими заслуженныхъ, страховъ одного чисто-внѣшняго и нелѣпѣйшаго въ мірѣ сепаратизма? Спрашиваемъ всякаго, кто только хотя мало знаетъ: откуда наша Русская земля стала есть; спрашиваемъ: можно-ли серьезно раздѣлять опасенія этихъ „патріотическихъ“ публицистовъ, которые и въ самомъ дѣлѣ—какъ-бы въ наказаніе за то, что не вдумались въ ор-

ганическую цѣльность нашего народнаго единства — не вшутку вообразили себя наканунѣ полнаго распаденія! Можно-ли сочувствовать тѣмъ патріотамъ, которые гордо увѣрены и другихъ стараются увѣрить, что у насъ, собственно говоря, внутри все обстоитъ благополучно, и общество у насъ ничуть не въ розни съ народомъ, — а вся бѣда и сама-то наша внутренняя болѣзнь заключается единственно въ легкой возможности внѣшняго къ намъ нашествія и въ безпримѣрномъ удобствѣ произвести у насъ территоріальное распаденіе! Нѣтъ, наша „внутренняя болѣзнь“ — не въ этомъ; отъ „внутренней болѣзни“ такого рода — мы лучше другихъ застрахованы. А вопросъ о существѣ нашей „внутренней болѣзни“ самъ собою разрѣшается теперь на глазахъ читателя. Мы именно хотѣли сказать, что нашъ авторъ, пожелавъ ткнуть на нее пальцемъ на глазахъ всего міра, для всего-же міра промахнулся и, очевидно, не попалъ въ цѣль; но для насъ, истинно, его слово не мимо, и намъ онъ дѣйствительно указалъ прямо въ цѣль.

Размыслимъ только. Вся Русская исторія, вся наша жизнь народная (да, это несомнѣнно!) громко свидѣтельствуютъ въ пользу нашего единства; въ этомъ отношеніи всѣ данныя для насъ благопріятны; это само по себѣ — внѣ всякаго спора. Значитъ: вѣрны-ли мы сами Русской исторіи, мы вѣрны-ли всей нашей народной жизни?... вотъ единственно что̀ можетъ еще подлежать спросу, по поводу чего возникаютъ на нашъ счетъ подозрѣнія, объ чемъ въ насъ могутъ, пожалуй, сомнѣваться! Вѣрны-ли, повторяемъ, мы сами себѣ? вѣрны-ли мы, прежде всего, Русской народности?... Если да, то въ соприкосновеніи нашего общества съ народомъ, конечно, господствуетъ не что другое, какъ именно „единство и цѣльность народнаго духа“, — и тогда никакое распаденіе для насъ не составляетъ угрозы и во всемъ у насъ проявляются благіе результаты лишь такой цѣльности и такого единства. Тогда, значитъ, изъ края въ край по всему нашему царству звучитъ одинъ Русскій языкъ, развиваются и идутъ вширь силы одного Русскаго народа, господствуетъ полнота одного Русскаго духа, — тогда и наша администрація своя народу, и наши академіи и университеты — свои-же народу, и все и вся у насъ только Русское, только Русскіе... Чего-жъ тутъ страшиться какой-то розни? и всякая, хотя-бы даже малѣйшая боязнь какого-то распаденія, въ такихъ обстоятельствахъ, не забавна-ли?

Тогда — Русскій народный духъ, богатѣя и развиваясь отъ многосторонняго въ немъ обилія внутреннихъ идіомовъ, будетъ только расти и крѣпнуть въ своемъ могуществѣ; тогда онъ станетъ именно могучъ внутренней притягательной силой; тогда всякая мелкая, смѣшанная и переходная національность, по нашимъ окрайнамъ, ему сама собой подчинится. Разъ, говоримъ, мы вѣрны сами себѣ, т. е. Русской народности — и тогда всѣ тѣ нагроможденные страхи — мнимые страхи. Но вотъ что̀ оказывается не мнимо, и вотъ въ чемъ для насъ уже истинная бѣда: иностранцы, какъ это ясно изъ приведенныхъ словъ враждебной брошюры, прежде всего, Русской-то народности и не примѣчаютъ въ насъ Русскихъ! Мы (общество по крайней мѣрѣ), очевидно, на ихъ взглядъ представляемся не довольно Русскими, не вполнѣ Русскими! мы на ихъ взглядъ и выходимъ еще какими-то врагами самимъ себѣ! А наша „патріотическая“ публицистика, обратившая самое „единство и цѣльность народнаго духа“ въ Nichts, и уже, по этому самому, достойно казнимая галюцинаціями сепаратизма — какъ нельзя болѣе имъ поддакиваетъ и бьетъ съ ними въ тактъ.

Въ самомъ дѣлѣ, въ виду того громаднаго факта что вся Русская исторія и вся наша жизнь народная громко свидѣтельствуютъ въ пользу нашего единства и что въ этомъ отношеніи, какъ мы сказали, всѣ данныя для насъ благопріятны,— только однимъ теперь и можно объяснить себѣ вѣчныя угрозы нашихъ противниковъ, какъ нашей территоріи — опасностью распаденія, такъ и всему нашему народу — терроромъ какой-то розни, будто на вѣкъ ему прирожденной. Такъ какъ, говоримъ, Русская исторія на это данныхъ не даетъ; такъ какъ и наша жизнь народная на это данныхъ не даетъ-же,—то это означаетъ лишь, что на взглядъ этихъ нашихъ противниковъ мы (общество, выражающее себя въ той публицистикѣ), мы нашей собственной исторіи идемъ на перекоръ; ни ей, ни лучшимъ изъ народныхъ завѣтовъ, по ихъ мнѣнію, мы въ вѣрности не устоимъ; мы на ихъ взглядъ не Русскіе; мы на ихъ взглядъ еще сами себѣ выходимъ враги, что ни лучшіе! Затѣмъ, какъ себѣ ни истолковывайте всѣхъ этихъ обидныхъ на нашъ счетъ предположеній иностранцевъ, а на дѣлѣ они могутъ значить только одно. Они истинно значутъ, что у насъ „единство и цѣльность народнаго духа“ нарушены; что съ одной стороны народъ нашъ, съ другой наше общество — никакъ „един-

ствомъ и цѣльностью духа“ не похвалятся; они другъ для друга — чужіе; это какъ-бы двѣ розныхъ силы, чуть-ли еще не поставленныя въ антагонизмъ между собою. Заключеніе отсюда ясное и прямое, что вотъ это-то раздвоеніе и составляетъ нашъ немнимый недугъ, — въ немъ-то и заключается та „внутренняя болѣзнь“ наша, которая одна должна страшить всякаго немнимаго патріота.

Весь живой организмъ нашей родной земли и Русскаго народа; тѣ внутреннія жилы и нервы, которыя органически связуютъ этотъ народъ отъ Бѣлаго моря и до Чернаго въ одно неразрывно-цѣлое и живое; ради которыхъ вся земля, на каждой точкѣ необозримой территоріи, движется однимъ чувствомъ, волнуется однимъ духомъ и бьется однимъ трепетомъ — вотъ что̀ важно, вотъ что̀ незамѣнимо-дорого и что̀ одно завѣтно съ точки зрѣнія прямо-Русскихъ, истинныхъ интересовъ. Только не угашайте этого животворнаго духа, только возбудите его-то именно и предоставьте ему полную свободу выражаться — тогда духъ великаго народа самъ собою ассимилируетъ все невеликое-малое, что соприкасается съ нимъ по окраинамъ; тогда послѣдуетъ органическое срощеніе частей — цѣлебное и заживляющее; явится въ нихъ само-собой къ нему тяготѣніе, и станетъ вольно совершаться кровообращеніе къ сердцу отъ периферіи... Именно нашей родной землѣ, именно нашему Русскому царству, съ избыткомъ дано всѣхъ этихъ важныхъ, существенныхъ залоговъ — для такого прочнаго навѣки нерушимаго единства, для такого органическаго тождества „единства и цѣльности народнаго духа“ съ самимъ государственно-политическимъ строемъ! Какъ дорого-бы дали всѣ западныя государства Европы, чтобы имѣть ихъ въ себѣ, хотя на одну малую долю въ той степени, въ которой ими надѣлена наша Россія... И какъ мелка или какъ намѣренно-слѣпа должна быть та отечественная публицистика, которая ничего больше, кромѣ возвышеннаго Nichts не видитъ въ „единствѣ и цѣльности народнаго духа“, которая лишь въ „грубыхъ“ путахъ государственности сознала всю поруку за единство, — которая ассимилирующему началу жизни предпочла простую нивеллировку; которая приняла средство за цѣль и форму — за духъ. Ей не было-бы никакого извиненія, этой публицистикѣ, если-бъ еще и сама она не являлась неизбѣжнымъ послѣдствіемъ и лишь наихарактернѣйшимъ признакомъ того самаго „раздвоенія“, той „нашей внутренней болѣзни“, о которыхъ мы говорили.

Прекрасно заботиться объ „единствѣ и цѣльности государства“ — но надо понимать, что только „единство и цѣльность народнаго духа“ и составляютъ надежнѣйшую поруку за такое желанное государственное единство. А хлопотать о Русскомъ „государственномъ единствѣ“ и въ то же время выдавать за Nichts „единство и цѣльность нашего народнаго духа“ (какъ это дѣлаютъ Московскія Вѣдомости) — это то же самое, что для крѣпости дуба вбивать ему свинцовыя сваи подъ-корень и желѣзный колъ въ самую сердцевину, — подпирать его гранитными столбами и окручивать обручами подъ самое живое. А рекомендовать за какую-то панацею противъ всѣхъ нашихъ дѣйствительныхъ золъ и недуговъ усиленіе лишь государственной машины — это значить развивать зло, усиливать наши недуги. Это, наконецъ, значитъ, какъ уже сто разъ было говорено, признавать механизмъ, а не организмъ въ самой государственной жизни великаго народа. Но если мы чѣмъ-нибудь вводили и вводимъ постоянно на нашъ счетъ въ заблужденіе иностранцевъ, если мы постоянно чѣмъ-нибудь и разжигаемъ въ нихъ увѣренность въ легкой возможности нашего сокрушенія; если, наконецъ, что-нибудь и манитъ ихъ постоянно пробовать надъ нами всякіе возможные и невозможные эксперименты — такъ это именно то, что весь живой организмъ нашей родной земли до сихъ поръ постоянно для нихъ выступаетъ — лишь какъ бездушный механизмъ имперіи: не внутреннія, живыя связи даютъ имъ себя примѣчать во всемъ ходѣ нашей Русской жизни, а лишь искусственныя и чисто-внѣшнія связи одной государственной централизаціи. Полнота Русскаго народнаго духа и обильное развитіе внутреннихъ силъ Русскаго народа ни въ чемъ для нихъ до сихъ поръ не обнаруживаютъ своего замѣтнаго существованія: какъ будто даже ихъ нѣтъ вовсе. Съ точки зрѣнія истинной Россіи, они конечно не правы; конечно неправа и наша собственная публицистика, вдругъ захотѣвшая видѣть лишь бездушный механизмъ, а не живой организмъ въ жизни великаго русскаго царства. Нѣтъ, не про истинную Россію говорятъ они, и иностранные и „патріотическіе“ публицисты, когда придаютъ нашей родинѣ такіе бездушные признаки: въ ихъ воображеніи возстаетъ конечно, призракъ... какого-то безнародно-отвлеченнаго государства. Кто-жъ съ этимъ не согласится или кто съ этимъ будетъ спорить, что если-бы могло вдругъ оказаться на свѣтѣ такое чудище, такое неслыханное государство — то ему и въ самомъ

дѣлѣ долго никакъ-бы не устоять. Самыя однородныя части, вполнѣ свои другъ другу, захотѣли бы разойтись врозь — лишь-бы не пребывать въ подобной мертвечинѣ. Государство безъ самодѣятельности народной, въ которомъ духъ и геній народа чахнутъ въ бездѣйствіи и глохнутъ ни къ чему не призванные; государство, которое хочетъ самимъ собою и собственными государственными функціями замѣнить вездѣ народъ и его „душу живу“; которое, наконецъ, хочетъ удержать всѣ свои части лишь механической силой сцѣпленія и удерживается само лишь фокусомъ искусственной централизаціи — такое государство должно пасть, это неоспоримо. Не надо быть ни магистромъ политическихъ наукъ, ни даже глубокимъ знатокомъ одного государственнаго права, чтобъ предсказывать это. Но, повторяемъ, это про какое-то мнимое и призрачное государство говорятъ наши други и недруги, когда разумѣютъ все это,—про какую-то *притчу во языцѣхъ*, а никакъ не про нашу „истинную Россію“.

„Сепаратизмъ“—вотъ кошмаръ, который преслѣдуетъ нашихъ „патріотическихъ“, но вовсе не народныхъ и мало понимающихъ Русь публицистовъ. Почему-то еще всѣ эти мороки нашего распаденія и сепаратизма представляются имъ за какой-то результатъ будто-бы позднѣйшихъ событій, отъ Севастопольской войны до Польскаго мятежа включительно. Они рекомендуютъ теперь и для нашей нынѣшней современности, какъ панацею — именно то, что, въ нѣкоторомъ смыслѣ, дѣйствительно, составляло отличіе предшествовавшей эпохи... Слѣпцы! они рекомендуютъ противъ зла именно тѣ средства, чрезмѣрное употребленіе которыхъ — его, самое это зло, и породило!—Развѣ можно намалевать призракъ сепаратизма еще болѣе грозный, еще болѣе яркій и рѣшительный чѣмъ тотъ, который мы взяли цѣликомъ изъ разбираемой нами брошюры! Но когда-же про насъ писались подобныя брошюры? въ какое время наводняли онѣ собой всю западную публицистику? Знакомые съ нею не со вчерашняго дня должны будутъ признаться, что именно въ эпоху самаго сильнаго у насъ развитія „государства для государства“ и являлись подобныя брошюры; въ то время, когда за единообразнымъ механизмомъ имперіи не было у насъ вовсе видно живаго народнаго организма,— тогда именно и возникало наиболѣе недоразумѣній по поводу нашего дѣйствительнаго народнаго единства. Брошюра изъ которой мы приводили цитаты писана въ то время, когда внѣшній блескъ нашего государ-

ства достигъ, казалось, полнаго своего лучезара; когда государство наше стояло въ зенитѣ своего наружнаго могущества и своей видимой славы *). Теперь, когда само правительство призвало къ жизни и къ обновленію милліоны Русскаго народа; когда само оно призываетъ народъ къ самодѣятельности,—всѣ эти мороки и туманы, должно надѣяться, сдунутся и исчезнутъ. Но исполниться-ли эта свѣтлая надежда? есть-ли виды на осуществленіе ея? увы!... для того, чтобы она осуществилась — именно нужно, чтобы единство и цѣльность народнаго духа были для нашего общества не какимъ-нибудь Nichts, хотя-бы и возвышеннымъ, а стали-бы въ немъ живою дѣйствительностью, совершившимся фактомъ,— conditio, sine qua non.

Газета „День“ 1865 г.

Современныя темы. (Вопросъ объ общинѣ).

I.

„Дверь, по необходимости, или отворена или затворена“ говоритъ французская поговорка. Средняго положенія тутъ и въ самомъ дѣлѣ быть не можетъ; а непремѣнно, какъ въ чётѣ или въ нѣчетѣ, что-нибудь одно изъ двухъ.

Нашей публицистикѣ, повидимому, чуждъ здравый смыслъ этой поговорки. Тотъ или другой публицистъ, допустимъ, ясно и безоговорочно выразитъ свое желаніе затворить дверь; возражатель схватываетъ изъявленное желаніе публициста. Вы не желаете значитъ, говоритъ онъ, чтобы дверь оставалась отворена! — „Нѣтъ, я никогда не говорилъ этого!“ — восклицаетъ теперь нашъ публицистъ съ доблестнымъ жаромъ. И онъ храбро отрекается отъ прямаго логическаго вывода изъ его собственныхъ словъ. Онъ упрекаетъ еще своего возражателя въ умышленномъ искаженіи цитаты. Онъ сейчасъ-же взводитъ обвиненіе въ солидарности съ Польскимъ жондомъ и въ намѣреніи оскорбить цѣлое дворянство.

Такой именно случай произошелъ въ текучей публицистикѣ по поводу вопроса „о сельской общинѣ“. Было время, когда этотъ вопросъ держался на высотахъ чисто-теоретическихъ. Публика —

---

*) „Russie, Allemagne et France. Paris. 1844. D'après les notes d'un vieux diplomate, par Marc Fournier.

мало понимавшая, какой практическій результатъ окажется на дѣлѣ отъ разрѣшенія его въ ту или другую сторону — мало прислушивалась и къ отвлеченнымъ, диллетантическимъ спорамъ. Ей тогда едва-ли даже не казалось, что славянофилы, какъ вездѣ, такъ и въ этомъ вопросѣ, проводятъ только мысль о преимуществѣ смазныхъ сапоговъ передъ модными ботинкомъ. Ей могло казаться также, что наши западники, эти гуманные прогрессисты, напротивъ того, и здѣсь, какъ вездѣ, отстаиваютъ грудью — цивилизацію, прогрессъ и гуманность.

Теперь не то. Трудная, дѣловая жизнь нашего отечества за послѣдніе годы измѣнила многое въ понятіяхъ общества и значительно отрезвила умы. Призраки отвлеченно-гуманитарнаго прогресса разлетѣлись, какъ мыльные пузыри... А многое, что для большинства нашихъ цивилизаторовъ и прогрессистовъ казалось едва-ли не мистицизмомъ, то теперь громко сказалось само за себя въ жизни и объявилось насущною потребностью.

Всего лучше, когда та или другая теоретическая мысль, то или другое ученіе находитъ себѣ, наконецъ, провѣрку въ дѣйствительности. Мысль о Русской сельской общинѣ (такъ долго казавшаяся лишнею мечтой праздныхъ теоретиковъ) теперь, съ упраздненіемъ крѣпостнаго права, съ надѣленіемъ 20,000,000 крестьянъ землею, дождалась себѣ наконецъ такой провѣрки. Вопросъ о сельской общинѣ — т. е. о томъ, чѣмъ именно въ ней дорожатъ одни и чѣмъ она заслуживаетъ нареканія другихъ — представляется теперь во всей своей наглядности. Всякій можетъ теперь самъ провѣрить этотъ вопросъ: практическіе результаты того или другаго рѣшенія — всякому укажутъ, на чью сторону стать въ этомъ спорѣ. Дѣло оказывается въ томъ, что если удастся нашему крестьянству удержать вѣковое общинное начало, (при всѣхъ невыгодахъ, съ какими теперь сопряжено это вслѣдствіи неправильной постановки такъ называемой выкупной операціи) тогда ему удастся удержать за собою и ту землю, которая — если не обезпечиваетъ всѣхъ его нуждъ и потребностей, то по крайней мѣрѣ, обезпечиваетъ его навсегда отъ рабской участи западнаго пролетарія. Дѣло въ томъ что если наше крестьянство, напротивъ того, будетъ вынуждено отказаться отъ своего вѣковаго обычая владѣть землею всѣмъ селомъ коллективно, тогда и ему будетъ угрожать та-же злая участь. Вотъ въ какомъ видѣ поставленъ въ современной публицистикѣ вопросъ о сельской общинѣ,—и не мы его такъ поставили

ли. Утверждая, что общинное устройство не даетъ у насъ развестись массѣ бездомныхъ, безземельныхъ работниковъ и что съ уничтоженіемъ сельской общины эта масса развелась-бы у насъ неминуемо, сами противники сельской общины поставили вопросъ о ней — въ такомъ видѣ.

Но вопросъ, поставленный такимъ образомъ, даетъ-ли возможность хоть на минуту задуматься, въ какую сторону рѣшить его? Если дѣйствительно сельская община, этотъ вольный обычай народа, предохраняетъ Россію отъ пролетаріата; если, напротивъ того, съ отмѣною общины, нашему народу грозитъ именно эта кара западныхъ государствъ Европы, — то можетъ-ли быть сколько-нибудь странно, что въ нашей литературѣ раздаются голоса въ защиту общины? Странно то, что въ ней находятъ себѣ пріютъ голоса противные.

Странность эта увеличивается до колоссальныхъ размѣровъ и уже едва-ли удерживается въ предѣлахъ одной странности, когда борцы противъ сельской общины сами еще устанавливаютъ этотъ вопросъ со всей его рѣшительностью и во всей его неумолимой рѣзкости; когда они весьма категорически именно то́ и ставятъ въ упрекъ сельской общинѣ, что она не позволяетъ у насъ образоваться массѣ бездомныхъ, безземельныхъ работниковъ; когда самую необходимость уничтожить у насъ сельскую общину они беззастѣнчиво мотивируютъ ничѣмъ другимъ, какъ именно необходимостью расплодить у насъ пролетаріевъ! Споры о сельской общинѣ, такимъ образомъ, сошли въ современной публицистикѣ на оригинальнѣйшій вопросъ „о необходимости развести у насъ массу бездомныхъ, безземельныхъ работниковъ путемъ уничтоженія сельской общины“. Преимущественно лишь съ одной этой стороны въ настоящее время и идутъ на нее нападки.

И надобно правду сказать, посчастливилось въ нашей журналистикѣ этому вопросу въ теченіи нынѣшняго года! Вотъ уже который мѣсяцъ наши патріоты — honni soit qui mal y pense — не перестаютъ его поворачивать на всѣ лады; они задѣваютъ его прямо и косвенно, то развивая въ цѣлыхъ фундаментальныхъ статьяхъ, то касаясь какъ-бы вскользь и мимоходомъ. Еще очень недавно одна извѣстная газета (мы не хотимъ назвать ее по имени) соболѣзновала съ видомъ полной искренности о томъ, что только пустые люди, маріонетки, журнальные борзописцы, а главнее враги Русскаго народа и сподручники чуть-ли не Польскаго

жонда могутъ не раздѣлять ея убѣжденій о священной необходимости предоставить, какъ можно скорѣе, крестьянамъ распродавать ихъ участки. Упраздненіе сельской общины, хотятъ насъ со всѣхъ сторонъ увѣрить, составило-бы истинную эпоху славы въ жизни нашего отечества: упраздненіе сельской общины — вотъ въ чемъ заключается и панацея противъ всѣхъ золъ на свѣтѣ.

II.

Петербуржское Вольное Экономическое и Московское Общество Сельскаго Хозяйства, какъ извѣстно, посвятили часть своихъ досуговъ на разработку именно этой темы. Первое изъ нихъ даже, въ лицѣ г-на Н. А. Безобразова, предложило „конкурсъ на соисканіе преміи за сочиненіе *объ устройствѣ сельскаго труда въ Россіи*“. Всякій воленъ, безъ сомнѣнія, назначать изъ своихъ денегъ преміи за что угодно. Въ выборѣ темы для конкурса онъ только невольно раскрываетъ свои заповѣдныя намѣренія, ясно обнаруживая, какъ общественныя симпатіи, такъ и антипатіи свои. Въ программѣ этого конкурса особенно бросается въ глаза вотъ что: г-нъ Н. А. Безобразовъ проситъ своего конкуррента не просто указать на то или другое „устройство труда“, которое было-бы наиболѣе выгодно; нѣтъ, повидимому, самъ предложитель преміи ужъ владѣетъ секретомъ наилучшаго устройства, съ выгодами котораго ничто не сравнится Но онъ заранѣе предвидитъ какія-то непремѣнныя условія и обстоятельства, которыя будутъ помѣхой его сельскому труду въ Россіи, какъ онъ его понимаетъ. И вотъ, назначая премію, онъ повидимому, все вниманіе своего конкуррента заранѣе устремляетъ лишь на это statu quo; онъ направляетъ всю его дѣятельность на устраненіе тѣхъ препятствій, прося лишь указать: „какому устройству *подлежалъ-бы* сельско-хозяйственный трудъ, какъ предопредѣленный“. „Предопредѣленный“!! какъ понимать этотъ таинственный терминъ? Составители программы тутъ-же поясняютъ: „трудъ предопредѣленный, т. е. вызываемый мѣстными условіями и въ то-же время свободно-принимаемый порядокъ, привлекающій рабочія силы вокругъ поземельнаго капитала“. Такъ какъ ни въ одномъ академическомъ словарѣ не встрѣтимъ подобнаго истолкованія термина „предопредѣленный“, то невольно приходится заключить о самой преміи и конкурсѣ, что съ самаго начала въ нихъ самихъ уже есть что-то „предопредѣленное“.

Кстати.—Нынѣшнее Вольное Экономическое Общество, въ лицѣ г-на Н. А. Безобразова, назначаетъ премію въ тысячу цѣлковыхъ за „предопредѣленное“ сочиненіе „объ устройствѣ сельскаго труда въ Россіи“. Но то-же самое Вольное Экономическое Общество, ровно сто лѣтъ тому назадъ—въ 1766 году—назначило отъ имени *неизвѣстной особы* премію въ тысячу червонцевъ за лучшее сочиненіе... на тему иную. Дѣло шло о поземельной собственности крестьянъ, о надѣленіи ихъ землею;—Общество хотѣло поощрить рѣшеніе этого вопроса въ положительномъ смыслѣ. Премія въ тысячу червонцевъ была предложена Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ за лучшее изслѣдованіе задачи: „Что полезнѣе для общества,—чтобъ крестьянинъ имѣлъ въ собственности землю, или токмо движимое имѣніе, и сколь далеко его права на то или другое имѣніе простираться должны?“—Умная Екатерина, особенно покровительствовавшая этому Обществу, приняла горячо къ сердцу предложеніе такой задачи. Въ трудахъ Общества, вмѣстѣ съ публикаціей объ этомъ конкурсѣ, читаемъ: „Ея императорское величество, всемилостивѣйшая наша государыня, о патріотическомъ усердіи неизвѣстнаго предложителя изображеннаго выше сего вопроса толикое изволила оказать благоволеніе, что высочайше повелѣла тому, кто объявитъ о себѣ и докажетъ, что при предложеніи онаго вопроса прислалъ 1,000 червонныхъ въ Экономическое Общество, дать 2,000 червонныхъ“. Вотъ что одинъ изъ Русскихъ людей того вѣка писалъ о крестьянской собственности въ недвижимомъ имѣніи, въ сочиненіи, которое было признано Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ за одно изъ лучшихъ: „Каждый крестьянинъ, писалъ онъ, долженъ имѣть довольно земли для сѣянія хлѣба и паствы скота и владѣть оною наслѣдственнымъ образомъ такъ, чтобы помѣщикъ ни малой не имѣлъ власти угнетать какимъ-нибудь образомъ, или совсѣмъ оную отнимать. Наслѣдственное сіе въ земляхъ право не должно такъ далеко простираться, чтобъ крестьянинъ былъ въ состояніи данною ему землею располагать по произволенію; довольно, ежели онъ ею можетъ невозбранно и безпрепятственно пользоваться и отъ того себѣ получить пропитаніе. Для сей причины не дозволяется ему, подъ какимъ-бы видомъ онъ ни хотѣлъ сіе сдѣлать, продавать свою землю или дарить, или закладывать, или раздѣлять между многими дѣтьми“. („Русскій Архивъ“ 1865 г.). Этотъ эпизодъ, 1766 года, изъ жизни Вольнаго Экономическаго

Общества невольно припоминается намъ всякій разъ, когда читаемъ ежедневно повторяемую въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ программу конкурса, предложеннаго г-мъ Н. А. Безобразовымъ. Въ сто лѣтъ Общество, какъ видно, значительно ушло впередъ. Но возвращаемся къ нашей темѣ.

III.

Споръ о сельской общинѣ, сказали мы, въ текучей публицистикѣ сошелъ на весьма оригинальный вопросъ „о необходимости во всякомъ благоустроенномъ обществѣ пролетаріата и о разведеніи его искусственнымъ образомъ у насъ въ Россіи путемъ уничтоженія сельской общины“. Наши возражатели съ этимъ, пожалуй, не согласятся; они будутъ всячески отпираться отъ такой постановки вопроса; они обвинятъ насъ въ намѣренномъ искаженіи ихъ словъ. Московскія Вѣдомости скажутъ: мы толковали объ „источникѣ жизни“ и о „водвореніи экономической свободы“, а слово *пролетаріатъ* даже не произносили. Слово „пролетаріатъ“ они дѣйствительно тщательно обходили въ своихъ разсужденіяхъ. Но какими-бы сладкозвучными именами ни называли они предлагаемую операцію надъ сельской общиной— (операція состоитъ въ томъ, чтобы на мѣсто мірскаго, коллективнаго владѣнія землею, каждому крестьянину предоставить участокъ въ личную собственность съ правомъ отчужденія) — сущность дѣла отъ этого нисколько не измѣнится. Желаніе видѣть у насъ массу бездомныхъ, безземельныхъ работниковъ, проживающихъ въ чужихъ избахъ на хозяйскихъ харчахъ, — желаніе, для осуществленія котораго и предлагается та операція, — есть несомнѣнное желаніе видѣть у насъ пролетаріевъ, никакъ не иначе. Пусть это желаніе, при помощи строго-научнаго термина „водвореніе экономической свободы“, возводится въ какое-то послѣднее слово политической мудрости; пусть еще метафорой объ „источникѣ жизни“ ищутъ ему придать все благоуханіе поэзіи, — но дѣло говоритъ само за себя—и насъ нельзя обвинить въ искаженіи цитаты.

Даже, если мы предприняли разсмотрѣть исторію этого оригинальнаго вопроса, то именно за тѣмъ, чтобы показать, какъ часто наши патріотическіе публицисты, изъявляя желаніе затворить дверь, отрекаются въ то-же время отъ того, что они не хотятъ ее видѣтъ отворенной. Обзоръ этихъ споровъ о сельской общинѣ составитъ,

такимъ образомъ, эпизодъ—весьма не лишенный интереса для характеристики нравовъ современной патріотической публицистики.

Враги народа! маріонетки, повинующіяся ниткѣ ловкихъ интригановъ! пустые люди! журнальные борзописцы! исказители чужихъ словъ! сподручники Польскаго жонда! мужиколюбы! оскорбители цѣлаго дворянства!... вотъ тѣ удачные эпитеты, которыми осыпаны писавшіе противъ теорій „о водвореніи экономической свободы“. При этомъ рекомендуются, кромѣ статей самой редакціи газеты, еще статьи гг. Бланка и Ржевскаго, Григорія Наличнаго и Заочнаго и тому подобныхъ персонажей—какъ тѣ сокровищницы патріотическаго духа, какъ неисчерпаемые кладези политической мудрости, которые должно противопоставить зловреднымъ теоріямъ „маріонетокъ“.

Остановимся, прежде всего, на пердовой статьѣ упомянутой газеты, гдѣ найдемъ цѣлую доктрину объ „источникѣ жизни“, какъ редакція его понимаетъ. Оставляемъ въ сторонѣ всѣ невѣроятные промахи этой статейки, которые въ свое время въ „Днѣ“ уже были указаны (такъ напр. кочеваніе изъ сословія въ сословіе, между прочимъ изъ купечества въ дворянство, объяснялось тутъ общиннымъ землевладѣніемъ), а прямо обратимся къ предмету, насъ интересующему. Сказавъ, что крѣпостное право было зло и отмѣна его составляетъ эру, редакція даетъ однакожъ почувствовать, что зло это еще не совсѣмъ миновало, а эра еще не совсѣмъ состоялась... Чего-то недостаетъ. За этой первой загадкой потянулся ихъ цѣлый длинный рядъ... Вольнонаемный трудъ не окупается, сельское хозяйство падаетъ: высчитаны всѣ бѣды, всѣ невзгоды Россіи... Разгадка всему: вредъ общиннаго землевладѣнія; крестьянская община—корень злу. Если допустить крестьянъ владѣть землею не по ихъ вѣковому обычаю всѣмъ міромъ, а каждаго порознь съ правомъ отчуждать свои участки („водвореніе экономической свободы“), тогда, и только тогда, является „необходимый, существенный элементъ вольнаго труда, котораго теперь недостаетъ“. Спрашивается, что-жъ это за элементъ, которому сельская община не даетъ образоваться и который за уничтоженіемъ сельской общины образуется непремѣнно? Въ чемъ-же тутъ все дѣло?

„Дѣло въ томъ, отвѣчаетъ редакція, что системѣ труда принудительнаго съ ея внѣшними побужденіями можно противополагать только систему труда совершенно-свободнаго, при которой

должны сполна дѣйствовать другія, свойственныя ей побужденія". Съ этимъ пока нельзя не согласиться; крестьянинъ-общинникъ, послѣ манифеста 19 февраля, если идетъ въ работу, то, конечно, изъ другаго побужденія, чѣмъ онъ это дѣлалъ до манифеста. Если на долю каждаго смертнаго приходится довольно нуждъ и заботъ всякаго рода, то конечно на долю крестьянина приходится ихъ наиболѣе; и такъ, побужденіемъ вольному крестьянину трудиться—служить, безъ сомнѣнія, какъ всякому, ничто иное, какъ „надежда обезпечить себя и свое потомство въ случаѣ трудолюбія и страхъ попасть въ бо́льшую бѣду въ случаѣ нерадѣнія". Это такъ; но уже въ словахъ редакціи, что эти побужденія „должны *сполна* дѣйствовать", предчувствуется что-то неумолимое, что-то такое, съ чѣмъ едва-ли можно будетъ согласиться. „Гдѣ побужденія къ свободному труду недостаточно сильны—досказываетъ редакція—тамъ отъ него нельзя ожидать той энергіи, которая сдѣлала-бы его лучше труда принудительнаго. Хорошій заработокъ и съ другой стороны *опасность остаться на улицѣ*, вотъ что побуждаетъ человѣка къ физическому труду, когда внѣшняго принужденія не существуетъ (опасность остаться на улицѣ—должно быть *внутреннее* побужденіе!). Кто не желаетъ системы принужденія, и въ тоже время хочетъ смотрѣть на дѣло трезвыми глазами, тотъ долженъ допустить въ полной силѣ необходимыя условія свободнаго труда. Если мы побоимся допустить ихъ, если мы будемъ опасаться отчуждаемости крестьянскихъ участковъ и крестьянскихъ усадьбъ, то не увидимъ ни улучшенія крестьянскаго быта, ни оживленія сельскаго хозяйства. Первые шаги къ водворенію началъ экономической свободы въ крестьянскомъ быту всего удобнѣе, кажется, сдѣлать при поземельномъ устройствѣ государственныхъ крестьянъ" и проч.

Ясно-ли теперь, что́ такое разумѣетъ почтенная газета подъ водвореніемъ „экономической свободы"? Такъ какъ мы должны по необходимости предположить, что она „желаетъ смотрѣть на дѣло трезвыми глазами", то и касательно ея умозаключеній тутъ никакое сомнѣніе невозможно. Въ самомъ дѣлѣ, кто-же—имѣющій въ головѣ хоть каплю логическаго смысла—усомнится въ точномъ значеніи всѣхъ выписанныхъ силлогизмовъ? Какъ ихъ ни перебирайте между собой, въ какія взаимныя сочетанія ни ставьте—смыслъ будетъ постоянно выходить одинъ и тотъ же. „Для того, чтобы видѣть улучшеніе быта крестьянъ и оживленіе сельскаго хо-

зяйства, должно — по мнѣнію редакціи — допустить въ полной силѣ необходимыя условія свободнаго труда. Опасность остаться на улицѣ — вотъ, по ея мнѣнію, необходимое условіе свободнаго труда. Для оживленія хозяйства и улучшенія быта крестьянъ, *слѣдовательно*, необходимо — по ея мнѣнію — въ полной силѣ подвергнуть крестьянина опасности остаться на улицѣ". Или „опасность остаться на улицѣ — вотъ необходимое условіе свободнаго труда. Допустите только отчуждаемость крестьянскихъ усадьбъ и участковъ (т. е. уничтожьте общину) — и тогда необходимое условіе свободнаго труда будетъ сполна дѣйствовать на крестьянъ. *Слѣдовательно:* допустите только отчуждаемость крестьянскихъ усадьбъ и участковъ (т. е. уничтожьте общину) и крестьяне сполна подвергнутся опасности остаться на улицѣ". Или наконецъ: „Пока не допущена отчуждаемость крестьянскихъ усадьбъ и участковъ (т. е. пока сельская община сохраняется), до тѣхъ поръ опасность остаться на улицѣ дѣйствуетъ на крестьянъ не въ полной силѣ. А для того, чтобы видѣть оживленіе сельскаго хозяйства и улучшеніе крестьянскаго быта, необходимо предоставить этой опасности сполна дѣйствовать на крестьянъ. Необходимо, *слѣдовательно*, допустить отчуждаемость крестьянскихъ усадьбъ и участковъ (т. е. сельскую общину уничтожить) для того собственно, чтобы въ полной силѣ подвергнуть крестьянина опасности остаться на улицѣ". Какъ ни поворачивайте, повторяемъ, этихъ ясныхъ силлогизмовъ, смыслъ постоянно будетъ одинъ и тотъ-же. И не то забавно, что все это выдается за какую-то глубокую мудрость; а забавно здѣсь то, что мудрецы, какъ дѣти, еще пожимаютъ плечами и значительно приговариваютъ для идилликовъ, не утратившихъ вѣру въ человѣчество, что увы! таково оно, это дѣло въ семъ мірѣ, кто смотритъ на него „трезвыми" глазами.

Всякій теперь, безъ сомнѣнія, самъ видитъ, что Московскія Вѣдомости — и никто кромѣ ихъ — употребляютъ терминъ „водвореніе экономической свободы" не иначе, какъ въ смыслѣ обезземеленія крестьянъ. Всякому очевидно, что Московскія Вѣдомости — и никто другой, какъ онѣ — мотивируютъ необходимость уничтоженія сельской общины — необходимостью имѣть бездомныхъ, безземельныхъ батраковъ въ государствѣ.

„Но позвольте, вмѣшивается въ этотъ споръ нѣкто г-нъ Григорій Наличный (см. „Московскія Вѣдомости", № 59-й и „Совр. Лѣт." № 14, — 1865 г.), позвольте: развѣ допущеніе отчуждаемости

крестьянскихъ усадьбъ и участковъ и отмѣна общины — одно и то же? Желая „водворить экономическую свободу“, мы хлопочемъ, правда, объ отчуждаемости крестьянскихъ усадьбъ и участковъ; но мы ничуть не высказываемъ желанія отмѣнять общину, а тѣмъ болѣе отмѣнять ее какимъ-нибудь принудительнымъ способомъ“. Дверь, по необходимости, или отворена или затворена,— отвѣчаемъ г. Григорію Наличному. Средняго положенія тутъ нѣтъ, и быть не можетъ.

Что такое „сельская община“ и что такое „отчуждаемость крестьянскихъ усадьбъ и участковъ?“ Это два такихъ понятія, которыя другъ друга взаимно исключаютъ. Міръ, село — вотъ коллективный собственникъ крестьянской земли, и, кромѣ его, никому изъ общинниковъ земля не принадлежитъ порознь въ полную собственность. Ни крестьянинъ крайняго двора, ни крестьянинъ перваго двора — не считаетъ земли, съ которой пользуется урожаемъ, своею. Ему ни разу даже не придетъ въ голову спросить себя: продавать или не продавать ее? Напротивъ того, у него постоянно бродитъ въ мысли, что какъ въ настоящую минуту — онъ, такъ въ прежнее время кто-нибудь другой изъ міра, изъ его предковъ въ общинѣ, по праву пользовался этой землею; точно также и въ будущее время, спустя много лѣтъ, когда самъ онъ выбудетъ изъ міра, новый членъ его общины—станетъ опять по праву пользоваться ею. При сельской общинѣ, при мірскомъ владѣніи землею, самого спроса „объ отчуждаемости или неотчуждаемости“ не существуетъ; а если въ полной силѣ господствуетъ обычай „неотчуждаемости“, то уже это какъ простое естественное послѣдствіе другаго обычая: самой общины. Допустите теперь „отчуждаемость крестьянскихъ усадьбъ и участковъ“. Что это можетъ значить иное, какъ не то, что вы „сельскую общину“ уничтожили? Уже не село, не міръ является теперь собственникомъ земли, а каждый крестьянинъ въ розницу. Прежде земля составляла коллективную собственность всего села, всего міра; теперь уже земля принадлежитъ въ личную собственность, каждому крестьянину въ розницу. Ясно, кажется, что „допустить отчуждаемость крестьянскихъ усадьбъ и участковъ“ и „уничтожить сельскую общину“—два понятія совершенно тождественныхъ,—два синонима. Допустить „отчуждаемость крестьянскихъ усадьбъ и участковъ“, пока община существуетъ, значитъ предрѣшать, предопредѣлять неизбѣжное уничтоженіе общины; значитъ не только ее надоумливать

занести самой на себя руку, но еще и непремѣнно приговорить ее къ тому. Станетъ-ли съ этимъ спорить г-нъ Григорій Наличный?

Но мы представимъ и еще одно доказательство этому даровитому публицисту Московскихъ Вѣдомостей, — доказательство, ясность котораго уже не допуститъ никакихъ возраженій. Согласимся: проповѣдники „водворенія экономической свободы", настаивая на необходимости предоставить крестьянамъ отчуждать ихъ поземельные участки, ничуть не хлопочутъ объ отмѣнѣ общины; не хлопочутъ по крайней мѣрѣ о насильственномъ ея уничтоженіи. Но о чемъ-же они тогда хлопочутъ?

По дѣйствующему законодательству, крестьяне-общинники сейчасъ-же имѣютъ возможность передѣлить всю землю въ полную личную собственность,—а съ другой стороны имѣютъ возможность и выходить изъ общины, оставляя свои участки. О чемъ водворители экономической свободы такъ сильно хлопочутъ, допущенія чего они такъ пламенно жаждутъ за крестьянъ — то, говоримъ, уже и сейчасъ даровано, то уже и сейчасъ допущено. Сельская община сію-же минуту можетъ раздѣлить свою коллективную собственность между членами, она можетъ сію-же минуту упразднить себя—*если она сама того пожелаетъ*. Что справедливѣе такого ограниченія? Понятію о насильственномъ уничтоженіи сельской общины, мы, по необходимости, ничего не имѣемъ противопоставить сильнѣе, кромѣ понятія о добровольномъ ея уничтоженіи, т. е. объ уничтоженіи ея не иначе, какъ черезъ отобранное на то согласіе отъ самихъ мірянъ, отъ членовъ общины. Законоположеніе 19 февраля именно предоставляетъ это дѣло свободному приговору самихъ мірянъ, самихъ членовъ общины. Довольно согласія двухъ третей сельскаго общества — и сельская община упраздняется, и вся земля подѣлена въ личную собственность между ея членами. Разъ земля будетъ подѣлена въ личную собственность, тогда и „право отчужденія", конечно, само собой будетъ вызвано, какъ необходимое ея послѣдствіе,— но не ранѣе. Намѣреніе законодательства, слѣдовательно, въ томъ только и могло состоять, чтобы дѣло это — если ему предстоитъ даже неминуемо совершиться—не иначе однако совершилось-бы, какъ по свободному на то соизволенію самихъ общинниковъ. Въ этихъ видахъ, законодательство было-бы вправѣ требовать и полнаго единогласія отъ членовъ сельскаго общества при рѣшеніи вопроса:

быть или не быть общинѣ? допущеніе-же двухтретнаго большинства на этотъ случай — болѣе чѣмъ умѣренно.

И такъ, о чемъ же говорятъ водворители экономической свободы? о какомъ еще новомъ, преднамѣренномъ и предрѣшенномъ „допущеніи отчуждаемости крестьянскихъ участковъ“ они хлопочутъ? Ясно, послѣ всего, что они толкуютъ объ уничтоженіи сельской общины во что-бы то ни стало; объ уничтоженіи ея даже въ томъ случаѣ, когда двѣ трети сельскаго общества на то не согласны, а одинъ крикунъ на сходкѣ согласенъ на это; они хлопочутъ, словомъ сказать, объ уничтоженіи сельской общины, вопреки желанію самой общины.

Кто-то изъ сотрудниковъ Московскихъ Вѣдомостей, замѣтимъ кстати (см. „Московскія Вѣдомости“ № 41, статья Василія Заочнаго), ухитрился видѣть въ стремленіи къ единогласнымъ рѣшеніямъ на сходкахъ — Польское *не позволямъ*. Но въ гуманномъ презрѣніи ко мнѣнію двухтретнаго большинства сельскаго общества неужели заключается идеалъ англійской свободы? Представимъ себѣ только эту картину, которую повидимому защитники „отчуждаемости крестянскихъ участковъ“ такъ сильно желаютъ вызвать въ нашей сельской жизни. Большинство сельскаго общества, допустимъ, твердо стоитъ на своемъ рѣшеніи: коллективной собственности не дробить. Вдругъ является одинъ голосъ на всей сходкѣ: „хочу отчуждаемости участковъ!“... И общины — какъ не бывало! Конечно, если что̀-нибудь и способно напоминать всѣ прелести Польскаго *не позволямъ*, такъ именно вотъ эта картина.

IV.

Но какъ ни прозрачно выражаетъ редакція Московскихъ Вѣдомостей свою *трезвую* мысль о необходимости полныхъ безсобственниковъ въ государствѣ, о необходимости батраковъ бездомныхъ и безземельныхъ, а въ текучей публицистикѣ, однакожъ, можно указать примѣры, гдѣ та-же мысль выражена еще беззастѣнчивѣе, еще опредѣленнѣе. Г. Гр. Бланкъ, напримѣръ, говоритъ прямо и открыто, что *„идея вольно-наемнаго труда естественно и логично связана съ идеею личной свободы безъ земли. Чѣмъ меньше рабочій классъ надѣленъ землею, тѣмъ свободнѣе и возможнѣе наемъ рабочихъ“*. Нельзя-бы яснѣе формулировать вопроса, насъ занимающаго,— и сколько-же правды, сколько добросовѣстности въ перемежающихся обвиненіяхъ, направленныхъ противъ газеты „День“ за то̀, что

будто она искажаетъ, извращаетъ смыслъ всѣхъ положеній, представленныхъ антагонистами сельской общины. „День“ правда, привелъ нѣкоторыя изъ этихъ показаній къ логически изъ нихъ вытекающему результату; „День“, правда, уличалъ нѣкоторыхъ изъ этихъ антагонистовъ въ желаніи обезземелить народъ, развести у насъ массу бездомныхъ, безземельныхъ работниковъ... Но претендовать за это на газету, значитъ уже требовать, чтобы она отказалась отъ здраваго смысла, отъ способности къ логическимъ умозаключеніямъ... Кто ясно и безоговорочно выражаетъ свое желаніе *затворить дверь*, имѣетъ-ли тотъ право оскорбляться уликою, что онъ не желаетъ видѣть дверь отворенной? Напротивъ того, онъ долженъ быть весьма благодаренъ тому публицисту, который до конца растолковалъ его собственную мысль, его собственное намѣреніе.

Г-нъ Кузминъ (см. Современную Лѣтопись, 1865 г. № 14), повидимому, не согласенъ съ этимъ. Статья его „Деревенскія Замѣтки, II“ служитъ наилучшимъ доказательствомъ тому, какъ часто наши публицисты, настаивая на необходимости затворить дверь, распинаются въ то же время передъ публикой въ желаніи видѣть дверь отворенной. Г-нъ Кузминъ не иначе отзывается объ общинѣ, какъ придавая ей эпитеты „допотопной“, „кабальной“ и т. п. Г-нъ Кузминъ не только не уважаетъ въ нашемъ крестьянинѣ прирожденной его любви къ своему собственному крову, къ собственному своему куску хлѣба, а готовъ еще поставить ему въ вину всѣ эти антипролетарные инстинкты; онъ какъ-бы еще и издѣвается надъ ними. Въ „Днѣ“, напр., было замѣчено, что антипатія Русскаго народа къ бездомному батрачеству, къ проживанію „въ чужихъ теплыхъ избахъ на хозяйскихъ харчахъ“, сказалась между прочимъ въ народной поговоркѣ: „хоть щей горшокъ, да самъ большой!“ Въ „Днѣ“ было еще замѣчено, что крестьянинъ, указывая на свою избушку, подчасъ и весьма не казистую, съ гордостью говоритъ: „и гнилушки,—да свои!“ Г-нъ Кузминъ возмущается этимъ. „Мы утверждаемъ, говоритъ онъ, что пока крестьянинъ будетъ думать, что хоть и развалившаяся хата, да своя, что хоть горшокъ и пустыхъ щей, да не чужихъ... до тѣхъ поръ кабала будетъ висѣть надъ крестьяниномъ“. Г-нъ Кузминъ, наконецъ, самъ о себѣ спѣшитъ заявить, что онъ, наравнѣ съ Московскими Вѣдомостями, совершенно раздѣляетъ мысль о необходимости „водворенія экономической свободы“.

Казалось-бы, чего еще яснѣе? Говоря о „кабалѣ“, о „допотопности“ общиннаго землевладѣнія, настаивая на необходимости предоставить крестьянамъ отчуждать ихъ участки (т. е. это и есть уничтоженіе общины), казалось-бы говоримъ, и г-нъ Кузминъ, по примѣру Московскихъ Вѣдомостей, хлопочетъ не о чемъ иномъ, какъ объ уничтоженіи сельской общины? Нѣтъ. Онъ именно удостовѣряетъ, что ни малѣйшимъ образомъ объ уничтоженіи общины онъ не хлопочетъ. „Если—говоритъ онъ—защитники вѣчной общины, въ передовыхъ статьяхъ Московскихъ Вѣдомостей и въ корреспонденціяхъ, помѣщаемыхъ въ той-же газетѣ, ухитрились открыть намѣреніе разрушить общину, то они могутъ отыскать то-же мнимое намѣреніе и въ нашихъ замѣткахъ, въ предупрежденіе чего мы заявляемъ, что ничего подобнаго у насъ въ мысли нѣтъ и не было“. Прекрасно; согласимся: у г-на Кузмина въ мысли нѣтъ и не было намѣренія разрушить общину; но тогда какое-жъ было намѣреніе у него въ мысли? Кто говоритъ о необходимости „водворенія экономической свободы“ въ смыслѣ Московскихъ Вѣдомостей (а г-нъ Кузминъ самъ о себѣ свидѣтельствуетъ, что въ истолкованіи этого „ученаго“ термина онъ придерживается того-же смысла), тотъ, по необходимости, говоритъ объ уничтоженіи сельской общины; никакъ не иначе. Кто хлопочетъ объ отчуждаемости крестьянскихъ участковъ и крестьянскихъ усадьбъ, тотъ eo ipso хлопочетъ объ уничтоженіи сельской общины. Мы такъ думаемъ объ этомъ; но г. Кузминъ, кажется, иначе объ этомъ думаетъ. Кажется, онъ вовсе объ этомъ не думаетъ. Жалѣемъ...

V.

Крестьянская поземельная община, скажемъ въ заключеніе, поставлена самимъ дѣйствующимъ законодательствомъ въ необходимость, рано или поздно уничтожиться. Не мѣсто здѣсь рѣшать вопросъ: точно-ли, какъ говорятъ одни, сельская община составляетъ исконное обѣтованіе Славянскаго племени вообще, а нашихъ крестьянъ въ особенности,—или, напротивъ, какъ говорятъ другіе—сами крестьяне искали искони вѣковъ средства отъ нея освободиться? Но то не подлежитъ сомнѣнію, что само дѣйствующее законодательство направляетъ нынѣшнихъ „временно-обязанныхъ крестьянъ“ къ отмѣнѣ ихъ вѣковой общины... То не подлежитъ сомнѣнію, что еслибъ современное законодательство не заключало въ себѣ этихъ условій, препятствующихъ сохраненію общины,

такъ не было-бы никакихъ причинъ и сомнѣваться въ ея долгомъ, если не вѣчномъ сохраненіи у народа. Скажемъ кратко, въ чемъ тутъ дѣло?

Крестьянинъ, владѣя при крѣпостномъ правѣ землею и отбывая помѣщику повинности всякаго рода, никакъ съ своей стороны не считалъ всѣхъ повинностей расплатой за то обладаніе землею. Владѣніе землею представлялось ему фактомъ внѣ всякаго спора, внѣ всякаго вопроса; это прежде всего. Считая свои повинности помѣщику только за естественную принадлежность своего крестьянскаго званія (какова напр. служилая повинность въ званіи дворянскомъ), крестьянинъ, говоримъ, никогда не думалъ считать землю, на которой сидѣлъ, вознагражденіемъ со стороны помѣщика за тѣ повинности; въ его представленіяхъ эта земля едва-ли даже была предметомъ чьей-нибудь абсолютной собственности; мы, наконецъ, будемъ весьма близки къ истинѣ, если скажемъ, что эта земля представлялась всегда крестьянину „государевой землею“. Законоположеніе 19-го февраля, узаконивъ за крестьяниномъ часть посельной земли, внесла еще и взглядъ, что повинности крестьянъ помѣщику не иное что̀ составляютъ, какъ возмездіе за ту землю; наконецъ положеніемъ о выкупѣ, оно прямо направило крестьянъ глядѣть на землю, какъ на предметъ ихъ личной собственности, наравнѣ со всякимъ другимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ. Легче всего это будетъ видно на примѣрѣ.

Крестьяне извѣстной деревни, допустимъ, пользуются по уставной грамотѣ извѣстнымъ надѣломъ и ежегодно выплачиваютъ оброкъ помѣщику. Правда, они разверстываютъ сумму оброка между собою пропорціонально тому количеству земли, которое приходится на долю каждаго. Но такъ какъ, при платежѣ оброка, не предвносится еще въ понятіяхъ крестьянъ никакой мысли объ обѣленіи этой земли срочными уплатами помѣщику, то и при разверсткѣ оброчныхъ платежей и самой земли между всѣми членами общества — пока не происходитъ никакого замѣшательства. Изъ нихъ всякій знаетъ, что если онъ заплатилъ оброка втрое болѣе противъ сосѣда, за то онъ пользовался и землей противъ него тройнымъ количествомъ; всякій знаетъ и то еще, что слѣдующій годъ, или черезъ три года, уже онъ, можетъ быть, заплатитъ вдвое-втрое меньше противъ своего сосѣда, потому что сосѣду понадобится тогда земли вдвое-втрое болѣе противъ него. Но дѣло совершенно измѣняется, едва крестьяне приступаютъ къ такъ назы-

ваемому выкупу, а особливо „къ выкупу съ дополнительнымъ платежемъ".

Теперь, внося, вмѣсто оброковъ, выкупные платежи, крестьянинъ хорошо понимаетъ, что онъ съ каждой срочной уплатой уже обѣляетъ землю, погашаетъ долгъ за нее. Если онъ уплачивалъ за четыре десятины, а сосѣдъ только за одну — съ какой-же стати ему терять свое? При платежѣ оброковъ онъ ничего не терялъ; онъ просто платилъ за то количество земли, которымъ онъ пользовался: сегодня могъ онъ пользоваться бо́льшимъ количествомъ земли, завтра, — сосѣдъ его. Но при уплатѣ выкупныхъ платежей, т. е. при постепенномъ погашеніи долга за землю, при постоянномъ ея обѣленіи — дѣло, повторяемъ, выходитъ совсѣмъ другое. Уплачивая теперь за четыре десятины, крестьянинъ невольно задается вопросомъ: будетъ-ли онъ, платившій за четыре десятины, и собственникомъ этихъ четырехъ десятинъ, *когда земля совсѣмъ окупится?* не будетъ-ли, напротивъ того, собственникомъ этихъ четырехъ десятинъ кто-нибудь изъ потомковъ его сосѣда, который уплачивалъ все время лишь за одну десятину?... И вотъ замѣшательство, и вотъ естесственное, неизбѣжное условіе крестьянамъ: едва такъ-называемая выкупная операція совершилась, хочешь не хочешь а дѣлить всю землю подворно... Количество душъ, въ которомъ выкупная операція застаетъ каждаго домохозяина, волей-неволей берется теперь нормой для разверстки земли между всѣми членами общины, а равно и для взноса выкупныхъ платежей. Сколько-бы лѣтъ ни платили домохозяева, они теперь ежегодно будутъ платить каждый все одну и ту-жу долю на свой пай: убудетъ-ли, прибудетъ-ли у нихъ душъ за это время. Всякій черезъ это обезпеченъ въ томъ, по крайней мѣрѣ, что со временемъ, когда земля сполна окупится, всякій дворъ будетъ безвозмездно пользоваться тѣмъ количествомъ земли, которое въ теченіи долгихъ лѣтъ онъ обѣлялъ мало-по-малу: никто не былъ плательщикомъ за сосѣда, а всякій самъ за себя.

Но если это такъ при простомъ выкупѣ; то при выкупѣ съ дополнительнымъ платежемъ — дѣло представляется еще рѣзче; тогда представляется еще болѣе необходимости волей-неволей раздѣлить мірскую коллективную собственность на подворные участки. Сорокадевятилѣтній промежутокъ слишкомъ продолжителенъ для того, чтобъ крестьянинъ могъ заранѣе представлять себѣ уже всю землю обѣлен-

ною и на этомъ основаніи заранѣе-же ревновать свой участокъ къ участку своего сосѣда. При простомъ выкупѣ еще весьма возможно, что крестьяне сдѣлаютъ между собой договоръ, напримѣръ, слѣдующаго рода: „всю землю будемъ дѣлить по количеству душъ поровну и станемъ ежегодно уплачивать выкупные платежи съ каждаго двора по стольку, сколько приходится за нимъ паевъ земли, какъ-бы мы это дѣлали при простомъ наймѣ. По истеченіи же 49 лѣтъ, т. е. когда вся земля сполна окупится и намъ можно будетъ пользоваться ею даромъ, какъ своею собственною,— тогда всѣ старые счеты минуя, всю землю передѣлить вновь промежь себя по мірскому приговору". Въ этомъ случаѣ, какъ видитъ читатель, не смотря на то, что идея выкупа уже съ самаго начала предвноситъ идею *собственности личной* и, такимъ образомъ, для сохраненія сельской общины неблагопріятна, въ этомъ случаѣ — говоримъ — крестьяне однакожъ все-таки могли-бы еще сохранить сельскую общину неприкосновенной. То, что мы выразили тутъ въ формѣ предполагаемаго договора, въ дѣйствительности встрѣчаемъ у крестьянъ,— и мы могли-бы указать живые примѣры тому, какъ, въ подобныхъ обстоятельствахъ, инстиктивныя ихъ стремленія сохранить общину — принимаютъ исходъ именно такого рода. Но дѣло заключается въ томъ, что при „выкупѣ съ дополнительнымъ платежемъ" и этого исхода — для крестьянъ не становится; при „выкупѣ съ дополнительнымъ платежемъ" они вынуждены волей-неволей раздѣлить разъ навсегда землю между домохозяевами, и, такимъ образомъ, сельская община пропадаетъ. Понятно почему такъ.

Если казна разсрочиваетъ крестьянамъ уплату процентовъ съ погашеніемъ капитала на сорокъ на девять лѣтъ, то помѣщикъ, понятно, не можетъ разсрочить крестьянамъ взносъ ихъ такъ-называемаго добавочнаго платежа (т. е. пятая доля всей выкупной суммы) на срокъ столь продолжительный. Много если эта разсрочка разложится на 5, на 6 лѣтъ; большею частью, напротивъ того, крестьянамъ предстоитъ внести эту пятую долю всей выкупной суммы, въ теченіи двухъ лѣтъ или трехъ лѣтъ; иногда-же они вносятъ ее и единовременно въ первый годъ. Тысячу рублей на пять тысячъ или десять тысячъ рублей на пятьдесятъ тысячъ всей выкупной суммы приходится, такимъ образомъ, крестьянамъ внести единовременно или въ ближніе годы... Какъ они будутъ разверстывать между собою внесеніе разомъ такого капитала? Понятно, съ каждаго

двора по числу душъ за данный моментъ; а слѣдовательно и количество выкупаемой земли, въ этотъ данный моментъ, хочешь не хочешь, должно быть разверстано по тому-же числу душъ — между всѣми домохозяевами. Если домохозяинъ перваго двора внесъ единовременно изъ выкупнаго добавочнаго платежа за десять душъ на свою долю, примѣрно 300 рублей серебромъ, — а сосѣдъ его внесъ только за одну душу, т. е. 30 рублей серебромъ, то для сохраненія справедливости и поземельный участокъ разъ навсегда долженъ быть опредѣленъ первому двору вдесятеро бо́льшій противъ двора сосѣдскаго.

Вотъ единственная причина (коренящаяся въ самомъ законодательствѣ 19-го февраля, а потому неотразимо дѣйствующая на крестьянъ), которая заставляетъ ихъ, повидимому, самихъ искать уничтоженія сельской общины; то-есть, когда выкупъ совершится, заставляетъ постоянно входить съ прошеніями къ мировымъ посредникамъ и въ губернскія присутствія — о передѣлѣ мірской земли разъ навсегда между дворами; отсюда недалеко уже и до „отчуждаемости крестьянскихъ усадьбъ и участковъ“. Указываемъ на это обстоятельство именно въ разъясненіе антагонистамъ сельской общины. Помнится, они не разъ ссылались на этотъ фактъ, сами не понимая его значенія. Въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ № 61, гдѣ передается (впрочемъ, въ весьма плохой стенографіи) бесѣда Общ. С. Х. по вопросу объ общинномъ землевладѣніи, редакція дѣлаетъ отъ себя замѣтку въ этомъ смыслѣ. Въ подтвержденіе словъ одного изъ говорившихъ ораторовъ, что *„въ Тульской губерніи многіе крестьяне тѣхъ имѣній, гдѣ сдѣланъ выкупъ, обратились въ губернское присутствіе съ просьбой о передѣлѣ земли на подворные участки“*, и въ опроверженіе другаго оратора, сказавшаго, что *„такъ какъ объ отказахъ отъ общиннаго владѣнія со стороны крестьянъ не слышно, то защитники общиннаго владѣнія видятъ въ этомъ подтвержденіе своихъ воззрѣній“*, редакція дѣлаетъ въ выноскѣ слѣдующее замѣчаніе: „Это не совсѣмъ точно. Во многихъ губерніяхъ (и кромѣ Тульской, о которой упоминается въ словахъ кн. Оболенскаго) крестьяне уже ходатайствуютъ объ отмѣнѣ общиннаго владѣнія“.

Ходатайствуютъ, скажемъ и мы, ходатайствуютъ! во многихъ губерніяхъ и вездѣ, гдѣ вносятся крестьянами-собственниками „выкупные платежи“, ходатайствуютъ они о раздѣлѣ земли на подворные участки! Но нельзя и не ходатайствовать.

Кажется, мы ясно показали, что при совершеніи выкупной операціи — такъ какъ она дана въ дѣйствующихъ положеніяхъ — нѣтъ никакой возможности крестьянамъ не ходатайствовать объ этомъ. Фактъ состоитъ именно въ томъ, что при дѣйствующемъ положеніи о выкупѣ, крестьянамъ — еслибъ они даже всѣми силами души хотѣли сохранить общинное владѣніе — сдѣлать этого не предвидится *почти* никакой возможности. Но поспѣшно выводить отсюда, что сами крестьяне-же и хлопочутъ всѣми силами души „объ отмѣнѣ общиннаго владѣнія“ — значило-бы выводить изъ факта заключеніе именно на выворотъ тому, которое естесственно изъ него вытекаетъ.

VI.

Заключеніе отсюда ясное и прямое...

Если положеніе о выкупѣ дѣйствительно привноситъ въ умы крестьянъ чуждое и смутное понятіе о правѣ ихъ личной собственности на землю каждаго порознь, то мы тѣмъ болѣе должны дорожить въ этомъ неудовлетворительномъ законоположеніи цѣлесообразною статьею о необходимости согласія двухтретнаго большинства сельскаго общества для подѣленія крестьянской земли на подворные участки. Допущеніе этой статьи умѣряетъ хоть нѣсколько абсолютность самаго Положенія о выкупѣ. Въ самомъ дѣлѣ, прямо-ли желали дать искони вѣковъ установившемуся воззрѣнію крестьянъ на мірскую землю — перейти со временемъ въ тѣсно-формулированный принципъ собственности личной; не имѣлось-ли только достаточно данныхъ для опредѣленія самого этого своебычнаго, укоренившагося въ крестьянствѣ, воззрѣнія для того, чтобъ ясно формулировать его и въ законѣ, — теперь все равно: допуская не иначе передѣлять общинную землю на подворные участки, какъ съ согласія самой общины — законодательство отдаетъ этотъ вопросъ на свободное разрѣшеніе самой общины, самаго народа, и притомъ какъ-бы откладываетъ рѣшеніе этого вопроса на практикѣ, чтобъ оно по крайней мѣрѣ совершилось не вдругъ.

Не странно-ли, послѣ всего, что наша Русская интеллигенція (по крайней мѣрѣ въ лицѣ Заочныхъ и Григоріевъ Наличныхъ) хоромъ вопіетъ о необходимости разрѣшить этотъ вопросъ сейчасъ же, сію-же минуту, именно вдругъ... и притомъ не иначе, какъ тѣмъ способомъ, который сама она рекомендуетъ? Не вдвойнѣ-ли странно и то, что наша текучая публицистика, въ лицѣ даже луч-

шихъ ея представителей, вторитъ гг-мъ Заочнымъ и Наличнымъ? Она не разработываетъ этого вопроса въ его истинномъ значеніи; она не видитъ поруки за его успѣшное разрѣшеніе въ томъ именно, въ чемъ одномъ пока лишь и позволено ее видѣть: въ неспѣшности, въ медленности, съ которой законодательство предоставило этому дѣлу двигаться въ его дальнѣйшемъ ходѣ. Sapienti sat *).

Передовая статья „Московскихъ Вѣдомостей“ № 18 (1865 года).

Съ удовольствіемъ—послѣ цѣлаго ряда блѣдныхъ статей редакціи за послѣднее время — прочли мы premier-Moscou въ нумерѣ 18-мъ—это своего рода chef d'oeuvre публицистики. Какъ шахматная игра въ отвлеченные силлогизмы, эта статья представляетъ примѣръ удивительной ловкости. Когда, однакожъ, ex-cathedra цѣлую придуманную систему хотятъ навязать живому народу, одного шахматнаго мастерства недовольно. Пусть себѣ игра въ силлогизмы и очень блестяща, она все-таки игра и игра тѣмъ не менѣе; самые силлогизмы притомъ могутъ не то, чтобы вытекать одинъ изъ другаго, а—какъ изъ коробки ловкаго фокусника—другъ за другомъ выскакивать.

Что̀ новаго сказали Московскія Вѣдомости въ 18 нумерѣ? Ничего новаго противъ того, что̀ на разные голоса повторяли и прежде. Общинное владѣніе землею у нашихъ крестьянъ давно-бы пора — намъ, редакціи въ угоду — замѣнить собственностью личной! — вотъ что онѣ сказали. Но теперь это возводится въ цѣлое ученіе объ „источникѣ жизни“ и о „водвореніи экономической свободы“.

Если намъ, профанамъ въ „водвореніи экономической свободы“, чѣмъ-нибудь и нравится общинное у насъ начало, — такъ тѣмъ именно, что зародилось оно на Руси само-собою, а не по мекленбургской командѣ; взялося изъ самого быта народнаго — а не изъ кабинетныхъ измышленій. Кажется, уваженіе къ жизни самой, довѣріе ко всему тому, что въ ней органически выросло и

*) Въ наши дни, послѣ двадцати лѣтъ, когда была писана эта статья, происходятъ уже крупныя замѣшательства въ крестьянствѣ по этому поводу. Еще яснѣе и подробнѣе изложено объ этомъ въ статьѣ, помѣщенной далѣе подъ заглавіемъ: *раскрѣпощенное крестьянство*. Примѣч. изд.

сложилось... все это такія темы, которыхъ сама редакція „Русскаго Вѣстника“ — у всѣхъ на свѣжей памяти — не спѣсивилась и не дичилась. Тѣмъ не менѣе, едва зашла рѣчь о такъ-называемыхъ „землевладѣльческихъ интересахъ“, — редакція видимо сбивается съ пути и сыплетъ въ своей блестящей статьѣ выводами и умозаключеніями прямо на выворотъ логикѣ и своимъ собственнымъ даннымъ.

Вотъ какими данными располагаетъ редакція, — вотъ тѣ положенія, на которыя сама она ссылается въ своемъ разсужденіи: доведенъ до свѣдѣнія редакціи тотъ фактъ, что переводъ съ барщины на оброкъ, который съ начала шелъ очень бойко, теперь почти совсѣмъ остановился. Мы пишемъ, не переходъ, а переводъ — и въ этомъ случаѣ только помогаемъ редакціи точнѣе выражаться. Такъ какъ она тутъ-же поясняетъ, что „въ этомъ ужъ никакъ нельзя видѣть признаковъ отсталости, а надобно видѣть важное указаніе и проч.“, то ясно, какъ день: не крестьянъ къ похвалѣ здѣсь клонятся рѣчи: именно сами помѣщики, значитъ, воздерживаются теперь — вездѣ, гдѣ еще барщина уцѣлѣла — переводить крестьянъ на оброкъ. Примемъ-же къ свѣдѣнію: „переводъ съ барщины на оброкъ, который сначала шелъ очень бойко, теперь почти совсѣмъ остановился“, это первое. Въ остальномъ, вотъ на что обращаетъ вниманіе редакція: „обращаемъ вниманіе читателей, на помѣщаемое ниже письмо г-на Демидова, а также на замѣтку г-на Кузмина, помѣщенную въ послѣдне-вышедшемъ нумерѣ Воскресныхъ Прибавленій къ нашей газетѣ. Тутъ указывается коренная причина нашихъ неуспѣховъ въ сельскомъ хозяйствѣ, — причина, которую практическіе сельскіе хозяева начинаютъ все болѣе и болѣе сознавать“. Мы только сію минуту прочитали замѣчательную статью г-на Демидова, обратили въ свое время должное вниманіе и на замѣчательную-же статью г-на Кузмина. Но знаетъ-ли ученая редакція, чѣмъ обѣ эти статьи дѣйствительно замѣчательны? Да именно тѣмъ, что какъ изъ первой, такъ и изъ второй статьи выводится совсѣмъ не та коренная причина, которую сами Московскія Вѣдомости выводятъ изъ собственныхъ мекленбургскихъ умозрѣній.

Сказать кратко, вотъ какія убѣжденія высказываютъ и г. Кузминъ и г. Демидовъ въ своихъ замѣткахъ: „нѣтъ! говорятъ они, насъ больше не обманете! не отъ недостатка научныхъ знаній, даже не отъ недостатка капиталовъ на улучшеніе, машинъ, удоб-

ренія полей и т. п. приходится намъ, помѣщикамъ, отказаться теперь отъ прежняго хлѣбосѣянія,—а по болѣе простымъ причинамъ. Причина въ томъ, что хлѣба въ Россіи родится и безъ машинъ такъ много и такова у насъ его дешевизна, что даже нѣтъ и надобности затрачивать намъ свои капиталы на усиленное удобренье или на машины... не окупится. Одного того хлѣба, который снимается крестьянами съ ихъ надѣловъ („кромѣ того, природа надѣлила Россію широкою полосой чернозема, единственною на земномъ шарѣ", подсказываетъ въ передовой статьѣ сама редакція) и снимаемаго ими-жъ съ нанятыхъ полей, одного этого хлѣба уже съ избыткомъ довольно для того, чтобъ цѣна на хлѣбъ стояла на всѣхъ нынѣшнихъ рынкахъ столь низкая, что помѣщикамъ тутъ не изъ-чего и биться".

Все это мысли очень дѣльныя. Съ какой-же стати, мы помѣщики будемъ заводить въ каждомъ своемъ помѣстьи—то, громадныхъ трудовъ и капиталовъ стоющее хозяйство, которое въ своемъ краю, никакъ не изъ удовольствія, а изъ самой горькой необходимости устроиваетъ и „американскій колонистъ и англійскій фермеръ"? (американскій впрочемъ не всегда и устроиваетъ: развѣ не извѣстно редакціи, что мѣстами въ Америкѣ существуетъ и трехпольная система и залежная!) И такъ краснорѣчивое явленіе, что наши, на англійскій манеръ устроиваемыя русскія хозяйства, барышей помѣщикамъ не приносятъ, усилій ихъ не окупаютъ... только то и значитъ, между прочимъ, что хлѣбъ у насъ и безъ подобныхъ образцовыхъ фермъ родится въ излишествѣ. Но изъ чего-жъ тутъ приходить въ отчаяніе? Упадокъ у насъ англійскихъ фермъ — при нашемъ, такъ-сказать, хлѣбномъ всеобиліи — еще вовсе не значитъ упадокъ хозяйства вообще.

Одинаково можно радоваться и другому подобному явленію, на которое также указываютъ въ своихъ статьяхъ и г-нъ Кузминъ и г-нъ Демидовъ. Въ краткихъ словахъ его можно передать слѣдующимъ образомъ: „работниковъ хорошихъ у насъ трудно достать — говорятъ они — уже потому одному, что дѣльныхъ хорошихъ парней самъ крестьянинъ въ работу на сторону отпускать не любитъ и самъ дорожитъ ими въ своемъ собственномъ обиходѣ; значитъ слоняется, большею частью, по нашимъ полевымъ заработкамъ только одно отребье. Притомъ, такъ какъ нашъ крестьянинъ уже своимъ собственнымъ надѣломъ достаточно обезпеченъ — а за дешевизной у насъ хлѣба, помѣщикамъ работнику

дорого платить не изъ-чего, то, понятное дѣло, нашъ крестьянинъ на заработки у помѣщика въ полѣ ничуть и не льстится и намъ притянуть его къ нашей полевой работѣ не становится никакой возможности". Опять мысль чрезвычайно дѣльная, въ которой намъ, помѣщикамъ, точно также давно-бъ ужъ пора спохватиться! Но, опять и опять, подаетъ-ли все это хотя-бы малѣйшій поводъ къ тому лихорадочному припадку, которымъ разразились Московскія Вѣдомости въ 18 №? Слава Богу, что Русскій крестьянинъ не мретъ съ голоду; слава Богу, что онъ не вынужденъ съ утра до ночи колотиться, какъ западный пролетарій, въ какомъ-то скотскомъ трудѣ, а иначе: ложись и умирай. У насъ нѣтъ этого; дай-же Богъ, чтобы и впередъ не было.

Вопросъ: что-же, однако, остается дѣлать намъ, помѣщикамъ, въ подобныхъ обстоятельствахъ, съ нашей собственною землею, оставшейся за надѣломъ? вопросъ этотъ, мы не отрицаемъ, тѣмъ не менѣе важенъ. Онъ только тогда даже и получаетъ свою наибольшую важность, хотимъ мы сказать, когда именно здраво и честно проникнешься убѣжденіемъ въ томъ, что это не только ни съ чьей стороны не было грѣхомъ — дать Русскому крестьянину возможность не слоняться голодной собакой по свѣту, а напротивъ того: со стороны всѣхъ это было положительно прекраснымъ дѣломъ. Что-бы, впрочемъ, ни оставалось дѣлать намъ съ землею, ясно однакожъ, что никакъ не то, къ чему приходятъ сами Московскія Вѣдомости, говоря о государственныхъ крестьянахъ — чтобъ хоть ихъ скорѣй принудить слоняться: „Выкупъ и съ этой точки зрѣнія оказывается нисколько не желательнымъ". Остается дѣлать также и не то, къ чему, по ихъ-же увѣренію, пришли будто-бы многіе помѣщики, т. е. къ задерживанію перехода съ барщины на оброкъ, который „сначала шелъ очень бойко, теперь почти совсѣмъ остановился и въ этомъ никакъ ужъ нельзя видѣть признаковъ отсталости, а надобно видѣть важное указаніе на существенную потребность, ожидающую удовлетворенія".

Потребность эта, по увѣренію Московскихъ Вѣдомостей, состоитъ въ томъ, чтобы скорѣй и сейчасъ-же въ крестьянскомъ быту наплодить, какъ можно болѣе, неимущихъ работниковъ; если не уничтожить, то значительно сократить число хозяевъ, чтобы почти всякій изъ крестьянъ не хозяиномъ проживалъ въ своей собственной избѣ, а нанимался батракомъ въ „чужія теплыя и

сухія избы", чтобъ онъ дорожилъ спросомъ на трудъ, какъ уже лучшимъ своимъ на землѣ благополучіемъ! Только обратитесь, говоритъ почтенная редакція, „къ самому источнику жизни", такъ какъ я его понимаю; только осуществите мною рекомендуемое „водвореніе экономической свободы", т. е. общинное начало разрушьте — и дѣло въ шляпѣ.

Есть-же изъ чего биться-хлопотать, разрушать всѣми неправдами „общинное начало!" Разведется тогда, видите-ли, многое множество всякихъ неимущихъ батраковъ, готовыхъ за какую хотите плату наниматься въ работу, а огромное число собственниковъ-хозяевъ изведется. И все это говорится не только не покраснѣвъ въ лицѣ или не поморщась, а еще съ аристократическимъ блескомъ во взорѣ! И все это опять для того единственно, чтобы непремѣнно у насъ дать ходъ англоманіи, что-бъ во что-бы то ни стало, она процвѣтала!

Англійскій фермеръ въ своемъ краю, повторяемъ, отнюдь не изъ удовольствія, а по горькой необходимости прибѣгаетъ въ своемъ хлѣбосѣяніи къ неимовѣрнымъ пожертвованіямъ труда и капитала,— и въ Англіи все-таки хлѣба мало. У насъ даже и тѣни нѣтъ тѣхъ громадныхъ пожертвованій, а хлѣба производится вдоволь: онъ только-что не пропадаетъ въ закромахъ! Понятно при этомъ,— и иначе быть не можетъ, и даже иначе быть не слѣдуетъ,— что хозяйства тѣхъ помѣщиковъ, которые устроивались по образцу англійскихъ фермъ — не окупятъ издержекъ даже на работниковъ. Это-ли однакожъ за досаду почтенной редакціи? Пусть это не въ порядкѣ ея образа мыслей; но можно-ли не радоваться тому, что даже безъ тѣни тѣхъ хлопотъ и пожертвованій, а много дешевле и проще, „нашъ Русскій хлѣбъ у насъ родится?"

„Повсюду, говорятъ Московскія Вѣдомости, гдѣ отмѣнялись обязательныя отношенія, сельское хозяйство сейчасъ-же улучшалось. У насъ мы этого не видимъ (?). Напротивъ, вольнонаемный трудъ почти нигдѣ въ Россіи не приноситъ барышей, а во многихъ мѣстахъ даже не окупается". Не были-ли мы правы, сказавъ, что силлогизмы подчасъ могутъ не то, чтобы вытекать одинъ изъ другаго, а только другъ за другомъ выскакивать? Спрашивается, какъ здѣсь объяснить это, неподражаемое по своей смѣлости: напротивъ? и краснорѣчивое обстоятельство, что вольнонаемный трудъ не окупается, значитъ-ли съ какой-нибудь стати ухудшеніе хозяйства? Добросовѣстно-ли не называть вещь ея име-

немъ, а придавать ей всуе такое имя, которое невольно смущаетъ? добросовѣстно-ли неудающуюся у насъ англоманію (о хозяйствѣ крестьянъ тутъ нѣтъ и рѣчи) добросовѣстно-ли, говоримъ, неудающіяся у насъ попытки англоманіи называть вдругъ, чѣмъ-же? упадкомъ сельскаго хозяйства! Вотъ если-бы (какъ наканунѣ эмансипаціи кто-то угрожалъ этимъ) цѣны на хлѣбъ по всей Россіи удесятерились,— если съ отмѣной обязательныхъ отношеній цѣна на хлѣбъ вдругъ поднялась-бы въ такой ужасающей прогрессіи, что сколько-бы ни затрачивали англоманы трудовъ и капитала на свои образцовыя фермы, какой они дорогой цѣной ни привлекали-бы работниковъ къ своему полевому хозяйству — и праздныя ихъ фантазіи все-таки окупались-бы съ лихвою,— вотъ тогда было-бы, дѣйствительно, у мѣста это „напротивъ“, и лишь этотъ единственный случай, такъ призываемый теперь Московскими Вѣдомостями, означалъ-бы не мечтательное ухудшенье. Это, какъ день, ясно. Удесятиреніемъ цѣнъ на хлѣбъ, повторяемъ, и грозили наканунѣ эмансипаціи всѣ ея противники. А нынѣшнее хлѣбное всеобиліе они-же зовутъ теперь вдругъ чѣмъ-же?... Упадкомъ хозяйства! его повальнымъ ухудшеніемъ!!...

Путемъ неудачи своего собственнаго сравненія Россіи съ Америкой, неудачи такъ еще усугубленной именно оговоркой, что „природа надѣлила Россію широкою полосой чернозема, единственною на земномъ шарѣ“, вотъ-вотъ, думается, Московскія Вѣдомости сами наконецъ выдутъ на прямую дорогу и спохватятся объ настоящей коренной причинѣ неуспѣховъ у насъ англоманіи... Не тутъ-то было! здѣсь-то именно и поворачиваютъ они круто къ своему „источнику жизни“.

„Главнымъ — говорятъ они — препятствіемъ къ водворенію экономической свободы (мы уже знаемъ, какъ понимать этотъ условный терминъ въ устахъ редакціи!) служатъ опасенія пролетаріата,— опасенія, занесенныя къ намъ съ запада Европы“. Однако не съ больной-ли ужъ это головы на здоровую? Опасенье пролетаріата есть, и искони вѣковъ было, у Русскихъ въ крови: хоть щей горшокъ, да самъ большой! сложилъ Русскій человѣкъ пословицу,— и гнилушки — да свои! говоритъ нашъ крестьянинъ, указывая на свою избушку, подчасъ и въ самомъ дѣлѣ неказистую; это отвращеніе отъ пролетаріатства внѣдрено въ насъ всѣмъ нашимъ бытомъ, всею Русской исторіей... А вотъ не то-ли узкое пониманіе „экономической свободы“, которымъ хо-

тятъ блеснуть Московскія Вѣдомости передъ профанами, не то-ли гуманное желаніе: обзавести насъ этимъ добромъ, пролетаріатомъ, проживающимъ въ „чужихъ теплыхъ избахъ“... вотъ, говоримъ, полно не это-ли занесено къ намъ съ запада Европы? утаить шило въ мѣшкѣ даже и Московскимъ Вѣдомостямъ не ухитриться! Кто болѣе не имѣетъ ни угла, ни собственности, тотъ рѣшительно пролетарій; никакъ не иначе. Если общинное начало будетъ у насъ, по волѣ Московскихъ Вѣдомостей, разрушено, а пролетаріатомъ мы все-таки не обзаведемся — тогда о чемъ-же и хлопочутъ Московскія Вѣдомости? вѣдь наши хозяйственныя строенія, эти „сухія и теплыя избы“, по которымъ они такъ умиляются—опять останутся безъ пришлаго неимущаго люда, правильнѣй говоря: усадьбы нашихъ англомановъ—опять безъ рукъ!! Но такъ какъ Московскія Вѣдомости полагаютъ—и полагаютъ не безъ основанія — увидѣть въ крестьянахъ, послѣ бурь, сокрушившихъ ихъ общину, дѣйствительныхъ пролетаріевъ, т. е. полныхъ безсобственниковъ и работниковъ неимущихъ,— такъ какъ, безъ сомнѣнія, лишь на этомъ единственномъ основаніи они и провидятъ уже „сухія и теплыя избы“ владѣльцевъ биткомъ набитыми всякимъ пришлымъ людомъ, благоденствующимъ „на сытныхъ, хозяйскихъ харчахъ“... то мы и вправѣ замѣтить имъ, что мѣшокъ у нихъ все-таки прорвался, и блеснуло шило.

Выскакиваніе неожиданныхъ силлогизмовъ, этотъ вылетъ внезапныхъ сюрпризовъ изъ коробочки съ фокусами, не прекращается до конца въ premier Moscou 18-го нумера.— Мы, напримѣръ, всѣ помѣщики, видимъ сплошь да рядомъ, что общинное владѣніе ничуть не мѣшаетъ разбогатѣвшему крестьянину купить гдѣнибудь къ своему углу, или даже на сторонѣ, собственность болѣе крупную, чѣмъ та, которая ему съ самаго начала, какъ point de départ и про всякъ черный день, предоставлена въ его душевомъ участкѣ; оказывается, что не только мѣшаетъ, отнимаетъ всякую къ тому возможность! Оказывается еще, что самое кочеванье изъ одного сословія въ другое — при всемъ томъ, что тутъ же на ряду съ крестьянами помянуты и купцы, какъ ихъ достойные соревнователи въ этомъ дѣлѣ—оказывается, говоримъ, что и оно, это кочеванье, имѣетъ своимъ источникомъ ничто другое, какъ ненавистное для Московскихъ Вѣдомостей общинное начало; объ табели о рангахъ, о сословныхъ привилегіяхъ съ одной стороны,—съ другой, о томъ обстоятельствѣ, что Положеніемъ

19-го февраля къ общинному владѣнію землей купечество не призвано, почтенная редакція повидимому совершенно запамятовала. Оказывается еще, что хотя и „колебаніе денежной единицы“ производитъ подчасъ тѣ-же гибельныя послѣдствія, какъ и общинное начало; однакожъ, во-первыхъ, для „упроченія денежной единицы“, въ рукахъ редакціи имѣется много средствъ и секретовъ, стоитъ лишь къ ней за этимъ обратиться (она проповѣдуетъ фритредерство и сожженіе кредитныхъ бумажекъ), а во-вторыхъ, самое „колебаніе денежной единицы“ менѣе гибельно и болѣе терпимо, чѣмъ во всѣхъ отношеніяхъ ненавистное общинное начало... и мало-ли еще чего оказывается изъ передовой статьи Московскихъ Вѣдомостей, хвалящейся, между прочимъ—чѣмъ-бы вы думали, читатель?—что мнѣнія ихъ раздѣляются тысячьми!!

Повальный успѣхъ, что и говорить, для Московскихъ Вѣдомостей очевидно дороже всего на свѣтѣ. Но къ несчастію, при ихъ спорѣ по поводу общиннаго начала, этотъ могучій аргументъ дѣйствительнаго большинства рушится на ихъ-же голову; да, этотъ великолѣпный аргументъ ихъ тысячей—обращается въ нуль. Не таково-ли, каково отношеніе единицы къ тысячѣ, еще отношеніе самой тысячи къ милліону? и на церковно-славянскомъ языкѣ не милліоны-ли переходятъ уже въ тьмы темъ?.. Большинство, именно такого объема, искони вѣковъ отстаивало у насъ на Руси, въ самой жизни, самымъ дѣломъ свое великое общинное начало во всѣхъ его историческихъ видахъ. Съ этимъ-ли именно большинствомъ угодно редакціи Московскихъ Вѣдомостей помѣриться?

Газета „День“ 1865 г.

Замѣтка для „Московскихъ Вѣдомостей“.

„Что такое неотчуждаемость недвижимой собственности? спрашиваютъ Московскія Вѣдомости въ 28-мъ нумерѣ. Что такое свобода или стѣсненіе свободы“? Ни то, ни другое, отвѣчаемъ ученой редакціи; а прежде всего, это, такъ-называемое, contradictio in adjecto. Тутъ, какъ въ выраженіи кругъ объ четырехъ углахъ, представляется противорѣчіе подлежащаго со сказуемымъ,—а вопросъ о свободѣ или объ ея стѣсненіи рѣшитель-

но ни при чемъ. Изъ того напримѣръ, что редакція имѣетъ право продать „Русскій Вѣстникъ“ кому хочетъ, а „Московскихъ Вѣдомостей“ никому не имѣетъ права продать — слѣдуетъ-ли сколько-нибудь, что, въ первомъ случаѣ, она чадо истинной свободы, а во второмъ — невинная жертва ея угнетенія? Слѣдуетъ одно: что „Русскій Вѣстникъ“ принадлежитъ ей на правахъ личной собственности, а „Московскія Вѣдомости“ сданы ей лишь на правахъ аренды — и ничего больше. Кромѣ аренды, жизнь выработала много и другихъ видовъ собственности неполной; если законодательство признаётъ ихъ, а не беретъ на себя ихъ насильственно разрушить — кому отъ того бѣда? Какое-жъ тутъ стѣсненіе?

Редакція „Московскихъ Вѣдомостей“, допустимъ, въ качествѣ городскаго жителя, нуждается въ выгонѣ; у города есть свой выгонъ — и онъ имъ ссужаетъ своего сочлена. Городъ, правда, ни этого выгона, ни его сотой доли, ни даже его пядени — не уступитъ редакціи въ собственность; слѣдуетъ-ли изъ того однакожъ, что тѣмъ нанесено слезное огорченіе свободѣ?! Слѣдуетъ только, что собственникомъ выгона здѣсь является лицо коллективное, самъ городъ,—и ничего больше. Того по крайней мѣрѣ, что самое право горожанина на выгонъ здѣсь обернется въ какое-то стѣсненіе для него — не слѣдуетъ уже никоимъ образомъ. Допустимъ однакожъ, что редакція „Московскихъ Вѣдомостей“ повела агитацію именно въ этомъ смыслѣ, и повела ее такъ удачно, что прежде четверть города, потомъ треть города, потомъ половина города и, наконецъ, обѣ трети города переходятъ на ея сторону: всякому пришло до своей собственной пядени — и тогда, съ общиннымъ городскимъ выгономъ... что̀ сталось?

Что касается поземельнаго у нашихъ крестьянъ владѣнія, то мы хорошо знаемъ, — что̀ съ нимъ станется въ подобныхъ обстоятельствахъ. По смыслу дѣйствующихъ узаконеній, достаточно согласія именно двухъ третей сельскаго общества для того, чтобы ихъ коллективная собственность сейчасъ была раздроблена на участки и перешла-бы въ собственность личную между всѣми крестьянами въ розницу. По смыслу „Положенія“, при томъ, у всякаго члена общины, если онъ того пожелаетъ, ничуть не отнята возможность изъ нея выписаться: пусть такой желающій соблюдетъ съ своей стороны извѣстныя формальности — и онъ воленъ идти на всѣ четыре стороны. Общинное владѣніе у нашихъ крестьянъ (хотятъ-ли того, чтобы оно сохранилось, хотятъ-ли того, что-

бы оно разрушилось) не лишено, въ своей теперешней обстановкѣ, многихъ дѣйствительныхъ причинъ и условій, способныхъ направить его скорѣе ко второму, чѣмъ къ первому. Къ чему-жъ придумывать еще какія-то мнимыя и разводить ихъ потоками самодовольнаго фразерства? Объ этихъ немнимыхъ причинахъ, препятствующихъ сохраненію общиннаго землевладѣнія, можно и должно говорить серіозно; но по поводу доктринерства „Московскихъ Вѣдомостей“ разсуждать объ нихъ было-бы неумѣстно. Важно то, что въ нашемъ крестьянствѣ уже и сейчасъ замѣтно стремленіе уладить эти препятствія, устранить эти причины. Удастся-ли нашему крестьянству это доброе дѣло, сочтетъ-ли оно его наконецъ и само навсегда потеряннымъ, это вопросъ особый; но то́ важно, то́ честно, что разрѣшеніе этой великой задачи, какъ мы выше о томъ сказали, предоставлено самой жизни, отдано на свободное разрѣшеніе никого другаго, какъ самого народа. Есть ли тутъ изъ чего приходить въ отчаяніе?

Потерпѣвъ блистательное fiasco въ своихъ доказательствахъ тому, что главною причиной всѣхъ золъ на свѣтѣ — является общинное землевладѣніе,— ничуть потомъ не оправившись отъ своего промаха нынѣшнимъ софизмомъ о „неотчуждаемости“,— ученая редакція, скажемъ въ заключеніе, разразилась скорбною выходкой: и дворянство, и еще кое-кого кромѣ дворянства, кого только не наускиваетъ она теперь противъ „Дня“?

Не знаемъ, существуютъ-ли на самомъ дѣлѣ, какъ это утверждаетъ редакція, какіе-то журналы и газеты, которые нудятъ ее постоянно наускивать; но если ей такъ всегда въ охоту касаться террористической памяти жонда, то какъ она не подумаетъ, наконецъ, хоть вотъ о чемъ: благороднаго негодованія — для такого отвратительно-безнравственнаго явленія, какъ жондъ народовый — уже слишкомъ много, оно за честь ему. Для насъ, по крайней мѣрѣ, онъ просто омерзителенъ; но вѣдь тѣмъ онъ, между прочимъ, и омерзителенъ, что былъ онъ ловокъ наускивать.

Газета „День“ 1865 г.

Исключительно для г-на Григорія Наличнаго („Моск. Вѣд.“ № 59, 1865 г.)

Не надо думать, что противники сельской общины чрезмѣрно озабочены вопросомъ о благосостояніи народа. Говоря о необходимости разрушить сельскую общину, они меньше всего думаютъ о благосостояніи народа. Такъ какъ они даютъ ясно выразумѣть, что съ уничтоженіемъ сельской общины сейчасъ произойдетъ обезземеленіе большей части ея членовъ (явятся милліоны бездомныхъ работниковъ), такъ какъ еще, по ихъ мнѣнію, поземельная мелкая собственность ни въ какомъ случаѣ не простоитъ у насъ долгое время (опять-таки въ руки крупныхъ землевладѣльцевъ, значитъ, перейдетъ большинство крестьянскихъ участковъ)—то и дѣлается само-собою понятно: чѣмъ-же, собственно говоря, могутъ быть заинтересованы противники сельской общины въ ея разрушеніи и что́ у нихъ такое имѣется при этомъ въ виду?—мы не говоримъ всѣ противники, а только нѣкоторые изъ нихъ. Хотя въ соображеніяхъ такого рода обличается, подъ конецъ всего, большая несмысленность; но есть въ нихъ и логика своего рода, пожалуй даже остроуміе.

Однакожъ, такая несмысленность борцовъ противъ сельской общины начинаетъ въ послѣднее время превосходить всякое вѣроятіе и уже грозитъ фундаментальной опасностью перейти въ безсмысленность. Плачевная участь такого перехода постигла статью Григорія Наличнаго: „Не можно вѣкъ носить личинъ“, напечатанную въ 59-мъ нумерѣ Московскихъ Вѣдомостей. Очень Григорію Наличному не нравится статья г. Гильфердинга: „О сельской общинѣ“. Мысль, что общинное землевладѣніе у нашихъ крестьянъ удержится на долгое время, смѣшивается въ понятіяхъ г. Наличнаго съ „мечтой о медовыхъ рѣкахъ и кисельныхъ берегахъ“, а, очевидно, не медовыхъ рѣкъ, ему плача и скрежета зубовъ (бездомныхъ рабочихъ и пролетаріевъ) хотѣлось-бы для человѣчества... О вкусахъ не будемъ спорить, а прямо обратимся къ логикѣ.

Григорій Наличный хвалится, что ему въ статьѣ г. Гильфердинга посчастливилось сдѣлать важную находку; а именно, въ статьѣ „О сельской общинѣ“ будто-бы г. Гельфердингъ, ни много, ни мало, „самъ уже нанесъ себѣ смертельный ударъ, подсѣкающій у

самаго корня его любимую теорію". Худое-ли дѣло! и всякій былъ бы не прочь отъ подобной находки въ статьѣ своего противника; если Григорій Наличный ею хвалится—въ этомъ, пока, нѣтъ ничего удивительнаго. Но вотъ что даже болѣе, чѣмъ удивительно: этотъ „ударъ", если для кого-нибудь и точно оказывается смертельнымъ, то развѣ для здраваго смысла г. Наличнаго. „А вотъ и примѣръ, говоритъ онъ. Тотъ-же г. Гильфердингъ, такъ возвеличивающій крѣпость и твердость общиннаго устройства... тутъ-же наивно сознается, что если допустить независимость лица отъ общины, то наибольшее число крестьянъ сейчасъ-же продастъ свои поземельные участки". Хорошъ „примѣръ" г-на Наличнаго! для путаницы его понятій—дѣйствительно образцовый! Такъ какъ допущеніе внѣшнимъ закономъ независимости лица отъ общины въ отчужденіи участковъ и есть отмѣна общины, то софизмъ—ясенъ. Въ самомъ дѣлѣ, какимъ образомъ „общинное устройство" повинно въ томъ, что съ его отмѣной внѣшнею властью—крестьяне, пожалуй, какъ мухи на медъ, кинутся распродавать свои участки; какимъ образомъ, самое то обстоятельство, что одно лишь „общинное устройство" спасаетъ ихъ отъ такого обнищанія—здѣсь общинному-же устройству ставится въ попрекъ и въ покоръ; наконецъ главное: какимъ образомъ, въ томъ и другомъ случаѣ, т. е. что при общинѣ крестьяне отъ такой западни гарантированы, а что съ ея отмѣной они непремѣнно въ такую западню попадутся, какимъ образомъ, говоримъ, въ этихъ двухъ дѣйствительныхъ положеніяхъ г. Гильфердинга ухитрился авторъ статьи „Не можно и пр." найти какое-то мнимое противорѣчіе,—все это осталось-бы тайной Григорія Наличнаго. Но тайна эта легко теперь объяснима догадкой, что „ударъ" г. Гильфердинга для кого-то именно оказался „ударъ смертельный".

Сельская община, допуская всѣхъ своихъ членовъ до равноправнаго пользованія землею, считаетъ собственникомъ этой земли—лишь себя самоё, лицо коллективное. Слѣдовательно, правительственное допущеніе въ ней отдѣльныхъ участковыхъ собственниковъ—было-бы со стороны законодательства самымъ вопіющимъ вмѣшательствомъ въ народный обычай, совершенно-насильственною отмѣной общиннаго землевладѣнія въ самомъ принципѣ. Слѣдовательно, не свободой это было-бы, а ея злостнымъ нарушеніемъ. Заключеніе отсюда прямое, что назовите это нарушеніе свободы—хоть раемъ самимъ, а сущность дѣла отъ того ничуть не измѣнится.

„И послѣ этого вы говорите, что народъ считаетъ общинное устройство священнымъ своимъ достояніемъ! Нѣтъ! это вы навязываете ему убѣжденія!“... такимъ неожиданнымъ возгласомъ повершаетъ авторъ диковинное заключеніе своего силлогизма. Мы готовы были уже самый этотъ силлогизмъ привѣтствовать за неподражаемый и непостижимый. Но, какъ видитъ теперь самъ читатель, вотъ это: „И послѣ того“, употребленное здѣсь ни къ селу ни къ городу, даетъ еще угадывать, что авторъ бываетъ подчасъ способенъ самого себя превосходить въ непостижимости.

Какъ не сказать, послѣ всего, что отмѣна крѣпостнаго права дѣйствительно намъ даетъ себя чувствовать всюду и во всемъ у насъ отражается! Съ отмѣною крѣпостнаго права вдругъ у насъ появились, какъ извѣстно, совершенно-особаго духа либералы, — явились совершенно-исключительнаго свойства ненавистники бюрократовъ, — являются теперь и борцы противъ сельской общины съ точки зрѣнія совершенно-же исключительной... И все это во имя гуманности и прогресса и непремѣнно въ перемежку съ англоманіей. Хотя въ Англіи, между королями, дѣйствительно былъ одинъ: Іоаннъ Безземельный, но у насъ-то для чего-же хотѣть сплошь — все однихъ безземельныхъ Ивановъ?!

Газета „День“ 1865 г.

Еще Григорію Наличному.

Здравый смыслъ и желаніе казаться остроумнымъ — не одно и то-же. У автора „не можно вѣкъ носить личинъ“, какъ помнитъ читатель, мы совершенно оспаривали первое; но мы ему не отказывали во второмъ. Теперь мы прочитали вторую статейку Григорія Наличнаго („Совр. Лѣт.“ 25 апр.) и не видимъ причинъ, почему-бы намъ измѣнить объ немъ свое мнѣніе?

Вступленіе, куда по справедливости слѣдуетъ включить и игривое заглавіе: „улика на лицо и запираться поздно“; потомъ заключеніе, куда вмѣстѣ съ анекдотами о почтмейстерѣ надо-же отнести и удачный псевдонимъ автора, — т. е., по крайней мѣрѣ, двѣ трети новой статейки Григорія Наличнаго обличаютъ въ немъ — самое искреннее желаніе казаться остроумнымъ. Капитальная часть, какъ прежде, обличаетъ отсутствіе логики. Мы не бу-

демъ, въ интересѣ читателя, распространяться о первомъ; а второе — съ двухъ словъ докажемъ.

Въ чемъ у насъ состоялъ споръ съ Григоріемъ Наличнымъ? Вотъ въ чемъ: разбирая статью г. Гильфердинга „о сельской общинѣ“ и желая доказать, что въ ней г. Гильфердингъ „самъ уже нанесъ себѣ смертельный ударъ, подсѣкающій у самаго корня его теорію“, г. Григорій Наличный привелъ тому доказательства весьма плохія. Имъ приведенный примѣръ не только не заключалъ въ себѣ никакого противорѣчія любимой теоріи г. Гильфердинга, а, напротивъ того, онъ лишь служилъ къ ея подтвержденію. Мы это доказали Григорію Наличному, а съ тѣмъ вмѣстѣ и всю его статейку оцѣнили по достоинству. Теперь г. Григорій Наличный въ претензіи на насъ, что мы оцѣнили ее по достоинству; но ему хотѣлось-бы еще, чтобы наши доказательства о сбивчивости его понятій — были яснѣе. Исполняемъ желаніе автора.

Въ чемъ состояла „любимая теорія“ г. Гильфердинга, которую г. Григорій Наличный подсѣкалъ въ самомъ корнѣ? Въ статьѣ г. Гильфердинга „о сельской общинѣ“ — и кто хоть десять разъ ее перечитаетъ, всякій подтвердитъ наши слова — нѣтъ ни одной голословной сентенціи въ пользу общины, даже болѣе: нѣтъ никакихъ сентенцій. Г-нъ Гильфердингъ развивалъ въ ней лишь одно положеніе и приходилъ изъ него къ одному-же выводу. „Пока существуетъ сельская община, говорилъ онъ, до тѣхъ поръ мы будемъ избавлены отъ пролетаріата“. „Только разрушьте сельскую общину, заключалъ онъ, и пролетаріатъ непремѣнно явится“. Вотъ эти два тезиса постоянно и проводятся въ цѣлой статьѣ; вся она и является мастерскимъ доказательствомъ лишь ихъ именно. Другихъ теорій нѣтъ въ статьѣ г. Гильфердинга; ни о какой другой теоріи тутъ не было и помину. Представимъ нѣсколько подлинныхъ выраженій. „Разрушеніе сельской общины должно вести къ пролетаріату. Если вы уничтожите въ Россіи общину, пространство ея не послужитъ противодѣйствіемъ пролетаріату. Лишенный общины, сельскій людъ выдѣляетъ изъ себя все бо̀льшее и бо̀льшее число пролетаріевъ. Сельская община даетъ каждому землевладѣльцу свою домашнюю кровлю, свой клочекъ земли и тѣмъ ставитъ его въ положеніе независимаго производителя. Если разрушить или упразднить у насъ сельскую общину, тогда весьма многіе крестьяне продадутъ свои участки; наибольшее число, безъ всякаго сомнѣнія, обратится въ безземельныхъ работниковъ или, другими словами, въ сель-

скихъ и городскихъ пролетаріевъ. Лишенный оплота сельской общины, народъ слабѣетъ; въ земледѣльческомъ классѣ цѣлыя массы людей становятся безземельными батраками, пролетаріями".—Вотъ, повторяемъ, и вся „любимая теорія" автора статей о сельской общинѣ! Какъ ни переворачивайте затѣмъ этихъ подлинныхъ выраженій, въ какія сочетанія ихъ ни ставьте,— а смыслъ остается постоянно одинъ и тотъ-же. Т. е., пока сельская община существуетъ, до тѣхъ поръ у каждаго крестьянина, дѣйствительно, есть своя кровля и свой кусокъ хлѣба; крестьянинъ, правда, все-таки долженъ работать, потому что, какъ во всякомъ, такъ и въ его быту, нуждъ и потребностей цѣлая охапка; но въ главномъ, т. е. въ кровѣ и въ кускѣ хлѣба, крестьянинъ обезпеченъ. Напротивъ того, если захотятъ сельскую общину разрушить, или, что то-же самое, захотятъ, чтобы собственникомъ земли было не село, лицо коллективное, а каждый крестьянинъ въ розницу — тогда многіе изъ крестьянъ лишатся возможности удержать за собой свои участки, вынуждены будутъ распродавать ихъ — и явятся у насъ со временемъ милліоны бродячаго, бездомнаго люда. Если, такимъ образомъ, авторъ статей „О сельской общинѣ" въ чемъ и полагаетъ крѣпость и твердость ея, такъ въ томъ именно, что не даетъ она у насъ образоваться массѣ бездомныхъ, безземельныхъ работниковъ. Если онъ за что-нибудь и „возвеличиваетъ" ее,— такъ ясно, кажется, что прежде всего за то именно, что она обезпечиваетъ каждому крестьянину свой кровъ и свой кусокъ хлѣба. Другой теоріи у г. Гильфердинга не было никакой, повторяемъ.

Припомнимъ-же теперь „примѣръ" Григорія Наличнаго,— примѣръ, который, по его мнѣнію, подсѣкаетъ у самаго корня эту любимую теорію.

Вотъ этотъ примѣръ: „тотъ-же г. Гильфердингъ, такъ возвеличивающій крѣпость и твердость общиннаго устройства... тутъ-же наивно сознается, что если допустить независимость лица отъ общины, то наибольшее число крестьянъ сейчасъ-же продастъ свои поземельные участки". Г. Наличный, кажется, ужъ и самое грѣхопаденіе человѣческаго рода хотѣлъ-бы приписать общинѣ! Но община, по мнѣнію ея защитниковъ, нисколько не повинна за людскіе грѣхи вслѣдствіе ихъ грѣхопаденія. Она только своимъ устройствомъ защищаетъ бѣдный людской бытъ — отъ крайней бѣдности и отъ полнаго обнищанія, въ которое наклонны впадать грѣшные и слабые люди. Если пьяница и пропоица, по грѣшной слабости,

пропьетъ свой надѣлъ въ кабакѣ — а до сего времени именно общинное владѣніе землей этого не допускаетъ,—справедливо-ли самое даже это не вмѣнить общинѣ въ заслугу, а ставить въ какую-то вину? Примѣръ — повторяемъ — для путаницы понятій Григорія Наличнаго дѣйствительно образцовый! Какъ-же онъ ухитрился тутъ видѣть какое-то противорѣчіе, какой-то смертельный ударъ?! Всякій, кто защищаетъ „любимую теорію“, т. е. крѣпость и твердость общиннаго устройства, прежде всего и ставитъ на видъ, что оно обезпечиваетъ кровъ и кусокъ хлѣба крестьянину, обезпечиваетъ его поземельный участокъ—даже послѣ Адамова грѣхопаденья. Всякій, кто страшится разрушенія сельской общины, того и боится, что крестьянинъ свой участокъ пожалуй пропьетъ; то̀ прежде всего и имѣетъ въ сознаніи, что крестьянинъ, прогулявъ свой участокъ, превратится въ пролетарія. Не только нѣтъ никакой надобности „отпираться“ отъ такого сознанія; но настоитъ великая надобность, чтобы оно стало у насъ наконецъ достояніемъ всѣхъ и каждаго. Авторы, подобные Григорію Наличному — иное дѣло; чѣмъ явственнѣе доказываютъ имъ неизбѣжность пролетаріата за уничтоженіемъ сельской общины, тѣмъ повидимому и горячѣй становится ихъ желаніе — ее скорѣе разрушить.

Газета „День“ 1865 г.

„О настоящихъ обязанностяхъ Русскаго дворянства“.

Брошюра. *Графа В. П. О. Д.* Paris. 1861 г. Rue de Lille.

Путаница понятій, хотя въ то-же время какая-то дѣтская простосердечность, тщетная попытка возвести свои жалкія, эгоистическія тенденціи въ какіе-то высокіе принципы, — вотъ отличительные признаки этой брошюры. Но мы останавливаемся на ней; мы хотимъ на нее обратить самое серьезное вниманіе общества, потому что брошюра эта, ничтожная сама по себѣ, имѣетъ другаго рода чрезвычайно важную знаменательность. Религія, обязанности гражданскія, незыблемость государственнаго порядка, правильность соціальныхъ отношеній, словомъ сказать, всѣ важнѣйшіе интересы, всѣ завѣты человѣческихъ обществъ перебираетъ авторъ въ своей брошюрѣ; онъ повидимому является ихъ рьянымъ защитникомъ и хочетъ только весь міръ убѣдить въ ихъ

истинности. На самомъ-же дѣлѣ, всѣ эти святѣйшія упованія, всѣ эти завѣтнѣйшіе интересы человѣческихъ обществъ онъ сводитъ къ утилитарной точкѣ зрѣнія своего лично-сословнаго эгоизма; останавливаясь на нихъ, онъ играетъ какъ-бы на струнахъ своего раздраженнаго сословнаго самолюбія... А черезъ это онъ даетъ поводъ всѣмъ, кто только не глубоко самъ вдумался въ эти интересы, и въ самомъ дѣлѣ считать ихъ мнимыми, изобрѣтенными, пожалуй, лишь для поддержки людей, подобныхъ автору, и существующими на свѣтѣ лишь въ угоду имъ однимъ. Нѣтъ! всѣ эти великіе интересы имѣютъ лучшихъ защитниковъ; всѣ они могутъ быть оправданы сами въ себѣ; а примѣшивать къ нимъ какія-то сословныя тенденціи — значитъ грязнить ихъ; примѣшивать къ нимъ какіе-то житейскіе разсчетцы — значитъ дѣлать возможною хулу на нихъ, утучнять почву для нигилизма, плодить его приверженцевъ.

Пусть не очень-то свысока осуждаетъ авторъ этихъ, больше достойныхъ сожалѣнія, чѣмъ презрѣнія, людей! До тѣхъ поръ не переведутся они въ нашей литературѣ, пока не переведутся еще и люди, подобные автору разбираемой брошюры! И мы говоримъ это безъ всякой малѣйшей враждебности къ автору: мы истинно цѣнимъ простосердечную искренность автора; мы видимъ въ его брошюрѣ самое незлостное заблужденіе. Но пусть и онъ цѣнитъ искренность тѣхъ, какъ и онъ, заблуждающихся людей, которыхъ онъ свысока третируетъ! Между нимъ, авторомъ брошюры „о настоящихъ обязанностяхъ Русскаго дворянства“, и тѣми господами, на которыхъ онъ такъ свысока смотритъ — большая солидарность. Вся причина существованія этихъ господъ въ нашей литературѣ — именно въ обиліи у насъ еще другаго рода людей,— людей, подобныхъ автору брошюры.

Авторъ жалуется, чуть не черезъ каждую страницу, на какихъ-то журналистовъ, которыхъ онъ сильно недолюбливаетъ. Онъ говоритъ про нихъ: „къ несчастью, на свѣтѣ много безсознательныхъ орудій разрушенія“. Онъ говоритъ, что въ нашъ вѣкъ нѣкоторыми господами многія истины выдаются за „отсталое, недостойное, нашего вѣка“. Онъ говоритъ, что такою напраслиной эти господа, будто-бы, подрываютъ „вѣру въ истинныя начала“. Онъ объявляетъ о себѣ, что онъ противъ этихъ господъ и самъ любитъ только то, что „зиждется на твердомъ основаніи“.

Мы сами любимъ только то, что зиждется на твердомъ осно-

ваніи; мы никому не уступимъ, ни даже самому автору, въ горячей любви ко всему тому, что̀ поддерживаетъ „вѣру въ истинныя начала“. Люди, которые враждуютъ всему тому, что̀ „зиждется на твердомъ основаніи“—и намъ враги,—люди, которые дружатъ всему тому, что̀ поддерживаетъ вѣру въ начала лживыя—не друзья и намъ. Наконецъ, намъ нѣтъ-же никакой надобности нападать и на все остальное прочее, что авторъ спѣшитъ заключить въ свои объятія; однакожъ мы спѣшимъ, спѣшимъ скорѣе отклонить отъ себя услужливую брошюру „о настоящихъ обязанностяхъ Русскаго дворянства“. Мы спѣшимъ это сдѣлать потому именно, что всѣ аргументы, приводимые авторомъ, скорѣе могутъ подорвать, чѣмъ утвердить, вѣру въ то, что̀ для насъ воистину дорого. Дѣло въ томъ, что дѣйствительно отсталое созерцаніе автора; вся его манера понимать вещи; всѣ подпорки, на которыхъ онъ ищетъ опереть свои сословно-эгоистическіе интересы... именно таковы, что даже въ самыхъ смиренныхъ умахъ способны помутить „вѣру въ истинныя начала“, возбуждая неизбѣжное желаніе протестовать противъ всего, протестовать во что бы то ни стало, лишь-бы не казаться одного поля ягодой—съ авторомъ брошюры. Прежде, чѣмъ писать „о настоящихъ обязанностяхъ Русскаго дворянства“, автору было-бы лучше подумать: откуда развелось у насъ такое гибельное множество тѣхъ господъ, противъ которыхъ онъ ратуетъ? Увы! повторяемъ опять, только не существуй въ нашемъ обществѣ тѣхъ исключительныхъ—имѣвшихъ впрочемъ свою исторію — воззрѣній, которыя раздѣляетъ авторъ брошюры, не было-бы у насъ еще и нигилизма; не было бы тогда и господъ, ратовать противъ которыхъ авторъ имѣетъ теперь наивность. Они взаимно поддерживаются, они плодятся другъ другомъ и другъ другомъ обусловлены... Между авторомъ разбираемой книги и тѣми самыми людьми, противъ которыхъ онъ ратуетъ, повторяемъ, большая солидарность. Для насъ появленіе такой брошюры, какова „о настоящихъ обязанностяхъ Русскаго дворянства“, тѣмъ между прочимъ и больно, что, заглянувъ въ нее, какой-нибудь, напр. нигилистъ ...до потолка прыгнетъ отъ злой радости! Онъ станетъ рукоплескать появленію такой брошюры; онъ скажетъ: „Господа! еще-ли я не правъ въ своемъ отрицаніи? вотъ посмотрите: выискался авторъ брошюры „о настоящихъ обязанностяхъ Русскаго дворянства“, который захотѣлъ всѣхъ, въ томъ числѣ и меня, укрѣпить въ вѣрѣ „въ истинныя

начала"; а между тѣмъ приводитъ такіе аргументы и высказываетъ такія вещи, съ которыми не можетъ, не долженъ согласиться человѣкъ порядочнаго образа мыслей, отъ которыхъ оттолкнется всякое *человѣческое* сердце". И брошюра этого самаго автора, брошюра, собственно говоря, не имѣющая никакого дѣла съ дѣйствительными „истинными началами", а которая возится только съ собственными иллюзіями автора... что-же? она подастъ поводъ такому человѣку возмнить о самомъ себѣ, что онъ и дѣйствительно разбиваетъ уже „истинныя начала", что онъ и вправду силенъ поколебать то, что̀ „зиждется на твердомъ основаніи". Конечно, подъ конецъ всего, спохватится и онъ, что не дѣйствительныя „истинныя начала" разбивалъ онъ, простодушный борецъ, а только иллюзіи людей, подобныхъ автору разбираемой брошюры; но еще всѣ-ли до того и доходятъ?

Нѣтъ, дѣйствительныя „истинныя начала", которыми стоитъ міръ, крѣпче, чѣмъ это воображаетъ нашъ авторъ; они слишкомъ хорошо застрахованы, чтобъ можно было бояться за ихъ сокрушимость отъ всякихъ со вчерашняго дня мудрецовъ! „Истинныя начала" одинаково посмѣются и такимъ мнимымъ своимъ врагамъ, какъ тѣ господа, противъ которыхъ выбивается изъ силъ авторъ брошюры, и такимъ мнимымъ-же друзьямъ своимъ, какимъ является самъ онъ, авторъ. Отъ взаимныхъ сшибокъ, которыя въ сущности взаимно уничтожаютъ только ихъ-же воззрѣнія, т. е. господъ того и другаго рода — стоятъ далеко въ сторонѣ дѣйствительныя „истинныя начала". Мимо идутъ, ихъ не касаясь, какъ похвалы этихъ, будто-бы друзей ихъ, такъ и порицанія тѣхъ будто-бы, враговъ ихъ. Какъ праздно и суетно, по отношенію къ нимъ, хваленіе первыхъ, также праздно и суетно — негодованіе вторыхъ; и даже трудно-бы сказать: что̀ тутъ, по отношенію къ нимъ, одно другаго обиднѣй!

Но обращаемся къ самой брошюрѣ.

Первое истинное начало, по нашему мнѣнію, противъ котораго склонны возставать „бозсознательныя орудія разрушенія", то̀ самое, о которомъ авторъ разсуждаетъ въ самомъ концѣ своей брошюры, уже на заднихъ страницахъ. Читаемъ на страницѣ 69-й: „Будемъ содѣйствовать благой цѣли народнаго религіознаго образованія, но сперва проникнемся убѣжденіемъ въ пользѣ и послѣдовательности нашихъ дѣйствій. Мы получили отъ промысла Божія наше назначеніе въ жизни, мы родились въ Россіи и креще-

ны въ православной вѣрѣ. Имѣемъ-ли мы право разрѣшить сразу наше недоумѣніе, отказываясь отъ своего назначенія? Однако это дѣлаютъ многіе изъ нашей среды". Оставляемъ всторонѣ плохую русскую грамматику автора; мы, нисколько не желая ни глумиться, ни издѣваться надъ выписанными словами, постараемся въ нихъ уловить самую мысль, хотя строго говоря, въ нихъ и недостаетъ точнаго грамматическаго смысла. Что-же, однако, это такое? Неужели самъ авторъ не откажется отъ этихъ словъ, когда глубже въ нихъ вдумается?

Недоумѣніе само по себѣ можетъ быть честнымъ, въ недоумѣніи грѣха еще нѣтъ. Кто недоумѣваетъ, тотъ ео ipso старается найти истину и нерѣдко бываетъ способенъ придти къ ней. Было-бы только недоумѣніе добросовѣстно, и можно сказать; оно непремѣнно доведетъ человѣка до истины, т. е. до того, что авторъ — съ его умѣньемъ выражаться — называетъ: „не отказываться отъ своего назначенія". Но „не отказываться отъ своего назначенія" и въ то же время не умѣть тому привести разумныхъ основаній, дѣлать это — какъ даютъ угадывать выписанныя нами слова — единственно отъ полноты своего недоумѣнія... это болѣе, чѣмъ простодушно. Притомъ, что за „благая цѣль", на которую здѣсь авторъ киваетъ головою? что это за „польза и послѣдовательность" — убѣжденіе, которымъ онъ совѣтуетъ проникнуться? Увы! Прочитавъ весь трактатъ въ подлинникѣ, читатель увидитъ, что цѣль эта у автора выходитъ чисто утилитарная; а „послѣдовательность" въ этомъ дѣлѣ прямо его приводитъ къ тому ученію, столько-же іезуитскаго какъ и полицейскаго характера, которое подрываетъ всѣ основы души человѣческой, которое отъ религіи отнимаетъ ея существеннѣйшее и самостоятельное значеніе въ жизни, обращая всю ее — только въ подпорку для какихъ-то внѣшнихъ, чисто мірскихъ цѣлей — не всегда даже и похвальныхъ. Это ужъ полицейскій взглядъ на религію.

Если нашъ безспорно первый и высочайшій интересъ авторъ низвелъ до такого вульгарнаго пониманія, то выписывать-ли цѣликомъ всѣ остальныя мѣста, въ которыхъ онъ трактуетъ о „гражданскомъ долгѣ", объ „обязанности дворянства" и т. п.? За исходный пунктъ всей своей философіи, всего своего эгоистическаго созерцанія, на которомъ онъ потомъ и зиждетъ весь свой кодексъ, какъ административный, такъ и общегосударственный — авторъ беретъ, сопредѣльное еще съ языческими временами, вѣ-

рованіе. Страшное это вѣрованіе состоитъ въ томъ, что всякій отдѣльный человѣкъ не иначе можетъ быть достаточенъ и доволенъ, какъ въ непремѣнный ущербъ другому,—что благосостояніе однихъ непремѣнно основано на *безсобственности* другихъ, что, словомъ сказать, одни—кровные спартанцы, а другіе—илоты. Читатель ждетъ, по крайней мѣрѣ, въ заключеніе Гамлетовскаго: *одинъ хохочетъ—плачь другой!* Авторъ, видимо, однакожъ самъ пугается такого рѣшительнаго вывода и ставитъ слѣдующую прикрасу: дѣло въ томъ заключается, видите-ли, что этотъ первый—весь лишь олицетворенная отеческая заботливость о послѣднемъ, такъ что этому послѣднему остается лишь радоваться и благодарить своего покровителя; онъ весь обращается въ олицетворенное уваженіе къ своему благодѣтелю, и выходитъ, что нѣтъ на свѣтѣ слаще и вожделѣннѣе тѣхъ узъ, которыя связываютъ ихъ обоихъ, въ самомъ идиллически-патріархальномъ союзѣ...

Но не полно-ли? кому не знакома эта старая погудка? кто еще не зналъ ея, тотъ доказалъ-бы только, что онъ—какъ остроумно выражается авторъ—„не читалъ даже и Сѣверной Пчелы“. Старая погудка эта именно начинается съ „отеческой заботливости“ собственниковъ къ пролетарію, владѣльцевъ къ крестьянину; повѣрь только этой старой погудкѣ на-слово, и подумаешь, что крестьянинъ только, что не пляшетъ въ восторгѣ отъ этихъ патріархальныхъ узъ. Такъ или иначе, но съ этого, по крайней мѣрѣ, дѣйствительно начинается брошюра автора, и варіаціямъ на эту тему отведены въ книгѣ самыя первыя страницы. Къ крайнему изумленію для читателя, вдругъ промелькиваетъ—уже въ самой серединѣ брошюры—еще и новая аргументація въ томъ-же духѣ. Оказывается, что не только крестьянинъ, но даже, напр. и „купецъ“. долженъ раздѣлять всю пріятность тѣхъ-же патріархальныхъ узъ. Оказывается, что уже изъ одного уваженія къ дворянству, купецъ долженъ лишать себя барышей, входить въ убытокъ—и за все это онъ имѣетъ получить отъ дворянъ „хорошее обращеніе и титулъ“—(собственныя слова автора, курсивомъ отмѣченныя въ подлинникѣ),—титулъ, которымъ онъ, авторъ, заранѣе *награждаетъ* купца: *„дворянскій совѣтникъ“*. Если читатель откажется вѣрить, пусть онъ прочтетъ это странное мѣсто въ самомъ подлинникѣ: даже по точному счету страницъ, оно какъ разъ приходится въ серединѣ брошюры.

А чѣмъ обыкновенно оканчивается эта, до слезъ патріар-

хальная идиллія? Увы! въ концѣ концовъ не слишкомъ-то добровольною оказывается со стороны мірянъ такая идиллическая патріархальность,— и вотъ, чтобы поунять идилликовъ, тутъ-то вотъ именно и приходится звать себѣ на помощь „*религіозное*“, какъ выражается г-жа Падейкова, въ повѣсти Щедрина.—„Sancta simplicitas!“ кому интересъ религіозный сознательно дорогъ; кто безъ всякихъ недоумѣній почитаетъ въ немъ свѣтлѣйшее изо всего, что только есть свѣтлаго, желаннаго и миротворнаго въ жизни,—тотъ, думаемъ, воздержится выставлять его какимъ-то страшилищемъ, что̀ уже приноситъ не *миръ мірови*, а какую-то, сказать-бы, полицейскую угрозу. Нѣтъ, въ этомъ послѣднемъ случаѣ, не на высочайшее, подобающее ему мѣсто, возводятъ этотъ нравственный интересъ всего человѣчества, а отводятъ ему самую загрязненную, послѣднюю ступень. Такъ или иначе, послѣднія страницы отданы авторомъ разсужденію о „религіозномъ образованіи народа“; а мы съ того начали.

О, какъ-же мы ошибались! какъ, съ нами вмѣстѣ, ошибались, оказывается, еще и лучшіе умы на западѣ, привѣтствуя небывалое въ мірѣ освобожденіе нашихъ крестьянъ — съ землею! Вѣдь мы, русскіе, какъ и они, иностранцы (наперекоръ увѣреніямъ автора о религіозной будто-бы необходимости полныхъ безсобственниковъ въ государствѣ), дѣйствительно радовались отъ всего сердца тому, что въ лицѣ крестьянъ пол-Россіи пріобрѣло собственность! Мы радовались, что черезъ это самое (при томъ, по нѣкоторымъ задаткамъ народнаго русскаго характера, и по другимъ особеннымъ условіямъ, уже исключительно принадлежащимъ нашей странѣ) отстраняется отъ нашего отечества страшная кара пролетаріата,—по крайней мѣрѣ пресѣчена возможность выработаться пролетаріату въ строго-формулированный принципъ, какъ это случилось на западѣ. Мы думали, что въ глубоко-нравственномъ разрѣшеніи у насъ этого экономическаго вопроса сами иностранцы послышали что-то грезившееся и имъ, но смутно; чего они и себѣ ищутъ, да не находятъ; что̀ восходитъ у нихъ въ какую-то мечтательную утопію, а у насъ оно — сама мудрая дѣйствительность. Истинно, можно радоваться — и только радоваться — этому найденному у насъ примиренію выводовъ экономической науки съ нравственнымъ закономъ,— примиренію, безъ котораго крайнимъ результатамъ политико-экономической науки на западѣ приходится до сихъ поръ колебаться въ страшной дилем-

мѣ: приходится или все разумно-нравственное признать крайнею безсмыслицей, или, напротивъ того, крайнюю безсмыслицу, рѣшительную утопію—признать разумно-нравственнымъ основаніемъ для всего, если не существующаго, то имѣющаго открыть какую-то новую эру существованія...

Авторъ, однакожъ, дѣйствительно ставитъ подъ конецъ въ непремѣнное условіе человѣчеству Гамлетовское: *одинъ хохочетъ—плачь другой;* посмотрите, чѣмъ онъ застращиваетъ; вслушайтесь только, чѣмъ онъ пугаетъ всѣхъ и каждаго, кто только не соглашается съ его личнымъ мнѣніемъ и отвергаетъ необходимость полныхъ безсобственниковъ въ государствѣ! Много не думая, такихъ людей всѣхъ подъ огулъ окрестилъ онъ и якобинцами, и коммунистами, и соціалистами... онъ уже стушевалъ противниковъ своего личнаго мнѣнія—всѣхъ въ одинъ черный цвѣтъ,—приравнялъ за-одно всѣхъ подъ одинъ унизительный уровень! Зачѣмъ такъ дѣлать?

„Нѣкоторые люди, говоритъ онъ, выразили желаніе сдѣлать рабочій классъ независимымъ отъ владѣльческаго, черезъ удѣленіе каждому работнику участка земли, который-бы онъ не былъ вправѣ отчуждать; другими словами, принуждать (?!) его быть сытымъ. Но—принужденная собственность (?!) простоитъ одинъ день и рушится въ слѣдующій. Соціализмъ и коммунизмъ не будутъ никогда религіей народовъ, какъ нѣкоторые мечтаютъ; они могутъ пройти по лицу земли, какъ опустошающее повѣтріе“... Еще обратите вниманіе на устрашенія въ послѣднихъ страницахъ, на строки объ „идеи равенства“, о „безсознательныхъ орудіяхъ разрушенія“ и т. п.

Что-жъ это такое? Какое странное сочетаніе понятій!! какое неожиданное сближеніе доводовъ несомнѣнно-консервативнаго автора разбираемой брошюры, т. е. нашего „россійскаго дворянина“... съ доводами вдругъ кого-же? безумныхъ Поляковъ, которые именно этими-же, слово въ слово, доводами отводили намъ глаза отъ ихъ захватовъ въ Русскомъ краѣ, надъ Русскимъ народомъ!... Нѣтъ, авторъ, конечно, если и прибѣгнулъ къ этимъ несчастнымъ доводамъ, то единственно оттого только, что не довольно вникнулъ въ нихъ; ясное дѣло, онъ ошибся—и ошибка именно произошла отъ того, что онъ всѣхъ противниковъ своего односторонняго мнѣнія, подъ огулъ, затушевалъ въ одинъ черный цвѣтъ!

Неужели и вправду, что-нибудь одно изъ двухъ: или надо

непремѣнно раздѣлять всѣ личныя заблужденія самого автора, какъ-бы они ни были антипатичны, или конецъ всему: попадешь непремѣнно въ якобинцы, коммунисты, соціалисты, утописты, въ эти изверги, желающіе хаоса? Нѣтъ, это неправда. Еслибъ оно въ самомъ дѣлѣ было такъ и не было-бы другаго выхода изъ этой дилеммы — пришлось-бы, ни много ни мало, содрогнуться за все человѣчество. Отвѣчаемъ, по крайнему нашему разумѣнію, за себя лично, за ту „славянофильскую“ газету наконецъ, участвовать въ которой мы имѣемъ честь. И такъ, мы не соціалисты, не коммунисты, и якобинская идея равенства намъ противна, какъ мертвый духъ. Но въ то-же время не менѣе отталкиваютъ насъ и антипатичныя идеи самого автора: что „купецъ“, напримѣръ, долженъ для себя почитать наградою титулъ *дворянскаго совѣтника*, — что полная безсобственность низшихъ братій составляетъ условіе sine qua non для процвѣтанія человѣческихъ обществъ, — что „неотказываньо отъ своего назначенія“ въ дѣлѣ религіи способствуетъ утилитарная цѣль, а безъ того тутъ и впрямь какое-то недоумѣніе. Нѣтъ, съ этимъ мы никакъ и никогда не сойдемся; мы даже о самомъ авторѣ хотимъ думать, что въ дѣйствительной жизни и въ практическихъ своихъ сношеніяхъ съ ближними онъ совсѣмъ другой, чѣмъ въ теоріи; что — не глубокій мыслитель и авторъ — онъ однакожъ въ сущности прекрасной души человѣкъ. Есть мѣсто въ его брошюрѣ, которое въ состояніи тронуть своею искренностью; мы, по крайней мѣрѣ, такъ понимаемъ это мѣсто, хотя, можетъ быть, охотники до ироніи и здѣсь нашли-бы поводъ смѣяться.

„Пусть, говоритъ авторъ на 72-й страницѣ своей брошюры, люди съ воззрѣніями, совершенно противными моимъ, опровергнутъ мои мнѣнія, но пусть они докажутъ тогда и здравость своихъ собственныхъ началъ. Я буду радъ пасть умилостивительной жертвой для учрежденія (?) общихъ и здравыхъ понятій объ нашихъ обязанностяхъ“.

Какимъ образомъ человѣкъ приходитъ къ сознанію святости и нерушимости религіознаго принципа, безъ всякихъ житейскихъ разсчетцевъ утилитарности; какимъ образомъ особливо вѣра нашихъ отцовъ, т. е. наша, какъ они писали въ своихъ незабвенныхъ грамотахъ, „святая, непорочная, православная вѣра“, одна въ цѣломъ мірѣ хранящая въ своемъ лонѣ вселенскій обѣтъ, давно утраченный западнымъ католичествомъ, — какимъ образомъ, говоримъ, она оправдана въ себѣ самой и не оставляетъ мѣста ни для какого

недоумѣнія даже самому пытливому разуму,—объ этомъ, конечно, толковать не въ краткой газетной статьѣ (хотя-бы потому только что уже писателями первыхъ вѣковъ христіанской эры объ этомъ написаны цѣлые томы, мало кѣмъ изъ насъ прочитанные). Разсуждать о томъ, какимъ образомъ наше передовое сословіе—какъ болѣе или менѣе и въ прочихъ странахъ, однакожъ наше по преимуществу—можетъ въ одно и то-же время и не отличаться отъ другихъ сословій никакою особенной прерогативой и въ тоже время стать воистину передовымъ и „благороднымъ“ по преимуществу сословіемъ—задача также не головоломная для всякаго, кто хоть маломальски знакомъ съ Русскою исторіей. Какимъ образомъ, ничуть не раздѣляя мнѣнія о молочной рѣкѣ въ кисельныхъ берегахъ, можно однакожъ для всего человѣчества прозрѣвать періодъ времени лучшій прежняго, т. е. цѣликомъ языческаго или полуязыческаго,—какимъ, наконецъ, образомъ при очевидной невозможности, даже физически, чтобъ весь свѣтъ питался непремѣнно однимъ лишь бѣлымъ хлѣбомъ, ходилъ въ одномъ лишь бархатѣ, разъѣзжалъ-бы лишь въ вѣнскихъ дормезахъ... какимъ образомъ, говоримъ, можно и должно однако желать, чтобы въ цѣломъ свѣтѣ и бѣлый хлѣбъ и черный стали наконецъ пользоватья равнымъ нравственнымъ уваженіемъ; и больше не отворачивались-бы другъ отъ друга ни бархатъ съ серьмягой, ни вѣнскій дормезъ съ телѣгой—разсуждать объ этомъ и развивать все это было-бы не трудно съ самой неумолимой послѣдовательностью и съ строжайшимъ соблюденіемъ всѣхъ правилъ логики. Но по поводу краткой брошюры нашего автора едва-ли даже и умѣстно развивать цѣлую философскую систему? Ограничимся въ этой общей сферѣ вопроса (къ которой однакожъ авторъ непремѣнно притягиваетъ своего возражателя), ограничимся, говоримъ, хотя лишь однимъ краткимъ намекомъ. Мы ничуть и не споримъ съ нимъ, что останутся еще надолго, пусть даже навсегда, два класса людей: одни, напр., будутъ ѣсть бѣлый хлѣбъ, другіе—черный; что одного бѣлаго хлѣба про весь свѣтъ даже не хватитъ. Но потому только, это и невозможно, что собственно говоря: не это вовсе и нужно. А чтобъ, по крайней мѣрѣ, была снята съ чернаго хлѣба печать нравственнаго отверженія, которая по глупости людской несомнѣнно лежитъ на немъ,—вотъ что̀ дѣйствительно необходимо; но это и возможно. Если что̀ невозможно,—знайте: оно не нужно! если что̀ нужно,—знайте: оно возможно.

Какъ мы ни желали избѣгнуть общихъ разсужденій, такъ-сказать, о самомъ принципѣ, — какъ ни убѣждены, что самая краткость грозитъ намъ тутъ, пожалуй, опасностью быть или вовсе не поняту, или превратно истолкованну, — мы однакожъ не уклонились, какъ видитъ читатель, отъ требованія автора доказывать ему, во что-бы то ни стало, здравость сужденій, которыми опровергаются наповалъ его собственныя. Но авторъ самъ весьма облегчаетъ намъ задачу, перенося собственные идеалы, изъ общей области отвлеченнаго мышленія — на почву Русской дѣйствительности: онъ говоритъ о дворянствѣ „Русскомъ", о народѣ „Русскомъ", о вѣрѣ *нашихъ отцовъ*. Значитъ остается только перейти на почву *Русской* исторіи... Пусть-же попробуетъ онъ всѣ свои, отчасти заморскія, тенденціи оправдать на Русской исторіи. А намъ Русская исторія говоритъ слѣдующее:

Изъ края въ край по всей Русской землѣ, черезъ всю ея исторію звучатъ непрерывно эти лозунги нашего духа, эти живыя его откровенія: „*святая* Русь", „наша *непорочная* вѣра", „земля Святорусская". Мы найдемъ во всѣхъ вѣкахъ у насъ мучениковъ за эту вѣру, страдальцевъ по Русской землѣ — изъ всѣхъ званій. Пусть авторъ укажетъ хоть на одинъ примѣръ, когда-бы нашъ народъ позволилъ себѣ свое лучшее и завѣтное обращать въ какую-то подпорку для мірскихъ цѣлей, или — по крайней мѣрѣ — когда такой грѣхъ случился, чтобъ не былъ онъ обличенъ сейчасъ же, какъ подобаетъ, въ самой-же исторіи. Не смотря однакожъ на это; не смотря на то, что нигдѣ и ни въ какомъ случаѣ религія не призывается туда, куда слѣдуетъ, призывать развѣ-развѣ полицейскую власть — укажите опять въ Русской исторіи (минуемъ всѣ возможныя случайности, а прямо переходимъ къ больному мѣсту автора) на какія-нибудь якобинскія выходки со стороны народа, на какіе-нибудь примѣры вражды различныхъ классовъ другъ къ другу, на демократическіе тенденціи въ западномъ, далеко не похвальномъ смыслѣ этого не нашего слова. Ихъ нѣтъ и не было. Разжигается у насъ политической похотью — не народъ.

И князь Пожарскій „утеръ поту за землю Русскую" и *говядарь* Мининъ „утеръ поту за землю Русскую". Это для автора брошюры, повидимому, ново: онъ считаетъ привилегіей одного какого-нибудь класса — службу въ лучшемъ значеніи этого слова. При всей старинѣ, еще новѣе для автора будетъ, вѣроятно, то, что и „князь" Пожарскій и „говядарь" Мининъ одинаково подписывали одни и

тѣ-же акты и грамоты прямо другъ за другомъ,—и притомъ такъ, что ни тотъ, ни другой не видѣли въ томъ причины ни считать себя въ обидѣ, ни считать себя въ наградѣ,—и при томъ опять такъ (это ужъ скорѣе новость не для автора, а для тѣхъ господъ, которыхъ онъ такъ не долюбливаетъ), что ни Мининъ ничуть не скандализировался тѣмъ, что, обращаясь къ Пожарскому, говорилъ ему: „Послушай, князь!"—ни Пожарскій не считалъ себя выше Минина по тому одному, что, обращаясь къ Минину, говорилъ ему просто „Послушай, Козьма!" и Пожарскій конечно ходилъ въ парчѣ, Мининъ въ серьмягѣ; тотъ кушалъ бѣлый хлѣбъ, этотъ—черный; у того была колымага, у этого—телѣга.

Досказывать-ли намъ автору (по заглавію брошюры—защитнику дворянскихъ обязанностей, а на самомъ дѣлѣ—лишь дворянской политической прерогативы) и наше послѣднее слово объ Русской исторіи, о Русскомъ народѣ? Вотъ оно: Русскій народъ, всегда не злостный и чуждый рабскихъ, илотскихъ инстинктовъ, всегда тихій и консервативный (и это до такой степени, что сказать объ немъ противное—сказать клевету на него), въ иныхъ случаяхъ, дѣйствительно, тревожился; а было одно скорбное время, онъ помутился и до дна глубины. Но въ какихъ-же это бывало случаяхъ, и какое это было то единственное, исключительное время? Объяснимся. Чуждый всякаго рабства, и оставаясь вполнѣ свободнымъ въ своихъ собственныхъ, прямо земскихъ отправленіяхъ, Русскій народъ добровольно призналъ надъ собою единую—лишь единую—власть; онъ поставилъ ее внѣ всякой возможности хотя-бы самому великому и превеликому сословію тягаться съ нею или вмѣшиваться въ ея волю; онъ во всѣ времена оказывалъ ей, во что-бы то ни стало, безпредѣльную преданность, довѣріе безграничное. Въ ней-то, по его сознанію, и пресѣчена возможность разъ на всегда для всякой, такъ-называемой, розни сословій; предъ лицомъ того, въ комъ народъ не иное что чтитъ, какъ собственную свою апотеозу, ни передъ какимъ сословіемъ ни одного изъ государствъ въ цѣломъ мірѣ—русскій народъ себя ниже не считаетъ. Послѣдній человѣкъ Русской земли не считалъ себя ни на волосъ ниже самого перваго боярина, дворянина или дворянскаго сына—по своему равному праву высказывать „земскую мысль" своему государю, когда самъ онъ о томъ „всѣхъ людей Московскаго, Россійскаго государства" спрашивалъ или когда та или другая мѣстная надобность доводила до того.—Нѣтъ, никогда не враждовалъ—дѣ-

лается при этомъ понятно само собою — русскій простой народъ никакому дворянству; но онъ вѣчно — на ряду съ тѣмъ — враждовалъ олигархіи и хотя-бы малѣйшему поползновенію къ ней. Если проявлялось хотя-бы малѣйшее поползновеніе къ олигархіи въ нашей исторіи, Русскій народъ въ ту-жъ минуту дѣйствительно затревоживался; это правда, это великая правда. — Случилось такое время, что олигархія чуть не довела государство до „конечной погибели“ — тогда помутился Русскій народъ до дна глубины, всталъ напослѣдокъ, какъ одинъ человѣкъ для великаго своего народнаго дѣла, опять доискался своего желаннаго — и съ миромъ разошелся по домамъ.

Газета „День“, 1865 г.

Юмористъ газеты Вѣсть.

Кипитъ, шумитъ событій лава,
Блаженъ, кто слышитъ Божій зовъ.
А. Цуриковъ.

Мы все думали, что еще не родился тотъ Колумбъ, который-бы намъ, русскимъ, открылъ наконецъ Россію, — а петербуржская газета Вѣсть, гдѣ ни взялась, и даритъ такимъ сюрпризомъ. При чувствѣ утонченнаго „haut ton“, еще и удивительнымъ историческимъ чутьемъ одарена эта представительница... если не high-lif, по крайней мѣрѣ „крупно-землевладѣльческихъ интересовъ“.

Въ чемъ смыслъ Русской исторіи? Органъ „крупныхъ землевладѣльцевъ“ (см. № 40 Вѣсти) открылъ секретъ: „Отечество наше было поставлено въ особыя условія... издавна нашъ государственный строй слагался сообразно съ тѣми особенностями, въ которыя ставила Россію малонаселенность и обширность страны. Издавна главнѣйшею заботой прозорливѣйшихъ государственныхъ людей нашихъ, вникавшихъ въ самую природу вещей, было: сосредоточить рабочія силы вокругъ поземельнаго капитала, устепенить“... (какая мягкость оборота! что за утонченность въ выраженіяхъ!) „устепенить, такъ-сказать, эти силы и такимъ образомъ сдѣлать ихъ наиболѣе производительными, (въ чью пользу, капиталиста?!) Въ этомъ заключалась и одна изъ задачъ помѣстнаго дворянства. Такова наша исторія. Презирать ее, обходить выработанные ею выводы и проч. безумно“.

Что-жъ? великосвѣтская точка зрѣнія на нашу исторію въ

этихъ немногихъ строкахъ, пожалуй и правду сказать, выяснилась въ конецъ.—И едва въ 40-мъ нумерѣ сдѣлано такое блестящее открытіе „о самой природѣ вещей“, какъ уже въ 43-мъ нумерѣ, поэтъ великосвѣтской газеты, г. Цуриковъ, даритъ „народное всесознаніе“ еще полнѣйшимъ откровеніемъ. Онъ пишетъ цѣлую оду Русскимъ демагогамъ. Нѣтъ, *братцы и друзья!* вы просто *демагоги!* и до *нельпѣйшаго вздора дошли по прихоти системъ!* все ищете бытовыхъ началъ *во тьмѣ постыдной заблужденья!...* говоритъ онъ прямо по адресу того направленія, которому служитъ газета День. А самъ онъ, г. Цуриковъ, доискался кореннаго разрѣшенія вопроса,—г-номъ Соловьевымъ или еще самимъ „знатокомъ народнаго быта“, г-мъ Буслаевымъ, даже не затронутаго.

„*Завѣтъ отцевъ, завѣтъ ихъ главный!*“ какъ свои пять пальцевъ знаетъ г-нъ Цуриковъ. Въ чемъ-же, г-нъ Цуриковъ, „завѣтъ отцевъ, завѣтъ ихъ главный“? Что̀ намъ такое, по вашему мнѣнію, завѣщала мудрость нашихъ предковъ?

„Намъ мудрость предковъ завѣщала,

отвѣчаетъ онъ, вотъ что̀:

„Изгнать, отвергнуть навсегда
Слѣпаго равенства начало,
Какъ гибель правды и суда!“

Но ...не поэтическая-ли это только вольность? будто ужъ и въ самомъ дѣлѣ, именно слѣпаго равенства начало, какъ гибель правды и суда, завѣщала намъ мудрость предковъ *изгнать, отвергнуть, навсегда?* Юмористично что-то... не шутитъ-ли поэтъ? Нѣтъ, вникните только въ дѣло,—отвѣчаетъ онъ:

„Понявъ народнымъ всесознаньемъ,
Что равенство есть бытъ татаръ,
Москва—

воля ваша однако, дальнѣйшую путаницу понятій наврядъ-ли даже поняла и москва-матушка, при всемъ ея „*народномъ всесознаньи*“

—премудрымъ сочетаньемъ
Гражданъ, священства и бояръ,
Низвергла иго супостата“.

Читатель! вы помните, безъ сомнѣнія, въ извѣстномъ романѣ г. Писемскаго „Тысяча Душъ“ тотъ знаменитый пассажъ, выше кото-

раго по его комизму ничего не представляетъ цѣлый-же этотъ романъ. Предводитель дворянства произноситъ спичъ за обѣдомъ. „Господа! обратился онъ къ сотрапезникамъ, при сей вѣрной оказіи я не найду ничего лучшаго, какъ еще разъ, вновь и вновь, повторить этотъ, такъ всѣмъ намъ извѣстный, текстъ: разумѣйте языцы и покоряйтеся, яко съ нами Богъ". Г-нъ Писемскій, въ этомъ случаѣ, оказывается, именно только предвосхитилъ идею возникающаго юмористическаго дарованія газеты Вѣсть.

Какъ вы думаете, читатель, чѣмъ на самомъ дѣлѣ заключаетъ шалунъ — финалъ своихъ провѣщаній? Выписываемъ съ буквальною точностью:

„Въ крестѣ Господнемъ миръ и слава,
Побѣда правды и любовь...
Кипитъ, шумитъ событій лава,—
Блаженъ, кто слышитъ Божій зовъ".

Г-нъ Цуриковъ съ обоими редакторами газеты Вѣсть, что̀ и говоритъ, прямо изъ разряда „блаженныхъ!" И зовъ, и любовь, и славу, и лаву они... всё слышутъ!

Газета День, 1864 г.

Газетѣ Вѣсть.

Названія, взятыя на прокатъ у иностранцевъ для выраженія явленій русской жизни, оказываются никуда непригодными. Такіе термины западной науки и жизни, какъ „аристократія", „демократія", „демократическія тенденціи" — ничего у насъ не выражаютъ. Но эти термины не тѣмъ однимъ не хороши, что ничего собою не выражаютъ; они дурны тѣмъ, что привнося съ собой чуждыя нашему быту понятія — еще путаютъ у насъ и сбиваютъ съ толку людей, даже весьма почтенныхъ. Разные политическіе аферисты, вѣроятно, поэтому и любятъ прибѣгать къ этимъ самымъ терминамъ. Газета „Вѣсть" орудуетъ ими безподобно; все что̀ въ нашей прошлой и современной исторіи не подходитъ сколько-нибудь подъ ея личные вкусы и наклонности — она сейчасъ же обзываетъ „демократическою тенденціей".

Русскому народному чувству злобныя тенденціи греческаго *демоса* или латинскаго *плебса* совершенно чужды. Никто изъ рус-

скихъ людей, въ комъ только не угасло живое чувство своей народности, сочувствовать ни „демократическимъ“, ни „аристократическимъ тенденціямъ“ (въ смыслѣ политическаго преобладанія черни или знати), конечно, не можетъ. У насъ не было, не представлялось даже надобности быть, ни сословной зависти, ни сословной похотливости къ власти; потому что нѣтъ и не было исключительныхъ привилегій въ этомъ смыслѣ для однихъ и исключительнаго гражданскаго ничтожества для другихъ. Если и бывали случаи, въ нашей исторіи, олигархическихъ попытокъ въ высшихъ сословіяхъ, то, во-первыхъ, онѣ больше происходили подъ вліяніемъ польскимъ или западно-европейскимъ, а во-вторыхъ, тотчасъ-же и разбивались о русскую дѣйствительность. А политическихъ бунтовъ изъ-за желанія овладѣть властью, со стороны низшихъ классовъ народа, у насъ *никогда* не бывало. Сама власть никогда не представлялась и не представляется русскому народному сознанію регаліей доблестнаго завоевателя, который высится и блещетъ своею сѣкирой надъ побѣжденнымъ и приниженнымъ народомъ (какъ Франкъ надъ Галломъ,— что и подало поводъ первому Наполеону опредѣлить французскую революцію мѣткимъ афоризмомъ: Галлы свергли иго Франковъ). Власть представляется у насъ тяжкимъ бременемъ для того, кого самъ народъ призвалъ воплощать въ себѣ эту власть. Всегда самая служба у насъ представлялась и представляется не прерогативой, а тяжестью, которую всякое сословіе отбываетъ государству по-своему. Всякій *властникъ* у насъ не потому представлялся великъ и славенъ и достоинъ всякаго послушанія, что вооруженъ тою именно сѣкирой, которою покорилъ себѣ народъ и надъ нимъ возвеличился; а потому, что самъ русскій народъ созналъ необходимость и власти и меча на землѣ, „пока человѣкъ находится въ грѣховной телѣсной немощи“. И русскій народъ въ этомъ случаѣ руководится даже и до сего дня не слѣпымъ историческимъ инстинктомъ, а яснымъ и отчетливымъ разумѣніемъ. Слова, поставленныя нами въ скобкахъ, были слышаны нами лично отъ мужика-старообрядца. Народъ добровольно, самъ, возвеличилъ эту власть и разъ навсегда крѣпко оградилъ ее отъ чьего-бы то ни было посягательства. Точно также и самыя сословія не потому возникли у насъ на Руси, что одни возвысились въ ущербъ другимъ, т. е. завоеватели надъ покоренными и настолько одни возвысились насколько другіе принизились,— а потому, что многообразныя, естественныя, бытовыя условія, занятія и образъ жизни, сами по себѣ, уже груп-

пируютъ одинаково-свободныхъ людей въ разные классы,— классы поминутно обновляющіеся и такъ-сказать перемежающіеся въ своихъ членахъ, одинаково для всѣхъ открытые и изъ которыхъ ни одинъ передъ другимъ не опозоренъ и всѣ вмѣстѣ составляютъ одинъ, свободный и православный, русскій народъ.

Таково русское народное воззрѣніе (крѣпостное право у насъ утвердилось въ имперскій періодъ, уже послѣ реформы Петра)...

Всѣ эти несомнѣнныя истины русской исторіи, конечно, не допускаютъ мысли о возможности у насъ какихъ-бы то ни было феодальныхъ притязаній и аристократическихъ тенденцій, а только феодальныя притязанія и вызываютъ вездѣ въ отпоръ себѣ злобу простонародья и черни; только существованіе „аристократическихъ тенденцій“ и порождаетъ неизбѣжно „демократическія тенденціи“: въ этомъ смыслѣ и обусловливаетъ самое появленіе демократическихъ партій. Такія рѣзкія, далеко еще не всѣ перечисленныя, особенности русскаго народа,— или, что то-же самое, русской исторіи,—конечно разъ навсегда упраздняютъ и дѣлаютъ ничтожными всѣ попытки создать что-нибудь и на русской почвѣ въ родѣ политическихъ образцовъ западнаго, германо-латинскаго міра, съ постоянною его внутреннею двойственностью и противорѣчіемъ, съ задатками борьбы и розни во всемъ общественномъ строѣ: съ натискомъ съ одной и съ отпоромъ съ другой стороны. По счастью, у насъ не было, какъ на Западѣ, феодальныхъ бароновъ, которые искали-бы удержать своихъ вассаловъ въ вѣчномъ ничтожествѣ и возвышались-бы надъ ними какъ участіемъ въ королевской власти, такъ и эксплоатаціей народа,— не было поэтому и *виленей*, вассаловъ всѣхъ родовъ и наименованій, которые-бы завистливо взирали на привилегіи высшихъ и стремились-бы ихъ исхитить, вынудить ихъ и для себя, въ равной со всѣми степени. (О крѣпостномъ правѣ, повторяемъ, говорить нечего: если оно и напоминало отношенія феодаловъ и виленей, то именно потому, что составляетъ продуктъ 18-го вѣка; ранѣе его не было и въ настоящее время оно уже отмѣнено). Гдѣ не было „аристократіи“,— гдѣ не было, говоримъ, аристократіи въ западномъ, тѣсномъ смыслѣ этого слова,— тамъ не могло быть и „демократіи“. Если-же гдѣ удастся создать „аристократію“, тамъ необходимо явится и „демократія“. Это какъ день ясно.

Надобно, чтобъ нашлись у насъ на Руси особенные охотники возжигать соціальныя страсти; надобно, чтобъ у насъ разви-

лась особенная страсть выситься надъ всѣмъ народомъ; надобно, говоримъ, искусственное возбужденіе чуждыхъ здоровой русской натурѣ аристократическихъ инстинктовъ и олигархическихъ стремленій—для того, чтобъ и у насъ могли завестись стремленія противоположныя, всегда возстающія на встрѣчу и въ упоръ стремленіямъ олигархическимъ; чтобъ и у насъ могли проявиться въ жизни инстинкты озлобленныхъ народныхъ массъ, дѣйствительно вредные и пагубные для человѣческихъ обществъ: но въ той-же мѣрѣ вредные и въ той-же степени пагубные, какъ и тѣ первые.

Такимъ образомъ всякій являющійся у насъ на Руси феодаломъ — повиненъ въ извѣстной доли демократическаго озлобленія, имъ необходимо возбуждаемаго; всякій проповѣдникъ на Руси аристократизма, какъ политическаго начала, есть въ то-же время и по тому самому пропагандистъ демократизма; всякій россійскій олигархъ in spe порождаетъ въ соотвѣтствіе себѣ демагога.

Есть въ Петербургѣ газета, которая, повидимому, изъ силъ бьется, чтобы создать въ обществѣ демократическіе и даже демагогическіе инстинкты. Можно было-бы даже подумать, что она и издается именно съ этою цѣлью тайнымъ обществомъ демократовъ; по крайней мѣрѣ отчаянные демократы должны-бы поставить ей и партіи, ее издающей, памятникъ за оказанныя ею услуги демократизму. Эта газета — „Вѣсть“. Не она-ли, величая себя органомъ крупныхъ землевладѣльцевъ, стремится обособить крупное землевладѣніе политическою прерогативой и возвести его въ привилегированную политическую силу? Не она-ли постоянно и неутомимо проповѣдуетъ объ абсолютной неравноправности всѣхъ лицъ гражданскаго общества, объ абсолютной привилегированности однихъ и объ „илотствѣ“ другихъ? Не ей-ли представляется власть — не какъ неизбѣжная роковая необходимость немощнаго человѣчества, а какъ вѣнецъ тріумфаторскихъ доблестей, его-же должно ревниво оберегать отъ прикосновенія илотовъ и отблескъ котораго непремѣнно однакожъ долженъ „отсіяваться“ на привилегированныхъ избранникахъ? Не она-ли, эта газета „Вѣсть“ или ея партія, постоянно твердитъ о какихъ-то „демократическихъ тенденціяхъ“ и своими собственными аристократическими тенденціями вызываетъ, и пожалуй и вызоветъ на свѣтъ божій, и въ Россіи тенденціи ультра-демократическія? Не она-ли постоянно выставляетъ нашъ разумный, добрый, мирный народъ какимъ-то пугаломъ общественнаго спокойствія, напоминая ни къ селу ни къ

городу и Стеньку Разина и Пугачевщину? Ей не можетъ не быть извѣстно, что самъ русскій народъ въ своей исторіи заклеймилъ такія явленія мѣткими прозвищами — „воровской смутой“, „злобой „шпыней“, „буйствомъ сволочи“ и т. д., и что отчасти именно въ зачаткахъ, а далѣе уже и въ прямомъ утвержденіи у насъ крѣпостнаго права и надо искать разгадки такихъ явленій. И не сама-ли „Вѣсть“ и ея партія — хотя-бы и неумышленно — ищутъ вызвать подобныя же явленія, вознося интересъ аристократическаго начала и крупной собственности превыше интереса національности, политическаго интереса государства и обезпеченія участи простаго народа — напр. въ нашихъ западныхъ губерніяхъ, Остзейскомъ краѣ и въ Царствѣ Польскомъ? Если-бы газета „Вѣсть“ съ такою-же рьяностью преслѣдовала всякій призракъ на Руси стремленій *олигархическихъ*, мы-бы еще повѣрили, что она точно желаетъ уберечь Русскую землю отъ развитія въ ней злыхъ демагогическихъ вожделѣній. Но рьяность „Вѣсти“ направлена только на такія начала равноправности и равноотвѣтственности передъ закономъ (не исключающія вовсе естественнаго разнообразія бытовыхъ условій), на такія начала, выработанныя всею нашей исторіей, всѣмъ нашимъ сознаніемъ и въ этомъ смыслѣ по преимуществу консервативныя, которыхъ малѣйшее нарушеніе въ пользу аристократическаго-ли или крупновладѣльческаго интереса — можетъ возродить тѣ именно страсти, которыя будто-бы такъ ненавистны этой газетѣ. Какъ же послѣ этого и не сказать, что партія, издающая эту газету, состоитъ дѣйствительно изъ отъявленныхъ демагоговъ??!...

Газета „Москва“, 1867 г.

Новая общественная организація и старый казенный строй.

Письма къ Публикѣ.

(I — XVIII. — *Московскія Вѣдомости* 1873 — 1874 гг.)

I.

Отсутствіе всякой администраціи, общая шаткость, повальная разнузданность, — вотъ что̀ поражаетъ въ селахъ.

У насъ любятъ задавать вопросъ: „удалось или не удалось крестьянское самоуправленіе?“

Это вопросъ праздный.

Вопросъ долженъ быть такъ поставленъ, какъ онъ поставленъ самою жизнью, — и ужъ одна правильная его постановка даетъ надлежащій отвѣтъ:

„Удалось или не удалось государству, не создавшему никакихъ новыхъ силъ, свойственныхъ новому порядку, и напротивъ отмѣнившему первоначальное учрежденіе мировыхъ посредниковъ, доставить милліонамъ народа судъ и правду? Удалось-ли ему обезпечить изъ края въ край надлежащій административный порядокъ?“

Не удалось и никогда не могло удасться; это ясно какъ день.

Кто близко знакомъ съ практикой такъ-называемаго крестьянскаго самоуправленія, тотъ удивляется тому, конечно, какимъ образомъ можно было обременить народъ новою тяжелою повинностью, — повинностью служебною, по такимъ дѣламъ, изъ коихъ развѣ-развѣ одна десятая касается собственно-крестьянскаго обихода.

Кто знаетъ на дѣлѣ, что̀ такое наше волостное правленіе, тотъ не издѣвается, конечно, ни надъ безграмотностью его формулъ, ни надъ дикостью нѣкоторыхъ его рѣшеній: все такое является прорицаніемъ не народной мудрости, а пьяныхъ писарей.

Но тотъ истинно дивится тому, какъ много навьючено на эту добрую лошадку и какъ, при своемъ тощемъ содержаніи, она еще усиливается тянуть тяжелый возъ въ гору.

Что́ найдется въ любомъ волостномъ правленіи? Множество бумагъ изъ стана, изъ уѣзднаго полицейскаго управленія, наконецъ приказы и наказы самой губернской власти. Масса дѣлъ объ отпускныхъ нижнихъ чинахъ; безконечная казуистика по дѣламъ рекрутскимъ; экстренные приказы о поимкѣ бѣжавшаго изъ острога арестанта; объ исправленіи спуска къ рѣчкѣ, которымъ ѣдетъ важное лицо; распоряженія относительно мѣръ противъ чумы рогатаго скота и улучшенія сельскаго коннозаводства.

Среди бумагъ такого рода тутъ встрѣтится еще и цѣлая длинная переписка по какому-нибудь экстренному дѣлу. Жалуется, напримѣръ, мѣстный священникъ на мѣстнаго сельскаго старосту: онъ де, староста, не задержалъ ночнаго вора, ломившагося къ нему въ усадьбу, отстоящую въ двухъ-трехъ шагахъ отъ селенія. А староста показываетъ, что его вѣдомство, по смыслу Положенія 19-го февраля 1861 года, не простирается на постороннія земли, буквально ограничиваясь *чертою его сèленія*. А начальникъ уѣзднаго полицейскаго управленія, тѣмъ не менѣе, требуетъ формально: старосту предать суду за бездѣйствіе власти.

Прибавить надо, что въ самихъ крестьянскихъ дѣлахъ все сводится главнымъ образомъ на одно взысканіе недоимокъ, прежде всего казенныхъ, а потомъ и частныхъ. Уже только напослѣдокъ, и за вычетомъ девяти десятыхъ, найдутся наконецъ чисто-крестьянскія дѣла, несомнѣнно изъ ихъ обихода и исключительно ихъ собственнаго интереса. Но и по этимъ дѣламъ крестьянскому самоуправленію въ большей части случаевъ не остается ничего дѣлать... Почему? Потому что хотя законъ и предоставилъ крестьянину на разные случаи жизни разныя мѣры; однакожъ не указалъ буздѣлицы: какими еще способами приводить иногда въ исполненіе эти предписанныя мѣры.

Не мудрено поэтому, что всякій вновь назначенный сельскій староста проситъ какъ милости уволить его отъ должности. Изъ односельцевъ, однакожъ, никто не льстится украсить свою грудь должностнымъ знакомъ; и вотъ старостство, подобно прочимъ должностямъ: и добросовѣстныхъ и судей, отбывается какъ тяжелая повинность по очереди.

Про сельскій сходъ можно сказать то-же самое, что́ и про древ-

ній Новгородъ съ его вѣчевымъ порядкомъ. Міръ только и собирается на сходку по такимъ дѣламъ, по которымъ мірское рѣшеніе заранѣе предполагается единодушнымъ, такъ что, безапелляціонное по существу, оно само собой и приводится въ исполненіе.

Напротивъ того, поднимите въ этой многоголовой толпѣ вопросъ, касающійся розно интересовъ каждаго отдѣльнаго лица, и затѣмъ, каково-бы ни было его рѣшеніе: откуда взять исполнительную власть для приведенія его въ дѣйствіе?

Старостѣ, дѣйствительно, предоставлено штрафовать своихъ односельцевъ; но при этомъ не указано, какимъ образомъ въ этихъ случаяхъ онъ долженъ дѣйствовать. Онъ, правда, облеченъ властью удалять буяновъ со сходки; но не указано при этомъ, какою силой ему совершить такое удаленіе; наконецъ ему не указано даже того, какою силой долженъ онъ докликиваться мірянъ на сходку, если имъ не угодно на нее пожаловать.

Что-жъ значитъ на дѣлѣ это безпомощное, единичное лицо старосты во многолюдномъ селеніи, гдѣ если и существуетъ какая-либо имущественная и личная безопасность, то на уговорѣ мира сосѣда съ сосѣдомъ.

Напротивъ того, малѣйшая враждебность — и человѣкъ не застрахованъ ни въ своемъ добрѣ, ни даже въ жизни! Онъ весь отданъ на произволъ окружающей злобѣ, подвергается всевозможнымъ нападкамъ, отъ которыхъ со стороны государства нельзя и ждать охраны; уберечь отъ которыхъ при современныхъ учрежденіяхъ или, правильнѣе, при ихъ полномъ отсутствіи, оно само признаётъ себя безсильнымъ.

Волостные старшины не многимъ отличаются отъ сельскихъ старостъ по своему авторитету. Про нихъ еще больше можно сказать: это такая исполнительная власть, у которой не имѣется никакой силы для исполненія.

II.

Лучшіе люди серіозно спрашиваютъ себя: можетъ-ли это длиться? Къ чему это ведетъ?...

Но „тѣ“ лучшіе люди—которые хлопотали въ свое время объ освобожденіи крестьянъ и надѣленіи ихъ землею—сами теперь въ великомъ недоумѣніи.

Они не могутъ отрицать зло; но спросите ихъ совѣта для его исправленія,—и кромѣ благодушныхъ общихъ фразъ, вы

ничего отъ нихъ не услышите. Они говорятъ: „отъ народа, растлѣннаго вѣковымъ рабствомъ, было-бы и несправедливо требовать чего-нибудь лучшаго на первое время. Слѣдуетъ просвѣщать молодое поколѣніе; слѣдуетъ вездѣ заводить школы; слѣдуетъ наконецъ дѣйствовать на улучшеніе сельскаго духовенства, и вотъ, въ будущемъ, черезъ два-три поколѣнія отсюда, народъ исправится“.

Нѣтъ, это не такъ. Нельзя откладывать на цѣлыя десятилѣтія осуществленіе того, въ чемъ потребность живо чувствуется каждую минуту. И если „міръ“ кричитъ, чтобъ его защитили отъ воровъ и отъ безправія, то его нельзя тщетно отсылать въ сельскую школу или къ приходскому священнику.

Дѣло заключается въ томъ, что единственнымъ органическимъ законоположеніемъ для крестьянъ, вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости, остается до сихъ поръ все-таки Положеніе 19-го февраля 1861 года. А между тѣмъ отъ него отъ самаго остаются въ настоящее время лишь разорванные лоскутки.

Нельзя забывать, что въ первое время крестьянской реформы, объ руку съ разными органами крестьянскаго самоуправленія, дѣйствовалъ еще въ полной силѣ и мѣстный мировой институтъ въ его истинномъ видѣ; а нынче этотъ послѣдній „весь вышелъ“. Вотъ чего не должно упускать изъ виду, говоря о Положеніи 19-го февраля 1861 г.; безъ того пришлось-бы утверждать, что въ этомъ краеугольномъ законодательствѣ на многомилліонное крестьянство съ самаго начала уже существовалъ огромный пробѣлъ и вопіющій просмотръ.

Дѣло заключается именно въ томъ, что этотъ пробѣлъ и этотъ просмотръ, которые въ настоящее время поражаютъ всю Россію, значительно восполнялись въ первое время крестьянской реформы, въ шестидесятыхъ годахъ,— именно тѣмъ значеніемъ, тѣмъ несомнѣннымъ авторитетомъ, которые были сообщены первоначальнымъ мировымъ учрежденіямъ: были тогда и мировые посредники и сельскіе мировые участки. Если крестьянское самоуправленіе въ настоящее время является безсильнѣе всякаго безсилія, то въ первое время было не такъ.

Мѣстныя мировыя учрежденія и авторитетъ первоначальныхъ мировыхъ посредниковъ давали смыслъ и силу крестьянскому самоуправленію, какъ оно было первоначально установлено. Мѣстная интеллигенція, облеченная не въ шуточное значеніе политической силы; среда, самостоятельно возвышавшаяся не только надъ уровнемъ

мужицкаго кумовства, но еще и поверхъ разныхъ уѣздныхъ и губернскихъ вліяній, — составляла силу благотворную, ничѣмъ не замѣнимую.

И сельскій староста, и волостной старшина, и вообще сельскій сходъ только тогда и могутъ имѣть какое-нибудь положительное значеніе, когда объ руку съ ними стоитъ мѣстное учрежденіе въ родѣ мироваго, какъ оно было первоначально установлено. Первоначальныя мировыя учрежденія ежеминутно выказывали свое нешуточное значеніе тамъ, гдѣ сельскій староста или старшина считали себя безпомощными, и представляли, повторяемъ, несомнѣнную политическую силу въ мѣстной жизни.

Весьма понятно, что центральная губернская власть не можетъ взять на себя будничное и повсемѣстное отправленіе тѣхъ обязанностей, которыми гарантируется миръ и спокойствіе каждой отдѣльной усадьбы на отдаленныхъ точкахъ всѣхъ въ губерніи уѣздовъ. Только мѣстные люди, связанные общимъ интересомъ съ родною мѣстностью, бывъ на то уполномочены самимъ закономъ, могутъ явиться на всѣхъ точкахъ недремлющими охранителями закона, и только на этомъ условіи всякая мѣстность могла-бы наконецъ признать себя управляемою „честно и грозно“, а не брошенною на произволъ судьбы.

Мировыя учрежденія, въ томъ видѣ какъ они существовали въ первое время, сослужили несомнѣнную службу цѣлой Россіи. Можно было надѣяться, что они въ будущемъ разовьются на пользу цѣлаго государства, въ духѣ истины и добра... Но ихъ подсѣкли.

III.

Не въ томъ бѣда, что тотъ или другой законъ несовершенъ, что тѣ или другія мѣропріятія мало практичны; бѣда въ томъ, что вся совокупность учрежденій, при ихъ нынѣшнемъ строѣ, гнететъ всею тяжестью работящее, зажиточное, достойное населеніе, и, напротивъ того, льготитъ и ставитъ въ какое-то привилегированное положеніе всякаго вора и тунеядца.

Бѣда въ томъ, что всякій работящій, зажиточный, достойный селянинъ, неся всѣ тяжести государства, не пользуется отъ него ни малѣйшею гарантіей; напротивъ того, негодяй и тунеядецъ ликуетъ, живетъ на чужой счетъ и еще громко хвалится тѣмъ, что вотъ работящій человѣкъ то и дѣло теряетъ свое и за

все про все отвѣчаетъ; а онъ, кабацкая голь, ничего не теряетъ и не отвѣчаетъ ни за что.

Введеніе по деревнямъ мировыхъ судей не только не успокоило сельское населеніе сознаніемъ, что вотъ, наконецъ, появилась правильно-организованная власть и болѣе законъ не дремлетъ; напротивъ того, оказало совершенно противоположное дѣйствіе.

Пока не было никакой власти — ея ждали; естественно было надѣяться, что рано или поздно, но мѣстная сельская жизнь получитъ ее наконецъ. Напротивъ того, со введеніемъ мировыхъ судей, для всѣхъ стало ясно, что сельское благоустройство сочтено окончательно устроеннымъ, и болѣе въ этомъ отношеніи ждать нечего. А между тѣмъ, съ первыхъ-же дней практики мировыхъ судей, народъ понялъ, что это такое правосудіе, которому ни одно живое дѣло сельской казуистики неподсудно, и такого рода карательная власть, которая проступки и преступленія оставляетъ безнаказанными.

Про мировой судъ и про мировыхъ судей вообще должно сказать: въ столицахъ они еще имѣютъ какое-нибудь значеніе, въ губернскомъ городѣ болѣе чѣмъ въ уѣздномъ, а въ селахъ не имѣютъ никакого значенія.

Понятно, во-первыхъ, что для двухсотверстнаго разстоянія нашихъ уѣздовъ, двухъ-трехъ мировыхъ судей совершенно недостаточно. Понятно, во-вторыхъ, что въ сельскомъ быту и казуистикѣ, вращающейся среди мѣстнаго простонародья, судья въ то-же время необходимо долженъ быть еще въ извѣстной степени администраторомъ. Отдѣленіе власти судебной отъ административной не предполагаетъ-же во всякомъ случаѣ совершеннаго упраздненія административной власти: въ селахъ при замѣненіи мировыхъ посредниковъ мировыми судьями именно и произошло это самое. Наконецъ, втретьихъ, весьма понятно, что масса дѣлъ, возникающихъ въ сельской жизни, именно такова, что по преимуществу требуетъ суда живаго, личнаго усмотрѣнія всѣхъ обстоятельствъ живьемъ на мѣстѣ въ самый моментъ возникшаго или возникающаго правонарушенія, а не тогда, когда за далью верстъ и времени всѣ его слѣды скрыты.

Собственно говоря, есть много темныхъ дѣлъ, которыя въ настоящее время только потому въ сельской жизни и возникаютъ, что всѣ увѣрены въ полномъ отсутствіи какой-бы то ни было сельской администраціи. Существуй только она, ихъ-бы и не начиналось.

Кромѣ сплошнаго крестьянства, въ селахъ живутъ еще церковные причты и промышленные люди, усадьбы коихъ гнѣздятся тамъ и сямъ въ перемежку съ крестьянскими; отпускные нижніе военные чины; пришлые и случайно заѣзжіе люди то въ качествѣ батраковъ, то въ качествѣ арендаторовъ или другаго рода антрепренеровъ, безъ опредѣленной усадебной осѣдлости; наконецъ, собственно такъ-называемые помѣщики, усадьбы которыхъ отъ одного уѣзднаго города до другаго тянутся непрерывными оазисами среди надѣловъ крестьянства, этого сплошнаго сельскаго населенія.

Случаевъ искать защиты отъ государства всѣмъ этимъ разнообразнымъ сельскимъ жителямъ въ ихъ взаимныхъ столкновеніяхъ весьма довольно, какъ впрочемъ у людей вездѣ на свѣтѣ.

Прослѣдимъ однако, чѣмъ разрѣшается для сельскаго жителя такое исканіе защиты.

Прежде всего требуется оторваться отъ своихъ занятій, ѣхать изъ дому верстъ за сорокъ или за пятьдесятъ къ мировому судьѣ, съ вѣчнымъ рискомъ не застать его дома. Далѣе, заставъ его дома или передавъ свое прошеніе его письмоводителю, приходится ждать около мѣсяца того только, чтобы вновь повторить то-же самое путешествіе уже по оффиціальному вызову, съ оштрафованіемъ въ случаѣ неявки.

Въ заключеніе, какое-же рѣшеніе выслушаетъ истецъ въ большей части случаевъ? Оно почти всегда одно и то-же, и всякому наперед извѣстно.

Мировой судья, связанный формальнымъ судопроизводствомъ, а главное состоящій именно только судьею, а не администраторомъ; обязанный не пресѣкать преступленія и не то что не допускать нарушенія правъ и благочинія, а лишь карать тѣ проступки, которые подходятъ подъ точныя рубрики предоставленной ему юрисдикціи,—мировой судья, даже при всей осязательности вины виновнаго, или признаетъ его дѣяніе себѣ неподсуднымъ, или недостаточно ухватимымъ.

Таково будетъ его оффиціальное рѣшеніе, высказанное имъ просителю вслухъ; а дружелюбно и келейно онъ тутъ-же подтвердитъ просителю, что еще и не такія дѣла накапливаются у него ежедневно и ежедневно оканчиваются ничѣмъ. Въ вящее утѣшеніе просителю, онъ нерѣдко и самъ будетъ расточаться въ увѣреніяхъ, что сплошная безнаказанность и повальная разнузданность царятъ кругомъ; что и самъ онъ, мировой судья, живетъ у себя

въ имѣніи какъ въ осадномъ положеніи; что у него у самого, кирпичъ за кирпичемъ, заборъ разбираютъ по ночамъ, крадутъ пчелъ и улья и проч.

Допустимъ, однакожъ, что истецъ явился къ мировому судьѣ во всеоружіи уликъ и формальныхъ доказательствъ. Вотъ отвѣтчикъ уличенъ окончательно,—но въ концѣ концовъ, какая въ томъ радость истцу? Никакой ровно.

Карательная власть мироваго судьи ограничивается или оштрафованіемъ виновнаго, или такъ-называемымъ лишеніемъ его свободы. Мировой судья можетъ еще приговорить къ возмѣщенію причиненныхъ убытковъ. Но чѣмъ все это разрѣшается на практикѣ?

О возмѣщеніи убытковъ, а также объ оштрафованіи не можетъ быть и рѣчи. Въ отвѣтъ судьѣ, налагающему штрафъ или присуждающему къ возмѣщенію убытковъ, негодяй тутъ-же торжественно объявляетъ, что у него за душой нѣтъ ни полушки; что мировому судьѣ вольно писать, что̀ угодно,—а самъ онъ гроша мѣднаго не выплатитъ. И въ концѣ концовъ, такому-то тунеядцу, который кралъ, воровалъ и всячески безпутствовалъ именно затѣмъ и для того, чтобы быть сытымъ или даже, чтобы себѣ доставить чувственное удовольствіе, не мозоля рукъ работою,—такому-то тунеядцу назначаютъ въ видѣ страшной кары... что-же? Даровыя щи и совершенную праздность въ острогѣ, на недѣлю, на двѣ,—и чѣмъ дальше, тѣмъ для самого тунеядца лучше.

Наказаніе того штрафомъ, у кого за душой нѣтъ ни полушки—болѣе чѣмъ забавно, и самъ осужденный первый понимаетъ это какъ нельзя лучше. А наказаніе даровыми щами и совершенною праздностью того, кто именно лишь одного и добивался, чтобы быть сыту, не мозоля рукъ работою,—по меньшей мѣрѣ нецѣлесообразно.

Вотъ потому-то гулящій народъ и хвалится по деревнямъ, что никакого онъ суда больше не боится и что никакого суда больше нѣтъ, и что если есть еще люди, которые живутъ работою,—такъ они дураки.

IV.

Наказаніе сельскихъ негодяевъ штрафомъ, котораго никто не платитъ, и арестомъ, который доставляетъ даровыя щи и праздность,—это чистѣйшая безнаказанность и она въ изумительной прогрессіи плодитъ тунеядцевъ.

Гуманнымъ этого, конечно, назвать нельзя.

Иное дѣло тѣ преступленія, которыя совершаются въ припадкахъ страсти и составляютъ болѣзненныя проявленія иступленной воли. Но никто не станетъ отрицать, что масса преступленій и проступковъ въ простонародьѣ совершается именно въ тѣхъ видахъ, чтобы доставить себѣ нужное или желаемое безъ труда, избывъ работы. Гуманнѣйшій и самый логическій выводъ отсюда одинъ: кто не желаетъ трудиться вольнонаемнымъ трудомъ для доставленія себѣ куска хлѣба или удовольствій, а предпочитаетъ ихъ доставлять себѣ преступленіями и проступками, тому наказаніе: насильный трудъ и физическая боль.

Справедливо, что тѣлесное наказаніе въ томъ видѣ, какъ оно практиковалось во время крѣпостнаго права, составляло всероссійскую язву: оно растлѣвало и нравственно портило самихъ наказующихъ. Въ этомъ смыслѣ, отмѣна тѣлеснаго наказанія и была такъ всѣми и всѣмъ желательна. Но иное дѣло обычай похотливыхъ крѣпостниковъ, и иное дѣло: казнь, кара, уголовное наказаніе, которыя уже по самому лексическому значенію ничуть не означаютъ: пріискиванье способовъ для доставленія виновному пріятныхъ ощущеній.

Вообще должно замѣтить, что при гостиннодворской цивилизаціи и при тупости дѣйствительнаго чувства человѣческаго достоинства,—ни одно понятіе неспособно такъ запутать общественное сознаніе, какъ пошло понимаемая *гуманность*.

Въ Англіи и вольнонаемный трудъ и гуманность завелись ранѣе, чѣмъ пошли у насъ на всѣхъ перекресткахъ „либералы“. Тѣхъ тунеядцевъ, которые предпочитаютъ кусокъ хлѣба и чувственныя удовольствія не заработывать трудомъ, а добывать проступками и преступленіями,—въ Англіи наказываютъ именно физическою болью и насильнымъ трудомъ. Ихъ заставляютъ работать... хуже, чѣмъ изъ-подъ плети. И вотъ именно тутъ-то, испытывая личнымъ опытомъ всю тяжесть невольнической работы, караемый наконецъ приходитъ къ сознанію, что гораздо лучше работать вольнонаемнымъ трудомъ чѣмъ трудомъ насильнымъ и что если нужда заставляетъ идти въ службу или работу, то служить и работать слѣдуетъ трезво и честно.

Странное дѣло! У насъ многіе теперь хлопочутъ объ оклейкѣ острожныхъ камеръ хорошими обоями, объ улучшеніи арестантскихъ обѣдовъ и ужиновъ, объ украшеніи всякимъ пріятнымъ

времяпрепровожденіемъ арестантскаго досуга,—и никому не приходитъ въ голову, что „гуманничая“ такимъ образомъ, они, что̀ называется, слышатъ звонъ да не знаютъ съ какихъ онъ сторонъ.

Система наказаній для такого рода преступниковъ, которые безпутствуютъ именно отъ лѣни и привычки къ тунеядству; нанимаются въ услуженіе и не служатъ; нанимаются въ работу и только все портятъ; вступаютъ въ обязательство и не исполняютъ его, а еще причиняютъ вредъ и убытки,—пенитенціарная система для такого рода преступниковъ одна: дача самаго черстваго куска хлѣба лишь за самую тяжелую усиленную работу и, вмѣсто нувственнаго удовольствія, физическія лишенья и физическая боль. Караемый такимъ наказаніемъ спохватывается наконецъ и доискивается до простой, указанной выше, истины: то-есть, что и въ самомъ дѣлѣ гораздо лучше работать вольнымъ трудомъ, чѣмъ трудомъ насильнымъ, и что если нужда заставила наниматься въ работу, то слѣдуетъ работать хорошо.

Когда масса проступковъ, повторяемъ, изъ того только и совершается кабацкою голью, чтобы не трудясь быть сыту, то наказывать штрафомъ, котораго не платятъ, или даровыми щами и праздностью въ острогѣ, значитъ просто оставлять негодяевъ безъ наказанія. Это значитъ плодить и размножать тунеядцевъ покровительствомъ самаго закона; это значитъ ставить ихъ въ льготное и привилегированное положеніе въ тѣхъ даже рѣдкихъ случаяхъ, если они не ускользаютъ отъ всепрощающей юрисдикціи нынѣшнихъ мировыхъ судей.

V.

Въ самомъ дѣлѣ, кто-же не понимаетъ, что именно при казуистикѣ, возникающей при нашемъ сельскомъ житьѣ-бытьѣ въ простонародьѣ, притомъ еще изъ такихъ отношеній, каковы именно отношенія нанимателей къ нанимаемымъ,—почти вся масса дѣлъ непремѣнно требуетъ, чтобы „судья“ былъ въ то-же время еще и въ извѣстной степени „администраторомъ?“ Только наши доморощеные Монтескьё примѣшиваютъ и тутъ ни къ селу ни къ городу малолѣтнія высшія соображенія о такъ-называемомъ „раздѣленіи властей“—и рѣшительно ничего не понимаютъ.

Спрашивается: мыслимо-ли какое-бы то ни было человѣческое общество при совершенномъ отсутствіи мѣстнаго административнаго начала? Спрашивается, наконецъ: возможно-ли, безъ вся-

кой мѣстной администраціи, существованіе многомилліоннаго крестьянства, у котораго въ прежнее время, по выраженію умной Екатерины, сколько было помѣщиковъ, столько-же было и администраторовъ по всей Имперіи?

При новомъ порядкѣ вещей (разумѣемъ упраздненіе крѣпостнаго права) слѣдовало-же создать и сельскую администрацію на новыхъ началахъ (первоначальныя мировыя учрежденія составляли такое начало, хотя и временно), на какихъ-бы то ни было началахъ, но создать ее нужно было.

Воображать, что тутъ можно будетъ чего-нибудь достигнуть палліативными мѣрами невозможно; проводить мысль, что горю можно пособить усиленіемъ центральной губернской власти; удесятереніемъ уѣздныхъ чиновниковъ и разсылкой новаго рода становыхъ или окружныхъ по селамъ; наконецъ, прибавкою десятка или двухъ десятковъ жандармовъ на уѣздъ, немыслимо.

„Новаго вина не вливаютъ въ старые мѣха"; мѣстная жизнь можетъ быть ведена только мѣстными людьми, которые составляютъ плоть отъ плоти и кость отъ кости своего роднаго мѣста, своей русской земли. Первоначальныя мировыя учрежденія, повторяемъ, были воистину мировыми учрежденіями; сами мировые посредники въ ихъ полномочіяхъ, по смыслу Положенія 19-го февраля 1861 г., составляли дѣйствительную силу. Безъ довѣрія къ мѣстной интеллектуальной силѣ,— къ людямъ, возвышающимся по своему образованію и способнымъ ео ipso быть *общественными* людьми,— никакія учрежденія, ни мировой судъ, ни даже само земство, невозможны и будутъ буквой безъ духа.

VI.

Врачи увѣряютъ, что сифилисъ еще никогда такъ не господствовалъ въ русскомъ сельскомъ людѣ, какъ въ послѣднее время. Размножающимися-ли фабриками, чугунками-ли, постояннымъ-ли приливомъ отпускныхъ солдатъ въ села — плодится это зло въ страшной прогрессіи; накапливалось-ли оно исподволь отъ непринимания никакихъ мѣръ въ прежнее время,—только фактъ заключается въ слѣдующемъ: какъ прежде русское село казалось застрахованнымъ отъ этой губительной заразы, такъ, напротивъ того, въ настоящее время изъ края въ край по цѣлой Россіи, во всѣхъ селахъ, эта болѣзнь пользуется самою печальною популярностью.

Молодежь, отбившись отъ стариковъ, живетъ на сторонѣ; если даже не гуляетъ,—а большею частью именно гуляетъ,—то заработки молодежи не поступаютъ домой. Пробившись такъ нѣсколько лѣтъ къ ряду, старики наконецъ силой удерживаютъ молодцовъ дома; они вопятъ и въ волостномъ правленіи и вездѣ, гдѣ только могутъ, объ исправленіи ихъ бунтующихъ сыновей. Такъ какъ однакожъ дома отъ такого блуднаго сына не становится не только радости, но и никакого житья, то семья пробуетъ сбыть его въ работники куда-нибудь по близости и у себя на глазахъ. Семья разсчитываетъ заработками своего безпутнаго члена уплатить по крайней мѣрѣ хоть часть его многолѣтнихъ недоимокъ. Однакожъ работники такого сорта (а въ работу большею частью изъ мѣстнаго населенія и нанимается одно отребье) успѣваютъ забрать жалованье въ свои руки, притомъ всегда впередъ, и спиваются съ круга.

Почти въ каждомъ селѣ кабакъ, а въ большихъ селахъ ихъ по нѣскольку. Гдѣ нѣтъ открытаго кабака, тамъ непремѣнно найдется нѣсколько потаенныхъ шинковъ съ продажей сквернаго вина. Сколько тутъ пропивается денегъ, это можетъ показаться даже невѣроятнымъ и неправдоподобнымъ. Кромѣ денегъ сюда несутъ еще мѣшки съ овсомъ и мукой, куръ, барановъ. Доходитъ до того, что домохозяинъ уноситъ въ кабакъ горшокъ недоваренной каши, только-что поставленный хозяйкою въ печь. Засѣданія въ этихъ заведеніяхъ становятся годъ отъ году все многолюднѣе, входитъ въ обычай именно тутъ совѣщаться о мірскихъ дѣлахъ.

Картежная игра царитъ въ селахъ. Прежде, и сравнительно въ не очень отдаленное время, не было и слышно въ селахъ про карты. Теперь играютъ почти всѣ; игра тянется насквозь всю ночь; нерѣдко играющая компанія кочуетъ изъ села въ село, и такимъ образомъ игра, начавшаяся въ одномъ мѣстѣ, оканчивается въ другомъ или третьемъ, поглотивъ нѣсколько сутокъ.

Нерѣдко приходится слышать, что народъ обремененъ податями, что народъ разоренъ; указываютъ на общія причины нашего обще-плохаго экономическаго состоянія, требуютъ въ извѣстномъ направленіи реформъ и улучшеній; это особый вопросъ. Равномѣрность податей и повинностей весьма желательна; законная свобода желательна одинаково для всѣхъ. Но въ настоящемъ случаѣ не о томъ рѣчь. Мы хотимъ только сказать, что соболѣзнованія нѣкоторыхъ петербуржскихъ фельетоновъ на ладъ Некрасовской

поэзіи о томъ, что бѣднякъ-крестьянинъ — горемыка, и бьется какъ рыба объ ледъ изъ-за насущнаго куска хлѣба, порѣзываетъ серпомъ голыя ноженьки и кислый квасъ смачиваетъ тайною слезою,— все это пошлый вздоръ.

Экономическія доказательства противъ этого; они у всѣхъ на глазахъ и ими подтверждается совсѣмъ другое.

Экономическая истина заключается въ слѣдующемъ: тамъ, гдѣ простонародье голодаетъ, гдѣ изъ-за куска насущнаго хлѣба народъ готовъ трудиться какъ волъ,—тамъ со всѣхъ сторонъ къ хозяину напрашиваются рабочіе; тамъ десятеро работниковъ ухаживаютъ и гоняются за однимъ хозяиномъ.

У насъ наоборотъ: десятеро хозяевъ гонятся за однимъ и тѣмъ-же работникомъ. И это не только при какихъ-нибудь спѣшныхъ безотлагательныхъ работахъ и не въ такихъ мѣстахъ, какъ за Волгою или въ Новороссіи, гдѣ отбиваніе другъ у друга рабочихъ оканчивается нерѣдко дракою, даже смертоубійствомъ; а почти сплошь, всюду, и для какихъ угодно работъ.

Сравнительно въ нетрудное время и для работъ весьма легкихъ (напримѣръ копать картофель) у насъ сплошь да рядомъ нельзя докликаться рабочихъ даже за такую плату въ день, которая обезпечиваетъ трехъ и четырехъ-суточный прокормъ. Если въ иномъ мѣстѣ и укажутъ на противоположные примѣры, это будутъ исключенія и частные случаи; вообще-же говоря, у насъ на ту или другую подённую работу, за такую плату, которая обезпечиваетъ прокормъ на нѣсколько сутокъ, ни работниковъ, ни работницъ не является; даже никто съ печки не двинется изъ-за этого. Это явленіе общее; а на ряду съ тѣмъ недоимки, нищета, запущенные долги и невзысканные штрафы...

Въ виду именно такого состоянія сельскихъ нравовъ, что̀ можетъ власть мироваго судьи, а другой власти нѣтъ; если она когда-то и была въ зародышѣ, то теперь „вся вышла“.

VII.

Если пьяная ватага дорогой изъ кабака остановилась у воротъ вашей усадьбы затѣмъ, чтобы доиграть тутъ свои игры и чтобы допѣть тутъ свои пѣсни, наконецъ просто для того даже, чтобъ обратить вашъ красный дворъ въ свой дворъ отхожій,— какое дѣло до всего этого мировому судьѣ?

Если вашъ работникъ, вмѣсто того, чтобы пахать на вашей, довѣренной ему, лошади, слеталъ на ней въ ближній кабакъ, откуда лошадь и вернулась одна даже безъ уздечки; а работникъ отыщется только на другой или на третій день гдѣ-нибудь подъ плотиной,—при чемъ тутъ будетъ юрисдикція мироваго судьи?

Если въ вашемъ пруду купаются для своего прохлажденія и безчинствуютъ пьяные, а ребятишки охотятся съ камнями за вашими утками и гусями и ребяческими голосами горланятъ такія пѣсни объ „Аннушкахъ", что не всегда ихъ услышишь даже отъ взрослыхъ фабричныхъ;—какое до всего этого дѣло мировому судьѣ?

Если въ зимнія сумерки къ вашей околицѣ подъѣхало на тройкѣ полдюжины молодцовъ съ дубинами, которыхъ вся округа знаетъ за отъявленныхъ воровъ,—къ какой власти прикажете отнестись, чтобъ избавиться отъ такого nocturno? Если не болѣе какъ черезъ часъ послѣ пріѣзда этихъ господъ, всѣ собаки на вашемъ дворѣ оказываются издохшими или издыхающими отъ отравы или отъ подкинутаго хлѣба съ иголками, къ кому обратиться въ ту самую минуту для охраненія и для отвращенія подобныхъ посѣщеній за будущее время?

Единственное лицо, въ нѣкоторомъ родѣ административное, къ кому можно обратиться во всѣхъ исчисленныхъ случаяхъ, это, конечно, не мировой судья, а развѣ-развѣ сельскій староста, опять все тотъ-же кругомъ безпомощный староста.

Похвальба пустить на дымъ избу, поджечь хлѣбъ, наконецъ просто придушить или топоромъ покончить, во всей силѣ царитъ въ сельскомъ быту; а ежедневный опытъ вопіюще свидѣтельствуетъ мірянамъ, какъ положительна и существенна такая похвальба...

Поддержки ни откуда, защиты никакой; безпомощность, полная безпомощность на сто верстъ кругомъ.

VIII.

Если правда, что краеугольный камень государственнаго спокойствія зиждется на спокойствіи сельской глуши и весь устой общественнаго порядка держится, главнымъ образомъ, тишиною и спокойствіемъ, миромъ сельскихъ массъ,—то это особенно должно считаться правдою у насъ въ Россіи, которая составляетъ какъ-бы сплошное сельское царство и гдѣ города и городское населеніе относятся ко всему остальному почти какъ капли къ морю.

Безъ преувеличенія должно сказать, что въ сельско-уѣздной жизни по селамъ нѣтъ житья...

Анархія со дня на день все болѣе поднимаетъ голову. Центральная губернская власть существуетъ себѣ, а анархія еще несомнѣннѣе заявляетъ о своемъ собственномъ существованіи въ селахъ... Чего слухомъ не слыхать было на Руси, зарождаются инстинкты въ народѣ, которыхъ ужъ нельзя называть народными, а прямо слѣдуетъ назвать инстинктами черни... Воровство и грабежъ одиночные начинаютъ переходить въ разбои шайками.

Разложеніе быта семейнаго, общественнаго, экономическаго, чувствуется въ быту крестьянъ — куда ни погляди. Лучшіе изъ нихъ жалуются на безправіе, на безгрозицу, сами вопятъ о помощи... Ея нѣтъ ни откуда.

Нынѣшніе „мировые посредники“ (не въ насмѣшку-ли называть ихъ такъ въ теперешнее время?!) обращены въ простыхъ сборщиковъ податей, въ опекуновъ нижнихъ отпускныхъ военныхъ чиновъ; они принижены до послѣднихъ полицейскихъ чиновниковъ. За отказомъ порядочныхъ людей, они набираются изъ всякой всячины; не умѣютъ правильно написать ни проекта разверстанія, ни выкупнаго договора, такъ что въ наши дни, по дѣламъ этого рода, буквально не къ кому обратиться. Мировые судьи бездѣйствуютъ и безвластвуютъ, хотя и завалены дѣлами, и со всѣхъ сторонъ осаждаются просящими помощи и защиты. Земство точно игнорируетъ само себя (да ему, собственно говоря, другаго нѣчего и дѣлать). Все обращается сплошь въ мертвую букву. Душа убываетъ...

Прошло двѣнадцать лѣтъ съ обнародованія благословенно-памятнаго Положенія 19-го февраля 1861 года. Много съ тѣхъ поръ произошло всякихъ перемѣнъ въ русской жизни. Много совершено свѣтлыхъ дѣлъ; но совершились и черныя, вѣчно-скорбной памяти происшествія...

Такъ или иначе, но не даромъ прошли эти десять, двѣнадцать лѣтъ для внутренней жизни Россіи. Въ общественномъ сознаніи много „модныхъ истинъ“ сбито со своихъ мѣстъ; по многимъ вопросамъ разныя спорныя точки зрѣнія замѣнились новою, при которой исчезаютъ прежнія взаимныя противорѣчія; напротивъ то, что по другимъ вопросамъ прежде представлялось для всѣхъ единственно-возможнымъ и логически-необходимымъ, даетъ уже теперь угадывать всю свою нелѣпость — съ точки зрѣнія дру-

гихъ ново-открывшихся сторонъ. Тогдашніе враги и противники нынче, по многимъ вопросамъ, очутились въ однихъ и тѣхъ-же рядахъ. Старинная вражда двухъ противуположныхъ лагерей, рѣзко-обозначившихся при первомъ подъемѣ вопроса объ освобожденіи крестьянъ, миновала... Само это „крѣпостное право“ похоронено. Настаётъ потомство, наступаетъ исторія даже для шестидесятыхъ годовъ.

И вотъ на-лицо опять выдвигается на первый планъ одинъ и тотъ-же вопросъ, что̀ и въ самомъ началѣ обновленія русскаго общества въ нынѣшнее царствованіе. И этотъ вопросъ все громче день ото дня заявляетъ теперь о себѣ: быть или не быть у насъ истинному самоуправленію? Существовать или не существовать истинному мировому институту? Развиваться и становиться на ноги или, напротивъ того, чахнуть и глохнуть мѣстной внутренней жизни, мѣстному политическому элементу?

Если существуетъ искренность въ отношеніи къ нему и полное довѣріе, тогда и современнѣйшему изъ всѣхъ нашихъ современныхъ вопросовъ, вопросу о „сельскомъ самоуправленіи“ (который громко вопіетъ о себѣ) можно предвидѣть близкое и плодотворное рѣшеніе. Если-же нѣтъ, если полной искренности и довѣрія не существуетъ къ мѣстнымъ, живымъ, внутреннимъ силамъ Россіи, тогда и толковать не о чемъ. Тогда и вопросъ о сельской администраціи, о сельскомъ благосостояніи, останется еще надолго открытымъ вопросомъ, пригоднымъ для импровизаціи всякихъ новыхъ чиновничьихъ бюрократическихъ затѣй и экспериментовъ; столь долго по крайней мѣрѣ, пока современная сельская дѣйствительность, которую мы старались охарактеризовать въ общихъ чертахъ, не приведетъ къ какому-нибудь — хочешь не хочешь — вынужденному рѣшенію.

IX.

Когда Положеніе 19-го февраля 1861 года было по селамъ объявлено народу, выдался одинъ моментъ весьма замѣчательный. Про старый порядокъ уже было сказано на всю Россію: le roi est mort, а новаго порядка еще не водворилось. Одновременное vive le roi не относилось ни къ кому; учрежденія мировыхъ посредниковъ и съѣздовъ только позднѣе вступили въ силу: сельскіе мировые участки установились лишь впослѣдствіи.

Именно въ этотъ безвластный промежутокъ времени явилось смущеніе въ народѣ. Почувствовался страхъ какъ-бы предъ грозой. Мѣстами произошли частные безпорядки. Богъ знаетъ до какихъ размѣровъ они могли-бы достигнуть, еслибъ этотъ смутный промежутокъ времени продлился.

Но вотъ мировые посредники утверждены въ должности; вступили въ силу и мировые съѣзды: завелися (въ прямомъ смыслѣ этого слова) сельскіе мировые участки. На всѣхъ точкахъ уѣзда появилась правильно организованная власть; появились новыя учрежденія, свойственныя новому порядку вещей, и новые общественные люди, свойственные духу этихъ новыхъ общественныхъ учрежденій. Первоначальныя мировыя учрежденія явились воистину новыми учрежденіями, не имѣвшими ничего общаго со всею совокупностью прежнихъ бюрократическихъ, обусловленныхъ крѣпостнымъ правомъ, учрежденій. Они представили въ петербуржскій періодъ — свѣжее начало, вносимое въ обновленную русскую жизнь: иной *режимъ* противъ вчерашняго отжившаго свой вѣкъ.— Всѣ враги Россіи, которые злорадостно прислушивались ко всякому ея болѣзненному симптому, выставляли „крѣпостную“ Россію страшилищемъ съ виду, безъ всякой, въ то-же время, внутренней силы. По ихъ увѣреніямъ, это была страна безъ народа, представлявшая одинъ мертвый механизмъ бюрократіи.

Въ отзывахъ о Россіи крѣпостныхъ временъ, конечно, было много преувеличеннаго и односторонняго; но дѣло въ томъ, что бюрократическій порядокъ, этотъ въ своемъ родѣ нашъ петербуржскій ancien régime, вовсе не составляя существенной принадлежности русской исторіи, самъ въ извѣстной степени обусловливался крѣпостнымъ правомъ и его обусловливалъ,— былъ въ возмездіе за него нашею казнью въ своемъ родѣ. При крѣпостномъ правѣ была немыслима народная самодѣятельность: оно только усиливало у насъ этотъ ancien régime и по необходимости служило къ его утучненію.

Отсюда понятно, почему наша лучшая журналистика пятидесятыхъ годовъ, призывая благожеланьями крестьянскую реформу, не переставала съ сокрушеніемъ указывать на эту все болѣе утолщавшуюся стѣну тройной и четверной бюрократіи, которая такъ непрошенно воздвиглась между народомъ и всѣмъ, что̀ движетъ народъ на его историческомъ поприщѣ. Много русскихъ поколѣній съ тѣмъ и сошли въ могилу, что преграда эта казалась для нихъ

неодолимою, и они читали на ней суровую надпись Дантова ада: „Оставь надежду навсегда!“

И вотъ, въ шестидесятыхъ годахъ не только возникла надежда, о которой не смѣли думать сошедшія въ могилу поколѣнія, но казалось совершается и самое осуществленіе надежды.

Народъ, коснѣвшій до того времени подъ ярмомъ крѣпостнаго права, вдругъ былъ призванъ къ самобытности. Объявилась, дѣйствительно, цѣлая новая многомилліонная жизнь со своеобразными требованіями, задачами, запросами. Потребовались и дѣятели которые могли-бы стоять къ этой жизни лицомъ къ лицу. Вопросы быта, возникавшіе въ народѣ, схватывались на мѣстѣ мировымъ учрежденіемъ; отчасти рѣшались тутъ-же мѣстными дѣятелями; отчасти переносились въ свой уѣздный городъ на мировой съѣздъ, а частью переносились еще выше, въ учрежденія по крестьянскимъ дѣламъ еще болѣе центральныя, въ мѣстныя губернскія присутствія; откуда уже возводились, въ случаѣ надобности, въ сферы, соприкасавшіяся съ самыми вершинами власти.

Понятно, съ одной стороны, что такого рода вопросы, возникавшіе изъ самого народнаго быта, не могли иначе рѣшаться и въ сравнительно-высшихъ сферахъ, какъ именно въ томъ смыслѣ и въ томъ разумѣ, какъ они были сознаны самимъ народомъ—вездѣ у себя по разнымъ мѣстамъ. Здѣсь, такимъ образомъ, упразднялся даже самый поводъ для какихъ-либо мѣропріятій, источникомъ которыхъ является обыкновенно личное вдохновеніе удаленныхъ отъ мѣстности администраторовъ. Обнаруживая свою энергію лишь въ мѣру обращаемыхъ къ ней запросовъ, тогда власть только возводила въ нормы разнослучайности и крайности мѣстно-заявленныхъ требованій, регулируя ихъ въ видахъ общегосударственной пользы. Понятно, съ другой стороны, что самыя эти узаконенія и утверждаемыя нормы, приходившія обратнымъ путемъ въ народъ, какъ быстрые и желанные отвѣты на его собственные запросы, оказывали благотворное вліяніе на политическое воспитаніе народа и пріучали его къ здравому политическому смыслу. Народъ ежеминутно слышалъ, что сверху къ нему идетъ быстрое и желанное разрѣшеніе его собственныхъ недоумѣній,—отвѣтъ на запросы не какихъ-либо мнимыхъ, а дѣйствительно возникшихъ въ его быту потребностей, и притомъ лишь въ мѣру имъ самимъ вызванной энергіи.

Безъ преувеличенія можно сказать, что въ тотъ день, когда мировое учрежденіе будто какимъ чудомъ взялось въ народѣ и

среди народа, вся земля до послѣднихъ крестьянъ послышала себя наконецъ не мертвою грудой грубаго матеріала, а дѣйствующею, зиждущею силой самого государства, которое въ тотъ-же мигъ и само перестало казаться народу чѣмъ-то чуждымъ, чѣмъ-то стоявшимъ *внѣ* его и будто съ нимъ въ антагонизмѣ. Народъ объ руку съ мировымъ учрежденіемъ (которое служило опорой его собственному самоуправленію и являлось его продолженіемъ) живо чувствовалъ свою однородность и неразрывность, свою политическую солидарность со всѣмъ, чѣмъ только держится Россія, даже до самой вершины властедержательства. Той ветхой стѣны бюрократіи, заставшей солнце отъ народа, какъ не бывало. Того самовластительства пришлыхъ, насланныхъ со стороны, чужеядцевъ, о которыхъ враги Россіи писали, что они ее держатъ въ осадномъ положеніи, не осталось и тѣни.

Мировой посредникъ, обращаясь поминутно въ народѣ и съ народомъ, то и дѣло успѣвалъ показываться на всѣхъ точкахъ ввѣреннаго ему участка; наконецъ, съ быстротой, не оставлявшею желать ничего бо̀льшаго, появляясь на зовъ каждаго именно тамъ, гдѣ особенно нуждались въ его скорой помощи, мировой посредникъ постоянно являлся для народа еще провозвѣстникомъ совершенно новаго порядка вещей и представителемъ еще неслыханнаго въ петербуржскій періодъ права. Какого-же новаго порядка? Какого новаго права? Того новаго порядка вещей, который сразу упразднялъ старинную систему внутренней политики, олицетворенной въ Гоголевскомъ Держимордѣ, и въ то-же время подсѣкалъ въ корнѣ доктрину будто безъ этой политики непремѣнно послѣдуетъ анархія,—того новаго права, по которому одинаково не допускалось и даже не мыслилось своеволіе какъ со стороны высшей, такъ и низшей братіи, ни даже со стороны сельскаго міра относительно своихъ членовъ,—того, наконецъ, новаго порядка вещей и новаго права, по которымъ „служба“ обращалась по древней русской старинѣ въ дѣйствительное трудовое служеніе на пользу общества, а не въ чиновную регалію относительно своихъ подчиненныхъ, съ вѣчнымъ приниженіемъ въ свою очередь предъ собственнымъ непосредственнымъ начальствомъ—свойство всѣхъ бюрократій въ мірѣ.

Дарованныя Положеніемъ 19-го февраля 1861 года мировыя учрежденія явили у насъ на Руси дѣйствительный образецъ мѣстной правительственной власти, которая, находясь подъ живымъ

контролемъ власти центральной, то-есть губернской, не была ей обязана бюрократическою подчиненностью, а служила землѣ, сохраняя за собою чисто земскій, то-есть общественный характеръ: понятно, что чрезъ это она и служила дѣйствительную службу самому государству. Первоначальныя мировыя учрежденія, такимъ образомъ, представляли у насъ несомнѣнный зачатокъ истинной политической силы уже прямо земскаго, то-есть чисто-общественнаго характера.

Странно упускать изъ виду именно этотъ глубокій, существенный смыслъ, который прежде всего и порадовалъ Россію въ созданіи мировыхъ учрежденій. А его-то, какъ напослѣдокъ оказалось, проглядѣли быть можетъ сами такъ-называемые „друзья народа“, сами устроители эмансипаціи. За то его зорко выглядѣли, такъ въ него и воззрились нѣдруги народа: его казенные командиры. Потомъ враги и друзья очутились въ однихъ рядахъ.... все смѣшалось въ дикой разноголосицѣ. Много скорбныхъ, черной памяти, происшествій тутъ примѣшалось на бѣду всему... Всходы, обѣщавшіе плодотворную жизнь, загибли. Загибло именно то, чему только и слѣдовало мужать и крѣпнуть, развиваясь на общую пользу въ духѣ истины и добра.

X.

Призывались къ должности не насланные со стороны чиновники, а „мѣсту прирожденные“ люди, для которыхъ охраненіе ихъ сельскаго участка было уже простымъ самоохраненіемъ.

Цензъ — не столько имущественно-высокій, сколько высокій по образованію — служилъ порукой, что самое это охраненіе будетъ ведено по справедливости и на основаніи чувства долга, ибо истинно-гуманное образованіе въ томъ и состоитъ, чтобы возвышаться надъ своимъ личнымъ или сословнымъ эгоизмомъ — въ интересѣ общественной правды.

Вся мѣстная интеллигенція (мы въ правѣ выразиться такъ именно по требованію ценза высокаго развѣ лишь по образованію) была зачислена въ списокъ кандидатовъ на должности мировыхъ посредниковъ. Если въ первое время мировыми посредниками явились исключительно дворяне, то потому только, что въ тѣ времена они же исключительно были и землевладѣльцами.

Но изъ общаго списка кандидатовъ кого-же напослѣдокъ утвердить въ должности? Кому еще предоставить самое право этого

утвержденія? *Во-первыхъ*, число мировыхъ участковъ, а слѣдовательно и посредниковъ, не ограничено закономъ; самому обществу предоставлено опредѣлить ихъ число въ мѣру мѣстныхъ потребностей. Такимъ образомъ, въ иныхъ губерніяхъ и по многимъ уѣздамъ, лицъ внесенныхъ въ списокъ оказывалось въ наличности менѣе чѣмъ требуемыхъ должностей. *Во-вторыхъ*, даже шансы и этого окончательнаго выбора уравновѣшены съ замѣчательнымъ тактомъ. Списки кандидатовъ, по ихъ одобреніи уѣзднымъ дворянскимъ собраніемъ, передавались мѣстному губернатору, который и „назначалъ мировыхъ посредниковъ по совѣщаніи съ губернскимъ и уѣзднымъ предводителями дворянства". Это было вполнѣ нормально: въ первое время, когда самое дворянство являлось въ крестьянскомъ дѣлѣ заинтересованною стороной, губернская власть, какъ представительница государственныхъ интересовъ, являлась нейтральною стороной между помѣщикомъ и крестьяниномъ, и даже по преимуществу какъ-бы адвокатомъ послѣдняго.

Мировые посредники, такимъ образомъ избранные не безъ соблюденія извѣстныхъ гарантій въ пользу крестьянства, имѣли на своей сторонѣ всѣ задатки, чтобы пользоваться равнымъ довѣріемъ обѣихъ заинтересованныхъ сторонъ. Иные публицисты наивно полагали, что довѣріе обѣихъ сторонъ было необходимо мировымъ посредникамъ лишь на первое время, для размежеванія имущественныхъ отношеній между помѣщиками и крестьянами; словомъ, для разрѣшенія на практикѣ лишь экономической стороны крестьянской реформы. Но если это довѣріе въ самомъ дѣлѣ требовалось даже для того, чтобы правильно отводить надѣлы, то во сколько-же еще разъ оно было необходимѣе для того, чтобъ установить правильныя юридическія отношенія между вчерашними крѣпостными и ихъ старинными вотчинниками; для того, чтобы заложить первые основные краеугольные камни всего будущаго земскаго развитія?

Необходимость такого довѣрія, а вмѣстѣ и авторитета, только тогда получаетъ свой наибольшій смыслъ, когда мы взглянемъ на мировыхъ посредниковъ именно какъ на водворителей и установителей новаго порядка вещей въ сферѣ ужъ вовсе не однихъ имущественныхъ отношеній. Именно на ихъ долю выпала высокая обязанность: ввести въ дѣйствіе и обезпечить дальнѣйшее преуспѣяніе крестьянскаго самоуправленія, даннаго законоположеніемъ 19-го февраля 1861 года. Имъ была вручена и довѣрена сильная правительственная власть, при которой мѣстное сельское населе-

ніе не должно было казаться брошеннымъ на произволъ судьбы; при которой власть и старшинъ и старостъ, и обязанности на нихъ возложенныя закономъ, не казались еще пустыми словами, лишенными на практикѣ всякаго значенія. Напротивъ того, земскій миръ никогда не былъ обезпеченъ такъ прочно и не имѣлъ столько силы какъ первые годы по обнародованіи Положенія 19-го февраля 1861 г.

Такъ какъ вначалѣ самъ мировой посредникъ учреждалъ весь волостной порядокъ, организовалъ и сельскіе и волостные сходы, въ случаѣ ихъ сверхъ-правныхъ рѣшеній объявлялъ ихъ ничтожными, утверждалъ въ должности и приводилъ къ присягѣ волостныхъ старшинъ, временно ихъ удалялъ собственною властью, а чрезъ мировой съѣздъ и по утвержденіи губернаторомъ вовсе отрѣшалъ отъ должности; наконецъ, какъ „отъ крестьянъ и помѣщиковъ, такъ и отъ посторонних лицъ, принималъ жалобы на общественныя управленія, на сельскихъ и волостныхъ должностныхъ лицъ“, внося эти жалобы со своимъ заключеніемъ на рѣшеніе мироваго съѣзда,— то весьма понятно, что въ должности мироваго посредника сосредоточивалось существенное значеніе достаточно-сильной правительственной власти; а не была она лишь слѣпымъ орудіемъ высшихъ бюрократическихъ сферъ съ бюрократическимъ-же безсиліемъ въ своей собственной.

Припомнимъ что самъ законъ возложилъ на сельскихъ старостъ и на старшинъ напримѣръ слѣдующія обязанности: „Принимать мѣры для охраненія благочинія и порядка и безопасности лицъ и имуществъ отъ преступныхъ дѣйствій; предупреждать, чтобы не было потравъ и порубокъ; задерживать бродягъ, распоряжаться подачею помощи въ чрезвычайныхъ случаяхъ; наблюдать за нераспространеніемъ въ народѣ вредныхъ толковъ и слуховъ; дѣлать предварительныя дознанія, задерживая виновныхъ и охраняя слѣды преступленій; вообще предупреждать и пресѣкать преступленія и проступки; принимать полицейскія мѣры для открытія и задержанія виновныхъ; прекращать буйство и имѣть надзоръ за лицами подозрительнаго поведенія; задерживать безпаспортныхъ“.

Насколько самъ законъ считалъ эти обязанности, возложенныя на сельскихъ старостъ и старшинъ, существенными, видно между прочимъ изъ того, что при исчисленіи дѣлъ, подлежащихъ вѣдѣнію мироваго посредника, поименованы особымъ пунктомъ именно „жалобы на допущеніе старостою или старшиной безпорядковъ въ исполненіи полицейскихъ обязанностей“.

Не надо забывать еще и того, что при всей самостоятельности волостнаго суда, о чемъ будетъ говорено ниже, онъ не былъ выключенъ изъ-подъ контроля мироваго посредника. Исполненіе приговоровъ волостнаго суда предоставлено *старостѣ и старшинѣ подъ ихъ общею отвѣтственностью.* Такимъ образомъ (принимая на собственный страхъ приведеніе въ исполненіе приговоровъ волостнаго суда) и староста и старшина, естественно, обращались къ мировому посреднику то за совѣтомъ, то за содѣйствіемъ во всѣхъ сомнительныхъ случаяхъ. Притомъ, по статьѣ Положенія о принятіи жалобъ на неправильныя дѣйствія „сельскихъ и волостныхъ должностныхъ лицъ", посредникъ даже былъ обязанъ пріостановить неправильное рѣшеніе въ случаѣ жалобы обиженной стороны и самую жалобу съ своимъ заключеніемъ внести въ мировой съѣздъ.

Наконецъ, дѣла по нѣкоторымъ судебно-полицейскимъ разбирательствамъ возлагались самимъ закономъ прямо на мироваго посредника, именно: по найму землевладѣльцами людей въ разныя работы, въ услуженіе и въ хозяйственныя должности,— а этимъ исчерпывается девять-десятыхъ всѣхъ дѣлъ сельской казуистики. Притомъ, хотя всякое рѣшеніе мироваго посредника подлежало обжалованію; но въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ напримѣръ при спѣшныхъ полевыхъ работахъ, рѣшенія его немедленно приводились въ исполненіе.

Хотя такое несомнѣнно-правительственное значеніе мировыхъ посредниковъ, конечно, заставляло ревниво къ нимъ относиться всѣхъ привыкшихъ считать какую-бы то ни было административную власть своимъ собственнымъ крѣпостнымъ правомъ; но крестьяне, вышедшіе изъ крѣпостной зависимости, благословляли власть мировыхъ посредниковъ, видѣли въ ней задатокъ и основу своего собственнаго самоуправленія и вообще земскаго.

XI.

Дѣла сверхъ-правныя для мировыхъ посредниковъ рѣшались въ уѣздныхъ мировыхъ съѣздахъ. Съ ними, замѣтить кстати, ничего не имѣютъ общаго нынѣшніе съѣзды мировыхъ судей ни по вѣдомству дѣлъ, ни по тому расположенію, съ которымъ все окружающее уѣздный городъ сельское населеніе относилось бывало къ первоначальнымъ съѣздамъ мировыхъ посредниковъ.

Кромѣ того, что тутъ разбирались болѣе важныя дѣла, возникавшія собственно изъ имущественныхъ отношеній (по уставнымъ грамотамъ, по разверстаніямъ и т. п.), существенное значеніе мироваго съѣзда обусловливалось именно тѣмъ, что его вѣдѣнію подлежали жалобы самихъ крестьянъ, помѣщиковъ, а также и постороннихъ лицъ „на неправильныя дѣйствія общественныхъ управленій, на сельскихъ и волостныхъ должностныхъ лицъ". Народъ не напрасно видѣлъ въ то время въ мировомъ съѣздѣ лишь продолженіе крестьянскаго мироваго устройства. Посредникъ, которому по мѣстнымъ обстоятельствамъ подана жалоба на волостное управленіе или даже на волостныхъ судей, представляетъ ее на разсмотрѣніе мироваго съѣзда со своимъ заключеніемъ, и зная дѣло во всей его живой обстановкѣ, естественно является его докладчикомъ. Мировые посредники всѣхъ участковъ и всѣ тѣ кандидаты къ посредникамъ, которые экстренно призваны къ занятіямъ, составляютъ этотъ мировой съѣздъ; предсѣдательствуетъ-же на немъ мѣстный предводитель дворянства.

И какъ самъ мировой посредникъ, такъ и весь этотъ мировой съѣздъ за предсѣдательствомъ уѣзднаго предводителя, для крестьянина, для народа—власть ему весьма близкая, ему своя. Стекаясь сюда изо всѣхъ мировыхъ участковъ, со всѣхъ точекъ уѣзда, по такимъ дѣламъ, по которымъ власть ихъ собственнаго мироваго посредника оказывалась сверхправною, крестьяне были напередъ увѣрены, что на этомъ мировомъ съѣздѣ найдутъ себѣ нелицепріятную и неподкупную правду. Здѣсь получали они безотлагательное рѣшеніе по большей части жалобъ на неправильныя дѣйствія своихъ старшинъ, старостъ, волостныхъ судей и вообще мірскихъ управленій.

По дѣламъ, возникавшимъ изъ имущественныхъ отношеній, здѣсь крестьяне получали безотлагательное удовлетвореніе при законности ихъ притязаній. Въ противномъ случаѣ, когда именно приносили жалобу на отказъ своего мѣстнаго мироваго посредника, получали по крайней мѣрѣ авторитетное подтвержденіе цѣлаго съѣзда о незаконности ихъ притязаній съ разъясненіемъ всѣхъ тѣхъ обстоятельствъ и поводовъ и статей Положенія, вслѣдствіе коихъ просьба ихъ съ самаго начала не подлежала удовлетворенію.

Наконецъ по всѣмъ дѣламъ, окончательное рѣшеніе коихъ зависѣло отъ губернскаго присутствія, мировой съѣздъ, на глазахъ крестьянъ, на глазахъ самихъ просителей, съ истолкованіемъ

всѣхъ къ тому основаній, препровождалъ бумаги въ губернское присутствіе, откуда къ слѣдующему-же мировому съѣзду они въ большей части случаевъ, особенно въ первое время, возвращались уже съ отвѣтомъ.

Составъ самого губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія уравновѣшенъ съ безукоризненнымъ тактомъ.

Въ немъ засѣдали, въ равномъ числѣ, какъ члены отъ дворянства (естественные представители помѣщичьихъ интересовъ), такъ и члены отъ правительства (защитники интересовъ крестьянъ); наконецъ, самому губернатору отведено тутъ предсѣдательское кресло.

Предоставленіе въ губернскомъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствіи предсѣдательскаго кресла губернатору имѣетъ въ этомъ случаѣ существенную важность. (Слѣдуетъ притомъ принять въ соображеніе, что и губернскій предводитель дворянства полагается непремѣннымъ членомъ присутствія). Неоспоримо, что именно центральной губернской власти принадлежитъ общій контроль всѣхъ вообще мѣстныхъ учрежденій губерніи въ государственныхъ видахъ. Было-бы дѣтски-забавно оспаривать полную справедливость такого контроля, или видѣть въ томъ какое-то слезное огорченіе мѣстному мировому институту... все это были-бы опять лишь малолѣтнія высшія соображенія! Съ другой стороны, въ этомъ предоставленіи губернатору предсѣдательскаго кресла въ губернскомъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствіи сказалась еще чутко-разгаданная потребность минуты. Для губернской власти это вовсе не было въ то время лишнею наддачей правъ, а скорѣе возложеніемъ на нее новыхъ тяжелыхъ обязанностей.

Главная губернская власть, въ тѣ дни, черезъ мѣстное мировое учрежденіе, сама низошла къ народу. Именно въ тѣ дни, центральная губернская власть перестала выставлять себя какою-то чуждою народу силой, едва-ли не главною функціею коей полагается самоуслажденіе собственнымъ блескомъ; напротивъ, она оказывалась теперь необходимою функціей въ общемъ строѣ „государева-земскаго дѣла“, и получила для народа живое значеніе благодѣтельной власти, которой подлежатъ высокія задачи и дѣло жизни, а не одинъ декорумъ и холодный блескъ.

Никто не станетъ отрицать, что именно губернаторъ есть первое отвѣтственное лицо за спокойствіе губерніи и, въ этомъ смыслѣ, онъ долженъ быть не мнимымъ ея хозяиномъ. Въ первое время

крестьянской реформы и водворенія крестьянскаго самоуправленія это чувствовалось живо. Въ тѣ дни, главное отвѣтственное лицо за спокойствіе губерніи, по необходимости обратилось въ ея дѣйствительнаго — и рачительнаго и радушнаго хозяина. Почувствовалось тѣ еще, что если чѣмъ и слѣдовало усилить эту власть, то именно разомкнувъ ея бюрократическую подчиненность: болѣе приблизить ее, съ одной стороны, къ самому земству, къ самому народу, а съ другой — даже къ вершинѣ власти для ихъ живаго благотворнаго взаимодѣйствія; такъ, однакоже, чтобы оставляя за чисто-мѣстными учрежденіями характеръ по преимуществу земскій и общественный, удержать за властію центральной, именно по преимуществу государственный характеръ.

Само крестьянское самоуправленіе, сами мѣстныя мировыя учрежденія, въ силу того, что предсѣдательское кресло въ губернскомъ присутствіи было отведено губернатору, чувствовали относительно центральной губернской власти свое съ ней живое взаимодѣйствіе, государственную солидарность. Все мѣстное самоуправленіе находило въ губернской власти свою естественную опору и поддержку въ экстренныхъ случаяхъ; въ ея прочности видѣло свою прочность; по мѣрѣ надобности, именно въ ней черпало свою исполнительную силу, обращалось именно къ ней и за помощью и за совѣтомъ; наконецъ, черезъ нее могло восходить выше въ своихъ *дѣловыхъ* заявленіяхъ.

XII.

Положеніе 19-го февраля 1861 года, составляя органическое законодательство на все многомилліонное крестьянство, въ то-же время даровало освобожденному народу и все что было нужно на первыхъ порахъ для начина истиннаго самоуправленія—именно въ его дѣловомъ смыслѣ, безъ всякихъ нелѣпыхъ притязаній. Оставалось только усовершать благодѣтельный законъ въ мѣру запросовъ жизни и восполнять его по мѣрѣ указаній опыта. Его, говоримъ, слѣдовало усовершать и восполнять, а не подсѣкать въ корнѣ. Все оно было *дѣловое*, и только *дѣловое*,—и слава Богу что такъ.

Тѣ дни, когда это законодательство не было подорвано позднѣйшими сепаратными циркулярами и не было еще принижено значеніе первоначальныхъ мировыхъ учрежденій, были самыми счастливыми днями для народа: порядокъ былъ полный.

Здравою, истинно-земскою жизнью вѣяло тогда, болѣе чѣмъ нынѣ при пресловутыхъ „земскихъ“ учрежденіяхъ. Новый порядокъ вещей и новое право (провозвѣстниками чего въ народѣ явились тогда мировые посредники) оказывали на народъ доброе воспитательное вліяніе. Сельскія должностныя лица, и старосты и старшины, опираясь на мировыхъ посредниковъ, пользовались дѣйствительнымъ уваженіемъ народа и проникнуты были самоуваженіемъ. Полиціи не было предлоговъ „править“ волостнымъ правленіемъ; она честно, въ точности исполняла непререкаемо принадлежащее ей значеніе исполнительной силы въ случаѣ какихъ-либо нарушеній, и хорошо помнила 59 статью одного изъ отдѣловъ Положенія: „Мѣстной полиціи вмѣняется въ обязанность исполнять немедленно и безотговорочно всѣ законныя требованія мироваго посредника“.

Мировые съѣзды, часто повторявшіеся, привлекали въ уѣздный городъ мѣстное сельское населеніе, дѣйствительно служа его интересамъ и многосторонне ограждая его отъ всякой обиды. Городъ терялъ характеръ того казарменнаго зданія, гдѣ толчется народъ лишь для взноса податей, растеривая еще послѣдніе гроши при самомъ процессѣ взноса, и откуда всякій спѣшилъ выбраться какъ изъ тюрьмы на свѣжій воздухъ. Напротивъ, въ крестьянствѣ слышалось уже (какъ-бы пародія на извѣстное изреченіе XVI вѣка; „А есть-ли въ царствѣ Московскомъ правда? Въ Московскомъ царствѣ вѣра добра и красота церковная велика, а правды нѣтъ. Коли правды нѣтъ, то всего нѣтъ“), что въ уѣздномъ городѣ и „правда есть“. Всѣ мировые участки, въ общности интереса уѣзда, почувствовали свою солидарность. Но мировые съѣзды, черезъ губернское присутствіе, стали еще живо ощущать свою собственную связь, связь самихъ уѣздовъ — въ мѣстномъ губернскомъ городѣ. Сознаніе обще-государственной солидарности, такимъ образомъ, само собою, безъ всякихъ „тенденціозныхъ“ затѣй, шло въ ширь и въ высь. Надо-жъ было все это разрушить!..

Если-же, напримѣръ, тамъ и сямъ въ самомъ мировомъ учрежденіи проглядывали какія-нибудь чуждыя *дѣловаго* характера поползновенія, являлась именно „тенденціозная“ оппозиція со стороны уѣздныхъ съѣздовъ къ центральной власти губернскаго присутствія, — то само общественное мнѣніе, по крайней мѣрѣ въ своихъ лучшихъ органахъ, выводило на чистую воду забавность этихъ неумѣстныхъ попытокъ и малолѣтнихъ высшихъ соображеній

Такъ напримѣръ въ 1861 году, когда еще не было нанесено многихъ ранъ мировому институту и само наше общественное сознаніе не замѣшалось, какъ потомъ, въ дикой и повальной разноголосицѣ,—одинъ мировой съѣздъ позволилъ себѣ, въ видѣ борьбы съ губернскимъ присутствіемъ, единогласно нормализовать плату за сносъ крестьянской усадьбы въ 30 руб., ссылаясь на легальность постановленія въ томъ соображеніи, что „единогласное всѣмъ съѣздомъ опредѣленіе платы за сносъ усадьбы“ не кассируется губернскимъ присутствіемъ. Предложившіе на съѣздѣ этотъ билль особенно выставляли на видъ ту доблесть: молъ, это совершается въ оппозиціонномъ духѣ противъ губернскаго присутствія! а слѣдовательно тутъ, дескать, со стороны мироваго съѣзда, главное еще дѣло заключается именно въ „высшихъ соображеніяхъ“.

Сейчасъ въ одной изъ газетъ, издававшейся въ то памятное время, появилось прямо-же съ мѣста изобличеніе этого билля и всей забавности такихъ малолѣтнихъ высшихъ соображеній.

XIII.

У насъ не прекращаются съ нѣкоторыхъ поръ безконечные споры объ усиленіи или, напротивъ того, объ ослабленіи центральной губернской власти. Это споръ дѣтскій.

Власть, простирающаяся на цѣлую губернію, а слѣдовательно долженствующая eo ipso имѣть за собою болѣе государственный характеръ чѣмъ всякая мѣстная власть; власть, которая при надобности можетъ выказать себя какъ грозная политическая сила, а при надобности, смягчающая самый законъ,—можетъ-ли она взять на себя будничное, ежедневно и на всѣхъ точкахъ всѣхъ въ губерніи уѣздовъ нужное дѣло той администраціи, которая призвана охранять личную и имущественную безопасность всѣхъ и каждаго по отдѣльнымъ селеніямъ? Власть, помимо своихъ собственныхъ на ея долю выпавшихъ задачъ, долженствующая являться населенію цѣлой губерніи именно лишь по мѣрѣ экстраординарной надобности—можетъ-ли она функціонировать въ качествѣ той будничной власти, которая, по самому существу дѣла, должна быть ежедневно и непрестанно у всѣхъ на глазахъ?

Полномочія губернаторской власти, къ выгодѣ самихъ мѣстныхъ учрежденій, должны быть поставлены въ уровень и въ мѣру запросовъ мѣстной жизни: иначе напр. въ Остзейскомъ краѣ или юго и сѣверо-западномъ полуополяченномъ краѣ, и иначе въ

центральныхъ губерніяхъ; и опять иначе даже въ центральныхъ губерніяхъ въ случаѣ какихъ-либо тамъ или здѣсь особенныхъ обстоятельствъ. Но общее усиленіе этой власти, и повсюду, одинаково требуется лишь въ томъ смыслѣ, чтобъ эманципировать ее самоё отъ гнета высшихъ бюрократическихъ сферъ. Въ этомъ смыслѣ очень желательно, въ интересѣ самихъ мѣстныхъ учрежденій, никакъ не ослабленіе, а усиленіе центральной губернской власти. Теперь, оттѣсненная и сама отъ державы власти, гнётомъ высшихъ бюрократическихъ сферъ — она только ихъ слуга и есть; ея собственная подчиненность этимъ сферамъ и полная отъ нихъ зависимость — дѣлаетъ её, мало сказать слабою, а даже и вовсе непригодною для того, чтобъ она могла служить дѣйствительному благу общества. Она-же, повторимъ въ заключеніе, уже по самому существу дѣла должна оставаться вѣрна своему по преимуществу государственному характеру въ ряду собственно такъ-называемыхъ земскихъ и мировыхъ учрежденій губерніи.

Мировые посредники, въ то первоначальное время и чрезъ мировой съѣздъ и непосредственно, находились въ живыхъ сношеніяхъ съ центральною губернскою властью; они то и дѣло сносились съ губернаторомъ — уже какъ съ предсѣдателемъ губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія. Кромѣ того самое узаконеніе, что предсѣдателями мировыхъ съѣздовъ были уѣздные предводители дворянства, которые по дѣламъ службы состоятъ въ непрестанномъ общеніи и съ губернаторомъ и съ губернскимъ предводителемъ дворянства (а этотъ въ свою очередь состоитъ вторымъ лицомъ въ губернскомъ присутствіи),—все это пособляло установленію самыхъ тѣсныхъ, единственно-разумныхъ и всегда желательныхъ отношеній между властями мѣстными и губернскою, представляющими съ одной стороны земское, а съ другой — государственное начало.

Всѣмъ памятно какъ въ первое время крестьянской реформы сами губернскія присутствія считали для себя лестнымъ видѣть въ себѣ не что другое какъ лишь продолженіе тѣхъ-же мировыхъ учрежденій, первымъ звеномъ коихъ являлся сельскій міровой участокъ; сами губернскія присутствія дорожили своею живою связью со всѣмъ мірскимъ или мировымъ устройствомъ, а слѣдовательно и вообще съ земскимъ самоуправленіемъ. Протоколы губернскихъ присутствій (мы говоримъ про первое время) печатались во всеуслышаніе на всю Россію; ихъ можно пе-

речитать и теперь и прямо изъ нихъ видѣть: правду-ли мы говоримъ.

При этомъ слѣдуетъ еще замѣтить вотъ что́. Персоналъ губернаторовъ, какъ извѣстно, вовсе не былъ провѣренъ въ то время съ особливою тщательностью. На губернаторскія мѣста, когда повѣяло духомъ обновленія, вовсе не были назначаемы какія-либо новыя лица противъ обыкновеннаго; но таковъ былъ животворящій духъ памятнаго Положенія 19-го февраля 1861 года, такъ былъ искрененъ призывъ къ жизни всѣхъ лучшихъ живыхъ силъ Россіи и такъ искренне самое желанье, самый спросъ обновленія, что всѣ по неволѣ, не исключая и плохихъ губернаторовъ, старались стать въ уровень новой эпохи и великаго дѣла.

То-же должно сказать о мировыхъ посредникахъ. Развѣ всѣ они пришлись въ уровень прекраснаго закона? Всѣ-ли они удовлетворяли тому умственному цензу, который былъ для нихъ обязателенъ? Конечно, нѣтъ. Не всѣ были въ уровень, не всѣ удовлетворяли; закрались въ новыя учрежденія даже дѣльцы стариннаго закала. Но несмотря на это, всѣ прониклись важностью порученной имъ миссіи, почувствовали нравственный долгъ въ силу оказаннаго имъ довѣрія: таковъ былъ общій духъ учрежденія!

Какъ въ школѣ, помимо предписанныхъ программъ и указанныхъ предметовъ, важнѣе всего самый духъ заведенія, его общій нравъ и обычай,—такъ точно и въ педагогіи государственной важнѣе писаннаго закона объ учрежденіи—самъ духъ, водившій его строками. Отнимите только его... Что̀ останется?

XIV.

Совершился фактъ на Руси, надъ которымъ сто́итъ подумать.

Органическое законодательство на все многомилліонное крестьянство не было отмѣнено никакимъ новымъ закономъ, ни замѣнено другимъ. А на самомъ дѣлѣ, не прошло и пяти лѣтъ со дня обнародованія Положенія 19-го февраля 1861 года, оно уже оказалось разорваннымъ въ лоскутки.

Всѣмъ памятно какъ въ первое время крестьянской реформы, все что̀ было лучшаго въ русскихъ общественныхъ силахъ, устремилось на мѣста мировыхъ посредниковъ. Но, безъ сомнѣнія, не менѣе памятно еще и другое время: та злосчастная пора, когда всѣ эти лучшіе люди, будто сговорившись, въ обгонку другъ предъ другомъ, бѣжали со своихъ мѣстъ.

Иные весьма наивно объясняютъ это тѣмъ, что съ окончаніемъ срока введенія въ дѣйствіе уставныхъ грамотъ, видите-ли, бо́льшая часть мировыхъ посредниковъ сочли свою задачу оконченною и долгъ, тяготѣвшій на ихъ гражданской совѣсти, исполненнымъ. Прилётъ въ глушь изъ столицъ, или даже изъ Дрездена и Парижа, этихъ лучшихъ русскихъ людей составлялъ, видите-ли, для нихъ немаловажную жертву; они были въ силахъ приносить ее, пока считали свое отечество погибающимъ; но сейчасъ-же удалились съ арены дѣйствія, едва успѣли обезпечить его, и дальнѣйшее благосостояніе усиліями ихъ трудовъ казалось имъ навсегда упроченнымъ.

Легко допустить, что многіе изъ столичныхъ снобсовъ, и даже изъ нашихъ именно Парижскихъ и Дрезденскихъ обывателей, не понявъ ни духа, ни смысла мироваго учрежденія, въ самомъ дѣлѣ бросались на мѣста мировыхъ посредниковъ, какъ на модную новинку. Но такихъ господъ, по счастію, нигдѣ не зовутъ лучшими людьми. По крайней мѣрѣ, не этимъ именемъ называли ихъ сами крестьяне, когда нѣкоторые изъ нихъ, дѣйствительно, появлялись въ глуши какъ прилетные гости, красуясь посредническими цѣпями: помнится, въ народѣ ихъ тогда называли „французами“.

Можно будетъ, пожалуй, допустить и вотъ что. Многіе дѣйствительно лучшіе люди, не считавшіе самопожертвованіемъ трудовую обязанность мироваго посредника и житьё въ деревнѣ, п осто нуждались или во временномъ отдыхѣ, или въ періодическихъ отлучкахъ въ столицы.

Но именно подобнаго рода дѣятели, сколько извѣстно, не отказались-же впослѣдствіи принять участіе въ новомъ учрежденіи мировыхъ судей (по крайней мѣрѣ въ должности, если не участковаго, то почетнаго мироваго судьи). Ничто не мѣшало подобнаго рода сибаритамъ, вначалѣ посвятившимъ себя всецѣло должности мироваго посредника, сдать свою должность кандидату, не отказываясь на отрѣзъ и вовсе отъ своего участка. Кандидатовъ было много; всѣ служебныя преимущества и обязанности между посредниками и ихъ кандидатами сдавались другъ другу легко и полюбовно. И вотъ подобнаго рода дѣятели, временно хотя-бы на долго, отлучаясь изъ родныхъ селеній, могли-бы временно-же хотя на короткій срокъ, опять заглядывать въ свой родной уголокъ, являться дѣятельными членами въ своихъ мировыхъ участкахъ, поддерживая первоначальный духъ мироваго посредничества, завѣщанный первыми днями ихъ собственнаго служенія въ этой должности.

Наконецъ — и это главное — главный контингентъ мировыхъ посредниковъ состоялъ изъ тѣхъ-же дѣятелей, которые съ тѣхъ поръ и по сію минуту не перестаютъ, въ томъ или другомъ видѣ, служить крестьянскому дѣлу, обращаются въ земекихъ учрежденіяхъ и въ должности мировыхъ судей, оставаясь безвыѣздно на мѣстѣ. Скромные и по возможности образованные (даже свыше возможности, допускаемой денежными средствами образованные) люди, хранящіе добрыя преданія русской семьи и русскія вѣрованія, такіе люди и дѣятели въ мирной и сельской Россіи найдутся всегда вездѣ. Только они, эти несомнѣнно хорошіе и добрые люди, отличаются удивительною способностью—особенностью, впрочемъ, самаго мирнаго существа въ мірѣ, улитки,—сейчасъ уходить въ себя, едва на нихъ круто взглянутъ. Они забиваются въ свой уголъ, едва на дворѣ непогода. Но пусть выглянетъ солнце; пусть на дворѣ хоть мало прояснится; попробуйте, кликните кличъ, и вы сами удивитесь, какое множество высыпало этихъ мирныхъ и почтенныхъ людей, и гдѣ-же они въ самомъ дѣлѣ укрывались, пока на дворѣ шумѣла непогода?

Нѣтъ! причины повальнаго, а съ тѣмъ вмѣстѣ большею частью вынужденнаго бѣгства мировыхъ посредниковъ были совсѣмъ иныя. Если правда, что въ первое время серіозное чувство гражданской обязанности и чувство-же самоуваженія побуждали занимать эту должность, то мы въ правѣ предположить, что эти самые стимулы, а не иные, побуждали и къ обратному дѣйствію, когда обстоятельства измѣнились. Люди, которые простодушно увѣрены, что первоначальные мировые посредники обреклись на самопожертвованіе въ видахъ спасенія Россіи; а потомъ удалились съ арены, едва это спасеніе сочли достаточно обезпеченнымъ, и что они болѣе не захотятъ вернуться на свои мѣста, развѣ лишь опять въ случаѣ набатнаго призыва,—эти люди не понимаютъ ни прежняго капитальнаго значенія мироваго учрежденія въ его первоначальномъ видѣ, ни размѣровъ зла, въ которое сельская Россія повергнута его упадкомъ; да полно, не понимаютъ-ли они самую эмансипацію... нѣсколько на фальшивый манеръ?

XV.

Мировые посредники, едва возникли, встрѣтили много вражды къ своему учрежденію въ самомъ обществѣ.

Начать съ того, что съ первыхъ слуховъ о назначеніи въ эту должность какихъ-то отборныхъ лучшихъ людей изъ мѣстныхъ землевладѣльцевъ, возбудилась ревность другъ къ другу съ затаенною боязнью: не очутиться-бы самому за штатомъ, попавъ слѣдовательно въ разрядъ худшихъ?

Эта ревнивость другъ къ другу могла со стороны казаться очень забавною; но нельзя отрицать, что ея источникъ коренился въ дѣйствительной неудовлетворительности самого закона. Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ мировому посреднику предоставлялось съ одной стороны несомнѣнное политическое значеніе, а съ другой стороны оно признавалось лишь естественнымъ послѣдствіемъ его права землевладѣнія въ данной мѣстности, то предпочтеніе однихъ другимъ получало уже характеръ личнаго предпочтенія, оцѣнки личныхъ нравственныхъ качествъ. Но если во всякомъ благоустроенномъ обществѣ правоспособность гражданъ, на основаніи ихъ личныхъ нравственныхъ качествъ, предполагается за всѣми одинаковая и малѣйшее нарушеніе этого правила чинитъ обиду,—то какое-же широкое поприще для этой обиды являлось именно тутъ при тогдашнихъ исключительныхъ обстоятельствахъ! Сочувствіе къ освобожденію народа, знаніе его нуждъ и потребностей; умѣніе съ нимъ говорить толково, наконецъ просвѣщенная заботливость о водвореніи законности и порядка,—вотъ безъ сомнѣнія тѣ нравственныя качества, которыя требовались прежде всего отъ мироваго посредника. Кто-жъ-бы не захотѣлъ быть оффиціально признаннымъ за человѣка, обладающаго такими прекрасными качествами? Или кто-бы счелъ себя польщеннымъ, изъ людей дѣйствительно сочувствовавшихъ реформѣ, если, бывъ обойденъ, онъ признавался оффиціально какъ-бы лишеннымъ требуемыхъ достоинствъ.

Такъ какъ притомъ въ составъ мировыхъ посредниковъ попало все-таки не мало лицъ, не совсѣмъ хорошо понимавшихъ свою задачу, то весьма понятно, что общее неудовольствіе, обусловливаемое несовершенствомъ закона, въ частности могло еще находить весьма основательные поводы и выражаться весьма справедливымъ раздраженіемъ.

Неудовлетворительность назначенія посредниковъ смягчалась нѣсколько предоставленіемъ губернатору въ этомъ случаѣ дѣйствовать по совѣщаніи съ предводителями дворянства и еще тѣмъ, что число мировыхъ участковъ предоставлено было на волю самого

общества; но тѣмъ не менѣе законъ былъ несовершененъ, и это, какъ мы сказали, содѣйствовало накопленію мелочной, полузатаенной досады къ мировымъ посредникамъ. Если къ такой полузатаенной досадѣ присоединить разразившіяся въ послѣдствіи частныя неудовольствія нѣкоторыхъ помѣщиковъ уже за личныя распоряженія посредниковъ въ томъ или другомъ случаѣ, по ихъ мнѣнію неправыя,—то сдѣлается совершенно понятнымъ, почему мѣстное населеніе, въ лицѣ дворянъ, повидимому мало дорожило учрежденіемъ мировыхъ посредниковъ. И когда наконецъ съ высоты бюрократическихъ сферъ былъ возбужденъ вопросъ о такъ-называемомъ сокращеніи участковъ, то само общество отнеслось къ нему съ рѣдкимъ единодушіемъ, достойнымъ и лучшихъ цѣлей, и лучшихъ поводовъ. Впрочемъ, это случилось уже въ тѣ позднѣйшія времена, когда мировому учрежденію было нанесено столько ранъ и уже настолько принизили мировыхъ посредниковъ, что нечего было и жалѣть о ихъ сокращеніи, ни даже хотя-бы о совершенномъ распущеніи ихъ.

Противъ мировыхъ посредниковъ враждовали еще съ самаго начала тѣ люди, которые, привыкнувъ къ крѣпостному праву, остались-бы потомъ недовольны всякимъ порядкомъ и какими угодно учрежденіями. Стоитъ только себѣ представить, что наканунѣ еще царило крѣпостное право; наканунѣ еще жива была старческая, почти съ дѣтствомъ граничившая увѣренность въ какую-то чуть-ли не религіозную необходимость этого права въ Россіи; что, наконецъ, эта увѣренность еще наканунѣ обнародованія Положенія разражалась пророчествами о томъ, что никакой отмѣны крѣпостнаго права не произойдетъ на дѣлѣ; что какихъ про то ни пиши законовъ, а приводиться они будутъ въ исполненіе своимъ-же землякомъ, добрымъ русскимъ человѣкомъ... И вдругъ, органами власти для осуществленія Положенія 19-го февраля 1861 года явились новые люди совершенно неслыханнаго режима! Насупилась сѣдая деревенская старина Русская,—и махнувъ рукой, добродушно покорилась! Тутъ-то сказалась глубокая черта прямо-русской простоты душевной: всякій, кто даже, какъ коренастый грибъ на своей черноземной почвѣ, выросъ на почвѣ крѣпостнаго быта, всякій открещивался теперь отъ своихъ старинныхъ грѣховъ, какъ отъ обличенной ереси, и спѣшилъ заявить міру, что и онъ отъ міру не прочь.

И нерѣдко, въ виду именно такого „крѣпостника“, выросшаго въ захолустіи, совѣстно дѣлалось за красовавшагося рядомъ съ

нимъ петербуржскаго чиновника въ черномъ фракѣ и цѣпи мироваго посредника, потому что именно въ немъ-то, подъ конецъ всего, при избыткѣ утонченныхъ манеръ и смѣшаннаго съ ядомъ либерализма, и угадывался дѣйствительный продуктъ высшихъ сферъ высшей пробы крѣпостнаго права. Когда мы говоримъ „крѣпостникъ", мы ничуть не разумѣемъ подъ этимъ именемъ непремѣнно помѣщика и тѣмъ менѣе такихъ помѣщиковъ, которые-бы вовсе не знались со столичнымъ духомъ. Напротивъ того, справедливость требуетъ сказать, что при введеніи уставныхъ грамотъ и вообще во все продолженіе размежеванія помѣщичьихъ и крестьянскихъ интересовъ, никто не принесъ столько дѣйствительныхъ жертвъ и не выказалъ такой готовности уступокъ, какъ именно эти незнавшіеся со столичнымъ духомъ помѣщики; отнюдь не съ ними приходилось и мировымъ посредникамъ препираться о какихъ-либо уступкахъ. Итакъ, люди, не привыкшіе ни къ какому порядку, кромѣ собственнаго произвола, и не перестававшіе считать крѣпостное право, даже послѣ его отмѣны, своею естественною привилегіей, первые сдѣлались отъявленными врагами первоначальнаго мироваго учрежденія — и это весьма сознательно.

XVI.

Въ Положеніи 19-го февраля 1861 года многое было намѣчено лишь въ половину, съ оговоркой, что впослѣдствіи будутъ сдѣланы измѣненія, соотвѣтственныя указаніямъ опыта.

Такъ, статья 15 Положенія о кр. учр. прямо гласила такъ: „Порядокъ избранія мировыхъ посредниковъ, по истеченіи трехъ лѣтъ, будетъ опредѣленъ особыми правилами".

Далѣе относительно волостнаго крестьянскаго суда посредники были поставлены закономъ въ положеніе неопредѣленное. Съ одной стороны, по обязанности принимать жалобы обиженной стороны на неправильныя дѣйствія „сельскихъ и волостныхъ должностныхъ лицъ", а также по возложеніи закономъ отвѣтственности за исполненіе приговоровъ волостнаго суда на сельскихъ старшинъ и старостъ, — посредники прямо были обязаны являться блюстителями правды волостнаго суда и мировой съѣздъ посредниковъ былъ совершенно въ своемъ законномъ правѣ уничтожать нелѣпые приговоры. Но, съ другой стороны, законъ съ какою-то тщательностью выгораживалъ какъ-бы абсолютное верховенство волостной юрисдикціи. Было-бы слѣпотствомъ отстаивать непогрѣшимость такой

излишне-преувеличенной ревнивости, въ виду накоплявшихся съ каждымъ годомъ уроковъ жизни. Требовалось опредѣленнѣе формуловать право и обязанность мироваго посредника входить въ разсмотрѣніе неправильныхъ дѣйствій волостныхъ должностныхъ лицъ (куда относятся и волостные судьи) по жалобамъ обиженной стороны, и еще опредѣлительнѣе признать за мировымъ съѣздомъ право и обязанность отмѣнять эти жалобы, разсматривая ихъ *по существу*, — что въ началѣ и дѣлалось, пока не было отмѣнено министерскимъ циркуляромъ.

То-же должно сказать по поводу постановленій сельскихъ и волостныхъ сходовъ. Хотя мировой посредникъ и имѣлъ легальное основаніе пресѣкать въ разныхъ видахъ самодурство общины надъ отдѣльнымъ лицомъ (такъ напримѣръ, при вызовѣ односельца изъ Сибири для старосства, за тѣмъ, чтобъ онъ дорогою цѣною откупился у міра отъ этой должности); но какъ близорукіе друзья, такъ и дальнозоркіе враги крестьянскаго самоуправленія отстаивали и въ этомъ случаѣ полную неприкосновенность мірскихъ рѣшеній: послѣдніе злорадствовали абсурднымъ рѣшеніямъ. Вообще мировой посредникъ, поставленный самимъ закономъ, въ силу возложенныхъ на него правъ и обязанностей, правительствующимъ лицомъ своего мироваго участка, въ то-же время былъ, такъ-сказать, неохотно и какъ-бы съ болѣзненною оговоркой признаваемъ за таковаго по буквѣ закона. Это составляло весьма вредную недоговоренность. Послѣ первыхъ лѣтъ практики мировыхъ учрежденій вполнѣ выяснилось, и съ каждымъ годомъ все настойчивѣе выяснялась эта потребность признать еще опредѣленнѣе и откровеннѣе административное значеніе посредника въ волостяхъ его мироваго участка. Требовалось даже предоставить ему инціативу по многимъ дѣламъ. Такъ какъ эта должность была-бы земская, подъ непрестаннымъ контролемъ цѣлаго общества, не говоря уже о контролѣ губернской власти, то не предстояло ни малѣйшихъ опасеній за ея извращеніе въ должность недоброй памяти окружныхъ.

Еще дальше. Такъ какъ самъ законъ возложилъ на обязанность старостъ и старшинъ чисто-полицейскія обязанности, и такъ какъ, съ упраздненіемъ вотчинной по крѣпостному праву полиціи, почувствовалась надобность въ какой-либо новой полиціи, то самъ собою уже начиналъ возникать вопросъ и о полиціи земской, мѣстной.

Въ самомъ дѣлѣ, когда Положеніе 19-го февраля 1861 года возлагало на мѣстное самоуправленіе чисто-полицейскія обязанности по охраненію лицъ и имуществъ, относя это на сельскихъ старшинъ и старостъ,—то не было-ли ужъ этимъ продиктовано сознаніе о необходимости чисто-земской полиціи, помимо полиціи административной, государственной въ собственномъ смыслѣ? У насъ жалуются на бездѣйствіе полиціи при охранѣ общества. Уѣзднымъ полицейскимъ управленіямъ, ихъ начальникамъ и становымъ придаютъ въ помощь сотскихъ и десятскихъ. Но не говоря уже о томъ, что эти сотскіе и десятскіе значатся лишь въ графахъ казенныхъ списковъ, а на самомъ дѣлѣ крестьянскія общества уклоняются отъ этихъ должностей и отбываютъ ихъ міромъ какъ повинность,—всѣмъ этимъ сотскимъ, десятскимъ, становымъ и начальникамъ уѣздныхъ полицейскихъ управленій буквально не достаётъ времени даже для того, чтобы только функціонировать въ качествѣ слугъ губернской власти; охрана общества отходитъ совсѣмъ на задній планъ; прямо сказать: ея нѣтъ вовсе.

XVII.

Антагонизмъ между новою общественною организаціею и старымъ казеннымъ порядкомъ (для всѣхъ, кто имѣлъ очи чтобъ видѣть и уши чтобъ слышать) обличался явно. Такъ какъ, при дѣйствующемъ у насъ ancien régime, сама даже губернская центральная власть только слѣпое орудіе и слуга высшихъ бюрократическихъ сферъ и ничего больше,—то именно черезъ нее и стало отражаться ихъ вездѣ-сущее и все-собой-наполняющее вліяніе — не во здравіе самобытному мировому институту. Предсѣдатели губернскихъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствій, свѣрившись въ тонѣ по заданному камертону, болѣе ужъ не сбивались. Антагонизмъ между губернскими присутствіями и уѣздными мировыми съѣздами (прошелъ еще годъ-другой) сталъ уже обнаруживаться въ полной силѣ.

Въ первое время, обиженной сторонѣ предоставлялось приносить жалобы на дѣйствіе волостныхъ судей мѣстному мировому посреднику, и мѣстный мировой съѣздъ отмѣнялъ несправедливыя, а иногда, прямо сказать, дикія рѣшенія. Въ послѣдствіи было внушено, что законъ предоставляетъ мировому съѣзду лишь разсмотрѣніе того, соблюденъ-ли порядокъ и форма суда по случаю того или другаго частнаго постановленія, а отнюдь не разсмот-

рѣніе дѣла по существу. Словомъ, мировому съѣзду предписана лишь возможность *кассаціи* рѣшеній волостнаго суда въ случаѣ несоблюденія извѣстныхъ формъ судопроизводства, и напротивъ у него было отнято разсмотрѣніе жалобъ на волостной судъ—въ апелляціонномъ смыслѣ. Крестьяне, привыкнувъ съ самаго начала находить себѣ въ мировыхъ посредникахъ защиту отъ неправильныхъ волостныхъ рѣшеній, а въ мировыхъ съѣздахъ видѣть высшую инстанцію, которая разсматриваетъ дѣло и всегда нелицепріятно его рѣшаетъ, отказывались вѣрить новому, для мировыхъ учрежденій обязательному, истолкованію закона. Они теперь становились въ тупикъ, задаваясь вопросомъ: что за превращеніе постигло вдругъ и посредниковъ и мировые съѣзды, прежде ими, крестьянами, столь любимые? Долгое время они еще не могли привыкнуть къ такому нововведенію и продолжали искать себѣ — теперь возбраненной — защиты. Тогда-то началась эта невѣроятная и лишенная всякаго смысла процедура — обжалованія рѣшеній „волостнаго суда“ *въ кассаціонномъ порядкѣ*. Крестьяне, обиженные волостнымъ судомъ, упорствовали и настаивали, чтобы мировой посредникъ принялъ жалобу. Посредникъ, принявъ жалобу, надписывалъ на ней: „передать мировому съѣзду“. Мировой съѣздъ вызывалъ челобитчиковъ и судей и иногда волостнаго старшину и свидѣтелей для удостовѣренія касательно соблюденія или несоблюденія формъ судопроизводства. Вызванные являлись въ уѣздный городъ, превосходно излагали все существо дѣло; а мировой съѣздъ долженъ былъ выслушивать хотя-бы вопіющее и сердце надрывавшее рѣшеніе... и только надписывать одну и ту же убійственную резолюцію: „приговоръ утвердить, а жалобу оставить безъ послѣдствій“.

Съ этого времени отношенія самого народа къ посредникамъ стали измѣняться — и народъ былъ въ великомъ недоумѣніи: что такое вдругъ попритчилось надо всѣмъ порядкомъ? Мировые съѣзды начали глохнуть...

У насъ много было толковъ противъ круговой поруки и вообще противъ общиннаго устройства. Но вотъ что неоспоримо: разъ законъ обязываетъ общество круговою порукой, самъ-же онъ долженъ предоставить обществу право и удобство „удалять порочныхъ членовъ“. Кто близко зналъ дѣло въ его живой обстановкѣ и какъ оно происходитъ на мѣстѣ, тотъ ясно видѣлъ, какое геройство въ своемъ родѣ требуется со стороны общества для того,

чтобы составить наконецъ такой приговоръ объ удаленіи. Удаляемый естественно дѣлался злѣйшимъ врагомъ общества и всячески могъ ему вредить, самъ оставаясь безнаказаннымъ. Крестьяне постоянно въ этихъ случаяхъ просили объ одномъ: всякаго подвергавшагося мірскому приговору объ удаленіи немедленно препровождать куда слѣдуетъ, не оставляя на мѣстѣ. Сами мировые посредники ходатайствовали объ упрощеніи производства по этимъ дѣламъ, наконецъ о возможности отсылать приговоренныхъ, до времени, въ острогъ ближняго города, такъ какъ крестьянамъ невозможно было оставаться съ подобнымъ „порочнымъ членомъ“ въ добрыхъ отношеніяхъ. Но вмѣсто облегченія, предписывались постоянно лишь новыя, еще обременительнѣйшія для общества, тягости касательно удаленія порочныхъ членовъ; въ довершеніе была установлена исключительная мѣра, о которой конечно не просилъ ни одинъ изъ мѣстныхъ жителей. Всякому „удаляемому“ велѣно было, напротивъ, давать льготный срокъ, въ теченіе котораго онъ могъ на свободѣ пріискивать мѣсто для приписки себя къ новому сельскому обществу, буде найдется гдѣ-около желающее принять его. Такимъ удаляемымъ выдавались на сей предметъ особые виды, которые народъ и прозвалъ: „волчьи паспорты“. Именно во время установленія этихъ волчьихъ паспортовъ случилось дѣло, которое въ свое время было разсказано въ нѣкоторыхъ газетахъ и содѣйствовало быть можетъ окончательной отмѣнѣ этихъ волчьихъ паспортовъ. Нѣсколько человѣкъ, ходившихъ по такого рода паспортамъ, мстили своимъ односельцамъ поджогами; два-три раза крестьяне излавливали ихъ и представляли куда слѣдуетъ, но ихъ отпускали на волю; наконецъ, схваченные на мѣстѣ преступленія въ послѣдній разъ, всѣ они были сожжены народомъ.

Полиція, помнившая первое время уже приведенную нами статью о немедленномъ и безотговорочномъ исполненіи всѣхъ законныхъ требованій посредника, теперь также измѣнила тонъ. Мало-по-малу и начальникъ уѣзднаго полицейскаго управленія, и самъ становой, начинали освоиваться съ крестьянскимъ самоуправленіемъ настолько, что сами скликали, когда имъ представлялось нужнымъ, сельскій сходъ,—и съ волостнымъ правленіемъ настолько, что прямо уже отъ себя препровождали туда одну бумагу за другою, чего въ началѣ не было. За то, если требовалъ вмѣшательства полиціи въ томъ или другомъ случаѣ самъ мировой посредникъ (такъ напримѣръ,

если для приведенія въ дѣйствіе совершенно справедливаго приговора волостнаго суда не доставало средствъ у старосты и старшины, которымъ буянъ прямо грозился топоромъ), полиція, ссылаясь на священную неприкосновенность крестьянскаго самоуправленія, смиренно признавала себя „некомпетентною оказывать содѣйствіе". Можно подтвердить письменными документами, хранящимися въ архивахъ мировыхъ учрежденій, что оправданіе подобныхъ отреченій мѣстной полиціи отъ прямой своей обязанности исходило отъ самой губернской власти. Эта власть ссылалась на статью о приведеніи въ исполненіе приговоровъ волостнаго суда старостой и старшиной на ихъ общую отвѣтственность въ томъ будто-бы смыслѣ, что полиціи приводить эти приговоры въ исполненіе возбраняется. За то, если въ первое время губернаторъ проѣзжалъ по отдаленнымъ уѣздамъ ввѣренной ему губерніи, сами посредники, весьма естественно, считали долгомъ простаго общежитія привѣтствовать его и провожать въ своихъ мировыхъ участкахъ какъ главнаго хозяина всѣхъ въ губерніи мѣстныхъ мировыхъ учрежденій; и начальнику уѣзднаго полицейскаго управленія не было никакой надобности оповѣщать народъ о проѣздѣ губернатора,—теперь къ самому посреднику прямо изъ полиціи падало на столъ не то приватное письмо, не то оффиціальное сообщеніе о такого рода проѣздѣ, съ фразою въ концѣ: „о чемъ и считаю долгомъ увѣдомить для принятія къ свѣдѣнію".

Посредникъ, лишенный существеннѣйшихъ функцій своей прежней обязанности, былъ обращенъ теперь съ лихвою въ простаго писца, въ послѣдняго канцелярскаго служителя, былъ затопленъ въ чернилахъ. Масса дѣлъ чисто-нотаріальнаго характера была возложена на него; а по отношенію къ нижнимъ воинскимъ чинамъ, водворяемымъ въ селеніяхъ, посредникъ былъ обращенъ ни много ни мало въ полковаго писаря. По рекрутскимъ дѣламъ возникала нескончаемая казуистика; довольно было ничтожнѣйшей жалобы, лишенной всякаго основанія и значенія, обращенной прямо къ губернатору—для того, чтобы по поводу ея тянуть на цѣлый годъ „начальническую" переписку. Если посредникъ иногда, по простому чувству человѣчности, посягалъ въ это время вновь на какой-либо распорядительный поступокъ по жалобамъ на неправильныя дѣйствія сельскихъ и волостныхъ должностныхъ лицъ, онъ рисковалъ уже, по обвиненію въ превышеніи власти, быть отданнымъ подъ судъ. Онъ еще ссылался на высочайше-утвержденное Положе-

ніе, изъ губернскаго присутствія приходила бумага со ссылками на Уставы о службѣ гражданской. Губернское присутствіе, относительно мироваго съѣзда, обратилось прямо, по смыслу уставовъ о службѣ гражданской, въ высшую инстанцію, которая приказываетъ и предписываетъ... Положеніе 19-го февраля de facto было отмѣнено.

Возникаютъ учрежденія: „мировыхъ судей“, затѣмъ такъ-называемыя „земскія“. Народъ, возрадовавшись, думалъ найти хоть въ нихъ продолженіе и восполненіе сведеннаго на-нѣтъ мироваго института. Онъ кинулся къ нимъ съ своими нуждами, требованіями, запросами... увы! на нихъ печать мертвизны. И сердце народа отвернулось отъ мертворожденныхъ учрежденій.

Все это такія разрозненныя, разчлененныя, изолированныя отъ органической совокупности права, канцеляріи и Приказы, которыя замыкаются порознь сами въ себѣ и стукаются лбомъ о верхнія, поставленныя надъ ними бюрократическія ступени.

Въ этихъ „Письмахъ“ мы позволили себѣ выразиться, что кто истолковывалъ удаленіе мировыхъ посредниковъ со службы разными несбыточными поводами, тотъ ровно ничего не понималъ и не смыслилъ — въ дѣйствительномъ мировомъ институтѣ. Его значеніе въ томъ и заключалось, что оно предоставляло живымъ внутреннимъ силамъ Россіи дѣйствительную самодѣятельность ко благу всего государства; оно создавало въ самомъ обществѣ здоровый политическій элементъ и притомъ съ несомнѣнными залогами органическаго развитія. А когда нѣтъ этого — нѣтъ и земства.

„Московскія Вѣдомости“ 1873—1874 г.

Современный фельетонъ изъ газеты „Русь“

(1880 — 1881 гг.)

Скрытыя причины явнаго зла.— Нѣчто о XVIII вѣкѣ.— Раскрѣпощенное крестьянство и, распущенное въ народѣ, дворянство.— Мнимое земство.— Страшенъ сонъ — милостивъ Богъ.

I.

Положеніе 19-го февраля 1861-го года, какъ всѣмъ извѣстно, освободило народъ отъ крѣпостной зависимости; но оно-же (что

мало кѣмъ сознано) установило въ началѣ истинныя основы для истиннаго самоуправленья. На первыхъ порахъ, по освобожденіи народа, всюду взялись дѣйствительныя мировыя учрежденія и настоящія, въ полномъ смыслѣ этого слова, земскія силы.

При участіи мировыхъ посредниковъ крестьянское самоуправленіе было тогда не то что теперь. Безъ всякихъ претензій, а только дѣловымъ образомъ—и вполнѣ еще правоспособное въ собственномъ дѣлѣ—переходило оно истинно въ мѣстное самоуправленіе вообще. Обставленное мировыми посредниками по всѣмъ участкамъ, а черезъ нихъ восходя до уѣздныхъ мировыхъ съѣздовъ, оно надежно на нихъ опиралось и черпало въ нихъ многую силу; а эти въ свою очередь (то-есть мировые сельскіе участки и уѣздные съѣзды) исходя изъ крестьянскаго самоуправленія и неразрывно съ нимъ функціонируя, служили еще его естественнымъ продолженіемъ, развивая его до самоуправленія—ужъ вообще мѣстнаго, всеуѣзднаго, земскаго.

Разумѣется, это не могло нравиться собственно такъ-называемой бюрократіи: ни ея низинамъ, ни ея вершинамъ. Со стороны первыхъ ожесточеніе противъ мировыхъ учрежденій выражалось тогда въ самой простой и грубой формѣ:—„вы у насъ послѣдній кусокъ хлѣба отняли!“ говорили тогда волостнымъ старшинамъ полицейскія управленія, уѣздныя казначейства и проч. А въ высшихъ бюрократическихъ сферахъ то-же самое ожесточеніе одухотворялось еще въ болѣе тонкую борьбу собственно изъ-за принципа власти. Власть была ими вдругъ почувствована, какъ-бы выскользнувшею изъ рукъ и переданною въ извѣстной степени въ самый народъ—въ лицѣ общественныхъ людей, его передовыхъ дѣятелей.—Зачуявъ, такимъ образомъ, въ дѣйствительныхъ мировыхъ учрежденіяхъ конецъ своего régime et raison d'être, на нихъ и обрушилась всею тяжестью вся, сверху до низу, наша закоренѣлая бюрократическая система.

Это понятно; менѣе понятно (слѣдуетъ однакожъ и это понять рано или поздно), что у насъ сама „публика“—*одного поля ягода* съ нашею бюрократіей. Въ этой-то круговой порукѣ и вся бѣда. Публика и бюрократія у насъ—продуктъ одного и того-же творчества. То и другое вышло у насъ въ исторіи изъ одной и той-же лабораторіи, ей-же имя: XVIII-ый вѣкъ.

Далѣе мы будемъ имѣть случай громко хвалить нашъ XVIII вѣкъ (едва-ли еще слышались ему похвалы громче и искреннѣй!),

а теперь сойдемъ въ его глубокую тьму, откуда вышло само крѣпостное право. Да! есть нѣкоторое „специфическое зло“, исшедшее несомнѣнно изъ страшной лабораторіи нашего XVIII вѣка, и этимъ специфическимъ зломъ оказываются у насъ проникнуты насквозь и проѣдены до мозга костей (вотъ злѣйшіе-то бюрократы!) люди даже самыхъ независимыхъ общественныхъ положеній, и самыхъ вольныхъ профессій. Не были отъ него избавлены ни академическая ученость, ни университетская каѳедра, ни публицистика, начавшаяся у насъ съ *курантовъ*. Это специфическое зло кладетъ свое особое клеймо на все, чего коснулось; тьмитъ всѣхъ, кого затронуло; налагаетъ на всѣхъ нѣкоторый „казенный“ штемпель, по которому и отличишь сразу „бюрократа“, кто-бъ онъ по своему званію ни былъ — будь это самъ крупный землевладѣлецъ изъ покойной партіи газеты „Вѣсть“; будь это торговаго званія человѣкъ, лишь-бы изъ тѣхъ, кто себя не причисляетъ къ купцамъ, а зоветъ *негоціантомъ;* будь это наконецъ ремесленникъ и мѣщанинъ — лишь-бы нарядился во фракъ; будь это въ концѣ концовъ крестьянинъ, распростившійся со своимъ сельскимъ міромъ и надѣломъ — для трактира, и также облекшійся въ пиджакъ. Нынче, за билліарднымъ кіемъ, въ пиджакѣ съ толкучаго рынка, чего добраго, ужъ превращенный въ трактирнаго героя, и крестьянинъ сталъ „западникъ“ хоть куда!... Итакъ не только собственно такъ-называемые бюрократы, но и сама „*публика*“, такимъ образомъ, очутились въ странномъ положеніи относительно не мнимыхъ, а дѣйствительныхъ мировыхъ учрежденій. Всѣмъ захотѣлось скорѣйшей ихъ отмѣны. Наша „наука“ говорила одно въ пользу скорѣйшей отмѣны; наши знатоки „мѣстныхъ нуждъ и потребностей“, вторя имъ, поддакивали другое; представители high-lif третье; „гуманные“ люди ужасались, какъ это приставили къ народу опекуновъ какихъ-то; каждый несъ свое, и все смѣшивалось въ дикомъ хорѣ всеобщей разноголосицы.

Говорили, что мировые посредники составляютъ какое-то status in statu: это-де нетерпимо съ государственной точки зрѣнія. Говорили еще, что въ этомъ учрежденіи представляется смѣшеніе власти административной и судебной, — а это, молъ, противорѣчитъ „наукѣ“. При томъ это учрежденіе будто-бы годилось лишь какъ *временное*, единственно, видите-ли, для отмѣны крѣпостнаго права и якобы даже созданное лишь — ad hoc; а у общества есть вѣчные интересы и болѣе живыя потребности: борьба съ

жучкомъ, почты, телеграфы и прочее; что именно въ сихъ видахъ слѣдуетъ временное замѣнить вѣчнымъ и т. д., и т. д.

Какъ будто въ самомъ дѣлѣ можно отдѣлять судебную власть отъ административной на низшихъ ступеняхъ государева дѣла, въ нижайшихъ изъ его отправленій! Какъ будто предупрежденіе и пресѣченіе преступленій не составляетъ еще существеннѣйшей стороны, не говоримъ „самоуправленія“, а простой самоохраны общества!... Что касается до борьбы съ гессенской мухой, то и это хорошее дѣло отступаетъ совершенно на задній планъ передъ главнымъ интересомъ земли: охраненія вкругъ себя тишины и спокойствія, чтобы прежде всего личная и имущественная безопасность земскихъ людей была гарантирована. Это-ли потребность *временная?* Неужели она была свойственна лишь первымъ двумъ-тремъ шестидесятымъ годамъ, а въ настоящее время ея никто даже не ощущаетъ? Мировые посредники, правда, были изъяты изъ той лѣствицы четырнадцати классовъ, на которые у насъ дѣлится привилегированная публика. Но не это-ли забавное дѣленіе публики на привилегированную и непривилегированную противорѣчитъ здравымъ требованіямъ здравой государственной науки? Притомъ еще раздѣленіе самой привилегированной публики именно на четырнадцать классовъ, изъ которыхъ одни чины давно померли, а прочіе хотя и здравствуютъ даже съ прибавкой къ титулу „дѣйствительныхъ“ — но ровно-же ничего дѣйствительнаго не выражаютъ, — не это-ли противорѣчитъ — ужъ не наукѣ, а простому.. чувству дѣйствительности? Наконецъ, въ нѣкоторой части публики, ненависть къ мировымъ посредникамъ и къ поддерживаемому ими крестьянскому самоуправленію знаете-ли на чемъ основывалась, читатель? на томъ, что при такомъ общемъ строительствѣ Русской земли упраздняется надобность въ созданіи палаты лордовъ съ ея послѣдствіями, — или обратно, упраздняется надобность даже и такихъ учрежденій, которыхъ-бы сама палата лордовъ явилась послѣдствіемъ. А вѣдь гдѣ лорды, тамъ и палата общинъ...

Вопросъ, повторяемъ, съ какой стороны ни погляди, тутъ представлялся весьма сложенъ, весьма сбивчивъ.

И случилось именно то, чего и слѣдовало ожидать. Не хватило народнаго самосознанія; молоды-зелены оказались его молодые ростки. Всѣ еще были падки на конфекты, которыя хотя и дурны, но хорошо блестятъ. Оказалась легкая возможность словить молодое, зеленое, недозрѣлое общество — на всякую либеральную удочку;

было еще много охотниковъ играть въ либеральные коньки. Пока дѣти занимались игрушками, у нихъ подъ носомъ вырвали не-игрушку; сокровище, только-что было имъ ввѣренное, они сами выронили изъ рукъ.

Произошелъ всѣмъ извѣстный поворотъ: органическое законодательство на все многомилліонное крестьянство не было отмѣнено никакимъ равномѣрнымъ законодательнымъ актомъ; а между тѣмъ, Положеніе 19-го февраля 1861 года—не прошло и пяти лѣтъ со дня его обнародованія—оказалось разорваннымъ въ лоскутки. Его уничтожили, *во-первыхъ*, разными циркулярами и административными распоряженіями; *во-вторыхъ*, общими мѣрами, низведшими дарованныя имъ учрежденія на степень низшихъ инстанцій, подчиненныхъ высшимъ—на общемъ основаніи Устава о службѣ гражданской; наконецъ, *втретьихъ*, новоявленными учрежденіями, въ которыхъ уже ничего не осталось ни мироваго, ни земскаго, кромѣ однихъ названій.

Разумѣется дѣйствовали „сферы;“ но была тутъ и полная круговая порука, неотрицаемѣйшая солидарность нашего вольнаго и невольнаго бюрократизма,—въ этомъ и вся бѣда, повторяемъ.

А по мѣрѣ того, какъ извращалось и искажалось Положеніе 19 февраля 1861 г.—одновременно сводилось на-нѣтъ и крестьянское самоуправленіе. Мудрено-ли, послѣ всего, что отъ теперешняго, сведеннаго на-нѣтъ, „такъ-называемаго крестьянскаго самоуправленія“ отворачиваются наконецъ еще вчерашніе его безсознательные поклонники и поборники? Нѣтъ мудренаго даже въ томъ, что теперь, когда въ самомъ дѣлѣ волостныя правленія съ ихъ волостными сходами и судами обратились ни во что другое, какъ въ экзекуціонные пункты становыхъ квартиръ и въ чернорабочія канцеляріи уѣздныхъ исправниковъ,—отъ нихъ уже начинаютъ мало-по-малу отворачиваться сами сельскіе міры! Нѣтъ мудренаго, говоримъ, что само наконецъ крестьянство не видитъ ровно никакихъ прелестей въ „самоуправленіи“ подобнаго сорта.

Мудрено другое. Истинно мудрено то, что десятки и сотни нашихъ добровольныхъ бюрократовъ, словно ничего не позабывъ и ничему не научившись, все еще повторяютъ старые зады, продолжаютъ по прежнему судить и рядить о „крестьянскомъ самоуправленіи“—какъ ни въ чемъ не бывало. Они вглядываются, видите ли, въ разныя его современныя болѣзни и предлагаютъ тысячи разныхъ современныхъ медикаментовъ,—а главный-то фактъ, что оно

искажено противъ своего первоначальнаго вида, что оно лежитъ теперь искалѣченное, извращенное, опутанное разными неестественными путами — проглядываютъ; слона-то и не примѣчаютъ!

И ученѣйшіе юристы, и невѣсть чему учившіеся поставщики газетныхъ разглагольствій, пресеріозно совѣтуютъ, то замѣнить волость приходомъ, то вовсе ее уничтожить, то обратить ее во „всесословную“ (упразднивъ, вѣроятно, консисторіи для духовныхъ, штабы для военныхъ, дворянскія опеки и купеческія и мѣщанскія управы для прочихъ сословій). Они-же совѣтуютъ, напримѣръ, дать право недовольнымъ рѣшеніями волостныхъ судовъ приносить апелляціи мировымъ судьямъ, забывая конечно, что девять десятыхъ дѣлъ сельской казуистики для юрисдикціи мировыхъ судей не подсудны и неухватимы. Забываютъ они, конечно, и то, что уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, казнитъ штрафомъ не свыше 25-ти рублей виновнаго, съ котораго не возьмешь и полушки, *или* предоставляетъ ему на 3 мѣсяца даровыя щи въ острогѣ, тогда какъ онъ именно изъ-за даровыхъ щей и чинилъ преступленія, вслѣдствіе чего нерѣдко и проситъ господина судью, не выходя изъ присутствія, о продленіи „законнаго“ блага болѣе чѣмъ на 3 мѣсяца. Наконецъ забываютъ они еще главное, что (какъ это недавно на одномъ ученомъ рефератѣ выразилъ Орловскій губернскій гласный отъ крестьянъ) „судъ по X тому для народа убійство“, а „мировые *судьи*“ не были-бы и таковыми, когда-бы не судили по X тому. Въ томъ-то и дѣло, что живое русское право десятковъ милліоновъ народа (не точно было-бы сказать: обычное право) столкнулось теперь и сталкивается на каждомъ шагу съ правомъ, писаннымъ въ свое время *про служилыхъ людей*, а потомъ съ 18-го вѣка и далѣе, еще обращенное въ конгломератъ всевозможныхъ правъ — включительно даже съ магдебургскимъ, про многіе „классы“ и разные „орднунги“ (не совсѣмъ было-бы точно назвать его условнымъ терминомъ: писанное право). Такъ какъ-же возлагать всю надежду на юрисдикцію судовъ опять-таки бюрократическаго свойства, а не мировыхъ — въ истинномъ значеніи этого слова?

Что сказать, напослѣдокъ, о самыхъ послѣднихъ модныхъ тенденціяхъ тѣхъ-же господъ? Теперь они ужъ совѣтуютъ, для поправки „крестьянскаго самоуправленія“, возложить всю надежду на „такъ-называемыя земскія учрежденія“! Счастливцы! они вѣрятъ въ эти земскія учрежденія, гдѣ земскаго только одно названіе. Сча-

стливцы! они ужъ узрѣли міръ ранѣе сотворенія міра! готовы вѣнчать зданіе, у котораго не заложены и основы (основы были заложены, но ихъ разрушили, и теперь ихъ нѣтъ). Первоначальныя мировыя учрежденія, и одни они, были воинстину земскими учрежденіями; ихъ и слѣдовало восполнить, а не отмѣнять. Сельская сходка и сельскій міръ; далѣе, образуемый изъ выборныхъ, отъ каждаго селенія по одному съ десяти дворовъ, и предводимый волостнымъ старшиною волостной сходъ; далѣе мировой участокъ, обнимающій цѣлое гнѣздо волостей—во главѣ съ мировымъ посредникомъ; и еще далѣе: мировой съѣздъ изъ представителей всѣхъ мировыхъ участковъ—во главѣ съ уѣзднымъ предводителемъ,—вотъ были прежнія мировыя учрежденія. Въ нихъ было несомнѣнно больше земскаго духа, чѣмъ въ нынѣшнихъ номинальныхъ земскихъ учрежденіяхъ. Положеніе 19-го февраля 1861-го года, спора нѣтъ, было главнымъ образомъ озабочено *злобою дневи*, отмѣною крѣпостнаго права, и вся дѣятельность первоначальныхъ мировыхъ учрежденій по необходимости расходовалась на удовлетвореніе главной задачи и соотвѣтствовала злобѣ дня. Но всѣ будущіе запросы и всѣ задачи будущаго—которые вытекали какъ естественное послѣдствіе изъ отмѣны крѣпостнаго права—ясно намѣчавшіеся сами собой, были предусмотрѣны Положеніемъ: всѣ до одного были въ немъ предначертаны—и предначертаны весьма широко. Что было даровано, о томъ еще во многихъ статьяхъ Положенія предрекалось, что оно въ свое время имѣетъ быть восполнено и усовершено.—Ясная, какъ Божій день, союзность каждой волости со своимъ мировымъ участкомъ, а каждаго изъ мировыхъ участковъ съ цѣлымъ уѣздомъ; больше того, самихъ уѣздовъ съ цѣлою губерніей,—весьма живо чувствовалась въ тѣ дни. Можно-бы сказать, уже воскресало, уже обновлялось, и свѣтило въ сознаніи—наше старинное, наше родное и завѣтное представленіе о Русской Землѣ, какъ о великомъ союзѣ всѣхъ этихъ неисчислимыхъ поменьшихъ міровъ, селъ съ приселками и городовъ съ пригородами, въ одномъ великомъ мірѣ: весь русскій народъ, вся Земля Русская! И надъ нею—единодержавная власть, никто развѣ ея. Надо-же было все это разрушить и замѣнить—увы, чѣмъ?

Народъ и ожидалъ восполненія закона, а не его отмѣны. Все, что—какъ завтрашній запросъ и задача будущаго—было предусмотрѣно и предначертано въ самомъ Положеніи, какъ простое естественное послѣдствіе отмѣны крѣпостнаго права, то—

уже чувствовалось всѣмъ деревенскимъ людомъ весьма живо. Тѣ запросы и задачи, ясныя какъ Божій день, приближались, приблизились уже. Вдругъ законъ былъ отмѣненъ, а не восполненъ. Послѣдовали новоявленныя учрежденія — ужъ „такъ-называемыя мировыя“ и лишь „такъ-называемыя земскія“. Они выскочили готовыми, какъ Минерва изъ головы Юпитера, и хвалимы лишь вольнымъ и невольнымъ бюрократизмомъ у насъ. Они явились не въ отвѣтъ на тѣ запросы и задачи будущаго, которые уже были предусмотрѣны и предначертаны самимъ Положеніемъ, а въ совершенную ихъ отмѣну; не во исполненіи надеждъ, а въ ихъ полное сокрушеніе. И задачи, и запросы уже было объявились, и дѣйствительно чаяли себѣ желаннаго отвѣта; а тѣ новоявленныя учрежденія не только нѣдали отвѣта, а можно-бы сказать, выступили еще противъ нихъ, тѣхъ чаяній, какъ-бы недоброжелательнымъ встрѣчнымъ искомъ, дабы ихъ подсѣчь въ самомъ корнѣ и навсегда заглушить. Точно сказочною мертвою водой прыснуло тогда: ни впередъ, ни назадъ, все застоялось, плесневѣетъ и до сего дня. Ни мировые судьи, ни земскія учрежденія народа не удовлетворили. Только развѣ поставщики газетныхъ разглагольствій продолжаютъ еще и до сихъ поръ видѣть въ нихъ, особенно въ земскихъ учрежденіяхъ, богатый матеріалъ для вѣчно одной и той-же игры въ „*либеральные коньки*“ и для своихъ малолѣтнихъ высшихъ соображеній. Въ извиненіе малолѣтнихъ высшихъ соображеній, впрочемъ, позволительно одно сказать: если дерево только-что было тронулось въ ростъ, а его сломаютъ — оно идетъ въ кривосукъ; такъ — если заглушить живые природные инстинкты — непремѣнно разовьются инстинкты извращенные.

Станетъ-ли кто отрицать, что едва волостные сходы и правленія обращены въ экзекуціонные пункты становыхъ квартиръ и въ канцеляріи уѣздныхъ исправниковъ, міряне никакъ не лучшія свои силы удѣляютъ на должности и волостныхъ старшинъ, и сельскихъ старостъ? не закрадываются-ли еще въ эти должности — прямо сказать — міроѣды? Какъ, слѣдовательно, забавенъ былъ-бы тотъ, кто вдругъ захотѣлъ-бы видѣть въ нынѣшнемъ обиходѣ, въ нынѣ обращающихся сельскихъ старостахъ и волостныхъ старшинахъ — цвѣтъ міра! какъ онъ ошибся-бы, принявъ ихъ за представителей добраго крестьянства, которые могутъ вѣрно высказать и крестьянскую мысль, и все что у мірянъ на душѣ! Не тоже-ли, сдается, можно будетъ сказать и про „гласныхъ“? Sauf le respect,

которымъ всякій изъ насъ обязанъ ко многимъ почтеннымъ дѣятелямъ сихъ учрежденій, никто не укоснитъ однакожъ признаться, что и земская мысль — секретъ для господъ „гласныхъ“. Какъ оно есть теперь по крайней мѣрѣ, ихъ мнѣніе — не мнѣніе земли. Далѣе мы еще вернемся къ земству. Не закрадываются-ли и въ „земство“ — прямо-же сказать — міроѣды?

Кому все еще не въ домекъ, что истинное самоуправленіе было въ извѣстной степени даровано, а для будущаго, еще въ болѣе широкихъ размѣрахъ, предначертано Положеніемъ 19 февраля 1861 года,— тотъ лучше-бы сдѣлалъ, еслибъ вовсе отказался судить о теперешнемъ состояніи „крестьянскаго самоуправленія“. Его нынѣшняя безтолочь составляетъ лишь прямое возмездіе за тѣ удары, за тѣ смертельныя раны, которые ему *во время оно* наносили. Эта расшатанность, разнузданность, безправица, совершенная безпомощность мірянъ; однимъ словомъ вся нынѣшняя повсемѣстная неурядица, именуемая еще на зло здравому смыслу—„самоуправленіемъ“—составляетъ вполнѣ заслуженное воздаяніе за совокупность не только тѣхъ „мѣропріятій“, но еще и „умоначертаній“, которыми его, наше истинное самоуправленіе, такъ послѣдовательно, такъ систематически и такъ неустанно калѣчили и искажали.

Надо быть добровольнымъ слѣпцомъ — нѣтъ! достаточно быть заклейменнымъ тѣмъ нашимъ казеннымъ штемпелемъ, который у насъ все тьмитъ и заститъ — чтобъ этого не видѣть.

Приходится, наконецъ, высказать горькую правду. Діагнозъ нашего главнаго недуга совсѣмъ не тотъ, въ чемъ его полагаютъ казенные діагносты. Пора наконецъ перестать лѣчить „крестьянское самоуправленіе“ по ихъ рецептамъ. Оно не выздоровѣетъ при невѣрномъ опредѣленіи болѣзни; отъ ихъ медикаментовъ ему — только пуще не поздоровится.

Непростительно воздыхать о неудавшемся, будто-бы, у насъ крестьянскомъ самоуправленіи и знать не знать, и вѣдать не вѣдать, что его — подсѣкли въ корнѣ.

Забавно дѣлать тысячи нелѣпыхъ діагнозовъ надъ кроватью совсѣмъ здороваго несчастливца,— а онъ лежитъ только стиснутъ и опутанъ грубыми неестественными, всевозможными просто-невозможными станками; и отъ него еще въ добавокъ отогнали прочь всѣхъ кровныхъ, всѣхъ *своихъ*, всѣхъ его ближнихъ, до него ласковыхъ, а облѣпили его чужими зашельцами, приставили къ нему жадныхъ до его крови приставниковъ.

Или скажутъ, что у русскаго крестьянина, какъ и вообще у крестьянскаго самоуправленія, нѣтъ и не было истинныхъ ближнихъ, настоящихъ своихъ радѣтелей?... и нѣоткуда имъ взяться?... и не вскормила ихъ еще, себѣ на радость, Русская земля!

Но прежде всего это было-бы клеветою именно на XVIII-й вѣкъ. Господа, за что-же вы его хвалите? Въ древней Руси не было образованія; не могло явиться и плода образованности: *общественныхъ людей*, *общественныхъ дѣятелей*, которые-бы въ общественныхъ дѣлахъ забывали свой личный и сословный эгоизмъ. Въ новой Россіи такіе люди есть: должны быть; послѣ XVIII вѣка нельзя быть тому, чтобъ ихъ не было у насъ вовсе; можно-ли говорить, что ихъ нѣтъ? Это будетъ клеветою на многихъ и многихъ изъ уѣздныхъ и губернскихъ предводителей, за которыхъ — какъ за единственно уцѣлѣвшихъ для нихъ близкихъ людей — даже и сейчасъ охотно держатся сами крестьяне. Это, наконецъ, будетъ уже на весь міръ явною клеветою на всѣхъ мировыхъ посредниковъ такъ-называемаго *перваго призыва*, которые сейчасъ разбѣжались и попрятались Богъ знаетъ куда — едва стали ихъ низводить на степень чиновниковъ, „подчиненныхъ высшимъ инстанціямъ на общемъ основаніи Устава о службѣ гражданской“. Не въ этомъ-ли у насъ и вся бѣда? Есть у насъ, безспорно есть люди, проникнутые самоуваженіемъ настолько, чтобъ въ общественныхъ дѣлахъ забывать свой личный и сословный эгоизмъ. Но они-то первые, естественно, и страшатся подпасть всѣмъ непремѣннымъ уничиженіямъ чиновничества — да еще на законномъ основаніи.

II.

Кто сознательно радовался у насъ освобожденію народа (а не такъ какъ это простительно развѣ сэнтиментальнымъ институткамъ), тотъ радовался именно тому, что съ отмѣною крѣпостнаго права, отмѣнится и все, что было съ нимъ совмѣстно. Многое, что други и недруги въ насъ такъ язвительно злословили и, вынося соръ изъ избы, такъ безжалостно въ своихъ заграничныхъ изданіяхъ выставляли на показъ цѣлому свѣту—только и обусловливалось у насъ крѣпостнымъ правомъ. Описывая былую Россію, о! они щедры на негодованіе противъ насъ. Это, по ихъ увѣреніямъ, была страна безъ народа, представлявшая одинъ мертвый механизмъ бюрократіи. И какой бюрократіи? той, которая между властью и народомъ создала непроницаемую стѣну и преграду; черезъ нее всѣ мѣры

внизъ отражаются уже преломленными сквозь призму самихъ бюрократическихъ сферъ, а вверхъ не допускается проникнуть ни одному живому голосу; той бюрократіи, низины коей всячески эксплоатируютъ народъ, прислуживаясь лишь своему непосредственному начальству, а вершины всячески стараются находящуюся поверхъ себя власть еще болѣе изолировать отъ народа — такъ какъ при этомъ они-то, собственно говоря, и пользуются безграничною властью, вовсе не имъ предоставленною; той бюрократіи наконецъ, которая въ силу этого вся сверху до низу состоитъ сама съ собою— и низины и вершины—въ эгоистической солидарности и смотритъ на всякаго къ ней непринадлежащаго земскаго человѣка какъ на своего естественнаго данника, годнаго лишь для наживы, а также вообще на землю и на весь народъ — какъ на матеріалъ, годный для эксплоатаціи.

Но говорившіе и писавшіе такъ не понимали главнаго. Все это было дѣйствительно создано у насъ 18-мъ вѣкомъ и двумя первыми четвертями XIX-го; но потому именно, что въ эту-же пору слагалось на дѣлѣ и возводилось въ законъ и восходило отъ силы въ силу фактически и юридически: „право помѣщиковъ на ихъ людей“; другими словами: этотъ самый лучезарный періодъ произвелъ и „крѣпостное право“. А утвердилось оно—утвердилось и все то, что съ нимъ было совмѣстно.

Государственная власть, въ періодъ узаконенія крѣпостнаго права, по необходимости сомкнула въ себѣ всю полноту власти лишь въ собственныхъ, исключительно-государственныхъ органахъ, заставляя по роковой необходимости однихъ ихъ исправлять должность какъ-бы даже представителей самихъ внутреннихъ силъ народа и по отдѣламъ чисто-земскимъ, чисто-общественнымъ.

И вотъ, та-же самая власть, уничтоживъ крѣпостное право, ту-жъ минуту почувствовала необходимость разомкнуть эту замкнутость, сдать часть власти назадъ: въ самый народъ и въ самое общество, предоставляя уже имъ самимъ исправлять должности по ихъ собственнымъ земскимъ и чисто-общественнымъ отправленіямъ.

Въ 1861-мъ году, незабвеннымъ Положеніемъ 19-го февраля, это было несомнѣнно предоставлено. Само общество было приглашено подъять нѣкоторое бремя власти, взять на себя нѣкоторую долю отвѣтственности. Призывъ обращенъ былъ къ живымъ внутреннимъ силамъ страны, къ самому обществу, къ нашему образованію, наконецъ.

Совершилось то, чего у насъ давно не бывало: настоящая власть, собственно такъ-называемая административная власть частью была передана самому обществу въ руки. Надо было и такихъ людей, которые-бы по своему образованію могли стать выше личнаго и сословнаго эгоизма. Такіе люди нашлись: общественные дѣятели принялись за общественное дѣло. Эти званные явились истинною политическою силой своей страны; это ужъ была политическая сила самого общества, самого земства. Въ ихъ лицѣ земство дѣйствительно ощутило себя пріявшимъ нѣкоторое бремя власти и нѣкоторую долю отвѣтственности. Первоначальныя мировыя учрежденія не въ шутку были мировыми. Тогда каждый сельскій міръ и каждая волость не стояли одиноко, затерянными осколками *чуждаго* для себя государства; оно имъ стало *свое*, и они сознали себя живыми его звеньями. Въ мировомъ участкѣ они слышали не только собственную солидарность (союзность), но черезъ него еще и свою солидарность (союзность) съ своимъ уѣздомъ, съ своею губерніею, со всѣмъ своимъ государствомъ — не по одному взносу платежей и не только по отбыванію повинностей. Первымъ малымъ звеномъ этого великаго союза, первою едва глазу замѣтной ячейкою, органической клѣточкою этого вселенскаго міра — былъ именно мировой участокъ; далѣе и ниже ужъ онъ распадался на свои атомы. Во главѣ мироваго участка стоялъ „всесословный“ человѣкъ, земству свой. Это — противъ того, что было наканунѣ еще при крѣпостномъ правѣ — ужъ, конечно, не бюрократическій régime; а нашъ желанный, искони намъ свой, но запамятованный съ XVIII вѣка. Казалось ожило наше самосознаніе. Въ новизнахъ именно заслышалась старина: обществу дано было самоуправленіе. Въ перспективѣ виднѣлось земское собраніе всего уѣзда — не похожее, конечно, на нынѣшнее.

Но тутъ и вопросъ, — не о томъ, конечно, возрадуются-ли этому собственно такъ-называемыя бюрократическія сферы? Боязливость не выронить-бы власти изъ собственныхъ рукъ — составляетъ искони вѣковъ отличительное свойство всевозможныхъ бюрократій на свѣтѣ; это ужъ, по существу дѣла, непремѣнная принадлежность всякихъ бюрократическихъ сферъ. Спустите въ народъ — не старинное право выбирать изъ себя губныхъ старостъ, то-есть самосудъ даже уголовный, а только хотя-бы судебно-*полицейскую* власть (безъ чего, собственно говоря, нѣтъ не только самоуправленія, ни даже простаго самоохраненія), бюрократія и тутъ

почтетъ себя въ слезной обидѣ, ибо изъ ея собственныхъ рукъ выронилась эта власть. Поэтому совершенно-праздный вопросъ: какъ должна была отнестись казенная система нашего бюрократизма къ самоуправленію, едва возникшему у насъ? На это былъ данъ отвѣтъ вскорѣ. Изъятыя изъ ихъ вѣдомства, мировыя учрежденія были сейчасъ-же втянуты ими и внесены въ общій кругъ инстанцій, подчиненныхъ однѣ другимъ; мировые дѣятели, не взирая на Положеніе, были принижены на общемъ основаніи Устава о службѣ гражданской. Лучшіе русскіе люди, только что было явившіеся на призывъ послужить общему дѣлу, попрятались кто куда; всѣ разбѣжались. Это понятно.

Тутъ вопросъ важнѣе. Сама наша „интеллигенція“ довольно ли сильна по части русскаго народнаго самосознанія? все-ли только одному доброму научилъ ее XVIII вѣкъ?

Спросимъ, напримѣръ: стыдилось-ли русское передовое сословіе величать себя передъ *подлымъ* народомъ („подлый народъ“ излюбленный терминъ XVIII вѣка) *шляхетствомъ* на западный образецъ? „Шляхетскій корпусъ“ — терминъ также XVIII вѣка. Передовое сословіе, напротивъ того, съ XVIII вѣка гордилось сравненіемъ себя со *шляхетствомъ*. „Благородно владѣющее мечемъ“, оно еще искало сравнить себя съ noblesse d'épée... во всѣхъ отношеніяхъ на западный образецъ. Уже зудила его, чуждая Руси, политическая похоть. Разъ — наперекоръ старинному завѣту древней Руси — власть изъ „неудобьносимаго бремени“ обратилась въ громоблещущую прерогативу — мудрено-ли, что и *привилегированное сословіе* (опять-таки терминъ XVIII вѣка) стало разжигаться политическою похотью, пыталось даже совершать то одно, то другое политическое прелюбодѣяніе — и хорошо, что это не удавалось. Довольно указать на одно это — и всякій пойметъ, что въ самомъ дѣлѣ не „блистательный такъ-называемый періодъ“ былъ лучшею школой для русскаго самосознанія.

Можно было напередъ ожидать: молодо-зелено окажется на первыхъ порахъ наше народное самосознаніе; мы не оцѣнимъ существо дарованныхъ правъ, не удержимъ простаго настоящаго русскаго земскаго самоуправленія: наше le или the zemstwo тутъ не опознаетъ само себя. Нашелся, правда, малый кружокъ лицъ, сознательно отнесшихся къ дѣлу; и хвала тому обществу, которое ихъ выставило. Этотъ кружокъ, однакожъ, оказался слишкомъ тѣсенъ и малъ. Большинство, то самое, которое изо всѣхъ силъ про-

изводило тогда агитацію противъ собственно такъ-называемыхъ бюрократическихъ сферъ — оно-то еще (прямо имъ въ руку) и накликáло скорѣйшую отмѣну тѣхъ не мнимыхъ мировыхъ учрежденій, которыми воистину былъ нанесенъ ударъ ни чему иному, какъ обще-казенному строю и бюрократическому ancien régime.

Въ сущности, вольному и невольному бюрократизму хотѣлось одного и того-же: продлить себѣ вѣку. Такъ какъ обновленіе Русскаго быта и строя въ національномъ духѣ совершенно упразднило-бы régime et raison d'être ихъ обоихъ,—имъ, обоимъ вмѣстѣ, и захотѣлось тогда окончательной и заключительной реформы... на западный образецъ. Было пущено въ ходъ „иностранное модное слово".

III.

Съ тѣхъ поръ, какъ мировые посредники такъ-называемаго *перваго призыва* заняты были „введеніемъ въ дѣйствіе уставныхъ грамотъ" и вдругъ удалились со сцены, прошло около пятнадцати-шестнадцати лѣтъ. Легко-ли дышалось, жаловались-ли на безтолочь, на всеобщую неурядицу, на повсемѣстный безпорядокъ за все первое трехлѣтіе (1861 — 1863), пока они дѣйствовали,— многіе еще помнятъ. Для тѣхъ-же, кто этого не знаетъ по личному опыту, кто не жилъ тогда въ деревнѣ, воскресимъ теперь прямо по незабвенному историческому акту, по Положенію 19-го февраля 1861 года — тѣ минувшіе дни.

Тогда волости цѣлыми гнѣздами собирались въ мировой участокъ. Во главѣ каждаго участка стоялъ „мировой"—*не судья*, изъ мѣстныхъ, изъ земскихъ людей. Его вѣдѣнію подлежали: иски, споры и жалобы, возникавшіе изъ поземельныхъ отношеній, жалобы какъ помѣщиковъ, такъ и всѣхъ посторонних ъ лицъ въ участкѣ, на дѣйствія мѣстъ и лицъ общественнаго крестьянскаго управленія; также жалобы и самихъ крестьянъ, и ихъ обществъ на дѣйствія помѣщиковъ и на прочихъ лицъ въ участкѣ; кромѣ того, жалобы крестьянъ-же на ихъ собственныхъ должностных ъ лицъ, какъ сельскихъ, такъ и *волостныхъ*. На него возлагались: утвержденіе волостныхъ старшинъ въ ихъ должности и вообще дѣла по избранію должностныхъ лицъ сельскаго и волостнаго управленія; дѣла по удаленію крестьянъ изъ общества по мірскимъ приговорамъ. На него, наконецъ, были возложены дѣла *судебно-полицейскаго* разбирательства: по найму землевладѣльцами людей

въ разныя работы, въ услуженіе и въ хозяйственныя должности (въ томъ числѣ управляющихъ); по отдачѣ въ наемъ земель; по потравамъ полей, луговъ и угодій и по порубкамъ.

Въ уѣздномъ городѣ постоянно велись мировые съѣзды мировыхъ (не судей) подъ предсѣдательствомъ уѣзднаго предводителя, куда и переносились жалобы „на сельскихъ и волостныхъ должностныхъ лицъ", слѣдовательно и на волостныхъ судей (это было отмѣнено уже министерскимъ циркуляромъ). Понятно, „приговоры волостнаго суда исполнялъ волостной старшина на свой собственный страхъ и на свою личную отвѣтственность", слѣдовательно по закону и не исполнялъ иныхъ: страшился принять на свою отвѣтственность, и едва чувствовалъ въ томъ надобность по закону—всегда находилъ просвѣщенное руководство въ мировомъ участкѣ. Никакое, не только нелѣпое, а просто обидное постановленіе волостнаго суда безъ обжалованія и безъ надлежащаго разсмотрѣнія не оставалось. Земская полиція безотговорочно исполняла тогда всѣ законныя требованія мироваго посредника, а сама въ волостныя правленія и вообще во все крестьянское самоуправленіе не вступалась. Становыхъ народъ словно пересталъ слухомъ слышать и видомъ видѣть; тогда становые объѣзжали волостныя правленія мимо.

Такъ шло, ясное какъ майское утро, первое время по отмѣнѣ крѣпостнаго права. Земскій миръ никогда еще не былъ, ни потомъ, ни прежде, такъ проченъ; самоуправленіе только радовало тогда.

А что происходило на сценѣ послѣ того, какъ мировые посредники перваго призыва съ нея удалились? Слѣдующее: земство расчленили, его розняли по частямъ. Мировые съѣзды подъ предсѣдательствомъ уѣздныхъ предводителей и оставшіеся приниженными на службѣ мировые посредники были совсѣмъ устранены отъ крестьянскаго самоуправленія. Каждому сельскому міру и каждой сельской волости была предоставлена полная свобода задыхаться и спираться въ своихъ собственныхъ подонкахъ: вольный исходъ куда-либо въ ширь или въ высь — былъ отнятъ у нихъ; мировой участокъ прежде разрушился, а потомъ и совсѣмъ опустѣлъ. Это было сдѣлано, впрочемъ, изъ гуманности и либерализма, чтобъ не было опекуновъ у народа: да не коснется ничья чуждая рука уважаемыхъ крестьянскихъ учрежденій, ихъ святаго самоуправленія, а кольми паче самосуда! (Положимъ, что свои

земскіе люди, мѣстные старожилы, всѣ личные землевладѣльцы, для окольнаго крестьянства — чужіе; только неужели прямые зашельцы и приставники со стороны—ему свои?) Такъ или иначе, волостное управленіе обратилось въ учрежденіе чисто-сословное и узко-сословное, въ консисторію своего рода; та про духовныхъ, а это про крестьянъ, съ тою разницей, что въ консисторіи одни предсѣдатели съ духовенствомъ-же, а здѣсь предсѣдательствуетъ становой или исправникъ. — Но почему-же — возразятъ — земство разчленено? Мѣстное населеніе—отвѣчаемъ—тогда только и мыслится „земствомъ", когда рядомъ съ простонародною массою предполагаются и „годные для дѣла", просвѣщенные мѣстные-же люди; иначе земство не мыслимо, иначе — ни земли, ни народа. Это и понимала древняя Русь! встарину крестьянамъ писали: „вы бы, между собой свѣстясь всѣ вмѣстѣ, поставили себѣ въ головахъ дѣтей боярскихъ (нынче можно-бы сказать: *личныхъ землевладѣльцевъ*), въ волости человѣка три или четыре, которые-бы грамотѣ умѣли и которые годятся, да съ ними лучшихъ людей крестьянъ, и между собою лихихъ людей, разбойниковъ, сами обыскивали-бы по нашему крестному цѣлованію въ правду, безъ хитрости". Но этой простой истины въ наши дни постичь не могутъ приверженцы вольнаго и невольнаго бюрократизма. Они ухитряются видѣть земство тамъ, гдѣ его ужъ рѣшительно нѣтъ. Отъ крестьянства совсѣмъ отрѣзали прочь тѣхъ, „*которые-бы грамотѣ умѣли и которые годятся*", а этихъ въ свою очередь совершенно изолировали отъ крестьянъ. Общимъ интересомъ у тѣхъ и другихъ оставалось по крайней мѣрѣ главное, изъ-за чего ютятся въ общины: хоть не самоуправленіе, такъ самоохраненіе, простая потребность самоохраны. Но функціонировать по этой части предоставлено новому коеффиціенту, должно быть, земства-же: становому!... Если не на земствѣ, то во всякомъ случаѣ на волостяхъ оставлена тяжесть такого функціонированія. А чѣмъ-же, спрашивается, занимается тѣмъ временемъ новоявленное, уже „такъ-называемое земство"? Ему, во 1-хъ, предоставлено судиться по X тому; а во 2-хъ ловить гессенскую муху, заводить школы и больницы. Но все, что̀ рознято на части и разчленено—никакъ не сьютится въ живой организмъ; на всемъ такомъ печать мертвизны: таково „земство". Притомъ, если у него вырвали изъ рукъ главный интересъ, изъ-за котораго люди ютятся въ общину — интересъ самоохраны,— то все остальное уже мало его заботитъ. Со-

блюденіе мира и тишины, пресѣченіе и предупрежденіе преступленій вокругъ себя, имущественная и личная безопасность,—вотъ чѣмъ, безъ сомнѣнія, мирный земскій людъ прежде всего заинтересованъ. А когда именно это и выключено изъ круга его интересовъ,—могутъ-ли сами школы и больницы особенно занимать его?

Насколько всѣ эти „мѣропріятія“ и „умоначертанья“ превосходны; насколько все это „дѣлопроизводство“ послѣднихъ пятнадцати-шестнадцати лѣтъ благопріятно для внутренней тишины и спокойствія,—мы и видимъ теперь. Результатами именно этой пятнадцати или шестнадцатилѣтней неустанной дѣятельности на пагубу истинныхъ мировыхъ учрежденій—мы и наслаждаемся теперь. Все, что̀ теперь обнаруживается повсемѣстно и у всѣхъ передъ глазами—и есть ничто другое, какъ результатъ того „дѣлопроизводства“, тѣхъ „мѣропріятій“ и „умоначертаній“.

Крестьяне не считаютъ болѣе волостныхъ правленій собственными своими учрежденіями; никакъ, по крайней мѣрѣ, не считаютъ ихъ за о̀рганы самоуправленія. Помимо „казенныхъ старшинъ“, заводятъ они tacito consensu своихъ не-гласныхъ стариковъ,—ихъ и слушаются втихомолку, къ нимъ и обращаются въ разныхъ случаяхъ. Мало они уже вѣрятъ и въ „казенные волостные сходы“, а складываются tacito consensu въ никому невѣдомыя гнѣзда многими деревнями, и что̀ имъ вѣдать надлежитъ, про то̀ вѣдаютъ втихомолку. А на полосатыхъ столбахъ возлѣ „казенныхъ“ волостныхъ правленій красуется гербъ и буквы М. В. Д. Уже не только становой и исправникъ распоряжаются тамъ, что̀ называется, какъ у себя дома, но и послѣдній сотскій и десятскій, и самъ „непосредственный начальникъ сихъ нижнихъ чиновъ земской полиціи конный урядникъ“—первоприсутствующіе и непрерывно-присутствующіе тамъ члены. Компанію симъ господамъ чиновникамъ дѣлаютъ тѣ самыя „сельскія и волостныя должностныя лица“, которыя нынче обратились въ чиновниковъ-же,—вслѣдствіе чего міряне ихъ почти и выбирать не выбираютъ.

Что̀-жъ это такое?... Міряне отказываются вѣрить въ свой собственный міръ, собираемый по командѣ казенныхъ сотскихъ и десятскихъ, казенныхъ волостныхъ старшинъ и сельскихъ старостъ? Такимъ міромъ они гнушаются! Слава Богу, если гнушаются; только еще и спасенье, если гнушаются. То „специфическое зло“, которымъ нѣкогда обуевались у насъ однѣ вершины и которымъ были насквозь пропитаны лишь верхніе слои,—уже не

касается-ли, и въ самомъ дѣлѣ, послѣднихъ низинъ? уже не грозитъ-ли и корнямъ дерева? — То была у насъ прежде „казенная благонамѣренность“, „казенная наука“; потомъ завели „казенный либерализмъ“, въ концѣ концовъ является и „казенное самоуправленіе“.—*Казенное самоуправленіе!* вѣдь ужъ это кругъ объ четырехъ углахъ, или еще такая отворенная дверь, которая въ то-же время и затворена. Договорились до абсурда.

Ясно, кажется, послѣ всего, что самый вопросъ: *удалось или не удалось у насъ крестьянское самоуправленіе?* оказывается въ сущности совсѣмъ другимъ, чѣмъ съ виду; чѣмъ когда его ставятъ pro forma. Въ сущности, вопросъ становится такъ: послѣ того, какъ Положеніе 19-го февраля 1861 года отворило широко дверь для народнаго самоуправленія, что̀ произошло на дѣлѣ за послѣднія пятнадцать-шестнадцать лѣтъ? оно-ли, это „новое“ начало, намъ искони свойственное и лишь запамятованное въ эпоху крѣпостнаго права, одержало верхъ или, напротивъ, самъ нашъ бюрократическій ancien régime подавилъ его молодые ростки? Вотъ о чемъ приходится спрашивать. И правдивый публицистъ долженъ будетъ отвѣчать: нашъ бюрократическій ancien régime на первыхъ порахъ одержалъ полную побѣду; старинная система нашего ветхаго бюрократизма совсѣмъ втянула въ себя зачавшееся у насъ самоуправленіе и его сполна поглотила.

Только легче-ли кому отъ того?

Говорятъ иные (и мы сами повторили ихъ слова): тутъ сама публика виновата. Нѣтъ тѣхъ „сферъ“, которыя-бы, въ самомъ дѣлѣ, сознательно вели къ тому и готовы ужъ были хвалиться побѣдой. Но если таковыя существуютъ и, дѣйствительно, имѣли слабость, какъ Наполеонъ при Ватерлоо, похвалиться побѣдой,—то и имъ, какъ ему, надлежитъ теперь имѣть мужество записать въ свой дневникъ: „все было потеряно тогда, какъ все было достигнуто“.

Мы опять у того-же порога, съ котораго пошли. Въ теченіи цѣлыхъ пятнадцати-шестнадцати лѣтъ, оказывается, дѣйствительно ровно ничего не сдѣлано для охраненія внутренней тишины и спокойствія; ни на̀ волосъ не двинулось впередъ рѣшеніе трудной задачи о строительствѣ Русской земли послѣ отмѣны крѣпостнаго права,—а вслѣдъ за эмансипаціей это первое-бы дѣло. Но и великъ результатъ, добытый цѣною этихъ послѣднихъ пятнадцати-шестнадцати лѣтъ; всѣмъ ихъ дѣятелямъ великое благода-

ренье. Въ теченіи всѣхъ этихъ пятнадцати-шестнадцати лѣтъ предлагалось-же у насъ за панацею одно иностранное „*модное слово*“. Въ отпоръ иностранному стали наконецъ довольно-же громко предлагать одно русское, также „*модное слово*“. И что-жъ! Не вѣрятъ больше никакимъ „*модными словамъ*“,—ужъ ни своимъ, ни иностраннымъ. „Все это будетъ одна и та-же казенщина“—говорятъ—„а нужно дѣло!“ Вотъ истинная, неоцѣненная заслуга всѣхъ дѣятелей сихъ послѣднихъ пятнадцати-шестнадцати лѣтъ,—хотя, можетъ быть, сами они и не желали-бы выслушать себѣ такого благодаренья.

И такъ, снова—здорово. Даромъ прошли пятнадцать-шестнадцать лѣтъ. На сценѣ опять то-же и тѣ-же. О, тяжелый нашъ внутренній неотвязчивый вопросъ!

Гони его въ одну дверь, а онъ—въ другую.

IV.

Читатель—и все равно сельскій-ли, городской-ли читатель—знаете-ли, кому вы обязаны своимъ мирнымъ спокойствіемъ на Руси? знаете-ли, кто охраняетъ безопасность и вашей личности, и собственности? кто не только бережетъ васъ, и усадьбу вашу, и домъ вашъ, и всю семью вашу отъ воровъ и разбойниковъ и въ годину бѣдствій,—а еще заботится объ васъ съ истинно-материнскимъ попеченіемъ и на всѣхъ путяхъ жизни? Знаете-ли, къ кому вамъ слѣдуетъ обратиться въ случаѣ тѣхъ или другихъ невзгодъ—въ общежитіи не рѣдкихъ? И кто непремѣнно вамъ поможетъ скорою помощью?

Это—Губернское Правленіе. Не вѣрите? читайте сами. Раскройте II томъ Свода Законовъ, книга II, раздѣлъ второй, глава первая, статья 715, и вы найдете: „Губернское Правленіе управляетъ дѣлами общаго благоустройства, охраняетъ права личности и собственности, общую безопасность, тишину и спокойствіе“. Мало этого, тамъ-же пунктъ 14-й втораго параграфа статьи 716 гласитъ: „Въ Губернскомъ Правленіи производятся слѣдующія дѣла по охраненію безопасности и общаго спокойствія: попеченіе объ установленіи, и утвержденіи и сохраненіи въ ненарушимости благонравія, порядка, мира и тишины въ городахъ, селахъ и деревняхъ, на земляхъ и на водахъ, такъ-же и на дорогахъ, по губерніи пролегающихъ“. И такъ, вотъ кто „*производитъ попеченіе*“ объ васъ „и на земляхъ и на водахъ“! Вотъ вамъ къ кому обращаться за

скорою помощью въ тѣхъ будничныхъ, то мелочныхъ, то очень крупныхъ заботахъ, которыя нынче и „на водахъ, и на земляхъ, и на дорогахъ пролегающихъ“ ежедневно нарушаютъ мирное благополучіе гражданъ.

Но легкомысленъ былъ-бы тотъ читатель, который-бы этому посмѣялся. Особенно былъ-бы тутъ неумѣстенъ ироническій смѣхъ тѣхъ господъ публицистовъ и юристовъ, которые весьма-же серьезно толкуютъ теперь о перемѣнахъ, по ихъ мнѣнію необходимыхъ, въ составѣ то однихъ, то другихъ совѣтовъ, тѣхъ или другихъ комитетовъ и департаментовъ. Господа серьезные публицисты! что̀ Губернское Правленіе, что̀ тотъ или другой комитетъ или департаментъ — въ сущности это одно и то-же. Тотъ хорошо сдѣлаетъ, кто оставитъ Губернскія Правленія совсѣмъ въ покоѣ.

Пора наконецъ сознать очень крупный и въ то-же время весьма простой фактъ. Всѣ существовавшія у насъ съ XVIII-го вѣка и видоизмѣнявшіяся административныя учрежденія — худы-ли они хороши-ли — всѣ были цѣлесообразны въ свое время: съ одной стороны они обусловливались крѣпостнымъ правомъ, а съ другой еще и сами обусловливали его.

Крѣпостное право, этотъ истинный цвѣтокъ нашего XVIII-го вѣка, этотъ продуктъ послѣ-Петровскаго времени — вотъ что̀ обусловливало административный строй прежняго времени и вообще весь нашъ бюрократическій ancien régime, который съ XVIII-го вѣка повелъ свое родоначаліе.

Можно съ видомъ великой учености толковать о разныхъ административныхъ учрежденіяхъ и административныхъ преобразованіяхъ временъ Петра I-го, II-го или III-го. Можно съ отмѣннымъ глубокомысліемъ доказывать, какъ благія начинанія по устроенію у насъ административной части въ Бироновщину при Аннѣ Ивановнѣ, не осуществились потомъ отъ тѣхъ или другихъ причинъ при Елисаветѣ Петровнѣ. Можно взирать съ неподдѣльнымъ благоговѣніемъ на блистательные труды въ семъ направленіи послѣдующаго періода. Можно наконецъ писать цѣлыя магистерскія или даже докторскія дисертаціи восхищаясь блистательнымъ завершеніемъ административныхъ учрежденій въ вѣкъ Александра I, когда „*умнѣйшій человѣкъ Россіи*“, по отзыву Наполеона I, Сперанскій (потомъ графъ) скопировалъ французско-императорскія учрежденія на ихъ цезарскій образецъ. Но вся такая эрудиція пропадетъ совершенно даромъ. Къ сожалѣнію или, напротивъ, къ нашему великому

счастью, блистать ею передъ публикой нѣтъ никакой необходимости. Ибо, въ концѣ концовъ, дѣло сводится къ слѣдующей простой аксіомѣ: все законодательство касательно административнаго устройства въ Россіи, начиная съ Петра I-го и въ продолженіи всего XVIII-го вѣка, потомъ до половины XIX-го, обусловливалось крѣпостнымъ правомъ; росло и развивалось по мѣрѣ роста и развитія самого крѣпостнаго права, а также собственнымъ ростомъ и развитіемъ содѣйствовало его росту и развитію. Это несомнѣнно. Съ одной стороны, само законодательство касательно управленія Имперіею, мало-по-малу (иногда какъ-бы не въ примѣту для законодателя, а иногда и весьма въ примѣту) все болѣе создавало и утверждало крѣпостное право; а съ другой стороны, и оно, все болѣе утверждаясь въ Имперіи, допускало и находило совершенно по себѣ, совершенно удовлетворительною, ту, исподволь-утверждавшуюся и окончательно у насъ водворившуюся административную систету. Въ этомъ отношеніи вся исторія XVIII-го вѣка и даже двухъ первыхъ четвертей XIX сводится у насъ къ одному и тому-же: съ одной стороны благоспоспѣшествовали образоваться помѣщичьему крѣпостному праву и утверждали его на законномъ основаніи; съ другой стороны, все что почило на крѣпостномъ правѣ, благоспоспѣшествовало вящему развитію и укрѣпленію самóй системы, его образовавшей: тутъ рука руку моетъ. Такъ какъ притомъ вообще „чуждое политическое начало“, внесенное въ нашу исторію Петромъ I-мъ, заквасилось еще у насъ на собственной родной закваскѣ, то въ частности и произведенное XVIII вѣкомъ „крѣпостное право“ сохраняло нѣкоторыя патріархальныя черты старины до-Петровской и глядѣло на этомъ онованіи (какъ и многое другое) роднымъ обычаемъ, свойственнымъ намъ искони. Будущій русскій историкъ безъ труда отличитъ (какъ вообще такъ и въ частности), что́ тутъ составляетъ родной обычай старины и въ чемъ тутъ новизна, да еще совершенно чужая,—для этого требуется только историку быть во-истину Русскимъ, а не Шлецеромъ, Эверсомъ, Миллеромъ и прочими, такъ долго обучавшими насъ Русской исторіи. „Патріархальность“ и „оффиціальность“—двѣ вѣщи несовмѣстныя, одно исключаетъ другое. Итакъ, ошибаются тѣ, которые наивно разумѣютъ подъ „крѣпостнымъ правомъ“ какой-то „обычай“. Прямое его начало въ реформахъ Петра; царствованіе Анны Ивановны, Елисаветы Петровны, Петра II-го и III-го, наконецъ вѣкъ Екатерины II-й—вотъ истин-

но то время, когда этотъ „обычай“ все шелъ въ гору и окрѣпъ. Въ царствованіе Александра Павловича былъ уже апогей крѣпостнаго права; при Николаѣ Павловичѣ звѣзда на зенитѣ покосилась, стала падать. Мудрено-ли, что теперь, когда наконецъ покончено съ крѣпостнымъ правомъ, — и всѣ административныя учрежденія, которыя были съ нимъ совмѣстны, представляются у насъ непригодными и совершенною аномаліею? Иначе быть не можетъ. Старая административная система потому только прежде и годилась, что, собственно говоря, само крѣпостное право составляло sui generis политическую систему; оно было въ нѣкоторомъ родѣ всеобъемлющею административною организаціей; всѣ прочія служили только ей въ добавокъ и лишь ее замыкали.

Послѣ совершившагося перелома, послѣ отмѣны крѣпостнаго права, немыслимы и тѣ административныя учрежденія, которыя были съ нимъ совмѣстны. Теперь началось новое, или пожалуй, мы опять вернулись къ старинѣ, когда у насъ не было крѣпостнаго права. „Въ старые мѣхи не вливаютъ новаго вина“: нужно и устройство новое, или, пожалуй, то древнѣйшее, которое уже существовало на Руси, пока въ ней не было крѣпостнаго права, не было еще слѣдовательно и правительственныхъ „бюрократическихъ учрежденій“.

Бюрократическія учрежденія и во всякой странѣ, гдѣ заведутся, составляютъ истинную „язву отечества“; тѣмъ болѣе это должно про нихъ сказать въ Россіи. Не какія-либо основныя и верховныя учрежденія Руси (они неизмѣнны и неколебимы въ сознаніи русскаго народа) обличаются колеблющимися по освобожденіи отъ крѣпостнаго права, а лишь тѣ второстепенныя, третьестепенныя и всѣхъ неисчислимыхъ низшихъ степеней, которыя только въ силу крѣпостнаго права и могли еще существовать.

Иное дѣло все то, что составляетъ неизмѣнный и неколебимый завѣтъ тысячелѣтней исторіи цѣлаго русскаго народа, и совсѣмъ иное дѣло тѣ правительственныя бюрократическія учрежденія, тотъ нашъ ancien régime, который у насъ лишь съ XVIII вѣка зрѣлъ и росъ по мѣрѣ роста и созрѣванія крѣпостнаго права. Первое, послѣ отмѣны крѣпостнаго права, теперь стало еще завѣтнѣй и дороже всему русскому народу, чѣмъ было прежде: именно отмѣною крѣпостнаго права оно и засвидѣтельствовало всему міру живую и животворящую силу свою. А второе, сейчасъ по отмѣнѣ

крѣпостнаго права, и обличаетъ — на глазахъ всего же народа — полную свою несостоятельность.

Отъ этого могутъ приходить въ отчаяніе лишь люди непомнящіе у насъ своего родства съ народомъ; они-то и ищутъ теперь пособить „не въ авантажѣ обрѣтающемуся“ бюрократизму окончательною реформой на западный образецъ. Пустивъ въ ходъ „иностранное модное слово“, въ немъ и видятъ они le fin mot de la chose. Имъ это свойственно; въ нихъ это логически-необходимо. Та часть нашей интеллигенціи, которая запамятовала свое родство съ народомъ, какъ извѣстно, ведетъ и все родоначаліе русской исторіи лишь съ XVIII-го вѣка; а девять вѣковъ она произвольно выключила изъ нея. Теперь, когда увялъ пышный цвѣтокъ XVIII-го вѣка и все, что̀ было съ нимъ совмѣстно; когда именно изъ-за дали вѣковъ и даже цѣлаго тысячелѣтія въ новизнахъ отзывается сама старина наша, — интеллигенція, запамятовавшая свое родство съ народомъ, ничего болѣе не пойметъ во всемъ совершающемся. Ей приходится что-нибудь одно изъ двухъ: *или* отречься отъ своего излюбленнаго, хваленаго, XVIII-го вѣка (а вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ того лживаго политическаго принципа, который былъ имъ занесенъ въ нашу исторію) однимъ словомъ отъ цѣлаго такъ-называемаго „блистательнаго періода“, въ томъ смыслѣ какъ его понималъ до сихъ поръ нашъ „казенный катехизисъ“, *или* еще громче прежняго, и уже во всеуслышаніе, провозгласить родоначаліе всей Русской исторіи лишь съ XVIII-го вѣка; но тогда, признавъ лживое начало, принять и le fin mot de la chose — лживое послѣдствіе такого начала. Въ такой-то дилеммѣ очутилось у насъ теперь сознаніе всѣхъ запамятовавшихъ свое родство съ народомъ! Имъ не связать прошедшаго съ настоящимъ.

V.

Будущій русскій историкъ придетъ въ изумленіе передъ колоссальностію того факта, который совершился, совершается, на Руси во вторую половину XIX-го вѣка. Съ тѣхъ поръ какъ „пошла Русская земля и стала есть“, въ ней не было организованнаго въ сословіе крестьянства. „Православнымъ христіанствомъ“, можно сказать, былъ весь народъ; но здѣсь не мѣсто распространяться о временахъ древнихъ. Зачатки крѣпостнаго права примѣчаются собственно въ такъ-называемый „Московскій періодъ“; но и здѣсь еще искать его рано. Вовсе не при Борисѣ Годуновѣ (какъ это полагается

большинствомъ чуть-ли еще не до сихъ поръ) началось такъ-называемое крѣпостное право; даже вплоть до самого Петра I-го его не было. Въ старину дѣлались лишь попытки прекратить переходы съ мѣста на мѣсто, унять старинную угрозу не только сельскихъ, но и городскихъ населеній: „всѣ разбѣжимся, всѣ пойдемъ розно". Старинныя мѣры прикрѣпленія ограничивались, большею частью, финансовою цѣлью, чтобы не прекращался государю оброкъ съ земли: запустѣетъ земля — прекращалась съ нея и подать; а свободные русскіе люди черезъ тѣ узаконенія еще не становились „подданными" помѣщика. Притомъ, въ такомъ прикрѣпленіи сказывалось еще и воззрѣніе на крестьянина, что онъ вообще не предполагался безземельнымъ; тягловое отношеніе крестьянина къ землѣ и сознавалось государствомъ,— а крестьянъ на свозъ еще не продавали. Слѣдовательно, тутъ было нѣчто другое, а не—цвѣтокъ XVIII-го вѣка—помѣщичье крѣпостное право. Петръ I-й актуально захолопилъ не холоповъ; крестьянъ собственно такъ-называемыхъ онъ поравнялъ съ рабами. Рабы были изъ плѣнныхъ или изъ продававшихся въ неволю; Петръ и крестьянъ сравнялъ съ ними. *Во-первыхъ*, онъ по всему государству перевелъ подать съ земли на душу. При этомъ дворовые помѣщичьи люди — прежде ничего не платившіе государству, ибо не имѣли собственности и составляли господскихъ рабовъ—сдѣлались плательщиками подушныхъ наравнѣ съ крестьянами. А на практикѣ черезъ это крестьяне утратили всю разницу, которая прежде ихъ отличала отъ господскихъ рабовъ, — тѣмъ болѣе, что вообще за подушныя сталъ отвѣчать предъ государствомъ помѣщикъ. „Чтобъ всѣхъ помѣщики писали своихъ подданныхъ, какого они званія ни есть!" вотъ собственныя слова Петра въ указѣ, который начинается словами: „слышу я, что въ нынѣшнихъ переписяхъ пишутъ только однихъ крестьянъ".— *Во-вторыхъ*, Петръ I-й обязалъ одинаковыми тягостями службы какъ владѣльцевъ унаслѣдованныхъ или даже покупныхъ вотчинъ, такъ и владѣльцевъ *помѣстій*. Прежде, государство раздавало помѣстья за службу, строго наблюдая, чтобъ *„земля изъ службы не выходила"*. Владѣвшіе помѣстьями и несли за то службу. Такъ-называемые *„вотчики"* лишались помѣстій, но вотчинъ— по крайней мѣрѣ если не унаслѣдованныхъ, такъ покупныхъ—не лишались. Петръ I-й обязалъ одинаковыми тягостями службы и одинаковымъ лишеніемъ имущества за неявку какъ владѣльца помѣстья, такъ и *вотчины*. А на практикѣ это опять значило: онъ уничто-

жилъ старинное различіе между *вотчиной* и *помѣстьемъ*, обративъ и помѣстную землю въ крѣпостную. Этимъ разорвалась старинная солидарность крестьянина съ землею, на которой онъ сидѣлъ, вообще утратилось старинное тягловое отношеніе къ землѣ. Императрица Анна Ивановна, окончательно „милосердуя о своихъ подданныхъ, пожаловала-повелѣла какъ помѣстье, такъ и вотчину именовать одно недвижимое имѣніе: вотчина". Стали ужъ крестьянина мыслить безъ земли, стали его продавать на свозъ. Прогрессъ въ этомъ направленіи шелъ быстро. При Екатеринѣ—заимствуемъ чужое выраженіе — подъ вліяніемъ западныхъ теорій, возведено какъ-бы въ санкцію это новое христіанское рабство. Юридическое отношеніе крѣпостнаго крестьянина къ помѣщику равняется почти настоящему рабству: и лице крестьянина, и все его имущество признается неотъемлемою собственностью помѣщика. Земли и души жаловались тогда щедро: столько-то тысячъ душъ одному, столько-то тысячъ другому. Вольность дворянству *„не служить"*, данная Петромъ III и подтвержденная Екатерининскою жалованной грамотою, окончательно обратила „владѣнье душами" въ прерогативу благороднаго шляхетства, искоренивъ самую память о тягловомъ значеніи земли (впрочемъ, въ правительствѣ и въ публикѣ, а не въ народѣ). Изъ XVIII-го вѣка крѣпостное право перешло въ XIX-й, какъ нѣчто уже будто-бы освященное незапамятной древностью, незыблемое, основное. Но звѣзда покосилась. Государь Александръ II-й кончилъ съ крѣпостнымъ правомъ; *то есть*—чего еще не бывало на Руси да и въ цѣломъ мірѣ—организовалъ свыше чѣмъ въ 20 милліоновъ цѣльное, законченное само въ себѣ, надѣленное земельной собственностью и сознающее себя безпримѣрно-великою общиной, рѣзко очерченное сословіе. Крестьянство на Руси—пройдя сквозь цѣлый рядъ вѣковъ разными законными и незаконными перипетіями — явилось напослѣдокъ такою организованной силой, подобія которой еще не представляетъ ни одна исторія въ мірѣ. Въ нашей новѣйшей исторіи пришло, повидимому, къ тому-же, съ чего началось; рабовъ нѣтъ, крѣпости однихъ лицъ другимъ — болѣе не существуетъ; пышный цвѣтокъ XVIII-го вѣка отцвѣлъ, — но и получилось нѣчто новое, чего не было. Прежніе крестьяне (говоримъ про московскій, уже позднѣйшій періодъ) слоняясь съ мѣста на мѣсто, не составляли организованной силы въ государствѣ. Десятки, сотни и тысячи ихъ рядились отдѣльными рядами поименно, каждый за себя, съ

князьями и не князьями, съ крупными и мелкими землевладѣльцами подчасъ со своимъ-же братомъ — съ крестьяниномъ землевладѣльцемъ; не только не были крѣпки лицамъ, ни даже землѣ, Тогда они являлись разрозненными единицами — безъ всякой силы; сосѣдъ сосѣду былъ чуждъ въ каждомъ селеніи. Пройдя, отъ начала XVIII-го вѣка, сквозь страшное полуторавѣковое, и болѣе чѣмъ полуторавѣковое, ярмо — крестьянство сплотилось въ цѣльное, единое сословіе, болѣе всѣхъ прочихъ проникнутое единствомъ корпоративнаго духа. Теперь они имѣютъ землю и составляютъ организованнѣйшее сословіе — въ цѣлую треть, если не больше, общаго народонаселенія всего государства. Вотъ какого рода историческая формація, пройдя сквозь XVIII вѣкъ, сомкнула настоящее съ прошедшимъ! Прикрѣпленіе крестьянъ, начинавшееся со слабыхъ попытокъ въ XVII-мъ вѣкѣ, обратилось въ полную крѣпостную неволю въ XVIII и въ двухъ первыхъ четвертяхъ XIX-го. Но что-же? не эта-ли крѣпость на цѣлыя 250 лѣтъ и принесла въ концѣ концовъ результатъ прямо противоположный недавней неволѣ, воротивъ конецъ къ началу? Путемъ этого болѣзненнаго процесса нашъ „соціальный“ вопросъ рѣшенъ наконецъ такъ, что нынѣшній крестьянинъ не захочетъ больше вернуться къ „Юрьеву дню“ до-Годуновскихъ временъ.

Не можемъ удержаться, чтобъ не сдѣлать тутъ выписки изъ недавно напечатаннаго, хотя молодаго, но въ высшей степени талантливаго произведенія покойнаго князя В. А. Черкаскаго: „*Очеркъ исторіи крестьянскаго сословія*“ (Русскій Архивъ, 1880 года, № 3). Слова глубокаго знатока крестьянскаго дѣла — тутъ будутъ вполнѣ умѣстны.

„Крѣпость внесла въ волостную жизнь живое сознаніе общиннаго единства. Соблазнительный Юрьевъ день въ конецъ разрушилъ всю непосредственность первоначальнаго родоваго единства въ волости, не замѣнивъ ея никакимъ новымъ началомъ. Волость постепенно утратила и память о древнемъ родствѣ, дружбѣ и единодушіи близкихъ сябровъ, и наконецъ, механически сложенная изъ чуждыхъ другъ другу пришлецовъ, въ концѣ XVI вѣка уже не представила даже довольно элементовъ нравственнаго единенія, чтобы дружно противостать правительству и отвергнуть насильственное укрѣпленіе. Но крѣпость, снова создавъ для бездомнаго крестьянина-бродяги твердую осѣдлость, снова по неволѣ сблизивъ его съ сосѣдомъ и на цѣлыя 250 лѣтъ неразрывно соединивъ его съ однимъ и тѣмъ-же волостнымъ обществомъ, влила въ него твердое сознаніе единства интересовъ всего крестьянскаго міра, научила его видѣть въ каждомъ селянинѣ брата по происхожденію

и надеждамъ, по страданіямъ и страстямъ; словомъ, крѣпость снова возсоздала нравственную, общественную жизнь волости, создала для нея корпораціонные интересы, возвысила ее на степень огромной и могущественной общины, общины гражданской и политической, съ опредѣленной политическою цѣлью и твердостью сознательнаго единодушія. Такимъ образомъ два съ половиной вѣка уничиженія породили для селянина самые блистательные результаты".

Сочиненіе, писанное авторомъ задолго до освобожденія отъ крѣпостнаго права (въ сороковыхъ годахъ, когда авторъ былъ студентомъ Московскаго университета), торопитъ этотъ желанный мигъ. Авторъ провидитъ лучшее будущее русскаго крестьянства—лучшее и противъ западныхъ *виленовъ*.

„Западная эманципація крестьянъ—говоритъ онъ—оставила ихъ бездомными бобылями, безъ поземельной собственности, безъ политическаго достоинства, даровала имъ какъ-бы въ насмѣшку безплодную и незавидную свободу и вмѣстѣ съ тѣмъ зародила въ огромныхъ размѣрахъ пролетаріатъ, эту страшную язву, которая уже болѣе ста лѣтъ непримѣтно точитъ все ветхое зданіе европейской гражданственности и грозится когда-нибудь поглотить вѣковые плоды ея въ вѣчно отверстыя челюсти неутолимаго зѣва. У насъ пролетаріата нѣтъ, и нѣтъ для него почвы во всей Россіи, ибо для русской волости есть лишь одинъ правильный, нормальный выходъ изъ крѣпостнаго состоянія,—это есть общинный политическій бытъ волости, основанный на твердой поземельной собственности. Намъ остается сдѣлать лишь одинъ послѣдній шагъ, и тогда горделивый Западъ съ удивленіемъ узнаетъ, что гдѣ-то, далеко отъ образованнаго міра, на Востокѣ, безъ похвальбы и шарлатанства, свершилось то явленіе, котораго онъ вмѣстѣ такъ желаетъ и страшится, которое даже въ демократической Франціи слыветъ еще доселѣ какой-то несбыточной утопіей, блистательной химерою. Но когда-же настанетъ для Россіи вожделѣнный день? Когда-же клепало мірское снова созоветъ возродившуюся общину сельскую на благодарственное молебствіе Господу?"

Чаяніе многихъ поколѣній исполнилось: крѣпостной неволи больше нѣтъ. Да совершится и другая половина тѣхъ-же чаяній многихъ поколѣній: пускай водворится благоустройство въ Русской землѣ на коренныхъ русскихъ началахъ, которое, было, мы и вовсе запамятовали въ *„крѣпостной вѣкъ"*. Или вся наша тысячелѣтняя исторія не имѣетъ ровно никакого смысла (въ чемъ, къ сожалѣнію и хотятъ насъ увѣрить непомнящіе родства съ народомъ), или весь ея великій, истинно-всемірный смыслъ въ томъ и заключается, чтобы въ свободной, не вѣдающей плѣна, *землѣ*—само еще и *государство* было у насъ символомъ свободы, а не плѣна.

VI.

Всмотритесь какая задача надвинута Русскою исторіею въ наши дни. Владѣющаго землей и составляющаго у насъ политическую общину крестьянства — полагаютъ 82% всего населенія. Теперь, когда въ крестьянствѣ упразднились прежнія его раздѣленія и разновидности, оно стало *едино*. Изъ условнаго термина, выражавшаго сословность, оно опять обратилось въ „православное христіанство", чѣмъ только и было искони. Передъ нимъ всѣ прочія сословія — не дѣйствительность, а слабая тѣнь! Оно, можно бы сказать, „всесословно" у насъ. По такому народу ужъ и не предполагается какихъ-либо *„классовъ-сословій"* надъ нимъ; надъ такимъ народомъ можно предполагать единственно интеллигенцію. Но такъ у насъ и пошло изначала; верхній русскій классъ никогда не составлялъ сословія въ тѣсномъ, въ западномъ смыслѣ этого слова. Это верхній строй, передовая рать своего народа — и больше ничего.

Требуется уравновѣсить интеллектуальною силою, силой выдающихся изъ народа личностей, силою общественной — эту многомилліонную массу поглощеннаго непосредственнымъ бытомъ и пребывающаго въ общинѣ или въ громадѣ простонародья. Нашъ вѣрный историческимъ завѣтамъ и отличающійся здравымъ смысломъ православный народъ—дождется-ли, дождался-ли, наконецъ, достойной себя интеллигенціи? Вѣдь все родное, и симпатіи и антипатіи свои, народъ больше *чувствуетъ*, чѣмъ *сознаетъ*. Стихійное сознаніе народа скрыто въ его нѣдрахъ лишь на степени живучаго инстинкта. На то у него и интеллигенція, чтобъ путемъ личнаго сознанія выяснить народный идеалъ. Многое, что̀ народу дорого и завѣтно, самъ онъ при всемъ желаніи—просто ужъ по убожеству своему—иначе не въ состояніи и выразить какъ не свыше лубочной картины. Возвести все такое въ „перлъ созданія" чья-жъ опять и обязанность какъ не его интеллигенціи? Не хотѣлось-бы думать еще и въ наши дни, что русскій народъ ею обездоленъ. Хотѣлось-бы все больше со дня на день убѣждаться общею совокупностью обстоятельствъ, что интеллигенція у него есть, наконецъ будетъ. Безъ того нельзя ужъ теперь ступить ни шагу. Пока у насъ не объявится истинное, въ прямомъ русскомъ смыслѣ *земство*— невозможно становится на Руси никакое, хотя-бы самомалѣйшее

дѣло. Ужъ не говоря о рѣшеніи міровыхъ вопросовъ, ни даже какихъ-либо вопросовъ экстренной государственной важности — простое рѣшеніе насущнаго, какъ черный хлѣбъ, вопроса о крестьянскомъ самоуправленіи невозможно безъ того.

Патріоты, не помнящіе родства съ народомъ, дошутились у насъ въ послѣднее время ужъ до самой плохой шутки—дальше идти некуда. Грозно-правдивую филиппику изрекли они сами на себя устами одного изъ своихъ, который съострилъ въ недавнюю войну: „c'est la plus grande impuissance du monde", говоря про Русскую державу. Пора наконецъ свое родство вспомнить. Мы, благодаря Бога, вовсе не „parvenus", не какіе-нибудь „со вчерашняго дня происшедшіе". Вольно-жъ намъ было отрицаться Руси ранѣе XVIII вѣка и лишь изъ него производить все! Намъ пріятно было невѣдѣніе, что крѣпостное право—это мутное пятно XVIII вѣка—никогда еще не сгущалось до такой тьмы, какъ именно въ самомъ „ореолѣ" нашего лучезара. Простительно-ли было самопроизвольно вычеркивать девять вѣковъ изъ тысячелѣтней исторіи народа и все его родоначаліе сводить лишь ко вчерашнему дню—кануну нашего собственнаго вольнаго и невольнаго бюрократизма. Притомъ, въ этомъ первенцѣ любви, чѣмъ именно восхищались? Все, что было въ XVIII вѣкѣ временнаго и преходящаго, что составляло его очевидную болѣзнь (не мимо слово: въ болѣзняхъ рождается чадо), было возвеличено на пьедесталѣ, а его безсмертную славу — прогадали.

Ее проглядываютъ, ее не хотятъ признавать, увы! еще и до сихъ поръ...

Господа казенные хвалители XVIII вѣка, за что-же наконецъ вы его хвалите? Бѣдный *великій* Петръ! Не изъ-за того-ли бился онъ и мучился весь вѣкъ въ кровяхъ и страстяхъ, чтобъ водворить наконецъ образованіе въ Русской землѣ — а его послѣ татарщины (она-ли еще длится до сихъ поръ?) страхъ какъ не доставало! Получивъ въ наслѣдіе темную, испорченную страну, искалъ онъ и не находилъ въ ней плода образованія: *общественныхъ дѣятелей*, и самъ сдѣлался первымъ „общественнымъ дѣятелемъ" на Руси. И все, надъ чѣмъ онъ потрудился, хотя поздно, хотя только цѣлымъ рядомъ воспитавшихся и перевоспитавшихся поколѣній, доставило наконецъ Русской землѣ этихъ *истинно-общественныхъ людей* для служенія *общественному дѣлу!* Бѣдный *великій* Петръ, за что-же нынче казенные хвалители твоего вѣка вырываютъ у

тебя изъ рукъ твою лучшую заслугу, хотятъ вычеркнуть изъ исторіи твою безсмертную славу?

Признайте наконецъ XVIII вѣкъ тѣмъ, чѣмъ онъ былъ съ самаго начала и чѣмъ онъ безсмертенъ въ Русской исторіи — сознаніе въ мигъ расчистится. Признайте именно, что онъ „рождалъ чадо", т. е. образованіе, которое на первыхъ порахъ было во многихъ отношеніяхъ... только каррикатурой на образованіе! Любите, хольте и лелѣйте новорожденнаго — больше, гораздо больше, чѣмъ это до сихъ поръ дѣлалось, — но самихъ мукъ рожденія отнюдь не возводите въ идеалъ. Да! самымъ болѣзненнымъ, мучительнымъ и невзрачнымъ процессомъ рождалъ онъ *образованіе*, котораго такъ долго не доставало Русской землѣ; то самое *образованіе*, которое долженствовало ей дать — искомое и ненаходимое древнею Русью — еще и плодъ образованности: *общественныхъ дѣятелей*, способныхъ возвышаться надъ личнымъ и сословнымъ эгоизмомъ — въ общественныхъ дѣлахъ; въ государствѣ это даетъ только образованность. Сознайте это; а чтобъ это сознать, придется еще многое осудить въ XVIII вѣкѣ и признать въ немъ лживымъ, неизбѣжнымъ лишь временно и отвергнуть теперь уже сознательно, — и обновится самъ собою нашъ свѣтлый древній русскій идеалъ. Земля и государство въ союзѣ; мнѣніе и власть заодно; общественные земскіе люди ведутъ по мѣстамъ общественное земское дѣло, — это и есть земля; безъ того ни земли, ни народа. А какъ надъ землею одно солнце, такъ и надъ народомъ — одна только единоличная верховная власть, больше ничья. Вотъ несомнѣнно идеалъ древней Руси! Даже государи суроваго Московскаго періода приглашали землю его выполнить; только не могъ онъ быть тогда выполненъ. Дико-невѣжественной злобы — „die russische Bosheit" — вотъ чего, послѣ татаръ, много накопилось въ Москвѣ, какъ о томъ свидѣтельствуетъ современникъ несчастнаго Бориса Годунова, друга нѣмцевъ. Древней Руси того и не доставало, что́ ей взялся наконецъ доставить XVIII вѣкъ.

Ужъ на что́ былъ суровъ и грозенъ — особенно до смуты, до Романовыхъ — суровый и грозный Московскій періодъ. Но и во времена Московскаго правительства, оно со всей искренностью давало всѣмъ областямъ, всей землѣ — самое широкое самоуправленіе, не мыслимое-бы даже и въ наши дни. Только нигдѣ по мѣстамъ не обрѣталось еще тогда образованнаго земства, еще не было искомыхъ и ненаходимыхъ древнею Московскою Русью *общественныхъ дѣятелей*, которые-бы въ общемъ дѣлѣ забывали личный

эгоизмъ. Лишь „образованіе“, воздвигнутое Петромъ, стало мало-по-малу плодить у насъ этихъ людей, и наконецъ искомое оказалось найденнымъ. Безъ того, ровно-бы никакого смысла не имѣлъ нашъ историческій XVIII вѣкъ; нѣзачѣмъ было-бы ему въ нашей тысячелѣтней исторіи и являться такимъ, какимъ онъ былъ.

Въ правѣ-ли мы, однакожъ, утверждать, что искомое древнею Русью черезъ XVIII вѣкъ—въ новой Россіи къ концу XIX найдено наконецъ? Въ правѣ. Освобожденіе отъ крѣпостнаго права въ началѣ нынѣшняго царствованія свидѣтельствуетъ о томъ. Безъ длинныхъ разсужденій ограничимся лишь краткимъ доказательствомъ. Припомнимъ, что было лѣтъ сто слишкомъ назадъ. „Блистательный періодъ“ уже вѣнчалъ тогда своего героя лучезарнымъ ореоломъ и вѣкъ кичился своимъ образованіемъ. Оставляя въ сторонѣ академическую и университетскую ученость, и громъ и оды, и тогдашнюю „эрудицію“ государственныхъ „персонъ“, опять-таки поищемъ искомаго въ земствѣ. Личности уже появились. То одинъ, то другой, а напослѣдокъ и многіе по захолустьямъ мѣняли старинные пиры, дымъ коромысломъ, да псарный дворъ—на тишину кабинетныхъ занятій. Простые люди, какъ Даниловъ или Болотовъ, возвращаясь со службы, заносили и въ родную глушь знанье языковъ и любовь къ книгамъ. Являлись и такіе esprits-forts, какъ князь Михайло Щербатовъ. Но чѣмъ-же прославился хоть-бы этотъ самый esprit-fort? Читайте исторію Екатерининскаго „наказа“.

Что произошло, когда Екатерина созвала со всей Имперіи депутатовъ, учредивъ знаменитую Коммиссію для сочиненія проекта новаго уложенія? Изъ представителей всѣхъ сословій заикнулся ли тогда кто-нибудь о необходимости отмѣнить крѣпостное право? Напротивъ. Всѣ „классы-сословія“ (разумѣется, кромѣ тѣхъ, о комъ метался жребій) распространялись тогда о священно-религіозной необходимости крѣпостнаго права. Пришлось ослушаться господъ депутатовъ. Одни говорили тогда: „право имѣть деревни и рабовъ и покупать въ собственность людей должно принадлежать исключительно дворянскому корпусу; дабы, научась съ младенчества управлять своими деревнями, дворяне были тѣмъ способнѣе къ управленію частями имперіи“. А другіе тогда возражали на это: „покупать людей необходимо и купечеству, для ихъ домашнихъ нуждъ, ибо безъ того купечеству въ исправленіи домовой экономіи и полицейскихъ дѣлъ обойтись невозможно“. Кромѣ купеческаго, не было-ли и еще одного сословія, которое также указывало и на свою безъ покупки лю-

дей невозможность? Да, и духовенство стояло на томъ-же. Итакъ, вотъ о чемъ ходатайствовали депутаты отъ всѣхъ сословій сто лѣтъ тому назадъ. Воздадимъ благодарность власти, которая ихъ не послушалась.—А что совершилось въ наши дни, въ началѣ нынѣшняго царствованія? Всякому современнику великой эпохи извѣстно, съ какой готовностью, съ какой доброй волей была брошена прерогатива тѣми, кто уже вмѣнялъ себѣ за стыдъ пользоваться ею. Извѣстно и то, что сословіе, терявшее при этомъ, не ограничивало дѣла только *личнымъ освобожденіемъ;* оно вспомнило древнее русское воззрѣніе о солидарности крестьянина съ землею. Значитъ, образованіе уже дало настоящихъ „общественныхъ людей".

„Позвольте однакожъ",—возражаютъ страстные, прости имъ Господи, озлобленные голоса,— „дѣло происходило вовсе не столь умилительно, какъ о семъ повѣствуется. Матеріалы исторіи освобожденія цѣлы; зачѣмъ-же и кого морочить! Прочтите труды разныхъ тогдашнихъ Комитетовъ, и что-жъ окажется? *Меньшинство*, вездѣ лишь одно меньшинство подписывалось въ пользу великаго дѣла. А *большинство*—или вовсе его не хотѣло, или склонялось къ нему далеко не съ такой абсолютностью".

Принимаемъ такое возраженіе въ полной силѣ.

Оно гораздо важнѣй, чѣмъ сами возражатели полагаютъ. Опять, значитъ, возблагодаримъ ту власть, которая склонилась на мнѣніе „меньшинства"—въ пользу тьмы темъ. Но сторицей возблагодаримъ нашу родную русскую исторію и нашъ великій русскій народъ, для которыхъ свята именно лишь такая власть, что не связана *условнымъ* меньшинствомъ или большинствомъ. Нечего условнаго вообще не любитъ русскій народъ. Велика власть, какъ ее понимаетъ русскій народъ. Она живой человѣкъ и руководится сердцемъ; на ней тяготѣетъ преданіе многовѣковыхъ былыхъ судебъ и богобоязненность въ предначаліи будущихъ; въ таинствѣ своего одинокаго могущества и на единѣ съ своею собственной совѣстью она вѣчно еще какъ-бы съ глазу-наглазъ съ цѣлымъ многомилліоннымъ народомъ. Довѣріе именно къ такой власти внушаетъ окончательную смѣлость утверждать, что въ наши дни у русскаго народа есть наконецъ достойная его интеллигенція, которой можно ввѣриться—хотя еще и не въ желанномъ *большинствѣ*. Безъ того, нельзя-бы и ручаться такъ смѣло.

Тысячелѣтняя исторія русскаго народа замыкается въ наши дни съ XVIII вѣкомъ, который долгое время въ ней стоялъ ка-

кимъ-то выродкомъ. Наше настоящее—всѣ это слышатъ—смыкается наконецъ съ нашимъ прошлымъ. Русское многомилліонное крестьянство уже готово, во всесословномъ сліяніи, перейти въ *земство*.

VII.

Вотъ у всѣхъ передъ глазами неотрицаемый фактъ: существуетъ, съ одной стороны, вышедшій изъ крѣпостной зависимости, многочисленный людъ, всецѣло поглощенный непосредственнымъ бытомъ и пребывающій въ общинѣ. Съ другой стороны, видятся и личные землевладѣльцы; живутъ съ народомъ объ руку и такіе мѣстные люди, которые—говоря стариннымъ терминомъ—„грамотѣ умѣютъ и которые годятся“. Какъ ихъ сомкнуть органически для земскаго дѣла? Этотъ вопросъ ставится самъ собою, очевиднымъ фактомъ. А нельзя прямо приступить къ его рѣшенію: уже и на пути къ его рѣшенію успѣли нагромоздиться всякіе кривотолки.

Кругомъ разноголосица. Одни будто въ горячешномъ бреду, пророчатъ, что сельская община непремѣнно развалится отъ причинъ небывалыхъ. Другіе въ вялой апатіи отрицаютъ возможность найти на Руси хоть пятокъ людей, которые-бы не были „*крѣпостниками*“!! То вялый, то очень энергическій, но въ сущности одинъ и тотъ-же „отрицательный“ вздоръ! И вздоръ ошеломляющій,—ибо тѣ-же самые, что̀ отрицаютъ возможность найти на Руси хоть пятокъ „*некрѣпостниковъ*“ для мирнаго веденія сельско-уѣзднаго дѣла,—расточаются въ увѣреніяхъ о всеобщей зрѣлости и рѣшительной готовности всѣхъ и каждаго для того, чтобъ завѣдывать высшими государственными дѣлами и двигать судьбами міра.

Тѣ самые, что̀ прозираютъ паденіе крестьянской общины отъ „мало-земелія“ и пр. не видятъ, что законъ „о выкупѣ крестьянами ихъ надѣла“ вынуждаетъ мірянъ разбивать ихъ коллективную собственность.

Нѣтъ-ли въ нашей сельской общинѣ—какъ она поставлена самимъ законодательствомъ—не мнимыхъ, а дѣйствительныхъ причинъ для ея сокрушенія? нѣтъ-ли и особенныхъ гнетущихъ обстоятельствъ, на которыя-бы ропотъ крестьянина былъ правъ и честенъ? Нѣтъ-ли, въ самомъ дѣлѣ, въ нашемъ крестьянствѣ—вотъ предлагаемъ вопросъ—нѣкотораго глухаго, затаеннаго протеста противъ нѣкоторой неправды, которой само оно, наше крестьянство, неспособно даже ясно и формулировать, но чутье которой свидѣтель-

ствуетъ въ немъ живучесть и вѣрность историческаго инстинкта?— Есть; объ этомъ и стóитъ размыслить.

Съ другой стороны, нѣтъ-ли какихъ вредныхъ признаковъ, исторически-роковыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ въ складѣ самого нашего передоваго сословія, призваннаго первенствовать въ земствѣ? Можно-ли еще на это сословіе положиться, что оно явится опорой, а не помѣхой земскому дѣлу? Слѣдуетъ размыслить и объ этомъ.—Только убѣдившись въ здравости обоихъ элементовъ, образующихъ земство, и можно ставить вопросъ: какъ ихъ сомкнуть органически?

Въ газетахъ, выдающихъ себя за „*либеральныя*“, разыгрывались варіаціи на тему: мужикъ просилъ хлѣба, а ему подали камень. Въ доказательство такого жестокосердія приводились цифры и статистическія выкладки. Къ сожалѣнію, ими хотѣли доказать одно, а доказали другое. Повидимому, хотѣли доказать ненадобность личной земельной собственности въ Россіи, необходимость ее уничтожить въ пользу общиннаго землевладѣнія—да царитъ оно одно сплошь отъ Бѣлаго моря до Чернаго! А на дѣлѣ доказали, что надо выселить пол-Россіи во внутренность центральной Африки: ибо только тамъ возможно было-бы удовлетворить пылкихъ статистиковъ, увеличивъ „минимумы и максимумы“ до желаемыхъ ими размѣровъ. Отличающійся здравымъ смысломъ, толковый русскій народъ — неужели въ этомъ случаѣ раздѣляетъ химеры господъ, самозванно выдающихъ себя за его либеральную интеллигенцію?

Въ народѣ не безъ черни.

Простонародныя вожделѣнія собственно такъ-называемой черни, можетъ быть, и сходятся въ извѣстной степени съ вожделѣніями нѣкоторой части нашей самозванной интеллигенціи. Но *чернь* или собственно такъ-называемое „*простонародье*“ не одно и то-же, что̀ самъ народъ. Такъ-называемыхъ простонародныхъ инстинктовъ, инстинктовъ черни—не должно смѣшивать съ здравымъ смысломъ и здравымъ толкомъ народа; это двѣ вещи розныя. Въ каждомъ сословіи есть свои отбросы и подонки; довольно ихъ и въ сословіи крестьянскомъ. Отбросы и подонки рѣшительно всѣхъ сословій — вотъ изъ чего скучивается гнѣздилище всевозможныхъ дурныхъ инстинктовъ; изъ нихъ-то и слагается *чернь* въ собственномъ смыслѣ этого слова. А наше крестьянство — отнюдь не чернь. Пьяницы и пропоицы, вообще такъ-называемая „кабацкая голь“, умножаются у насъ съ каждымъ

годомъ въ удивительной прогрессіи отъ нынѣшняго statu quo. Бѣда, если наконецъ вся совокупность обстоятельствъ слагается такъ, что льститъ инстинктамъ черни, а здравомысленнымъ требованіямъ народа ни отвѣта, ни привѣта. Отъ какихъ-бы причинъ такая совокупность обстоятельствъ ни слагалась, но изъ такого положенія слѣдуетъ скорѣе выдти. Между прочимъ, именно отъ *лже*-образованія, *лже*-гуманности и *лже*-либерализма такая совокупность обстоятельствъ и слагается.

Что русскій народъ не раздѣляетъ ничьихъ химеръ—причинъ на то слишкомъ много. Надѣлъ, отведенный крестьянину какъ point de départ и про запасъ на черный день, не лишаетъ его возможности и не избавляетъ еще отъ старанія пріобрѣсти трудомъ гдѣ-либо землю и въ *личную* собственность. Между крестьянами въ наши дни можно встрѣтить богатыхъ *личныхъ* землевладѣльцевъ, и число ихъ съ каждымъ годомъ не убавляется, а растетъ (то-же ли можно будетъ сказать про дворянъ-землевладѣльцевъ?). Такъ было и встарину: наряду съ *общиннымъ* землевладѣніемъ существовала на Руси также и *личная* земельная собственность; наряду съ помѣстною землею (не отчуждаемой, а дававшейся лишь въ пользованіе) были земли отчуждаемыя и покупныя. Личными землевладѣльцами и тогда, какъ опять нынче, бывали сами крестьяне. Но и тогда, какъ теперь, никому изъ русскаго крестьянства и не мерещилось той медовой Аркадіи, гдѣ текутъ „молочныя рѣки въ кисельныхъ берегахъ“, ибо русское православное христіанство помнитъ лучше своей самозванной интеллигенціи непреходящее слово: „въ потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ твой“ и всегда его помнило. Въ отвѣтъ на мечты объ Аркадіи довольно-бы и этого; но слишкомъ назойливы прорицанія о томъ, что сельская община развалится отъ малоземелья—чтобъ ограничиться однимъ этимъ. Приведемъ убѣдительный примѣръ въ доказательство, если не нелѣпости, такъ наивности такихъ прорицаній. Ограничимся на сей разъ крошечною мѣстностью, райономъ земли всего какихъ-нибудь въ семь или восемь верстъ въ квадратѣ, знакомой намъ какъ свои пять пальцевъ. Эта не фантастическая мѣстность покажетъ, какъ шатки и валки показанія статистиковъ, витающихъ въ отвлеченныхъ формулахъ—пригодныхъ развѣ для астрономическаго пространства. Наши вольные и невольные бюрократы, впрочемъ, тѣмъ и отличаются отъ живыхъ людей, что витаютъ своими отвлеченностями именно въ заоблачныхъ безвоздушныхъ пространствахъ, и до живаго дѣла—

имъ и дѣла нѣтъ. Вотъ цѣлый уголокъ имѣній, гдѣ крестьяне всюду получили по Мѣстному Положенію высшій надѣлъ въ три десятины на душу. Разсмотримъ первое изъ нихъ. Тутъ въ каждой крестьянской усадьбѣ вы найдете яблоновый садъ. Въ эпоху крѣпостнаго права крестьяне уплачивали казенныя подушныя и господскіе оброки доходомъ съ однихъ этихъ яблоновыхъ садовъ. Такъ какъ здѣсь приходится, въ среднемъ выводѣ, три души (собственно, нѣсколько больше) на каждый отдѣльный дворъ, а на усадебную осѣдлость крестьянъ одна восемнадцатая доля ихъ общаго надѣла,—то результатъ приблизительно слѣдующій. При разсчетѣ на 100 душъ будетъ около тридцати дворовъ при трехстахъ десятинахъ всей земли; изъ нихъ лишь семнадцать десятинъ, и то меньше, подъ усадьбами. Слѣдовательно, 30 крестьянскихъ дворовъ, приложивъ трудъ къ разведенію яблоновыхъ садовъ и къ уходу за ними, оплачивали господскіе оброки и казенныя подати лишь тою землею, которая не выходила изъ черты усадебной осѣдлости; а сверхъ того въ остаткѣ: 283 десятины прочей земли для прочаго производительнаго труда.— Въ той-же крошечной мѣстности вотъ другой уголокъ. Порядокъ избъ расположенъ на отлогомъ скатѣ къ озеру; за нимъ до самой рѣки заливные луга; прямо въ озеро и уперлись крестьянскіе огороды. Яблоновыхъ садовъ нѣтъ; за то на низинахъ, заливаемыхъ вешнею водою, здѣсь богатые капустники: они и приносятъ тѣ выгоды, которыя тамъ доставлялись садами. Вотъ, напослѣдокъ, въ той же самой мѣстности, отсюда лишь на семь верстъ разстоянія, за рѣкою, третій уголокъ. Здѣсь уже, куда ни погляди, песокъ, да мохъ, да лѣсъ, да болота! Что-же? мѣстные крестьяне всю зиму заняты возкою дровъ изъ вѣчно-сводимыхъ и никогда не переводящихся здѣшнихъ „зарѣчныхъ“ рощей; а весной, какъ придутъ барки — нагрузкою дровъ на барки. Такой чисто-мѣстный промыселъ съ лихвой вознаграждаетъ здѣшнихъ сельчанъ, у которыхъ, по ихъ песчаному грунту, разумѣется, ни капустниковъ, ни яблоновыхъ садовъ нѣтъ и въ заводѣ. Мало этого: въ этомъ самомъ районѣ вотъ для образца — родовое имѣніе, уже болѣе трехсотъ лѣтъ удержавшееся въ одномъ и томъ-же роду. Крестьянъ отсюда никуда не выселяли; у дѣдовъ множились внуки; поколѣнья смѣнялись поколѣньями. Землевладѣлецъ послѣднихъ крѣпостныхъ временъ размежевался, наконецъ, съ крестьянами — по Положенію 1861-го года — на чемъ что кого застало. И ни ему, ни имъ — до сихъ поръ не тѣсно. Даромъ, что триста лѣтъ велась здѣшняя сельская

община! Почему-же, если она не поѣла сама себя цѣлыя триста лѣтъ, непремѣнно ужъ такъ теперь и проглотитъ сама себя завтра-же?

Было-бы странно утверждать, что таковъ лишь намъ знакомый уголокъ; а помимо его—завѣдомо повсемѣстная гибель и вся земля сошлась клиномъ! Прекрасно заботиться о благѣ милліоновъ и изучать ихъ нужды—скажемъ въ заключеніе; но и въ сихъ похвальныхъ упражненіяхъ не слѣдуйте нравамъ бюрократіи.

Отъ мнимыхъ и небывалыхъ опасностей, угрожающихъ сельской общинѣ, обратимся къ дѣйствительнымъ,—съ облаковъ спустимся на землю. На томъ-же ученомъ рефератѣ, гдѣ орловскій губернскій гласный отъ крестьянъ заявилъ, что „судъ по X тому для народа убійство“, высказалъ онъ и горячее желаніе: чтобы ввѣкъ нерушимо стояла наша сельская община, никогда-бы не раздроблялась ея общинная (коллективная) земельная собственность между отдѣльными крестьянами въ розницу! Судя по тому, какъ поставлено у насъ выкупное дѣло—едва-ли этому быть.

VIII.

Раскрѣпощеніе крестьянъ было у насъ произведено отчасти по-русски, а отчасти въ разрѣзъ съ требованіями народной жизни и наперекоръ кореннымъ условіямъ русскаго быта—какъ-бы для отмѣны ихъ въ будущемъ. Русскаго въ „эмансипаціи“ то, что крестьяне были отпущены не на вѣтеръ на четыре стороны; а за ними оставили ту самую землю, на которой они сидѣли,—это было по-русски. А погрѣшность противъ исторіи вотъ въ чемъ. *Первое*, несомнѣнный фактъ (установленный XVIII-мъ вѣкомъ и двумя первыми четвертями XIX-го), что помѣщичье право простиралось на личность крестьянина и самъ онъ почитался объектомъ крѣпостнаго права,—этотъ фактъ былъ замолчанъ и такъ обойденъ мимо, какъ-бы его и не было совсѣмъ; вмѣсто того изобрѣли фактъ мнимый и небывалый: будто собственникъ земли (помѣщикъ 60-хъ годовъ) сдавалъ часть ея крестьянамъ яко-бы въ аренду, за что и крестьяне—яко-же арендаторы—отбывали ему барщину или платили оброкъ. *Второе*, eo ipso самъ крестьянскій надѣлъ узаконялся не за сельскимъ *міромъ*, а за „крестьянами-собственниками“ посредствомъ такой выкупной операціи, что исконная сельская община и съ тѣмъ вмѣстѣ коллективное владѣніе сельскою землею всѣмъ міромъ сообща—подтачивались въ корень. То и другое составляетъ уже вопіющее противорѣчіе съ

Русскою Исторіей: это уже насильственное вторженіе реформаторскаго закона во весь, вѣками сложившійся, крестьянскій бытъ.

Всѣмъ, вѣроятно, извѣстно, что коллективная собственность цѣлаго села, земельная мірская собственность, каждымъ изъ крестьянъ въ розницу (Сидоромъ, Иваномъ и т. д.) берется лишь въ пользованіе у міра; а ея приснымъ хозяиномъ и собственникомъ почитается самъ *міръ*, все село: *село*, *волость* (область); въ концѣ концовъ — если угодно — государство. Нельзя было нарушать этого безнаказанно тамъ, гдѣ повелся такой обычай искони. Всѣмъ еще болѣе извѣстно и то, что въ самомъ дѣлѣ существовало у насъ (не тайно или негласно, а прямо Сводъ законовъ санкціровалъ это,—поэтому и прибѣгнемъ къ выраженію Свода), „крѣпостное право помѣщиковъ *на ихъ людей*“. Земля-же, напротивъ того, состоявшая въ удѣлѣ такъ-называвшихся „*помѣстій*“ (съ чѣмъ не должно смѣшивать „вотчинныхъ земель“ и вообще пріобрѣтавшихся въ личную собственность, что всегда на Руси бывало) именно, такъ-сказать *помѣстная земля* отнюдь не почиталась личною собственностью мѣнявшихся то и дѣло служилыхъ людей, получавшихъ ее лишь во временное кормленіе. По старинному русскому воззрѣнію, утвердившемуся въ народѣ еще въ московскій періодъ, народъ продолжалъ, даже до послѣднихъ дней, видѣть въ такихъ земляхъ все еще прежнія помѣстья, раздававшіяся во время оно „помѣщикамъ“ на такъ-называемомъ „помѣстномъ правѣ“: такая земля со всею совокупностью даней и пошлинъ, лежавшихъ на ней, отбываемыхъ и платимыхъ ея старожилами, ходила по рукамъ между служилыми людьми (помѣщиками) какъ жалованье отъ государства, глядя по тому: какую кто изъ нихъ службу несъ, и состоялъ-ли еще на государевой службѣ или уже изъ нея выбылъ.

Разумѣется, послѣ Петра I, Анны Ивановны и т. д. (какъ уже мы и говорили о томъ въ своемъ мѣстѣ) „помѣстье“ и „вотчина“ смѣшались. Тѣ и другія имѣнія составляли въ послѣднее время одну и ту-же помѣщичью собственность, и самое слово „помѣщикъ“ къ этому времени вконецъ утратило свой прошлый смыслъ. Разобрать чуть не за двѣсти лѣтъ всю эту пертурбацію, произведенную петербуржскимъ періодомъ (чтобъ выяснить: какія именно земли въ чьихъ помѣщичьихъ рукахъ составляли встарь „вотчины“, пріобрѣтавшіеся куплею и какія были собственно такъ-называемыя „помѣстья“, ходившія по рукамъ за службу) не было-бы физиче-

ской возможности; — при томъ даже и юридически уже это мыслилось ни къ чему не ведущимъ. Ибо, всѣ имѣнія въ 60-хъ годахъ пришли въ послѣднія руки (въ чьихъ рукахъ застала ихъ крестьянская реформа) прямо по купчимъ; если и по наслѣдственнымъ раздѣламъ, то наслѣдники дѣлились изъ рода въ родъ по денежной-же раскладкѣ между собою, слѣдовательно пришлись каждому по той самой разцѣнкѣ, какъ-бы обошлись и при покупкѣ. Однимъ словомъ, незачѣмъ было ни съ какой стати разбираться въ путаницѣ, затянувшей, не въ одно сто лѣтъ, все это дѣло въ такой узелъ, что его и развязать нельзя было. Тѣмъ не менѣе однако въ крестьянствѣ смутно бродила память, заронившаяся изъ глубокой старины, именно о томъ, что земля на удѣлѣ „помѣстій“ составляетъ собственность развѣ-развѣ государеву, то-есть государственную; а „помѣщикамъ“ (въ старомъ-же смыслѣ этого слова) дается лишь во временное кормленіе, за временную-же ихъ службу государству и ходитъ по рукамъ между ними (что̀ собственно и было встарь). Сидя на такихъ земляхъ, старожилы никогда не смущались вопросомъ: сгонятъ-ли ихъ съ мѣста? напротивъ, бывало, само государство смущалось постоянною боязнью: полно, усидятъ-ли на мѣстѣ еще сами міряне, одолѣваемые разными тягостями, не разбѣгутся-ли они розно? Для старожиловъ занятое ими мѣсто казалось ихъ собственнымъ коренищемъ; если не въ мѣру увеличивались тягости — они волей-неволей снимались съ него; а нѣтъ — сидѣли, даже изъ вѣка въ вѣкъ. Сколько „помѣщиковъ“ ни мѣнялось — старожилы отбывали въ ихъ пользу что̀ пошло изстари (тѣмъ помѣщикъ и кормился) и почитали все такое въ нѣкоторомъ родѣ своею собственною службой никому другому, какъ государю-же, то-есть именно Русской землѣ, какъ государству.

Не надо думать (какъ это пытались у насъ утверждать нѣкоторые изъ отчаяннѣйшихъ доктринеровъ), будто встарь вовсе не было личной земельной собственности на Руси и будто-бы по какому-то ultra-русскому воззрѣнію земля никакимъ образомъ и ни въ какомъ случаѣ даже не мыслится объектомъ собственности личной. Это чистое заблужденіе или, въ концѣ концовъ, сходитъ на простую игру словъ. Объ руку съ общиннымъ землевладѣніемъ не переводилась личная земельная собственность на Руси. Объ этомъ спросите хоть всѣ древніе монастыри—еще въ Кіевскій періодъ. Одинъ изъ первыхъ митрополитовъ Московскихъ и всея Руси, святой

Алексій, развѣ не „купилъ на свое серебрецо“ землю, составляющую подъ Москвой до-нынѣ собственность митрополичьяго дома? Такъ могли тогда пріобрѣтать землю въ личную собственность и всѣ люди, даже разбогатѣвшіе крестьяне,—всѣ, кромѣ разумѣется кабальныхъ холопей, этихъ прямо рабовъ—при извѣстныхъ условіяхъ и въ извѣстныхъ обстоятельствахъ. А что объ руку съ личной земельной собственностью не переводилось-же и такъ-называемое „общинное землевладѣніе“ на Руси; что нѣкоторымъ образомъ оно даже, пожалуй, предшествовало у насъ всякому иному способу владѣнія землей,—это также неоспоримо да и вполнѣ понятно именно у насъ и для насъ, русскихъ. Искони славяне, всѣ роды-племена славянскія, владѣли землей сообща,—это ужъ по существу дѣла выходило такъ; но вопросъ о личной земельной собственности тутъ ни причемъ (подробнѣе распространяться обо всемъ этомъ—здѣсь не мѣсто). Какъ отголосокъ такой именно исконной старины славянской, землевладѣніе и по селамъ велось „общинное“ мірское—искони-же. Садились-ли родомъ-племенемъ, товариществомъ-ли или ватагами—все равно: землевладѣніе складывалось въ такой формѣ. Въ такой-же формѣ переходило оно изъ вѣка въ вѣкъ—дальше и дальше въ послѣдующіе вѣка. Во весь Московскій періодъ, повторяемъ, не міряне боялись: какъ-бы ихъ не согнали съ мѣста? а боялось государство: какъ-бы сами еще міряне, по своимъ тягостямъ, не разбрелись розно? Принимались мѣры не къ тому, чтобъ ихъ согнать, а чтобъ ихъ удержать.

Послѣ всего сказаннаго, надо полагать, дѣлается совершенно ясно, что въ „крѣпостномъ“ крестьянствѣ даже до самаго послѣдняго времени, то-есть когда стала твориться „эмансипація“—между крестьянами держался смутный инстинктъ совершенно особаго рода, и это былъ вѣрный историческій инстинктъ. Имъ казалось, что при раскрѣпощеніи не можетъ быть и помину о землѣ, на которой они сидятъ; что ихъ съ этой земли не сгонятъ, въ этомъ они не сомнѣвались: совсѣмъ не въ этомъ заключался для нихъ весь вопросъ. Крестьянство чаяло—именно какъ подарка свыше—что наконецъ снимутъ съ него ту незаслуженную кабалу, въ которую оно такъ нечаянно попало—именно по указу свыше; что наконецъ раскрѣпостятъ-же его отъ той холопьей неволи, въ какую оно—Богъ знаетъ за что́—попало именно заодно со всѣмъ старинным рабьёмъ и тогдашнимъ холопьемъ. Въ этомъ оно и видѣло дѣйствительное раскрѣпощеніе; а что отведутъ такъ-

называемый „крестьянскій надѣлъ“—въ этомъ во 1-хъ не усматривало себѣ никакого подарка, а во 2-хъ помнило еще и то́, что отъ подобныхъ подарковъ, въ извѣстныхъ случаяхъ и при извѣстныхъ обстоятельствахъ, бывало, оно еще бѣгало и разбредалось розно. Анъ, вышло не такъ; вышло, что крестьянскій надѣлъ (этотъ иксъ, въ которомъ крестьянство и не думало видѣть какого-то дара свыше и отъ котораго даже чуть что̀ — бывало, бѣгало и брело розно) отводился еще какъ нѣчто такое, что его крестьянство во 1-хъ обязано хочешь не хочешь „выкупать“, а во 2-хъ и выкупать посредствомъ какой-то такой „операціи“, которая окончательно сбиваетъ съ толку, путаетъ всѣ мірскіе счеты и разсчеты до абсурдной невозможности распутать ихъ хоть когда-либо и ворочаетъ кверху дномъ всѣ исконныя прирожденныя понятія о мірскомъ передѣлѣ, и о присной земельной собственности цѣлаго села: вчерашняго, днешняго и завтрашняго, то-есть вѣкующаго изъ вѣка въ вѣкъ „сельскаго міра“.

Вотъ не мнимыя, а дѣйствительныя страданія нынѣшней крестьянской сельской общины... насильственно впущенныя внутрь крестьянства самимъ законодательствомъ. День ото-дня, годъ отъ году, эти страданія по существу дѣла будутъ расти и множиться, а изъ десятилѣтія въ десятилѣтіе дадутъ себя знать даже цѣлому государству... Опомнятся-ли и поймутъ-ли наконецъ все это дѣло— хоть поздно... тѣ, кому о томъ вѣдать надлежало съ самаго начала, какъ только еще приступали къ „эмансипаціи“?...

IX.

Во времена крѣпостнаго права вся земля подъ крестьяниномъ и сама его личность считались собственностью „привилегированнаго владѣльца населеннымъ имѣніемъ“. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, довольно заглянуть въ Сводъ Законовъ, IX томъ, раздѣлъ I, отдѣленіе 4 и еще раздѣлъ IV, глава VII, отдѣленія 1, 2, 3 и 4. Объектомъ крѣпостнаго права былъ несомнѣнно самъ онъ, крестьянинъ — грѣха таить нечего; и сами крестьяне ничуть не таили этого грѣха во весь свой кабальный періодъ, когда ихъ смѣшали съ холопями. Напротивъ, они очень сознательно указывали на то̀ и, съ своей точки зрѣнія, даже въ грѣхъ того не вмѣняли. Въ ихъ смутномъ представленіи — вопреки указамъ не только Петра I-го, переложившаго подать съ земли на душу, а даже Петра III-го, освободившаго дворянъ отъ службы — все еще дли-

лась старина незапамятная. (Когда Петръ III освободилъ дворянство отъ службы — не вдомёкъ это было для тогдашняго крестянства; стала тогда носиться молва, что и ихъ, крестьянъ, черезъ то освобождаютъ отъ крѣпости). Землю, на которой крестьяне сидѣли какъ грибы сидятъ на землѣ, почитали они просто своею родной почвой. А именно за то, что *служилое сословіе* тянетъ государству службу — представлялось имъ — и они, крестьяне, тянутъ разныя повинности, въ числѣ коихъ полагалась и сама эта крѣпостная страда помѣщикамъ. Только слишкомъ много и сверхзаконно, казалось имъ, злоупотребляютъ этой повинностью; отъ власти и ждали они терпѣливо конца злоупотребленіямъ. Смутное сознаніе такого рода длилось въ крестьянствѣ даже до самаго Положенія 1861 года; имъ тогда представлялось совершенно естественнымъ, что у нихъ изъ-подъ ногъ не вырвутъ почвы, на которой они выросли какъ грибы, а затѣмъ — выводъ ясный. Послѣ „воли“, казалось имъ, останутся на нихъ однѣ подати государству: государство безъ податей не стоитъ,— это всѣ знаютъ. Пожалуй, думалось, прибавится еще новая раскладка и по самоуправленію, ибо всякое управленіе также во что-нибудь обходится. Эти двѣ подати казалось имъ, и останутся впередъ; но третьей подати уже никакой не будетъ. Но съ помѣщикомъ, казалось имъ, всякіе разсчеты послѣ „воли“ будутъ начисто смыты, покончены разъ навсегда. Помѣщику, думалось имъ, что-нибудь одно изъ двухъ: *либо* вмѣнится за искупъ „грѣха“ долговременное тѣмъ грѣхомъ пользованіе; *либо*, если государство разсудитъ, что по справедливости надо удовлетворить и помѣщика, такъ не на нихъ, крестьянъ, или по крайней мѣрѣ не на нихъ однихъ, падетъ тяжесть такого удовлетворенія, а поступитъ такое удовлетвореніе со всего-же государства. Такъ, по своей простотѣ (не понимая XVIII вѣка), полагало крестьянство; но иначе все это было формуловано закономъ. При эмансипаціи, была почувствована надобность заразъ, въ одно и то-же время,— и пріурочить крестьянину землю, на которой онъ выросъ, и обойти даже самый вопросъ о вознагражденіи помѣщиковъ за потерю рабочей силы, т. е. „крѣпостнаго права на ихъ людей“ (терминъ въ Сводѣ Законовъ употребляемый). Поэтому, точка зрѣнія была принята такая: будто крестьянинъ платилъ оброкъ или справлялъ барщину именно за землю, которою пользовался отъ помѣщика.

Исторически, это было невѣрно; отсюда и всѣ смущенія,

которыя щемятъ нашу сельскую общину даже *до дня сего*. Смущеніе тутъ многое: одно касается вопроса о возможности или невозможности сохранить общину въ цѣлости, тогда какъ этому противорѣчитъ постановка выкупной операціи; другое касается уже сущности самихъ, взносимыхъ послѣ воли, податей.

Весьма понятно, что разъ было принято, будто барщина или оброкъ составляли какъ-бы арендную плату за quasi-арендуемую землю (а самого „грѣха“ какъ не бывало; его, словно, знать не зналъ и вѣдать не вѣдалъ законъ!),—и самый „выкупъ крестьянскаго надѣла“ явился лишь капитализаціею оброка. Съ каждымъ годомъ, посредствомъ взноса такъ-называемыхъ выкупныхъ платежей, земля теперь все болѣе обѣляется. Это и заставляетъ крестьянъ относиться ревниво къ выкупаемымъ участкамъ, волей-неволей дробить мірскую коллективную собственность. Внося выкупные платежи, а особливо внеся еще къ тому-же такъ-называемый дополнительный платежъ (пятая копѣйка), крестьяне и не могутъ не ревновать обѣляемыхъ участковъ! Дворъ, заплатившій втрое-вчетверо противъ сосѣдняго двора, ревнуетъ получить и участокъ обѣленной земли—втрое-же и вчетверо бо̀льшій—противъ сосѣдняго двора, заплатившаго соотвѣтственно меньше. Такая ревность чувствовалась изначала; недалеко время — будетъ свирѣпствовать. Запросы въ этомъ смыслѣ становятся день ото дня жгучѣе; прошло почти пол-срока — для иныхъ по крайней мѣрѣ, кто пошелъ на выкупъ ранѣе — до полнаго обѣленія земли; притомъ умножились случаи разныхъ частичныхъ выкуповъ посредствомъ единовременнаго взноса,— то купцомъ, скупающимъ у крестьянъ участки подъ фабрики или подъ дачи, то своимъ-же братомъ, разбогатѣвшимъ крестьяниномъ. Изъ этого происходитъ, а еще болѣе: произойдетъ впослѣдствіи—великій сумбуръ. Очень приходится подумать: не грозитъ-ли окончательное раздробленіе коллективной мірской собственности; вся она, пожалуй, разобьется на отчуждаемые участки. Чуждое сельскому міру и привнесенное въ него со стороны, внѣшнимъ закономъ, представленіе о выкупѣ земли, какъ капитализаціи оброка,— чревато для сельской общины бездною роковыхъ послѣдствій. Выпутается-ли она изъ громоздящихся тутъ противорѣчій, удержится-ли цѣло и нерушимо — Богъ вѣсть.

Это-же самое, чуждое сельскому міру и привнесенное въ него лишь со стороны, представленіе—отражается и другимъ смущеніемъ въ народѣ. Доброе крестьянство само не въ состояніи

ясно формуловать своего протеста; но оно угадываетъ нѣкоторую напраслину какъ разъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ прямо она и есть. Вѣрное историческое чувство (по которому прежде крестьянамъ было въ недомекъ: какъ это Петръ III снялъ со служилаго сословія повинность службы или, по крайней мѣрѣ, въ то-же время не освободилъ и ихъ отъ крѣпости самому служилому сословію), наводитъ крестьянина на мысль о нѣкоторой „исторической неправдѣ“ и по взиманію податей за сію минуту.

Онъ, крестьянинъ, охотно платитъ свою казенную подать; по его понятію, всѣ сословія одинаково, въ томъ или другомъ видѣ, каждое по своему роду, несутъ равныя повинности передъ государствомъ. Но выходитъ, что, платя эту неотрицаемую свою первую подать, онъ въ то-же время выплачиваетъ еще какую-то *свою-же*, исключительно одному ему свойственную, ужъ *третью* подать—составляющую якобы *злой рокъ* именно лишь его сословія. Говоримъ: *третью*, ибо вторую крестьянинъ платитъ опять наравнѣ со всѣми-же, или еще и болѣе всѣхъ, по содержанію своихъ, такъ-называемыхъ „органовъ самоуправленія“ и земскихъ. Ничуть не отрицается русскій крестьянинъ обязанностей своихъ; напротивъ, по своему русскому воззрѣнію весьма здраво ихъ понимаетъ. Онъ даже не претендуетъ, чтобъ его вовсе обѣлили отъ всякихъ повинностей, якобы бѣднѣйшаго изо всѣхъ! онъ и „бѣднѣйшимъ-то“ себя даже не почитаетъ — напримѣръ, противъ мѣщанъ. Онъ именно самъ хочетъ, наравнѣ со всѣми, участвовать въ поддержкѣ благосостоянія своего государства; даже этой чести въ исключительность никому не уступитъ: государство безъ податей не стоитъ, повторяетъ онъ всѣмъ, кто его вздумалъ-бы учить противному. А онъ, по справедливости (кто-жъ изъ понимающихъ не станетъ въ этомъ случаѣ на его сторону?) недоумѣваетъ только по поводу этой *третьей* подати, для которой, истинно говоря, не должно-бы найтись и мѣста въ русской исторіи; а она взялась въ ней именно *злымъ рокомъ*.

Ново-ли все, что̀ мы говоримъ теперь? И да, и нѣтъ. Для толкующихъ безъ всякаго пониманія о полномъ, будто-бы, въ наши дни истощеніи платежной силы крестьянъ—это должно быть ново. Для разумѣющихъ русскую исторію включительно съ эмансипаціей—новаго тутъ нѣтъ. Задолго до эмансипаціи, когда всѣ умы были заняты пріисканіемъ лучшихъ способовъ для рѣшенія трудной задачи—ужъ говорилось объ этомъ и предсказывалось все это.

Уже тогда разоблачали неправильность того формулированія, которое предполагалось быть внесеннымъ въ законъ. Особенно припомнимъ наиболѣе искреннее и серьезное, а потому, вѣроятно, и наиболѣе осмѣянное—свидѣтельство одного изъ тогдашнихъ богачей, который самъ вышелъ изъ народа и въ силу этого, можетъ быть, вѣрнѣй прочихъ и судилъ объ этомъ дѣлѣ. (Мы говоримъ, о статьѣ г. Кокорева: „Милліардъ въ туманѣ“). Итакъ, вотъ что́ еще въ тѣ годы говорили русскіе люди, отличавшіеся русскимъ здравымъ смысломъ: само государство — говорили они — допустило въ Русской землѣ быть грѣху крѣпостнаго права; несправедливо было-бы — какъ отпустить на волю крестьянина безъ земли, такъ и не вознаградить законнаго владѣтеля населеннымъ имѣніемъ за потерю крѣпостнаго права. Посему непремѣнно дайте надѣлъ крестьянину: для него это почва, на ней-же онъ выросъ! Но и не опредѣляйте, что вознаграждаете помѣщика за отобранную для крестьянина землю, а выясните дѣло на чистоту, какъ оно есть. Притомъ, такъ какъ *все и вся* допустили у насъ крѣпостное право, то и за отнятіе у владѣльца, закономъ подтвержденной, хотя въ сущности беззаконной, привилегіи — пускай заплатитъ не одинъ крестьянинъ, а все и вся, цѣлое-же государство, притомъ заразъ и единовременно, чтобъ завтра-же и слѣдъ простылъ всего, что́ было наканунѣ. Милліардъ, вызываемый въ этихъ видахъ цѣною всеобщихъ пожертвованій, такъ тогда и остался въ туманѣ. Но мысль была здравая, чисто-русская. Она вполнѣ соотвѣтствуетъ русскому историческому народному воззрѣнію на Русскую Землю вообще, а въ частности на землевладѣніе въ ней. (Говоримъ про *помѣстья*, а не *вотчины*, ибо всегда въ Русской исторіи бывала и частная, личная собственность, простиравшаяся на землю покупную. Землю покупали въ собственность „на свое серебрецо“ и монастыри и лично—духовные и свѣтскіе, дворяне и крестьяне и всякій кто могъ. Говоримъ тутъ исключительно про „государевы земли“, отдававшіяся въ помѣстья). Это нашъ весьма существенный, историческій принципъ. Безслѣдно не могло пройти его нарушеніе. Несоблюденіе этого именно принципа, этой здравой русской мысли, и сказывается, и отзывается, и отдается теперь нѣкоторымъ смущеніемъ въ народѣ.

Тутъ дѣло вовсе не въ томъ, и ужъ во всякомъ случаѣ не въ одномъ томъ, что сумма взимаемыхъ податей — составленная изъ разныхъ слагаемыхъ,— превосходитъ въ наши дни платежную

силу крестьянъ; нѣтъ! прямое отрицаніе самой сущности одного изъ слагаемыхъ. Народъ какъ-бы доискивается своей исторической правды, самъ не умѣя достаточно опредѣлить: въ чемъ тутъ состоитъ ея нарушеніе. Тѣмъ болѣе трудно ему опознаться въ современныхъ обстоятельствахъ, что во всемъ остальномъ — по всѣмъ прочимъ правамъ и обязанностямъ, включительно съ правомъ землевладѣнія и съ повинностію рекрутской — историческая русская правда уже возстановлена. Тѣмъ больнѣй щемитъ его нѣкое чуждое, вторгнувшееся въ его жизнь начало, изъ котораго онъ никакъ даже въ своемъ сознаніи, не выпутается и его изъ себя не выбьетъ. Лишь по поводу одного этого (какъ иначе и быть не можетъ при стихійномъ сознаніи) и бродятъ въ немъ нѣкоторыя смутныя чаянія, слагаются цѣлыя миѳическія легенды. Это однакожъ — какъ надѣемся, видитъ наконецъ самъ читатель — инстинктъ вполнѣ національный, вполнѣ историческій, — а вовсе не какой-либо анти-правительственный или анти-консервативный; совершенно напротивъ. Такъ должно будетъ сказать по всей справедливости, безпристрастно разглядѣвъ все дѣло.

Вотъ мы высчитали всѣ безъ утайки не мнимые поводы къ смущенію нашей сельской общины; другихъ нѣтъ. Ясно, послѣ всего, что они однакожъ больше чисто-финансоваго свойства, а не какія-либо собственно-соціальные или даже экономическіе въ тѣсномъ смыслѣ. Соціально-экономическихъ затрудненій не было тутъ: ихъ, словно нарочно, состряпали и внѣдрили въ крестьянскій бытъ посредствомъ самого закона. Поздно, конечно, передѣлывать дѣйствующій законъ, имѣющій за собою свыше чѣмъ десятилѣтнюю давность; но дѣлу можно пособить чисто-финансовыми путями. Можно еще простыми денежными средствами, если не въ корнѣ исправить дѣло, то по крайней мѣрѣ значительно предотвратить дурныя послѣдствія. Сама уже предпринимаемая финансовымъ вѣдомствомъ такая мѣра, какъ отмѣна подушныхъ, могла-бы содѣйствовать тому. Вообще, все это дѣло (главное *выкупъ*) можно еще исправить, пожалуй и до конца, финансовою-же мѣрой. Какихъ-либо органическихъ, гнѣздящихся внутри самой общины, поводовъ къ ея смущенію или разложенію — не было и нѣтъ. Первые два-три года по ея освобожденіи, пока неприкосновенно со стороны высшихъ бюрократическихъ сферъ дѣйствовалъ дарованный Высочайшимъ Положеніемъ мировой институтъ, не было въ ней и той безтолочи, которая царитъ теперь. Пока запросъ о дальнѣйшемъ развитіи этого миро-

ваго института въ мѣру новыхъ требованій обновленной жизни не былъ подкошенъ встрѣчнымъ выпускомъ учрежденій мертворожденныхъ,— до тѣхъ поръ и сельская община, и вообще земскій миръ были прочны. Если теперь ихъ, какъ червякъ какой, все болѣе подтачиваетъ съ каждымъ днемъ... это ужъ свойство всякой мертвизны. Это лишь общій результатъ всего „дѣлопроизводства", всѣхъ „мѣропріятій" и „умоначертаній", всего нашего statu quo, который мы и пытались изобразить въ началѣ скорбнаго фельетона. Единственно возможный выходъ изъ statu quo — это органическое возсоединеніе всего, что̀ было насильственно отторгнуто другъ отъ друга, рознято на части и разчленено.

Хоть теперь, послѣ новаго скорбнаго истекшаго промежутка времени, готовъ-ли наконецъ русскій міръ къ дѣйствительнымъ мировымъ учрежденіямъ? Наше *личное* землевладѣніе въ содружествѣ-ли съ *общиннымъ?* передовое сословіе, призванное первенствовать въ земствѣ, будетъ-ли ему наконецъ въ опору, а не въ помѣху? простой русскій народъ и выдавшаяся надъ нимъ его образованная часть — въ добромъ-ли у насъ союзѣ, въ полномъ ли между собой единеніи? Не уклонимся дать посильный отчетъ и объ этой „исторической формаціи" подобно тому, какъ это было сдѣлано въ предыдущихъ статьяхъ кратко о сословіи крестьянскомъ.

X.

Кто сознательно усвоилъ себѣ историческую истину, что отъ начала, „какъ пошла Русская Земля и стала есть", въ ней не было сословія *рабствующихъ,* — тотъ уже принялъ логическое послѣдствіе этой посылки: не было на Руси и сословія *господствующихъ.* Это такъ ясно, что ученые нѣмцы, первоначальные у насъ заводчики исторической науки, всячески старались затемнить это: всѣми неправдами выводили нашихъ *русскихъ* варяговъ нашего роднаго Варяжскаго моря *отъ нѣмецъ.* Какъ однакожъ ни усердствовали они снабдить насъ „чуждымъ завоевательнымъ элементомъ" и какъ имъ ни вторятъ даже сейчасъ нѣкоторые наши доморощеные *фряги*, здравый смыслъ отказывается вѣрить нелѣпымъ баснямъ — хотя-бы и научнымъ. Гдѣ не было завоеваннаго народа, который-бы sub jugo прошелъ въ классъ рабовъ, тамъ не высились надъ нимъ пришлые тріумфаторы съ своимъ героемъ, не могло образоваться и класса „*господъ*". Одно при другомъ; безъ перваго нѣтъ втораго, и обратно. „Мужи" и „именитые люди"

выходили у насъ отовсюду изъ народа, изъ всѣхъ званій. Народъ зналъ князя, а боярина не слушалъ; бояринъ и крестьянинъ по подчиненію были передъ княземъ равны; самъ народъ торопилъ желанный переходъ князевой власти въ государеву,— таковы у насъ историческіе факты. Отечески-семейная власть домовладыки въ домѣ и старѣйшины-князька въ цѣломъ родѣ-племени — съ характеромъ такъ-называемой патріархальности,— вотъ истинный первообразъ (прототипъ) государевой власти на всемъ протяженіи русской исторіи — отъ единодержавія Святаго Владиміра и во весь Велико-княжескій періодъ, а за нимъ и въ царскій.

Когда въ „*Смуту*“ весь государственный нарядъ былъ разрушенъ, самъ народъ поднялся „очищать отъ воровъ“ родную землю, и не прежде успокоился, какъ поставивъ надъ собой власть по старому, по бывалому. Земля и государство опять сошлись въ дружное единство. Самъ еще сынъ избранника, по всѣмъ важнымъ дѣламъ, собиралъ Землю на совѣтъ. Отпускали къ нему дальные концы „именитыхъ и неименитыхъ и всякаго званія — лишь-бы добрыхъ и богобоязненныхъ людей“ на земскій соборъ. И эти всякаго званія *богобоязненные* люди совѣтывали государю по старинѣ: „мысль наша такова, а воля твоя, государь“,— и что̀ ни первый бояринъ, что̀ ни послѣдній крестьянинъ — были передъ государемъ равны.

Въ политическихъ формулахъ, вообще должно сказать, русскій народъ видитъ мало проку, и всегда видѣлъ въ нихъ лишь злую необходимость грѣшнаго людскаго быта на землѣ; не въ нихъ ищетъ своего золотаго вѣка и не онѣ составляютъ его чаяніе. Русскій народъ никогда не представляетъ своего вѣнценосца въ языческомъ образѣ римскаго тріумфатора, величающагося своимъ лучезарнымъ ореоломъ, а всегда — изнемогающимъ подъ бременемъ возложенной на него власти. Такими-же точно глазами смотритъ русскій человѣкъ и на свою собственную власть, которую на разныхъ чередахъ государственной службы предоставляетъ ему главный властедержатель. Онъ видитъ въ ней лишь необходимое зло, такую тяжелую повинность, безъ которой нельзя обойтись въ дѣлахъ „міра сего“. А чуть заслышатся въ воздухѣ происки власти какъ политической себѣ прерогативы — русское народное чувство въ ту-жъ минуту начинаетъ смущаться. Такъ было во все время русской исторіи: и ранѣе того, какъ церковь „раскололась“, и послѣ того.— Правда, что чистый христіанскій идеалъ заслонялся

еще съ древнихъ временъ въ нашей исторіи *кесарскимъ* идеаломъ, завѣщаннымъ міру языческимъ Римомъ. Извѣстно, напримѣръ, что и въ суровый Московскій періодъ потомокъ святыхъ князей, клавшихъ въ Ордѣ свою голову за народъ, хвалился... вдругъ чѣмъ же? своимъ мнимымъ происхожденіемъ „отъ Римскаго императора Августа кесаря". Гордецовъ можно-бы спросить: съ такими стремленіями къ языческому римскому идеалу — не совпадаютъ-ли еще у насъ на Руси и сами зачатки крѣпостнаго права? Нѣсомнѣнно такъ. По крайней мѣрѣ, позднѣе — и чѣмъ далѣе, тѣмъ хуже — какъ будто все болѣе подразумѣвается и у насъ нѣкоторая тайная, въ молчаніи состоявшаяся, сдѣлка между громоблещущею прерогативой и ея ближниками, съ видомъ соучастія въ одномъ и томъ-же политическомъ прелюбодѣяніи. Подросли зачатки „кесарства" въ Московскій періодъ, — въ ту-же мѣру выросли и зачатки крѣпостнаго права. Но все это смутно и гадательно, а главное: было еще и крайне наивно — въ патріархальный Алексѣя Михайловича вѣкъ.

Лишь слѣдующему за нимъ періоду дано было внести въ русскую жизнь *„чуждое начало"*. Осуществить западную, на римско-языческой закваскѣ, теорію о неравенствѣ классовъ — о пришлыхъ нѣмецкихъ завоевателяхъ и о туземныхъ рабахъ, о „подломъ народѣ" и о „цивилизованной публикѣ" (ибо публикою въ собственномъ смыслѣ и зовется все, что́ тянетси за господами), короче: „о крѣпостномъ податномъ состояніи" и о „привилегированномъ политическомъ корпусѣ господъ" — вполнѣ осуществить эту теорію, говоримъ, суждено у насъ было уже XVIII вѣку и законнымъ его дѣтищамъ: двумъ первымъ четвертямъ XIX-го.

Но скорбная исторія нашихъ послѣднихъ дней — что́ иное, какъ не тяжкое искупленіе грѣховъ такъ-называемаго „блистательнаго періода?" Лживый блескъ много потускнѣлъ за послѣднее время, и дай Богъ, чтобъ мы вовсе перестали „блистать". Все-ли выплачено „до послѣдняго кодранта" — вотъ мучительный вопросъ. Не оставлять-бы никакихъ темныхъ счетовъ отъ XVIII вѣка; скорѣй-бы изъять ихъ изъ оборота русской исторіи, ибо до тѣхъ поръ не успокоимся, пока не будутъ искуплены всѣ до одного.

Съуживаемъ нашу задачу; сводимъ, въ частности, все лишь къ одному скромному вопросу, насъ интересующему теперь: мы говоримъ о возможности или невозможности земскаго у насъ самоуправленія послѣ отмѣны „привилегіи владѣть душами". — Кто

пережилъ крѣпостное право, тотъ можетъ свидѣтельствовать какъ очевидецъ: плѣнъ, созданный закономъ, былъ у насъ напослѣдокъ закономъ и отмѣненъ. Законъ, создавшій плѣнъ, самъ его и разрушилъ. Не осталось-ли только въ насъ, внутри самого общества, нѣкотораго еще худшаго плѣна, надъ которымъ уже и не властенъ законодатель? Вопросъ въ одномъ этомъ.

Про нашъ передовой классъ, собственно какъ про „дворянское сословіе", можно будетъ въ концѣ концовъ сказать то-же самое, что́ въ своемъ мѣстѣ было сказано и о сословіи крестьянскомъ. „Служилое сословіе", пройдя сквозь цѣлый рядъ вѣковъ законными и не законными перипетіями, пришло напослѣдокъ къ тому-же, съ чего и началось: опять распущено въ народъ. Теперь это опять уже, въ истинномъ смыслѣ этого слова, лишь *служилое сословіе*; это передовой строй, передовая рать своего народа — и больше ничего. Оно ни для кого не замкнуто, какъ въ первый день русской исторіи, такъ и въ нынѣшній день; никакихъ исключительныхъ преимуществъ и какихъ-либо обидящихъ привилегій въ себѣ не заключаетъ. Въ православномъ братствѣ полноправнаго народа — это лишь его старшій братъ; старшему брату — самъ народъ радъ. Не что́ другое, а само бытовое первенство, обусловливаемое навыкомъ службы и образованія, при близости къ народу, даетъ перевѣсъ дворянству, напримѣръ, въ нынѣшнемъ такъ-называемомъ земствѣ. Можно сказать про русское *„дворянство"*, что сословности въ тѣсномъ смыслѣ, эгоизма касты, въ немъ нѣтъ: духъ въ немъ истинно-всесословный. Отъ того-то и въ такъ-называемыхъ земскихъ учрежденіяхъ, и въ городскихъ Думахъ, всѣ представители „нижнихъ сословій" и выдвигаютъ большею частью своими кандидатами дворянъ противъ прочихъ, наиболѣе проникнутыхъ эгоизмомъ корпоративнаго духа. Но первенствомъ такого рода, основанномъ на образованіи и навыкѣ къ службѣ при всей близости къ народу, дворянство и въ правѣ гордиться какъ лучшимъ своимъ достояніемъ; его-то и должно оно упрочивать за собою всѣми силами; завѣщая въ непремѣнное наслѣдіе и своимъ потомкамъ—какъ свое главное, существенное отличіе, не только никому не обидное, но для всѣхъ желательное. Это такое наслѣдіе, при соблюденіи котораго и въ нихъ, въ потомкахъ, всегда будетъ видѣть народъ своихъ передовыхъ руководителей, лучшихъ дѣятелей роднаго русскаго дѣла, а вовсе не какихъ-то чужепородныхъ западныхъ рыцарей, презрительно относящихся къ vilains. Забавно, что мало-

смыслящіе въ русской исторіи хватаются обѣими руками за старинное „мѣстничество“, указываютъ по крайней мѣрѣ хоть на него, какъ на оправданіе будто-бы и у насъ западнаго генеалогическаго принципа. Но мѣстничество, какъ показываетъ уже самое названіе, ведетъ счетъ по мѣстамъ, по выслугѣ и по отличіямъ; а генеалогію заранѣе предполагаетъ у всѣхъ тяжущихся, напримѣръ Рюриковичей, одну и ту-же. Знатное происхожденіе уважается тутъ лишь настолько, насколько обличаетъ себя въ быту притязающаго, какъ живая, реальная сила (какъ и не чтить чести обнаруживающейся реально?)—а безъ того въ противномъ случаѣ мыслится ничтожнымъ. Собственно о принципѣ „бѣлой и черной кости“, татарской орды или западнаго феодальнаго баронства,—тутъ, слѣдовательно, нѣтъ и помину.

Если на что́ и можно указать въ нашемъ передовомъ сословіи, какъ на извращеніе историческихъ инстинктовъ; если въ его симпатіяхъ и антипатіяхъ что-либо и представляется противорѣчащимъ здравому русскому смыслу,—все это опять-таки связано роковыми нитями съ общею эрой извращенія нашихъ историческихъ инстинктовъ—съ XVIII вѣкомъ, а въ немъ имѣетъ прямымъ источникомъ: „исключительно-сословную привилегированность владѣть крѣпостными людьми“. Термины: „подлый народъ“ и „благородно владѣющее мечемъ шляхетство“ не мыслимы одинъ безъ другаго, въ розницу: они единовременны и совмѣстны. Власть тріумфатора отражается по необходимости и на всѣхъ ближнихъ, на всѣхъ сотріумфаторахъ, какъ прерогатива; ея отблескъ становится похотью и въ нихъ. Народъ, въ ихъ глазахъ, *спадаетъ* при этомъ въ бездну, откуда представляется лишь скопищемъ дикихъ силъ. Но разъ только допустить похотливость, ужъ ей и конца нѣтъ. Въ „привилегированномъ сословіи“ является еще неизбѣжное искушеніе: нельзя-ли замкнуться и болѣе никого не допустить въ свой очарованный кругъ? этого мало: нельзя-ли еще создать въ самомъ себѣ нѣчто болѣе привилегированное? увѣнчаться, напримѣръ, собственнымъ блескомъ, создать особую верхушку,—и такъ далѣе, и такъ далѣе, безъ конца. Весь XVIII вѣкъ нашей исторіи исполненъ и преисполненъ политическою похотью такого рода и представляетъ многочастные и многообразные подвиги и попытки именно въ этомъ духѣ; ихъ печальный отзвукъ продолжается до позднѣйшихъ временъ. Нашъ знаменитый юриспрудентъ, напримѣръ, оставившій по себѣ памятникомъ бюрократическія учрежденія на наполеоновскій

цезарскій образецъ, между прочимъ, измышлялъ у насъ еще „аристократическую конституцію“,—для чего и кургузилъ русскую исторію, весь ея до-Петровскій періодъ отсѣкалъ прочь. Юриспрудентъ правъ: ему иначе нельзя было и поступить для предвзятой цѣли, какъ вычеркнуть всю древнюю русскую исторію, положивъ ея начало лишь съ кануна своего собственнаго бюрократизма. Но о мертвыхъ довольно.

„Сословность“ въ томъ видѣ, какъ она царила у насъ еще недавно, совмѣстна лишь съ крѣпостнымъ правомъ. „Сословность“, въ смыслѣ привилегированнаго положенія однихъ и полнаго рабства другихъ, составляла у насъ, дѣйствительно, *чуждое начало*. Законодатель ее отмѣнилъ. Теперь, послѣ отмѣны бывшихъ привилегій, а съ другой стороны,—по распространеніи на всѣхъ одинаково существующихъ правъ и повинностей,—собственно говоря „сословій“ у насъ нѣтъ. Это тѣни, существующія лишь въ Сводѣ Законовъ, который ихъ и насчитываетъ чуть не столько, сколько дней въ году. Призраки, тѣни слетѣли, какъ и слѣдовало ожидать, въ русской исторіи,—а что-жъ осталось налицо? Два элемента, *личный* и *общинный*, а совмѣстно съ тѣмъ и двѣ формы землевладѣнія (*общинная* земельная собственность и *личная*),—вотъ двѣ струи, которыя прошли сквозь всю нашу исторію и проняли у насъ весь бытъ народный. Долго колебались онѣ въ разныхъ неопредѣленностяхъ, пока наконецъ теперь, только напослѣдокъ, закрѣпили и строго опредѣлились. Съ одной стороны, общинное землевладѣніе или по крайней мѣрѣ, бытъ *міра-громады*, съ другой стороны, землевладѣніе *личное* и элементъ *личный*,—вотъ два единственныхъ критеріума, которыми существенно отличается и опредѣляется нынче весь православный людъ; иныхъ критеріумовъ нѣтъ. Можно, пожалуй, прибавить къ этому: *безземельность*; но это не въ свойствѣ русскаго народа, да и не въ духѣ русской исторіи. Русскій человѣкъ по преимуществу *земскій*, а земецъ безъ земли или, по крайней мѣрѣ, не при землѣ—даже не мыслимъ.

Если вообще можно сказать, что *злоба дневи* состоитъ у насъ нынче въ необходимости установить равновѣсіе и согласіе между обоими элементами земства—нашимъ *личнымъ* и нашимъ *общиннымъ* элементомъ,—то въ частности это значитъ еще уравновѣсить другъ другомъ и обѣ формы землевладѣнія, для ихъ живаго взаимодѣйствія на благо и споспѣшествованіе другъ другу,—а не противопоставлять ихъ другъ другу въ разрѣзъ.

Но тутъ, ни много ни мало,—завязывается истинный punctum saliens новѣйшей русской исторіи; мудрено-ли, что всѣ накопившіеся у насъ антагонизмы именно на этомъ пунктѣ и не сойдутся никакъ? Съ одной стороны, всѣ *истинно-земскіе* русскіе люди, — начиная отъ богатѣйшаго старовѣра какого-нибудь города Волжска и бѣднѣйшаго изъ подмосковныхъ крестьянъ до самой высоты, гдѣ русскій земскій духъ чувствуется quand même традиціонно какъ живое историческое начало,—тянутъ инстинктивно въ одну сторону, сознательно или безсознательно хотѣли-бы лишь такой новизны, въ которой-бы старина наша слышалась. Съ другой стороны, весь продуктъ нашей лабораторіи, ей-же имя XVIII вѣкъ, вся собственно такъ-называемая бюрократическая система и съ ней *одного поля ягода* сама наша „буржуазная публика,“ — тянутъ въ противоположную сторону, повидимому хотѣли-бы такой новизны, чтобъ окончательно стерлась съ лица земли старина наша. Одни, радуясь, что, въ силу историческаго хода вещей, „*чуждое начало*“ валится наконецъ само собою, только и желали-бы одного,—чтобъ въ дальнѣйшей русской жизни всякое „*чуждое начало*“ было смыто до-чиста. Другіе, напротивъ того, въ „чуждомъ началѣ“— какъ рыба въ водѣ: безъ него все теряютъ, безъ него утрачиваютъ даже свое raison d'être, и видя, что оно нынче „не въ авантажѣ“, ищутъ всѣми силами только упрочить его навсегда посредствомъ того или другаго компромиса—лишь-бы этотъ компромисъ подтвердилъ и на будущее время ихъ raison d'être, гарантировалъ-бы имъ непремѣнно дальнѣйшее существованіе. Приверженцы вольнаго и невольнаго бюрократизма, всѣхъ видовъ и разнообразнѣйшихъ профессій, при кончинѣ ихъ сезона, теперь—какъ августовскія мухи у насъ.

XI.

Если надо указать на контингентъ личностей, которыя-бы выдавались надъ народомъ по своему образованію и въ то-же время не были ему чужды—высящихся надъ сельскимъ міромъ и въ то-же время ему близкихъ,—его можно найти повсемѣстно, лишь не тамъ, гдѣ обыкновенно ищутъ и, разумѣется, не доищутся никакъ. Его, безъ сомнѣнія, и слѣдуетъ искать по мѣстамъ, въ селахъ, внутри всѣхъ нашихъ областей, объ руку и вмѣстѣ съ самимъ народомъ,— а напримѣръ, не въ сѣверной столицѣ на Невскомъ проспектѣ, или еще и не въ Москвѣ на Кузнецкомъ мосту, ни даже на Одес-

скомъ взморьѣ близъ памятника дюка де-Ришельё. Безспорно, на всѣхъ исчисленныхъ пунктахъ можно во всякое время повстрѣчать много гуляющей публики. Это именно тѣ самые пункты, гдѣ кажетъ себя во всемъ блескѣ и во всѣхъ видахъ наша, не по днямъ, а по часамъ размножающаяся буржуазія (а гдѣ завелась буржуазія, тамъ разводится и пролетаріатъ). Здѣсь-же, разумѣется, и наплывъ размножающагося также не по днямъ, а по часамъ пролетаріата. Это, притомъ, центры нашей собственно такъ-называемой бюрократіи. Наконецъ, именно здѣсь сосредоточивается многочисленнѣйшее представительство нашего „гелертерства“ и „литерата“. Но, къ сожалѣнію, совсѣмъ не это нужно для нашего зачинающагося „самоуправленія“; ему, пожалуй, horribile dictu! весь этотъ не по днямъ, а по часамъ размножающійся контингентъ не столько даже на пользу, сколько во вредъ. Для „мѣстнаго самоуправленія“ требуется контингентъ иной,— не тотъ, который жуируетъ или стремится жуировать по городамъ, по своимъ и иностраннымъ, а который трудится на мѣстѣ.—Это контингентъ мѣстныхъ „личныхъ землевладѣльцевъ“, преданныхъ своей родной мѣстности и своему родному дѣлу; другаго нѣтъ и быть не можетъ; если кто знаетъ еще другой подобный—пускай назоветъ.

Правда, множество личныхъ землевладѣльцевъ давнымъ-давно у насъ распродало свою старину и разбѣжалось въ Парижъ и Дрезденъ,— туда имъ и дорога! Правда, много такихъ, которые-бы и рады остаться въ своихъ гнѣздахъ; но все еще продолжающійся кризисъ загналъ ихъ неволей въ тѣсноту, въ городъ. Слава Богу, однакожъ есть еще такіе, которые (несмотря на то, что личное землевладѣніе безъ „абсентеизма“ составляетъ нынче въ нѣкоторомъ родѣ подвигъ!) усиленно держатся на родныхъ мѣстахъ: ни за что не хотятъ разставаться съ русскою сельскою долей; изыскиваютъ средства приноровиться къ новому сельскому быту и хозяйству и проложить ему новые пути; трудятся и тянутъ лямку въ сѣрой деревенской глуши—за одно съ мѣстнымъ людомъ. Это безъ сомнѣнія, при всей скромности ихъ занятій, самые почтенные дѣятели, самые необходимые люди Русской земли въ настоящее время. Это еще безспорно и самая здравая часть нашей интеллигенціи,— никто ближе ихъ не стоитъ къ народу. А между тѣмъ, при всемъ нынѣ дѣйствующемъ строѣ, вообще при нынѣшнемъ statu quo, они-то и поставлены, противъ прочихъ классовъ россійскаго населенія, въ самое нестерпимо-стѣснительное положеніе; притомъ, ихня-

го-то голоса и не слыхать въ разноголосицѣ нашего гелертерства и литерата; объ нихъ-то и забыли, словно ихъ нѣтъ!

Нѣтъ, не забыли! напротивъ того, какъ въ тѣ годы, когда приступали къ ломкѣ дѣйствительныхъ мировыхъ учрежденій и къ замѣнѣ ихъ мертворожденными,—такъ еще и теперь по поводу именно этихъ, „близкихъ къ народу *мѣстныхъ людей*“ и ведется (кому это нужно, каждому для своихъ цѣлей) самая безсмысленная, самая нелѣпая и въ то-же время самая ожесточенная агитація. А безчисленные наши приверженцы нашего вольнаго и невольнаго бюрократизма, почти вся наша „цивилизованная публика“, частью сознательно а частью безсознательно, имъ вторитъ. Эти-то „близко стоящіе къ народу мѣстные люди“ и выдаются до сихъ поръ за главную и чуть-ли не за единственную помѣху въ дѣлѣ мѣстнаго самоуправленія вообще, а крестьянскаго въ особенности. Бойтесь! еще живъ духъ крѣпостничества въ помѣщикахъ! пропагандируется у насъ въ разныхъ сферахъ. Оно, пожалуй, и можно-бы устроить самоуправленіе раціональнѣй, да нельзя положиться на личныхъ землевладѣльцевъ: дескать, „крѣпостники“.

Эти галлюцинаціи, повторяемъ, пущены въ ходъ еще со времени замѣны дѣйствительныхъ мировыхъ учрежденій мертворожденными, и для всѣхъ неподверженныхъ галлюцинаціямъ — становятся наконецъ крайне подозрительны: онѣ просто не хороши. Ими сознательно пользуются тѣ „злѣйшіе изъ крѣпостниковъ“, для которыхъ, значитъ, *сама Русская земля представляется объектомъ крѣпостнаго права;* а между помѣщиками, безъ объекта старыхъ временъ, безъ крѣпостныхъ людей, даже немыслимо какое-либо крѣпостничество въ наши дни. Кто теперь разглагольствуетъ о какомъ-то „крѣпостничествѣ“ помѣщиковъ, мало того, что говоритъ вздоръ,— тотъ еще не смыслитъ въ чью руку онъ бьетъ своимъ вздоромъ, и чѣмъ это искреннѣй — тѣмъ достойнѣе сожалѣнія. Крѣпостниковъ, не въ вымершемъ а въ живомъ смыслѣ этого слова, нынче три вида. Во-первыхъ, это тѣ „злѣйшіе изъ крѣпостниковъ“, для которыхъ было-бы истинно какъ кость поперекъ горла всякое дѣйствительное самоуправленіе въ Русской землѣ: оно упраздняетъ ихъ raison d'être. Имъ нужно мнимое самоуправленіе; у нихъ готовъ его либеральный проектъ такого сорта, при которомъ они переймутъ еще болѣе привилегій и особыхъ прерогативъ — на себя сверху. За ними слѣдуютъ (ихъ неизбѣжные спутники, послѣдующая ложь за ложью предыдущей) тѣ

крѣпостники, которые готовы весь свѣтъ перекроить по своему и для которыхъ точно также менѣе всего пріятно прочное самоуправленіе, упраздняющее даже тѣнь надобности ихъ непрошеннаго вмѣшательства; для нихъ нѣтъ лучше на свѣтѣ какъ всеобщая рознь да безправица. Есть, наконецъ, третій видъ крѣпостниковъ: это тѣ, которые свою узенькую, тощую, жиденькую, съ чужи заимствованную мораль и доктрину, весь свой модненькій, пошленькій и ничтожненькій символъ вѣры, — хотѣли-бы силой навязать православному народу, вмѣсто имъ признаваемаго символа вѣры. — Иныхъ крѣпостниковъ современная русская дѣятельность не представляетъ; да иныхъ и быть не можетъ.

Напрасно-бы ихъ стали искать въ контингентѣ личныхъ землевладѣльцевъ. Нынче личное землевладѣніе свободно и всесловно у насъ. Теперь личными землевладѣльцами состоятъ всѣ: и дворяне, и крестьяне, и купечество, и духовенство, и мѣщане, и цеховые... однимъ словомъ всѣ, кого Сводъ Законовъ насчитываетъ чуть-ли не столько, сколько дней въ году. Если въ такъ-называемыхъ земскихъ учрежденіяхъ „низшія сословія“ охотно выставляютъ своими кандидатами представителей именно изъ дворянства, какъ „сословія“ наименѣе проникнутаго узкимъ, эгоистическимъ „сословнымъ“ духомъ и наиболѣе близкаго самому народу, — тѣмъ лучше, когда такъ создалось самою нашей исторіей. Ломать это вдругъ, безъ надобности, насильственно, внѣшнимъ закономъ было бы столько-же странно, какъ и искусственно созидать какія-либо новыя „сословныя“ перегородки. Довольно уже, что не существуетъ на законѣ основаннаго неравенства сословій; а что бытомъ установлено, то и уравнивается лишь бытомъ; что въ волѣ народа, то и предоставьте его волѣ. Надъ народомъ, пребывающемъ въ общинѣ, высится уже одна его интеллигенція, элементъ *личности*; скажемъ, пожалуй, *публика* — любимое слово нашихъ буржуа. Вотъ этотъ *элементъ* здоровъ-ли у насъ? спрашивать приходится ужъ объ одномъ этомъ. Когда, дѣйствительно, сословій больше нѣтъ и руководить народомъ призывается его интеллигенція, то и очень приходится спросить, точно-ли она въ своемъ умѣ? точно-ли она здорова? Нѣтъ, не въ передовомъ „сословіи“, которое нынче распущено въ народѣ, приходится искать темныхъ пятенъ, которыя бы претили ввѣрить народъ его руководительству, а развѣ ужъ въ самой нашей интеллигенціи вообще. Сама наша такъ-называемая „публика“ — эта оторванная отъ своего народа, носимая вѣ-

тромъ чужихъ доктринъ и вѣяній, безпочвенная публика — еще не составляетъ-ли истиннаго темнаго пятна на нашемъ народѣ?

Употребимъ однакожъ съ своей стороны всѣ старанія, чтобъ и насчетъ этихъ темныхъ пятенъ совершенно успокоить читателя; въ дѣйствительности они вовсе не такъ страшны, какъ это представляется съ виду. Конечно, если принять за серьезное все, что̀ очи видятъ и уши слышатъ на Невскомъ или на Кузнецкомъ мосту или даже на взморьѣ близъ памятника дюка де-Ришельё; если на слово повѣрить тѣмъ газетамъ, которыя все происходящее на сихъ именно пунктахъ и констатируютъ за общественное мнѣніе Россіи,— тогда, пожалуй, все сплошь представится у насъ въ какихъ-то роковыхъ темныхъ пятнахъ. Но стòитъ только перенестись отъ сихъ пунктовъ, отрѣшась отъ всей ихъ шумихи, туда, въ „ширь и гладь“ Русской земли; стòитъ только прислушаться, что̀ говорятъ на всемъ ея протяженіи, отъ Карпатовъ до Бѣлаго моря и отъ Бѣлаго моря до Каспійскаго; стòитъ лишь опознаться и дать себѣ ясный отчетъ, что̀ на Руси дѣйствительность и что̀ въ ней миражъ,— и легко становится на душѣ, и весь кошмаръ разсѣялся: темныхъ пятенъ какъ не бывало.

Вольно-жъ намъ было такъ долго направлять всю свою энергію лишь на то, чтобъ во что́-бы ни стало исказить всю родную исторію, непремѣнно обернувъ ея теченіе прямо противъ русла! Наплодивъ буржуазію, мы наплодили и пролетаріатъ. Вольно-жъ намъ было устроиться такъ, что мы стали наконецъ какою-то притчей во языцѣхъ! У однихъ насъ цивилизаціей зовутъ то́ самое, что подрываетъ родной бытъ и перестанавливаетъ его на чужое стремя; на это, повидимому, у насъ и направлена вся энергія. Объ насъ даже на чужой сторонѣ, не только дома, сложилась пословица: молъ все на Руси, къ удивительному ея счастью, дѣлается не „благодаря оказываемой энергіи“, а вопреки ей; молъ, въ критическіе моменты Руси самъ „русскій Богъ“ ее выручаетъ, и какъ разъ съ противоположной стороны, прямо съ другаго конца, откуда его всего менѣе ожидаешь. Пора перестать давать поводъ къ такимъ поговоркамъ!

XII.

Казенный катехизисъ ничуть не преувеличиваетъ, уподобляя первые творческіе дни нашего „блистательнаго періода“— первымъ днямъ міросозданія. Въ извѣстномъ лапидарномъ двусти-

шіи: „Россія тьмой была покрыта много лѣтъ, Богъ рекъ: да будетъ Петръ! и бысть въ Россіи свѣтъ“, нѣтъ піитической гиперболы. Мгновенно, по командѣ съ барабаннымъ боемъ, вдругъ тогда, откуда ни возьмись, явилась у насъ „цивилизованная публика“ *со всѣми аппартиненціями и депенденціями;* были тогда „всѣ вѣрные подданные изъ тьмы невѣдѣнія на ѳеатръ славы всего свѣта изъ небытія въ бытіе произведены“. (Поэтъ не правъ въ томъ, что принялъ за „образованіе“ лишь муки и болѣзни его рожденія). Явились тогда у насъ и „гелертерство, и литератъ“ и „бюрократія“, — все, чего прежде вовсе не было. Тогда-же процвѣлъ „городъ“ на Руси; стала съ тѣхъ поръ въ жертву городу приноситься вся сельская Русь. Возвышать *городъ* въ ущербъ *селу*, принижать сельское сословіе, а превозносить городскія,—вотъ что сдѣлалось, въ нѣкоторомъ родѣ, девизомъ нашей мнимой цивилизаціи, обратилось у насъ въ традиціонный лозунгъ. Все было придумано, чтобъ заставить народъ кочевать изъ сословія въ сословіе; всѣ соблазны были пущены въ ходъ, чтобъ люди повсемѣстно отрывались отъ занятій, въ которыхъ выросли... Все это едва-ли еще и сейчасъ не почитается знаменіемъ государственной мудрости у насъ.—Мудрено-ли, что, такъ долго и такъ старательно уродуя свою родную исторію, мы напослѣдокъ мало-по-малу стали получать отъ нея и результаты—прямо на выворотъ нашему родному быту?

Въ наши дни начинаютъ серьезно помышлять о томъ: полно, правда-ли еще, что всѣ эти сѣверныя Нальмиры, замоскворѣцкіе Парижи и тьмутараканскія Венеціи, дѣйствительно выражаютъ собой Русскую землю,—ее, отъ Карпатскихъ горъ до Камчатки и отъ Бѣлаго моря до Хвалынска? Лучшія изъ нашихъ газетъ уже отказываются принимать за здравый и умный толкъ народный—все, что слышится даже съ адвокатской или иной трибуны. И академическая ученость, и университетскія каѳедры, и *журанты* — даже до сихъ поръ у насъ *не свои* русскому народу. Кольми паче отнюдь не общественное мнѣніе Россіи все, что слышится въ кафе-шантанахъ, артистическихъ и не артистическихъ кружкахъ, на пищъ-балахъ, жирныхъ обѣдахъ и завтракахъ à la fourchette, которыми такъ тѣшится во всѣхъ цивилизованныхъ городахъ, а особенно въ столицахъ, наша день ото дня размножающаяся буржуазія. А гдѣ она тѣшится, тамъ не безъ ронота и день-же ото дня все болѣе распространяющагося проле-

таріата. Надо, конечно, чтобъ были „ѳрганы“ и у этой публики. Еще въ томъ нѣтъ предосудительнаго, что нѣкоторыя изъ нашихъ газетъ такъ и лѣзутъ изъ кожи быть „ѳрганами“ именно этой публики; но что они подчасъ принимаютъ ея комеражи за универсальную точку зрѣнія — вотъ что̀ хуже чѣмъ предосудительно. Нынче, въ столь прославленное трактирною цивилизаціей время, чего добраго, ужъ и самъ крестьянинъ, повторяемъ, нарядившись въ пальто съ Толкучаго рынка, за билліарднымъ кіемъ — ничѣмъ не отстаетъ отъ прочей „публики“ и плыветъ съ ней „по теченію“.

Безъ сомнѣнія, отъ такого именно „цивилизованнаго крестьянина“ и приходятъ въ восторгъ нѣкоторыя изъ нашихъ газетъ, хвалясь... чѣмъ-бы вы думали, читатель? Тѣмъ, что онѣ проводятъ въ народъ „само-моднѣйшую цивилизацію“, и самъ онъ бѣжитъ къ нимъ на встрѣчу. По ихъ увѣреніямъ, нѣтъ выше блага для народа, какъ проникнуться ихъ фельетоннымъ либерализмомъ; и чудится имъ: ужъ весь міръ, дѣйствительно, захлебывается такимъ блаженствомъ.

Молчитъ—не провинція: она уже заговорила! готова и провинція явить образцы своего мѣстнаго *гелертерства* и своего мѣстнаго *литерата*,—а молчитъ многомилліонная, трудящаяся на родной нивѣ и на родныхъ промыслахъ сельская Русь; молчатъ, за одно съ ней, ея ближніе, всѣ трудящіеся и мирно живущіе объ руку съ нею. Объ чемъ-же они молчатъ?

О томъ, конечно, о чемъ долго-же молчали — помните — въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, въ самый разгаръ „польщизны“, пюка заговорили наконецъ! Все и теперь—объ одномъ и томъ-же. О томъ, что жалкому „фельетонному либерализму“ нашихъ дней и этому мизерному „по теченью публики“ буржуазныхъ газетъ лучше-бы и не соваться на встрѣчу народу. Еще знаютъ-ли они, что̀ такое „стремя народа?“ не хвалиться-бы имъ неумной похвальбой и не накликать на себя грозной съ нимъ встрѣчи!

Дай-же Богъ, чтобъ не „стремя народа“, вѣрное само себѣ тысячу лѣтъ, вдругъ теперь обернулось вспять; а чтобъ „теченіе публики“ образумилось наконецъ и пошло по стремени народа, и слились-бы въ общій ходъ мирными струями — да идутъ вмѣстѣ въ свѣтлую русскую историческую даль. И мы вѣримъ, что именно такое желанное сліяніе совершается... совершится.

Какъ-бы ни старались насъ увѣрить въ противномъ, какъ еще ни бьются нѣкоторыя изъ нашихъ газетъ доказать прямо на

себѣ обиліе въ текучей современности всякихъ темныхъ пятенъ,— мы хотимъ имъ не вѣрить, мы отказываемся имъ вѣрить. „Краски чуждыя съ лѣтами“— повторяемъ мы за нашимъ поэтомъ — спадутъ „ветхой чешуей“. Лишь-бы гдѣ не было умышленной злой воли; ибо не тѣ во тьмѣ, кто не видитъ, а о комъ слово: „лучше было-бы, когда-бъ вы были слѣпы“. Итакъ, надо-же отдѣлять по крайней мѣрѣ въ сознаніи „дворянство, разсѣянное по всѣмъ областямъ и доселѣ проживающее объ руку съ крестьянствомъ, которое тянетъ за одно съ ними лямку въ глуши“... отъ „публики вообще“... той самой, которая жуируетъ и на Невскомъ и на Кузнецкомъ... или у памятника дюка де-Ришельё.

Искренно вѣримъ въ совершенную достаточность у насъ доброй, здравой и свѣтлой интеллигенціи, этого народнаго разумѣнія— хотя, можетъ быть, еще и не въ желанномъ большинствѣ и хотя бы еще только, по крайней мѣрѣ, для столь простаго и скромнаго дѣла, какъ „устройство и веденіе въ Русской землѣ сельскаго мироваго участка“.

XIII.

„Мѣстное самоуправленіе“ вообще и собственно „крестьянское“ неотдѣлимы. Стоило ихъ разорвать „дѣлопроизводствомъ“, начавшимся съ 1863 года,—и нѣтъ ни того, ни другаго. Нынѣшнія „мировыя“ и „земскія“ учрежденія—таковы лишь по имени: они не только не возродили мѣстнаго самоуправленія, уже требовавшаго восполненія, а еще подсѣкли въ корнѣ и то самое, которое зачиналось. Искалѣченное и извращенное всѣми мѣрами, оно бьется изъ силъ опять встать на ноги: а теперь сами они, эти учрежденія, его парализуютъ.

По мѣрѣ того, какъ введеніемъ въ дѣйствіе уставныхъ грамотъ упразднялись вчерашніе „крѣпостные люди и господа душевладѣльцы“— вездѣ на ихъ мѣстѣ фактически и водворялось земство. Всеобщимъ утвержденіемъ уставныхъ грамотъ отмѣнились повсюду крѣпостныя отношенія — пришелъ часъ и расширить мѣстное самоуправленіе: ибо изъ „крестьянскаго“, въ тѣсномъ смыслѣ, оно переступило въ земское вообще. Вдругъ... какъ съ неба свалились учрежденія, которыми законъ былъ не восполненъ, а отмѣненъ: „мировые“ судьи съ бюрократической процедурой суда! мнимые „земцы“ *гласные*—съ бюрократическими управами по уѣздамъ и съ особенно-бюрократической, съ „нарочито-бюрократическою“

Губернскою Управой въ губернскомъ городѣ! Съ тѣхъ поръ самоуправленіе—какъ въ параличѣ.

Стòитъ лишь разсмотрѣть: что̀ было даровано Положеніемъ 19-го февраля 1861 года; чѣмъ полагалось восполнить въ близкомъ будущемъ это дарованное и чѣмъ оно, въ противность тому, разрѣшилось de facto при выпускѣ ново-явленныхъ учрежденій; стòитъ лишь сопоставить: что̀ было тогда и что́ сталось теперь,—и дѣло будетъ ясно само собою.

Тогда на всемъ пространствѣ, на всѣхъ пунктахъ уѣзда, каждый отдѣльный сельскій *міръ* съ сельскимъ старостой во главѣ—представлялъ первую исходную точку мѣстной административной власти. Поскольку дѣло тутъ ограничивалось спеціально-крестьянскимъ интересомъ (бытомъ міра-громады и общиннымъ землевладѣніемъ со всею совокупностью вытекавшихъ отсюда правъ и обязанностей), постольку и сельскій міръ оставался еще чисто-сословнымъ, исключительно-крестьянскимъ учрежденіемъ, и былъ самъ себѣ господиномъ. Но и въ каждой изъ этихъ отдѣльныхъ точекъ, въ каждомъ изъ уединенныхъ сельскихъ міровъ—завязывался нѣкоторый punctum saliens, обращавшій ихъ въ органическія клѣточки и живыя ячейки мѣстнаго самоуправленія вообще. Не надо забывать, что кромѣ разверстки мірскихъ надѣловъ и повинностей, передѣловъ мірской земли, семейныхъ раздѣловъ и тому подобнаго, что́ было всецѣло предоставлено сельскому сходу,—еще инаго рода обязанности были возложены на его предводителя, на сельскаго старосту—и ими онъ подчинялся „мировому участку“. Вотъ онѣ: „мѣры для охраненія благочинія, порядка и безопасности лицъ и имуществъ отъ преступныхъ дѣйствій; наблюденіе за нераспространеніемъ вредныхъ слуховъ; предупрежденіе, чтобъ не было потравъ хлѣба, побоя травы, лѣсныхъ пожаровъ и порубокъ въ лѣсахъ; соблюденіе въ цѣлости межевыхъ знаковъ; задержаніе бродягъ, бѣглыхъ и военныхъ дезертировъ; распоряженіе подачею помощи въ чрезвычайныхъ случаяхъ, пожарахъ, наводненіяхъ и другихъ бѣдствіяхъ; въ случаѣ совершенія преступленія предварительное дознаніе, задержка виновныхъ, охраненіе слѣдовъ преступленія“. Это уже функціи чисто-административнаго свойства; ихъ дѣятельнымъ и законнымъ выполненіемъ заинтересованы были не только общинные землевладѣльцы міряне, а еще сами личные землевладѣльцы; даже послѣдніе больше первыхъ.

Далѣе—волостной сходъ. Это уже сборъ нѣсколькихъ сель-

скихъ міровъ, соединившихся въ лицѣ домохозяевъ — по одному съ десяти дворовъ. Тутъ уже предводителемъ является *волостной старшина*, избираемый мірянами всей волости. Ему подчинены всѣ сельскіе старосты; онъ наблюдаетъ за ними и властенъ подвергать ихъ дисциплинарнымъ взысканіямъ. Его власть—совокупность власти всѣхъ старостъ въ отдѣльности; при старшинѣ полагается уже и цѣлый правительственный органъ — „волостное правленіе". Его судебно-административная власть простирается почти исключительно лишь на крестьянское сословіе; но въ извѣстной степени и нѣкоторыми нитями соприкасается уже со всѣмъ мѣстнымъ населеніемъ, задѣваетъ и всю прилегающую округу. Вотъ какого рода обязанности возложены на волостнаго старшину, между прочимъ: „...Онъ объявляетъ законы и распоряженія правительства, наблюдаетъ за нераспространеніемъ между крестьянами подложныхъ указовъ и вредныхъ для общественнаго спокойствія слуховъ; охраняетъ благочиніе въ общественныхъ мѣстахъ, безопасность лицъ и имуществъ отъ преступныхъ дѣйствій; принимаетъ мѣры для возстановленія нарушенной тишины, порядка и безопасности; распоряжается поданіемъ помощи въ чрезвычайныхъ случаяхъ; предупреждаетъ и пресѣкаетъ преступленія и проступки; принимаетъ мѣры для открытія и задержанія виновныхъ, и пр." Однимъ словомъ, „*волостной старшина*" уже прямо объявляется Положеніемъ тѣмъ административнымъ лицомъ, которое „*отвѣтствуетъ за сохраненіе общаго порядка, спокойствія и благочинія въ волости*".

На этой второй степени мѣстной административной власти, вмѣстѣ съ расширеніемъ района ея дѣйствій, увеличилась она и сама въ объемѣ. Ея напряженіе выступить изъ сословной замкнутости на охрану мѣстнаго самоуправленія вообще въ качествѣ всесословной прямо-земской власти — здѣсь уже такъ ощутительно, что чувствуется потребность подвергнуть ее, съ одной стороны, дѣятельному и раціональному контролю, а еще: перемѣстить уже въ дальнѣйшемъ развитіи на высшую, новаго порядка, ступень, передавъ въ болѣе интеллигентныя руки. Людей, которые, старинным терминомъ говоря, „*грамотѣ умѣютъ и которые годятся*", Положеніе нашло въ личныхъ землевладѣльцахъ: образуется „сельскій мировой участокъ", складывается цѣлое гнѣздо волостей: тутъ соединяется мѣстное населеніе безъ различія сословій. Предводителемъ мироваго участка, по Положенію 19-го февраля 1861 года, полагается мировой посредникъ изъ мѣстныхъ жителей, изъ мѣстныхъ личныхъ

землевладѣльцевъ. Такимъ образомъ, оба элемента—и общинное и личное землевладѣніе—доискиваются наконецъ своего естественнаго центра для совмѣстнаго дѣйствія по самоуправленію: въ „мировомъ участкѣ“ они, въ интересахъ самоуправленія, смыкаются наконецъ заодно. Сельскій міръ съ его старостой и волостной сходъ съ его старшиною и правленіемъ, соприкасаясь лишь нѣкоторыми нитями съ общимъ строемъ мѣстнаго управленія, оставались еще, по существу дѣла, институтомъ чисто-крестьянскимъ, почти исключительно сословнымъ. Напротивъ того, *мировой участокъ* именно ужъ по существу дѣла—*всесословный!* Это есть зародышъ земства, первая ступень его самоуправленія: ужъ не крестьянскаго, а земскаго вообще. Достаточно-ли могъ ручаться за охраненіе тишины и спокойствія мироваго участка стоявшій во главѣ его мировой посредникъ—видно изъ существа возложенныхъ на него обязанностей и дарованныхъ ему правъ. Не упоминаемъ уже о предоставленномъ ему судебно-*полицейскомъ* разбирательствѣ споровъ по найму въ работы, въ услуженіе и въ хозяйственныя должности; ни объ отдачѣ въ наемъ земель, по потравамъ и порубкамъ и тому подобное, что́ уже было нами прежде указано въ своемъ мѣстѣ. Минуемъ также предоставленное ему разбирательство по искамъ и спорамъ, возникающимъ изъ поземельныхъ отношеній, какъ по жалобамъ помѣщиковъ и постороннихъ лицъ на крестьянъ, на ихъ общества, на мѣста и на лица ихъ управленія, такъ и обратно; еще, напримѣръ, и по жалобамъ на допущеніе старостой или старшиной безпорядковъ въ исполненіи ихъ полицейскихъ обязанностей. Упомянемъ лишь кратко о томъ, что просьбы мировому посреднику приносились вездѣ и во всякое время безъ всякихъ формальностей, даже о довѣренныхъ было можно заявить словесно; что никакихъ формъ не полагалось для дѣлопроизводства: онъ могъ предоставить одной изъ сторонъ, въ случаѣ согласія на то другой, *принять на душу* справедливость показанія, могъ приглашать и окольныхъ сосѣднихъ людей, извѣстныхъ ему по безпристрастію; отъ него положительно требовалось, чтобъ онъ входилъ въ переписку лишь въ крайности и оканчивалъ-бы дѣло, по возможности, въ одно засѣданіе. Остановимся подробно на исчисленіи его административныхъ обязанностей:

„Волостной старшина утверждается въ должности мировымъ посредникомъ и приводится имъ къ присягѣ на вѣрность службы; до него относятся и вообще дѣла: по избранію должностныхъ лицъ

сельскаго и волостнаго управленія, по взысканію съ нихъ вслѣдствіе жалобъ на нихъ или вообще нарушенія ими служебныхъ обязанностей; по удаленію крестьянъ изъ обществъ мірскими приговорами и по жалобамъ на всякое незаконное съ чьей-бы то ни было стороны препятствіе къ увольненію крестьянина изъ общества. Въ случаѣ постановленія приговора сельскимъ или волостнымъ сходомъ по предмету, ихъ вѣдѣнію не подлежащему, онъ объявляетъ сей приговоръ ничтожнымъ, взыскиваетъ или предаетъ суду виновныхъ въ самовольномъ созваніи схода; назначаетъ сроки для волостныхъ сходовъ и разрѣшаетъ экстренные; принимаетъ жалобы на рѣшенія волостныхъ сходовъ для разсмотрѣнія на Мировомъ Съѣздѣ; жалобы крестьянъ на сельскихъ должностныхъ лицъ рѣшаетъ самъ, а на волостныхъ передаетъ на разсмотрѣніе Мироваго Съѣзда. Ему-же приносятся жалобы на дѣйствія волостныхъ и сельскихъ управленій отъ всѣхъ прочихъ частныхъ лицъ, къ крестьянскому обществу не принадлежащихъ. Волостные старшины и сельскіе старосты, за маловажные проступки по должности, подвергаются посредникомъ замѣчаніямъ, выговорамъ, денежному штрафу до пяти рублей или аресту до семи дней; въ случаѣ болѣе важныхъ нарушеній по ихъ должностямъ, онъ присуждаетъ сельскаго старосту и помощниковъ волостнаго старшины ко временному удаленію или же окончательному отрѣшенію отъ должности, а волостнаго старшину ко временному удаленію отъ должности и, съ утвержденія начальника губерніи, окончательному отъ оной отрѣшенію. За преступленія по должности всѣ должностныя лица волостнаго и сельскаго управленій предаются общему суду— или непосредственно мировымъ посредникомъ, или по рѣшенію Мироваго Съѣзда.— Всѣ начальствующія лица требованія свои о взысканіяхъ съ волостнаго старшины и сельскаго старосты, по дѣламъ ихъ вѣдомствъ, заявляютъ мировому посреднику.— Мѣстной полиціи вмѣняется въ обязанность исполнять, немедленно и безотговорочно, всѣ законныя требованія мироваго посредника.— Должности мировыхъ посредниковъ особеннаго класса не присвоивается; но въ правахъ служебныхъ и въ порядкѣ взысканій по службѣ они состоятъ въ равной степени съ уѣздными предводителями дворянства".

Вотъ какого рода правительственное, политическое значеніе присвоивалось мѣстнымъ жителямъ, личнымъ землевладѣльцамъ, которые удостоивались стать во главѣ сельскаго мироваго участка. Кто не забылъ начала нашего современнаго фельетона, тотъ самъ видитъ теперь: правы-ли мы были, сказавъ, что власть въ тѣ дни оказала великое довѣріе народу. „Совершилось то—сказали мы— чего у насъ давно не бывало: настоящая власть, собственно такъ-называемая административная власть, частью была передана самому обществу въ руки. Надо было и такихъ людей, которые-бы по своему образованію могли стать выше личнаго и сословнаго эгоизма. Такіе люди нашлися: общественные дѣятели принялись

за общественное дѣло. Эти званные явились истинною политическою силой своей страны; это ужъ была политическая сила самого общества, самого земства. Въ ихъ лицѣ земство дѣйствительно ощутило себя пріявшимъ нѣкоторое бремя власти и нѣкоторую долю отвѣтственности".

Всюду, на всѣхъ точкахъ воскреснувшихъ сельскихъ *міровъ*, началась новая жизнь; интересы сословный и всесословный скрещивались въ мировомъ участкѣ и возвышались до интереса *земскаго* вообще. Чудная эта была новизна, которая, вслѣдъ за отмѣной крѣпостнаго права, взялась будто сама собою! Въ чемъ она заключалась и куда вела — это всѣми чувствовалось весьма живо. *Новизна* именно заключалась въ старинномъ нашемъ, въ земскомъ *самоуправленіи;* а оно вело къ отмѣнѣ ветхаго, отжившаго свой вѣкъ, *бюрократическаго* режима, къ упраздненію той самой *бюрократіи*, которая, за крѣпостное время, стала между землей и государствомъ — непроницаемой китайской стѣною. Въ соотвѣтствіе съ зародившимся мировымъ участкомъ преобразился тогда и уѣздный городъ: по сбору здѣсь мироваго съѣзда, весь онъ обратился въ соборъ тѣхъ мировыхъ участковъ. Сама губернія начала было преображаться въ тѣ дни. Перестала центральная губернская власть сыпать отъ себя сверху внизъ, какъ изъ рога изобилія, всякими „мѣропріятіями" и „умоначертаніями", а только прислушивалась книзу и всюду давала откликъ и поддержку, гдѣ ее спрашивали и въ ней нуждались. Она тогда обнаруживала энергію лишь въ мѣру обращаемыхъ къ ней запросовъ снизу. Она стала тогда лишь передатчикомъ и скорымъ докладчикомъ нуждъ земства — до самой высоты власти. Стремя зачавшагося самоуправленія, захватывая все болѣе въ ширь и въ высь, предуказывало уже цѣлесообразность соотвѣтственныхъ измѣненій и въ самихъ Губернскихъ Правленіяхъ и въ разныхъ Департаментахъ и Комитетахъ...

Прошло два года со дня обнародованія Положенія 19 февраля 1861 года, всюду были введены въ дѣйствіе уставныя грамоты — наступилъ и тотъ срокъ, который былъ отмѣченъ въ самомъ Положеніи какъ новая эра будущаго самоуправленія. Коротко сказать, вотъ что̀ совершилось за этотъ періодъ: предвозвѣщенное въ близкомъ будущее обратилось уже въ настоящее; крѣпостное право de jure и de facto кончилось навсегда; мѣстное самоуправленіе, въ началѣ лишь собственно „крестьянское", вы-

росло въ земское вообще; а „мировой участокъ", сразу явившійся зародышемъ земства и первою ступенью его самоуправленія, сдѣлался еще и органическою клѣточкой и живою ячейкой не только земскаго, но и государева дѣла вообще. Стало опять на Руси то, что *искони бѣ:* земское и государево дѣло у насъ — неотдѣлимы, земля и государство — одно.

Соотвѣтственно съ совершившимся фактомъ, ожидали и восполненія закона. Мы видѣли, что мировые посредники были поставлены прямыми начальниками мѣстной администраціи всего участка; однакожъ, съ другой стороны, законъ какъ будто избѣгалъ въ точности формулировать это: на другой день, послѣ еще вчерашняго крѣпостнаго права, и нельзя-бы иначе изъ справедливыхъ опасеній за самостоятельность, только что вылупившихся изъ яйца, мірскихъ сельскихъ управленій. Но когда они стали на ноги и сословная рознь ликвидировалась — слѣдовало точнѣе формулировать это въ интересѣ столько-же авторитета власти, какъ и гарантіи подчиненныхъ; а главное это требовалось въ интересѣ мѣстнаго управленія, на которое стали уже посягать — со стороны, извнѣ. Не въ угоду-же собственно бюрократическихъ административныхъ сферъ была и сначала допущена та недоговорка!.. Еще ревнивѣй и боязненнѣй отнесся законодатель къ неприкосновенности волостнаго суда и правленія. Обязывая мироваго посредника принимать жалобы на дѣйствія волостныхъ должностныхъ лицъ для разсмотрѣнія на мировомъ съѣздѣ, законъ ставилъ его блюстителемъ волостнаго суда и управленія; но въ то-же время и требовалъ отъ него полнаго невмѣшательства. Съ ликвидаціей всякихъ крѣпостныхъ отношеній надо было точнѣе формулировать и это; слѣдовало, по нѣкоторымъ по крайней мѣрѣ дѣйствіямъ волостнаго суда и управленія, прямо еще обязать мироваго посредника въ нихъ непремѣнно вмѣшиваться: ибо иначе воцарялся произволъ *волостнаго писаря* и изъ интеллигентныхъ рукъ дѣло переходило на практикѣ въ полуграмотныя и невѣжественныя. Сохраненіе всеобщей тишины и спокойствія, предупрежденіе и пресѣченіе преступленій, обязательное для старостъ и старшинъ, по необходимости уже указывало на заведеніе мѣстной, чисто-земской полиціи для мироваго участка. Притомъ, въ этомъ, очевидно, были заинтересованы не одни крестьяне, но и помѣщики и всѣ постороннія лица, къ крестьянскому обществу не принадлежащія (въ томъ числѣ сами,

напримѣръ, приходскіе священники и причты); а между тѣмъ, районъ дѣйствій селькаго старосты все еще опредѣлялся по вчерашнему: чертою крестьянскаго надѣла (священника, на его землѣ, воръ могъ грабить въ глазахъ старосты безпрепятственно, и этотъ не обязанъ былъ защищать). Слѣдовало наконецъ, въ этомъ отношеніи, сомкнуть все земство; привлечь всѣхъ къ общему интересу охраненія, на всѣхъ возложивъ и его тягость. Наконецъ, многія земскія потребности были лишь вскользь намѣчены Положеніемъ: когда оно разрѣшало сельскимъ и волостнымъ сходамъ заботы о хлѣбныхъ магазинахъ, объ училищахъ и богоугодныхъ заведеніяхъ, объ исправленіи дорогъ и мостовъ и о прочихъ мѣстныхъ нуждахъ и потребностяхъ,—этимъ, очевидно, уже предрѣшался вопросъ: и о народномъ продовольствіи, и о народномъ образованіи, и о народномъ здравіи, и о путяхъ сообщенія, и пр. и пр. Все это теперь, когда крестьянское самоуправленіе уже de facto обратилось въ земское, слѣдовало подтвердить de jure, опять-таки сомкнувъ и въ этихъ интересахъ уже все земство безраздѣльно, всесословно.

Напослѣдокъ, и еще одно необходимое добавленіе и восполненіе наговаривалось тогда само собою. Земская дѣятельность возросла уже количественно и качественно; естественно было ожидать: не оказали-бы на нее вконецъ вреднаго воздѣйствія прямо противоположныя и враждебныя всякому самоуправленію собственно такъ-называемыя бюрократическія сферы! Возникалъ вопросъ объ уравновѣшеніи взаимодѣйствія тѣхъ и другихъ. Представлялось благовременнымъ: и ихъ, бюрократическія учрежденія нашего ancien regime, видоимѣнять мало-по-малу въ соотвѣтствіе зародившемуся мировому институту, ассимилировать и ихъ. Однимъ словомъ, къ концу того срока, по истеченіи котораго Положеніе объявляло, что и самый „*порядокъ избранія мировыхъ посредниковъ будетъ опредѣленъ особыми правилами*“, а существовавшій полагался лишь *временнымъ на первые три года* (ст. 14 и 15 Полож. о губ. и уѣзд. по кр. д. учрежд.), совершилось именно то, чего и должно было ожидать. Крестьянское самоуправленіе черезъ мировой участокъ выросло до земскаго вообще; образовавшееся земство вполнѣ надѣялось, что—въ какой угодно формѣ, именно по особымъ опредѣленнымъ правиламъ—ему будетъ предоставлено всегда имѣть въ наличности мѣстныхъ *власть имущихъ* людей и ихъ контролировать, заведется земскій сборъ—и какъ *мнѣніе* цѣлаго

мироваго участка на мѣстѣ, и какъ высшая компетенція (уѣздное земское собраніе) всѣхъ мировыхъ участковъ въ совокупности. На той степени, которой самоуправленіе достигло въ эти годы, оно оказывало напряженіе въ двоякомъ смыслѣ: *первое* сомкнуть въ себѣ всю полноту, всю совокупность подлежавшихъ ему функцій, дотолѣ еще частью оторванныхъ другъ отъ друга и разсѣянныхъ гдѣ-гдѣ (сомкнувшись въ то-же время и еще плотнѣе во всесословное единство) *второе* по старинѣ еще и перейти, на высшихъ чередахъ своего призванія, изъ дѣла земскаго въ дѣло государево вообще, если и когда его о томъ спросятъ.

Суждено-ли было осуществиться этой русской правдѣ — на это современная русская исторія, съ 1863-го года, дала крутой отвѣтъ: предварительно мѣстный мировой институтъ былъ уничтоженъ, втянутъ въ общее подчиненіе гражданскихъ инстанцій на общемъ основаніи Устава о службѣ гражданской; мировой участокъ прежде разрушился, а потомъ совсѣмъ опустѣлъ: былъ да весь вышелъ. А вслѣдъ затѣмъ явились ужъ такъ-называемыя мировыя учрежденія (*судъ* и *судебные* съѣзды) и лишь такъ-называемыя земскія учрежденія, которыя всѣмъ тѣмъ желаніямъ и чаяніямъ положили конецъ.

Эти учрежденія, прежде всего, совсѣмъ разчленили земство по суставамъ, розняли его на мертвыя части. Отъ крестьянскаго самоуправленія отрѣзали прочь всѣхъ, *„кто грамотѣ умѣетъ и которые годятся“*; сельскимъ и волостнымъ управленіямъ предоставлена была полная свобода задыхаться въ ихъ подонкахъ сколько душѣ угодно. Охраненіе какъ всеобщей тишины и спокойствія, такъ и цѣлости межевыхъ знаковъ; предупрежденіе и пресѣченіе преступленій, также и нарушеній благочинія—опять предоставлено вѣдать Губернскому Правленію (его слугамъ по крайней мѣрѣ: исправнику и становымъ). А съ жалобами на дѣйствія мѣстъ и лицъ сельскаго и волостнаго управленій и проч. и проч. и проч. не къ кому ужъ стало и обратиться. (О миѳическомъ непремѣнномъ членѣ и миѳическомъ уѣздномъ присутствіи — всѣ, даже крестьяне, старались игнорировать). Мировому судьѣ, что̀ ни дѣло прямо изъ сельской казуистики, всё оказывалось неподсудно. До него относятся лишь казусы, подведенные въ параграфы; хорошо, какъ дѣло угодитъ чуть не въ уголовное и есть къ тому-же налицо цѣлый арсеналъ доказательствъ: масса и живыхъ свидѣтелей, и письменныхъ документовъ, — тогда онъ и

разсудитъ ad hoc. А вообще до тишины и спокойствія — ему дѣла нѣтъ.

А что-же дали „*Земскія Учрежденія?*“ Прежде всего „либеральный“ (то-есть *лже*-либеральный, ибо въ наши дни это синонимы) намекъ на какое-то (никѣмъ, впрочемъ, изъ русскихъ, изъ земскихъ людей непрошенное) *лживое* политическое представительство, на выборъ какихъ-то форменныхъ депутатовъ. Изъ 526-ти, напримѣръ, личныхъ землевладѣльцевъ уѣзда, на основаніи статута о земскихъ учрежденіяхъ, надлежало выбрать 13 „гласныхъ“: видимое дѣло,—это какіе-то депутаты! Такое предположеніе подтверждается еще тѣмъ, что изъ сихъ тринадцати, видите-ли, *двое* удостоиваются чести попасть въ губернскій городъ, быть избраны и посланы въ „губернскіе гласные“. Судя по аналогіи и приходилось заключить, что, фильтруя „собраніе господъ гласныхъ“ изъ уѣзднаго города въ губернскій, имѣлось въ виду именно ни что иное, какъ собрать въ концѣ концовъ fine fleur гласныхъ — куда-жъ какъ не въ столицу! Намекъ для земскаго русскаго человѣка истинно противный именно тѣмъ, что заранѣе подсказываетъ *вмѣсто мнѣнія земли* съ его живымъ земскимъ соборомъ въ случаѣ надобности — жалкій инструментъ фальшиваго общественнаго мнѣнія! Кто ужъ по одному этому не угадаетъ въ нашихъ такъ-называемыхъ „земскихъ учрежденіяхъ“ чистѣйшаго образца творчества собственно такъ-называемыхъ бюрократическихъ сферъ!

Но что-же затѣмъ остается существеннаго въ „земскихъ учрежденіяхъ“ помимо этого „лжелиберальнаго“ намека? Ровно ничего, чего-бы ужъ не заключалось въ Положеніи 19-го февраля 1861-го года; съ тою только разницей, что тамъ оно упоминалось какъ-бы мимоходомъ и предоставлялось народной самодѣятельности свободно и широко; а здѣсь оно регламентировалось строго вообще, а въ частности еще было втиснуто въ вящій канцеляризмъ уѣздныхъ и губернскихъ управъ. „Надзоръ за порядкомъ въ училищахъ, больницахъ, богадѣльняхъ и всякаго рода общественныхъ заведеніяхъ, учрежденныхъ волостью на собственный счетъ; а также за исправнымъ содержаніемъ въ волости дорогъ, мостовъ, гатей и перевозовъ и проч.“—все это ужъ было исчислено и поименовано въ незабвенномъ Положеніи, какъ неотрицаемое земское дѣло. Никакой не было и надобности возводить все это въ нѣкій чинъ. Но все это, только одно это, это-же самое — лишь подвер-

гнутое стѣснительной регламентаціи и втиснутое еще въ канцеляризмъ земскихъ управъ — подробно поименовывается и подробно перечисляется, уже съ шумомъ, какъ великое и „либеральное“ право „земскихъ учрежденій“,— ничего больше.

Скажутъ-ли, что излишкомъ является раскладка и разверстка, опредѣленныхъ свыше, повинностей и денежныхъ сборовъ; а главное: самому земству предоставленъ порядокъ ихъ счетоводства? Но во-первыхъ, веденіе счетоводства не есть право; это скорѣй ново-прибавленная повинность! а во-вторыхъ, ужъ и это упоминалось въ Положеніи при общемъ перечнѣ дѣлъ, подлежащихъ мірскому вѣдѣнію: „раскладка всѣхъ лежащихъ казенныхъ податей, земскихъ и мірскихъ денежныхъ сборовъ, равно какъ земскихъ и мірскихъ натуральныхъ повинностей и порядокъ веденія счетовъ по означеннымъ податямъ и сборамъ“ (ст. 51 Общаго Положенія).

XIV.

Съ тѣхъ поръ все застоялось: строительство Русской земли, парализованное, лишилось силъ. Разрѣшеніе трудной задачи внутренняго управленія не только не двинулось ни на-волосъ впередъ: этими вновь нагроможденными учрежденіями оно еще затормозилось. Въ дѣйствительное, только что было зачавшееся земство— въ наше едва зачавшееся самоуправленіе — эти учрежденія (въ ихъ мертвомъ видѣ) вбились какъ клинъ, вонзились какъ заноза. Какъ это ни печально, однакожъ оно истинно такъ.

Благоразумные люди скажутъ пожалуй: не благоразумно отмѣненіе дѣйствующихъ учрежденій, слѣдуетъ ихъ видоизмѣнить и исправить. Такое возраженіе можетъ быть двухъ родовъ. *Или* скажутъ это мужественно-серьезно: тогда противъ этого и возражать было-бы дѣтствомъ; *или*, напротивъ того, это скажутъ дѣтски-легкомысленно: тогда это и не стоитъ серьезнаго возраженія. Въ самомъ дѣлѣ, если новымъ мировымъ судьямъ предоставить судить не по X тому; если измѣнить весь уставъ наказаній, налагаемыхъ мировыми судьями; если ихъ поставить въ прямое отношеніе къ сельскимъ и волостнымъ управленіямъ, возстановить ихъ административное значеніе въ возобновленномъ мировомъ участкѣ; если, наконецъ, въ довершеніе всего, ихъ избраніе и контроль надъ ихъ дѣйствіями поручить дѣйствительному земскому собранію уѣзда, а не мнимому (какъ теперь, напримѣръ: не три-

надцати „гласнымъ“ изъ 526-ти мѣстныхъ личныхъ землевладѣльцевъ),— тогда другое дѣло. Эти преображенные мировые судьи, дѣйствительно, будутъ соотвѣтствовать деревенской глуши и ихъ учрежденія болѣе никто не назоветъ мертворожденнымъ. То-же должно сказать и о преображенныхъ „земскихъ учрежденіяхъ“. Назовите ихъ, пожалуй, анти-земскими, лишь-бы они стали земскими въ существѣ. Преобразите ихъ такъ, чтобъ ихъ преобразованіе было равносильно ихъ полной отмѣнѣ въ нынѣшнемъ видѣ— перестанутъ звать мертворожденными и ихъ.

Итакъ, не станемъ напередъ оспаривать господъ серьезныхъ оппонентовъ, благоразумныхъ людей. Какія они проектируютъ измѣненія и исправленія въ мнимыхъ „земскихъ учрежденіяхъ“—это имъ самимъ лучше знать, имъ и книги въ руки. Только напередъ можно предречь одно ихъ благоразуміямъ. Чѣмъ болѣе захотятъ они сохранить въ неприкосновенной цѣлости, а только лишь отчасти и лишь гдѣ-гдѣ вложить въ эти учрежденія новое лучшее— тѣмъ болѣзненнѣй будетъ послѣдующій процессъ, когда разными ломанными и кривыми путями земская русская правда станетъ въ нихъ доискиваться сама себя. Такъ или иначе, но эти учрежденія, въ ихъ теперешнемъ видѣ, рѣшительно не привлекательны для настоящаго земства. Примѣръ Земли Войска Донскаго свидѣтельствуетъ о томъ. Безспорно, у казаковъ и самоуправленіе собственно казацкое (съ 1835 года, впрочемъ, передѣланное правительствомъ); не станемъ оспаривать и того, что въ наше время изъ нѣдръ самого казачества все чаще слышатся отдѣльные голоса противъ казачины во всей ея первобытной суровости; допустимъ, наконецъ, что есть между казаками и особые любители обще-губернскаго Положенія, прямо даже охотники свести на него Землю Войска. Тѣмъ не менѣе однако, такъ-называемыя „земскія учрежденія“ въ томъ видѣ, какъ они вышли готовыми изъ бюрократическихъ сферъ, не пріемлются тамъ — ни большинствомъ, ни меньшинствомъ. Дѣло въ томъ, что тамъ не существовало крѣпостнаго права — слѣдовательно, въ той или другой формѣ существовало уже русское самоуправленіе: истинное самоуправленіе и не мирится съ мнимымъ,— сущность заключается въ этомъ.

Все это разъяснится уже самымъ наглядымъ и убѣдительнымъ образомъ, если мы хоть вкратцѣ разсмотримъ наконецъ: что-жъ такое на самомъ дѣлѣ эти хваленыя, пресловутыя „зем-

скія учрежденія", о которыхъ большинство читателей судитъ лишь по наслышкѣ? Къ наглядному разъясненію теперь и приступимъ.

XV.

Читатель! знаете-ли вы, что̀ такое такъ-называемыя „Земскія Учрежденія?" Нѣтъ, вы не знаете, что̀ такое такъ-называемыя „Земскія Учрежденія!" Всмотритесь въ нихъ.

Перенесемся въ уѣздъ одной изъ среднихъ губерній. Въ немъ, при отмѣнѣ крѣпостнаго права, когда вводились въ дѣйствіе уставныя грамоты, числилось (excusez du peu!) — 526 личныхъ землевладѣльцевъ при 30-ти тысячахъ мужескаго пола душъ крѣпостнаго населенія. Этотъ уѣздъ — одинъ изъ наиболѣе населенныхъ въ губерніи и въ то-же время наименьшій по количеству земли. Государственныхъ повинностей тутъ уплачивается, сравнительно съ земскими, не много: изъ общаго обложенія, сколько теперь падаетъ на землю, лишь одна пятая часть идетъ на государственныя повинности. Итакъ, если безъ земскихъ учрежденій, вы платили-бы государственныхъ повинностей всего-на-все сто рублей, то теперь вы имѣете удовольствіе на каждые сто рублей приплачивать еще по четыреста рублей сверхъ того, собственно за то, что введены въ дѣйствіе такъ-называемыя земскія учрежденія. Какая-жъ отъ нихъ радость? Слѣдующая: изъ 526-ти личныхъ землевладѣльцевъ 13 человѣкъ имѣютъ право быть выбранными въ *гласные*.

Казалось-бы, по дѣламъ собственной мѣстности всѣ званные, да только мало являющихся на зовъ, — при бюрократическомъ „земствѣ" совсѣмъ на выворотъ. Изъ сказанныхъ 526-ти личныхъ землевладѣльцевъ только 13 человѣкъ избираются въ *гласные*, а остальные 513 буквально обращаются въ безгласныхъ, устраняются отъ всякаго мѣстнаго контроля. Не можетъ быть — возражаетъ читатель — вѣроятно, эти 13 *гласныхъ* составляютъ только какое-либо непрерывно-функціонирующее учрежденіе, а все прочее населеніе и контролируетъ ихъ, собирается выражать имъ свое довѣріе или недовѣріе на уѣздныхъ земскихъ собраніяхъ. Ничуть не бывало! вотъ, именно эти самые 13 человѣкъ (изъ 526 личныхъ землевладѣльцевъ) и составляютъ „Уѣздное Земское Собраніе". Правда, кромѣ личныхъ землевладѣльцевъ, въ *гласные* избираются еще крестьяне: и мірянамъ (общинному землевладѣнію) предоставлено здѣсь выбрать 11 *гласныхъ;* кромѣ того, два глас-

ныхъ полагается собственно отъ города, — такимъ образомъ, въ добавокъ къ 13-ти гласнымъ отъ личныхъ землевладѣльцевъ нужно приложить столько-же отъ города и крестьянъ — всего 26 человѣкъ. Но пока „крестьянское самоуправленіе“ находится въ вѣдѣніи становыхъ и исправниковъ, — до тѣхъ поръ странно вообще ссылаться на крестьянское „будто-бы самоуправленіе“ вообще, — а по приложенію его къ „земскимъ учрежденіямъ“ въ частности. Кто истинно расположенъ къ крестьянскому самоуправленію, тотъ eo ipso и почитаетъ его не существующимъ болѣе въ наши дни; въ своемъ теперешнемъ извращенномъ видѣ, это такой факторъ, который фактически лишенъ всякаго серьезнаго значенія — по отношенію къ „земскимъ учрежденіямъ“ въ особенности. Притомъ, имѣя въ виду не теорію, а прямо практику „земскихъ учрежденій“ (какъ она возстаетъ на глаза въ уѣздѣ, нами избранномъ для изслѣдованія) мы имѣемъ полное основаніе прослѣдить лишь дѣятельность именно этихъ 13-ти гласныхъ отъ личныхъ землевладѣльцевъ, выбранныхъ изъ общаго ихъ количества 526-ти. Итакъ, лишь эти 13 человѣкъ и составляютъ „уѣздное земское собраніе“. Они, только они, выбираютъ изъ своей среды трехъ мировыхъ судей для уѣзда съ городомъ; изъ свой-же среды выбираютъ предсѣдателя управы и двухъ членовъ (въ случаѣ надобности и болѣе, не свыше шести); наконецъ, и двухъ депутатовъ въ губернскій городъ. Они, по своему усмотрѣнію, назначаютъ себѣ жалованье, распредѣляютъ раскладку повинностей и контролируютъ сами себя. Изъ сихъ 13-ти гласныхъ четверо (и никакъ не менѣе троихъ) попадаютъ на мѣста съ жалованіемъ въ управѣ; трое на жалованіе мировыхъ судей; двое заинтересованы быть избранными въ губернскіе гласные. Такимъ образомъ, человѣкъ восемь или девять изъ сихъ тринадцати — лично заинтересованы, чтобъ такъ-называемое уѣздное земское собраніе непремѣнно состоялось; они-то и составляютъ *гласныхъ*, непремѣнно присутствующихъ на земскихъ собраніяхъ. Остальные, обманувшись въ ожиданіи попасть въ число лично-заинтересованныхъ, перестаютъ на нихъ являться. Такъ какъ, однакоже, требуется, чтобъ присутствовало не менѣе 12 *гласныхъ* для признанія собранія состоявшимся, то *гласные* отъ крестьянъ и служатъ на практикѣ удобнымъ для сего запаснымъ контингентомъ. Оборотная сторона медали нашихъ земскихъ учрежденій представляетъ, такимъ образомъ, слѣдующее: шесть-семь вакансій на мѣста съ жалованьемъ отъ

земства (а то и больше, ибо управы могутъ увеличивать число членовъ и призывать разнаго рода людей по спеціальностямъ, назначая имъ вознагражденіе по своему усмотрѣнію) привлекаютъ—искателей мѣстъ. Если въ уѣздѣ еще не установилась, не кристаллизировалась „управа", а также предвидятся вакансіи на мѣста „мировыхъ судей", стекается довольно много „искателей"; потомъ, обманувшіеся въ ожиданіяхъ, отстаютъ съ каждымъ разомъ, и ихъ уже стекается менѣе. Въ „гласные" идутъ, прежде всего, затѣмъ, чтобъ получить право на мѣста съ жалованіемъ отъ земства; то-есть достоинство „гласнаго" является искомымъ лишь для дальнѣйшаго искомаго, безъ перваго невозможно второе.

Ничего нѣтъ предосудительнаго, конечно, человѣку, нуждающемуся въ средствахъ жизни, искать ихъ тою или другою службой. Но нельзя не сказать, что такого рода службы лишь на тѣхъ поприщахъ и цѣлесообразны, гдѣ нѣтъ помину о какомъ-либо политическомъ представительствѣ, а все ограничивается—трудомъ по найму. Кому, напримѣръ, не извѣстны старинныя *„Писцовыя книги"*—эти изумительные, въ своемъ родѣ, акты нашихъ старинныхъ дьяковъ? Ни одно „земство", конечно, не имѣетъ въ настоящее время такихъ образцовыхъ описей своей губерніи или даже своего уѣзда, какія велись въ старину. Понятно само собой, что для составленія подобнаго рода „Писцовыхъ книгъ" требуются спеціалисты и трудъ ихъ достоинъ вполнѣ сообразнаго награжденія. У „земскихъ учрежденій", допустимъ, накапливается много подобнаго труда; было-бы нелѣпо воображать, что изъ среды самого земства явятся охотники-трудолюбцы, которые поведутъ его даромъ. Но для дѣлъ подобнаго рода земство всегда-бы нашло достойныхъ лицъ, нуждающихся въ трудѣ; они бы и приглашались: служить по найму. Но выходитъ совсѣмъ иное дѣло, когда „искатели мѣстъ" драпируются еще въ плащъ политическихъ представителей...

Изъ тринадцати *гласныхъ* нашего уѣзда—шесть человѣкъ состоятъ на жалованьи отъ земства, двое—не льстясь на него—избираются въ губернскіе гласные; эти восьмеро и составляютъ „политическое представительство" уѣзда. Для того, чтобъ набралось всѣхъ 12 гласныхъ и уѣздное собраніе состоялось, есть еще запасъ гласныхъ—изъ крестьянъ. Большею частью, уѣздныя собранія и составляются; однакожъ не безъ того, чтобъ вовсе не

было случаевъ публикаціи: „за неприбытіемъ гласныхъ, собраніе не состоялось".

Но оставшіеся за штатомъ 513 личныхъ землевладѣльцевъ контролируютъ-же, по крайней мѣрѣ, своихъ мѣстныхъ дѣятелей? имѣютъ, по крайней мѣрѣ, на это право? И не контролируютъ, повторяемъ, и не имѣютъ на то никакого права. Уѣздное земское собраніе, повторяемъ, только и состоитъ изъ сихъ 13-ти. Имъ участь всѣхъ остальныхъ—вручена безповоротно и безапелляціонно. Не было-бы странно, еслибъ 526 личныхъ землевладѣльцевъ избрали изъ своей среды 13 человѣкъ для того, чтобъ ихъ облечь властью, какъ мѣстныхъ людей или администраторовъ; пожалуй еще, еслибъ ихъ выбрали именно какъ своихъ депутатовъ. Весьма понятно, что такое количество судей-администраторовъ на уѣздъ или даже депутатовъ отъ уѣзда въ губернію—достаточно, даже съ излишкомъ. Разъ они для этого выбраны—имъ и принадлежала-бы *власть* и *дѣйствіе* впредь до новыхъ выборовъ; мѣстное населеніе и выразило-бы имъ свое довѣріе или недовѣріе, удовольствіе или неудовольствіе, или новымъ ихъ выборомъ, или замѣною ихъ другими дѣятелями. Но предоставить этимъ 13-ти—контроль надъ самими собою... болѣе чѣмъ странно. *Дѣйствіе* и *власть*, разумѣется принадлежатъ не всѣмъ, а лишь нѣкоторымъ избраннымъ; но *мнѣніе* и *контроль*, разумѣется-же само собою, неотъемлемо и неразрывно принадлежать должны всему мѣстному населенію. Если-бъ даже захотѣли создать какіе-то еще особые „органы" мнѣнія и контроля всюду по мѣстамъ,—то тогда только они явятся цѣлесообразны, когда въ принципѣ все мѣстное населеніе будетъ признано правоспособнымъ.

Скажемъ въ заключеніе, что, по мѣстному бюджету уѣзда, одна четвертая часть денежнаго сбора на земскія повинности—идетъ собственно на содержаніе управы; а ко всему бюджету про свой уѣздъ (напримѣръ 40 тысячъ, изъ которыхъ 10 тысячъ на уѣздную управу) прибавляется еще половина—еще 20 тысячъ—для отсылки въ губернскую управу (всего будетъ 60 тысячъ). Изъ этихъ отсылаемыхъ въ губернію, часть денегъ, точно также, поступаетъ собственно на содержаніе губернской управы. Это то учрежденіе, которое существуетъ на счетъ уѣздныхъ. Мы ничуть не преувеличимъ, сказавъ, что существеннѣйшее взаимо-дѣйствіе между управами уѣздными и губернскою выражается лишь въ томъ, что уѣздныя управы ищутъ эмансипироваться отъ несооб-

разнаго и чисто-бюрократическаго давленія губернской управы... возникаетъ цѣлая масса дѣлъ по пререканіямъ уѣздныхъ управъ съ губернскою. Уѣзду нуженъ мостъ гдѣ-нибудь у себя на рѣчкѣ— требуется разрѣшеніе губернской управы; а губернская управа находитъ ближе къ себѣ пункты, требующіе мостовъ. Доходитъ, наконецъ, до того, что и въ такихъ дѣлахъ, какъ страхованіе отъ огня (предпріятіе, безспорно, тѣмъ выгоднѣйшее, чѣмъ пространнѣй захватывается районъ дѣйствія), уѣзды охотно-бы взяли на себя и рискъ, и выгоду предпріятія,—лишь-бы освободиться отъ зависимости, и въ этомъ отношеніи, содержимой на ихъ-же счетъ нарочито-бюрократической губернской управы.

XVI.

„Страшенъ сонъ — милостивъ Богъ", подъ такимъ заглавіемъ писалась для одного изъ первыхъ мартовскихъ нумеровъ „Руси" послѣдняя статья, которая должна была заключить „Современный фельетонъ". Но „современныя" событія омрачили русскую исторію несмываемымъ пятномъ позора. Мы не были въ силахъ продолжать... Послѣ долгаго перерыва, печатаемъ статью въ томъ видѣ и лишь въ томъ размѣрѣ, какъ она была написана до *„злосчастной эры"*.

Одновременно съ эмансипаціей сталъ у насъ обнаруживаться *либерализмъ* особаго сорта: его источникомъ была худо скрытая досада за отнятіе крѣпостнаго права. Что было потеряно снизу, то хотѣли наверстать сверху.

Справедливость требуетъ сказать, что вовсе не дворянство, какъ цѣлое сословіе, разжигалось политической похотью такого рода. Напротивъ, изъ его-же среды раздавались тогда громкіе голоса: „пора предать забвенію разные акты XVIII-го вѣка, которыми навязывали русскому дворянству несвойственный и чуждый его духу феодальный характеръ! надо служилому сословію окончательно слиться съ народомъ, стать воистину его передовою ратью — и только". При тогдашнихъ кривотолкахъ нужно было имѣть великое мужество, чтобъ рѣшиться провозгласить это. Глашатаи этихъ простыхъ истинъ были сочтены одними — за „юродовъ", другими — за враговъ отечества и дворянства, даже за возбудителей одного сословія на другое, и проч.

Справедливость требуетъ сказать болѣе того: мы говоримъ про мѣстное дворянство, а вовсе не про тотъ безземельный пролетаріатъ, который ищетъ въ столицахъ карьеры или чисто-городскихъ профессій, изъ нихъ-жъ и произошелъ. То самое дворянство, которое было разсѣяно по захолустьямъ и вовсе даже не участвовало ни въ тогдашнихъ *большинствахъ*, ни въ тогдашнихъ *меньшинствахъ* предуготовительныхъ комитетовъ; однимъ словомъ, помѣстное дворянство въ его разительномъ большинствѣ и съ своимъ дѣйствительно лучшимъ выраженіемъ (въ лицѣ меньшинства комитетовъ), все это второстепенное дворянство — самымъ православнымъ христіанскимъ образомъ, именно по простотѣ, отпраздновало великую реформу. Скрѣпя сердце, быть можетъ за послѣднія растериваемыя крохи, но невольно увлекаясь волной общаго народнаго восторга, тогда всякій и изъ послѣднихъ этихъ бѣдняковъ спѣшилъ отъ себя заявить міру: „и я на старосту не челобитчикъ и отъ міру не прочь“.

Прочь отъ міру и челобитчикомъ на старосту явилась партія — не великая числомъ, но по связямъ въ цѣломъ государствѣ и по вліянію огромная.

Итакъ, говоримъ, появился *либерализмъ* дурнаго сорта. Духоносцы новаго повѣявшаго духа высказывались съ той неудержимостью, которая едва-ли даже откровенности дѣлаетъ честь. „*Не себѣ, такъ и не другимъ*“ — сдѣлалось въ нѣкоторомъ родѣ ходячимъ лозунгомъ, уличнымъ девизомъ. Никто громче ихъ не кричалъ тогда противъ „бюрократіи“ вообще, а „высшихъ бюрократическихъ сферъ“ (министерскихъ) въ особенности. Однакожъ, ихъ рѣчьми увлеклись немногіе; только добровольные слѣпцы вдались въ обманъ. Тотъ, кто имѣлъ очи, чтобъ видѣть, и уши, чтобъ слышать, отдавалъ себѣ вѣрный отчетъ во всемъ, что вокругъ него происходило. „Господчина хочетъ, чтобъ ей царь присягалъ“ — такъ тогда говорили въ народѣ; отъ грѣха помиловалъ Богъ. Русскій народъ „бюрократіи“ не любитъ — это безспорно; но онъ моталъ себѣ на усъ втихомолку. Этимъ рьянымъ филипшикамъ, вдругъ грянувшимъ противъ „высшихъ бюрократическихъ сферъ“, и этимъ торжественнымъ завѣреніямъ цѣлой клики „либераловъ“, что они готовы, пожалуй, для блага народа, тяжелѣйшую часть бюрократическихъ обязанностей снять на себя — цѣны не придавали.

Никто собственно не отрицалъ, что они *либералы;* но всякій чувствовалъ, что ихъ либерализмъ посыпанъ мышьякомъ.

И въ самомъ дѣлѣ, послѣ того, какъ реформа состоялась въ самомъ широкомъ либеральномъ смыслѣ и путемъ прямо-русскимъ (т. е. и народъ былъ освобожденъ съ землею, и началось самоуправленіе), могъ-ли народъ придавать какую-либо цѣну завѣреніямъ тѣхъ *либераловъ*, которые проповѣдывали еще наканунѣ: „нелѣпо насильно заставлять быть сытымъ (sic); предоставленіе земли въ коллективную собственность мірской сходки есть пагубный коммунизмъ; пролетаріатъ составляетъ необходимую виновную причину прогресса (sic); въ видахъ прогресса въ Россіи — необходимо допустить обезземеленіе крестьянъ“?

Можно-ли было точно также хоть въ грошъ ставить ихъ ненависть къ „бюрократическимъ сферамъ“, когда у народа вслѣдъ за эмансипаціей явилось на первыхъ порахъ истинное самоуправленіе и не мнимый мировой институтъ, а эти-же самые господа сразу оказались, въ явную себѣ улику, его злѣйшими врагами? Ненависть этихъ господъ къ мировымъ учрежденіямъ, дарованнымъ Положеніемъ 19 февраля 1861 года, могла поровняться лишь съ такою же ненавистью къ мировому институту — развѣ еще самихъ „бюрократическихъ сферъ“. (Здѣсь приходится повторить сказанное).

У бюрократіи есть низины, есть и вершины. Ожесточеніе къ мировымъ учрежденіямъ со стороны низинъ бюрократіи выказывалось тогда, конечно, въ самой безцеремонной, простой и грубой формѣ. Полицейскія управленія, уѣздныя казначейства и тому подобныя учрежденія, прямо говорили тогда волостнымъ старшинамъ: „вы у насъ послѣдній кусокъ хлѣба отняли!“ Но въ высшихъ бюрократическихъ сферахъ это-же самое ожесточеніе одухотворялось еще въ болѣе тонкую борьбу собственно изъ-за принципа власти, которая вдругъ была почувствована какъ-бы ускользнувшею изъ собственныхъ рукъ и переданною въ извѣстной степени въ самый народъ, въ лицѣ *общественныхъ людей*, его передовыхъ дѣятелей. Бюрократію всю сверху до низу охватило тогда горькое чувство: боязнь за собственную ненужность; пожалуй, за конечное свое упраздненіе при дальнѣйшемъ развитіи дѣйствительныхъ мировыхъ учрежденій.

Но это-же самое боязненное чувство одинаково щемило тогда и проповѣдниковъ „виновной причины прогресса въ безземеліи крестьянъ“. Эти господа, какъ извѣстно, проповѣдывали еще необходимость создать изъ нихъ нѣкоторую особую привилегированную верхушку въ самомъ дворянствѣ; дабы, въ случаѣ надобности, да-

вать и надлежащій отпоръ прогрессу, на безземеліи основанному. При извѣстности такого рода, можно-ли было сомнѣваться, что какъ ни играй они въ антагонизмъ съ высшими бюрократическими сферами, а въ сущности и сіи и оные—одно. Въ самомъ дѣлѣ, разъ девизомъ либерализма „крупныхъ землевладѣльцевъ“ было выкинуто „закрѣпощеніе власти въ свои руки“, непростительно было сомнѣваться, что и сами высшія бюрократическія (министерскія) сферы въ семъ либерализмѣ ни отъ кого не отстанутъ; можно было сомнѣваться лишь въ томъ: еще кто кого на семъ пути обгонитъ? Да, это было очевидно для всѣхъ: и высшія бюрократическія сферы, и ихъ мнимые антагонисты, эти *особаго сорта* высокоимущественные либералы, въ концѣ концовъ, непремѣнно сольются въ одинъ лагерь: на умѣ у нихъ—одно. Такъ и вышло. Ненависть къ дѣйствительному народному самоуправленію и къ истинной свободѣ Русской земли—мгновенно всѣхъ ихъ побратала. Въ виду настоящаго своего грознаго супротивника, этого выросшаго изъ земли самоуправленія съ его немнимымъ мировымъ институтомъ, вчерашніе мнимые антагонисты и вступили другъ съ другомъ въ священный союзъ. Съ тѣхъ поръ, ихъ общими дружными усиліями—и пошло, пошло... Стали они вырабатывать параграфъ за параграфомъ, и статья за статьей, вмѣсто Положенія 19 февраля 1861 года—свой собственный „либеральный проектъ“ (тогда и было пущено въ ходъ иностранное модное слово). Стали съ тѣхъ поръ и „либерализмъ“, и „лже-либерализмъ“ у насъ на Руси—синонимы.

Когда-нибудь будущій русскій историкъ разскажетъ эту удивительную, многострадательную повѣсть о томъ: откуда, послѣ недолгаго свѣтлаго промежутка, въ который установилось всеобщее довѣріе въ воцареніе добра и правды, законности и порядка, и все изъ края въ край отличалось дѣйствительнымъ земскимъ единодушіемъ и крестьянское самоуправленіе опиралось на мѣстное самоуправленіе, которое шло въ гору и требовало соотвѣтствующихъ измѣненій и дополненій,—откуда вдругъ въ Русской землѣ „рознь стала есть“. И начался этотъ въ своемъ родѣ „Sturm- und Drang-Periode“, за который все смѣшалось въ дикой разноголосицѣ, и ложь перепуталась съ правдой, и либерализмъ проѣлся насквозь мышьякомъ; и всѣ почувствовали себя въ хаосѣ, въ какомъ-то лабиринтѣ безвыходныхъ противорѣчій. Вмѣсто словъ съ здравымъ опредѣленнымъ смысломъ—вдругъ стали во множествѣ выкидываться на всѣхъ перекресткахъ условные „пароли“, сами по себѣ не-

лѣпые, безсмысленные и ровно ничего не значащіе, весь смыслъ которыхъ именно и заключался въ ихъ значеніи „паролей“.

Въ неурядицу, несомнѣнно свидѣтельствовавшую о нашемъ собственномъ внутреннемъ худосочіи, впутались еще съ чужой стороны, прямо уже нерусскія постороннія примѣси. Зло удвоилось; болѣзнь осложнилась. Кто и вызвалъ духовъ, ужъ не умѣлъ справиться съ ними. Признаки злаго недуга начали представляться противорѣчивыми, симптомы сбивчивыми. Напослѣдокъ, опытный глазъ даже искусныхъ врачей не умѣлъ болѣе отличить признаковъ, въ которыхъ, вмѣстѣ съ болѣзнью, сказывались и потуги ея для самоисцѣленія,—отъ дѣйствительныхъ признаковъ ея злокачественности. Предложенныя лѣкарства даже и добрыми врачами, пошли внѣдрять болѣзнь еще глубже внутрь организма, утучняли самый ядъ болѣзни, обостряя ее.

Когда-нибудь будущій русскій историкъ непремѣнно откроетъ многое, что̀ еще таится во мглѣ для самихъ современниковъ, и тогда онъ назоветъ по имени все и всѣхъ, чему и кому сами современники не даютъ именъ.

О, какія это мучительныя въ Русской исторіи—эти, для нашего внутренняго устроенія, хуже чѣмъ просто потерянныя или только даромъ пропавшія — послѣднія шестнадцать-семнадцать лѣтъ! сколько еще, во время ихъ, нагромоздилось новаго, имѣющаго рухнуть, столпотворенія!.. какъ еще и еще напутали и перепутали всюду—всякихъ хитросплетеній лжи съ правдой!.. усугубился на всѣхъ распутіяхъ жизни этотъ либерализмъ, пропитанный мышьякомъ!.. Выросло—и уже дѣйствуетъ—цѣлое поколѣніе, воспитанное лишь на *„паролях“*. Неповинное въ ихъ унаслѣдованіи, оно уже теперь въ двойномъ обманѣ.

Въ нашу задачу не входитъ, впрочемъ, подробное разоблаченіе опутавшей все русское общество интриги,—мы говоримъ лишь о крестьянскомъ и земскомъ самоуправленіи у насъ. Довольно будетъ сказать, что подъ шумокъ этого именно „либерализма“ (съ тѣхъ поръ, повторяемъ, у насъ либерализмъ и лже-либерализмъ—синонимы!), когда на всѣхъ перекресткахъ стали, будто по щучьему велѣнію, раздаваться „либеральные пароли“— окончательно было искажено Положеніе 19 февраля 1861 года. Мировыя учрежденія были подавлены; административная власть, переданная въ мѣру мѣстныхъ нуждъ и потребностей, въ руки самому обществу—была у него отобрана назадъ; наблюдать за нераспростра-

неніемъ въ народѣ фальшивыхъ указовъ и зловредныхъ слуховъ и вообще вѣдать „тишину и спокойствіе“ опять предоставлено становымъ и исправникамъ: снова да здравствуютъ губернскія правленія! и да погибнетъ мѣстное самоуправленіе съ крестьянскимъ; сгинь-пропади они въ разныхъ мертворожденныхъ учрежденіяхъ.

Въ уѣздномъ городѣ опять полицейскія правленія и уѣздныя казначейства съ ихъ собратьями подняли голову (миѳическое уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе, какъ уже было сказано, всѣ старались игнорировать); они стали хвалиться передъ волостными старшинами и ниспровергнутымъ мировымъ институтомъ, что не долго они поцарствовали, не надолго отняли было у „чиновниковъ“ кусокъ хлѣба! Сходки пошли сбираться у кабака; бюрократическое растлѣніе стало, наконецъ, касаться уже низинъ: „очиновничились“ сами волостныя и мірскія управленія...

— Какъ? спроситъ въ недоумѣніи читатель — и только въ этомъ зло? Неужели слѣдуетъ лишь воскресить *сельскій мировой участокъ* — и это все, что̀ нужно?

Отвѣчаемъ: относительно сельскаго и волостнаго устройства — да! въ этомъ все зло! Бюрократическія сферы, уничтоживъ первоначальныя мировыя учрежденія, которымъ слѣдовало обновиться послѣ указаннаго въ Положеніи срока (введенія повсюду уставныхъ грамотъ), поглотили и втянули въ себя сполна крестьянское самоуправленіе, и все снова подчинили своему собственному, отжившему свой вѣкъ, ancien régime. Возобновленіе сельскаго мироваго участка съ его мѣстнымъ завершеніемъ — не мнимымъ уѣзднымъ собраніемъ, съ правоспособностью блюсти у себя „тишину и спокойствіе“, а слѣдовательно, вообще вѣдать всю живую совокупность мѣстныхъ интересовъ, для того чтобъ возводить ихъ, по мѣрѣ надобности, изъ участка въ уѣздъ, оттуда въ губернію и далѣе, — возобновленіе мироваго участка — да! это составляетъ вопіющую необходимость „великой и обильной Руси“, въ которой „наряда“ вовсе нѣтъ. — И только всего? неужели этого довольно, неужели не мало этого?

Отвѣчаемъ: этого мало, если все это будетъ возобновлено *безсознательно*, такъ что и вновь, пожалуй, отмѣнится простыми министерскими циркулярами, какъ уже и было, — тогда этого мало.

Если-же это будетъ возобновлено *сознательно* (для правильнаго роста въ ближайшемъ будущемъ) какъ первоначальная и исходная мѣра, лишь-бы вновь земская жизнь пошла съ самаго низу

вверхъ съ своими задачами, со всѣми своими запросами; если при этомъ, одновременно съ самимъ ростомъ этой первоначальной мѣры, станетъ преобразовываться, сообразно съ нею, и весь *уѣздъ* и вся *губернія*,— тогда это очень много; это все, что̀ надо. Это, ни много ни мало, цѣлая программа будущаго административнаго переустройства, сообразно съ указаніемъ жизни и дѣла, а не по кабинетнымъ измышленіямъ петербуржскаго либерализма, насквозь пропитаннаго мышьякомъ. И не надо быть пророкомъ, чтобъ заранѣе указать, что подобное измѣненіе немедленно вызоветъ необходимѣйшее измѣненіе — въ центральной губернской власти на благо и самого земства, и государства. Въ настоящее время губернаторы лишь слуги министра внутреннихъ дѣлъ такіе-же, каковы, относительно самого губернатора, такъ-называемые начальники полицейскаго управленія. Измѣненіе-же, на благо земства и государства, въ существѣ центральной губернской власти немедленно отзовется затѣмъ и въ сообразномъ-же измѣненіи самого министерства.

Только въ послѣднее время стало у насъ возможно говорить объ этомъ: ибо само правительство, очевидно, начинаетъ видѣть аномалію, въ которой у насъ находится такъ-называемое министерство внутреннихъ дѣлъ.

Собственно говоря, оно только и мыслимо (особенно при русскомъ основномъ законѣ объ нашемъ единомъ Властедержателѣ) какъ развѣ министерство полиціи; иное дѣло учрежденіе статъ-секретаріата или доклада государю по земскимъ и внутреннимъ дѣламъ; но оно требуетъ, прежде всего, и иной организаціи всего хода самихъ „внутреннихъ дѣлъ“. Правительственныя сообщенія послѣднихъ временъ о томъ, что предполагается учредить особое министерство полиціи — хорошо показываютъ, что наше министерство внутреннихъ дѣлъ нѣчто другое, нѣчто особое — едва-ли еще гдѣ и слыханное! Оно само функціонируетъ за цѣлую Россію, за всю внутреннюю жизнь русской земли и народа...

На этомъ была недописана статья до предположеннаго конца; затѣмъ предполагалось разсмотрѣть возможность устройства самоуправленія прямо на русскій образецъ, и естественно возникалъ вопросъ: оно-ли наконецъ можетъ надѣяться взять верхъ, или суждено намъ пройти сквозь искусъ „фальшиваго инструмента фальшиваго общественнаго мнѣнія“, который неустанно изготовлял-

ся — и неужели еще изготовляется и до сихъ поръ? нашими лже-либералами. Судя по *антинаціональности* того большинства нашей полу-русской „публики“, которое, собственно говоря, составляетъ лишь ничтожное, мизернѣйшее меньшинство относительно тьмы-темъ и десятковъ милліоновъ Русскаго народа, можно было надѣяться только развѣ по поговоркѣ: „страшенъ сонъ — милостивъ Богъ“. Убійственная вѣсть изъ Петербурга 1-го марта кончила „современныя“ событія. Все, что̀ было писано по ту сторону 1-го марта, остается уже безъ прямаго отношенія къ тому, что̀ происходитъ теперь, по сю сторону злосчастной эры. Теперь все скомкано и самое положеніе обострилось. — Въ „современномъ фельетонѣ“ тѣхъ прежнихъ дней можно еще было говорить о нашемъ внутреннемъ вопросѣ на языкѣ не для всѣхъ понятномъ, бо̀льшею частью иносказательно, почти всегда *выставляя истину подъ вуалью;* теперь надо-бы говорить безъ утайки.

Газета „Русь“ 1880—1881 гг.

Объ нашемъ statu quo.

О Кахановской Коммиссіи у насъ начинаютъ подозрѣвать, что она ломаетъ голову надъ квадратурой круга. Ничѣмъ больше нельзя объяснить долговременности и безплодности ея занятій. Она, повидимому, даже запамятовала: какая лихая бѣда ее вызвала на свѣтъ?

Задача была въ томъ, помнится, чтобъ упорядочить наше внутреннее управленіе, улучшить его систему. Улучшаютъ то, чего не находятъ удовлетворительнымъ, и если что̀ упорядочиваютъ, значитъ, то въ порядкѣ не состоитъ. Какое-же это вѣдомство было у насъ найдено до того не въ порядкѣ, что и потребовалось немедленно измѣнить его? То самое, надо полагать, въ чьемъ вѣдѣніи и сосредоточены внутреннія дѣла. Они у насъ въ одномъ и томъ-же положеніи — страхъ какъ долго. Не только за время усидчивыхъ занятій долговременной коммиссіи, а они, наши „внутреннія дѣла“, еще задолго до отмѣны крѣпостнаго права, находились въ томъ самомъ положеніи — въ какомъ стоятъ сейчасъ, спустя слишкомъ 20 лѣтъ послѣ его отмѣны. Само по себѣ ужъ одно это свидѣтельствуетъ о нѣкоторой ненормальности ихъ. Допустимъ — хотя и это мало вѣроятно — что напримѣръ вѣдомство иностранныхъ дѣлъ, или еще почтъ и телеграфовъ, или наконецъ всякое другое, могутъ пожалуй коснѣть въ одномъ и томъ-же положеніи независимо отъ того: существуетъ въ имперіи крѣпостное право

или ужъ отмѣнено. Но чтобъ „внутреннія дѣла“ того или другаго государства, какъ за время крѣпостнаго права, такъ и послѣ его отмѣны, могли пребывать въ одномъ и томъ-же китаизмѣ—это невѣроятно. А между тѣмъ у насъ оно такъ. Сводъ Законовъ не допускаетъ сомнѣнія на этотъ счетъ. Для „внутреннихъ дѣлъ“ у насъ полагается спеціальное министерство и „охраненіе внутренней безопасности“ непререкаемо ввѣрено ему. Оно такъ и зовется министерство внутреннихъ дѣлъ. Что собственно разумѣютъ у насъ подъ „внутренними дѣлами“, то-ли самое, что и во всѣхъ прочихъ государствахъ или нѣчто иное неудобовразумительное—это вопросъ особый и предметъ другой статьи. Но „внутреннія дѣла“, въ немъ сосредоточенныя, дѣйствительно дѣлаютъ у насъ изъ этого министерства что-то изъ ряда вонъ даже въ ряду всѣхъ прочихъ министерствъ. Всѣ остальныя никнутъ и блекнутъ передъ нимъ. Это—воплощенное „всеприсутствіе“ такъ-сказать.

Подъ нимъ идутъ по всѣмъ губерніямъ губернаторы и при нихъ губернскія правленія. Въ губернскомъ правленіи, если вѣрить Своду Законовъ, производится очень много дѣлъ по охраненію безопасности и общаго спокойствія. А именно: „попеченіе объ установленіи, утвержденіи и сохраненіи въ нерушимости благонравія, порядка, мира и тишины въ городахъ, селахъ и деревняхъ, на земляхъ и на водахъ, тоже и на дорогахъ, по губерніи пролегающихъ (Св. Зак. томъ II, раздѣлъ второй, глава первая, ст. 715; тамъ-же пунктъ 14, параграфъ второй статьи 716). Вотъ чѣмъ—если вѣрить Своду Законовъ—„управляютъ“ губернскія правленія и вотъ о чемъ они „производятъ попеченіе“.

Подъ ними—и чѣмъ ниже, тѣмъ все болѣе раздробляясь—идутъ полицейскія управленія. Господа уѣздные исправники также „вездѣ на мѣстахъ принимаютъ мѣры для прекращенія возникающихъ безпорядковъ и предупрежденія возобновленія оныхъ въ будущемъ“. Эти „ближайшіе и непосредственные на мѣстахъ органы представителя высшей правительственной въ губерніи власти“ также „имѣютъ неослабный надзоръ за охраненіемъ общественной безопасности“ и обо „всемъ доводятъ до свѣдѣнія губернатора“.

Подъ ними—дробясь въ свою очередь еще и еще мельче—идутъ полицейскіе участки—„станы“ со становымъ приставомъ во главѣ. Всякому изъ сихъ чиновъ поручается уже „ближайшій и непосредственный надзоръ за охраненіемъ вообще благоустройства, тишины и повиновенія законамъ какъ въ селеніяхъ ввѣреннаго ему

участка, такъ и внѣ оныхъ"... Для сего, а равно и для прекращенія какихъ-либо неустройствъ, еслибъ оныя возникли, „поручается употреблять, смотря по обстоятельствамъ, надлежащія внушенія и наставленія, приглашая, если нужно, къ участію въ томъ и мѣстное духовенство".

Наконецъ подъ ними, уже безчисленные какъ песокъ морской, слѣдуютъ „миѳическіе" сотскіе и десятскіе, не безъ того однакожъ, чтобъ не было еще поставлено и надъ ними ближайшаго непосредственнаго начальства въ лицѣ „полицейскихъ урядниковъ". На сихъ нижнихъ чиновъ, еще сильнѣе чѣмъ даже на становыхъ, возложенъ опять-таки: „ближайшій надзоръ за соблюденіемъ, въ предѣлахъ ввѣреннаго имъ участка, правилъ относительно общественнаго благоустройства и благочинія". Они вездѣ „предупреждаютъ и останавливаютъ нарушителей этихъ правилъ", вездѣ „водворяютъ порядокъ" и вездѣ „составляютъ протоколы". Наблюдая и за наводненіями, и за подозрительными личностями, и за истребленіемъ бѣшеныхъ животныхъ, полицейскіе урядники обязаны напослѣдокъ ни много, ни мало: „подавать помощь каждому, если будетъ только усмотрѣно, что кто-либо въ ней нуждается, и прекращать всякій безпорядокъ". (Циркуляръ министерства внутреннихъ дѣлъ 26 іюля 1878-го года, № 83).

Итакъ, прежде всего во главѣ всего, цѣлое особое министерство охраняетъ у насъ „внутреннюю безопасность"; потомъ „дѣлами общаго благоустройства" управляютъ губернскія правленія; затѣмъ и уѣздныя полицейскія управленія „принимаютъ на мѣстѣ всѣ надлежащія мѣры"; еще потомъ и становые пристава „употребляютъ смотря по обстоятельствамъ надлежащія внушенія и наставленія, приглашая духовенство"; наконецъ полицейскіе урядники, сотскіе и десятскіе „вездѣ составляютъ протоколы". Столько протоколистовъ, выпускающихъ свои протоколы подъ литерами М. В. Д.! столько разныхъ мундировъ, съ обозначеніемъ этихъ литеръ! Столько сановниковъ и чиновниковъ, и нижнихъ чиновъ, охраняющихъ „всеобщую тишину и спокойствіе", — казалось-бы какъ не спать спокойно? И, вотъ ужъ который годъ, никому спокойно не спится на Руси; всѣ мы нынче живемъ sur le qui vive—отъ мала и до велика.

Скажутъ-ли „все такое происходитъ не по винѣ бюрократическихъ учрежденій, блистательно служившихъ свой вѣкъ, пока длилось крѣпостное право. А, видно грѣха таить нечего, рано мы

собой похвастали: еще не дозрѣлъ у насъ народъ до *правоваго порядка!* видимое дѣло, не былъ онъ достаточно подготовленъ для благъ эмансипаціи: ему, по грубости, весь правовой порядокъ—горше египетской кабалы!..“ Такъ говорятъ сегодня и наши консерваторы и наши либералы, еще вчера привѣтствовавшіе эмансипацію какъ сентиментальныя институтки. Такое отчаяніе за необразованный народъ ужасно,—только не съ больной-ли ужъ это головы на здоровую, господа?

Кто не въ шутку видѣлъ *барщинное ярмо* тамъ, гдѣ его совсѣмъ не было: въ древней Руси,—тому естественно было восхищаться и дѣйствительнымъ ярмомъ, принимая всѣ подъяремныя учрежденія блистательнаго имперскаго періода за послѣднее слово науки и за всесовершенный политическій образецъ. Такъ какъ, притомъ, образецъ взятый напрокатъ у Запада, былъ по самой сущности вещей революціонный и конституціонный, то и le fin mot de la chose, послѣднее заключительное слово всѣхъ нашихъ западниковъ—наговаривалось и договаривалось само собою. Только не напрасно-ли они принимали эмансипацію за осуществленіе ихъ собственнаго идеала? Кто ихъ уполномочивалъ принимать этотъ именно даръ за свое *политическое наканунѣ?* Знаютъ-ли они еще? это былъ, напротивъ того, нашъ поворотный пунктъ къ родной исторіи, какъ разъ возвратъ къ старинѣ!

Кто сознательно привѣтствовалъ у насъ отмѣну беззаконія, именуемаго крѣпостнымъ правомъ, тотъ радовался именно тому, что съ нимъ рухнетъ и все чуждое, выросшее и нагромоздившееся въ беззаконный періодъ. Выраженіе про крестьянъ: *„подлая чернь“* образовалось только въ XVIII-мъ вѣкѣ и лишь въ началѣ XIX-го вошло во всеобщее употребленіе. Въ этотъ-же вѣкъ выросло и нагромоздилось у насъ множество антинаціональныхъ, чуждыхъ Русскому народу, бюрократическихъ учрежденій. Когда-бъ освобожденіе народа послѣдовало не въ русскомъ смыслѣ (то-есть, были-бы крестьяне отпущены подлинно какъ чернь, уличный сбродъ всякихъ отщепенцевъ и негодяевъ изъ разночинцевъ, какъ тьмочисленныя скопища бездомовныхъ батраковъ безъ семьи и крова, безъ земли и мірскаго самоуправленія, а съ однимъ „правовымъ порядкомъ“), тогда-бы и манифестъ о подобной эмансипаціи не стóилъ даже пера, которымъ-бы его подписали. Тогда, и только тогда, восторжествовалъ-бы у насъ правовой порядокъ и бюрократическое зданіе чего добраго, пожалуй-бы, увѣнчалось. Да, тогда-бы правовой поря-

докъ сейчасъ отростилъ когти и пошелъ-бы всюду запускать свою лапу; онъ-бы и возцарствовалъ напослѣдокъ. Но разъ крѣпостное право было отмѣнено въ правду по-русски—не быть этому!

Совершенная правда: разъ было отмѣнено ржавое пятно имперской послѣ-Петровской Россіи, именуемое крѣпостнымъ правомъ—болѣе ужъ нельзя обходиться и ржавыми, анти-національными, бюрократическими учрежденіями, которыя были съ нимъ совмѣстны. Но слѣдуетъ-ли изъ этого, что ихъ должно увѣнчать конституціей? избави Боже продлить имъ вѣку! А изъ этого слѣдуетъ только, что должно какъ можно скорѣй и на этотъ разъ ужъ вполнѣ искренно обратиться къ родной старинѣ, отъ роду и не знавшей бюрократіи.

Въ этомъ случаѣ, Положеніе 19-го февраля было послѣдовательно какъ нельзя болѣе. Освободивъ народъ отъ имперской язвы крѣпостнаго права, оно одновременно еще застраховало его и отъ другой имперской язвы, отъ бюрократическихъ коллегій, давъ ему сразу чисто-земское устройство на русскій образецъ. Оно именно *явило въ новизнахъ старину*. Оно, это незабвенное Положеніе, узаконило народу его издревле-освященное мірское устройство и возвратило ему назадъ—отнятое было у него крѣпостнымъ правомъ—родное земское начало. Оно санкцировало для многомилліоннаго православнаго крестьянства его старинное обычное самоуправленіе, „*призвавъ лучшихъ людей крестьянъ и поставя у нихъ въ головахъ*—говоря по старинѣ—*дѣтей боярскихъ, которые-бы грамотѣ умѣли и которые годятся*“,—вышло *земство*, не нынѣ-дѣйствующія мнимыя земскія учрежденія, а наше истинное древнерусское земство. Завелись тогда по всей Руси не мнимые, а дѣйствительно „мировые участки“—и тогдашній сельскій мировой участокъ съ мировымъ посредникомъ во главѣ значилъ много. Общественные дѣятели, свои земству, мѣстные люди занимались не писаніемъ протоколовъ—они этимъ даже вовсе не занимались—а вели государево-земское дѣло по старинѣ. Когда нужно, вели писцевое дѣло съ точностью, толково и дѣльно: такъ именно составляли и крѣпили уставныя грамоты и планы крестьянскихъ надѣловъ. А когда нужно, вели и прямое „государево дѣло“ по своимъ мѣстамъ: „Сами-бы вы, господа—какъ писалъ въ старину царь такимъ боярскимъ дѣтямъ и лучшимъ крестьянамъ—лихихъ людей разбойниковъ сыскивали-бы по нашему крестному цѣлованію въ правду безъ хитрости“. Такъ ведя государево-зем-

ское дѣло по своимъ мѣстамъ, они при надобности и по мѣрѣ важности, возводили его еще въ уѣздъ, въ губернію и выше. Тотъ или другой важный спросъ народной жизни достигалъ тогда и высоты престола—зародившись именно въ темномъ и безвѣстномъ участкѣ. Куда вдругъ дѣлись, сами собой снялись прежнія, еще вчерашнія, препоны между землей и государствомъ; исчезъ вчерашній расколъ. Земское и государево дѣло опять соединилось,—таково русское устройство искони бѣ. Всѣ тогда наши „внутреннія дѣла“ возвратились къ себѣ по домамъ и очутились—чего давно не бывало—на своихъ собственныхъ мѣстахъ. Вчера еще пребывали они гдѣ-то на сторонѣ, въ совершенно постороннемъ для себя мѣстѣ, вдругъ ихъ отпустили къ себѣ по домамъ и изъ чужихъ рукъ они перешли въ свои.

Тогдашній сельскій мировой участокъ, одинъ самъ по себѣ, значилъ гораздо болѣе чѣмъ всѣ нынѣшнія „такъ-называемыя земскія учрежденія“, взятыя вмѣстѣ.

Что тогдашній сельскій мировой участокъ, повидимому столь незначительный, въ дѣйствительности значилъ много въ нашихъ внутреннихъ дѣлахъ,—объ этомъ лучше всего и спросить самого тогдашняго министра внутреннихъ дѣлъ. Его собственными о себѣ отзывами переполнены всѣ тогдашнія газеты—включительно съ оффиціальными,—любопытные могутъ и сейчасъ читать ихъ. „Я—говорилъ онъ прощаясь со своими сослуживцами и завѣщая имъ на разставаніи хранить ту-же политику—я держалъ авторитетъ своего министерства высоко“. И въ отвѣтъ на это, директоры департаментовъ и канцелярій, и начальники отдѣленій, и столоначальники начальниковъ отдѣленій, и прочіе члены столоначальниковъ—единогласно кричали *ура* и апплодировали своему любимцу. Что̀ значитъ на министерскомъ языкѣ выраженіе: „держать авторитетъ высоко“—тогдашнее состояніе нашихъ „внутреннихъ дѣлъ“ не оставляетъ ни малѣйшаго сомнѣнія на этотъ счетъ. Тогда Положеніе 19 февраля 1861 года, отдѣльными циркулярами министра внутреннихъ дѣлъ, уже все было разорвано въ лоскутки; мировые посредники перваго призыва совсѣмъ разбѣжались со службы чуть не поголовно, и крестьянское самоуправленіе уже было подсѣчено въ корень.

Итакъ, отмѣна крѣпостнаго права и неурядица не синонимы. Кто скажетъ: отмѣнили крѣпостное право—все и пошло вверхъ дномъ, тотъ будетъ явно уличенъ во лжи: ибо это исторически

невѣрно. Не отсюда еще пошла неправда и не съ этого зачалась смута. Если теперь являются охотники нашептывать такія дурныя рѣчи, а другіе къ нимъ склоняютъ ухо — съ одной стороны это будетъ жалкое недоразумѣніе, съ другой еще — и крѣпостническая клевета. Прежде всего, это будетъ именно черною клеветой на благословенное и цвѣтущее время, послѣдовавшее сейчасъ за эмансипаціей, когда вездѣ объ руку съ крестьянствомъ дѣйствовали, въ однихъ рядахъ съ народомъ, мировые посредники перваго призыва. Вездѣ водворялись миръ и тишина съ неимовѣрнымъ успѣхомъ и съ прочностью небывалой. Опираясь на „власть имущихъ“ мѣстныхъ лучшихъ людей своего мироваго участка, крестьянское самоуправленіе тогда гордилось и, за исключеніемъ вольныхъ и невольныхъ бюрократовъ, всѣхъ радовало собой. Расколъ между правителями и управляемыми исчезъ мгновенно, его какъ не бывало. Тогда весь земскій порядокъ — былъ проченъ какъ никогда; значитъ, не въ отмѣнѣ крѣпостнаго права безпорядокъ, а въ чемъ-то другомъ.

Смута началась позднѣе. Она послѣдовала уже за этимъ именно небывало-свѣтлымъ промежуткомъ — и какъ-бы въ законное воздаяніе за его незаконную отмѣну. Всего на одинъ краткій мигъ дано было нашимъ „внутреннимъ дѣламъ“ побывать на родинѣ и вообще земскому строю обновиться по старинѣ. Вскорѣ всѣ мѣропріятія и умоначертанія склонились къ тому, чтобы такую дерзкую въ петербуржскій періодъ небывальщину — прекратить форменнымъ порядкомъ. Весь внутренній строй, установленный Положеніемъ 19 февраля, былъ отмѣненъ безповоротно.

Вмѣсто его придумали „такъ-называемыхъ мировыхъ судей“ и „такъ-называемыя земскія учрежденія“; это одинъ и тотъ-же старый хламъ прежняго бюрократизма — только въ поваленномъ видѣ. Мировые судьи — это тѣ самые чиновники по юстиціи, коимъ девять-десятыхъ дѣлъ сельской практики не подсудно. Имъ предоставлено вступаться самымъ бюрократическимъ образомъ лишь въ тѣ дѣла, гдѣ нарушенъ „правовой порядокъ“, а гдѣ просто безпорядокъ — хотя-бы вопіющій, отъ котораго житья нѣтъ — это не по ихъ части. Притомъ, какъ истые юриспруденты, они судятъ по X-му тому; а имущественныя отношенія (да и одни-ли имущественныя), у народа своеобразны и въ X-й томъ не вписаны; онъ же многомилліонный и составляетъ у насъ 90 процентовъ всего населенія! Наконецъ и Уставъ Наказаній, налагаемыхъ мировыми

судьями, очевидно, соображенъ въ духѣ... опять-таки сентиментальныхъ институтокъ. Ибо наказывать теплымъ угломъ и даровымъ хлѣбомъ того вора, который самъ о себѣ заявляетъ: *кому острогъ, а мнѣ хоромы*, который для того только и кралъ, чтобъ быть сытымъ безъ работы — дамски-несообразительно. А присуждать къ штрафу, въ пользу хозяина, такого голыша, у котораго за душой ни полушки — наивно.

А что-жъ такое „земскія учрежденія“ въ томъ видѣ, какъ они существуютъ? Съ виду — это либеральная гримаса, а въ дѣйствительности — обуза и налогъ. Съ дѣйствительнымъ земствомъ они общаго ничего не имѣютъ. Они могутъ еще нравиться, пожалуй, совершенно платонически — неисправимымъ доктринерамъ, охотникамъ до игры въ парламентъ, и ужъ вовсе не платонически — охотникамъ до земской наживы. Одинокія усилія честныхъ земцевъ тутъ пропадаютъ даромъ. Бюрократическія уѣздныя управы и „нарочито бюрократическія“ губернскія — это сущіе, сосущіе паразиты земства; господа гласные — это его самозванцы; а составляющіеся изъ нихъ „уѣздныя и губернскія собранія“ — всесословныя болтушки, — и ничего больше. Одно дѣло *безсословность* въ томъ смыслѣ, чтобъ не было предоставлено прерогативъ и привилегій однимъ общественнымъ классамъ на счетъ другихъ и въ ущербъ прочимъ. И со всѣмъ другое дѣло искусственное взбалтываніе общественныхъ классовъ, разнствующихъ между собой ужъ по самому быту, въ одну и ту-же либеральную яичницу. Первое совершенно въ русскомъ духѣ; въ русской исторіи отъ начала не было сословій въ западномъ смыслѣ; если ихъ внесли — это было *чуждое начало*. А второе — уже насильственное смѣшеніе и чисто революціонная нивеллировка всѣхъ общественныхъ группъ подъ одинъ и тотъ-же ранжиръ въ обликъ одного и того-же разночинца. Первое свойственно Русскому народу; второе — лишь Петербургу. Сочувствовать такого рода „всесословнымъ болтушкамъ“, поэтому, и могутъ развѣ отщепенцы да разночинцы. Однимъ словомъ, и „мировые судьи“, и „земскія учрежденія“ — это *своя отъ своихъ*, одного поля ягода — со всѣмъ прежнимъ ржавымъ порядкомъ и со всѣмъ прочимъ бюрократическимъ хламомъ. Положеніе 19 февраля, отмѣнивъ крѣпостное право, обновило Русскій народъ по старинѣ, давъ народу дѣйствительныхъ мировыхъ дѣятелей въ лицѣ мировыхъ посредниковъ, и вездѣ по мѣстамъ завелось свое земское самоуправленіе, — которому и предстояло-бы только орга-

нически развиваться до мѣстныхъ общихъ *земскихъ міровъ* и т. д. А эти, смѣстившія ихъ, хотя и новоявленныя, но стараго закала, мертворожденныя учрежденія — опять повернули весь строй на старую торную бюрократическую дорожку.

Съ этого мига и начались замѣшательства и пошла всеобщая шаткость. Разъ эмансипація была произведена по-русски — то-есть народъ былъ отпущенъ съ землею и съ своимъ мірскимъ устройствомъ, а не какъ агломератъ всякихъ отщепенцевъ, сдерживаемыхъ лишь „правовымъ порядкомъ“ — естественно было и всей правительственной системѣ также обратиться въ родную сторону. Освобожденному народу и возвратили родное земское начало и вездѣ ему на первыхъ порахъ дались не мнимыя мировыя учрежденья: то и другое послѣдовало одновременно въ русскомъ духѣ. Надо было двигаться и впередъ, уже не теряя изъ виду прямой русской дороги. Эмансипація была именно нашимъ поворотнымъ пунктомъ къ родной старинѣ и къ родной исторіи: съ нею кончился вчерашній разрывъ съ народомъ, образовавшійся въ имперскій періодъ черезъ установленіе крѣпостнаго права, черезъ даронаніе одной части населенія надъ другою феодальныхъ правъ; чрезъ заведеніе съ одной стороны класса господъ, съ другой класса рабовъ. Какъ только это кончилось и наша новизна сомкнулась съ нашей стариною,—расколъ кончился. Но нельзя было остановиться на распутіи, надлежало идти впередъ или назадъ. Идти впередъ— значило на этотъ разъ уже всѣмъ политическимъ строемъ и цѣлою правительственною системой, вполнѣ свободно и совсѣмъ искренно, обратиться къ родной старинѣ, выступить на историческій національный путь. А идти назадъ — значило въ этомъ случаѣ ужъ совсѣмъ отречься отъ родной старины, окончательно усвоить себѣ — со всѣми-же его послѣдствіями — западный противуположный путь. Первый — это истинно-народный и въ то-же время истинно-царскій путь, таковъ нашъ русскій путь искони бѣ. Второй... но второй, именно потому уже только что онъ западный... искони бѣ конституціонный. Вся сельская, вообще земская Россія ни минуты и не подозрѣвала, чтобы былъ возможенъ какой-либо иной исходъ, кромѣ своего собственнаго роднаго; она тому и радовалась въ эмансипацію, что народъ напалъ, казалось, на свое стремя. Вся бюрократическая Россія, воплощенная оффиціальнымъ Петербургомъ, видимое дѣло, съ первыхъ-же дней эмансипаціи— предпочла второй путь. И пошло, пошло!...

Вдругъ, словно по командѣ: *налѣво кругомъ!* все на ходу затормозилось; фронтъ цѣлаго общества былъ перевернутъ, и мы ракомъ попятились назадъ: на только что было брошенную дорогу. Это было ужасное время. Съ одной стороны, весь нашъ ancien régime (то-есть, весь блаженной памяти и еще „нарочито“ графомъ Сперанскимъ усовершенствованный бюрократическій порядокъ) не захотѣлъ уступить мѣсто новому народившемуся порядку вещей, *явившему въ новизнахъ старину*,— и повелъ отчаянную борьбу за существованье. Признать земскую Россію — для петербуржской бюрократіи это прямо значило-бы занести на себя руку! Съ другой стороны, и вся наша мнимая цивилизованность XVIII-го вѣка и двухъ первыхъ четвертей XIX-го („жеманство — больше ничего“, какъ сказалъ великій поэтъ), спятившая было у насъ всю публику въ сторону отъ народа на западный революціонно-конституціонный путь — то-же не хотѣла помереть мирною кончиной. „Правовой порядокъ въ той или другой, какъ угодно, лишь-бы окончательной формѣ“, чтобъ только всему отживающему дать снова жить — таковъ сдѣлался всеобщій лозунгъ всего и всѣхъ почуявшихъ свою близкую кончину. И потянулся нашъ своего рода Sturm- und Drang-Periode... одинъ за другимъ тогда наши знаменитые руководители „внутреннихъ дѣлъ“ пошли все глубже и глубже вписывать свои собственныя имена въ его скорбныя страницы. Это было мертвящее, тлетворнымъ духомъ дохнувшее время, готовое даже провозгласить конституцію — лишь-бы вновь расколоть землю и государство!

Опять стали выдавать Русскій народъ за тьмочисленную чернь, за тьмы-темъ разсѣянныхъ, разбросанныхъ и ничѣмъ другъ съ другомъ не сцѣпленныхъ единицъ, кромѣ всеобуздывающаго „правоваго порядка“; а власть, взявшуюся у этого народа изъ собственныхъ нѣдръ и которая ему была своя, желанная и родная — опять ему противопоставили какъ нѣчто постороннее для него, стоящее отъ него гдѣ-то поодаль и особнякомъ, чуждое и чуть-ли даже не враждебное начало. О, тріумфаторы, зарящіеся на власть, какъ на свою собственную политическую прерогативу!— вамъ дѣйствительно приходится зачеркивать восемь вѣковъ нашей исторіи, дабы и начинать ея лѣтосчисленіе лишь съ кануна вашего собственнаго „авантажа“. Агитація такого политическаго раскола, разумѣется, была ведена подъ шумиху всякаго либерализма. Пить давали щедро. Направо и налѣво, какого кто хотѣлъ вина—

такое и давали. Наслѣдственная палата лордовъ для однихъ; вызовъ депутатовъ изъ гласныхъ въ другую палату — для другихъ; сепаратизмъ и раздробленіе для третьихъ, — у всѣхъ текло по усамъ что̀ кому любо. Множество либеральныхъ коньковъ было тогда пущено въ ходъ, и на всѣхъ перекресткахъ раздавались либеральные пароли. Публика, спятившая было у насъ въ сторону отъ народа, рукоплескала... Нѣтъ, не публика! даже и въ ней добрая часть уже отрезвилась отъ всеодуряющаго угара; уже и въ публикѣ начался — а на половину произошелъ — благодатный поворотъ къ народности. Не публика, а тотъ искусственно разведенный петербуржскимъ періодомъ и покровительствуемый у насъ самимъ законодательствомъ, все болѣе и болѣе разростающійся классъ общества, который самъ о себѣ возвѣщаетъ съ похвальбой: „разступитесь, господа, разночинецъ идетъ!“ эти послѣдніе обращики нашей мнимой цивилизаціи, эти эфемириды новаго повѣявшаго духа, вотъ кто,—они рукоплескали, какъ угорѣлые, новальному чиновному либерализму. Повѣявшій духъ—не оспариваемъ того—кромѣ столицъ, заразилъ и провинцію. Не только на Невскомъ проспектѣ, а даже на Кузнецкомъ мосту, даже гдѣ-нибудь на Одесскомъ взморьѣ близъ памятника дюка де-Ришельѣ — вездѣ раздавались одни и тѣ-же модные пароли. Всѣ наши сѣверныя Пальмиры, и замоскворѣцкіе Парижи, и тьмутараканскія Венеціи — другъ передъ другомъ ревновали и соперничали... все въ одномъ и томъ-же. Оный „казенный либерализмъ“ сталъ напослѣдокъ касаться уже и низинъ. Какой-нибудь отбившійся отъ міра крестьянинъ и обратившійся въ мѣстнаго туза кулакъ; или самъ даже дармоѣдъ и міроѣдъ—„господинъ волостной старшина“, побратавшійся тѣмъ временемъ на всѣхъ постоялыхъ дворахъ и во всѣхъ сельскихъ трактирахъ, а заодно и въ волостномъ правленіи, съ теперешнимъ своимъ „*сотоварищемъ по службѣ*“, полицейскимъ урядникомъ, — всѣ проникались до мозга костей одною и тою-же сифилизаціей, съ позволенья сказать. Да! и откачнувшійся отъ міра крестьянинъ, распростившійся съ своею сельской общиной, распродавшій въ чужія руки свой крестьянскій надѣлъ, предварительно имъ обращенный въ подворный участокъ; самъ даже бородатый православный пахарь — сбрилъ бороду, одѣлся въ пиджакъ и ничѣмъ ужъ больше не хотѣлъ отличаться отъ любаго бахвальщика изъ разночинцевъ!.. Проклятье, народное проклятье, начинало слышаться по всей сельской земской Руси и со дня на день все громче призывалось на

голову тѣхъ, кто — сознательно или безсознательно — велъ къ такому разложенью.

Въ какомъ-же видѣ предстояла она все это время, наша сельская Русь; поправилась-ли, обновилась-ли родная?.. по прошествіи этихъ десяти, и пятнадцати лѣтъ, и больше — съ того дня, какъ огласилось по ней, какъ благовѣстъ, незабвенное Положеніе 19 февраля 1861 года?

Ее стало узнать нельзя съ тѣхъ поръ. Гдѣ та всеобщая, какъ ясное майское утро, радость обновленія? гдѣ прежнія всенародныя благословенія?

Все, что̀ ей принесла съ собой эмансипація какъ свой законный даръ, было въ пухъ и прахъ разсѣяно „казеннымъ либерализмомъ“. Мѣстное самоуправленіе, дарованное Положеніемъ 19-го февраля 1861 года и оповѣщенное въ немъ самомъ, какъ имѣющее восполниться и обогатиться въ близкомъ будущемъ — просто-напросто было отобрано назадъ или, еще хуже, задавлено и загромождено выпускомъ новоявленныхъ мертворожденныхъ учрежденій.

Пока дѣйствовало это незабвенное Положеніе, о какихъ-либо „бюрократическихъ комитетахъ и коллегіяхъ“ не было слуха; хотя многіе изъ нихъ и влачили свой жалкій вѣкъ — просто объ нихъ не было помину, а не то чтобы заводить еще новые! Тогда самъ мировой съѣздъ, собиравшійся въ уѣздномъ городѣ — коллективная власть, правоспособно вѣдавшая крестьянское дѣло цѣлаго уѣзда — состоялъ изъ тѣхъ-же мировыхъ посредниковъ, которые имъ завѣдывали по мѣстамъ вполнѣ-же правоспособно — каждый въ своемъ участкѣ. Всему народу и каждому сельскому обществу — чуть что̀ — было на кого опереться и выходъ въ ширь и въ высь былъ общедоступенъ. Теперь каждому сельскому обществу и всему народу была предоставлена полная свобода задыхаться сколько угодно въ его собственныхъ подонкахъ; выходъ куда-либо въ ширь и въ высь былъ отнятъ у него. „Людей, которые-бы грамотѣ умѣли и которые годятся“, совсѣмъ отрѣзали отъ него прочь; политика „внутреннихъ дѣлъ“, повидимому, состояла даже въ томъ, чтобъ ихъ противупоставить въ непремѣнный антагонизмъ другъ съ другомъ. Любой мѣстный тузъ, хотя-бы то былъ безграмотный цѣловальникъ, значилъ теперь гораздо болѣе на цѣлый уѣздъ, чѣмъ всѣ грамотные цѣлаго уѣзда. Сельскій мировой участокъ, давно не существовавшій de jure, кончился de facto. Объ этомъ впрочемъ нельзя было и жалѣть, ибо какъ только удалось втянуть мировыхъ по-

средниковъ въ общій „Уставъ о службѣ гражданской“, ихъ прямо ужъ обратили въ канцеляристовъ и бухгалтеровъ, рапортовавшихъ губернатору о нижнихъ воинскихъ чинахъ, водворяемыхъ или только находящихся въ отпуску по деревнямъ. Однимъ словомъ, ни прежніе мировые посредники, ни прежнее крестьянское самоуправленіе даже по имени не существовали. Въ волостныхъ правленіяхъ и на волостныхъ сходахъ всѣ входящія и исходящія бумаги — прямо уже бланкировались литерами М. В. Д. А инструкція полицейскимъ урядникамъ прямо внушала имъ, что „имъ ввѣрено и поручено, вмѣстѣ съ волостными старшинами, одно общее дѣло“. Охранять всеобщую тишину и спокойствіе опять было предоставлено уѣзднымъ управленіямъ и губернскимъ правленіямъ. Туда-же попало и миѳическое уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе съ миѳическимъ непремѣннымъ членомъ. Все это, какъ видитъ читатель, дѣйствительно одна и та-же миѳическая область однихъ и тѣхъ-же миѳовъ!

И стало наконецъ жить нельзя православному люду. Народъ всюду мотался за правительствомъ; но начальства и разныхъ вѣдомствъ вездѣ наплодилось много, а правительства нигдѣ нѣтъ. Отцы жаловались на дѣтей, мужья на женъ, жены на мужей, дѣти на родителей; хозяева на рабочихъ, рабочіе на хозяина; нанимавшій въ услуженіе на нанявшагося служить, — нигдѣ никому ни въ чемъ управы. По извѣстному закону бюрократическаго наростанія, начальства все прибывало: у каждаго начальства еще помощники начальства, потомъ помощники помощниковъ начальства, и т. д. безъ конца. Также точно плодились и вѣдомства, одно умножая другое. Напослѣдокъ, начальствъ и разныхъ вѣдомствъ развелось такъ много, что ходи цѣлый день безъ шапки отъ одного къ другому — и къ вечеру вернешься все-таки не добившись толка и никѣмъ не выслушанный по своему дѣлу, — главное, что всѣмъ нужно, въ томъ и не правоспособенъ никто. И земство начальствуетъ, и мировой судья начальствуетъ, полицейскій урядникъ начальствуетъ, и непремѣнный членъ начальствуетъ, и исправникъ, и губернаторъ, и становой, и всѣ начальствуютъ — а защиты ни отъ кого. Это-ли наконецъ „всеобщая тишина и спокойствіе вездѣ, даже на водахъ и дорогахъ по губерніи пролегающихъ?“... А тѣмъ временемъ, православнымъ мірянамъ сельской глуши столичныя вѣдомости, нумеръ за нумеромъ, сообщали еще объ ужасахъ, творившихся на глазахъ у всѣхъ среди бѣлаго дня въ са-

момъ Петербургѣ. „Господи, твоя воля! крестились православные, что̀-жъ это такое словно попритчилось надъ цѣлою Россіей!... до того-ли ждать будемъ, пока громъ грянетъ?...“

Такое-то „*современное положеніе*“ къ концу семидесятыхъ годовъ и сдѣлало для всѣхъ жизнь нестерпимою. Стали догадываться міряне не только о томъ, что наши „внутреннія дѣла“ неблагополучны, а прямо еще о томъ: въ чемъ заключается неблагополучіе ихъ? Стала умолкать и газетная болтовня о прелестяхъ казеннаго либерализма. Вся эта шумиха, поднятая столичнымъ и провинціальнымъ, черезъ мѣру у насъ расплодившимся „литературомъ“, надоѣла всѣмъ до всеобщаго-же ожесточенія. День ото дня громче заслышивался серьезный, басовой, народный голосъ... Никого болѣе не удовлетворялъ „statu quo“ нашихъ внутреннихъ дѣлъ; сами ихъ оффиціальные руководители пошли мѣняться что-то ужъ очень часто. Гора-горой наконецъ вступились въ это дѣло тѣ, кому тогда было ближе всѣхъ до нашихъ внутреннихъ дѣлъ. Но гора родила мышь: назначили какую-то коммиссію и, помнится, г-на Каханова предсѣдателемъ оной.

И грянулъ громъ!... остепенилось-ли хоть на мигъ вѣтреное племя? Отъ бездны, въ которую мы скользили, — мы, Богъ далъ, убереглись. Въ томъ судорожномъ движеніи, которое человѣка, падающаго надъ водой въ обморокъ, заставляетъ инстинктивно отскочить въ сторону, чтобъ упасть на сухое мѣсто — такъ и мы тогда вдругъ рванулись къ берегу отъ зіявшей подъ ногами бездны. Спасибо и за то, но этого мало. Надо совсѣмъ пробудиться и, давъ обмороку пройти — въ добрый путь, за дѣло! Вотъ, мы начинаемъ мало-по-малу опоминаться; мы уже, кажется, совсѣмъ опомнились отъ ударившаго грома. Ясное-ли однакожъ вёдро привѣтствуетъ насъ на пути?... Оглядываемся кругомъ, и что̀-же видимъ? На сценѣ то-же и тѣ-же. Нашъ неугомонный внутренній вопросъ — гони его въ одну дверь, онъ въ другую — опять стучится и толкается, напоминая собою сущую *злобу дня*. Онъ съ тѣхъ поръ, какъ мы остановились на распутіи послѣ эмансипаціи, все такой-же, все одинъ и тотъ-же. Послѣ того, какъ его заминка привела насъ къ бурному злополучному періоду, къ этому Sturm- und Drang-Periode, мы ни на волосъ не двинулись впередъ въ его разрѣшеніи, хотя, — слава Богу и на томъ! — повторяемъ, въ рѣшительный моментъ кризиса рванулись къ родному берегу и отъ бездны ушли. Надо уже идти теперь прямо, не теряя болѣе изъ

виду прямой русской дороги,— да не будутъ послѣдняя горше первыхъ, если опять-таки собьемся.

То-же самое „*современное положеніе*“, вызвавшее тому назадъ много лѣтъ Кахановскую коммиссію, длится даже и *до сего дня*. Оно то-же — слово въ слово. Кахановская коммиссія достаточно-ли вдумалась въ эту современность?

Объ этой коммиссіи пишутъ теперь во всѣхъ газетахъ, что она занята преобразованіемъ нашего „*сельско-уѣзднаго управленія*“. Желательно спросить: въ какомъ духѣ она хочетъ преобразовать его? Въ русскомъ-ли національномъ духѣ? Добрый путь! но онъ ужъ былъ давно найденъ, и чтобы къ нему возвратиться — нѣтъ надобности засиживаться такъ долго. Для этого стóитъ только обратиться къ незабвенному Положенію 19-го февраля 1861 года и возстановить весь внутренній строй, установленный имъ тогда съ самаго начала. Безъ сомнѣнія, его надо будетъ установить уже такъ, чтобъ на этотъ разъ и всѣ прочія учрежденія не только не подрывали его, а напротивъ еще и сами служили-бы ему естественнымъ продолженіемъ и его достойно замыкали, пріобщась одной и той-же родной стихіи и дѣйствуя въ одномъ и томъ-же національномъ духѣ. Слѣдовательно, надлежитъ самую малость: на этотъ разъ установить весь внутренній строй, завѣщанный Положеніемъ 19-го февраля 1861 г., не такъ и не для того, чтобы господа директоры департаментовъ и канцелярій, начальники отдѣленій и столоначальники начальниковъ отдѣленій и прочіе чины столоначальниковъ — вновь апплодировали его быстрой отмѣнѣ. Да! возстановить тотъ самый, очень небольшой и незначительный съ виду, сельскій мировой участокъ, который дѣйствовалъ въ началѣ шестидесятыхъ годовъ,— но такъ, чтобъ ужъ онъ во вѣки вѣковъ не былъ сломанъ сепаратными циркулярами того или другаго министерства — въ этомъ вся сила! и въ одномъ этомъ дѣйствительное разрѣшеніе нашихъ „внутреннихъ дѣлъ“. Никакой квадратуры круга тутъ нѣтъ.

Или, можетъ быть, Кахановская коммиссія затѣваетъ преобразованіе „сельскаго уѣзднаго управленія“ совсѣмъ не въ духѣ Положенія 19-го февраля, а въ противуположномъ? Но тогда это духъ не другой какой, а тѣхъ-же самыхъ учрежденій, противъ коихъ собственно говоря — и потребовалось въ концѣ-концовъ защитить и оградить наше „сельско-уѣздное управленіе!“ Ужъ не въ собственномъ-ли своемъ духѣ преображаетъ коммиссія село и

уѣздъ — по скольку и она *своя отъ своихъ* всѣхъ министерствъ и всѣмъ министерствамъ, взятыхъ и взятымъ вмѣстѣ (хотя и съ вѣчно-враждебнымъ для прочихъ, непремѣннымъ преобладаніемъ одного изъ нихъ?) Но этотъ духъ вездѣсущій и всё наполняющій, онъ-же и сейчасъ дѣйствуетъ въ преизбыткѣ. Вверху онъ воплощенъ департаментами и отдѣленіями, а подъ ними губернскими правленіями и уѣздными управленіями, и т. д. и т. д. Если въ этомъ именно духѣ Кахановская коммиссія преобразовываетъ наше „сельско-уѣздное управленіе“ — ей слѣдуетъ немедленно-же закрыться, объявивъ прямо, что напрасно вообразили наши внутреннія дѣла въ разстройствѣ; напротивъ того, у насъ все обстоитъ благополучно.

Или развѣ она ищетъ такъ расколоть „государево-земское дѣло“ пополамъ, чтобъ оно въ одно и то-же время было и расколото и цѣло? Не ищетъ-ли она примирить санктъ-петербуржскій режимъ съ мірской сходкой, русское самоуправленье съ нѣмецкимъ штатсъ-рехтъ и земство съ бюрократизмомъ? Такъ! рѣшительно такъ! Она ужъ стыдится разныхъ *„послѣднихъ словъ науки и либеральныхъ доктринъ“* нашихъ доморощеныхъ Монтескьё о раздѣленіи властей и о прочемъ — достойныхъ нынче скорѣе не государственныхъ русскихъ людей, а развѣ-развѣ русскихъ курьеровъ, но... Какъ-же безъ того? Безъ нихъ нельзя и приступить къ постройкѣ такой овчарни, чтобъ и волки сыты и овцы были цѣлы. Теоретически она, пожалуй, и готова-бы допустить для земской Россіи прямо русское устройство согласное съ мірскимъ устройствомъ самихъ крестьянъ; но практически ей очевидно хочется удержать весь прежній казенный строй, то-есть все ветхое чиноначаліе уѣздныхъ управленій и губернскихъ правленій, имъ-же нѣсть числа департаментовъ и отдѣленій. Но такая задача чѣмъ лучше квадратуры круга? Нѣтъ! петербуржскій бюрократизмъ и наше родное земское устройство — двѣ вещи несовмѣстныя. Одно исключаетъ другое. Кахановская коммиссія напрасно-бы искала совмѣстить несовмѣстимое и примирить непримиримое. На это ей мало и тѣхъ новыхъ пяти лѣтъ, которыя по слухамъ она уже и испрашиваетъ себѣ для новыхъ занятій. Еще два пятилѣтія, три и четыре пятилѣтія — сколько-бы ей ни давали новыхъ пятилѣтій — она не доищется круга о четырехъ углахъ или еще такого четыреугольника, что̀ былъ-бы равенъ кругу.

Газета „Русь“ 1885 г.

По поводу разныхъ политическихъ событій, некрологи, замѣтки и мелочи.

О польскомъ катехизисѣ.

(Отвѣтъ Циприпусу, г. Пшеславскому).

Въ 294 нумерѣ Санктпетербуржскихъ Вѣдомостей 1872 года, по поводу Польскаго катехизиса, напечатана статья, все содержаніе которой сводится къ слѣдующему:

„Такъ какъ Польскій катехизисъ, по разсказамъ нѣмецкихъ и русскихъ газетъ, найденъ на одномъ убитомъ повстанцѣ; а между тѣмъ не доказано, кто именно былъ убитый и гдѣ онъ убитъ, и кто снялъ съ него бумагу, и гдѣ эта бумага находится? — то, слѣдовательно, ничего подобнаго Польскому катехизису не существовало, а это сказки нѣмецкихъ и русскихъ газетъ"!?

Такое жалкое словоизвитіе разведено на трехъ столбцахъ академической газеты, украшено ссылками на Монтэня, на 81 и 366 статьи Устава гражданскаго судопроизводства и приправлено цѣлымъ букетомъ выраженій въ родѣ: „j'ai compté sans mon hôte" и „какъ говорятъ французы ставить точки надъ *i*" и „les beaux esprits se rencontrent", „onus probandi", „corpus delicti", „febris recurrens", „argumentum crucis", „sic", „situations", діагностика, элоквенція и пр. и пр.

Въ заключеніе, русская публика, мало чѣмъ отличающаяся „отъ дикарей Тасманіи или Новаго Южнаго Валлиса", объявляется лишенною всякихъ *врожденныхъ* доблестей и получаетъ назиданіе заимствовать ихъ хоть со стороны... взявъ въ образецъ, конечно, того самаго публициста, которому хорошія манеры свойственны отъ рожденія и который еще ихъ усовершенствовалъ въ себѣ навыкомъ латыни и французскихъ поговорокъ.

Отмѣтивъ дурной тонъ этой статьи, скажемъ два-три слова о самомъ содержаніи.

Пресловутый Польскій катехизисъ, этотъ „katechizm rycerski",

несомнѣнно существуетъ. Онъ составляетъ такой-же историческій фактъ, какъ самъ жондъ народовой, какъ учрежденіе кинжальщиковъ, какъ Орсиніевы бомбы. Было-бы дѣльнѣе, быть можетъ, возразить, что этотъ „katechizm rycerski“ не есть собственно творческій продуктъ Magnae Poloniae, а скорѣе можетъ почитаться произведеніемъ интернаціоналки. Но кому-же неизвѣстно, что именно поляки служатъ главнымъ контингентомъ для самой интернаціоналки?

Пресловутый Польскій катехизисъ, повторяемъ, есть несомнѣнный историческій фактъ. Его литографическихъ оттисковъ на польскомъ языкѣ не отрицаютъ сами поляки. Такъ какъ, съ одной стороны, онъ принадлежалъ именно къ числу тѣхъ изданій, которыя читались въ 60-хъ годахъ обыкновенно стоя у камина; а съ другой стороны, такъ какъ онъ во всякомъ случаѣ не составлялъ литературной драгоцѣнности или по крайней мѣрѣ не принадлежитъ къ тѣмъ перламъ отечественной литературы, которыми бываетъ пріятно на вѣки украсить свою библіотеку, то весьма вѣроятно, что литографическихъ брошюрокъ этого „katechizm rycerski“ въ настоящую минуту сыщется немного. Но въ 60-тыхъ годахъ, по всей Польско-русской украйнѣ (укажемъ для примѣра на Каменецъ-Подольскъ) этотъ „katechizm rycerski“ не составлялъ библіографической рѣдкости. Въ нѣкоторыхъ кружкахъ его приписывали Людовику Мѣрославскому. Молодежь хвалилась, что не только по общему духу катехизиса, но еще и по самому стилю, по его бойкому, энергическому польскому языку, именно въ Мѣрославскомъ она угадываетъ катехизатора. И такъ, подлинникъ самимъ полякамъ не представлялся неловкимъ переводомъ съ Нѣмецкаго; это отнюдь не былъ

...разыгранный Фрейшицъ
Перстами робкихъ ученицъ.

Притомъ, зачѣмъ забираться къ дикарямъ „Тасманіи или Новаго Южнаго Валлиса“? Въ самой польской печати найдется коечто объ этомъ „katechizm rycerski“. Въ тѣ-же 60-ые годы въ тѣхъ, же мѣстностяхъ, была распространена еще другая брошюра, также на польскомъ языкѣ, но уже не литографированная, а печатная, и—если не измѣняетъ память—изданная въ Парижѣ. Эта другая, печатная польская брошюра составляетъ почти отъ слова до слова отвѣтъ на статьи того „катехизиса рыцерскаго“; она перечисляетъ

пунктъ за пунктомъ все, что̀ „катехизисъ рыцерскій“ предписываетъ для житейскаго обихода и, какъ-бы въ параллель тому, предлагаетъ съ своей стороны для руководства — тоже, но не также.

Какъ „katechizm rycerski“ молодежь приписывала (справедливо или несправедливо) Мѣрославскому, такъ этотъ второй катехизисъ, служившій отвѣтомъ на первый, приписывали въ тѣхъ-же кружкахъ—Юліану Клячкѣ (Juljan Klaczko). Кто-бы ни былъ ея авторомъ, но ужъ эта польская брошюра существуетъ на глазахъ цѣлой Европы, хоть и не пользуется европейскою извѣстностью.

Она озаглавлена: „Katechizm nierycerski“. На мѣстѣ авторской подписи поставлены начальныя буквы: J. K.

„Русскій Архивъ“ 1873 г.

Намеки тонкіе.

. . . . . Ukrainki,
Podolianki, Volynianki i Litvinki!
. . . I rosumny i naivny!
Модн. Польскій романсъ.

„Давно вы у насъ въ Польшѣ?“
— Я полагалъ, что я еще въ Россіи —
„Да. Но мы здѣсь привыкли такъ называть“.

Этотъ разговоръ происходилъ лѣтомъ 1863 г. въ Волынской губерніи... Пусть однако читатель не подумаетъ, что мы начинаемъ романъ. Этотъ разговоръ дѣйствительно происходилъ въ Волынской губерніи, и даже его можно прочитать въ прошломъ № 52 *Дня*, гдѣ г-нъ Кокошкинъ подробно описываетъ свое трехмѣсячное пребываніе на Волыни.

Понятно, на что намекалъ шутливый шляхтичъ. Но во-первыхъ, этотъ восхитительный намекъ, столь художественный въ устахъ пана, разъѣзжающаго цугомъ, *съ-бичемъ*, въ коляскѣ,— какъ онъ вышелъ грубъ у „незначительнаго шляхтича, разъѣзжающаго по уѣзду въ нетачанкѣ!“ А при томъ, въ потокѣ остальныхъ Волынскихъ впечатлѣній самого автора, пропадаетъ этотъ восхитительный намекъ, какъ мимолетная случайность.

Уже въ Кіевѣ, начиная отъ простаго магазинщика, который подаетъ вамъ из-залавка ноты „Piesni i dumki ruskiego narodu“,

или флаконъ духовъ съ надписью „Woda aromatyczna“ и до наилюбезнѣйшаго графа съ вкрадчивыми рѣчами о либерализмѣ и о прочемъ — вы не найдете ни одного поляка, который не выбивался-бъ изо всѣхъ силъ дать вамъ, русскому, почувствовать, что здѣсь вы не у себя дома, что здѣсь вы, русскій, въ гостяхъ (удивительно даже, какъ сюда попали!), что, словомъ, здѣсь ужъ не Россія... Польша, и все тутъ.

Допустимъ, что вы подъѣхали къ Бессарабской границѣ.— Бытъ русскаго народа вы знаете; вы найдете, что съ весьма малыми отличіями, онъ таковъ-же на православныхъ берегахъ Волги и Днѣпра, какъ Оки и Днѣстра. Но вамъ любопытно взглянуть, какъ поживаютъ здѣшніе Подольскіе паны въ своихъ маэтностяхъ.

Вотъ вы встрѣчаете графа**. Васъ, пожалуй, поразитъ, зачѣмъ и среди толкотни машинъ своего знаменитаго сахарнаго завода, гдѣ вы его застали, ясновельможный въ своемъ — только что съ иголочки — Парижскомъ фракѣ? Но графъ еще любезно объяснитъ, что тутъ ихъ на заводѣ и донашивать, эти несносные фраки! Послѣ каждаго вечера не бросать-же бальный фракъ!.. И вамъ еще станетъ смѣшно: какъ это вы не догадались сразу, что тутъ все дѣло въ экономіи?

Но для чего-же непремѣнно графъ**? Онъ пожалуй эксцентрикъ, и по немъ не судите о всѣхъ. Вотъ другой, еще крупнѣе, землевладѣлецъ ****. За его обѣдомъ вы будете кушать отличнаго павлина. Лучшихъ павлиновъ, какъ у **** нѣтъ въ цѣломъ уѣздѣ, и павлиній-же токъ у него заглядѣніе. Великолѣпный павлиній токъ!

„Давно-ли вы изъ Россіи?“... такъ спрашиваетъ панъ.

— Я изъ Москвы, отвѣчаете вы, три недѣли. (Вы изъ Тулы, вы изъ Тамбовской губерніи... но дѣло въ томъ, что вы упираете съ особеннымъ удареніемъ на этомъ: *изъ Тулы, изъ Тамбовской губерніи).*

И что-жъ? Ни за что на свѣтѣ не проронитъ панъ вашего „изъ такой-то губерніи“. Хоть вы что — онъ стоитъ себѣ на своемъ.—„Мнѣ изъ Россіи пишутъ, говоритъ онъ. У васъ въ Россіи, говоритъ онъ. Но у насъ тутъ“...

У васъ въ головѣ начинаетъ путаться. Неужели, думаете вы, академическій календарь обманулъ меня? Тамъ, помнится, Каменецъ-Подольскъ показанъ въ Россіи! Да нѣтъ, впрочемъ, я и прогоны такъ платилъ! Я вѣроятно ослышался: невнятно говоритъ панъ!

— Эта мебель, спрашиваете вы разстановочно, не отъ Гамбса-ли у васъ изъ Петербурга?

„Нѣтъ я изъ Россіи ничего не выписываю!“ разстановочно отвѣчаетъ панъ.

Но,— продолжаете вы, все еще колеблясь,— въ Петербургѣ мебель...

„Да, — не колеблясь, отвѣчаетъ панъ, — говорятъ, что и въ Россіи можно найти сносную. Но мебель (впрочемъ и все!) я всегда беру изъ Вѣны, или прямо изъ Парижа“.

Парижъ, думаете вы, конечно ужъ на что прямѣй! но какъ же разсѣять мглу-то, которую панъ, какъ чародѣй, навелъ на ваши очи?.. Однакожъ — думаете вы — и то сказать: и календарь академіи, и 60 милліоновъ народа такъ-ли ужъ непогрѣшимы въ своихъ сужденіяхъ, какъ Римскій папа?... Впрочемъ нѣтъ, право мнѣ все только слышится, — и вотъ вы перебираете тысячи мѣстныхъ издѣлій или природныхъ богатствъ, которыми славится та или другая губернія... Ни за что! ничѣмъ не уловишь пана.

Панъ лучше согласится кончикомъ своего мизинца, въ великій праздникъ, пожать руку своему управляющему, чѣмъ выговорить это ваше „губернія“, это: часть извѣстнаго цѣлаго, ему-же имя Россія. Перебравъ въ умѣ новыя десятки темъ (и послѣднее повстаніе въ Кіевскомъ округѣ, и извѣстную энергію мѣстныхъ крестьянъ и проч. и проч.), вы наконецъ не находите ни одного разговора невиннѣе разговора... напр. объ сѣнѣ.

— Какъ однакожъ, говорите вы, тутъ въ Подольской губерніи или въ здѣшнемъ, по крайней мѣрѣ, уѣздѣ, вездѣ ощутителенъ недостатокъ въ сѣнѣ! Въ Тамбовской, напр., губерніи пудъ стоитъ...

„Да, отвѣчаетъ панъ, въ Россіи дешево сѣно, но у насъ нѣтъ“.

— Позвольте однакожъ, возражаете вы, все зависитъ отъ того: въ какой именно губерніи? Не скажу, чтобъ оно было дешево, напр. въ Московской. Проше пана! когда панъ говоритъ: въ Россіи дешево сѣно, какую именно губернію разумѣетъ онъ?

„Вообще въ Россіи!“ вѣжливо отвѣчаетъ панъ. „То-есть, я говорю противъ нашего!“ еще вѣжливѣе добавляетъ онъ.

— Нѣтъ! нѣтъ, — ни шагу не отступаете вы (и допустимъ даже, что вопросъ о цѣнахъ на сѣно ваша спеціальность),—этотъ вопросъ для меня такъ важенъ въ статистическомъ отношеніи, что... проше пана указать, въ какой именно губерніи у насъ сѣно

дешево? Въ Московской оно, пожалуй, дороже, чѣмъ въ Минской, Витебской...

„Гм! гм!“ сдѣлаетъ панъ... „У насъ на Литвѣ!“...

И вдругъ какой-то заколдованный поворотъ въ рѣчахъ Подольскаго пана — вы чувствуете — окончательно уже сбиваетъ васъ съ толку. Прежде панъ только и зналъ свое: „у васъ въ Россіи... У насъ“ — безъ означенія гдѣ. Совсѣмъ иное теперь, едва вы коснулись именно Минской, Витебской, Виленской, Ковенской, Гродненской (— о другой плеядѣ не упоминаемъ; въ одной изъ нихъ и происходитъ наша фантастическая бесѣда о сѣнѣ).

— Послѣ сѣна, говорите вы прежнимъ тономъ статистика, послѣ сѣна, весьма важная статья: лѣсъ.

„О, да! Лясъ!“... соглашается панъ.

— Никто, конечно, не назоветъ Подольскую губернію особенно лѣсистой, говорите вы, но въ сравненіи хотя-бы съ Тульской...

„Тутъ у насъ“, скорѣе перебиваетъ панъ, „большихъ лѣсовъ нѣтъ; но вотъ *у насъ* на Литвѣ... О! *у насъ на Литвѣ*!“...

— Да, — соглашаетесь вы, — даже въ Нижегородской губерніи такихъ лѣсовъ, какъ напр. въ Гродненской, Ков...

„Въ Россіи, перебиваетъ Подольскій панъ, конечно, у васъ лѣса также есть; но *у насъ* въ Литвѣ, о! вотъ *у насъ* въ Литвѣ“...

И проч. и проч. безъ обмолвки. Затверженный урокъ!

Шляхтичъ, разъѣзжающій по уѣзду въ нетачанкѣ, о которомъ разсказываетъ г-нъ Кокошкинъ, намекаетъ, по крайней мѣрѣ, что называтся, напрямки. „Давно-ли вы у насъ *въ Польшѣ?*“ озадачиваетъ онъ пріѣзжаго москвича, — въ самомъ центрѣ Волынской губерніи. И это не лишено комизма.

Но не вдесятеро-ли больше комизма въ этихъ *намекахъ тонкихъ* нашихъ пановъ, разъѣзжающихъ обыкновенно съ-бичемъ, по пански? И если, какъ тому шутливому шляхтичу, одинаково и ихъ ясновельможествамъ грезится — не смотря ни на какіе уроки исторіи — все еще католическая держава на православныхъ берегахъ Днѣпра и Днѣстра; если въ своихъ очаровательныхъ между-строкахъ: „у васъ въ Россіи — у насъ тутъ, и у насъ на Литвѣ“ ни на что другое и намекаютъ они, какъ на тотъ-же всеподавляющій образъ Magnae Poloniae, — то о какихъ другихъ намекахъ въ мірѣ можно сказать удачнѣе, съ поэтомъ:

Намеки тонкіе на то,
Чего не вѣдаетъ никто?

Пока поляки у себя дома, состраданіе къ нимъ наша слабость. Пусть разсказываютъ о самыхъ смѣшныхъ вещахъ: какъ они косами возьмутъ Варшавскую цитадель — и намъ больно, а не смѣшно. „Польшѣ польское, Руси русское“ — таковъ былъ искони вѣковъ девизъ русскаго народнаго чувства. Но они постоянно намекаютъ на то, что хотятъ еще хозяйничать *у насъ дома;* намекаютъ даже на то, что это... sine qua non для ихъ государства!..

Намекнемъ-же и мы имъ, что тѣмъ самымъ они упраздняютъ нашъ прекрасный, русскій девизъ. Угодно-ли его замѣнить роковымъ *ихъ собственнымъ:* или все Русь, или все Польша?

Газета „День“, 1864 г.

Изъ Каширскихъ писемъ *).

1) Въ польскую смуту.

Русскимъ дворянамъ-помѣщикамъ едва-ли приходилось когда-нибудь выслушивать столь возмутительную клевету на свое сословіе, какъ та, на основаніи которой, между прочимъ, польская революція избрала именно нынѣшнее время крестьянской реформы— для своихъ черныхъ подвиговъ. Адресъ Петербургскаго дворянства съ этой стороны достаточно вразумилъ нѣкоторыхъ; но пусть еще примутъ къ свѣдѣнію всѣ, кому о томъ вѣдать надлежитъ, что и всѣ-же губерніи, всѣ уѣзды необъятной Россіи одинаково сходятся „въ скорби и *негодованіи*“ по поводу польскихъ смутъ и связанныхъ съ ними обще-европейскихъ политическихъ замысловъ.

Можетъ-ли быть иначе? Вражда къ Польшѣ, какъ извѣстно,

---

*) Ив. Серг. Аксаковъ, начавъ издавать День, особенно дорожилъ мѣстными корреспонденціями о ходѣ „крестьянскаго дѣла“; — крестьянскому дѣлу въ тѣсномъ смыслѣ и посвящены Письма изъ Каширы. Здѣсь приводятся только три изъ нихъ. Одно можетъ служить обращикомъ именно тогдашней казуистики по дѣламъ этого рода; притомъ оно служитъ прямымъ подтвержденіемъ тому, о чемъ есть косвенный намекъ въ „Письмахъ къ Публикѣ“. Два остальныхъ письма имѣютъ болѣе общее значеніе. То, которое помѣщается первымъ, относится къ тому времени, когда въ отвѣтъ на польскія притязанія, пошли со всѣхъ сторонъ адресы къ царю отъ русскаго народа. На второе письмо ссылается между прочимъ М. П. Погодинъ въ своемъ изслѣдованіи о древнихъ городахъ, упоминаемыхъ въ исторіи. *Примѣч. изд.*

не только не нуждается на Руси въ-какомъ нибудь насильственномъ возбужденіи, а напротивъ того пользуется искони вѣковъ роковою популярностью. Нынѣшнія-ли наглыя на древнія Русскія области притязанія поляковъ, да ихъ постыдные происки у западныхъ державъ прибавятъ намъ къ нимъ сочувствія? — Въ нашемъ многомилліонномъ крестьянствѣ всѣ до одного готовы умереть за святой, православный Кіевъ. Въ нашей исторіи находимъ примѣры, что едва грозитъ опасность государственной цѣлости, изъ края въ край раздаются слова: „хотя есть между нами которые недоволы, Бога-для отложимъ то на время“ (такъ писали въ незабвенныхъ грамотахъ 1612 года) и вся нація подымалась, какъ одинъ человѣкъ. — Война, на которую такъ назойливо хотѣлось-бы полякамъ подбить всѣхъ нашихъ друзей и недруговъ, — съ нашей стороны можетъ-ли быть теперь иная, какъ народная во всемъ знаменательнѣйшемъ смыслѣ этого слова, — и девизъ „за вѣру“ уже не прозвучитъ на этотъ разъ Византійской риторикой!

Если русское дворянство когда-нибудь вправѣ сказать о себѣ, что оно выполнило лучшую задачу всякаго дворянства въ мірѣ, т. е. явилось сознательнымъ выраженіемъ воли народныхъ массъ, стало живымъ голосомъ своего народа — то конечно въ настоящемъ случаѣ. И если-бы въ нашей Русской природѣ лежало болѣе наклонностей къ шуму всякихъ манифестацій и демонстрацій, если-бы притомъ—необходимо и это сказать—нашему обществу было болѣе предоставлено свободы высказываться по политическимъ дѣламъ,— по всей Россіи стоялъ-бы теперь такой всенародный гулъ, что, конечно, попризадумался-бы французскій министръ выдавать, передъ нашимъ правительствомъ, гамъ и фальшфейеръ Парижской журналистики за тотъ будто-бы гнетъ общественнаго мнѣнія, который понуждаетъ и его правительство — мутить въ Польшѣ.

Есть и еще одно обстоятельство, которое проглядываютъ польскіе патріоты и враждебныя намъ правительства. — Грустно, а надо сказать: великая крестьянская реформа въ нашемъ отечествѣ возбуждала съ самаго начала въ цивилизованномъ и либеральномъ Западѣ не столько искреннихъ сочувствій, сколько самыхъ злорадостныхъ ожиданій. Друзья наши или (что тоже) наши недруги горько обманулись въ своихъ разсчетахъ; однакожъ они до сихъ поръ никакъ не могутъ простить намъ своего разочарованія: имъ жаль было-бы вовсе разстаться съ своею иллюзіей — и нѣтъ-нѣтъ, опять-таки крестьянская реформа ихъ тѣшитъ злорадостными

надеждами и задоритъ... на всякія посягательства. Но знаютъ-ли они, какой *главный* обнаружился до сихъ поръ результатъ отъ этой реформы? Результатъ капитальный и, не преувиличивъ скажемъ, величественнѣйшій изъ величественныхъ.

Да именно тотъ, что вслѣдствіе царскаго слова непосредственно народу, вся Русь изъ края въ край, весь православный міръ, наше многомилліонное крестьянство во-очію спознало и вдругъ почувствовало, какъ еще никогда, свое великое всенародно-государственное единство *). Вся-же земля, отъ Вислы и до Камчатки, отъ Бѣлаго и до Чернаго моря, животворно сознала свой крѣпкій союзъ съ государемъ *всея Россіи*.

Никогда еще нашъ народъ не былъ проникнутъ столь осязательною идеей своего государственно-народнаго единства, какъ сейчасъ. Это-то сознаніе, которымъ теперь народъ проникнутъ, капитальнѣйшій изо всѣхъ обнаружившихся результатовъ крестьянской реформы, и мы тѣмъ пуще обращаемъ вниманіе на несомнѣнный фактъ, что его страннымъ образомъ какъ-то и у насъ до сихъ поръ проглядываютъ.

Газета „День“ 1863 г.

---

2) Города Тѣшиловъ и Лопасня.

Изо всѣхъ 12-ти уѣздовъ Тульской губерніи (свыше милліона пятидесяти трехъ тысячъ жителей) Каширскій представляетъ — за исключеніемъ Бѣлевскаго — наименьшую цифру населенія; а именно, почти ровно съ Алексинскимъ — 67,600 жителей. Хотя впрочемъ Богородицкій и Ефремовскій уѣзды и насчитываютъ въ себѣ, противъ нашего, безъ малаго вдвое; однакожъ по плотности своего населенія, относительно занимаемаго пространства, Каширскій тѣмъ не менѣе одинъ изъ первыхъ. За вычетомъ городскихъ, вотчинниковъ и крестьянъ казеннаго вѣдомства, собственно крѣпостнаго бывшаго населенія остается 60 тыс. 560 душъ обоего пола. Такъ какъ притомъ вообще замѣчается перевѣсъ женскаго надъ мужскимъ, то мы весьма приблизимся къ точности, опредѣливъ у насъ

---

*) Подъ этимъ стояла выноска редактора: „это замѣчаніе кажется намъ совершенно вѣрнымъ. Всякій, кто слѣдитъ за ходомъ крестьянскаго дѣла, былъ неоднократно поражаемъ тою однородностью, какая обнаружилась въ крестьянствѣ всѣхъ концовъ и краевъ Россіи, не исключая и Юго-Западнаго“. *И. С. Аксаковъ.*

общее число мужскихъ душъ временно-обязаннаго крестьянства круглою цифрой въ 29 тыс. — (селъ-приходовъ на все это населеніе приходится 77; вообще-же деревень и жилыхъ мѣстечекъ 403).

Пріятно знать, что въ настоящую минуту почти все это крестьянское населеніе уже *дѣйствительно* надѣлено землею... Уставныя грамоты введены почти всюду.

Нашъ уѣздъ, какъ и вся Тульская губернія, составлялъ нѣкогда часть области Рязанской. Если вы взглянете на карту древней Рязани, гдѣ довольно густо обозначаютъ населеніе между Окою и Проней, вы увидите, что мѣсто нынѣшняго Каширскаго уѣзда теряется въ княжествѣ, вовсе не отмѣчаемое жилыми мѣстностями: наша историческая географія болѣе не находитъ тутъ многихъ городковъ, имена которыхъ такъ звучны въ отдаленной древности. Ока составляла здѣсь границу Рязано-Московскую и ея правый берегъ слылъ рязанскимъ; Коломна, хотя и на лѣвомъ берегу, была рязанскимъ-же городомъ. Для московскихъ князей Окское побережье всегда было важно, какъ военная, сторожевая линія отъ набѣга степныхъ хищниковъ; московскіе князья и оспаривали постоянно это побережье у князей рязанскихъ: всѣ здѣшніе побережные города входили эпизодически въ составъ то одного, то другаго княжества, когда наконецъ уже въ XV вѣкѣ и вся Рязань слилась окончательно съ Московскимъ государствомъ. Но и по присоединеніи, вся эта мѣстность долгое время оставалась по прежнему тою степной украйной, откуда московское правительство постоянно ожидало варварскихъ вторженій; черезъ нея былъ имъ всегдашній „лазъ на Москву“, и Ока съ тѣмъ вмѣстѣ долго-долго еще не утрачивала своего значенія военно-укрѣпленной линіи. Отъ Серпухова до Коломны все ея побережье было усѣяно сторожевыми городками. Тѣшиловъ, Сенькинъ-Перевозъ и другія названія, нынче вызывающія собою только представленія заливныхъ луговъ и мирныя картины сельской жизни, постоянно поминаются еще въ XV и XVI вѣкахъ, какъ пункты татарскихъ переходовъ. Такъ напримѣръ, въ знаменитое нашествіе крымцевъ при Ѳедорѣ, когда Годуновъ блистательно отразилъ ихъ уже въ виду Кремля, ханъ „перелѣзъ Оку подъ Тѣшиловымъ“. Въ позднѣйшее время Ока мало-помалу сдаетъ съ себя значеніе военно-укрѣпленной линіи мѣстамъ болѣе удаленнымъ на югъ и глубже уходящимъ въ степь; отъ царствованія Алексѣя Михайловича слѣды этой линіи до нынѣшняго времени сохранились въ Тамбовской губерніи и др.

Но до сего-же дня сохранились слѣды и тѣхъ еще укрѣпленій, которыя съ незапамятныхъ временъ воздвигнуты здѣсь на берегахъ Оки. Всякому извѣстно, что Серпуховъ, Коломна и — на серединномъ между ними разстояніи — Кашира до сихъ поръ, по старинному выраженію, стоятъ, Богъ далъ, здорово. Но, если не ошибаемся, никому напротивъ того не извѣстно, что и самые промежуточные пункты, когда-то также извѣстные города, дошли до насъ черезъ цѣлый рядъ столѣтій, если не въ каменныхъ развалинахъ, то по крайней мѣрѣ въ земляныхъ развалахъ и живо сказываютъ о своей многовѣковой старинѣ. Мы не слѣдимъ за всѣми ими, а преимущественно за тѣми двумя, имена которыхъ то-и-дѣло повторяются въ лѣтописи и въ княжескихъ договорныхъ, а между тѣмъ ихъ мѣстонахожденіе до сихъ поръ составляетъ задачу археологовъ: это именно городки Тѣшиловъ и Лопасня *). Оба они, какъ можно догадываться уже по одному тому, что не сохранились между главными, уцѣлѣвшими до сихъ поръ городами, составляли только промежуточные второстепенные пункты. Такъ оно и дѣйствительно оказывается изъ обзора нынѣшнихъ селеній. Противъ самаго устья рѣки Лопасни, впадающей въ Оку, почти на мѣрной серединѣ между Каширой и Серпуховымъ, лежитъ на нынѣшнемъ берегу Тульскомъ, (а тогда Рязанскомъ), селеніе *Городищи*. Нынче его всякій проѣдетъ не замѣтивъ: одиноко стоятъ тутъ, почти рядомъ другъ возлѣ друга, двѣ небольшія церкви и кругомъ никого нѣтъ живущихъ кромѣ причта. Но въ народной памяти это селеніе *Городищи* живетъ еще и доселѣ, какъ большое мѣстечко со многими церквами и кипѣвшее многолюдствомъ. Да даже и сейчасъ въ народѣ вамъ не иначе назовутъ это мѣсто, какъ „четырехъ церквей“, хоть сейчасъ ихъ двѣ. Но что важнѣе устныхъ преданій, даже самаго мѣстоположенія противъ устья Лопасни, кототорая здѣсь пала въ Оку,— Лопасни, давшей, безъ сомнѣнія, свое названіе и, лежавшему насу-

*) Карамзинъ передъ названіемъ Тѣшиловъ ставитъ знакъ вопроса. Старый городъ Лопасню, несомнѣнно лежавшій на правомъ берегу Оки, иные смѣшиваютъ съ подмосковнымъ селомъ того-же имени. Г. Иловайскій въ своей диссертаціи 1858 г. „Исторія Рязанскаго княжества“, помянувъ въ перечнѣ при-Окскихъ городовъ Тѣшиловъ и Лопасню, оговариваетъ, что положеніе ихъ остается для насъ пока *неизвѣстнымъ*“. Назвавъ эти мѣста „загадочными“ и справедливо замѣтивъ, что во всякомъ случаѣ это были скорѣе большія села, чѣмъ города, оговариваетъ опять: „по крайней мѣрѣ отъ нихъ *не осталось никакихъ ясныхъ слѣдовъ*“.

противъ ея, древнему городу,—тутъ ясно сохранились слѣды значительныхъ земляныхъ укрѣпленій, неоспоримо изобличающихъ древнія твердыни. Итакъ, вотъ древняя Лопасня. Промежуточнымъ-же пунктомъ между Серпуховымъ и самимъ этимъ Городищемъ—и опять на мѣрной почти серединѣ — стоитъ село, которое и до сихъ поръ зовется Тѣшилово. Здѣсь, если еще не болѣе, то столько-же ясно сохранились слѣды древнихъ укрѣпленій; а свѣжая молва, которую во многихъ отношеніяхъ еще рано называть и преданіемъ, помнитъ тутъ существованіе монастыря, указываетъ клады, иконы, зарытыя въ землю, разную церковную утварь и пр. Мѣсто игуменовой келіи до сихъ поръ даетъ себя угадывать въ названіи Игумновка, данное молодому сосняку на сосѣдней вершинѣ.—Слѣды земляныхъ укрѣпленій, о которыхъ мы говоримъ, въ главномъ характерѣ вездѣ одинаковы и встрѣчаются во многихъ мѣстахъ Окскаго побережья. Это большею частью гористое, укрѣпленное самою природой, мѣстоположеніе; но съ ясными слѣдами еще и искусственной обработки. Природный утёсъ дугообразно окопанъ глубокимъ рвомъ, иногда двойнымъ и тройнымъ рядомъ правильныхъ рвовъ, при чемъ образуется такое-же число правильныхъ уступовъ и площадокъ; иногда—какъ въ Тѣшиловѣ—примѣтны слѣды воротъ, иногда—какъ здѣсь-же — сохраняются въ народѣ и самыя ихъ проименованія.

Археологи нашли-бы для себя много занимательнаго въ обоихъ названныхъ селеніяхъ и помимо самихъ урочищъ. Хотя, къ сожалѣнію, здѣшніе храмы лишены вовсе старинныхъ бумагъ; но многое въ нихъ до сихъ поръ уцѣлѣло фактическимъ доказательствомъ ихъ древности. Въ *Городищахъ* одна изъ двухъ церквей, такъ-называемая Старая, до сихъ поръ не имѣетъ косящетыхъ оконъ; они волоковыя. Войдите въ нее, и васъ обдасть стариною. Допустимъ, что молва, дающая храму болѣе 500 лѣтъ, преувеличиваетъ; пускай—хотя-бы и по старинному своему образцу—онъ поновлялся и передѣлывался въ XVII, даже въ XVIII в.; но есть въ немъ отдѣльные предметы несомнѣнной, глубочайшей древности: многіе образа, снятыя царскія двери или разрозненныя ихъ половинки, прибитыя къ стѣнѣ въ видѣ простыхъ иконъ и пр. Тоже должно сказать и о храмѣ Тѣшиловскомъ.

Обаяніе историческаго имени таково, что разъ это имя выговорено, нельзя обойти вовсе молчаніемъ всѣхъ навѣваемыхъ имъ воспоминаній. Городокъ Лопасня поминается постоянно какъ спорный

городъ между Рязанскими и Московскими князьями, то и дѣло переходитъ изъ рукъ въ руки. Иванъ Калита, по своему завѣщанію, всю Лопасенскую волость оставляетъ за своимъ родомъ; однакоже въ 1353 году рязанцы неожиданно нападаютъ на Лопасню и опять возвращаютъ себѣ этотъ городокъ; здѣсь тогдашній, московскій, намѣстникъ былъ ими захваченъ въ плѣнъ. Далѣе, Лопасня снова является въ рукахъ московскихъ князей; а война съ Рязанью Димитрія въ 1371 г. опять вызвана домогательствомъ Лопасни со стороны рязанцевъ. Донской, въ походѣ на Мамая, подъ Коломной узнаётъ объ такой называемой *измѣнѣ* Олега, повертываетъ на западъ и переходитъ Оку въ бродъ близъ Лопасни; здѣсь-же онъ оставилъ воеводу Тимоѳея Васильевича дожидаться прихода остальныхъ. Замѣчательно, что возлѣ нынѣшняго селенія *Городищи* и сейчасъ существуетъ бродъ на Окѣ: тутъ въ лѣтніе мѣсяцы переходятъ съ берега на берегъ пѣши, даже для сѣнокосу. — Названіе Тѣшилова поминается въ самой отдаленной древности. Нѣтъ причинъ сомнѣваться, что это тотъ самый Тѣшиловъ, который поминается въ Рязанской области при походахъ Святослава Ольговича 1146—1147 г. (когда первый разъ поминается и Москва; именно черезъ здѣшній Тѣшиловъ и долженъ былъ ѣхать Святославъ Ольговичъ изъ тогдашнихъ своихъ владѣній для свиданія съ Юріемъ въ Москвѣ). И уже совершенно несомнѣнно: это тотъ самый Тѣшиловъ, который въ XV и XVI в. отмѣчается почти каждый разъ при всякомъ набѣгѣ крымцевъ. Иногда тѣмъ дѣло и оканчивается, что до Москвы они не дойдутъ, а только разграбятъ или сожгутъ Тѣшиловъ и др. рязанскія мѣста.

Замѣчательны здѣсь многіе насыпи и курганы, часто попадающіеся по полямъ всего нашего уѣзда; мѣстами они постепенно спахиваются. Положимъ, есть между этими курганами собственно сторожевые; но нельзя отнести ихъ всѣ въ одинъ этотъ разрядъ. Мѣстная, глухая молва, которую вы не разъ услышите то тамъ то сямъ по уѣзду, прямо сказываетъ, что эти курганы „остались отъ Литвы“.

Въ XVII вѣкѣ, во все продолженіе смутнаго времени, города Тула, Кашира, Коломна, Алексинъ, Веневъ и другіе поминаются то-и-дѣло или какъ занятые ворами, или какъ исходные пункты разобщенныхъ царскихъ, и измѣнныхъ, и литовскихъ войскъ: нынѣшній Каширскій уѣздъ былъ мѣстомъ ихъ постоянныхъ переходовъ и стычекъ. Изъ достопамятныхъ дѣлъ этого времени, разыгравшихся на мѣ-

стѣ нынѣшняго Каширскаго уѣзда, нельзя, по крайней мѣрѣ, не упомянуть о самомъ главномъ: это славная Вòсьминская побѣда, которую одержали князь Андрей Васильевичъ Голицынъ и Борисъ Михайловичъ Лыковъ 1607 года 5 іюня. Въ ихъ донесеніи царю сказано просто: „*въ 12 верстахъ отъ Каширы, на рѣчкѣ Восьмѣ*“. Восьма эта впадаетъ въ Безпуту. Встрѣтивъ воровъ подъ предводительствомъ князя Телятевскаго, царскіе воеводы разбили ихъ въ прахъ — „на-голову побили, и ихъ воровскихъ воеводъ, нарядъ, и набаты, и знамена, и коши всѣ поимали, и живыхъ языковъ больше пяти тысячъ взяли; а имали ихъ и побивали на тридцати верстахъ“. Побѣду эту тогда отпраздновали по всей Россіи благодарственными молебнами съ колокольнымъ звономъ и, оповѣщая объ ней всѣ города, патріархъ Ермогенъ въ своихъ окружныхъ грамотахъ называетъ эту побѣду „великою“. Слава ея еще увеличена тѣмъ, что въ началѣ боя мятежники было совсѣмъ смяли царское войско; но тогда воеводы кинулись сами въ первые ряды и, сказавъ, что лучше умрутъ на мѣстѣ, побѣдили. Нельзя при описаніи этой битвы опустить безъ вниманія и слѣдующей отмѣтки: воры, бывъ разбиты, „сѣли въ буераки и городокъ себѣ сдѣлали“; надо ихъ было выбивать силой изъ этой импровизованной крѣпкой засады. — Дѣло въ томъ, что эти буераки, или по мѣстному названію *вершины*, составляютъ характеристическую особенность всего Каширскаго уѣзда. Представляя, то какъ-бы естественные и гладкіе скаты полей, то каменистые обрывы напольныхъ и лѣсныхъ рѣчекъ или разсѣлины и трещины осѣдающаго грунта, то луговые долочки и какъ-бы вымоины осохшаго дна морскаго — эти вершины рѣшительно въ каждомъ изъ здѣшнихъ имѣній (при всей ихъ раздробленности) не одинъ разъ остановятъ землемѣра на пути его измѣреній съ астролябіей и цѣпью.

Газета „День“ 1862 г.

---

3) Отвѣтъ г-ну П. Н. Воронцову-Вельяминову;

Мы прочитали „отвѣтъ“ г. Воронцова-Вельяминова на одно изъ нашихъ Каширскихъ писемъ. Насъ очень поразилъ тонъ статьи г. посредника 6 участка и свое удивленіе мы уже выразили въ напечатанной замѣткѣ; но теперь и сами даемъ отвѣтъ.

Авторъ „отвѣта“, (онъ-же, какъ самъ объясняетъ, авторъ и „билля“ о нормѣ въ 30 р. за сносъ крестьянскихъ усадьбъ) напалъ изъ цѣлаго ряда Каширскихъ писемъ на шестое. Вотъ въ чемъ существенно состоитъ оно; *первое:* каширскій мировой съѣздъ въ засѣданіи 25 апрѣля установилъ разъ навсегда общую норму въ 30 руб. для вознагражденія крестьянъ при обязательномъ переносѣ ихъ усадьбъ; *второе:* имѣлъ-ли съѣздъ юридическое основаніе, взамѣнъ особо-опредѣляемаго на каждый отдѣльный случай вознагражденія, установить строго-неподвижную норму? *третье:* особливо-же столь низкую, какъ 30 рублей? *четвертое:* не имѣлъ.

И мы рѣшительно остаемся при своемъ мнѣніи. Хотя г. Воронцовъ-Вельяминовъ приводитъ цѣлыхъ „четыре довода“ въ доказательство полной легальности своего „билля“ и нашей дерзости (sic) не почитать его таковымъ,—однакожъ не эти четыре подобранныхъ довода могли прибавить намъ скромности. Повторяемъ: нѣтъ юридическаго основанія назначать мировому съѣзду для этихъ случаевъ общую норму, а въ тридцать-же рублей норма положительно низка. Это доказывается уже тѣмъ однимъ, что самъ предложившій ее—и предложившій съ такою легкостью въ тѣсномъ засѣданіи съѣзда—сейчасъ однако почувствовалъ себя совсѣмъ иначе, когда эта цифра *30 рублей* пошла гулять по свѣту въ листахъ газеты. Другой фактъ: хотя съѣздъ и назначилъ, было, норму въ 30 руб., но въ цѣломъ уѣздѣ, къ великой его чести, укажите хотя одну уставную грамоту, по которой такое вознагражденіе было-бы дѣйствительно ограничено 30-ю рублями; не вездѣ-ли вдвое и больше противъ нормы автора „билля и отвѣта?“ Еще-ли-же наше мнѣніе объ ея удивительной низкости невѣрно, когда оно такъ блистательно оправдано совѣстью всѣхъ помѣщиковъ и всѣхъ-же посредниковъ нашего уѣзда!

Но почему-то г. Воронцову-Вельяминову угодно, во что-бы то ни стало, отстаивать полную легальность своего, совершенно празднаго, какъ самъ онъ теперь видитъ, „билля“—и вотъ онъ ухватывается за соломенки. Предложеніе это, видите-ли, говоритъ онъ, основано на 4-хъ пунктахъ; ни болѣе, ни менѣе. Ниже, взявъ защиту его „билля“ сами на себя, мы предложимъ 5-й пунктъ, одинъ, который былъ-бы тяжеловѣснѣе всей статьи г. Воронцова-Вельяминова, но пока послѣдуемъ за его собственными:

1) „На Сводѣ Законовъ о благоустройствѣ крестьянъ“. На это мы ему вотъ что отвѣтимъ. Допустимъ, что Собакевичъ, или

Ноздревъ, или даже и самъ сладчайшій Маниловъ проектируетъ переселить всю деревню за сосѣдній оврагъ. Ему, допустимъ, возражаютъ, что на основаніи Положенія того не приходится. Тогда является жалоба въ маниловскомъ духѣ: „такъ, молъ, для самихъ мужичковъ будетъ лучше“ — и жалоба непремѣнно-же преисполнена ссылками на законъ и на статьи... напримѣръ строительнаго Устава. Деревня, видите-ли, стоитъ на косогорѣ и строена вкривь и вкось, а тѣ или другія статьи гласятъ: улица должна обстраиваться прямо въ линію и т. п.

2) „На томъ, что многія губернскія присутствія опредѣлили это вознагражденіе въ размѣрѣ 25 — 30 р. на каждый крестьянскій дворъ“. Итакъ губернскія присутствія-же, замѣтьте, а не уѣздные съѣзды — въ этомъ значительная доля самаго спора; а притомъ: какихъ именно губерній? Пусть докажетъ г. Воронцовъ-Вельяминовъ, что тѣхъ именно губерній, которыя находятся въ одинаковыхъ условіяхъ съ нашею; пусть онъ еще возьметъ на себя трудъ доказать и то даже, что такое назначеніе составилось не отъ какихъ-нибудь тамошнихъ благопріятныхъ причинъ, а единственно отъ недостатка щедрости. Даже и тогда не останется-ли пожалѣть лишь объ одномъ, какъ г. Воронцовъ-Вельяминовъ не нашелъ себѣ въ цѣлой губерніи лучшихъ примѣровъ для подражанія? Притомъ, такъ какъ автору отвѣта, безъ сомнѣнія, извѣстно-же, что ненадобность приводить къ единообразію оговорена даже закономъ, то не странно-ли эту-то самую оговоренную ненадобность возводить въ законъ?

3) Вотъ еще на чемъ основано предложеніе г. Воронцова-Вельяминова: „на циркулярѣ министерства внутреннихъ дѣлъ, по коему, поясняетъ онъ, выдается на каждый *совершенно* сгорѣвшій дворъ 45 р.“. Но дворъ, во-первыхъ, можетъ-ли и *сгорѣть* не совершенно? а 45 рублей — тѣ-же-ли тридцать? Но и помимо того, что здѣсь въ видахъ уравненія авторъ соблазнился сдѣлать грамматическую ошибку, — развѣ можно серьезно сравнивать чуть не подаяніе погорѣвшему съ вспомоществованіемъ крестьянину переселяемому — предметъ строго-юридически обязательный для помѣщика? При опредѣленіи нормы на эти случаи слѣдовало-бы, кажется, игнорировать этотъ циркуляръ; а авторъ отвѣта утверждаетъ, что только его незнаніе заставило насъ вооружиться противъ его „билля!“

Наконецъ 4) „На томъ, что предложенные имъ 30 р. ассиг-

новывались единственно на постройку строеній сверхъ добавочнаго матеріала и различныхъ льготъ, предоставленныхъ крестьянамъ ст. 85 и 87 Мѣст. Положенія". Наконецъ, конечно, угодно шутить г. Воронцову-Вельяминову: въ разсужденіи законовъ ожидаемы-ли такіе qui pro quo? Льготамъ авторъ придаетъ эпитетъ *различныя*, ссылается на двѣ статьи. Такъ какъ по 87 ст. льгота состоитъ лишь въ томъ, что въ теченіи 3-хъ лѣтъ со времени переселенія, крестьяне безвозмездно пользуются старой усадебной землею, и только, — то *различныхъ* льготъ остается искать лишь въ 85 статьѣ; а въ ней о льготахъ нѣтъ и помину. Въ 85 статьѣ изъясняется обратный случай тому, по поводу котораго вносилъ свое предложеніе г. Воронцовъ-Вельяминовъ 25 апрѣля, т. е. тотъ случай, что, переселяя крестьянъ, помѣщикъ имъ самъ „устроиваетъ новыя усадьбы", и больше ничего, и ни о какихъ льготахъ, повторяемъ, слова нѣтъ! Простительны-ли же такіе qui pro quo, и довольно-ли для читателей разъяснилась та мгла, которую г. Воронцовъ-Вельяминовъ, какъ чародѣй, навелъ на наши очи? Но канцелярскій слогъ затѣмъ и канцелярскій, чтобъ сразу не дать разглядѣть: въ чемъ тутъ мгла? Попробуемъ въ другой разъ. Въ Положеніи, говоримъ, двѣ непосредственно одна за другою слѣдующія статьи, 85 и 86, сопоставлены другъ другу, какъ два разныхъ рѣшенія одной и той-же задачи. Помѣщикъ переселяетъ крестьянъ — вотъ задача. Но 85 статья предлагаетъ ея рѣшеніе однимъ путемъ: самъ помѣщикъ устроиваетъ для крестьянъ усадьбы; едва тронетъ стѣны, конечно, половину матеріала поломаетъ, на половину его „окажется негоднымъ" и тутъ-то и стоитъ вполнѣ внушительное упоминаніе: добавить матеріалъ! А слѣдующая, 86 — другимъ путемъ, обратный случай: помѣщикъ только платитъ деньги переселяемымъ, даетъ „денежное вспомоществованіе" и не устроиваетъ усадьбъ. Ясно, такимъ образомъ, что Положеніе подъ „денежнымъ вспомоществованіемъ" не что другое и разумѣетъ, какъ взносъ денегъ, вмѣсто устроенія усадьбъ съ добавкою матеріала, плотничной работой, перевозомъ и проч., и г. Воронцову-Вельяминому приводить 85 статью рѣшительно не приходится. Не приходиться и намъ увлекатся какимъ-то фантастическимъ смысломъ „денежнаго вспомоществованія", а слѣдуетъ понимать его единственно такъ, какъ оно для всѣхъ обязательно по буквѣ и смыслу закона. Но такъ какъ цифра 30 р. дѣйствительно, при первомъ-же шумѣ гласности, оказывается для ея по-

борника слишкомъ мала, и такъ какъ притомъ въ 85 статьѣ г-нъ Воронцовъ-Вельяминовъ мелькомъ прослышиваетъ выраженіе „съ добавкою матеріала“, а въ 87 звучитъ „льгота“, то онъ сейчасъ же три статьи соединяетъ въ одно опредѣленіе; въ ссылкѣ-же на нихъ серединную опускаетъ и остаются двѣ крайнія „нарочито нужныя“. Пускай въ другомъ мѣстѣ г. посредникъ 6 участка, нашего уѣзда, печатно утверждаетъ, что по Положенію предоставлено помѣщику отрѣзать отъ крестьянскаго надѣла 10% заливнаго луга. Такъ какъ по закону предоставлено отрѣзать лугу то 2%, то 50% (смотря по отношенію луговаго надѣла къ общей его пропорціи), то ясно, что г. Воронцова-Вельяминова тутъ сбилъ частный, для поясненія приложенный примѣръ: молъ, лугъ относится къ остальной землѣ, какъ 1:10; тутъ, слѣдовательно, просто одно незнаніе и ничего больше. Но какъ-же назвать, какъ не... иллюзіей, эти „30 р. сверхъ добавочнаго матеріала и различныхъ льготъ предоставленныхъ крестьянамъ ст. 85 и 87“?

Норма для этихъ случаевъ все-таки необходима (принимаемъ защиту „билля“ сами на себя) и притомъ именно весьма низкая норма, для того, чтобы не дать крестьянамъ возможности упорствовать безосновательно; а это можетъ случаться.— Одно такое возраженіе, какъ мы сказали, было-бы тяжеловѣснѣе всѣхъ филиппикъ г-на Воронцова-Вельяминова. Но въ томъ-то и дѣло: тутъ, какъ это особенно оказывается изъ второй статьи автора, можетъ быть, и заключенъ самый нервъ спора. Ясно, что установленіе подобной нормы, если даже допустить необходимость ея, составляетъ дѣло во всякомъ случаѣ центральнаго органа, а не мѣстныхъ; пусть даже уѣзднымъ съѣздамъ принадлежитъ иниціатива, пожалуй самое опредѣленіе нормы, но во всякомъ случаѣ санкція — губернскому по крестьянскимъ дѣламъ присутствію. Мы рѣшительно думаемъ, что въ этомъ нѣтъ для мироваго института никакихъ слезныхъ огорченій. Но, возразитъ намъ г. Воронцовъ-Вельяминовъ, позвольте однакожъ, на основаніи статей Положенія, Присутствіе не входитъ въ дѣла по обязательному переселенію, если 1) не поступило обжалованія, 2) самое рѣшеніе съѣзда было единогласно; а рѣшеніе о нормѣ въ 30 рублей, допустимъ, было единогласно *) слѣдовательно, тутъ со стороны Присутствія даже касса-

*) О предполагаемомъ единогласіи тутъ намѣренно упомянуто глухо и условно; на самомъ-же дѣлѣ не было законнаго единогласія. Въ составъ миро-

ція такого рѣшенія невозможна, и еще слѣдовательно: норма въ 30 р. непремѣнно легальна.

Ужъ, конечно, не слѣдовательно! Дѣло въ томъ, что со стороны уѣзднаго съѣзда такое рѣшеніе некомпетентно само въ себѣ; а кассировать подобныя рѣшенія не только губернское присутствіе вправѣ, а еще это составляетъ и прямую его обязанность, по юридическому значенію того лица, которому Положеніе отводитъ въ присутствіи предсѣдательское кресло. — Губернское присутствіе, конечно, не станетъ кассировать единогласнаго рѣшенія съѣзда объ отдѣльномъ случаѣ перенесенія усадьбъ, какъ при „устроеніи" самимъ помѣщикомъ, такъ одинаково и при „денежномъ вспомоществованіи"; не станетъ оно при послѣднемъ случаѣ кассировать и рѣшенія о размѣрѣ вознагражденія, опредѣленнаго на одинъ разъ. Но губернское присутствіе непремѣнно станетъ кассировать даже и единогласное рѣшеніе съѣзда по опредѣленію о нормѣ, потому что оно тутъ войдетъ въ разсмотрѣніе дѣла не о перенесеніи усадьбъ въ томъ или другомъ селѣ, съѣздомъ единогласно рѣшеннаго, а въ дѣло объ установленіи нормы, при чемъ даже и не требуется отъ съѣзда единогласія: такое со стороны съѣзда рѣшеніе даже и обжалованнымъ быть не мыслится. Крестьянину, который имѣетъ-же право обжаловать рѣшеніе съѣзда, когда тутъ уловить мигъ для обжалованія Присутствію, что его усадьбу оцѣнили въ 30 рублей? При длящемся еще на съѣздѣ опредѣленіи нормы (допустимъ даже, что изъ квартиры съѣзда проведенъ телеграфъ въ зданіе Присутствія) рано обжаловать; вотъ не замеръ еще глухой стукъ ладони по столу, за которымъ засѣдаетъ съѣздъ, въ знакъ состоявшагося рѣшенія — а и самый телеграфъ ужъ лишній: опоздалъ крестьянинъ обжаловать. Эта норма — уже законъ. Есть притомъ статья Положенія, которую при этомъ нельзя проглядѣть: именно 122 статья объ Учр., лишь примѣчаніе къ которой даетъ съѣзду право

ваго съѣзда, какъ извѣстно, входитъ членъ отъ правительства—представитель и защитникъ интересовъ крестьянъ. Въ этотъ разъ, то-есть на мировомъ съѣздѣ 25-го апрѣля, членъ отъ правительства случайно отсутствовалъ; это самое и побудило автора билля „оппозировать на законномъ основаніи"; только это случайное отсутствіе члена отъ правительства и дало возможность хвалиться, будто-бы легально состоявшимся „единогласіемъ". Въ полемикѣ можно было воздержаться и умолчать о такомъ невыгодномъ для нашего опонента обстоятельствѣ; но когда всё это уже отходитъ въ вѣчную память — нѣтъ надобности писать исторію ad usum Delphini. *Позднѣйшее примѣч.*

эти дѣла при единогласіи рѣшить окончательно; статья, по которой, если даже съѣздъ рѣшитъ и единогласно,—предусмотрѣна возможность ему самому почувствовать необходимость обратиться къ центральному органу — и это вполнѣ понятно. Случай, нами теперь разбираемый, давалъ непремѣнно такую возможность самому почувствовать — и въ этомъ, повторяемъ, не заключалось-бы никакихъ стѣсненій для мироваго института.

Мы уважаемъ мировой институтъ, къ которому (какъ объ насъ разноситъ г-нъ П. Н. Воронцовъ-Вельяминовъ въ своемъ „отвѣтѣ") мы будто-бы „подрываемъ всякое довѣріе". Мы слишкомъ уважаемъ и въ съѣздахъ и въ должности посредниковъ именно ихъ мировой институтъ, а потому-то и принимаемъ горячо къ сердцу всякое вольное или невольное, съ простоты или даже вслѣдствіе претензіи на глубокость, его искаженіе. Неужели-же г-ну П. Н. Воронцову-Вельяминову могло простодушно казаться, что, ратуя за свой „билль", онъ напримѣръ прогрессистъ и шелъ впередъ; именно таки отстаивалъ высокость, самостоятельность, наконецъ идею мироваго учрежденія? А мы, осуждая его „билль", — ретроградъ? Не въ самомъ-ли же дѣлѣ, подъ конецъ всего, тутъ — война за идею!

Такъ, рѣшительно такъ! Новый мученикъ собственныхъ убѣжденій, тутъ г. Воронцовъ-Вельяминовъ ведетъ войну за идею — и вотъ разгадка, почему онъ отстаиваетъ свой, злополучный для него билль. У передоваго человѣка бѣгаютъ зрачки на глазахъ, передъ нимъ проносятся призраки — и вотъ съ ними-то воюетъ изнемогающій Титанъ! Видитъ авторъ отвѣта, какъ самъ печатно сослался, что были уже многіе примѣры такихъ нормализацій и всѣ они многіе — увы! были не отъ съѣздовъ, а отъ Присутствій! Въ этомъ-ли же, наконецъ, самый-то и нервъ! На это-ли именно съ доблестнымъ жаромъ указываетъ авторъ „билля и отвѣта", когда намъ выражаетъ свое полное неудовольствіе по поводу того, что мы, вотъ, упомянули-же о объявленіи со стороны губернскаго присутствія ничтожнымъ его нормы въ 30 р., а о доблестномъ на то возраженіи съѣзда не упомянули! Но вѣдь есть-же, отвѣчаемъ, и предѣлъ всему. Не забавно-ли, ведя войну за идею, тѣшить себя однѣми дѣтскими галлюцинаціями? Но въ простой вопросъ о сельскихъ усадьбахъ впутывать еще какія-то малолѣтнія высшія соображенія — это ужъ слишкомъ юмористическая попытка!

Удивительно, какъ все еще у насъ до сихъ поръ высшія со-

ображенія состоятъ въ непремѣнной связи съ самыми низкими нормами за сносъ крестьянскихъ усадебъ.

Газета „День“ 1863 г.

Монументъ въ память освобожденія крестьянъ,

задуманный проф. *Щуруповымъ* *).

Профессоръ Щуруповъ задался художественною задачей. Онъ задумалъ сочинить монументъ въ память великихъ реформъ нынѣшняго царствованія. Пусть это будетъ нѣчто необычайное, что-нибудь истинно-колоссальное — таковъ смѣлый замыселъ художника. „Торжественный доступъ къ царю-благодѣтелю осчастливленнаго Русскаго народа, чрезъ отверстыя врата Александромъ II, въ царскіе чертоги, къ правосудію, народному просвѣщенію и свободному труду“ — таковà идея этого монумента, какъ ее толкуетъ самъ авторъ. Посмотримъ-же, какъ она, эта идея, выразилась въ его монументѣ.

Кому изъ Москвичей не извѣстенъ огромный холмъ (покрытый лѣтомъ зеленой муравою, такъ что его и косятъ), спускающійся отъ самой подошвы Николаевскаго дворца къ набережной Москвы-рѣки и здѣсь внизу замыкающійся кремлевской, зубчатой стѣною? Вотъ этотъ-то самый холмъ и избралъ г. Щуруповъ мѣстомъ для своего монумента; даже правильнѣе будетъ сказать, что самъ онъ, этотъ историческій холмъ, и долженъ теперь преобразиться въ каменный монументъ, задуманный художникомъ.

Предположите, что верхняя часть этого холма срыта; нижняя, напротивъ того, понадсыпана этою снятою лишнею землею,—и вотъ, вмѣсто нынѣшняго косогора, тутъ предполагается необъятная площадь, „могущая вмѣстить до 15,000 народа“. Представьте далѣе эту народную площадь выстланною гладкимъ плитнякомъ; и снизу и сверху, при томъ, тутъ расположены пространныя, широкія лѣстницы. На мѣсто нынѣшняго зеленаго косогора, такимъ образомъ, по проекту г-на Щурупова будетъ растилаться передъ дворцомъ, какъ-бы необъятная каменная терраса, съ широкими ходами-переходами къ низу, къ самой рѣкѣ; къ верху — къ самымъ сѣнямъ

*) Модель этого монумента, отлично сдѣланная, въ одну шестнадцатую долю натуральной величины—была выставлена на показъ Московской публикѣ.

царскаго дворца. Нельзя не согласиться, что сооруженіе подобнаго рода — весьма-бы украсило здѣшнее мѣсто; нельзя не согласиться, пожалуй, и съ тѣмъ даже, что самая идея художника сказалась бы въ этомъ сооруженіи довольно живо и наглядно. Особенно это скажется всякому, если только представить себѣ эту площадь покрытою тьмочисленнымъ народомъ, отъ набережной, по широкимъ переходамъ, выше и выше до подножія дворца... Да, всякій монументъ долженъ выговаривать свою идею именно такимъ живымъ и наглядным образомъ; а не аллегорическими завитушками, не загадками-ребусами, не тѣми разными гіероглифическими знаками, къ которымъ обыкновенно прибѣгаетъ или испорченный вкусъ или бездарность.

Тѣмъ страннѣе для насъ, что — объ руку съ такимъ художественнымъ замысломъ—самъ г. Щуруповъ прибѣгаетъ въ немъ... опять-таки къ разнымъ аллегоріямъ и къ дѣтски простодушнымъ загадкамъ-ребусамъ,—ко всей той „эмблематикѣ“, которая пошла у насъ въ ходъ со временъ Петра на показъ всему міру, что и мы дескать, „къ обществу политическихъ народовъ присовокуплены“. Дѣло вотъ въ чемъ: если-бы среди каменной площади г. Щуруповъ поставилъ напр. Лобное мѣсто, подобное тому, которое мы видимъ у подошвы Василія Блаженнаго, — мы сочли-бы его сочиненіе вполнѣ законченнымъ. Тутъ могли-бы показываться цари народу, совершаться народныя молебствія, возвѣщаться царскіе манифесты, наконецъ просто тутъ могли-бы слышаться вѣщіе голоса. Но г. Щуруповъ тутъ, посреди этой проектированной имъ площади, ставитъ тріумфальныя ворота — и, къ сожалѣнію, въ нихъ-то и полагаетъ всю *суть* своего монумента; даже самое слово *монументъ* онъ пріурочиваетъ исключительно этой именно тріумфальной аркѣ. „Въ верхней части монумента (т. е. этихъ тріумфальныхъ воротъ) поставлена сидячая фигура Россіи... Въ правой рукѣ фигуры жезлъ съ лавровымъ вѣнкомъ и короною, въ вѣнкѣ; раскрытая кисть руки — символъ народной клятвы... Нижній конецъ жезла поражаетъ змія, т. е. враговъ отечества...“ и т. д. и т. д. Словомъ сказать, все, какъ надо; тутъ и жезлъ, и лавръ, и щитъ, и змій, и раскрытая кисть руки, и сидячее положеніе фигуры... все заключаетъ какую-нибудь невинную загадку въ родѣ дѣтскаго ребуса. Тутъ есть, между прочимъ, и благодѣтельный помѣщикъ, одѣляющій крестьянъ высшимъ, низшимъ и среднимъ надѣломъ, и *первый свободный крестьянскій плугъ* (?).

Почему г. Щуруповъ полагаетъ, что его „сидячая фигура“ — сама Россія, да еще и въ минуту обновленія? На лбу у нея этого не написано; а судя по сидячему положенію, можно скорѣе придти къ заключенію, что „фигура“ очень устала. Осмѣливаемся думать, что если-бы г. Щуруповъ выкинулъ изъ своего монумента эту „сидячую фигуру“ и всю какъ есть тріумфальную арку, то-есть самый-то „монументъ“,— тогда его сочиненіе много-бы выиграло. Мы вообще думаемъ, что идея г. Щурупова превратить въ народную площадь нынѣшній косогоръ — сама по себѣ; а его „сидячая фигура“ съ тріумфальной аркой — также сама по себѣ. Первому можно еще сочувствовать; но второму ни подъ какимъ видомъ... зачѣмъ портить Кремль?

Еще одно замѣчаніе. Г-нъ Щуруповъ полагаетъ окаймить нижнюю линію (къ набережной) „фасадомъ галлерей“;—а для этого... уже не только портить, „сломать предварительно, въ этомъ мѣстѣ, кремлевскія стѣны“. Галлереи эти, видите-ли, весьма будутъ важны для интересовъ этнографіи. Г. Щуруповъ предполагаетъ собрать „въ галлереяхъ для всегдашняго храненія крестьянскіе костюмы — (почему-бы не старыя, архивныя дѣла?), земледѣльческія орудія, утварь и пр. необходимыя принадлежности крестьянскаго быта настоящаго времени“. Вотъ что называется: смѣшивать пріятное съ полезнымъ! И „эстетическія“ потребности заѣзжаго петербуржскаго туриста будутъ удовлетворены при обзорѣ монумента г-на Щурупова, и его „реализмъ“ не останется въ накладѣ: въ этихъ самыхъ галлереяхъ онъ всегда найдетъ удовлетвореніе своей любознательности, если не по части зоологіи, то хоть по этнографіи. Шутки въ сторону, неужели г. Щуруповъ серьезно думаетъ, что лучшимъ мѣстомъ для этнографической выставки были-бы его монументальныя галлереи? и неужели, въ интересахъ этнографіи, необходимо ломать, рушить въ дребезги, и обращать въ мусоръ кремлевскія стѣны!

Москва, вѣроятно, не захочетъ видѣть разрушенія ни одной пядени, ни одного вершка отъ многовѣковыхъ стѣнъ кремлевскихъ; пусть даже для ихъ сохраненія пришлось-бы ей вовсе лишиться — монумента г. Щурупова.

Газета „Д е н ь“ 1865 г.

Царевичъ въ Ниццѣ.

(Наканунѣ 12 апрѣля).

„Упадаетъ звѣзда поднебесная, не становится у насъ Царевича!“... лучше какъ этимъ народнымъ стихомъ не выразить-бы сердечнаго смущенія всей Москвы, внезапно омраченной на Свѣтломъ Праздникѣ телеграммами изъ Ниццы.

Въ воскресенье, 11-го апрѣля, шелъ въ Москвѣ народный молебенъ; этотъ день принадлежитъ исторіи. Никогда кремлевскія стѣны не видали еще торжества болѣе умилительнаго по святости выразившихся здѣсь чувствъ и болѣе возвышеннаго при всей простотѣ. У подошвы Ивана Великаго, передъ святыми соборами, въ виду царскихъ дворцовъ и теремовъ, насупротивъ историческаго Краснаго крыльца и Грановитой палаты—Москва молилась объ угасающей жизни того, кого еще такъ недавно провожала, полнаго жизнью, и кого вновь готовилась привѣтствовать, въ этихъ самыхъ стѣнахъ, какъ счастливаго молодаго супруга,—въ сопутствіи *ея*, уже признанной народнымъ чувствомъ и какъ онъ—юной, какъ онъ—прекрасной Цесаревны.

Двигался крестный ходъ изъ Успенскаго собора. Колыхались, какъ-бы воинство небесныхъ силъ, несмѣтныя хоругви. Колѣнопреклонялась вся площадь. Холодный, сѣверный вѣтеръ крутился вихремъ и взметалъ пыль на толпу; было вьюжно и зловѣще-угрюмо въ воздухѣ. Часы Спасской башни били своимъ, привычнымъ для москвичей, звономъ уже не одну четверть на всю площадь; уходило время за-полдень. Въ тотъ полдень, въ тѣ-же самыя мгновенія—мы знаемъ изъ доносившихся телеграммъ—что происходило на далекой чужой сторонѣ, на полу-итальянскомъ югѣ, тамъ, куда за молитвами, обращались и мысли и сердца молящихся. Это были минуты приготовленія къ смерти и предсмертныхъ прощаній. Человѣческое воображеніе было-бы безсильно создать для таинства смерти обстановку еще болѣе раздирающую, сочетать при ней множайшія условія еще болѣе трогательныя. Жизнь, за которую при ея угасаніи, у постели больнаго, изнемогали сердца присутствовавшихъ—за нея молилась и далекая Москва, въ родномъ Кремлѣ. Тамъ и здѣсь было одно общее сердечное бѣдствованіе. Въ вѣковыхъ многосудебныхъ стѣнахъ Кремля, въ явѣ всѣхъ символовъ бодрствующаго надъ Россіей Божьяго Промысла, можно бы-

ло не иначе молиться, какъ заранѣе чтя святость всѣхъ Его опредѣленій. „Совершилась воля Всевышняго“ — такія слова въ ту же ночь раздались изъ Ниццы.

Тѣмъ былъ великъ, и навсегда останется истинно-великимъ, этотъ единодушный порывъ Россіи, что въ немъ сказалась, съ небывалой еще очевидностью, несказанно-великая любовь. И кто видѣлъ ея всенародное выраженіе, кто въ Московскомъ Кремлѣ видѣлъ это 11-ое апрѣля 1865 года, тотъ пережилъ въ своемъ сердцѣ историческій мигъ, на всю жизнь незабываемый.

„*Московскія Вѣдомости*“, апрѣль 1865 г.

4-е апрѣля.

(Передъ всенароднымъ молебствіемъ въ Кремлѣ 10-го апрѣля).

Темныя силы выслали къ намъ свое исчадье. Переодѣтый въ русское платье; съ прокламаціями въ карманѣ; съ пузырькомъ стрихнина для самоотравленья,—до послѣдняго шагу не содрогнулся супостатъ.—Богъ явилъ чудо.

Кто ты? спрашиваетъ огорченный Монархъ. Душа болитъ услыхать русское имя.

„Я русскій“, лжетъ злодѣй. „Я—клевещетъ онъ, обращаясь къ народу—за васъ, что вамъ земли не дали“. И народъ задушилъ-бы лжеца, растерзалъ-бы клеветника въ куски; но живъ Государь. Онъ остановилъ. Лжецъ преданъ суду. А такіе-же тогда-же ходятъ по городу; снуютъ какіе-то молодцы по лавочкамъ. „Это помѣщики, лгутъ они, подослали убить царя за то, что онъ у нихъ землю отнялъ. А царь, клевещутъ они, хочетъ у нихъ ужъ всю землю отнять и крестьянамъ отдать“. Явно—это одни и тѣ-же лжецы: въ слѣпотѣ смутчики сами себя обличаютъ. Мрачныхъ золъ желали они накликать Россіи...

Богъ явилъ чудо! при первомъ извѣстіи о происшедшемъ воскликнула вся Русь и перекрестилась. Во всѣхъ подробностяхъ, которыя теперь до насъ доходятъ, дѣйствительно, усматриваемъ *чудо*. Но вѣруемъ, объявиться оно (только объявится-ли, по маловѣрію?) и до конца всѣмъ людямъ... Поможетъ-ли *Сотворившій чудо* — всенародно молимся о томъ — ясно вывести на свѣтъ міру и... сатанинскій умыселъ, которымъ супостаты грозили царству.

„*Московскія Вѣдомости*“ 1866 г.

Самооборона.

Въ ужасѣ отъ петербуржскихъ злодѣяній, всѣ дивятся на руси: какъ это обывательство Сѣверной Пальміры не приступитъ къ самооборонѣ отъ злоумышленниковъ и бунтарей? Долженъ наконецъ самъ городъ, въ помощь и въ дополненіе существующихъ отъ полиціи дѣленій, разбиться на мелкіе мірскіе участки—по полу-сотнѣ, по четверти-сотни, а то и по десятку домовъ. Пускай станутъ во главѣ каждаго мірскаго участка добрые и богобоязненные, какъ писалось встарину, всѣмъ вѣдомые люди; если кому нельзя и кого общество уволитъ отъ мірскаго дѣла, тотъ по крайней мѣрѣ денежно будетъ участвовать въ немъ; можно приглашать въ помощь изъ сосѣдняго участка, вообще изъ своихъ знакомыхъ. Въ такомъ мірскомъ участкѣ, какъ въ міру, не укроется никто. Только круговая порука да мірской приговоръ, собственно говоря, и составляетъ настоящее засвидѣтельствованіе личности; а прописка паспорта въ канцеляріи—одно стѣсненье народу: у вора всегда фальшивый видъ. Обывательскій совѣтъ, разумѣется, каждаго изъ своихъ знаетъ въ лицо; будетъ знать и всякаго новопришлаго, черезъ третьихъ лицъ, черезъ свидѣтельство общихъ знакомыхъ. Даже сибирякъ съ москвичемъ не такъ удалены другъ отъ друга, какъ это кажется съ виду, черезъ посредство именно третьихъ лицъ, общихъ знакомыхъ. Откуда-бы кто ни пришелъ—лишь-бы самъ не боялся огласки о себѣ—всякій на всякомъ-же мѣстѣ найдетъ свидѣтельствующихъ о немъ—черезъ третьихъ, четвертыхъ и такъ далѣе лицъ, если не обще-знакомыхъ прямо между собою, то опять-таки черезъ посредство и у нихъ, въ свою очередь, третьихъ, четвертыхъ и такъ далѣе лицъ—лишь-бы дѣйствительно знакомыхъ. Тогда все боящееся свѣта, все нуждающееся въ утайкѣ, все неимущее должнаго свидѣтельства о себѣ—по неволи удалится, ибо иначе обличится. Чужаго человѣка угадываютъ какъ птицу по полету и глядя именно потому: на кого онъ ссылается? кто за него въ отвѣтѣ? или, по крайней мѣрѣ, кто свидѣтельствуетъ о немъ? Такъ, при мірскомъ управленіи и круговой порукѣ, искони было на Руси; такъ ведется и сейчасъ не только въ деревняхъ да селахъ—а во всѣхъ старинныхъ городахъ съ исконнымъ русскимъ населеніемъ. Въ чемъ-же и самоуправленіе, какъ не въ самоохранѣ прежде всего? въ чемъ еще, какъ не въ томъ, чтобы,

глядя по дѣламъ, сообразоваться и въ собственныхъ дѣйствіяхъ своихъ? Новѣйшее либеральное „самоуправленіе“, дарованное въ наши либеральные дни всѣмъ городскимъ населеніямъ вообще, а столичнымъ въ особенности... неужели въ одномъ томъ: да многоглаголятъ въ Думахъ своихъ?

Газета „Русь“ 1881 г.

Храмъ на крови.

На неповинно-пролитой крови Царя-Мученика воздвигнется храмъ: желательно, чтобъ проклятое пятно — мѣсто паденія самого изверга, бросившаго бомбу—осталось за стѣнами храма. Его наружная стѣна можетъ идти такъ, чтобы съ внутренней стороны, какъ разъ у закладки, и пришлось мѣсто, отмѣченное черною плитою, огороженное рѣшеткой — мѣсто царской крови. Негасимая лампада передъ образомъ Спасителя въ терновомъ вѣнцѣ всего болѣе приличествуетъ на этомъ именно мѣстѣ этого храма Голгоѳы.

Если этого не допускаетъ мѣстоположеніе улицы, пускай напримѣръ входныя ступени, попираемыя ногами, займутъ злодѣйское мѣсто или еще иначе, — лишь-бы не смѣшалось съ нимъ „мѣсто свято“. Такое замышленіе строитель можетъ выполнить разными способами — и даже не въ ущербъ, а пожалуй въ возвеличеніе красоты зданія. Пускай строители примутъ въ уваженіе это, если простодушное то и душевное, желаніе многихъ и премногихъ „простыхъ русскихъ людей“.

Газета „Русь“ 1881 г.

Подобно бюллетенямъ.

Подобно бюллетенямъ съ театра войны, появляющимся въ удовлетвореніе публики, жаждущей извѣстій о важныхъ дѣйствіяхъ, — въ газетахъ то-и-дѣло сообщаются извѣстія о безотлагательной скорости суда надъ схваченными преступниками или торжественности его будущей обстановки. Какъ-будто малѣйшее сомнѣніе, въ томъ или другомъ, повергаетъ общество въ отчаяніе. Никто и не изъявляетъ нетерпѣнія, никто и не жалуется на заминку. Зачѣмъ же въ успокоеніе общества, то-и-дѣло повторять новыя и все но-

вья, никѣмъ непрошеныя, увѣренія: отсрочка-де самая краткая, судъ самый торжественный, и *вся недолга*.

Общество въ отчаяніи совсѣмъ отъ другаго. Его, напротивъ того, смущаетъ: возможно-ли при спѣшности, хотя и торжественнаго суда, полное раскрытіе адскихъ умысловъ? Близость резолюціи отнимаетъ послѣднюю надежду, что разслѣдованіе долгой крамолы хоть наконецъ будетъ произведено съ должною полнотою и во всей многосторонности. Нѣтъ! если *вся недолга* кому на-руку, то кому-либо другому, а никакъ не публикѣ. Пока злоумышленники живы въ рукахъ правосудія и еще длится разслѣдованіе ихъ умысловъ, возможно надѣяться на поимку сообщниковъ; по крайней мѣрѣ длительностью разслѣдованія они парализованы.

Убійственныя посягательства послѣднихъ лѣтъ непростительно и безсовѣстно равнять какимъ бы то ни было прежнимъ заговорамъ, когда-либо въ русской исторіи существовавшимъ: бунтъ-ли это „дикихъ“ стрѣльцовъ, „цивилизованныхъ“ ли декабристовъ! Но были-же обнаружены ихъ, далеко не столь коварные и безчеловѣчные, замыслы до-тла—хоть не въ годъ и не въ мѣсяцъ. Начало славныхъ дней и Петра и Николая... увы! къ горю русскаго народнаго чувства, „мрачили-жъ мятежи и казни“. Но и тотъ, который „всеобъемлющей душой на тронѣ вѣчный былъ работникъ“, и „другой, во всемъ пращуру подобный“, вывели крамолу наружу на весь міръ. И стало возможно: „въ надеждѣ славы и добра глядѣть впередъ безъ боязни“.

Газета „Русь“ 1881 г.

Нѣчто о смутѣ.

„По поводу извѣстій о крестьянскомъ настроеніи“, „о тревожныхъ слухахъ въ крестьянствѣ“... подъ такими заглавіями встрѣтили мы цѣлый рядъ статей,—и вотъ чѣмъ наполнены въ послѣднее время разныя газеты. Онѣ приводятъ ужасающіе примѣры и легковѣрія крестьянъ, и ихъ нелѣпыхъ ожиданій, на такомъ легковѣріи основанныхъ. Но можно удивляться не тому, что въ темной массѣ ходятъ темные слухи, а совершенно другому. Во-первыхъ, истинно удивительно, какъ въ настоящее время, при теперешней полной крестьянской безправицѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и вообще при нашей

земской безправицѣ (ибо крестьянское и вообще земское самоуправленіе уничтожено было еще давно, выпускомъ разныхъ мертворожденныхъ учрежденій, отъ которыхъ селу никакой пользы не было и нѣтъ),—какъ еще, говоримъ, держится хоть какой-либо порядокъ и распорядокъ въ нашихъ селахъ и весяхъ. А во-вторыхъ, удивительно и то, какъ разные публицисты не додумаются до сихъ поръ о простыхъ причинахъ происходящаго недуга вообще, а въ частности „легковѣрія крестьянъ“, и проч.

Для уврачеванія „легковѣрія“ и проч. одни теперь предлагаютъ школы, другіе „вѣнчать зданіе“, третьи еще не вѣсть что. Пускай эти господа заглянутъ въ „Положеніе 19-го февраля 1861 года“. Они найдутъ тамъ, что въ былое время, при истинномъ крестьянскомъ самоуправленіи, когда оно опиралось на сельскій мировой участокъ и черезъ него, этотъ всесословный мировой участокъ, переходило въ самоуправленіе земское вообще,—тогда было не такъ, какъ теперь. Одною изъ существенныхъ функцій мѣстной администраціи было именно: „наблюденіе за нераспространеніемъ между крестьянами подложныхъ указовъ и вредныхъ для общественнаго спокойствія слуховъ (ст. 83 п. 1). Тогда не было никакихъ „лживыхъ слуховъ“; а казалось-бы, когда-же какъ не тогда и волновать-бы имъ все крестьянство изъ края въ край. Весьма понятно, что „крестьянское самоуправленіе“ при существованіи мироваго участка не спиралось и не задыхалось въ волостномъ правленіи, какъ въ низшей инстанціи становыхъ квартиръ. Тогда ему былъ выходъ черезъ сельскій мировой участокъ въ уѣздный мировой съѣздъ и черезъ него въ губернское присутствіе, а уже отсюда до самыхъ высотъ власти. Тогда свѣтъ сельскаго мироваго участка и не давалъ утвердиться никакому темному слуху, и весьма скоро разрѣшалъ его, если-бы и появился „темный слухъ“. Тогда, при свѣтѣ сельскаго мироваго участка, даже и въ послѣднихъ звеньяхъ мѣстной власти, между сельскихъ старостъ, статья Положенія 19-го февраля 1861 года о наблюденіи за нераспространеніемъ въ народѣ „лживыхъ слуховъ“—не оставалась мертвою буквой. Безъ того, все въ мертвую букву и обратилось теперь.

Газета „Русь“ 1882 г.

Отчего пала Римская имперія?

Самыя краткія изрѣченія великихъ людей служатъ нерѣдко къ ихъ полной характеристикѣ.

Съ неподражаемымъ искусствомъ умѣлъ ими пользоваться покойный Герценъ, и подслушивая ихъ въ устахъ то глубокомысленнаго фрунтовика, то прозорливаго администратора, возвышалъ до степени всероссійскихъ куріозовъ. Наши нынѣшніе дѣятели, наши нынѣшніе великіе люди — о, какъ много потеряли они безъ него для талантливой оцѣнки ихъ сегоднешнихъ „умоначертаній".

Одинъ изъ новѣйшихъ правителей, прибывъ недавно къ своему посту, далъ сразу почувствовать цѣлой губерніи, что онъ все нашелъ запутаннымъ и распущеннымъ, и что онъ-то вотъ наконецъ придастъ всему надлежащій строй. Приступивъ къ обзору собственной канцеляріи, онъ съ ужасомъ увидалъ вдругъ въ массѣ прочихъ бумагъ... рапортъ къ своей особѣ волостнаго правленія. Рапортъ конечно не могъ быть переданъ изъ волости непосредственно, а развѣ-развѣ пройдя всѣ подобающія инстанціи. Губернаторъ вручилъ эту злосчастную бумагу правителю дѣлъ, и внушительно тыкая въ нее пальцемъ, прибавилъ:

„Вотъ отчего пала Римская имперія!"

И подумать только, что у насъ на Руси такихъ новыхъ Гиббоновъ... не перечтёшь!...

„*Современныя Извѣстія*" 1873 г.

Средство догнать Европу.

Можно пожалуй оспаривать: точно-ли еще Европа обогнала насъ въ торговомъ, научномъ и во всѣхъ другихъ отношеніяхъ; но что своимъ новымъ стилемъ она обогнала насъ на цѣлые 12 дней въ году — это неоспоримо.

Петръ Великій — былъ мастеръ догонять Европу. Онъ перевелъ въ свое время новый годъ со стариннаго счета на первое января форменнымъ указомъ, при громѣ пушекъ и барабановъ, Но передъ переводомъ Юліанскаго счисленія на Григоріанское — и онъ отступилъ. Куда дѣвать недочетъ цѣлыхъ 12-ти дней въ году для того, чтобъ получить возможность съ нашего 19 декабря прямо перескочить на 1-е января новаго стиля? Какимъ образомъ вдругъ

нашъ старый стиль, имѣющій такую важность и въ гражданскомъ и въ церковномъ отношеніи, перевести на новый, не производя никакихъ замѣшательствъ?

Весьма просто. Для этого только стоитъ форменнымъ указомъ (далеко не то, что сдѣлалъ Петръ Великій) постановить слѣдующее: впредь, до уравненія стараго стиля съ новымъ, всѣ високосные года учитывать за простые, т. е. въ каждомъ високосѣ считать въ февралѣ мѣсяцѣ, какъ обыкновенно, 28 дней; а сверхштатное 29-е число, пока исполнится мѣра, откидывать. Такимъ образомъ, каждый високосный годъ мы будемъ нагонять Европу на цѣлыя сутки; а по истеченіи какихъ-нибудь 12-ти високосовъ съ небольшимъ, и вовсе поравняемся съ ней, какъ ни въ чемъ не бывало.

Дѣло совершится исподволь, безъ всякаго замѣшательства. А люди питающіе по предразсудку затаенный страхъ къ високоснымъ годамъ, будутъ еще имѣть удовольствіе избавиться отъ него на цѣлые 12 високосовъ.—Если такое открытіе, скажемъ въ заключеніе, не можетъ идти въ сравненіе напр. съ открытіемъ Америки Колумбомъ, то однакожъ другое извѣстное открытіе, приписываемое тому-же Генуэзцу, имѣетъ уже съ нимъ много сходнаго.

Газета „*Москва*“ 1867 г.

У гроба князя В. А. Черкаскаго.

...Есть картина извѣстнаго художника: лежатъ два трупа, отъ ногъ до половины въ длину прикрытые погребальнымъ покровомъ; голова у каждаго изъ покойниковъ хранитъ на шеѣ кровавую отмѣтку, полученную на плахѣ. Это два борца за великую свободу своего народа и за независимость своего государства. Они пали въ борьбѣ и казнены врагомъ; но самая ихъ смерть запечатлѣла торжество нравственнаго начала надъ зломъ. Трупы и смерть на картинѣ, но отъ этой картины вѣетъ невыразимо-глубокимъ примиреніемъ: наглядно изображается въ ней чувство совершённаго подвига, и это чувство „исполненнаго гражданскаго долга“ краснорѣчивѣе всякихъ словъ даетъ себя слышать въ величавомъ безмолвіи покойниковъ.

Этотъ гробъ, прибывшій въ Москву изъ далека (изъ самаго Царьграда), который несли на себѣ черноморскія волны—безмолвіемъ своимъ также краснорѣчиво говоритъ о „чувствѣ исполнен-

наго гражданскаго долга". Русская земля выслала въ Болгарію одного изъ своихъ талантливѣйшихъ дѣятелей; Москвичи провожали его благословеніями на новую дѣятельность, которую предъуказывало памятное, въ Кремлѣ сказанное, Царское слово.

Какъ мучительны были для него и для цѣлой Россіи дни, недѣли и мѣсяцы нашего вынужденнаго бездѣйствія во время нерѣшительнаго мира, увѣнчавшагося константинопольскою конференціей, и какъ потомъ еще мучительнѣе было время, протекшее въ нерѣшительности самой войны.

Ждавшіе его возвращенія хорошо знаютъ, чего теперь они лишились. Какъ-бы онъ сумѣлъ представить намъ, возвратясь въ родную Москву, всю эпопею этой мученической войны; какими неимовѣрными кознями (со стороны не столько даже враговъ, сколько самихъ друзей нашихъ) было обставлено уже самое начало этой войны; съ какими невѣроятнѣйшими затрудненіями, невообразимѣйшими препятствіями приходилось бороться на каждомъ шагу... Онъ разсказалъ-бы намъ весь истинно-трагическій смыслъ нашего Плевнинскаго сидѣнія, и намъ еще явственнѣе представилось-бы какъ великъ Русскій народъ; какъ въ отчаяннѣйшія минуты всеобщаго къ себѣ недовѣрія приходилось дивиться величію того народнаго духа, который всегда въ труднѣйшія эпохи нашей исторіи проявлялъ себя въ простыхъ людяхъ. Правъ онъ былъ, когда въ тѣ минуты всеобщаго невѣрія такъ горячо вѣрилъ въ Русскій народъ и гласно высказывалъ, что вся будущность нашей исторіи не въ насъ, вверху, а въ этомъ народѣ. Какъ-бы онъ разсказалъ намъ и о своей радости, о своей сбывшейся вѣрѣ, когда въ концѣ концовъ былъ сломленъ врагъ... Онъ разсказалъ-бы намъ также, какъ онъ былъ въ огнѣ, хотя отъ него прямо этого и не требовалось, и какъ пули, ядра и картечь пощадили его... Но менѣе пощадила его та борьба, которую ведутъ не съ оружіемъ въ рукахъ и отъ которой надрывается энергія, чахнетъ духъ, теряется наконецъ и здоровье. Онъ разсказалъ-бы намъ сколько, при всѣхъ невзгодахъ, удалось русскому уму посѣять добрыхъ сѣмянъ урывками и на ходу, и какія широкія задачи постепенно надвигались сами собою по переходѣ черезъ Балканы, въ виду Царьграда, на рубежѣ встрѣчи восточно-греческаго и восточно-славянскаго міра—взаимныхъ славянскихъ счетовъ, унаслѣдованныхъ вѣками.

„*Московскія Вѣдомости*" 1878 г.

Ѳедоръ Васильевичъ Чижовъ

(Некрологъ).

Стало меньше еще однимъ общественнымъ дѣятелемъ. Скончался Ѳедоръ Васильевичъ Чижовъ, извѣстный авторитетною дѣятельностью во многихъ финансово-промышленныхъ учрежденіяхъ и предпріятіяхъ; извѣстный еще тѣмъ, что это былъ „мыслящій человѣкъ", которому были особенно доступны интересы искусства и литературы; извѣстный, наконецъ, высокимъ личнымъ характеромъ.

Давно ожидаемая по его хилости и хворости катастрофа все-таки была неожиданною: онъ умеръ на рукахъ друга своего, Г. П. Галагана, почти за разговоромъ о томъ, какъ, оправившись отъ своей болѣзни, пріѣдетъ къ нему въ Малороссію отдохнуть въ деревнѣ. Только за полчаса предъ этимъ онъ пожалъ руку другому своему другу, И. С. Аксакову, прося навѣстить завтра и радуясь, что болѣзнь видимо проходитъ и ему дѣлается лучше. Разрывъ артеріи мгновенно прекратилъ эту, до послѣдняго мига, бодрую жизнь.

Конецъ этого человѣка выразилъ его жизнь.

Дневникъ, который покойный велъ аккуратно съ 14-лѣтняго возраста до 66 лѣтъ, нашли на его столѣ дописаннымъ до своей послѣдней страницы: уже роковое „*14 ноября 1877 года*" было занесено покойнымъ за весь день съ утра до вечера въ этотъ дневникъ, какъ въ половинѣ одиннадцатаго пришла смерть.

Естественно было подумать о его посмертныхъ распоряженіяхъ. Послѣ него осталась образцовая библіотека и, въ разныхъ предпріятіяхъ, состояніе свыше милліона. Самый этотъ дневникъ человѣка, который въ жизни своей сходился со столькими замѣчательными людьми и чья жизнь была исполнена столькихъ своеобразныхъ эпизодовъ, подавалъ ближнимъ поводъ къ раздумью. Оказалось, что библіотека покойнымъ завѣщана любимой имъ Москвѣ, Румянцевскому музею; ему-же и дневникъ, съ просьбой напечатать его и издать лишь по истеченіи сорока лѣтъ со дня его смерти; а состояніе завѣщано имъ родному городу Костромѣ, на устройство, по его мысли, одного высшаго техническаго училища и трехъ дополнительныхъ къ нему заведеній въ трехъ назначенныхъ имъ уѣздахъ его родины.

„*Московскія Вѣдомости*" 1877 г., ноябрь.

Ю. Ѳ. Самаринъ.

Еще убыло у насъ интеллектуальной силы...

Въ Берлинѣ, 19 марта, скончался Юрій Ѳедоровичъ Самаринъ. Какъ замѣчательнѣйшій дѣятель по крестьянскому вопросу въ эпоху преобразованія; какъ авторъ *Писемъ объ Іезуитахъ*; какъ издатель богословскихъ сочиненій Хомякова и *Окраинъ Россіи*, — онъ извѣстенъ цѣлой Россіи и Европѣ, и даже Европѣ еще болѣе чѣмъ Россіи.

Кромѣ того, Юрій Ѳедоровичъ — какъ другой рано угасшій для русскаго общества дѣятель, Константинъ Сергѣевичъ Аксаковъ, котораго покойный былъ другомъ и товарищемъ, — Юрій Ѳедоровичъ Самаринъ принадлежалъ къ тѣмъ немногимъ у насъ людямъ, самая личность которыхъ составляетъ уже великую общественную силу. Это былъ удивительно-трезвенной, безукоризненно-чистой и почти аскетически-трудовой жизни человѣкъ.

Въ исторіи русскаго самосознанія его имя не затеряется даже въ вѣкахъ.

Что-то роковое сказывается еще разъ въ этой новой преждевременной кончинѣ талантливаго русскаго человѣка.

„*Московскія Вѣдомости*“ 1876 г., мартъ.

Т. Н. Грановскій.

(*Два слова ученика о наставникѣ, студента* ***).

Для печальнаго, надгробнаго служенія отворила свой входъ Университетская церковь въ пятницу, октября 7-го; для скорбнаго торжества собрались въ нее и студенты. Молчаливо сошлись они ко гробу своего любимаго наставника, чтобы принести ему послѣднее благодареніе и чтобы никому не уступить своего дорогаго права донести на собственныхъ рукахъ, до моґилы, драгоцѣнную ношу. И, предшествуемый священнымъ клиромъ, обрѣтая, цвѣты по дорогѣ, тронулся роковой гробъ.

Такъ, должно примириться съ мыслію: нѣтъ Т. Н. Грановскаго! знавшіе его ужъ не найдутъ его въ своемъ кругу; а мы,

его слушатели, болѣе не увидимъ нашего благодушнаго наставника, входящаго своею тихою поступью въ аудиторію, съ добрымъ взоромъ, съ выраженіемъ спокойной думы на лицѣ; не услышимъ болѣе его симпатичнаго голоса.

Кто изъ насъ, причастныхъ Московскому Университету, не чувствуетъ теперь, что, потерявъ Грановскаго, мы потеряли что-то родное, что-то особенно-близкое этому Университету? — Въ самомъ дѣлѣ, не было-ли еще съ дѣтства завѣщано намъ имя его, намъ теперешнимъ студентамъ, цѣлымъ рядомъ предшествовавшихъ поколѣній? Съ давняго времени не стало-ли для насъ однозвучнымъ его имя съ самимъ именемъ Университета? Въ какихъ-бы фазахъ университетской жизни мы ни припомнили его, вездѣ видимъ его окруженнаго равною любовью и уваженіемъ. На лекціи-ли? Аудиторія, въ которой слышится его знакомый голосъ, всегда полна и число слушателей не ограничивается однимъ факультетомъ, который явился его слушать по обязанности. На экзаменѣ? какъ довѣрчиво подходитъ каждый къ добродушному наставнику. На диспутѣ? какъ ждали мы, молодые слушатели, когда со всѣхъ сторонъ заслышатся возраженія: онъ что скажетъ, онъ нашъ любимый учитель? — и какъ жадно вслушивались въ рѣчь его!

Не сухую науку передавалъ онъ; его ученіе было проникнуто духомъ живой истины, которая вездѣ одна: что въ наукѣ, что въ жизни. Та-же благородная душа, тотъ-же гуманный характеръ, та-же безоблачность взгляда, тѣ-же прекрасные порывы, которыми отличался покойникъ въ жизни, глубоко чувствовались и въ чтеніяхъ его.

Стараться облегчить тягость нашей общей потери мыслію, что со смертью своею не умеръ онъ для насъ своими заслугами и тѣми памятниками своего таланта, которые онъ оставилъ намъ, не согласно съ дѣйствительностью такой потери. Какъ будто можетъ окупиться чѣмъ-нибудь все то, что онъ готовилъ для насъ въ будущемъ, что до сихъ поръ таилъ въ себѣ, что съ собой унесъ въ гробъ—и чему нѣтъ возобновленія, нѣтъ замѣны?

Онъ избаловалъ насъ, своихъ слушателей, оживленностью и легкостію рѣчи, тактомъ въ выборѣ выраженій, поэтическимъ воссозданіемъ лицъ и эпохъ... до того, что привыкнувъ обыкновенно слышать безукоризненное чтеніе, мы ужъ невольно замѣчали, если иногда случалось ему прочесть что-нибудь безъ расположенія. Но мы знали, что профессоръ не прочитывалъ ни одной лекціи по соста-

вленной тетради, а прямо приступалъ къ ней; и сколь ни обширныхъ приготовленій требовало содержаніе его лекціи, форма ея рождалась въ головѣ его при всходѣ на каѳедру и въ минутный промежутокъ отъ привѣтствія слушателямъ „Мм. Гг.!“ до вступительнаго предложенія,—промежутокъ, къ которому такъ привыкли всѣ его слушатели.

Сознавая важность его таланта, спрашивали: почему онъ не даетъ намъ чего-нибудь полнаго? чего-нибудь такъ обширнаго, какъ обширенъ талантъ его? зачѣмъ онъ не возьмется за какой нибудь трудъ, который-бы могъ онъ завѣщать своимъ почитателямъ и потомству? Но кто имѣетъ право требовать отъ дающаго болѣе того, что онъ самъ даетъ? Будемъ-же благодарны и за то, что онъ далъ намъ. А далъ онъ намъ много. Вліяніемъ своихъ чтеній онъ въ нѣсколькихъ поколѣніяхъ возбудилъ чувство любви къ истинной наукѣ, воспиталъ привязанность къ прекрасному, уваженіе къ великому и состраданіе къ упадающему; онъ вселялъ въ умы чистоту помышленій и открывалъ имъ свѣтлое воззрѣніе на міръ.

Ученики чтили его какъ наставника, любили какъ человѣка. Въ его образѣ для нихъ плѣнительно слилось значеніе избраннаго служителя науки съ значеніемъ человѣка, которому доступно было все человѣческое, который правду своей науки вноситъ не въ отмѣренную рамку часовыхъ уроковъ, но въ самую жизнь свою, такъ что и слышалась она у него во всѣхъ его словахъ и дѣйствіяхъ.

При громадной учености, онъ былъ совершенно чуждъ педантизма; онъ отличался готовностью съ одинакимъ участіемъ выслушивать возраженія отъ равнаго себѣ и низшаго; онъ пріобрѣталъ себѣ уваженіе и славу безо всякаго съ своей стороны домогательства.

Миръ его праху! Пусть-же всякій изъ насъ оцѣнитъ всю важность потери, которая такъ неожиданно насъ поразила,— и пусть имя Грановскаго на вѣки останется въ нашемъ Университетѣ однимъ изъ лучшихъ его преданій, однимъ изъ лучшихъ его залоговъ.

„Московскія Вѣдомости“ 1855 г.

Замѣтка по поводу толковъ одной газеты о „школѣ представительства“.

Въ одной изъ московскихъ газетъ печатаются весьма „тенденціозные“ доклады о преніяхъ губернскаго земскаго собранія по поводу такъ-называемаго крестьянскаго самоуправленія. Читая эту газету, нельзя было не дивиться: изъ-за чего она коверкаетъ все наше крестьянское самоуправленіе, а также и самыя пренія объ улучшеніи его? Теперь газета проговорилась. Недовольная постановкой, какую приняло это дѣло въ собраніи съ самаго начала, газета торжествуетъ теперь, что „оно“ затормозилось при дальнѣйшихъ преніяхъ. „Ко всякимъ преобразованіямъ — говоритъ она — слѣдуетъ прибѣгать съ большою и большою осторожностью и, не прибѣгая въ ломкѣ уже установившагося правоваго порядка, исправлять лишь его темныя стороны. Крестьянская волость есть школа, гдѣ крестьянинъ учится самоуправленію и *представительству;* если эта волость будетъ уничтожена — уничтожится и самая школа“. Жалкому „либерализму“ нашихъ дней нельзя-бы откровеннѣе росписаться въ своей лживости! вотъ и разгадка, почему „тенденціозная“ газетка коверкаетъ все наше крестьянское самоуправленіе и самыя пренія о немъ.

Правовой порядокъ, установившійся въ такъ-называемомъ крестьянскомъ самоуправленіи, увы, слишкомъ извѣстенъ въ наши дни. Это совершенная безтолочь. Искаженный противъ Положенія 19-го февраля 1861 года и парализованный такъ-называемыми „земскими учрежденіями“, которыя пребываютъ въ параличѣ, онъ сведенъ на „нѣтъ“. И общинные землевладѣльцы, то-есть сами крестьяне, и землевладѣльцы личные, то-есть земельные собственники рѣшительно всѣхъ сословій, находящіеся въ уѣздѣ, ищутъ и и не находятъ властей, которыя-бы имъ обезпечивали — уже не

говоримъ управленіе, а просто-на-просто охраненіе. А между тѣмъ собираются тяжкіе поборы и на содержаніе крестьянскихъ учрежденій, и на чиновниковъ земскихъ управъ, на такъ-называемое просвѣщеніе, медицинскую помощь и пути сообщенія. Крестьяне платятъ въ иныхъ мѣстахъ своимъ старшинамъ до тысячи рублей жалованья и повсемѣстно повторяютъ одно: „мы готовы-бы платить и вдвое, лишь-бы была польза для спокойствія и для скораго разбора всякихъ дѣлъ отъ старшины; а такъ какъ *теперь* поставлена эта должность, по насъ она и гроша не стóитъ“. То-же самое говорятъ міряне о своихъ старостахъ и вообще обо всемъ своемъ управленіи, которое „ни гроша не стóитъ“, а имъ стóитъ большихъ денегъ. Что-же касается до земскихъ поборовъ, то всякій, особенно изъ владѣльцевъ большихъ имѣній, знаетъ горькую истину по опыту; приходится платить столько, что, въ десятилѣтней сложности, на эти самыя деньги можно-бы давно завести въ имѣніи особую лѣчебницу и школу и даже улучшить пути сообщенія,—а между тѣмъ всего этого и нѣтъ какъ нѣтъ для заплатившаго.

Какая-же наконецъ прибыль отъ всего этого „правоваго“ порядка? Единственная — для говоруновъ, для „цивилизованныхъ“ невѣждъ, которыхъ кругомъ такъ много въ наши дни; для „дѣльцовъ“ всякаго рода, которыхъ однакожъ всего менѣе можно назвать людьми дѣла. Это—повсемѣстная игра въ парламентики и забава драпироваться въ плащъ политическихъ представителей. То, было, однѣ городскія думы и земскія собранія оказывали самое искреннее желаніе обратиться въ *говорильни* и ужъ возбуждали вопросъ о необходимости воздвигнуть трибуны для ораторовъ, — теперь мало этого! Хотятъ уже обратить и самыя волости въ такія же *говорильни*. Нельзя не поблагодарить „тенденціозную“ газету, что она откровенно высказала свой взглядъ на „волость“ какъ на *школу представительства*. Съ этой точки зрѣнія, дѣйствительно, становятся объяснимы всѣ нелѣпости, которыя она проектируетъ въ видахъ улучшенія крестьянскаго и земскаго самоуправленія — безъ того необъяснимыя!

Бѣдная Русская земля! Болѣя душой по современному „крестьянскому и земскому“ такъ-называемому „самоуправленію“, всякій русскій человѣкъ утѣшался по крайней мѣрѣ сознаніемъ, что никто, благодаря Бога, не принимаетъ еще серьезно ни разныхъ думскихъ, ни разныхъ земскихъ ораторовъ, какъ и старостъ и стар-

шинъ у сельскихъ міровъ—за выразителей *мнѣнія земли*, за ея политическихъ представителей.

А между тѣмъ, въ одномъ этомъ, какъ теперь оказывается, и заключается весь недостатокъ современнаго строя, по мнѣнію „тенденціозныхъ“ газетъ. Охотники играть въ парламентики только и добиваются улучшенія въ этомъ смыслѣ. Все улучшеніе „правоваго порядка“ въ крестьянскихъ и земскихъ учрежденіяхъ, по ихъ мнѣнію, лишь въ томъ и должно теперь заключаться, чтобъ самъ законодатель санкцировалъ наконецъ, если не прямо сказать міроѣдовъ то во всякомъ случаѣ лишнихъ и никому не нужныхъ „оффиціаловъ“—въ званіи *представителей*. Въ остальномъ, по ихъ мнѣнію, даромъ что кругомъ безтолочь—полнѣйшій порядокъ.

Отъ души желаемъ всѣмъ земскимъ собраніямъ вообще, а Московскому въ частности, имѣть въ виду иныхъ цѣнителей ихъ дѣятельности по вопросу о крестьянскомъ самоуправленіи, чѣмъ листки подобныхъ газетъ.

Газета „Русь“ 1882 г.

Для защитниковъ дипломатіи въ „Новомъ Времени“.

(Замѣтка при предостереженіи, данномъ газетѣ „Русь“).

Въ „Новомъ Времени“, съ нѣкоторыхъ поръ, поражаетъ постоянно одна и та-же тактика въ ея полемикѣ съ редакціонными статьями „Руси“.

Какой-то, вѣроятно непрошенный, защитникъ нашей дипломатіи, по поводу нападокъ на нее газеты „Русь“, твердитъ въ „Новомъ Времени“ одно и то-же: „Такъ, молъ, говоритъ публицистъ, не несущій никакой отвѣтственности за совершающіяся событія, а дипломатія за нихъ отвѣчаетъ“. Или еще: „публициста не останавливаетъ неизвѣстность послѣдствій, а дипломатія всѣ послѣдствія предусматриваетъ и предвидитъ“.

Почему-же однако „дипломатія послѣдствія предвидитъ?“ а публицистъ „даже и не предусматриваетъ послѣдствій?“ Что касается въ частности нынѣшнихъ смутъ на Балканскомъ полуостровѣ, то можно сказать совершенно напротивъ: именно публицистика предвидѣла ихъ, предсказывала ихъ дальнѣйшія усложненія вслѣдствіе неправильныхъ дѣйствій дипломатіи, развивала напе-

редъ всѣ дальнѣйше-возможныя формы этихъ осложненій,—такъ и вышло. А дипломатія ровно ничего не предусматривала и не предвидѣла. Нельзя даже сказать и того, чтобъ она на этотъ разъ понесла какую-либо „отвѣтственность за совершившіяся событія". Она благоденствуетъ себѣ по прежнему, какъ-бы намекая на то, что и впредь будетъ предвидѣть и предусматривать по прежнему.

Непрошенный защитникъ дипломатіи, можетъ быть, разумѣетъ подъ *отвѣтственностью за событія* и подъ *извѣстностью или неизвѣстностью послѣдствій* что-нибудь совсѣмъ другое, а не то, что обыкновенно разумѣется подъ этимъ. Можетъ быть, онъ разумѣетъ подъ этимъ тайные договоры державъ между собою: одной дѣлать то и это, другой воспользоваться чужимъ въ свое время, третьей не переступать такого-то предѣла; если-же, молъ, переступитъ предѣлъ, тогда обѣ державы пойдутъ на эту третью, и т. д. и т. д.? Это-ли именно непрошенный защитникъ дипломатіи зоветъ „знаніемъ послѣдствій" и „отвѣтственностью за событія"?

Но ни о чемъ другомъ, какъ именно объ этомъ,—да! объ этомъ самомъ,—толкуетъ вѣдь и вся публицистика, уже не предвидя и не предусматривая, а прямо заднимъ числомъ провѣряя событія, сложившіяся и слагающіяся послѣ того, какъ Германія и Австрія вступили въ entente cordiale между собою во всеуслышаніе всего міра, а потомъ—по всеобщему-же увѣренію—попала въ этотъ союзъ и третья держава, противъ которой, собственно говоря, тотъ двойственный союзъ и былъ затѣянъ. Развѣ не прошлыя событія, памятныя еще съ Берлинскаго конгресса, привели къ настоящимъ, и сами еще грядущія-то событія—уже не зрѣютъ ли въ настоящихъ?

Странная недогадливость непрошеннаго защитника дипломатіи! Ее упрекаютъ именно въ томъ, что тогда какъ великая держава не проиграла ни одной битвы и ея народъ готовъ, какъ всегда такъ и нынѣ, стать поголовно за свою честь и за свои интересы,—она, дипломатія, добровольно даетъ связать по рукамъ и по ногамъ великую державу, и впредь повидимому намѣрена заботиться лишь о томъ, чтобъ покрѣпче связать эти напутанныя путы. Да, ее упрекаютъ именно въ этомъ. А что она отвѣчаетъ... нѣтъ, не она, а ея непрошенный защитникъ что отвѣчаетъ въ ея оправданіе? Помилуйте—говоритъ онъ—дипломатія тутъ не виновата. Попробуй только она „отвѣтить на совершающіяся событія" иначе чѣмъ до сихъ поръ отвѣчаетъ—тогда отвѣтятъ и

ей такими *послѣдствіями*, какихъ публицисты и не чаятъ! Какими-же *послѣдствіями* однако? Полагать надо — сколько-бы они ни составляли дипломатическую тайну, невѣдомую публицистамъ— „послѣдствія“ эти и будутъ тѣ самыя, которыя напередъ были оговорены и чуть-ли даже не испрошены самою дипломатіей-же!.. Эти, что-ли—*послѣдствія* она и *предусматриваетъ и предвидитъ?*

Въ нумерѣ „Новаго Времени“ отъ 25 ноября мы прочитали слѣдующее:

„Русь воздвигла цѣлый обвинительный актъ противъ нашей дипломатіи — обширный (10 преступленій!) и нещадный; взамѣнъ же политики, которой, по ея мнѣнію, держится русская дипломатія, газета предлагаетъ слѣдующее:

„Прежде всего признать, хоть передъ собой, откровенно свои—не то что ошибки, но лживость всего нашего политическаго пути съ Берлинскаго конгресса; не разсчитывать впредь на „единодушіе“ и „дружбу“ державъ, — сознать себя, какъ Россію, славянскою державою, въ сферу вліянія которой входитъ все православное славянство со всѣмъ Балканскимъ полуостровомъ, съ Босфоромъ включительно, поднять высоко русское, оно-же и славянское знамя; изгнать изъ министерства иностранныхъ дѣлъ всѣ традиціи, всѣ привычки, всѣ пріемы по отношенію къ Европѣ молчалинскаго свойства. Въ частности-же: уважить наконецъ мольбу болгарскаго народа, выраженную отъ имени народнаго собранія извѣстною депутаціей, возвратить болгарамъ прежнее благоволеніе; затѣмъ заявить Австріи и Сербіи вполнѣ серіозно, что Россія не потерпитъ ни новой войны между Сербіей и Болгаріей, ни какого-либо вознагражденія Сербіи изъ болгарской территоріи, ни вступленія хотя-бы одного австрійскаго солдата и по какому-бы то ни было поводу — въ предѣлы сербскаго государства... Остальное доскажется само собою ходомъ вещей“...

Дипломаты, отъ которыхъ требуется предвидѣть и предусматривать всѣ послѣдствія каждаго шага, могутъ только позавидовать положенію публициста, котораго неизвѣстность послѣдствій не останавливаетъ въ заявленіи своихъ мнѣній, даже самыхъ рѣшительныхъ“...

Понимаетъ-ли непрошенный защитникъ нашей дипломатіи, какую онъ оказалъ медвѣжью услугу этими строками?!

Какъ?! одно даже сознаніе лживости политическаго пути съ Берлинскаго конгресса и одно даже сознаніе себя славянскою державою—уже навлекаетъ на насъ со стороны тройственно-двойственнаго союза такія *послѣдствія*, которыхъ наша дипломатія трепещетъ!? Какъ?! въ то время, когда Австрія распоряжается Сербіею якобы вассальною провинціей, намъ только „возвратить прежнее благоволеніе болгарамъ и заявить Австріи и Сербіи, что ни

новой войны между Сербіей и Болгаріей, ни вознагражденія Сербіи изъ болгарской территоріи мы не потерпимъ"... это одно ужъ вмѣняется въ какое-то преступленіе и въ такой *рѣшительный* шагъ, что дипломатія опять-таки дрожитъ за его „послѣдствія?" И эти-то самыя „послѣдствія" — она уже и предусматриваетъ и предвидитъ?! Да что-жъ это такое? Непрошенный защитникъ дипломатіи не слишкомъ-ли поднялъ завѣсу съ тѣхъ тайнъ, которыхъ не должны-бы вѣдать публицисты и которыя составляютъ лишь достояніе однихъ дипломатовъ?...

Въ томъ-же нумерѣ газеты, совершенно въ такомъ-же духѣ, защищаетъ нашу дипломатію еще одно длинное, *сообщенное* „Новому Времени", письмо.

Послѣ длинныхъ разглагольствій о худомъ поведеніи короля Милана и князя Болгарскаго; нисколько впрочемъ не убѣдительныхъ разглагольствій, а переливающихъ изъ пустаго въ порожнее, въ явное доказательство лишь собственной благонамѣренности автора, то-есть его полнѣйшаго почтенія къ Берлинскому трактату,— авторъ заканчиваетъ такъ:

„Не доказываетъ-ли все то, чему мы теперь свидѣтелями въ Болгаріи и Сербіи, что для молодыхъ славянскихъ государствъ единственно безопасной, мудрой и желательной политикой можетъ быть лишь такая, которая согласовалась-бы съ духомъ политики Россіи".

Ну, что-жъ? отчего-бы и не согласоваться „съ духомъ политики Россіи?" Только въ чемъ-же она, эта русская политика, и въ чемъ ея духъ? Тому и другому желательно было-бы получить хоть примѣръ. Авторъ исполняетъ это желаніе. Вслѣдъ за вышеприведенными строками, онъ, ничтоже сумняся, пишетъ слѣдующее:

„Примѣромъ для славянскихъ государствъ Балканскаго полуострова можетъ служить князь Николай Черногорскій, который, оставшись вѣрнымъ славянскимъ преданіямъ, своимъ твердымъ, непоколебимо честнымъ образомъ дѣйствій сумѣлъ сохранить со своими сосѣдями правильныя, мирныя и достойныя отношенія. Слѣдуя такому благому примѣру, правительства другихъ славянскихъ государствъ не представили-бы образованному міру печальное зрѣлище настоящей междоусобицы".

Не поздоровится отъ такихъ похвалъ,— не говоримъ князю Николаю, разумѣется онъ тутъ ни причемъ,— а опять-таки нашей самозащищающейся дипломатіи! Быть предоставленнымъ въ полное распоряженіе Австріи или отсиживаться отъ нея — вмѣстѣ съ

орлами — на одинокой скалѣ, которая у подошвы какъ желѣзнымъ кольцомъ обтянута австрійскими-же владѣніями, включительно съ Босніей и Герцеговиной, — вотъ къ чему ведетъ и по собственнымъ словамъ защитника нашей дипломатіи — вотъ что̀ значитъ: „согласоваться съ духомъ русской политики!!“

Позволимъ себѣ выразить въ заключеніе, что защитники нашей дипломатіи въ „Новомъ Времени“, очевидно, непрошенные. Никакой дипломатіи въ мірѣ не поздоровится отъ такихъ медвѣжьихъ услугъ.

Мы отказываемся вѣрить, чтобъ наша дипломатія дрожала за тѣ робкіе и скромные шаги, которые съ нашей стороны были бы развѣ-развѣ черепашьими шагами — по сравненію, напримѣръ, съ pas de géant графа Кевенгюллера. Мы рѣшительно отказываемся вѣрить и въ тѣ *послѣдствія*, которыя составляютъ якобы тайну ясновидѣнія нашихъ дипломатовъ; а за одно со всею европейской публицистикой ясно видимъ status quo — всей-же европейской политики.

Ни для кого не тайна, что объединенная Германія не совсѣмъ еще почитаетъ себя объединенною со стороны своего единоплеменнаго сосѣда, владѣющаго между прочимъ и Чехіей. Ни для кого не тайна, что реальные интересы склоняли ее въ свое время именно къ союзу — не съ Австріей, а съ Россіей. Если Россія своею пассивною и антинаціональною политикой отвратила отъ себя одно время Германію, — никто другой какъ она-же сама и натолкнула ее на союзъ съ Австріей. Въ политикѣ куютъ желѣзо пока оно горячо и пользуются тѣми средствами, которыя подъ рукой — не въ будущемъ, а въ само̀й современности. Нѣтъ мудренаго, что Германія всячески толкаетъ свою нѣмецкую сосѣдку на славянскій Балканскій полуостровъ. Умно дѣлаетъ, что толкаетъ, — всё, что̀ можно сказать, пока Россія по прежнему коснѣетъ въ антинаціональной и пассивной политикѣ своей. Но допустите только перемѣну фаса, попробуй только Россія выступить на свою прямую дорогу; разъ она честно и грозно во всеуслышаніе объявитъ активную и національную политику съ своей стороны, — завтра-же неминуемо произойдетъ вольтъ-фасъ и на ея флангахъ. Не изъ чего будетъ — въ счетахъ съ Россіей — жертвовать костями ни одного Померанскаго мушкатера. Толкать нѣмецкую сосѣдку къ славянамъ — выгодно лишь при пассивной и антинаціональной политикѣ единственной и единой державы славянъ. При оборотѣ

ея политики изъ пассивной въ активную и изъ антинаціональной въ національную,—такъ можно судить по географической, этнографической и политической картѣ современной Европы и всего земнаго шара,—найдется и для Померанскаго мушкатера—лучшая работа, чѣмъ безплодно жертвовать своими костями.

Газета „Русь“ 1885 г.

По поводу овацій г. Тургеневу.

Неумолкаемые газетные толки объ обѣдахъ и прочихъ овацiяхъ г-ну Тургеневу истинно изумительны. Они не позволяютъ сомнѣваться, что хозяева этихъ овацій и распорядители этихъ обѣдовъ не столько чествовали дорогаго гостя, сколько самихъ себя. Имъ хотѣлось не его посмотрѣть, а себя показать.

Они оказали-бы больше уваженія своему сотрапезнику, а главное публикѣ—еслибъ, сидя за однимъ столомъ съ авторомъ „Записокъ Охотника“, не обращали его въ орудіе личныхъ цѣлей и своихъ собственныхъ манифестацій.

Это любимѣйшій писатель нашей нынѣшней, потянувшейся послѣ Пушкина и Гоголя, переходной поры, когда все у насъ по пословицѣ: отъ одного берега отстало, а къ другому не пристало.

Ранѣе Пушкина и Гоголя тянулся, какъ извѣстно, такъ-называемый Карамзинскій періодъ: то было доброе старое время, вполнѣ увѣренное въ себѣ. Русскій XVIII-й вѣкъ завершился тогда, въ первой четверти XIX-го, характерною эпохою Александра „Благословеннаго“. Она считаетъ блистательнѣйшими памятниками своего творчества, съ одной стороны—исторію Рюриковъ и Олеговъ въ костюмѣ римскихъ Цезарей, а съ другой—бюрократизмъ графа Сперанскаго въ духѣ Наполеоновскаго цезаризма. Въ поэзіи она заклеймила себя извѣстнымъ двустишіемъ: „Россія тьмой была покрыта много лѣтъ, Богъ рекъ: да будетъ Петръ—и бысть въ Россіи свѣтъ“. Лучше какъ этимъ двустишіемъ нельзя-бы и выразить (вошедшаго потомъ цѣликомъ въ нашъ казенный катехизисъ) взгляда Бироновъ, Миниховъ и Остермановъ на реформу Петра. И нужно было народиться двумъ великимъ, истинно-народнымъ геніямъ (они-же нарождаются лишь вѣками), чтобъ наконецъ покончить съ такого рода нѣмецко-русскимъ самосознаніемъ. Пушкинъ и Гоголь,

не даромъ взявшіеся у насъ послѣ „сентиментальнаго Карамзинскаго“ періода, замкнули собой эту эпоху — и расчистили дальнѣйшій путь. Благодаря этимъ двумъ гигантамъ, Петровскій переворотъ былъ наконецъ пережитъ русскимъ самосознаніемъ. Послѣ нихъ для всѣхъ стало ясно: къ чему на самомъ дѣлѣ, отъ московской старины путемъ петербуржской новизны, перешла Русь? Коротко сказать: отъ Котошихинскаго боярина къ Евгенію Онѣгину — выигрышъ не весьма великій. А Гоголь договорилъ еще, что областная Россія — губернская и уѣздная — упала или, если это вамъ лучше нравится, возвысилась въ то-же время до Сквозниковъ-Дмухановскихъ, Собакевичей и Ноздревыхъ. Дальше въ этомъ направленіи идти было некуда. Новая задача намѣчалась сама собою. Была желательна ужъ такая новизна, чтобы въ ней... старина наша слышалась.

На рубежѣ двухъ эпохъ — между Пушкинско-Гоголевскимъ періодомъ и тѣмъ новымъ, котораго еще только чаетъ нынѣ-обновляющаяся Россія — въ русскомъ обществѣ громко сказался лозунгъ: *русская народность*. И знаменательно: возвращеніе къ искомому родному идеалу совпало и сомкнулось у насъ съ освобожденіемъ крестьянъ и даже (такъ, по крайней мѣрѣ, говорятъ иные) съ зарею освобожденія будто-бы нашихъ славянскихъ братій. Еще въ шестидесятыхъ годахъ, помнится, г-нъ Гильфердингъ утверждалъ, что слѣдующій великанъ русскаго творчества, имѣющій замѣнить великаго Пушкина и открыть новую эру нашей литературы, будетъ народнымъ писателемъ ужъ не только для однихъ русскихъ, но и для всѣхъ славянъ.

Оставляемъ это на отвѣтственности думающихъ такъ; но какъ-бы тамъ ни было, однакожъ, судя нашу литературу по ея нынѣшнимъ образцамъ, не близко это время, если даже тому и быть. Особенно не фельетонная публицистика нынѣшнихъ дней способна убѣдить, что наступила или по крайней мѣрѣ уже близка новая эра. Вся нынѣшняя литература сошла у насъ на фельетонъ и убѣждаетъ въ противномъ. Она во-очью показываетъ намъ, что мы — жалкое, вѣтренное племя межеумочной переходной эпохи — переживаемъ окончательное разложеніе и конечную гибель ея. (Симптомами *новаго* можно будетъ, пожалуй, назвать романъ, напримѣръ, графа Толстаго „Война и миръ“ или еще много раньше появившуюся передъ тѣмъ „Семейную хронику“ и т. п. сочиненія, — но это ужъ не фельетоны). Мы говоримъ про то вымираніе, которое нынче себя явно обличаетъ

въ нашей „фельетонной“ литературѣ, — все равно: будетъ-ли это научный трактатъ ученѣйшаго профессора, отрицающаго русскую народность даже въ русскихъ народныхъ пѣсняхъ; будетъ-ли это многотомный романъ на французскій ладъ плодовитѣйшаго изъ нашихъ Золà; передовая-ли статья либеральнаго газетнаго антрепренера, или въ тѣсномъ смыслѣ собственно такъ-называемый фельетонъ. Въ нихъ-то духъ разложенія! и міазмы такого разложенія нынѣче въ воздухѣ кругомъ.

Мы совершенно согласны съ „Новымъ Временемъ“ (пусть это каламбуръ, во всѣхъ смыслахъ согласны): нѣтъ болѣе *западниковъ*, нѣтъ болѣе *славянофиловъ:* тому доказательство на лицо. Про славянофиловъ во время оно писали, что они отстаиваютъ варварство и ходятъ въ мужицкихъ сапогахъ; а нынѣче (еще до мира въ послѣднюю войну) объявлено даже въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, что *„наше дѣйствительное варварство ходитъ въ лаковыхъ сапогахъ и бѣлыхъ перчаткахъ“*. Такъ измѣняются людскія мнѣнія! а вотъ есть-же такіе фельетонисты — они спятъ и видятъ славянофиловъ тьмы-темъ. Какъ тѣ августовскія мухи, которыя тѣмъ больнѣе кусаютъ, чѣмъ ближе ихъ смерть, — они все настойчивѣе съ каждымъ днемъ въ своихъ натискахъ именно на славянофильство!

По ихъ мнѣнію — не русскій народъ, а одни только *„славянофилы“* — эти исконные враги и *„гуманности“* и *„прогресса“* и *„либерализма“* — сущіе враги напослѣдокъ и моднаго иностраннаго слова — этого le fin mot de la chose ими обожаемой „западной государственной науки“. Risum teneatis, amici! за него-то и ради его именно, оказывается теперь, славятъ они и воспѣваютъ еще хоромъ самого автора Записокъ Охотника! Онъ имъ привезъ съ собой, видите-ли, прямо изъ-за границы это „модное слово“, и оно у него въ карманѣ. Одинъ онъ, видите-ли, этотъ „неисправимый западникъ и истый постепеновецъ“ — не взирая ни на что: ни даже на то, что тогда былъ юнъ, а теперь сѣдъ какъ лунь — остался вѣренъ традиціямъ сороковыхъ годовъ! Тогда какъ все вкругъ него измѣнилось, одинъ онъ по прежнему остается неизмѣннымъ воплощеніемъ „людей сороковыхъ годовъ“; одинъ онъ соблюлъ въ цѣлости ихъ символъ вѣры... Что-жъ это такое однакожъ?! Какъ бы ни были хороши моды сороковыхъ годовъ; допустимъ даже, что въ свое время они были — на что лучше, — неужели однако пріятно попасть въ компанію нынѣшнихъ франтовъ этихъ модъ?

Допустимъ, что въ энциклопедическомъ лексиконѣ русскаго образованія за то время слово „*западникъ*“ — было самымъ моднымъ словомъ и пользовалось всеобщимъ почетомъ. Но вѣдь и лексиконъ такихъ именно словъ, какъ *прогрессъ*, *гуманность* и *либеральность* еще не былъ опошленъ тогда,—а въ этомъ все дѣло! Бѣда въ томъ, что нынѣче ужъ давнымъ-давно моды сороковыхъ годовъ износились и донашиваютъ ихъ теперь одни гаеры толкучаго рынка литературы... какъ тѣ лакеи, которые донашиваютъ обноски съ барскаго плеча.

Мы живо помнимъ то „*эстетическое нѣчто*“, которому поклонялись и которое — помнится — потомъ сжигали люди сороковыхъ годовъ. Что-жъ они такое, въ самомъ дѣлѣ, проповѣдывали? чему поклонялись? что боготворили? въ чемъ заключался ихъ символъ вѣры? Ахъ, это было прекрасное, немножко и гуманное и либеральное, именно „*эстетическое нѣчто*“, далѣе котораго и не шелъ ихъ символъ вѣры. Ближайшіе наслѣдники Евгенія Онѣгина (этого, главнаго родоначальника всѣхъ „*лишнихъ*“ людей, чужеземцевъ на Руси)—тогда, въ сороковыхъ годахъ, они еще не очень отдалились отъ своего блестящаго прототипа, отъ самого М-г Онѣгина. Но вотъ, поколѣніе за поколѣніемъ, отцы народили дѣтей и, въ свою очередь, дѣти сдѣлались отцами. Г-нъ Тургеневъ, чувствовавшій себя весьма привольно въ сферѣ „лишнихъ людей“ Онѣгинскаго типа, нѣсколько смутился однако, очутившись подъ-ручку съ Базаровымъ. Нашелся-ли онъ въ этомъ, сравнительно-же говоря, новомъ для себя товариществѣ? Какъ художникъ, онъ вѣрно постигъ сущность „новаго вѣющаго духа“ и самъ-же мѣтко его окрестилъ нигилизмомъ. Но, какъ мыслитель, онъ растерялся и едва ли не расшаркнулся... передъ старшими изъ духоносцевъ, по крайней мѣрѣ. Съ художниками это впрочемъ бываетъ: вызовутъ духа и не съумѣютъ съ нимъ сладить. Да! эти позднѣйшіе и наконецъ само-позднѣйшіе нынѣшніе „лишніе люди“, являющіеся чужими на Руси—это плоть отъ плоти и кость отъ кости однихъ и тѣхъ же родоначальниковъ и слѣдить за ихъ генеалогіей поможетъ — въ его повѣстяхъ—самъ г. Тургеневъ.

Одною изъ существенныхъ принадлежностей того самаго „*эстетическаго нѣчто*“, какъ извѣстно, всегда было возведеніе въ цѣлый культъ „*освѣжающей любви женщины*“ (заимствуемъ чужое выраженіе, рано умершаго Писарева). Можно-бы сказать: на этомъ именно мотивѣ и сосредоточивались главнѣйшія апоѳегмы ихъ уче-

нія. Этимъ какъ-бы констатировался другой фактъ, что при вѣрѣ въ *„эстетическое нѣчто“*, пожалуй, на одни эти мотивы въ концѣ концовъ и сойдетъ искомѣйшій идеалъ человѣчества.

Замѣчательно, что герои и героини повѣстей и романовъ г. Тургенева (—говоримъ повѣстей и романовъ, слѣдовательно сюда не входятъ Записки Охотника—), всѣ безъ исключенія, мучатся любовною истомой и играютъ въ любовь—начиная отъ Андрея Колосова до героевъ и героинь „Нови“. Хотя можетъ иногда казаться, что они заняты міровыми вопросами, рѣшаютъ какія-то до неразрѣшимости сложныя гражданскія задачи,—но, на самомъ дѣлѣ, неразрѣшимая проблема у нихъ вѣчно одна и та-же: „освѣжающую любовь женщины“ возвести въ недосягаемо-высокій идеалъ чисто-олимпійскаго небожительства. Такъ какъ, на бѣду, эта дольняя и очень низменная страсть предназначена въ общей экономіи природы лишь для закладки первой соціальной ячейки, именуемой у земнородныхъ семейнымъ бытомъ (а этимъ, какъ извѣстно, не стѣсняются лишь небожители Олимпа), то и разрѣшить мудреную задачу, смертнымъ людямъ, хоть ты что̀, никакъ не удаётся. Не знаемъ: замѣчено-ли это всѣми или никѣмъ еще не замѣчено, но въ высшей степени характерно въ повѣстяхъ и романахъ г. Тургенева то неслучайное обстоятельство, что всѣ его героини, всѣ до одной, вовсе не рождаютъ дѣтей; всѣ онѣ—какъ въ народѣ говорится—неродимки! Если-же съ кѣмъ изъ нихъ такой грѣхъ случится, то непремѣнно умираютъ родами; наконецъ, вскорѣ послѣ родовъ. Даръ многочадія между героями г. Тургенева достаётся въ удѣлъ лишь поруганнымъ и осмѣяннымъ,—и преимущественно выпалъ на долю тому простяку-толстяку, наиболѣе осмѣянному изъ всѣхъ прочихъ помѣщиковъ, степному помѣщику, о которомъ въ шутливой стихотворной поэмѣ прямо и подчеркнуто, что онъ, comme de raison...

И былъ, какъ слѣдуетъ отцемъ
Необозримаго семейства.

Когда г. Тургеневъ, начавъ съ Андрея Колосова, прошелъ разными Рудиными изъ десятилѣтія въ десятилѣтіе до своего Базарова, и, вызвавъ духа, не умѣлъ съ нимъ сладить, и послѣ того принялся за *„Призраки“* и „съ изнеможеніемъ въ кости“ дошелъ до своего *„Довольно“*—(другими словами, когда, начавъ съ *„эстетическаго нѣчто“*, вѣнчающагося извѣстною формулой: въ земной

любви осуществить идеалъ олимпійскихъ небожителей, онъ, въ концѣ концовъ, дошелъ до инаго *нѣчто*, „*это было нѣчто тѣмъ страшнѣйшее, что оно не имѣло опредѣленнаго образа и было что-то тяжелое, мрачное, изжелта-черное, пестрое какъ брюхо ящерицы... гнилымъ, тлетворнымъ холодкомъ несло отъ него...*“)—тогда философскій циклъ г. Тургенева замкнулся самъ въ себѣ; замкнулся—говоримъ—циклъ произведеній писателя, принадлежащаго къ „*людямъ сороковыхъ годовъ!*“ Да! онъ „неисправимый западникъ!“ скажемъ, пожалуй въ заключеніе его собственными словами. Но Богъ милостивъ: несказанное добродушіе самого этого признанія подаетъ добрую надежду: авось-либо онъ на старости лѣтъ исправится.

Никакихъ проблемъ, сказали мы, не рѣшается въ Запискахъ Охотника; но онѣ и останутся навсегда въ въ его твореніяхъ лучшимъ образцомъ. Правда, въ нихъ иногда мелькаетъ (отпечатокъ публицистики того времени) тенденціозность „западника“, ратующаго противъ крѣпостнаго права и не понимающаго въ то-же время, что крѣпостное право у насъ — плодъ „западничества“ самого Петра. Простите художнику; онъ только платилъ дань своему вѣку: тогда все, что почитало себя наилучшимъ въ мыслящей Россіи, вольно иль невольно, при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, накликàло... чтобъ не сказать: сами не знали что̀, скажемъ „отмѣну Петровской крѣпостной реформы“; то-есть сбывшееся на нашихъ глазахъ такъ-называемое улучшеніе быта крестьянъ. Не эти строки (то-есть въ которыхъ мелькаетъ тенденціозность такого рода) доставили, конечно, славу Запискамъ Охотника; строки въ этомъ духѣ всегда выходили сильнѣй и даже талантливѣй, напримѣръ, у Герцена: къ тому-же въ публицистикѣ имъ и настоящее мѣсто. Но та поэтическая прелесть картинъ сельской Руси; тотъ поэтическій огонекъ, которымъ дышатъ у художника очерки нашего, въ лаптяхъ да въ сермягѣ, деревенскаго люда; эта виртуозность и художественная форма Записокъ Охотника—вотъ что̀, безъ сомнѣнія, доставило имъ громкую славу. Въ нихъ, какъ мы сказали, главная слава ихъ автора. Въ нихъ — sauf le respect къ тѣмъ именно строчкамъ, которыя мы только-что оговорили — художникъ далъ объективную картину; отразилъ жизнь какъ въ зеркалѣ, чистомъ отъ всякихъ пятенъ. Въ прочихъ его повѣстяхъ и романахъ гораздо чаще проглядываетъ прямо такъ-называемая субъективность автора; она нѣтъ-нѣтъ и выступитъ мутнымъ пятномъ на зеркальномъ отраженіи возсоздаваемаго, въ которое глядится самъ

авторъ и въ которомъ онъ, съ головы до ногъ, осматриваетъ лишь самого себя. Это, переходя отъ Колосова къ Рудину, отъ Рудина къ Базарову, отъ Базарова къ Нежданову — тянется все одна и та-же нескончаемая вереница, одна и та-же генеалогія „лишнихъ“ людей на Руси. И чувствуется поминутно, что самъ авторъ не выбьется никакъ изъ эпохи, къ которой до мозга костей принадлежитъ самъ; что запуталось и его собственное имя въ родоначаліи, въ верхнихъ вѣтвяхъ того многовѣтвистаго родословнаго древа.

Но чѣмъ смѣлѣе обнажали мы всю мнимую славу тѣхъ, будто-бы, соціально-политическихъ и народо-либеральныхъ заслугъ г. Тургенева, за которые его хоромъ величаютъ нынѣче и застольные ораторы и газетные фельетонисты (заслугъ, которыхъ и не подозрѣвали за г. Тургеневымъ его искреннѣйшіе почитатели и открытіе которыхъ для него самого, вѣроятно, было нечаянностью) — тѣмъ охотнѣе перейдемъ къ оцѣнкѣ и къ защитѣ всего, что воистину для всѣхъ дорого въ его симпатичномъ талантѣ и что было въ немъ, напротивъ того, глубоко оскорблено и даже, прямо сказать, поругано дѣльцами нашего печатнаго слова шестидесятыхъ годовъ.

Преемникъ золотаго вѣка нашей литературы, когда въ ней гремѣли имена Пушкина и Гоголя, да! онъ не посрамилъ взлелѣяннаго ими русскаго искусства; онъ не измѣнилъ ни одному изъ лучшихъ преданій. Онъ возвысилъ, а не уронилъ русское слово; онъ къ неувядаемымъ образцамъ нашего молодаго искусства прибавилъ новые дѣйствительные-же образцы. Онъ могъ-бы, какъ самъ Пушкинъ, по праву отвѣтить разъяренной толпѣ, черни, метущей соръ съ улицъ:

. . . . . полезный трудъ!
Но, позабывъ свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы-ль у васъ метлу берутъ?

Онъ художникъ — и въ томъ его великая сила; не навязывайте ему тѣхъ модныхъ идей, которыя и изнашиваются какъ моды; болѣйте вашими болячками сколько вашей душѣ угодно — ихъ не вѣдаетъ здравая Русь.

Пускай у г. Тургенева поэтическое міросозерцаніе не велико и внутреннее его содержаніе не громадно. Въ широкой и много-

сторонней сферѣ сердечной жизни человѣка, самъ онъ облюбовалъ лишь тотъ мирный укромный уголокъ, въ самой кротости котораго уже есть своя обаятельная заманчивость, какъ въ музыкѣ. Это тотъ, истому души нѣжащій мірокъ, который составляетъ, именно какъ музыка, рай души для утонченнаго сластолюбца, для счастливаго празднаго лѣнивца, вся жизнь котораго — одно безпрерывное поэтическое far-niente и весь трудъ котораго въ пріисканіи себѣ новыхъ артистическихъ наслажденій. Сама природа у г. Тургенева, всѣ его ландшафты и пейзажи — подернуты тою-же нѣгою и мягкой прелестью; словно сама природа улыбается у него тою-же взаимною улыбкой самого любующагося на нее счастливца.

Распространяться-ли объ совершенствѣ художественной формы его произведеній? это общеизвѣстно. О чемъ-бы онъ ни завелъ разсказа: о милой-ли встрѣчѣ въ уголкѣ Италіи, или пускай это будетъ отталкивающее свиданье полуодурманеннаго лейтенанта Ергунова съ подозрительной корчемницей — все у него запечатлѣно могуществомъ творчества и онъ является удивительнымъ виртуозомъ въ своемъ разсказѣ. Вотъ что, конечно, притягиваетъ читателей къ сочиненіямъ г-на Тургенева; заставляетъ ихъ перечитывать по нѣскольку разъ; держать ихъ у себя настольною книгой для того, чтобы минутами, въ разныхъ настроеніяхъ духа, раскрывать ихъ на выдержку — въ надеждѣ всякій разъ найти откликъ душѣ. А поэтъ — сказалъ еще Пушкинъ — „какъ эхо, даетъ на все отвѣтъ; ему-жъ нѣтъ отзыва“.

Нѣтъ мудренаго, что при такомъ Божьемъ дарѣ, г. Тургеневъ бралъ иногда, темою для своихъ мастерскихъ картинъ, и нашу уличную современность. Что-жъ изъ этого? весь интересъ картинъ даже такого рода — у г. Тургенева въ ихъ художественной отдѣлкѣ! опять-таки въ силѣ самого поэтическаго таланта — а ни въ чемъ другомъ. Никого даже, напримѣръ, не занимало и не занимаетъ: сочувствуетъ или не сочувствуетъ самъ онъ героямъ „Нови“ (напримѣръ, такъ неудавшемуся его перу, этому по мысли автора дѣйствительно-герою, а на самомъ дѣлѣ лишь какому-то „цивилизованному кулаку“ г-ну Соломкину?); хотѣлъ-бы онъ или не хотѣлъ, чтобъ его собственный сынъ былъ вылитый Базаровъ? Всѣ только говорили и говорятъ одно: чѣмъ объективнѣе относился художникъ къ выводимымъ героямъ — тѣмъ было лучше; чѣмъ, напротивъ того, болѣе проглядывала въ ихъ выставленіи его собствен-

ная субъективность — притомъ рѣшительно все равно: въ одобреніи-ли героямъ, въ порицаніе-ли — тѣмъ это было хуже.

Всѣ распри, бурныя еще до сихъ поръ, о сочувствіяхъ или несочувствіяхъ такого рода, какъ помнитъ самъ г. Тургеневъ, начались съ появленія „Отцевъ и Дѣтей“, и — надо наконецъ раскрыть горькую истину — онъ самъ въ томъ виновенъ. Въ этомъ злощастномъ романѣ сдѣлана имъ, какъ художникомъ, непростительная ошибка.

Въ чемъ вся сила „Отцевъ и Дѣтей“? Единственно въ художественной статуэткѣ самого Базарова. Ему-бы имъ, Базаровымъ, и ограничиться! и дать-бы лишь одну эту художественную статуэтку, — какъ онъ далъ намъ, напримѣръ, Гамлета Щигровскаго уѣзда въ Запискахъ Охотника. Но художникъ на этотъ разъ не вытерпѣлъ и дѣйствительно, уступилъ требованіямъ, видите-ли, *современниковъ!* А чему онъ уступилъ, тѣмъ и казнился. Базаровъ, появясь въ окруженіи цѣлой ярмарки самаго моднаго товара, истинно произвелъ впечатлѣніе тенденціозной диссертаціи о старомъ и новомъ поколѣніи, — а романа все-таки не вышло. Почитатели и лучшіе цѣнители таланта г. Тургенева тогда-же, съ самаго начала, были изумлены такимъ оборотомъ. Выходило и вправду такъ, что въ народившемся новомъ *„дитяти“* какъ-будто обобщились всѣ дѣти Русской земли, а въ Аркадіевомъ папашѣ — всѣ отцы православной.

Сама русская тьмочисленная молодежь шестидесятыхъ годовъ — (мы знаемъ и утверждаемъ это) — вовсе не сочла г. Тургенева своимъ прорицателемъ. Она оскорбилась, напротивъ того, и ставила ему въ вину: зачѣмъ онъ выродковъ изъ молодежи принялъ за ея общій образецъ? неужели и всѣ „отцы“ на Руси были папашами во вкусѣ *„людей сороковыхъ годовъ?“* Что было тогда, то еще длится и сейчасъ. Дѣйствительная, многочисленнѣйшая русская молодежь, какъ тогда, такъ и теперь, не перестаётъ сѣтовать на почтеннаго автора: зачѣмъ всю ее затушевалъ онъ въ одинъ цвѣтъ: — притомъ даже возвелъ ее коллективно какъ-бы въ нѣкій, обязательный и лестный для нея чинъ?!

Фельетонисты возразятъ намъ, пожалуй, что *„Современникъ“* и *„Русское Слово“* въ разгаръ шестидесятыхъ годовъ говорили иное и если на что-нибудь сѣтовали, такъ совсѣмъ на другое. Да! (мы знаемъ и утверждаемъ и это): дѣйствительно, и *„Современникъ“* и *„Русское Слово“* были тогда даже еще, словно, лично заинтере-

сованы, чтобы вся „*сударыня-публика*“ непремѣнно почитала и принимала выродка изъ молодежи за ея настоящій образецъ. Они были готовы всѣхъ обобщать въ одинъ типъ съ собою; они, помнится, даже хвалились, что тѣмъ выполняютъ лишь требованіе цѣлой „естественно-научно-мыслящей Россіи“. Мы и не говоримъ, что у насъ совсѣмъ перевелись охотники отождествлять себя съ цѣлою Россіей и выдавать выродковъ за образецъ! Чего добраго, найдутся пожалуй еще и сейчасъ охотники росписываться въ своей любви исключительно къ выродкамъ, причисляться непремѣнно имъ въ родню и, не смотря уже на свои сѣдѣющіе волосы, льститься на лакомый чинъ „*исполняющихъ должность молодежи*“. Любопытно было-бы узнать: не преподносился-ли титулъ „*знатока молодежи*“ и самому автору „Отцевъ и Дѣтей“ среди множества другихъ застольныхъ тостовъ? Титулъ „*знатока русской народности и воплощенія національной совѣсти...*“ вѣдь преподнесли-же ему!

Что г. Тургенева, ужъ конечно, нельзя причислить къ тѣмъ, такъ-называемымъ отрицательнымъ русскимъ писателямъ, отношеніе которыхъ и къ русской природѣ и къ русскому народу чисто-отрицательное — не мы будемъ объ этомъ спорить. Восхитительно описывая югъ Италіи, гдѣ ночь пахнетъ лимономъ,—онъ въ то-же время и къ русскому ландшафту и пейзажу относится съ роднымъ дружествомъ; изъ чисто-русской природы написаны имъ мастерскія картины. Очерки нашего, въ лаптяхъ да въ сермягѣ, деревенскаго люда—какъ мы сказали—запечатлѣны у него неподражаемо-вѣрнымъ колоритомъ. Но отсюда до глубокаго пониманія „русской народности и воплощенія собой національной совѣсти“—далеко. Пускай г. Тургеневъ остается неотрицаемо-великимъ художникомъ даже тогда, когда въ глубинѣ души русскаго человѣка доискивается тѣхъ, граничащихъ съ убожествомъ, сердечныхъ чертъ, вся сила которыхъ въ ихъ немощи — именно эти черты задѣты имъ, напримѣръ, въ разсказѣ „*Живыя мощи*“. Но... но того писателя, который, вдумываясь въ подобные мотивы, дошелъ лишь до вопросительнаго знака, которымъ и заканчиваются всѣ его „*странныя исторіи*“ и съ отцемъ Алексѣемъ, и съ провинціальною барышней M-lle Софи, и съ „*Собакой*“; который ничего лучшаго не нашелъ на своей родинѣ противупоставить грубой силѣ римскихъ легіоновъ, кромѣ „сарынь на кичку!“ — воля ваша, такого писателя, при всемъ признаніи за нимъ мощнаго поэтическаго таланта, русскій народъ воплощеніемъ своей совѣсти не назоветъ.

Итакъ, на всѣхъ празднествахъ, на которыхъ многолюднѣйшая и разнообразнѣйшая толпа, еще такъ недавно, чествовала нашего обще-любимѣйшаго писателя и дорогаго гостя... присутствовало также неимовѣрное количество разныхъ фельетонистовъ (хотя-бы то были профессора и магистры, адвокаты и сами доктора правъ, техники и финансисты, медики и всякія артисты). Они продолжаютъ еще, съ разными коментаріями отъ себя, описывать эти праздники до сихъ поръ. Всѣ, въ одинъ голосъ и будто по сговору, повторяютъ одно и то-же; славя въ г. Тургеневѣ— не вѣсть что! а объ его главномъ существенномъ значеніи (слонато и не примѣтили!) — всѣми-же умолчано до конца.

Переслушать только застольныхъ ораторовъ и фельетонистовъ— чего тутъ нѣтъ! г. Тургеневъ и великій рѣшитель соціалистическихъ задачъ, и символъ лучшихъ общественныхъ стремленій! и громитель (были да всѣ вышли) славянофиловъ! и провозвѣстникъ, только-что привезеннаго имъ, прямо изъ заграницы, послѣдняго западнаго слова, окончательнаго le fin mot de la chose...

Уймётся-ли наконецъ легкое, вѣтренное племя! Дѣла-ли они, вправду, хотятъ? куда ни оглянись кругомъ, всюду—его страхъ какъ требуется. Зачѣмъ было нужно громоздить и городить для г. Тургенева соціально-политическія и народо-либеральные подмостки... пригодные развѣ-развѣ господамъ фельетонистамъ для ихъ собственнаго пьедестала? Уберите ихъ прочь; ему они не годятся. Возьмите ихъ назадъ себѣ.

1879 г. Мартъ.

Изъ письма къ М. Н. Каткову.

...„Стряхнуть съ себя кошмаръ“ (какъ будто это изъ ничего взялось или налетѣло со стороны) вотъ ваше выраженіе о нынѣшнихъ напастяхъ. „Надо усилить власть, нужны рѣшительныя дѣйствія нестѣсненной власти и кошмаръ стряхнется“, вотъ и предлагаемая панацея. Но ..если только не будетъ чудотворенія откуда-жъ больной, безъ рукъ и безъ ногъ, возьметъ силы, чтобъ *нести одръ свой и ходить?* Тутъ слѣдствіе берется за причину.

„Не знаменательно-ли въ самомъ дѣлѣ? посягаютъ на тишайшаго изъ царей тамъ, гдѣ долго терпѣли тирановъ! И въ какой

богопротивной странѣ посягаютъ еще такъ, какъ въ царелюбивой Россіи! Приходится по маловѣрію вовсе отчаяться въ Провидѣніи, или — именно вѣруя въ правду Божьяго суда на свѣтѣ — только и можно еще не приходить въ отчаяніе отъ совершающихся злодѣяній (потому что, кто вѣруетъ, тотъ кается: *праведно казнитъ Богъ*; тотъ еще и спрашиваетъ себя: чему „грозя“ научаетъ?)

Уже иностранцы дивятся беззавѣтной лихости, размашистости и безшабашности, какими отличается радикализмъ нашихъ радикаловъ. Максъ Мюллеръ, сказавшій о нигилизмѣ нѣчто такое, чего вовсе не говорилось у насъ или кто-то тамъ другой, сказавшій что-то въ томъ-же родѣ, начинаютъ объ этомъ (хотя и по своему по иностранному) весьма близкое къ правдѣ говорить. Въ самомъ дѣлѣ, это что-то неслыханное и невиданное въ мірѣ; ничего подобнаго ни въ чьей исторіи нѣтъ.

Призывающіе Божье имя всуе повторяютъ только одно: вѣра оскудѣла! преданья благочестивой старины молкнутъ! И никто изъ нихъ не только не высказалъ съ каѳедры всенародно или келейно съ глазу-на-глазъ, какъ на духу, кому должно — никто изъ нихъ даже себя-то не спросилъ: а почему вѣра убыла, а не прибыла? чѣмъ мы сами родную исторію исказили? И казенные проповѣдники вторятъ слово въ слово: налетѣлъ кошмаръ. Что Богъ не до конца погнѣвался, этого не отрицаютъ; такъ-таки и упираютъ на то: „сотворилъ чудо“; но урока не даётъ, покаянія не ждетъ: чудо выходитъ даромъ. Да въ чёмъ-же наконецъ и каяться, если все обстоитъ благополучно?

Нѣтъ! и зло, и наша немощь бороться со зломъ, всѣ эти нынѣшнія напасти, окутавшія насъ черной мглою — такъ что мы съ головой какъ безъ головы, и съ руками какъ безъ рукъ, и съ ногами какъ безъ ногъ — это не пустой мѳрокъ воображенія. Это не кошмаръ, отъ котораго вздрогнувъ во снѣ, просыпаются снова-здорово. Это дѣйствительный параличъ, дѣйствительный упадокъ силъ, — крахъ извнутри организма. Пока мы не одумаемся, что „*нигилизмъ*“ вовсе не какая-то мразь, налетѣвшая съ вѣтра, а наша собственная проказа — гниль, выступившая по всему тѣлу отъ прокаженности самого тѣла — до тѣхъ поръ мы слѣпцы въ своей болѣзни. Пока не одумаемся, что сами эти „имъ-же подобало придти, но лучше было-бы повѣсить жерновъ на шею и броситься въ воду“ вовсе не случайно-одиночные выродки нашего собственнаго здороваго степенства, а грѣховная плоть отъ грѣховной пло-

ти нашей и грѣховная кость отъ грѣховныхъ костей нашихъ,— до тѣхъ поръ всѣ-всѣ въ слѣпотѣ... не тѣ, кои уже заболѣли; но, главнымъ образомъ, еще и почитающіе себя здоровыми. До тѣхъ поръ нѣтъ и видовъ на исправленіе: не перестанетъ болѣзнь, пока причины, её производящія, продолжаютъ длиться.

Много грѣховъ въ Русской исторіи, но есть одинъ — всѣ прочіе самъ въ себѣ содержащій. Не трудно-бы опредѣлить его однимъ словомъ.. оно не русское; можно-бы назвать подлиннымъ именованіемъ.. для русскаго слуха это необычайный варваризмъ,— на родной языкъ все это непереводимо.

...Да! это цѣлый лживый принципъ, занесенный къ намъ съ чужи. Въ родной исторіи онъ дѣйствительно составляетъ „*чуждое начало*“. Тѣмъ хуже. Нигдѣ онъ, лживый, не составляетъ и такого сильно-дѣйствующаго яда, такого великаго и смертнаго грѣха, какъ у насъ, — никто въ немъ такъ и неповиненъ какъ мы. На родинѣ у себя дома, гдѣ онъ выросъ и образовался, онъ даже не составлялъ грѣха. Къ кому онъ перешелъ по наслѣдству — и тѣ точно также, менѣе насъ повинны въ томъ. (Ибо, кому чего не дано — съ тѣхъ и не взыщется). Разумѣется, ядъ — вездѣ ядъ; но тамъ это ядъ оклиматизированный. У язычниковъ, въ свое время, это было даже нѣчто такое, что возвышало и облагораживало ихъ; оно значило для нихъ именно humanitas и divinitas, восполняя хоть чѣмъ-нибудь пустоту безвѣрія. Больше того, тамъ оно нѣкоторымъ образомъ и замѣняло религію, такъ какъ кромѣ — собственно говоря — не было никакой. Но что, зародившись въ древле-языческомъ мірѣ еще библейскихъ временъ, достигло апотеозы при Рождествѣ Христовѣ въ античномъ urbi et orbi terrarum и по прямому наслѣдству распространилось на весь католическій западъ (а объ исчезнувшей съ лица земли Византіи по этому поводу лучше не упоминать), то можетъ быть сошло-бы безнаказанно и было-бы еще въ-пору какому-нибудь облатынившемуся славянству... но намъ, православному русскому народу и царству, рѣшительно не къ лицу и даромъ не сойдетъ. Понятно почему такъ. Что составляло и составляетъ пожалуй даже религіозность, пока оставалось и остается у себя дома при родныхъ пенатахъ, то обращается въ сущую иррелигіозность — не у себя, и безъ нихъ. Ибо можно вовсе не знать Бога; но когда говорятъ: „Господи!“, — тогда ужъ не подмѣниваютъ одного другимъ. (Съ тѣхъ взыщется, кому дано). Что такое религіозность, — отъ начала нашей эры, — всѣмъ извѣстно.

„Да будетъ воля Твоя!“ и еще: „воздадите кесарево кесареви, а Божіе Богови“ — отъ начала нашей эры — вотъ въ чемъ заключается религіозность. Обратное тому, слѣдовательно, будетъ ирреліигіозность. Это то, когда всё, о чемъ сказано: „воздадите Богови“, люди воздаютъ кесареви и молятся — вопреки и на перекоръ молитвѣ Господней — да будетъ и на небеси, яко-же у насъ на землѣ. Это — ирреліигіозность.

—„И это все по поводу кошмара!“ — восклицаете вы съ негодованіемъ — по поводу современныхъ, на нашихъ глазахъ совершающихся, событій!. этакъ пожалуй можно все свести къ Адаму!“.

Совершенно вѣрно. Все зло на свѣтѣ, дѣйствительно, сходитъ къ Адамову грѣхопаденью. Какъ вездѣ, такъ и въ русской исторіи, грѣхи людскіе сводятся всѣ къ тому. Если даже не въ московскій, а еще въ удѣльный періодъ, не одни государи московскіе, а хоть-бы напримѣръ Галицкіе князья, искушались и соблазнялись западнымъ римскимъ идеаломъ; если наконецъ тотъ или другой потомокъ Святаго Владиміра льстился производить себя отъ Августа Цезаря, — никому никогда этого и не вмѣняли въ святость. Не за это въ русской исторіи причисляли къ лику святыхъ. Все такое (o, dive Caesar!) при древле-отческомъ благочестіи почиталось за грѣхъ.

Бремя земной власти и тягость земнаго величія, какъ ихъ понимаетъ русскій народъ, чтится имъ за вѣнецъ терновый, а не лавровый; это—выражаясь по старинѣ—„неудобь-носимое бремя“. Народъ искренно вѣритъ и въ нынѣшнемъ своемъ страстотерпцѣ, что онъ несетъ терновый вѣнецъ самодержавія, какъ неудобь-носимое бремя. Таковы, въ совѣсти и во мнѣніи русскаго народа, всѣ его православные русскіе цари; таковы-же, по его мнѣнію, должны быть и царскіе слуги, кого, по мѣрѣ надобности, вседержитель власти облекаетъ во власть. Если-же въ чемъ-нибудь и когда-нибудь проглядывала у насъ западная „политическая похоть“ и превозносился еще, на соблазнъ православныхъ, древлеязыческій кесарскій идеалъ,—народная совѣсть тѣмъ смущалась и (со времени еще Іоанновъ вплоть до Петра) находила во всѣхъ классахъ общества достойныхъ выразителей своихъ. На обличеніе того являлись именитые бояре и дворяне (Берсень, Кикинъ) и міряне не оставившіе именъ; не только святые митрополиты, но и простые юроды. И благо народу, когда такъ! Безъ того, при отчужденіи отъ него верхнихъ классовъ, когда оные возводятся въ

чинъ и штатъ, а онъ безчиновный останется за штатомъ—въ немъ забраживаетъ глухое противленіе и безтолковый толкъ. Лишенный единовѣрныхъ единомышленниковъ вверху и просвѣтительнаго руководительства сверху, истощается онъ тогда въ мучительно-безплодныхъ потугахъ уже не народнаго, а прямо сказать „простонароднаго“ темнаго полу-сознанья: тутъ немощь и скудость! убожество, а подчасъ дикость,—это уже расколъ.

Первый, въ нашей исторіи, Ѳеофанъ Прокоповичъ, „звычный“ сподвижникъ Петра перваго, впервые, провозгласилъ „Великаго священнѣйшимъ величествомъ“. Одновременно съ тѣмъ господа-сенатъ съ канцлеромъ во главѣ, говорившіе „именемъ всероссійскаго государства подданныхъ его величества всѣхъ чиновъ народа“, ликуя восклицали: „vivat! vivat! vivat! и мы къ обществу политичныхъ народовъ присовокуплены“. Тогда-же цѣлое учрежденіе (коего суб-префектъ кіевскихъ училищъ впослѣдствіи состоялъ Вице-Президентомъ) также при звонѣ колоколовъ и при звукахъ трубъ и литавръ и барабановъ, при громѣ пушечной и ружейной пальбы, при многочастно-и-многообразно измѣнявшихся обстоятельствахъ того времени—многочастно-же и многообразно расточалось въ санкціяхъ и давало свои бенедикціи и беневоленціи тому-ли единому, чему слава, честь и поклоненіе—всегда, нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ? Достойно возблагодаримъ Великаго! Создавъ по собственной иниціативѣ для „пользы отечества“ и „нуждъ государственныхъ“ правительственное учрежденіе съ титуломъ святѣйшаго, истинно было геніально и сдѣлать его именно „правительствующимъ“, замѣнивъ и соборное тутъ начало коллегіальнымъ: безъ того, несмысленные фанатики, нынѣ обличаемые всѣмъ міромъ, явились-бы прозорливцами и свѣтомъ міру. Новизна—могли-бы въ противномъ случаѣ по праву сказать, нынѣ говорящіе это неправо—возвела въ санкцію то самое, что встарину почиталось за грѣхъ. Не было и нѣтъ этого. Единое непогрѣшимое во вселенной соблюдено чисто и непорочно въ нашей исторіи, по милости Божіей, до сего дни, какъ встарь такъ и сейчасъ. Благодаря именно геніальному преобразованію, все такое не только не смущаетъ православной совѣсти, даже вовсе и не касается ея. Но наши слѣпотствующіе упрямцы (одни—придерживающіеся буквы идѣ-же духъ; другіе—тамъ и высокоумствующіе о духѣ, гдѣ все держится только на буквѣ) и слѣпотствуютъ нынѣ вдвойнѣ. Протестъ этихъ упрямцевъ—будутъ-ли то, повторяемъ, рабы безгра-

мотности или еще вольнодумствующіе доктринеры — лишенъ на этотъ разъ серіознаго смысла и, при данномъ положеніи, не имѣетъ достаточнаго основанія. Безъ того, и въ противномъ случаѣ, онъ имѣлъ-бы то и другое. Не одна эта реформа, къ тому-же, а всѣ многочисленныя реформы великаго Преобразователя (ихъ-же смыслъ одинъ — водворить на Руси образованіе) послѣ его смерти (виноватъ-ли онъ въ томъ?) разумѣется, исказились и извратились. Особенно въ вѣкъ Бироновъ и Миниховъ, когда, говоря слогомъ историковъ, пигмеи продолжали идти путемъ великана — понятное дѣло — подражатели заимствовали лишь однѣ недостатки; умѣли слѣдовать лишь худому, а великому подражать не умѣли. А добрая русская почва, дающая плодъ сторицей, и рыхла и мягка! какъ было на нашемъ родномъ черноземѣ не вырости до колоссальныхъ размѣровъ — во пшеницѣ и плевеламъ.

Чуждое политическое начало (разъ оно попало на нашу черноземную цѣлину и заквасилось еще у насъ роднымъ квасомъ) быстро шло въ гору; при такъ-называемомъ „Благословенномъ“ превзошло всякую мѣру, (вспомните появленіе декабристовъ); а при „Незабвенномъ“ — отцѣ нынѣшняго страстотерпца — достигло апогеи,—это ужъ былъ кульминаціонсъ-пунктъ. Тогдашняя эпоха, выразившаяся при празднованіи ея 25-ти-лѣтняго юбилея извѣстною патріотической картиной (порфирофоръ въ небесномъ лучезарѣ, а снизу колѣнопреклоненные поліархи кадятъ лучезару и крестятся на него), эта самая эпоха уже произвела Герцена, Бакунина, Огарева и пр. и пр. Вотъ — исторія.

Остановимся на этомъ. Если-бы ужасаясь того страшнаго прогресса, съ какимъ росъ горній грѣхъ Русской исторіи, кто спросилъ-бы: скажите, чѣмъ все это кончится? — не нашлось-бы отвѣта (ибо еще и сейчасъ, когда уже отвѣтъ данъ, не разумѣютъ отвѣта). Конечно — иные возразятъ пожалуй — еслибъ явился Божій пророкъ среди русскаго народа, онъ предрекъ-бы еще въ XVIII-мъ вѣкѣ и въ двухъ первыхъ четвертяхъ XIX-го, чѣмъ это кончится? Должно быть, неоткуда было взяться пророку. Да никто и не спрашивалъ. Кому тогда было до пророковъ? Когда всѣ коллегіи... ликовали вкупѣ, и всѣ чины дѣлали всякія учтивства „комплименты и реверансы“ другъ другу въ аванзалахъ и—сверху до низу—всѣ взаимно обмѣнивались рукопожатьями между собой; а по высшей политикѣ — едва успѣвали заживо подносить титулы отцевъ и матерей патріотическихъ, а по смерти „поставляти нари-

цаемые трофеи" при громахъ музыки и пальбы—до пророковъ-ли тутъ было? Но теперь, но въ наши дни... впрочемъ, безъ преувеличенія сказать: въ наши дни и знаменія были и пророчества совершились. Только слѣпой смотритъ и не видитъ; только глухой слушаетъ и не слышитъ. Бѣда въ томъ, что не всѣ-ли знаменія, возможныя для нашего вразумленія, и не всѣ-ли пророчества, съ избыткомъ достаточныя для предостереженія, уже истощились? Если Божья милость долготерпѣлива, то и гнѣвъ Божій не коснитъ. Неужели все еще требовать знаменья? неужели все ждать пророка?

Развѣ неизвѣстно хоть кому-нибудь: чѣмъ кончилось Вавилонское столпотворенье? Или развѣ спрашиваютъ когда-нибудь: что бываетъ при оскудѣніи духа, чего не миновать при постоянномъ угашеніи его? Открылось небывалое разносмѣшеніе въ людяхъ, и гордыня, мнившая досягнуть небесъ, погреблась въ собственныхъ развалинахъ своихъ—вотъ чѣмъ кончилось Вавилонское столпотворенье, — отвѣтитъ ученикъ даже приходской школы. Ужъ нельзя будетъ людямъ живымъ быть—вотъ что бываетъ при угашеніи духа. Вѣдь, это все равно, какъ если-бы кто спросилъ: что будетъ съ людьми, когда даже и совѣсть ихъ отберутъ въ казну? Все и будетъ казенное, станутъ люди какъ мертвецы—это ясно какъ день. А что послѣ того будетъ? То что всегда бываетъ, когда мертвецы учатъ жизни. Встанутъ среди нихъ—плоть отъ плоти ихъ и кость отъ костей ихъ—безбожные изувѣры и скажутъ: уже нынѣ все ничто, и вы сами насъ этому научили. Уже смѣщенъ престолъ Истины въ мірѣ.. И устрашатъ неистовые даже героевъ брани лихостью на всякую гибель—лишь-бы до аду низверглось то, что похвалилось досягнуть небесъ. „Что нибудь въ этомъ родѣ будетъ", — вотъ что, разумѣется, отвѣтилъ-бы всякій благоразумный человѣкъ (къ чему Пророкъ?) на вопросъ: чѣмъ все это кончится?—глядя на патріотическую апоѳеозу, что и на небеси якоже на землѣ, и снизу кадятъ тому.

...Всего этого иностранцамъ не понять; даже что такое русскій человѣкъ зоветъ *казенщиной* они не возьмутъ себѣ въ толкъ...

И такъ легко казалось-бы! такъ это возможно теперь... Вѣдь кто по совѣсти сказалъ-бы какъ на духу: „вотъ въ чемъ грѣхъ"—тотъ, по совѣсти, долженъ-бы былъ теперь и прибавить къ тому: „сбывается слово: постраждутъ добрые и невинные; злая-же и вины — отцевъ ихъ". Теперь безсовѣстно даже было-бы этого не прибавить.

Такъ какъ-же быть? Уже нѣтъ у насъ нынѣче Благовѣщенскихъ протопоповъ Сильвестровъ, врывающихся въ царскія палаты прямо съ улицы; ни патріарховъ Ермогеновъ, говорящихъ съ лобнаго мѣста на красной площади всенародно; нѣтъ даже игумна какого-нибудь монастыря, „котораго государева монастыря и отецъ игуменъ на его-же государевомъ дворѣ живетъ“... Такъ что-жъ, что нѣтъ? Другой вѣкъ — другіе нравы! За то нынѣче — газеты. Развѣ онѣ не говорятъ всенародно? Тотъ или другой газетный листъ не врывается-ли, какъ въ хижину, такъ и во всѣ палаты, прямо-же съ улицы? У насъ есть „патріотическіе“ публицисты наконецъ. Тотъ или другой изъ нихъ можетъ быть удостоенъ высокаго довѣрія. Вамъ лично не извѣстенъ-ли одинъ.. Преступленіе теперь со стороны всякаго русскаго, не разорвавшаго связи со своимъ народомъ и понимающаго чѣмъ болѣетъ и скорбитъ весь народъ, преступленіе молчать. Но еще хуже говорить такъ, какъ не умолкаютъ и не умолкаютъ призывающіе Божье имя всуе...

Не ликованье о чудесахъ, а покаянье по поводу многократныхъ, непрекращающихся предостереженій — вотъ что теперь всѣмъ намъ нужно.. Да будетъ покаянье — тогда спасена и обновлена Россія. А если его нѣтъ и царитъ прежняя увѣренность что все обстоитъ благополучно и каяться не въ чѣмъ — вотще были всѣ предостереженія, ужъ не истощились-ли? Тогда все будетъ, что вамъ угодно и чего не угодно, пожалуй нелѣпая петербуржская конституція будетъ... но и будутъ послѣдняя горшая первыхъ...

Всѣ прочіе русскіе грѣхи содержатся въ этомъ.. И зло безбожныхъ изувѣровъ, и еще злѣйшее зло — это всеобщее поступничество имъ и потаковничество имъ обще-растлѣнной среды — все отсюда-же. Всѣ наши нынѣшнія кривоблужданія — по какимъ-бы то ни было разностороннимъ и многостороннимъ вопросамъ — отсюда-же. Все исходитъ изъ одного этого пункта. Радіусы всѣхъ нынѣшнихъ противорѣчій и разнорѣчій — сводятся къ одному и тому-же центру и исходятъ всѣ изъ него...

Москва, 14-го Февраля 1880 г.

Послѣсловіе отъ автора.

Мы кончили; чѣмъ-же заключимъ „*Наше Переходное Время*?“ Кто не прочиталъ-бы книги, а только перелистовалъ ея содержаніе, пожалуй, могъ-бы укорить автора. Такой изъ читателей скажетъ пожалуй: „какъ это въ одной и той-же книгѣ, на однѣхъ страницахъ, ведется непримиримая полемика съ *Московскими Вѣдомостями* о нашей народности и о сельской общинѣ — въ духѣ направленія „Бесѣды“ и „Дня“; а на другихъ страницахъ изъ самихъ *Московскихъ Вѣдомостей* перепечатываются какія-то Письма къ Публикѣ.. не въ бровь, а въ глазъ soi disant славянофиламъ? Такія имена, какъ съ одной стороны И. С. Аксаковъ, а съ другой М. Н. Катковъ, — совмѣстны-ли другъ съ другомъ? вѣдь это антиподы нашей литературы! Можно-ли балансировать между ними?“

Какъ ни щекотливъ подобный вопросъ для авторской совѣсти — смѣло говоримъ — наша книга совершенно застрахована на этотъ счетъ. И который изъ читателей такъ благосклоненъ, что осилилъ-бы ее отъ начала до конца, разумѣется, не сдѣлаетъ подобнаго упрека; если онъ и удивится — то совсѣмъ другому.

Не удивительнѣе-ли, что самъ вѣчно-памятный органъ, противъ кого велась непримиримая полемика (когда онъ взялъ подъ свое покровительство только что слагавшуюся партію еще не возникшей газеты *Вѣсть*), потомъ самымъ дружескимъ и радушнымъ образомъ открылъ свои вѣскіе столбцы для нашихъ Писемъ къ Публикѣ, тогда какъ въ нихъ, что и въ той самой полемикѣ, смыслъ и духъ рѣшительно одинъ и тотъ-же? Менѣе-ли удивительно и то еще, что если эти Письма къ Публикѣ, въ самомъ дѣлѣ, возбудили при своемъ появленіи „гнѣвъ и негодованіе soi disant славянофиловъ“.. что-же однако? Все, что въ нихъ

было высказано впервые въ семидесятыхъ годахъ, скоро потомъ, въ началѣ восьмидесятыхъ, стало высказываться на всѣ лады въ памятной-же (и едва-ли ужъ только по-имени славянофильской?) газетѣ „*Русь*“.

И такъ, если по самому жгучему и современнѣйшему изъ нашихъ современныхъ вопросовъ, именно о новой общественной организаціи и о старомъ казенномъ строѣ (по вопросу, на которомъ особенно не сходятся всѣ накопившіеся въ нашемъ обществѣ антагонизмы) — мы сошлись и, такъ сказать, примиряемъ даже „антиподовъ нашей литературы“ (какъ угодно звать нѣкоторымъ), неужели мы это должны принимать себѣ за укоръ? Мы это принимаемъ себѣ за честь. Оба имени, въ равной мѣрѣ неотдѣлимы въ нашихъ собственныхъ литературныхъ воспоминаніяхъ и мы съ одинаково-благодарственной памятью относимся къ обоимъ.

Благодарственно поминаемъ и прочія изданія, давшія пріютъ нѣкоторымъ изъ здѣсь-же напечатанныхъ статей — хотя и въ небольшомъ числѣ; наконецъ, отъ души желали-бы помянуть такимъ-же добрымъ привѣтомъ всѣ и всѣхъ, противъ чего и противъ кого имѣли непріятность только полемизировать. Но нѣкоторые давнымъ-давно не существуютъ, какъ-бы засвидѣтельствовавъ своимъ преждевременнымъ прекращеніемъ давно-сказанное про нихъ и слово, что „долго длиться это не можетъ“; другіе...

Но другіе — если-бы и сейчасъ самымъ недружелюбнымъ образомъ отнеслись къ нашему Сборнику — вѣроятно сдѣлали-бы это не изъ какого-нибудь преднамѣреннаго разсчета или банальныхъ побужденій, а по невольно-вспыхнувшему антагонизму собственныхъ убѣжденій, представляющихся имъ вполнѣ-же искренно — и болѣе справедливыми, и болѣе миротворными, и во всѣхъ отношеніяхъ универсальнѣйшими противъ высказываемыхъ и проводимыхъ здѣсь въ Сборникѣ. Тому-же, по крайней мѣрѣ, просимъ вѣрить и съ своей стороны, всѣхъ съ кѣмъ намъ приходилось не соглашаться. Что касается до насъ лично, мы были-бы только благодарны за указаніе нашихъ промаховъ, а тѣмъ болѣе заблужденій — какъ ни горько и ни больно было-бы ихъ обличеніе. Позволимъ однако себѣ въ заключеніе высказать и въ этомъ отношеніи одну добрую надежду. На почвѣ русскихъ интересовъ едва-ли у русскихъ людей найдутся дѣйствительныя несогласія? Никакихъ другъ другу враждебныхъ литературныхъ партій — въ сущности — у насъ нѣтъ. „На русской почвѣ“ — повторимъ эти

вполнѣ-искреннія и къ сожалѣнію такъ мало оцѣненныя прекрасныя слова М. Н. Каткова, сказанныя имъ на *Пушкинскомъ праздникѣ* —„на русской почвѣ, люди искренно желающіе добра, могутъ сталкиваться и враждовать между собою въ общемъ дѣлѣ только по недоразумѣнію".

Довольно было розни и всякихъ споровъ въ нашей прошлой литературѣ! Время новому дѣлу и лучшей задачѣ. Пора наконецъ подумать: нѣтъ-ли у насъ у всѣхъ и какого-нибудь дѣйствительно-общаго интереса, — на чемъ, при всѣхъ видимыхъ разногласіяхъ и кажущихся отличіяхъ другъ отъ друга — всѣ становятся единогласны и всѣ до одного сходятся единодушно.

КОНЕЦЪ.

Замѣченныя опечатки:

Стр.	Строк. сверху	Напечатано:	Слѣдуетъ:
78	13	леденящагося	леденящаго
87	29	не	ни
88	2	хроннки	хроники
130	4	вооброжавшіе	воображавшіѣ
189	6	какого-то	какого-то
196	27	зглянуть	взглянуть
211	1	сте	сто
247	14	пердовой	передовой
252	19	крестянскихъ	крестьянскихъ
290	29	телѣсной	тѣлесной
354	16	систету	систему
365	26	Нечего	Ничего
431	38	1885 г.	1886 г.